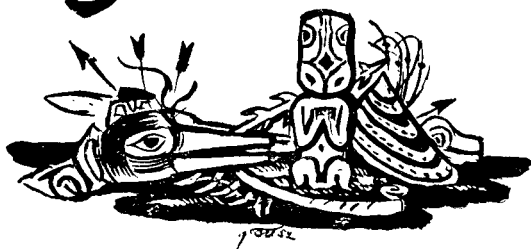


Времен в глубоком отдаленный
Потомство тех увидит тени,
Которых мужествен был дух.

Г. Державин

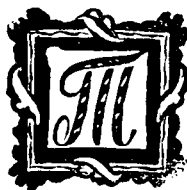
Часть
первая





Глава первая

1



еряясь во времени давнем и забытом, былъ эта развернулась свыше полутораста лет тому назад на гористом Кыхтаке, замыкающем тысячеверстную цепь Алеутских островов у берегов Америки.

Населявшие остров Кыхтак плосколицые и безбородые люди не допускали на свою землю пришельцев с тусклой и потому казавшейся им неприятной белой кожей. Желто-смуглая да еще блестящая от смазки китовым жиром кожа представлялась природным кыхтаканцам несомненным признаком превосходства их над другими людьми. Они, алеуты-кыхтаканцы, выводили свое происхождение от сожительства первой женщины с фантастическим человеком-медведем, считали себя представителями особого племени людей и в то же время охотно откликались, когда их называли «алеутами». Алеуты — это было прозвище, которое

кыхтаканцам дали впервые высадившиеся на остров белокожие бородачи — русские.

Ко времени высадки русских мореходов-добытчиков алеуты насчитывали у себя тысячи храбрых воинов с луками, стрелами, копьями, убивавшими могучих зверей моря и суши. Однако сто тридцать отважных людей промышленной экспедиции купеческого сына Григория Шелихова оказались неодолимыми. Костяные и обсидиановые наконечники стрел и копья не помогли алеутам в их столкновении с пришельцами, которые посылали гром и молнии из «железных палок», представляемых к плечу.

Однако победители «русы», так называли себя пришельцы-русские, — звук «р» не давался языку алеутов, и они произносили не «русы», а «лусы», — оказались и не страшны и не беспощадны. Соседи, соплеменники кыхтаканцев с островов Уналашка, Танангуни, Атха, лежащих к заходу солнца, или племя кенайцев, говорившее на одном языке с кыхтаканцами, жившее под восходом солнца на Большой земле — Алхаласке¹, поступали иначе: победив, они истребляли до последнего всех способных носить оружие.

Освоившись с новым положением, кыхтаканцы вскоре поняли, что белокожие пришельцы ищут не войны, а дружбы и согласия. Они не отбирают ни запасов пищи, ни байдар, ни орудий лова или охоты, не уводят они и женщин и равнодушно смотрят на драгоценные обломки железа и меди, эти подобранные алеутами на берегу безыменные свидетельства чьей-то гибели в пучинах океана.

Единственным, чего искали и к чему устремлялись «русы», были шкуры зверей: морских бобров и котов, песцов и лисиц — черных и огневок, медведей и даже ничтожного тарбагана — пестрого сурка-землеройки, а то и еще более ничтожной белки-поскакушки. «Русы» били этих зверей новыми, невиданными среди алеутов способами или выменивали у туземцев шкуры на железные ножи, несравнимые по достоинству с ка-

¹ Аляска.

менными, на зеленые листья крепкой русской махорки и на драгоценные корольки — коралловые красные бусы. Случалось, давали и ковшик горького, веселящего сердце и ноги напитка — «вотка».

Слово «вотка» облетело весь остров. Ей приписывали магическое свойство наделять человека весельем, облегчать неудачу в охоте, «вотка» заставляла забывать голод, склоняла женщин к любовной ласке.

Великий тойон народа «касяки», — так произносили алеуты слово «казаки», — имел воинское имя Ше-лих. Однажды он рассердился на малое количество мехов, принесенных на обмен, и объявил:

— Вотка будем давать в награду только тому, кто принесет менять не меньше двух бобровых шкур.

Из этого алеуты заключили, что напиток дорогой, обладает магической силой и «русы» берегут его для себя.

— Ты — хитрый и несправедливый человек! — упрекнули русского кыхтаканцы. — Ты живешь среди нас и знаешь, как редки морские бобры и как много людей и байдар нужно для охоты за ними. А шкура бобра всегда достается богатым, имеющим калгу-каюра — раба-гребца на байдаре. Бедному же охотнику, которому нужно самому и каюрить и стрелку спускать, говорят: «Как ты мог убить бобра? Ты должен был каюрить».

— Так всегда было, будет и должно быть, — отвечал Ше-лих искавшим справедливости: — один гребет и везет, другой добычу берет...

— А кто установил?

— Бог!

— А кто такой бог?

— Тот, кто дает одним богатство, а другим — бедность.

— Он хитрый и несправедливый человек!

— Глупцы! Он не человек, а бог, и не мы — бог дает законы.

Кыхтаканцы не поверили в то, что они глупы, и им не понравился бог Шелихова, но люди, которым этот бог покровительствовал, были могущественны, и спорить о законах их бога не приходилось.

Всячески домогаясь вольготной и безопасной добычи мехов и богатства, Григорий Шелихов в конце концов признал водку ненадежным пособником торговли, в чем имел много случаев убедиться еще в России, странствуя по Камчатке и по Чукотской земле.

Собрав своих промышленных людей, он объявил им о запрещении пускать в торговый обмен водку, оставив право на это только за собой. Ловок и силен был Григорий Шелихов тем, что умел, всякий раз вовремя уловив момент, опереться на артельные плечи и отстоять свой интерес.

— Сам ее пью и гораздо понимаю, что православному человеку нельзя не выпить... Что ж, разве я против? Пейте, да дело разумеете, головы не теряйте. — добродушно начал он, как будто готовясь рассказать о планах ближайших экспедиций, и неожиданно для всех угрюмо закончил: — А кто американцу водку дает, тот на себя и товарищей нож готовит. Вот о чем, артельные, подумать надо!..

— Мы и то думаем: зачем ты себе правá разрешил, а у нас отнял? С твоего водочного поднесения нож али стрела американские слаще, что ли, станут? — орали промышленники, разъяренные тем, что от них отняли легчайший способ к увеличению своей доли в заокеанской наживе.

— В моем кармане не подсчитывайте, — открыто пойдя на вызов, сказал Шелихов. — Водка то чья компании? А я от компании да и от властей чад вами поставлен. Так вот: продажи навывнос не будет, а кому выпить охота, ко мне придет. Поднесу и на счет запишу, но не более два штофа на месяц...

Отстаивая вынужденное практическим расчетом начинание, Шелихов и дальше пошел на хитрость: предложенный на месяц водочный паек он увеличил вдвое, — русские пускай пьют, только бы американцев не спаивали, не выступали бы конкурентами в заготовке пушнины.

До своего удивительного по отваге плавания в Америку в 1783—1786 годах Григорий Шелихов, добравшись до края земли — Охотского моря, служил

приказчиком у разных сибирских купцов-богатеев. Разъезжал по дебрям Восточной Сибири, выступая вроде доверенного по торговле с чукчами — на Чукотке, или с ительменами — на Камчатке, а то с Китаем — в Кяхте и даже с дикими племенами конных мунгалов и тунгусов — по Орхону, Онону и Амуру. Всегда в бесконечных разъездах, проявляя в делах отменные торговые способности, находчивость, обходительность и отвагу, он завоевал доверие туземных охотников, похвалу хозяев и симпатии самих представителей власти за то, что торговал мирно и не вызывал жалоб.

Записавшись в иркутские купцы и добившись величания по «отечеству», Григорий Иванович Шелихов за неимением капитала продолжал службу по найму и искал в жизни случая, чтобы выйти на широкую дорогу жизни.

Распаленный ушкуйнической отвагой и непоседливостью, занесшей его, сына мелкого да к тому же разорившегося рыльского торговца, на караванные дороги и тундровые тропы восточной Азии, Шелихов решил сменить просторы степей и тундры на просторы океана, в которых за кромкой бескрайного горизонта, он верил, найдется и на его долю «кус» в жизни. На это его наталкивали воспоминания молодости, прочитанные книги и ходившие по Сибири рассказы о чудесной земле Америке.

Передовик сибирских землепроходцев середины восемнадцатого века, не единожды добравшихся уже до Алеутских островов и даже матерой земли Нового Света, Никифор Акинфиевич Трапезников, живя на покое в Охотске, заприметил Шелихова, этого смекалистого и удачливого приказчика Лебедевых. Старик Трапезников жаждал иметь преемника своим исканиям и готов был бы благословить выйти за него любимую внучку Наталью, ходившую молодой вдовой и во вдовстве сведавшуюся с синеглазым, густобровым плясуном и песельником Гришатой Шелиховым, — мешало их разноверие: она — староверка, а он — православный.

Восточная красота вдовы Гуляевой, — ходили слу-

хи, что мать ее жила у курильских айнов пленницей из земли Чосен, Страны Утренней Свежести — Кореи, и от них вывезена Никифором Трапезниковым, — безоглядно полонила Григория Шелихова. Да и кто бы устоял перед ее, как уголья, горящими глазами в нежном овале лица, окрашенном постоянным янтарно-смутлым румянцем!

«Судьба!» — подумал Григорий Шелихов и решил жениться.

Но без дедова благословения Наталья Алексеевна выходить замуж не хотела и знала, что дед ее, суровый беспоповец Никифор Акинфиевич, никогда не согласится отдать свою внучку за табашника-никонинина.

Однако Григорий Шелихов не задумывался над догматами православия. Наталья Алексеевна по красоте и капиталу, оставленному ей покойным мужем, стоила православной поповской обедни, и Гришата улепил старого Трапезникова стоянием в моленной, истовым слушанием октоихов кержацкого распева и двуперстным знаменованием.

О приданом же он и не заикнулся и этим окончательно расположил к себе разоренного «честностью» гордого старика-морехода Трапезникова.

Перед смертью, заповедав внучке и зятю долгую согласную жизнь, старый Трапезников, в обход детей своего давно умершего сына Алексея Никифоровича, которые тянулись в сидельцы к первогильдейским сухоземным купцам-торгашам, передал Григорию Ивановичу заветное наследие: рукодельную на полотняном убрусе¹ карту плавания на Алеуты и к американской земле, компас с буссолью, — то и другое служило старику в океанских походах, — и небольшую кубышку золотых монет, удержанную в подполье.

Все это наследие, помноженное на собственную отвагу, разум и твердое решение без удачи не возвращаться, новоявленный купец и мореход Григорий Шелихов и внес как свой пай в компанию, состоявшую из сибирских тузов-богатеев Лебедевых-Ласточкиных и

¹ Платок.

торгового дома Голиковых, договариваясь с ними о почине в завоевании Нового Света.

В Охотском порту Наталья Алексеевна ввиду готовых к отплытию кораблей оставалось только проститься с мужем, проводить которого она выбралась сюда из Иркутска: Шелиховы жили тогда уже в Иркутске. Путь проделала она немалый — три тысячи верст водою по Лене до Якутска и тысячу верст таежного бездорожья от Якутска. И вот в самую последнюю минуту Наталья Алексеевна неожиданно сказала:

— Иду с тобою и дальше, до самой смерти иду! Неужто, Гришата, ты покинешь меня?..

Впервые в жизни Григорий Иванович Шелихов растерялся и не знал, как поступить. Из плавания можно было вернуться победителем, а можно было и голову сложить. Не мог, конечно, взять он в такое дело жену. Вспомнил еще, что дома, в Иркутске, остались две любимые дочки-попрыгуны — падчерица Аннушка и родная Катенька, и, несмотря на тронувшие до глубины сердца слова жены, сердито крикнул:

— Ума лишилась!..

Наталья Алексеевна как бы угадала его мысли и объяснила, что она, взяв перед отъездом с проживавшей у них тетушки клятву не проговориться ему, поручила старушке детей, как матери.

— Я за детей спокойна, Гришата, не маленькие! — И тихо добавила: — А один уйдешь — как знать: вернешься — меня и в живых не найдешь...

Таким голосом сказала и так впиалась в него глазами, что Григорий Иванович махнул на все и, подхватив ее на руки, перенес в лодку, по пояс шагая в воде. Через час Наталья Алексеевна, серьезная и строгая, вступила на палубу «Трех святителей» — ведущего корабля флотилии Шелихова, в девять сажень от кормы до носа. Глядя в сторону исчезавшего из глаз Охотского берега, до позднего вечера простояла она у борта кормы.

Перед сном долго молилась и, ложась под меховое одеяло, задала мужу единственный вопрос:

— А дедушкин убрис с тобою?..

Остров Кыхтак, вздыбленный горным хребтом, с гушиной могучих стволов хвой и лиственницы, был подобен огромному киту, в испуге выбросившемуся из вод океана от преследования хищных касаток, тут же рассыпавшихся вокруг него множеством острозубых островков и подводных камней.

Берега острова были труднодоступны, а середина и просто непроходима. Хаос громоздившихся гор, с прорезями диких ущелий, чудовищные капканы из каменных обломков и гигантских деревьев, поваленных бурями, делали огромную часть острова недоступной. Жителям противоположных берегов оставалось единственное средство сообщения — в объезд по морю на байдарках.

Русские после нескольких столкновений с кыхтаканцами на северо-западной конечности острова, — она называлась Карлук, — вынуждены были двинуться в обход, вдоль широкого пролива, отделявшего остров от Большой земли — Алхаласки. После долгих поисков на юго-восточной стороне острова они и осели в облюбованной Шелиховым просторной бухте. Эту бухту называли Трехсвятительской в честь утлого галиота, возглавлявшего шелиховскую флотилию. Как-никак суденышко преодолело две тысячи морских миль Великого океана в самой бурной и опасной его части.

Иван Ларионович Голиков, глава фамилии, держал в руках торговлю и винный откуп по всей Сибири. В морское предприятие он пустился по угворам Шелихова, отчасти потому, что завидовал славе Строгановых. Строгановым приписывали подвиг покорения Сибири, хотя покорили они ее не сами, а состоявший у них в найме Ермак «с товарищи». Чем же хуже Строгановых Голиковы, в найме которых уже имеется Григорий Шелихов? Рискуя деньгами, Иван Ларионович решил в ограждение коммерческих интересов рискнуть и племянником: купил ему в иркутских канцеляриях патент на капитанский чин и вырядил в море никогда не плававшего купчика.

— Гляди за Гришкой, не обидел бы нас, не пу-

стил бы по миру при разделе паев,—напутствовали Иван Ларионович свежее испеченного капитана.—Строго держи, своевольничать не позволяй!

— Женка?! — вытаращил глаза Голиков-племянник, увидев Наталью Алексеевну, поднявшуюся с трапа на палубу. — Ну, ждать в море беды!

— Съезжай на берег, в избе спасен будешь! — отрезал Шелихов. — И чтоб этого я от тебя больше не слышал, если шкурой дорожишь!..

Шелихов с первых же дней плавания убедился в бесплодности сидения Михаила Сергеича за секстаном и картой и, подкинув ему анкерок рому в каюту, занял место подлинного шкипера экспедиции.

Незначительность собственных навигационных знаний не смущала Шелихова.

«Куками не рождаются, а делаются!» — думал он, вспоминая рассказы спутников английского мореплавателя. С «кукишами», как в шутку называл их Григорий Иванович, он встретился лет пять назад в Петропавловске-на-Камчатке, где Кук в 1778 году спас и привел в порядок свои потрепанные странствованием корабли только с помощью русских.

Шелихов поручил вычисление долгот и широт прихваченному из Охотска штурманскому ученику Митьше Бочарову, а сам решил опереться на заветную карту тестя и опыт подобранных в партию бывалых промышленников и матросов. Он представлял себе трудности и опасности предстоящей экспедиции и по секрету от компаньонов дал обязательство наиболее ценным и нужным людям выделить из своей доли некоторый пай в добавку к жалованью. Поступаясь долей гадательной прибыли, мореход таким образом обеспечил заинтересованность и поддержку в деле наиболее надежных людей.

Среди таких выделялись старый партовщик¹ Константин Алексеевич Самойлов и бывалый матрос Прохор Захарович Пьяных — участники плавания на Алеутские острова капитанов Креницына и Левашева. Эти капитаны еще лет за двадцать до Шелихова возглав-

¹ Начальник промысловой партии.

ляли русскую правительственную экспедицию в Америку.

Чтобы всегда иметь под рукой и Самойлова и Пьяных, Григорий Иванович, для успеха в науке кораблевождения, поселил их в каюте, которую занимал с женой. И не столько Григорий Иванович, сколько Наталья Алексеевна женской заботой и ласковостью завоевала преданность этих людей шелиховскому делу. Во время трехмесячного плавания она их обшивала, штопала потрепанное платье, простирывала на стоянках рубашки, а главное — всегда во-время умела вставить участливое женское слово, слушая рассказы людей об оставленных дома семьях — женах, детях и внуках.

К концу плавания сердца всех удалых и буйных зверобоев собрала и завязала в своей шали Наталья Алексеевна, на ходу пособляя каждому в замеченных трудностях и огорчениях. И если бы теперь «капитану» Голикову вздумалось пророчить беду из-за того, что на корабле женщина, — быть бы ему за бортом.

На втором году пребывания на Кыхтаке, уверившись в мире и согласии между русскими промышленниками и воинственным племенем алеутов-коняг, Шелихов пришел к выводу, что наступило время поискать удачи на материке Америки.

Старый бывалый охотник-коняга Ва-шли, переселившийся в избяную деревню, которая возникла на месте временной стоянки русских добытчиков в Трехсвятельской гавани, завоевал доверие и дружбу Шелихова. Ва-шли питал искреннюю приязнь к русским и отличался способностью внятно изъясняться на полуусвоенном русском языке. Он настолько обрусел, что перестал откликаться на свое туземное имя и только тогда с достоинством и солидно отзывался, когда к нему обращались как к «лусу» и «по-луски».

Но, перейдя в деревню, он не хотел перебираться в избу и упорно оставался в своем шалаше.

— Вот она, вот Васили! — осклабился он в добродушной усмешке, едва слышав веселый голос «великого тойона», вползавшего на карачках в шалаш.

Шалаш был раскинут на огромных китовых ребрах — трофеях Василия в морской охоте.

— Когда ты, Василий, по-людски жить начнешь, в избу переселишься? Даже за малиной не полез бы в твою берлогу, кабы не дело, — крихтел и шутил Шелихов, пользуясь любым поводом донять алеута.

Но Василий лишь смеялся.

Алеуты быстро оценили огнестрельное оружие и бытовые преимущества жизни русских: пуля догоняла и укладывала недосигаемого для стрелы зверя; русские прядевые неводы извлекали из океана и рек горы рыбы, — алеуты ее прежде ловили примитивной удой с костяным крючком, или били острогой, или вылавливали плетенной из веток ивняка волокушей. Китайский прессованный чай с леденцами, привезенный русскими, пришелся алеутам необыкновенно по вкусу. Покуривая русскую махорку, можно было спокойно обдумывать мысли, а «вотка», чудная водка — хлебнуть ее, правда, удавалось редко и не всем — казалась напитком богов! Была еще баня — баня «касяков», — когда попадешь в ее жаркую паровую стихию после дня и ночи, проведенных в холодном тумане на волнах океана, все забудешь! И русские не запрещали входить в нее, наоборот — зазывали и уговаривали бывать в этой бане почаще. Все у «касяков» было чудно и приманчиво, и только их жило-изба противна алеутам.

— Везде твердо — дерево, много пустоты — до потолка головой не достанешь, а воздуху нет — не проветривает... Не подходит нам ис-ба! — отрицательно мотали они головами, отказываясь покинуть свои глубокие зимние землянки и летние шалаши.

Шелихову никак не удавалось переселить алеутов в избы, но он и не торопился с этим, ждал — сами убедятся в удобствах деревянных изб. А пока без смущения заползал в их грязные, убогие норы и с завидной легкостью и ловкостью, усвоенными в разъездах по глухим дебрям Сибири, приспособлялся здесь к обычаям первобытных людей. Сидя на корточках и даже не морщась от смрада и грязи туземного жилья, он часами вел с ними разговор.

— Ну, повтори, Василий, еще раз то, что намерен рассказывать ты о кенайской стороне, о кенайцах и о русских, кои там жили и нашли конец своего живота, — сказал Шелихов, отведав рыбьего жира с кислой ягодой шикшей, этого первого угощения, которым встречали почетного гостя.

— Васили будет сказать, но слова здесь... прилипли слова, не могут выходить, — еще раз ослабил-ся алеут и помял себе пальцами горло.

— А-а, — понимающе отозвался Шелихов, — прилипли, говоришь? Ну так на, возьми, опрокинь и выпусти слова! — Григорий Иванович вытащил из-за пазухи штоф, налил объемистую раковину-чашку и протянул ее алеуту.

После повторного прополаскивания горла водкой Ва-шели без труда стал находить русские слова. Он рассказывал о сильном племени индейцев-тлинкитов. Тлинкиты появились на берегах океана в давние времена, придя откуда-то из глубины материка. Они осели на выбежавшей в море земле Кенайского полуострова, а коняг согнали в море, на остров Кыхтак.

— Отец моего отца рассказывал нам о кровавых войнах с кенайцами, но вот уже сколько лет назад море легло между нами и смыло кровь и вражду... В Кенайской земле много черного камня, камень этот горит в огне и становится желтым, как солнце в зимний день. Только солнце, ты знаешь, зимой не греет, а черный камень дает тепло...

— Уголь, земляной уголь?! Ты не врешь, Василий?! — воскликнул Григорий Иванович, не выдержав роли бесстрастного собеседника.

Шелихова давно пленяла мысль о приспособлении угля — земляного топлива — к рудоплавлению. Он еще на Камчатке слышал от спутников морехода Кука, будто добротные железные и чугунные части в оснастке кораблей выплавлены именно на земляном угле, они так и называли эту штуку — coal¹. Шелихов не знал, верить или не верить «мошенникам» англича-

¹ Уголь (англ.).

нам, пока не доведался, что до этого дошли и в России — на Урале и в Колывани, на Алтае.

— А золото, золотишко у них есть? — нетерпеливо спросил Шелихов, весь подавшись к Ва-шели.

— Золото? Какое оно, зо-ло-то? — осторожно переспросил алеут. — Его пьют, едят?.. Оно греет?

— Э-эх... моржовая голова! Не понимаешь? — досадливо поморщился Григорий Иванович. — Золото... желтое, сверкающее, как солнце зимой...

— Не греет?! — пренебрежительно протянул алеут, но тут же, чтоб не умалить своих знаний о богатстве Кенайской земли, добавил: — Есть... есть и такое — желтое и холодное...

Василий вспомнил блестящие колючие куски самородной меди. Их кенайцы давали кыхтаканцам в обмен на китовый жир, а кыхтаканцы, не владея, как и кенайцы, искусством обработки металлов, дарили эти медные кусочки женщинам на украшение.

Захваченный мыслью о скрытом в недрах Кенайской земли богатстве на уже близком — рукой подать — материке Америке, Григорий Шелихов загорелся желанием как можно скорее сделать разведку и поведал об этом своему надежному советчику, старому партовщику Самойлову. Самойлов выслушал Шелихова и многозначительно сказал:

— Не присоветую, Григорий Иваныч, золота искать, а паче того копать. Золотом, если найдешь его, человека в людях убьешь. Золото лихорадит человека, и рука за нож хватается. Золото ты найдешь — тебя, первого добытчика, и убьют...

Увидев недоумение и задорно поднятый кулак Шелихова, Самойлов пояснил:

— Беспременно убьют. За что? За то, что пай твой и купцов — компаньонов твоих нестерпимо велик покажется. Так уж повелось среди златоискателей... А на кой ляд тебе ради компаньонов со смертью в пятнашки играть! Земляной уголь — это я понимаю: хочешь руду плавить, корабли крепкие строить, торговать железом будешь. Прибыток с торговли — не то, что фартовое золото, под смерть не подведет...

При разговоре присутствовала и Наталья Алексеев-

на. Она, вопреки принятому обыкновению не возражать мужу при посторонних, тоже решительно восстала против его золотоискательских намерений.

— Хватит с нас пушнины, и та кровью обрызгана, — сказала она. — Не пушу тебя в Америку золото искать, Гришата. И земляного угля тебе не надо! Леса вокруг непроходимые, неистребимые, а тебе на камень чугун плавить занадобилось... Подумал бы лучше, Гришанька, не пора ли из этой проклятушей земли домой подобра-здорову возвращаться? У людей от оскомы щеки запали... Да, да, не пушу, вот тебе и весь сказ!..

Григорий Иванович долго еще обдумывал их доводы, а обдумав, охладел к поманившему его огоньку «фартового» золота. «Восемь десятых моей удачи оторвут Голиковы и Лебедев, а труды да кровь и впрямь окажутся полностью на мне да на людях моих... Не стоит в самом деле с золотишком путаться! А вот мужика, пахаря да добытчика, с купцом-промышленником допустить сюда мочно», — утвердился наконец в своем решении Григорий Шелихов.

— Ладно! — сказал он жене и Самойлову, возвращаясь как-то с берега от больших многолюдных байдар, которые готовлял к плаванию на материк. — Отговорили! Золота искать не буду, а на материк все же сплаваю... Я не Кук, про меня не скажут: «Чего ж ты, до Большой земли дошел, а на землю не сошел?» Сойду, огляжу и город заложу, пусть такой-разэтакий Славороссийск в Новом Свете крадется! Время придет, люди спросят: «Кто город срубил?», а века ответят: «Григорий Иванов Шелихов с товарищи!»

— Ни слова всуперечь! — сурово предупредил Шелихов возражения Самойлова и жены. — А ты, Константин Лексеич, отпустишь со мной фальконетишко самый дрянный да снарядов с десятков... Ей за нас и страха не будет! — кивнул он в сторону жены.

Наталья Алексеевна и Самойлов в этот раз не возражали, поняли, что решение упрямого «шкипера» окончательное.

Через несколько дней Шелихов на шести больших

байдарах, — в каждую было посажено по пять добытчиков, — отплыл на восток к Большой земле. Дойти до нее на веслах, по расчету Ва-шели, взятого проводником и толмачом экспедиции, можно было только за два дня и две ночи непрерывной гребли. Но это никого не пугало, так как, по совету Ва-шели, Шелихов отобрал каюров-алеутов из таких людей, которые уже не раз в жизни выдерживали в однолужной байдаре трехдневный шторм в открытом океане.

Перед отплытием Григорий Иванович снова оказался застигнутым врасплох женой, так, как и в Охотске. Будучи на берегу в толпе провожавших, Наталья Алексеевна воспользовалась отсутствием мужа, занятого установкой на срединной байдаре тяжелого фальконета, и молча забралась в люк головной байдары. Григорий Иванович заприметил под камлеей сидящую к нему спиной фигуру жены только тогда, когда, столкнув свою байдару с берега, стал усаживаться в кормовой люк. Рискую опрокинуть шаткую байдару, он схватил за капюшон камлеи и, запрокинув голову жены, увидел сияющие звезды — молебные глаза Натальи Алексеевны.

— Полоумная! — вскричал он, табаня байдару. — Куда? На смерть?!

— На жизнь с тобой, Гришата, и на смерть, ежели суждено... Нишкни! — приложила она палец к губам. — Вернешься высадить — удачу потеряешь...

— Вперед! — еще громче крикнул Шелихов. Он верил в свою счастливую звезду, которой давно уже стала для него Наталья Алексеевна.

В пути, наблюдая, как согласно и неумоимо работала его Наталья лопатистым веслом, Шелихов ощутил прилив гордости за жену пред товарищами: она ни в чем не уступала прославленным алеутам-байдарщикам.

На рассвете второго дня пути ветер с севера развеял волнение на океане. На необозримом пространстве под низким свинцовым небом вздымались водяные горы. Порывы ветра сбрасывали с их гребней клоки белой пены. Взлетев на пенный гребень одной волны, байдары стремительно низвергались в черную водяную падь,

с тем чтобы взлететь на вздымающуюся гору следующего вала. Океан хрипел и бурлил, словно в негодовании нивесть на кого. Груды людей дышали напряженно, но ровно, и руки ритмично перебрасывали пушинку-весло то на одну, то на другую сторону скорлупы-байдары, которую они гнали и гнали к неведомой твердой земле.

— Не скажу — шторм, а в полушторм мы попали, Василий! — потеряв из виду острова — они все время лежали на пути с левой стороны, — беспокойно заметил Шелихов сидевшему в голове байдары проводнику Ва-шли.

— Не бойся, греби! Полдня грести будем, в губу не войдем — к горам пристанем! — отозвался Ва-шли, имея в виду выбегавший в море гористый отросток Кенайской земли. — Ты, гляди, байдар не потеряй. Надо друг за дружкой, как палтусы в море, держаться...

Несмотря на все усилия гребцов, войти в фарватер просторной и длинной Кенайской губы не удалось. Северо-восточный ветер, выгоняя из залива воду, образовал в усеянном подводными камнями горле бешеный сулой — водоворот встречных течений. Из залива неслись огромные стволы деревьев, сброшенных в него прошлыми бурями. Каждое из них могло, как пушечное ядро, пустить ко дну кожаную байдару.

Шелихов понял опасность безуспешных попыток проникнуть в залив и решил идти вдоль южной стороны полуострова под прикрытием высоких береговых скал.

Этим курсом они шли весь день и всю ночь. Ночью, чтобы дать передышку на несколько часов измученным людям, Шелихов вел байдары в отдалении от береговых скал. И только в скупых сумерках третьего встающего дня Ва-шли увидел темную расщелину в береговых скалах.

— Туда! — указал он рукой на расщелину. — Я знаю это место — Медвежья губа... Там всегда тихо и люди живут...

— Хоть медведю в зубы, только на ноги бы встать да спину разогнуть, — согласился Шелихов.

Расщелина оказалась довольно широкой и вывела

байдары на гладь просторной спокойной бухты, в отлогих, заросших мелким кустарником берегах. Дымки в глубине бухты, там, где над водой у самого берега нависали куши леса, который сбегал с холмов, показывали, что здесь живут люди.

Высадке добытчиков никто не препятствовал. После шестидесятичасового плавания в байдарках люди едва владели ногами. Фальконет был вынесен и установлен на берегу. Ничто не нарушало безмолвия и безлюдья.

— Что ж, пойдем? — сказал Шелихов, думая, что бухта малолюдна и жители боятся показываться. — За всяку цену, а договориться надо, в этой бухте я город заложу... Пойдем безоружны, чтобы не напугать мирных людей...

По опыту, усвоенному из встреч с туземцами Америки, они взяли в руки крестообразно связанные палки, обвешанные в знак добрых намерений стекляшками цветного бисера и лент, и тронулись вглубь, к лесу.

Пройдя поросли раскинувшегося по берегу кустарника, Шелихов и Василий в нерешительности остановились перед выходом на обширную лужайку, окруженную лесом. На опушке леса стояло множество шалашей, а перед ними — толпа рослых индейских воинов, с луками и копьями, обращенными против пришельцев.

— Попались! — вздрогнул Шелихов. — Как курво ши угодили! Что делать будем? — и беспокойно потянулся к спрятанному за пазухой камлею пистолету.

— Ты, пожалуйста, не стреляй, — смерти! Добром надо, — шепнул Василий. — Мы пришли к вам с миром и дружбой! — крикнул он на кенайском наречии стоявшим в мертвом молчании воинам.

Но едва он шагнул вперед, как взвилась туча стрел, и в нескольких шагах от Василия и Шелихова закачался, вонзившись острием в землю, частокол копий, как бы предупреждающий: ни шагу дальше.

— Не надо нам дружбы! И мира с вами в этот раз не будет!.. Уходите! — ответил Василию, выступив из

толпы, старый индеец. — Куликало запретил убивать белых людей с бородами — он вашей крови, но... уходите! Куликало сказал: «Если не уйдут — убивайте», и мы убьем вас.

— Скажи: мы хотим видеть Куликало, пусть он решит, должны ли мы повернуть восвояси, — подсказал Шелихов Василию, и Василий послушно перевел это кенайцам.

— Куликало сказал: «Если не уйдут — убивайте!» — упрямо повторил старый индеец.

Шелихов понял, что ничего не остается, как только выполнить непреложное требование кенайцев — это единственная возможность остаться в живых. Надо вернуться под защиту фальконета, а там видно будет. Но как вернуться? Малейшее проявление боязни перед туземцами может повлечь нападение и гибель, — нельзя показать и тени боязни.

— Ладно! Идем назад, Василий! Скажи только крашеному, что один посошок — это дарение ихнему... как его... Куликале, а другой — ему... Да чтобы в спину не били!

Василий прокричал то, что счел нужным передать из подсказки Шелихова, и протянул старому вождю разукрашенные палки.

Индеец не пошевелился. Тогда Василий положил подарки на землю и вместе с Шелиховым, не оглядываясь, повернул к берегу.

На обратном пути Шелихов думал не столько об опасности погибнуть в зарослях от стрел и копий кенайцев, сколько о небывало бесславном возвращении в лагерь. Как объяснишь добытчикам, а в особенности жене, этот вынужденный и очень похожий на бегство отъезд? Шелихов понимал, что трех десятков людей и фальконета недостаточно для внушения покорности индейцам, действующим по указаниям таинственного Куликало.

— Слышь, Василий, ты попрдержки язык, никому не говори, чего было... Говори — встрелили нас не надо лучше, да пожалелись: черна, мол, оспа в поселении гуляет... Ну, мы и повернули и в море потому же уходим... Понял?

Василий радостно поддакнул выдумке Шелихова. Алеут не хотел, чтобы слава его, неустрашимого воина и тонкого дипломата, после такого неприятного оборота дела потускнела.

— Кабы не черна оспа, разве ушли бы мы... Эй, обкурите нас серой! — крикнул он и лукаво рассмеялся.

— Умен ты, Василий! Вернемся целы домой, тойоном тебя назначу, — поощрил его понятливость Шелихов. — Три жены заведешь!

— У-у! — в притворном ужасе замахал руками Василий. — Пропал Ва-шели, съедят меня бабы!

Выйдя из зарослей к своим людям под защиту фальконета, Шелихов снял с головы меховой колпак и истово перекрестился, став лицом к востоку.

— Нашел, Наташенька, золото! — сказал он подбежавшей жене и тотчас же поправился, заметив гримасу отвращения на ее лице. — Золотого человека нашел... Кликалой зовут! Я думал: врет Василий, когда он на Кыхтаке про него рассказывал, ан нет — живет такой человек среди индейцев и бережением русских благодетельствует...

Шелихов рассказал окружившим его добытчикам наскоро придуманную историю с черной оспой.

— В селение не допустили и отплыть поскорей посоветовали. У них, кто рябью не мечен, все лежамя лежат, черна оспа людей косит... По байдарам! — вскричал он. — До-омой!..

3

В 1785 году после удачного возвращения в Кыхтакскую крепость из плавания к огнедышащей Большой горе, — она грозно высилась на материке, русские прозвали ее горой св. Илии, — промышленники увидели, что магазин с мягкой рухлядью — дорогими мехами — переполнен, а бочки с порохом и огнестрельными припасами пусты, ни крупы, ни муки в ларях; да и срок контрактам подходит к концу. А тут еще и неуголимая тоска по родине. Она день ото дня разгоралась и звала домой.

Не знал этой тоски только Григорий Шелихов. Ему некогда было тосковать. Он весь был поглощен ежедневными подсчетами накопленного богатства и честолюбивыми мыслями самолично заложить на американском материке в облюбованных местах первые русские поселения. И какие он только не придумывал названия своим еще не заложенным поселениям: Славороссия, Екатериноград, Павлоград, рассчитывая войти ими в честь у государыни-матушки Екатерины II и ее наследника, будущего императора Павла Петровича.

— Да куда ты лезешь! Ишь напридумал сколько! Их именем и без тебя назовут! — сердито отзывалась Наталья Алексеевна, когда он делился с нею этими изобретенными названиями. — Ты о своих людях, Гришата, подумай, небось ихним попечением да трудами и в люди-то выходишь. Кто тебя картой плаванья благословил, путь-дорогу указал? — вспомнила она кстати, но не назвала своего деда Трапезникова. — То-то! А Самойлов Константин Алексеич, чьим умом да советом ты живешь? Пьяных Захарыч, — разве не он научил тебя паруса ставить, марселью от брамсели отличать? Их вот имена на память людям и закрепи...

— Уравнила! Ха-ха! — искренне хохотал мореход. — Славороссийск — и Самойлово, Павлоград — и рядышком Пьяных... Пьяныхград! Эх ты! Царствующие не поддержат — все прахом пойдет, все труды мои и человечков наших льдом покроет, вот как реку ту, что в Нучеке... Помнишь, сказывал тебе?..

Но зверобоев-промышленников мало трогали коммерческие и честолюбивые расчеты Шелихова. Они все чаще и чаще поговаривали о возвращении домой: пора, мол, и честь знать. Вечерами собирались перед пятистенным домом-жильем артели, на песчаной лужайке, и слушали песни, которые складывал и пел под жалейку Ваньша Чабриков, худенький парнишка с глубокими, как озеро в горах, серыми глазами.

Ваньше в первых боях пробили голову каменным топором, и он стал, как заметили позже, не в себе. По настоянию Натальи Алексеевны его освободили от промысла и караульной службы. Ходил он со своей жалейкой и складывал песни. Когда видел собравших-

ся в кучу людей, подсаживался к ним и пел. Ходил в шалаши алеутов и там пел. Алеуты ничем не обижали Ваньшу: по представлениям алеутов, человек, лишившийся ума, перешел во власть духов, обидеть такого — совершить святотатство.

Как-то раз в безоблачный вечер сидели ватагой зверобои и глядели в сторону Руси, где сазилось в океанские воды багряное солнце. Курили махорку и молча вздыхали, слушая жалобные переливы жалейки.

Отыграв вступление, Ваньша говорком, нараспев начал новую, только что родившуюся в душе песню:

Говорили нам люди старые,
Горем горьким наученные:
— Коль придется быть на конце земли,
Там найдете вы Буян-остров...
На Буяне том да на острове
Не сустренешь церкви божией,
Пред крестом не скинешь шапочки,
Не поклонись соседке.
А вокруг народ незнаемый,
Есть суседа, да не мирные,
И как вспомнишь, то — восплачешься,
Плыть бы молодцам во родимый край.

Шелихов и сам любил песни Ваньши и поощрял его мелкими подарками. Но на этот раз, сидя под волоковым оконцем своего прируба к общей казарме — «кажиму» — и раздумывая, как бороться с одолевающим ватагу неподходящим настроением, он в словах Ваньши почувствовал скрытый вызов намерению до конца использовать прибыльное дело и положить твердое основание своей мечте — открыть новую страну и первый город в ней назвать в честь российской славы «Славороссией». И место такому городу не на острове — токмо на материке. Постепенно именем будущего города Шелихов стал называть всю новооткрытую землю. В воображении его носились обрывки звучных имен и названий, навеянных чтением исторических книг. «Славороссия» была как-то созвучна в его представлении амбросии — легендарной пище греческих богов. Об амбросии он слышал в своих странствованиях ме-

жду Охотском и Камчаткой от многочисленных иностранных китобоев и бойких на язык искателей приключений, с которыми встречался и поднимал кружки с ромом или спиртом иркутского курения.

Из рассказов, передаваемых цветистым, но заплетаящимся языком, явствовало, что амбросия давала безмерные силы и вечную молодость тем, кто вкушал ее. В «Славороссии», подобно мифологической амбросии, мореход Шелихов стал черпать неистощимые силы в борьбе за нее.

И вот бесхитростная песня Ваньши как-то затемнила вдруг блистательное и гордое имя «Славороссия». Песня залила души людей тоской по родине, по нестроенной, нищей России. И «Славороссия» померкла даже в нем, Шелихове, создателе этого имени. Перед глазами морехода встал полузатопленный Охотск, зарывшийся в снега Иркутск, блестящий Петербург и кипучая торговая Москва, — а в этих двух столицах он побывал лет пять назад, — и давно покинутый родной Рыльск, над сонной, медлительной, покрытой ряской и белыми цветами купавы речушкой Рылой, впадающей в многоводный Сейм, где он мальчишкой купался и удил... Эх, наваждение!.. А все малец виноват. И взбешенно, высунувшись вдруг в окно, крикнул:

— Что воешь, как пес на луну! Прогоните дурака!..

Увидев обернувшиеся к нему хмурые и недоуменные лица зверобоев, Шелихов понял, что сделал ошибку, но удержаться не мог, выскочил на крыльцо и закричал еще яростней:

— Тебе рассказываю! Что зенки на меня уставил? Пшел, не то плетью огрею! И вы тоже — раз-зой-дись!..

— Ты это напрасно, Григорий Иванович, время-то пошабашное. Хотим — погудки слушаем, хотим — разговоры ведем, а тебе не нравится — уйди в избу и спусти оконце, — неожиданно для Шелихова твердым и спокойным тоном сказал старый партовщик Самойлов.

— Ах, вот как ты хозяину отвечаешь, Константин Лексеич! — вскричал Шелихов. — Вместо порядка, добронравия...

— Я тебе не урядник, мы тут все люди вольные,

Ты бы лучше, Григорий Иванович, ребятам сказал, до какого времени мы тут за мягкой рухлядью гоняться будем? — задетый уже за живое, ответил Самойлов.

И сразу как плотину прорвало: зверобои вскочили на ноги и, перебивая друг друга, зашумели, загалдели.

— Срок кабальным вышел! Да и запас огневой кончился! А приварок словно на воробья выдается! Налаживай, ребята, снасть, выбивай клинья, спускай корабли на воду! — гремели зверобои, не слушая Шелихова, пытавшегося утихомирить внезапно разгоревшиеся страсти.

«Эх, как это я!.. — упрекнул себя Шелихов. — Сам поджег! Среди воды сгорит Славороссия...» Вспыхнувшее в сознании магическое слово придало ему силы. Подавив ярость к неблагодарным, как он думал, обогащенным его промышленной удачей, мореход громыхнул своим могучим голосом:

— Слушай меня, горлопаны ярыжные! В сентябре на Охотск «Святителей» снаряжаю, двадцать человек пойдет, остальные со мной до будущего года останутся, пока вернутся «Святители» с запасами... Ну, чего шумствовали?

Но шум не только не утих, а возрос.

— Кто тебе сказал, что найдутся дураки остаться? Ты нас со свету изжить вознамерился, да не таковские мы!.. Навались, братцы! Мы у тебя вырвем лапы загребушие, купеческие... Эй, наддай! Прощупаем, из какого он теста! — ревели зверобои, и кто выставлял тяжелый мушкет, кто сверкал выхваченным из-за голенища ножом.

Еще мгновение — и шальная, неведомо чья пуля могла бы сразить Шелихова. Его смерть могла бы стать той роковой точкой, после которой сразу спал бы взрыв ярости своевольных и буйных зверобоев. Но неожиданно для всех морехода заслонила пробившаяся к нему Наталья Алексеевна. Как орлица защищает сбитого на землю орла, раскинула она руки и крикнула:

— Сначала на меня наведите и меня убейте, но его не дам! Забыли, все забыли! А кто вас провел через морские хляби! Кто вас от глупости вашей стерег? Богачеством наделил, куска хлеба не съел, ежели не

из артельного котла?! Не дам! — задыхаясь, выкрикнула Наталья Алексеевна.

Еще больше ошеломила зверобоев атлетическая фигура индейца-кóлоша Куча, возникавшая рядом с Натальей Алексеевной. Меднокрасное лицо индейца, испещренное свирепой голубой татуировкой, выражало непередаваемое презрение, в руке он держал копье, а голая грудь была вызывающе открыта любой пуле.

В Куче, резко отличавшемся по своему складу от плосколицых алеутов, зверобои видели истинного хозяина Америки и никогда не забывали, что вся шелиховская партия спасением жизни обязана ему. Это было в тот день, когда Куч, перебежав к высадившимся на Кыхтаке беспечным в своей смелости русским, предупредил их о вероломном нападении кыхтаканцев.

В бою с кыхтаканцами Куч проявил себя бесстрашным воином и, спасая похищенную в суматохе Наталью Алексеевну, поплатился за это ударом в спину алеутского каменного ножа. Григорий Шелихов настиг похитителей, отбил и вынес из боя жену и обеспамятевшего Куча. Наталья Алексеевна выходила тяжело раненного индейца, а мореход навсегда купил верность Куча обещанием доставить его на родину, лежавшую далеко на юге, против неведомого острова Ситха. Молчаливый Куч, усвоив необходимую для обихода сотню русских слов, остался среди промышленников, оказывая незаменимые услуги всей партии в промысле пушнины и раскрытии жизни людей незнаемой страны.

Григорий Шелихов в особенности отличал Куча и дорожил им, как надежным проводником и осведомителем о богатствах и нравах жителей найденной им Славороссии, центр которой, он правильно угадывал, должен быть заложен где-то на материке.

— Мой брат... Дух моих отцов усыновил его... Нельзя убить! Меня за него можно... Себя не буду защищать, а за него и за нее... — Куч метнул глазами в сторону Натальи Алексеевны, — за нее никого в живых не оставляю!

Наивные слова индейца рассмешили и отрезвили зверобоев. Как это допустили они нарушение первого и святого артельного закона — не подымать голоса,

а тем более руки против начального, пока не осудили его миром, не сместили за какую бы то ни было провину с атаманства!

И опустились дула ружей, исчезли ножи и топоры. Оторопевшие, стояли зверобои, растерянно поглядывая друг на друга: с чего и впрямь поднялись на покладистого хозяина, а уж Наталья Алексеевна — худого слова не скажешь!

Ошеломленный взрывом ярости своих добытчиков и неожиданным вмешательством жены, Шелихов все же не мог уступить «бунтарям».

— Ладно! — махнул он рукой и, отстранив жену, повернул к избе. — Пошли спать, добытчики! Завтра галиот снаряжать...

В избе, оставшись с женой с глазу на глаз, Григорий Иванович почувствовал себя как-то неловко перед нею, выступившей на его защиту и, может быть, спасшей ему жизнь

— Чем ты, государыня-боярыня, мою голытьбу заворожила? — прикрывая смущение, обратился он к жене. — Если милости твоей не убудет, ты и впредь меня, сироту твоего Гришку, защищай. Разбойники мои, как овечки, тебя слушают...

— А ты, Гришата, козлом перед людьми не держись! — просто ответила она. — Извелись все в американской мокрети, и нажива не радует: домой у всех душа просится, заскучали.

— Я через хляби морские пробивался не по печи скучать и тебя взял...

— Ты взял, а они таких же, как я, покинули. Не в хозяевах ходят, и ты не торопись в тузы выходить, — сказала Наталья Алексеевна.

На другой день люди с утра уже копзились среди стоявших на стапелях кораблей, подбирали части неисправного рангоута и потрепанного такелажа «Святителей».

В возне и хлопотах по починке идущего в обратное плавание судна прошел и конец лета.

Добытчики обсудили между собой, кого выделить в первую партию, а потом пришли к заключению, что возглавить эту партию ради большей уверенности

в обратной доставке продовольствия и огнеприпасов должен не старик Самойлов, которого наметил Шелихов, а он сам, Григорий Иванович. В его мореходные знания и удачу все крепко верили и еще больше полагались на то, что только шелиховская энергия и воля ускорят сбор и отправку всего необходимого со складов Охотска, не в пример медленному в таких случаях поспешанию купцов-компанионов и правительственных служилых людей.

— Не поеду. Мне тут делов непочатый край! — буркнул Шелихов, с притворной занятостью перебрасывая костяшки счетов. И не захотел дальше слушать выборных, пришедших к нему передать мнение ватаги.

Шелихов имел время раскинуть умом и обдумать положение, неожиданно сложившееся после, как он назвал, «бунта» в артели. «Худа без добра не бывает», — решил он и посчитал, что теперь, когда зверобой смягчились, целиком можно отдаться выполнению своих замыслов, не считаясь с интересами людей, приведенных в этот дикий край. Завороженный Славо-россией, мореход не хотел покинуть новооткрытую землю раньше, чем заложит поселения и опорные пункты на американском материке.

Еще в прошлом году при обследовании побережья Кенайского и Чугацкого заливов он обнаружил богатейшие залежи железной руды и самородной меди, вперемежку с выходящими на поверхность полями земляного угля, а приятель его Баранов Александр Андреевич, с которым он не раз встречался в разъездах своих по Анадырской земле, уверил, что на земляном угле руда выплавляется и куется легче и дешевле, нежели на древесном.

Григорий Шелихов представлял себя владельцем несметных богатств. Эти богатства смело могли поспорить со строгановскими посессиями на Урале. Железная руда, вместе с медью, лежала под ногами на берегах Чугацкого залива, в долине озера Илиамна и одноименного в районе этого озера вулкана, верстах в ста к северу, на Аляске, против Кыхтака. В кварцевых скалах, прорытых бурными притоками реки Медной над Чугачами, и реки Сузитны, впадающей в

Кенайский залив, Шелихов с сердечным замиранием обнаружил блески золота. А с истоков реки Атха (Медной), из-под небесного Белого пояса¹, индейцы принесли вдруг Шелихову самородную медь.

Григорий Иванович так уверился в заманчивом будущем своей новой земли, что мягкая рухлядь — пушина — показалась ему уже мелким, нестоящим делом. Открывались трудно угадываемые по своим последствиям возможности, такие, как создание рудоплавления, а затем на своем железе и океанское кораблестроение — и где? — на путях обширной мировой торговли с голодными на железо Китаем, Японией, Филиппинскими, Малайскими и другими островами счастливой Океании.

— Отечество прославлю, кусок хлеба людям найду и сам в обиде не останусь, понимаешь, Наташенька? Надо токмо в глубь землицы этой пройти, а для того «скотинку» привезти — белоглазых собачек колымского помета, а их раздобыть Баранов поможет — наменяет у чукотских людишек... Размахнусь! — сбрасывал он со счетов костяшки, которых не хватало для подсчета прибыли.

4

Для полного выяснения картины и нанесения на карту американской земли мореход задумал провести в 1786 году огромную экспедицию вдоль материка в солнечную Калифорнию: тысячу байдар с алеутами под охраной двух кораблей. И от такого дела его хотят оторвать, заставляют плыть в гиблый Охотск?! Но осторожность бывалого землепроходца и трезвость делового человека все же сказывались в Шелихове. На все нужно время и силы. Что у него есть сейчас? Огневые припасы на исходе, продовольствия нет, одежда поизносилась, людей не хватает.

Мореход зубами скрежетал и задыхался, сознавая свое бессилие. Как тут станешь хозяином Тихого океана! Англичанцы-то и бостонцы не спят... А он —

¹ Цепь снежных вершин северных Скалистых гор.

что может он?.. И при мысли об этом так становилось тяжело, что готов был хоть очертя голову ринуться то ли на жизнь, то ли на гибель.

Не в натуре Григория Шелихова было бездействовать, и он загодя стал подготавливать людей к задуманной экспедиции. Надо расположить к ней туземцев и внушить им высокое представление о могуществе русских, чтобы легче можно было набрать охотников и гребцов для завоевания Славороссии.

В один из зимних дней, когда земля покрылась первым снегом, он подложил под огромный валун бочонок порошу и провел к нему саженой на сто по длине прожиренный и обсыпанный порохом фитиль.

— Отстань! — сердито прикрикнул он на хранителя пороховой казны старика Самойлова, пытавшегося отстоять бочонок порошу от фейерверка, задуманного сошедшим с ума, как ему показалось, хозяином. — Этим зарядом я расположу алеутов к себе и тому делу, кое мною умышлено...

Из ближних и дальних селений на берегу собралось несметное число алеутов, приглашенных посмотреть «чудо».

— Глядите, как велико мое могущество и людей моего племени! — заявил Шелихов, пряча усмешку в отросшей бороде. — Я пошлю к этому камню огненную змею, и она съест камень... Тот, кто владеет такой силой, может многое... Глядите!

Шелихов поднес к фитилю огонь, и огонь змейкой, разбрызгивающей золотые искры, побежал к камню.

Алеуты, ничего не подозревая, переводили глаза с камня на вытянутую руку великого тойона, но, наскучив долгим горением фитиля, готовы были уже усумниться в могуществе Шелихова, как вдруг гул мощного взрыва поверг их ниц. Все видели, как огромный камень сорвался с векового места, взлетел в воздух и рассыпался мелкими осколками и каменной пылью.

У толмача, лисьевского алеута, хорошо знавшего великого Шелиха, дрожал и обрывался голос, когда он переводил слова всемогущего кыхтаканцам:

— Мне нужно тысячу байдар и на них два раза

столько храбрых воинов, которых я поведу на охоту в страну солнца. Примите честь, оказываемую мною, и через три дня вечером приходите ко мне с именами воинов, которых посылает Кыхтак... Я владею силой, какую вы сами видели. Со мной вы сможете сделать многое такое, что и вам пойдет на пользу...

Через три дня изумленные «чудом» алеуты стояли перед крыльцом избы Шелихова и с благоговением смотрели на новое проявление его могущества: большой кулибинский зеркальный фонарь, как солнце, висел над крыльцом и мощным потоком света, усиленного заложенными в нем оптическими стеклами, прорезал ночную тьму. Фонарь этот Шелихов приобрел по сходной цене в Москве, где познакомился с его изобретателем — самоучкой Иваном Петровичем Кулибиным.

Мореход широко оценил пригодность изобретения для странствований в «странах полуночных» и купил фонарь с запасом толстых восковых свечей: авось в путешествии понадобится.

— Тойон Шелих имеет власть сводить на землю солнце, полуночное солнце! — в благоговейном страхе шептались дикари и один за другим с готовностью, не спрашивая ни о чем, накладывали на разостланную юфтовую шкуру отпечатки омоченных в сажу пальцев, в знак согласия на неслыханную в этих местах далекую экспедицию.

— А вот как, — вспоминали зверобой, — Григорий Иванович заохотил алеутов к письму и чтению. Пишет, к примеру, в дальнее селение партовщику — русскому, вестимо, — указание по нашим делам, с ним мешочек леденцов либо корольков якобы в подарок посылает, а в бумажке пропишет: «Шлю столько-то леденцов (али еще чего), пересчитай тут же при гонце и спроси с него, ежели недостатку обнаружись». Умора была глядеть, как ошарашенно озирались они, когда спрашивали: а куда девалось столько и эстолько леденцов либо еще чего? «Откуда ты можешь знать, — отпирается гонец, — сколько их было? Их много». — «Бумажка сказала, что ты съел десяток», — отвечаем. Иные потом хитрить пробова-

ли: положит в дороге бумажку под камень или песком присыплет, чтоб не видела, сколько он вытащил мелочишек, а оно опять все в известность приходит... Ну и пошла меж алеутов слава: «Сильные знаки имеют лусы, черные по белому рисуют. Поглядят на них и знают, что ты закон нарушил...» «Все видит бумажка, сильнее шамана бумажка!» — пошла молва по острову. «Научи знаки писать и читать», — начали они просить. А коим не давалась грамота, те детей приводили. «Я стар, говорят, не дается мне мудрость, детей обучи!» Этаким манером Григорий Иванович и от воровства их отучил порядочно и в грамотеи произвел. Пришлось всех грамотных и письменных из добытчиков в учителя поставить!

Зверобой и сами восторгались выдумками своего атамана, бескровным путем закреплявшего лад и согласие кыхтаканцев с русскими.

— Умен, ох, умен Григорий Иванович, выдумал такое! Ему бы министром быть, и не в Сибири, а в самом Питербурхе... Навсегда замирил американцев! — переговаривались между собой добытчики, обсуждая со своей точки зрения поступки Шелихова.

Но об экспедиции в Калифорнию никто из промышленников и думать не хотел: «Блажит, а может, куражится в отместку за спор», как называли рабочие недавнее столкновение с хозяином.

Наталья Алексеевна и пылавший великой страстью к славе родины и русского имени старик Самойлов с тревогой приглядывались к непонятному поведению Шелихова. После «бунта» Григорий Иванович перестал говорить о своих замыслах, которым раньше уделял много места в беседах. В этих разговорах с близкими людьми он любил прощупывать слабые места своих намерений. Выбрав удобный момент, в присутствии одной только Натальи Алексеевны, старик Самойлов после вербовки алеутов в байдарочную армаду подступился к мореходу.

— Григорий Иванович, в Калифорнию плыть — добром не кончится. Пороху-то всего два бочонка осталось, и тем, что на Кыхтаке останутся, в обрез придется... А на алеутов, — добавил он после некоторого

молчания, — на них полагаться нельзя, особенно ежели приметят, что огнеприпасы у нас вышли. Плыть в Охотск надобно и в том же году назад возвратиться, чтоб на лепелище не прибыть.

— Ты и поплывешь, Константин Алексеич. Так и говорили — стариков послать, в родной земле костям покой могли бы найти, и ослабших, которым мука и крупа нужна да печь с бабой...

— А я покоя костям не ищу и в твое место с охотой встану, если поедешь для ради людей в Охотск, — просто ответил Самойлов.

Противу мужа встала и Наталья Алексеевна.

— Гришата, — прижав руки к груди, просительно сказала она, — брось ты эту Камиформию. На кой прах эта американская земля русским людям сдалась? Готова с тобою и в этой мокрети навеки остаться, токмо на детонек, на доченек хочу еще раз глянуть... Неужто я того перед тобою не заслужила? А еще тебе скажу: за... затяжелела я и боюсь в Камиформию плыть, а одной остаться еще боязней. Сплывем в Охотск, разрожусь, пока соберешь припасы на корабль, — и опять возвратимся, токмо уж с сыном... его никому не оставлю!..

Шелихов сдвинул брови. Уставился на жену. Молчал.

Наталья Алексеевна попала в самое слабое место души морехода — он жаждал иметь сына, наследника и продолжателя заповнившего его дела. Выпавшими на его долю двумя дочками, чужекровной и своей, которых любил, он в глубине души был неудовлетворен, хотя и виду в том не подавал Наталье Алексеевне. Признание жены и уверенность ее, что родит сына, затмили его стремление к богатству и славе простой человеческой радостью.

— Что, сынок, — тепло отозвался Самойлов, — неужто и для такого случая от неверного марева не откажешься?.. С наследником поздравляю, ваше степенство! — шутливо сказал старик. — Ты корабль ведешь, а я остаюсь...

Григорий Шелихов почувствовал, что отклонить приведенный женою резон — значит потерять жену

и сына, а с ними и самый смысл своих достижений. Приняв решение плыть в Охотск, мореход ни о чем уже больше не думал.

— Давно понесла? — заботливо спросил он жену.

— Успеем доплыть! — благодарно ответила ему Наталья Алексеевна.

В эту долгую зимнюю ночь, ворочаясь на скамье у стены, Григорий Иванович вспоминал события последних лет жизни, свое поведение и отношение к людям, с которыми сталкивала судьба, и встал утром с решением загладить былые промахи, исправить ошибки.

— Константин Лексеич, прикажи писарьку нашему приговор составить и поименные реестры на добро добытчиков заготовить... Приказчиков компанейских и начальство в Охотске ты знаешь! Всю пушнину своей объявят и расхватают, а судиться с ними, — с богатым да сильным на правеж в ряд не становись — запутают! Писарское писание мне подай, я в контрактах и запродажных записях собаку съел, подправлю где надо, чтоб людей не обидели. Меня на мякине не проведешь! — деловито распорядился Шелихов.

На другой день в кажиме, у жарко растопленных каменных печурок, под развешенным на просушку портяночным тряпьем, в тяжелом, спертом воздухе, смешанном с запахами зверя, рыбы, одежды и другой поскони, сидели и лежали полуголые, хмурые, обросшие буйными бородами люди. Настроение у всех было вызывающее, ожидали споров и обид от компании, защитником интересов которой, а с нею и своих, не раз выступал мореход.

А он что-то задерживался, медлил являться на артельное сборище, и люди не знали, что как раз в это время к мореходу в избу пришел всеми забытый «капитан экспедиции» Михаил Сергеевич Голиков, хвадивший перед тем для храбрости ковшик вина.

— Ты домой уходишь, а я для чего в сырости этой останусь? — хмуро сказал он и потребовал, чтобы мореход взял его с собою.

Шелихов покосился на него и усмешливо хмыкнул:

— Боюсь, ей-бо, боюсь: Иван Ларионович голову

снимет, что из дела хозяйский глаз вынул... Не проси, и рад бы, а не решусь, — издевался он над тощим капитаном, надевшим для внушительности лохмотья когда-то блестящего мундира.

Голиков постоял, помялся у порога.

— Право, рад бы, а не решусь, — повторил мореход.

— Погоди уж, волчья душа, в Иркутском за все разочтемся! — вскричал вдруг капитан и хлопнул тяжелой дверью.

— Не опоздай, миленький, к расчету не опоздай! — сказал ему Шелихов и тоже направился к выходу.

Он вошел в кажим, скинул меховой колпак и, пригладив смазанные тюленьим жиром блестящие волосы, поклонился во все стороны. Необычное выражение его лица остерегло добытчиков от озорных и задиривых шуток, вызывавших морехода на занозистые, напавшиеся зверобоям ответы.

— Против воли мира не иду, товарищи походные, — сразу сказал Шелихов. — Беру под свое начало корабль, как указано, и доведу до Охотска, а в сей час обсудим и разделим, кто чем владеет, какой наказ дает, кого в Рассеюшке и чем обрадовать и сюда поворотным рейсом доставить.

Добытчики даже рты открыли — до чего начало речи морехода понравилось им — и примиренно ожидали продолжения.

— Реестры майна, цены — по каким продать, дорученица — кому чего надобно и на все ли деньги, да и какой наказ компаньонам — сколько и чего представить должны и они для промысла. Приговорим, подпишем, за бесписьменных понятия крепят, и со мной отошлем, а я... я все выполню, крест на том целую...

После проверки реестров заработанного и закрепленного за каждым пая — участия в деле — Шелихов широко перекрестился и, сказав: «Начнем, благословясь, братцы!» — продиктовал писарю начало по принятой обязательной формуле:

— «1785 года, декабря. В американских странах, на острове Кыхтаке, на галиоте «Трех святителей»:

Василия великого, Григория богослова, Иоанна златоустого, да на коче «Симеон богоприимец и Анна пророчица», рыльский купец Григорий Иванов Шелихов с товарищи и со всеми при гавани лично находящимися мореходцами учинили:

1. Определили мы, каждый из усердия к любезному отечеству, по своей воле сыскать неизвестные досель никому по островам и в Америке разные народы, с коими завести торговлю...»

— К черту торговлю!.. Чего там купцов иркутских медом по губам мазать! — перебил зверобой Кухшеня, огромный лохматый мужик. — Писать надо об ином, о том, чего мы из-за торговли этой претерпели...

— Правильно! — закричали добытчики. — Ты, Григорий Иванович, допрежь поставь наши жалобы, чего мы за купеческую наживу натерпелись, чтоб запершило купцам от меду этого!..

Шелихов согласился без возражений:

— Быть по-вашему! Пусть второй статьей идут наши докуки и беды. Пускай прочувствуют, как нажива ихняя нам доставалась... Народу нашего, посчитать, немало перемерло!

— А третьей статьей, добытчики, проставьте недоплату нашего обихода! — раздался голос Натальи Алексеевны, пробравшейся следом за мужем в казарму. — Кашевары из силы выбились — варить приходится без локши¹ и круп, да и варить не в чем...

— Тоже дело! — охотно откликнулся Шелихов на голос жены, а сам подумал: «Пробралась... боится, не пришлось бы выручать меня, как летось было...» — Запиши про котлы худые, писарь! И про снасть рыбацкую...

Писарь писал третью по счету статью и послушно бубнил:

— «...И потому для промысла рыбы на неводы прядева тонкого мало, и котлы, кои день и ночь с огня не сходят, прогорели...»

— И выходить по сим неминуемостям потребно на

¹ Лапши.

будущее лето в Охотск! — решительно закончила Наталья Алексеевна, почувствовав, что муж таится и не досказывает до того конца, который всем нужен.

— Правильно! — закричали добытчики.

— Ежели думаете — правильно, запишем и это! — махнул рукой Шелихов. — Довольно пустое писать, братцы: от многописания не бывает толку... Подведем к главному, да покороче!

— Говори уж ты, Григорий Иванович, да в самую мету угоди! — согласились утомленные непривычным трудом добытчики.

— «По сим обстоятельствам рассуждая, все единогласно, усердствуя отечеству, решили продолжать наше пребывание здесь», — продиктовал Шелихов. — И еще:

«4. Но в мае будущего 1786 года к первым числам снарядить судно «Трех святителей» и итти при компаньоне Шелихове, с божьей помощью, в Охотск.

5. При благополучном прибытии в Охотск принадлежащие всем, компаньонам меха на свои пай к себе взять, а достальные бобры, лисицы, выдры, хвосты, лоскуты бобровые, принадлежащие по разделу остающимся здесь нашим людям, продать, с тем чтобы на вырученные деньги искупить потребные каждому вещи...»

Дальше шла шестая статья, но народ слушал уже вяло, пока Шелихов не повысил голоса.

— А на последях, братцы, придется записать, чего нам хозяева безденежно прислать обязаны. Токмо взвоют толсторылые, умягчить их надобно смирением... — прервал он диктовку, оглядывая добытчиков. Потом, переждав гул одобрительных голосов, раздавшихся в ответ, начал говорить наставительно:

«7. Для лучшего успеха общей пользы не возбращаем вам, компаньонам, помимо нас, мореходов, платных людей сюда договорить и прислать...»

Писарь скрипел пером, едва успевая за словами Шелихова.

— И последнее! — сказал Шелихов: — «8. Сверх того, вам же, компаньонам, надлежит для компании прислать в награду пятьдесят пуд тонкого на невода

прядева, сто бычьих лавтаков, тридцать пуд больших котлов...»

Здесь собравшиеся уже не различали его голоса, он говорил, низко наклонясь над ухом писаря, да подробностями артель и не интересовалась, они насторожились только тогда, когда мореход сказал внятно:

— «...И судно стараться, нимало не медля, отправить из Охотска сюда того же лета, чтобы по заступлении на наши места присланных от вас людей мы свободны были с божьей помощью выходить отсюда в Охотск.

На подлинном подписали разных городов и разного звания мореходцы, состоящие при компании Голиковых и Шелихова.

*Остров Кыхтак,
который от россиян назвался Кадьяк.
1785 года, декабря 11 дня".*

— Подписывайтесь, добытчики, а неписьменные противу имени своего крест ставьте... Распущаю сбор! — закончил Шелихов.

Таким артельным приговором закончен был и первый этап устремлений Григория Ивановича в Америку.

20 мая 1786 года с огрузневшей, но бодрой и сияющей Натальей Алексеевной Григорий Шелихов вышел из Трехсвятительской гавани в обратное плавание в Охотск. Из Америки он вывозил до полутора десятков алеутов и индейцев, пожелавших увидеть Россию — родину великого тойона Шелиха. Он был уверен, что с этим же судном, хотя бы поздней осенью, вернется в Славороссию.

Глава вторая

1

Обратное плавание проходило поистине под добрым ветром и с удивлявшей всех быстротой. Галиот «Три святителя», до отказа загруженный драгоценными мехами, добытыми для компаньонов, и особо затюканным добром работных, нес на себе груза на два

с половиной миллиона рублей. С такой добычей, как ни вспоминали старовояжные, не раз бывавшие в подобных плаваниях мореходы и добытчики, никто еще не возвращался.

Но для себя из отчаянной экспедиции Шелихов вывозил самый дорогой груз — Наталью Алексеевну с ожидаемым наследником. Минувя попутные острова, на которых два года назад Григорий Иванович оставил добытчиков, он согласился остановить бег галиота на несколько часов только в центре архипелага, при острове Атха. Здесь нужно было посадить возвращаемых на родину искалеченных в боях и на промысле лисьевских алеутов и насельщиков других островов.

— А отсюда как? Рук-ног у нас нет, не доберемся к домам, — сетовали высаживаемые.

— Кто как изловчится, — отвечал Шелихов. — Я вам не каюр... Помалкивай, Наталья Алексеевна, у тебя одна заботушка... — недовольно осадил он жену, пытавшуюся заступиться за беспомощных алеутов. — Эй, поворачивайся и в обрат поскорей! Через час снимусь, кто не вернется — брошу на острову... Эй, слуша-ай!

Прохор Захарович Пьяных, ревностно держа дисциплину, подбодрял съезжавших цветистой боцмановской словесностью.

Однако поведение Шелихова на Атхе, которое многие вояжные не одобряли, разом забылось, когда через месяц благополучно вошли в родное Охотское море, оставив позади себя грозный, усеянный множеством подводных скал и камней пролив Лопатку, между песчаным мысом на юге Камчатки и первым Курильским островом Шумшу. В проливе этом нашло себе могилу великое число кораблей и мореходов.

— Кто Лопатку пробег, тот сопатку сберег! — шутили обычно промышленники в предвкушении грубых сибирских развлечений в Охотске, хотя бы в кабаке Растопырихи, — развлечений, доступных лишь на то время, пока в мошне есть деньги, добытые великим трудом и риском.

Приближаясь к Охотску, Григорий Шелихов день ото дня становился все угрюмей и раздражительнее,

Подолгу сидел в каюте, прикидывал на счетах какие-то суммы, записывал на бумажках и с досадой шептал:

— Оберут... обсосут... Всего лишат и меня и людей!.. Надо бы в Петропавловск зайти, может, на счастье сиротское, кого из иностранных купцов и встретил бы да полным рублем за свое и людское без дежки и взял бы...

Шелихов с ненавистью вспоминал повадки охотских властей и особенно командира порта полковника Козлова-Угренина, который содержал, помимо семьи и огромной дворни, несколько гулящих девок, ходивших по городку в дорогих китайских шелках. «Как же, в барских барынях ходят!» — мрачно усмехнулся мореход, припоминая размалеванные баданом¹ грубые лица фавориток его высокородия господина полковника. Вот на этих шлюх и пойдет половина его кровью добытой удачи...

Есть еще там совестный судья коллежский асессор Кох, Готлиб Иванович. Эта тощая пиявка все мошенства полковника знает и великую власть над ним забрал. От него, от этого Коха, тоже дешево не отделаешься. Проклятый немчура даже таксу установил: купец ты, значит должен десятину с доходов твоих судьбе отдать. И сам же эту десятину полагает.

А миновать Охотск никак нельзя. Надо, первое дело, Наталью Алексеевну доставить в свой дом, купленный еще до переезда в Иркутск, а второе то, что в Охотске живет известная повивальная бабка Кузьминиха, жена корабельного мастера деда Кузьмина, руками которого отстроены все вышедшие из Охотска в море корабли последних тридцати лет. Ученый доктор обосновавшийся в Охотске экспедиции капитана Биллингса англичанин Робек как акушер не интересовал Шелихова: где это видано, чтобы женщина, да к тому же жена именитого купца, рожала в присутствии чужого мужчины. Вся надежда была на Кузьминиху.

Следуя торговому навыку, Шелихов заодно прикинул расходы, связанные и с этим предстоящим торже-

¹ Красящий корень, употреблявшийся в Сибири как румяна.

ством. Кузьминихе — двадцать бобров, попу с причтом за крещение — пятнадцать шкур, куме и куму — по десяти, потом гости и почетные поздравители, их тоже с пустыми руками не отпустишь — сотней бобров, да еще отменной доброты, никак легче не отделаешься, а это... это, почитай, пять тысяч рублей! Да охотским пивкам пятьдесят тысяч за здорово живешь отдай. А на это ведь два корабля океанических для Славославии построить можно!..

А доходы? Ссужавшие экспедицию тузы-богатеи Голиков и Лебедев выговорили себе львиную долю наживы — восемь частей, предоставив Шелихову только одну часть, так как последняя, десятая, идет на всех промышленников — мореходов и зверобоев, которые под почетным, но скупно оплачиваемым титулом «компанионов» вынесли на своих плечах всю тяжесть промысла.

— Наташенька, — поделился он своими выкладками с женой, давно с любопытством следившей за его манипуляциями и вырывавшимися возгласами, — нам с почину и двуста тысяч американская земля не даст...

— Награждения свои промышленным ты и вовсе не посчитал, а отдать беспрременно придется, — напомнила ему Наталья Алексеевна об обязательствах, выданных от себя многим промышленным. — На сколько их будет?

— Запаятовал, из головы вон! — побледнел Шелихов. — Совсем убила!.. Нищим в плавание пошел, нищим и вернулся... Что будем делать?

— А вот что... — И деловито, спокойно, как будто не он, а она была купцом первой гильдии, отвела от мужа огорчение. — Расходов на крещение не будет: не дам сынка в никонианскую купель макать, рожу и в Иркутске у себя в моленной окрещу, гостей званых и незваных не набежит, а Кузьминихе за то, что пособит и со мной поживет, заглаза десяти бобров довольно, — вот со счетов пять тысяч и скины! И пятьдесят тысяч — тоже, охотским хапугам ничего не давай. Меня ссадишь, в дом проведешь — и плыви в Петропавловск, там оглядишься и придумаешь, что делать. Исправник камчатский Штейнгель посулов не

берет, а растолкуешь, как и чем тебя опутали, — глаза прикроет, даже если ты и продашь шкуры чужеземным китобоям.

Высказанные Натальей Алексеевной мысли полностью совпадали с намерениями Шелихова, пойти на которые он не решался из боязни упреков в том, что оставляет ее одну да еще пускается на рискованное предприятие. В те времена плавание из Охотска в Петропавловск-на-Камчатке считалось делом опасным, и половина отправлявшихся в него мореходов не доходила до цели.

— Ты гляди, Гришата, делай, как сумеешь, но интерес людей наших, товарищей по тягестям безмерным, соблюди и все, что обещал, до копейки выплати, иначе... худо нам будет. А деньги — о них не думай: с companions своих судом возьмешь, по доверительной бумаге ты вправе усердных за счет компании поощрять...

— Ох, спасибо тебе, Наташенька, — облегченно вздохнул Шелихов, — ты беду мою как руками развела...

После разговора с женой Григорий Иванович собрал своих мореходов, взял с них клятву не проронить ни словечка и, обрисовав положение, предложил идти на Камчатку.

— Там и товаров, нам нужных, на складах больше. А в Охотском Биллингсовы людишки все давным-давно порастащили! — сказал он, не совсем уверенный, что довод этот покажется мореходам достаточно убедительным.

Но мореходы согласились и решили стать на рейде в четырех-пяти верстах от берега, спустить на берег Григория Ивановича с женой, а также самых слабых из команды и пассажиров «Трех святителей». А вернется Григорий Иванович, сняться завтра же с якоря и идти на Петропавловск.

Доставив жену в безлюдный дом, стоявший с заколоченными дверями и окнами, Шелихов нашел в городе Кузьминиху и предложил ей переселиться в избу к Наталье Алексеевне. Хитрая старуха сразу сообразила, что мореход вернулся не с пустыми руками,

и выговорила за помощь в родах Наталье Алексеевне двадцать бобров.

К вечеру, поцеловав в последний раз жену и всячески избегая встречи с охотскими начальниками, терпеливо выжидавшими в своих канцеляриях появления морехода с посулами, Шелихов вернулся на корабль и утром на заре снялся с якоря, чтобы идти на Камчатку.

К полному своему удовольствию, он в самую последнюю минуту вдруг увидел спешившего на байдаре к кораблю асессора Коха. Кох понял, что Шелихов в судную канцелярию теперь уже не зайдет, купец хитрит, но и Кох не прост: он навестит морехода на корабле сам. И все же Кох опоздал.

— Улетел воробей, сыпь, сукин сын, соли на хвост! — орал, надсаживаясь, Шелихов, примечая, как отстает байдара от набирающего ход корабля.

К концу третьего дня плавания воображаемые гримасы и брань разочарованного в своих ожиданиях Коха уже не сместили Шелихова. Веселое настроение померкло. Начался дождь, и стали давать себя знать рывки шторма, до силы которого дошел обычный в этих широтах к концу лета резвый муссон.

В попытках обойти далеко высунувшийся в море острый нос Камчатки мореход и его команда выбились из сил. Штормом далеко отнесло корабль от курса — галиот был уже у Большерецкого устья на западном, противоположном Петропавловску, берегу. Но и войти, на худой конец, в безопасное устье реки при таком шторме дело очень трудное — здесь встречалось много преграждавших вход мелей и подводных камней. А между тем продовольствие на «Святителях» кончилось, так как запастись продуктами в Охотске не было ни времени, ни возможности. Надо было что-то предпринимать.

— Погодишка всему делу поперек встала, — ворчал Пьяных, как бы утешая Шелихова в неудаче замысла. — Подал бы господь благополучными в Большерецк проскочить...

Продрейфовав в виду Большерецка сутки без воды и пищи, Шелихов после безуспешных попыток заяко-

риться принял решение съехать в байдаре на берег и подготовить доставку на корабль по окончании шторма воды и рыбы.

— Дойдешь ли?! — усумнился Пьяных, глядя на бушующие волны, но отговаривать не стал и приказал готовить байдару.

Спустя короткое время двухлючная байдарка, как легкая щепочка, взлетела на гребне набежавшей волны. Во втором люке сидел верный Куч.

— Держись, Захарыч, глаз не спускай с Большерецка. До свиданья, товарищи добытчики! — крикнул Шелихов, и через мгновение щепка, которой человек доверил себя, исчезла в пене крутящихся валов. В Америке, насмотревшись на алеутов, гоняющихся в бурном море за китами, Шелихов приобрел к кожаной байдарке, как средству передвижения по морю, величайшее доверие.

Через два часа большая толпа камчадалов приветствовала отважных байдарщиков на берегу торжественной пляской.

Шелихова знали в Большерецке, знали и о том, что он три года назад ушел в плавание на Америку. Поэтому камчадалы особенно радостно приветствовали необыкновенное возвращение морехода. По местному обычаю, Шелихов должен был, не минуя никого, зайти в каждую избу и ярангу, и везде, куда бы он с Кучем ни входил, им подносили туесок с напитком. Этот туесок нужно было обязательно выпить, чтобы не нанести смертельной обиды гостеприимному хозяину.

— Тыфу, опять же мухоморовая! — сплюнул Григорий Иванович, возвращая туесок.

— Холошâ, холошâ! — лепетали простодушные камчадалы, нахваливая свою дурманную, настоенную на грибах мухоморах водку.

Начальник селения казак-урядник Большеротов рассказывал последние новости Камчатки.

— Рыбой красной четыре ямины завалили, китов...

— Мне пуд сто рыбы надобно, дадите?

— А куда ее девать-то, целу ямину отвалим. Ты нам только солью-чаем пособи, второй год рыбу туше-

нием заготовляем, соли нет. В Петропавловск англичанин пришел... Василий Петрович... или как его бишь, запамятовал... торговать намерился, и все у него есть: пшено сарацинское, соль, чай, китайка, водка французская, крепкая. Бабы затормошили: съезди да съезди, мы, мол, без рубашек ходим, долго ли до греха... Я и съездил, только не допустил исправник Штейнгель, заборонил расторжку: «У нас, говорит, у самих все есть и ни в чем мы не нуждаемся, да и беспощлинно торговать правительством запрещено». С тем домой и вернулся. Ты бы, Григорий Иванович, через хребет махнул, в Петропавловское наведалься бы. Мы тебе для такого занятия и лошадей дадим.

Не прерывая, Шелихов слушал казачьего урядника. Иностранный купец — ведь это и есть то самое, ради чего он предпринял плавание в Петропавловск. Мягкую рухлядь, привезенную на «Святителях», он обменяет на английские товары, сам наживет и людям без труда свои «добавочные» вернет.

— Ладно! — важно ответил он и виду не подал, как заинтересовали его новости Большеротова. — Лошади мне твои не нужны, у меня корабль есть. Завтра на него вернусь и в Петропавловск пойду, а ты мне со своими людишками рыбу и воду на корабль представь, я же за вас, сирот, так и быть — расторгуюсь...

2

Шелихов с Кучем остались спать в избе Большеротова. А когда на зорьке встали и вышли на кекур¹, с изумлением увидели, что «Святители» исчезли с горизонта.

— Что скажешь? — обратился мореход к Кучу. Куч только плечами пожал. — Видно, на Пенжинскую понесло, — предположил Шелихов. — Придется и нам туда вместо Петропавловска сухопутьем тянуться... Да, совсем ко рту было поднесли, и вот на, мимо обнесли! — сказал он, подумав, что встретиться с при-

¹ Выступающий в море утес.

бывшим в Петропавловск английским торговым мореходом так, видимо, и не придется.

— Давай лошадей! — вернулся он в дом Большеротова и тут же, начав расспрашивать о дороге на Пенжинскую губу, выдал свое изменившееся намерение.

— На Пенжинку лошадей не дам, — отрезал Большеротов. — Сам загинешь и лошадей загубишь — шутка сказать, восемьсот верст пройти. Хребтом не пройдешь — медведи на лошадей позарятся, а берегом коряки и ламуты не пропустят... они сейчас немирные... Да и что толку, если и доберешься! Ты придешь, а Пьяных «Святителей» уже в Охотск увел. Зимой, — на носу-то зима! — на конях от Пенжинки к Охотску не спустишься, это тебе не на байдарках море в шторм переплыть. Придется олешек или собак добывать, а на таком деле беспреренно голову сложишь...

Шелихов признал доводы Большеротова разумными. Оставалось, таким образом, лишь одно: осуществить первоначальное намерение — перебраться через хребет, мимо сопки Вилючинской, в Петропавловск. Денег, правда, при себе мало, мягкая рухлядь осталась на корабле, но если петропавловский исправник Штейнгель дозволит растержку, англичец, может быть, и согласится под его государственную гарантию принять векселями на Москву или Петербург. В таком случае он, Шелихов, тоже заработает, но только уже в свой карман, без дележки с кем бы то ни было. Ну, а если и ничего не выйдет из попытки торговать без наличных денег, то... Шелихов тут задумался. Только что входившие в торговую практику векселя Григорий Иванович считал необходимым внедрять в обиход сибирской и заокеанской торговли — не будешь же возить за собой сундук с деньгами. Да, — примиренно пришел к выводу мореход, — если он ничего не купит, то хоть расспросит и узнает от английского капитана координаты пути в Кантон, на Филиппины, Малакку и Индию. А знать теперь это для Шелихова такое дело, что за него он и сам готов большие деньги заплатить.

Оставив Большеротову залог за грех лошадей, Шелихов на следующий день вместе с Кучем выехал в Петропавловск. Третья лошадь шла под выюком с продовольствием.

Они прибыли в Петропавловск на седьмой день трудного пути, следуя мимо действующих сопкок Апаचा, Паратунка и горячих у их подножия ключей, в которых смогли варить себе рыбу и подстреленную дорогой дичину.

— Твоя страна и моя страна — как руки у людей, — радостно выставил Куч перед глазами Шелихова ладони с растопыренными пальцами. — Руки одинаковы, а люди разные: ты белый, а я красный.

— Пустое, — отвечал Шелихов. — Мы к тебе .придем — всех одинакими сделаем...

На спуске к Петропавловску Шелихов и Куч невольно остановились, залюбовавшись величественным видом Авачинской бухты. Между четырьмя курившимися сопками лежало глубокое зеркало вод. Двадцативерстным широким клином это зеркало врезалось в яркую зелень берегов, испещренную белыми стволами берез.

— Хороша! — вырвалось у Шелихова. — Прямая дорога в Америку! Одна беда, полгода льдами заперта лежит...

Шелихов даже от цели своей поездки оторвался и перенесся в мир глубоко затаенных желаний: «Коввер бы самолет добыть, сел бы на него и за полдня в Америку перелетел... Али сапоги семиверстные...» И тут же в тревоге за судьбу Натальи Алексеевны подумал: «Влез бы в них с вечера среди камчадалов, а на другой день с Наташенькой в Охотском чай бы пил. Сказки! Чудесные бы такие снаряды заиметь, чтобы одолеваять и время и пространства! Сбудется ли это?..»

Невдалеке от берега стоял корабль красного дерева, обитый латунью до верхнего борта, с двенадцатью пушками, расставленными на палубе. «Это тебе не русские купеческие галиоты, деревянными гвоздя-

ми шитые», — мелькнуло в мыслях Шелихова, когда он осматривал понравившееся ему судно.

Не открывая своих торговых намерений, он прежде всего постарался разузнать, откуда пришли иноземцы и сколько шли.

Дородный капитан корабля «Юникорн» Ост-Индской компании Виллиам Питерс выступал павлином и говорил:

— Из Бенгала вышел двадцатого марта, в Кантоне чай брал двадцать восьмого июня, в Петропавловск пришел девятого августа...

«Ладно, хвались, хвались, — ничем не выдавая своего удовлетворения, подумал Шелихов. — Ты пятьдесят градусов по широте за сто сорок дней осилил, а я семьдесят градусов по долготе за тридцать пять дней сумел пройти. Твое судно латунью обито, а мое червем морским изъедено, ракушками облеплено... Вот и поглядим, кто хозяином морей станет».

На корабле Григорий Иванович пил подносимое англичанами виски и осторожно разведывал о торговых намерениях заморского гостя. На берегу же уговаривал Штейнгеля не допускать англичан до торговли по мелочам, а позволить ему, Шелихову, купить весь английский груз и поручиться за него в уплате по векселю на Москву, в срок два месяца по предъявлении, из шести процентов годовых.

Капитан-исправник Штейнгель согласился, и Шелихов объявил Питерсу, вставляя для полноты убеждения уловленные из прежних встреч дружеские слова на английском языке:

— My friend — дружище, чтоб не ворочаться тебе с грузом и не вызывать хозяйского неудовольствия, готов я у тебя, for friendship — дружества ради, весь груз покупить, ежели цену сбавишь и векселями возмешь... Money, казны то есть, при себя не имею, по власти поручатся, что я все заплачу...

Капитан Питерс, приписав это предложение соблазнительному действию виски, даже удивился. Но думал недолго. У него было поручение Ост-Индской компании проникнуть в неведомые, на краю света, владения русских и во что бы то ни стало завести там с ними

торговлю. Чего же лучше! И Питерс на условия Шелихова согласился, дав со своей стороны обязательство уплатить при расчете установленные русским правительством пошлины.

— Ах, и мошенник же ты, Григорий Иванович, как сумел с англичан заматорелую гордость сбить да заодно с нею и цены на товары скинуть! — восхищенно отозвался камчатский капитан-исправник Штейнгель, принявший на себя роль переводчика в переговорах. — Ведь Питерс-то, по прибытии к нам в Петропавловск, цену груза в двенадцать тысяч объявил...

— Облыжно мошенником меня называете, ваше высокоблагородие, — поморщился Шелихов от дружеской грубости барона Штейнгеля. — По славе о сей выгоднейшей торговле стекутся отовсюду купцы и всякого народа многочисленность. Но вот в рассуждении о курсе кораблей Ост-Индской компании, как и судам других держав, надлежит границы поставить да на картах линию обозначить, чтобы они в север и северо-восток на обысканные российскими подданными земли и острова американские не уклонялись. Наш интерес в том, чтобы подданные других наций не могли входить в пользы, отечеству нашему принадлежащие...

— Это уж не в моей власти! Об этом ты, Григорий Иванович, в Петербурге, перед престолом хлопочи...

— Не премину-с, ваше благородие, и не сробею, — заверил его мореход.

Годом позже, по прибытии в Петербург, в конце 1787 года, в поисках правительственной поддержки дороге в Америку, он действительно чистосердечно сообщил обо всем этом коммерц-коллегии и императрице в своей «Записке о странствованиях в Восточном море»; сообщил и о полученной в этой сделке прибыли: «полтинник на рубль».

Получив за проданный груз векселя, в которых подпись Шелихова была удостоверена и скреплена государственной печатью камчатского капитан-исправника барона Ивана Штейнгеля, капитан Питерс при разгрузке задержал и заупрямился выдать пять ящиков чая жулана, корзину китайских чашек и несколько

кусков дабы¹. Возник спор, едва не расстроивший сделку.

— Ну, на что они вам занادобились? — пытался Шелихов уговорить подвыпившего на отвальном обеде англичанина уступить хотя бы чай. — В Кантон идете, там чаю наберетесь по самые бимсы верхней палубы...

— Чай и китайские товары я в Кантоне на комиссию взял у Лихудзы... богачейший купец... По китайским законам, потерпевший кораблекрушение не отвечает за груз. Нужны, конечно, доказательства... Вот то, что я оставил. в морской воле выкупаю, разобью; изорву и... слам Лихудзе... кораблекрушение!

— Капиталы наживать у английских купцов учиться надобно, ваше высокоблагородие. Такой коммерции у нас и в Кяхте не случалось, — усмехнулся Григорий Иванович, намекая исправнику Штейнгелю на неуместность упрека в «мошенничестве», который тот сделал ему, Шелихову. Но Штейнгель и виду не подал, что понял, — он невозмутимо продолжал переводить путанные объяснения англичанина. — На англичанах-то вы худа и не замечаете! — настойчиво продолжал Шелихов и махнул наконец рукой: не прошибить баронской симпатии к заграничному.

Проводив Питерса в море, Шелихов стал рядить петропавловских камчадалов и вольных людей на доставку купленных товаров батами до Большерецка и оттуда вдоль берега — в Тигильский острог. Снарядить такую экспедицию дело было нелегкое, но уж очень хотелось Шелихову распродать купленное до возвращения в Охотск.

Прибыль предвиделась немалая, поэтому на деньги и на натуроплату солью и чаем мореход не скупился. Предстояло верст полтора ста на гужах подняться вверх по речке Аваче, одолеть в верховьях небольшой волок на другую речку — Быструю, а потом вниз по Быстрой сойти до Большерецка. Этим путем без особых приключений, если не считать нескольких разбившихся на камнях батов, — груз, хотя и подмоченный,

¹ Китайская плотная хлопчатобумажная материя.

был спасен — Шелихов и добрался дней за десять до Большерецка.

Но наступившая осень с проливными дождями и густыми многодневными туманами прекратила сообщение между селениями и стойбищами Камчатки. Надежды Шелихова расторгнуться до наступления зимы без остатка таким образом не оправдались. Росла в душе и тревога за судьбу «Святителей». Благополучно ли довел Пьяных корабль до Охотска? Не расхитили ли в Охотске доверенный ему добытчиками драгоценный груз? Ведь приказчики компаньонов да хищное начальство по освященному временем обычаю и по сибирским нравам считали себя законными пайщиками в дележе промысла. Найдет ли Наталья Алексеевна палку на эту алчную ораву, да и как здоровыце его лебедушки? Выпало ей в беспокойствии и хлопотах таких сына-наследника рожать.

Но самой трудной и назойливой оказалась в душе морехода мысль о покинутой Америке. Не выполнил он приговора добытчиков, оставленных в найденной земле, не вернул им в этом же году «Святителей» с запасами. А ради чего, ежели спросят? Своего кармана ради! А теперь, когда намудрил, — выпутывайся! Будущим летом беспрерывно надобно вырядить на Кыхтак корабль, а до того успеть с Камчатки в Охотск вернуться, из Охотска же в Иркутск добежать и там улестить начальство, чтобы подало оно сведения государыне об успехе плавания, да еще с компаньонами на предбудущее время все дела обговорить и опять же в Охотск до лета возвратиться. Взвешивая предстоящие препятствия и прикидывая расстояния на пути к цели, Григорий Шелихов набирался отваги все преодолеть, но Америки не упустить.

Рачьше всего необходимо развязаться с купленным товаром. В Большерецке оставить не на кого — разворуют, а обратно в Петропавловск везти — погода не позволит.

— На Тигил, к Пановым в магазейн надо представить, — подсказал приказчик Шелихова. — Прижмут, конечно, толстосумы тотемские, но все же полтину на рублевик дадут нам заработать.

До Тигилского укрепленного острожка, заложенного на Камчатке лет восемьдесят назад первыми землепроходцами Владимиром Атласовым и Лукой Морозком, — путь не близкий: вдоль берега от Большерецка считалось камчатских, немереных верст шестьсот.

Наняв десять большерецких грузоподъемных кочей и батов, построенных из камчатской каменной березы, среди которой попадались стволы в двадцать сажень высоты и в два человеческих обхвата, — в них камчадалы, случалось, переплывали Пенжинский залив и появлялись на Ямских островах и в Тауйской губе охотского берега, — Шелихов 12 сентября, под камчатским осенним дождем со снегом, двинулся из Большерецка вдоль берега.

Через десять суток прошли курившуюся в багровом тумане сопку Ича и на другой день после Покрова причалили у свай пристани Тигила. За пристанью виднелась почерневшая от дождей церковушка острога, окруженная двумя десятками таких же черных, заплесневевших в сырости изб.

Пановские приказчики встретили Шелихова уважительно, товары приняли в амбары на хранение. Большерецкие батовщики, получив плату натурой, в тот же день отплыли домой: не ограбили бы тигилские сидельцы.

Войдя в избу Сухорукова, старшего приказчика купцов Пановых, Шелихов удивился множеству сидевших в ней женщин — ительменок и ламуток, среди которых преобладали подростки. Женщины в полутемной избе ошупью занимались разным рукоделием.

— Зачем женок столько собрал? — спросил Шелихов. — Али в татарскую веру переметнулся?..

— Кортонные ¹, — дружески ответил Сухоруков. — Располагай, пожалуйста, выбирай любую... Держу для гостей. На случай приезда... Совестный судья господин Кох очень любит, только чтобы помоложе... Выбирай, коли хочешь...

¹ Женщины, которых продавали родители или родственники на время или на постоянно в качестве рабынь или наложниц.

— Тьфу! — сплюнул Шелихов. — И не совестно тебе, старый ты человек, лысину, гляди, какую натер...

— А мне они, — ухмыльнулся приказчик, — без надобности. Держу для начальства и служилых людей, кои бабу в дом ищут...

Шелихов покосился на сидевшую подле него девушку, которая продолжала сучить нитки, робкую и безответную, нахмурился и, чтобы прекратить неприятный и, как он знал, бесполезный разговор, сурово сказал:

— Ну, давай о деле... Что из товаров моих возьмешь и сколько наживы дашь, а реестр — вот он... За что мне достался — сам видишь, исправническая печать стоит.

Сумрачная и оттого, казалось, еще более тесная изба, как бы светившаяся печальными глазами молчаливых женщин, становилась все более невмоготу, и Шелихов, спеша закончить торг, быстро согласился на пятьдесят копеек наценки на рубль затрат. Подписал запродажную со всеми поправками, сделанными приказчиком в свою пользу против хозяйских интересов, и ушел искать себе пристанище, чтобы обосноваться до установления зимнего пути по Пенжинскому заливу.

Искал долго и, наконец, вошел с Кучем в курную избушку пономаря тигилской церковушки. В церковушке наезжий поп раз в два-три года отправлял необходимые для населения требы.

— Здоров... Ох, черт! — оборвал Шелихов приветствие, переступая порог и нагибая голову, после того как стукнулся о провиснувшую притолоку.

Пономарь, напряженно вглядывавшийся в какое-то растянутое на его ногах тряпье, неторопливо поднял голову — оголенный, без единого волоска, желтый череп — и равнодушно, не выражая никакого любопытства, оглядел вошедших.

— Что ж, живи!.. — вздохнул он, выслушав намерение Шелихова расположиться в его избе. — Места не пролежишь. Только не обессудь, кормить нечем... Не то что собак для разезда — бабы содержать не могу...

— То-то и хорошо, свято живешь! А корма есть, за

мною и ты, дедка, сыт будешь... Одна тебе забота: лучины наготовь, читать, писать буду...

Выцветшие глаза пономаря на мгновение засветились огоньком любопытства. Он вдруг повеселел и сказал:

— А ты, видать, грамотный и письменный. — Старик поскреб лысину и добавил: — Ладно, наготовлю лучинушки. Мне-то она без нужды, так темным и доживаю свой век. В трудах наизусть подсобляю, поп не ругает, ежели и совру чего, а камчадалу все одинаково, что ни наговори, лишь бы нараспев али скороговорком...

— Да сколько же тебе годов, дедка? — заинтересовался мореход. — И отколь взялся-то ты тут, да и зовутка твоя как будет?

Пономарь оперся руками о стол, подумал, глядя на окно, и ответил:

— Не упомяну годов-от своих... много! Одно знаю, прибыли мы сюда, немало народа, из горьда, из самого Питербурха, с господами Лужиным и Евреиновым. При блаженные памяти анпираторе Петре Алексеевиче я в канонирском звании ходил, и было мне тогда от рождения годков тридцать... Вот и сочти! Послали нас господа Лужин и Евреинов под Анадырем как-то на разведку, а в разведке той коряки меня стрелой уязвили и в полон взяли, но не убили... До седых волос у них дожил, а на старости ушел и вот тут проживаю, смерти жду... А зовутка моя теперь мне и вовсе не наобна, зови хоть Иваном али как тебе сподручней... Ох, грехи, грехи наши, прости господа!

Судьба «дедки Ивана», этого вынырнувшего в столь дикой глуши обломка петровских времеч, поразила морехода. Кормя до отвала и крепкий чай с леденцами, к которым дедка Иван, как все старые люди, питал непобедимое пристрастие, расположили старика к мореходу.

Полтора месяца пришлось Шелихову просидеть в Тигиле в ожидании, пока заледовеет море и установится санный путь через залив на сибирскую сторону. Вынужденный досуг мореход при свете лучины заполнял писанием либо отчета о своем путешествии, либо

различных «лепортов» по начальству и распоряжений по делам колоний. Дедка Иван часами сидел неподвижно под шестком у печки, менял лучины и обуглившиеся гасил в бадейке с водой.

В середине ноября появились признаки прочного заледенения моря.

— Через три дня смело выезжай! — сказал как-то старик. — Заледовило от берега до берега. А я по люлям пойду нарты собирать... Ты с ними не сладишь...

Вмешательство старика пономаря, слово которого было законом для камчадалов, помогло мореходу без долгих хлопот перебраться через замерзший залив.

3

18 ноября шесть собачьих упряжек сбежали на лед залива: на первой каюрил Шелихов, три в середине шли под продовольствием, на пятой была привязана легкая камчатская байдарка, на случай переправы через полыньи, и шестая — с Кучем, она замыкала караван.

Дорога была тяжелая, а местами из-за взлыбленного передвижкой льда едва проходимая. Через нечаянные широкие разводья уже дважды по очереди переправляли нарты и собак; две ночи под пронзительным северо-восточным ветром, несшимся с Верхоянских гор, провели на голом льду и только к концу третьего дня добрались до селения Ямского, перекрыв по льду залива двести пятьдесят верст.

От Ямских островов до Охотска предстояло одолеть на собаках еще более тысячи верст зимнего бездорожья, в пору самых лютых морозов и затяжных зимних бурь.

— Сиди, не блазни! — упорно отклоняли заманчивые предложения Шелихова ямские сидельцы. — До зимнего солнцеповорота никто со смертью играть не осмелится...

Потеряв надежду нанять проводников и каюров, Шелихов решил на отчаянный шаг.

— Тронем, что ли? — обратился он к Кучу, выбрав

один из дней затишья и сравнительно полегчавшего мороза.

— Я всегда с тобою, — не мигнув глазом, отозвался Куч.

Шелихов будто угадал погоду: несколько дней двигались споро и без затруднений. Собак кормили до отвала. На ночь укладывались в меховых мешках, среди верных псов, там, где можно было укрыться от ветра.

Под Тауйской губой решили не итти в объезд по берегу, а чтобы выиграть время и силы, срезать ее широкий створ морем. Часто выпрягая собак и перетаскивая нарты и выюки с грузом на собственных плечах, перебрались через сгрудившиеся на всем пространстве створа ледяные торосы, миновали мыс Дуга и вышли наконец к берегу, под горами Ушки.

— Отсюда до Охотского рукой подать, — радовался Шелихов, — верст триста осталось, никак не более... Семь-восемь дней пути, и у Натальи Алексеевны пироги едим, Кученька.

— Едим... едим! — соглашался Куч, хотя и не представлял себе обещанного Шелиховым лакомого блюда.

Но тут, как бывает обычно с людьми, преодолевшими множество предусмотренных препятствий и опасностей, неожиданный случай едва не превратил триумфальное возвращение морехода домой в похоронное.

В снежных складках предгорий Ушек, сбегавших до самого моря, даже орлиное зрение Куча не заметило человека, который скрывался в них и с острым любопытством следил за нартами путешественников. Когда Шелихов свернул нарты в сторону, где таился человек, тот еще искусней укрылся в снегу, но собаки встревожились и стали принюхиваться к чужому запаху.

Куч, по обыкновению своему всегда итти прямо на встречу опасности с открытым лицом, соскочил с нарт и провел их вперед, обойдя стороной остальные нарты и бежавшего вровень с ними Шелихова. Все внимание каюров в этот момент было обращено на то, чтобы не допустить при обгоне свалки собак.

— Ох, угодил, собачий сын! — услышал позади себя Куч вскрик Шелихова. Куч обернулся и увидел хозяина бегущим вприпрыжку. Из всех сил он пытался остановить собак своей нарты. Куч заметил воткнувшуюся в бедро Шелихова какую-то длинную черную палку. Свисая, она волочилась и даже сбивала с ног Шелихова. В то же время взгляд Куча успел уловить чью-то тень. Тень мелькнула и скрылась за только что пройденным снежным наметом. «Копье!» — молнией пронеслась в голове индейца мысль...

— Хой! Стой! — воткнул Куч с такой невероятной силой свой шест обугленным концом в снег, что свалил с ног всю упряжку, и без оглядки на собак кинулся к подозрительному намету.

Из-за снежного увала грянул выстрел. На голове Куча был лисий колпак. Пуля вырвала клоч лисьей шерсти. Еще мгновение — Куч прыгнул и сбил с ног выскочившего к нему с ножом в руках рослого желтолицего человека с расшитым голубой татуировкой лицом.

Несколько минут спустя Куч бросил перед Шелиховым нападающего, со сломанной рукой, и подобранное в снегу старинное казачье кремневое ружье.

— Вытащи... ратицу вытащи... мне несподручно... потом спросим, что за человек и зачем... убить хотел, — сквозь зубы ронял слова Шелихов, сильно страдая от раневой боли. — Ламут! — кивнул он на лежащего в снегу человека.

Нападающий, видимо, был очень силен. Копье, брошенное в спину Шелихова из-за снежного увала на расстоянии в тридцать сажен, уже на излете попало в бедро и, пробив меховую одежду, глубоко впилося в мякоть.

Закусив губу, Шелихов терпеливо ждал, пока Куч вытащит зазубренный наконечник копья, сделанный из рыбьей кости. Куч несколько раз повернул наконечник в разные стороны и вытащил. Потом по указанию Шелихова залил рану спиртом и присыпал порохом. Лежа в снегу, пленник молча и даже с интересом гля-

дел на происходившую операцию. Свою судьбу он считал, повидимому, решенной: смерть!

— Зачем убить хотел? — спросил Шелихов, подкрепившись после окончания операции глотком спирта. — Что худого мы тебе сделали?

— Собак взяли, рыбу взяли, жену взяли, — неохотно ответил ламут.

— Мы? Что ты на нас клеплешь, собачий сын!.. Кто взял?

— Казак Алешка...

Шелихов знал, как часто насильничают казаки и служилые сибирские люди над беззащитным населением Охотского побережья, и понял, что он стал случайной жертвой мести доведенного до отчаяния ламута. Мысли Шелихова невольно перенеслись к Америке. Там он с неумолимой строгостью наказывал такие покушения диких на русских, а кто знает, не были ли они доведены до отчаяния буйными «алешками» из его собственной ватаги. Припомнил и задумался...

— Зарезать? — вынул Куч сверкающий нож, по своему поняв задумчивость и строгое лицо хозяина.

— Нет, отпусти дурака... Ратицей кидаться не будет: руку ты ему сломал, а ружье, от греха подальше, заберем...

Куч заботливо уложил морехода на нарты и, каюря за двоих, снялся с места, не задумываясь над дальностью и трудностью пути до неведомого Охотска.

Зимние муссоны над Охотским морем, неумолимо врывающиеся на побережье с холодного Верхоянского нагорья, проносясь многодневными бурями над беззащитной снежной пустыней, делали дорогу в этом краю почти непроходимой.

За время общения с русскими в уме Куча сложилось понятие об измерении расстояния числом, но одолеть хитрую науку русских Куч все же еще не мог: верста — это много, очень много шагов... Верста — это живое... живая... Летом в путь от восхода до заката солнца по знакомой местности укладывается много верст, случается — пройдешь пять, а то и семь раз столько, сколько пальцев на обеих руках... «А вот теперь, сейчас, сколько этих русских верст и простых ин-

дейских шагов надо положить, чтобы дотащить раненого тойона до Охотска, до пирогов На-та-шен-ки? — ломал себе голову Куч, двигаясь рядом с нартами среди наметов снега после затихшего бурана. — Много... так много, что не хватит силы, а тогда... смерти!»

На смерть себе Куч соглашался, но смерти Шелихова он допустить не мог. Что скажут русские, доверившие ему охрану великого тойона, что скажет На-та-шен-ка, выходившая его после страшной раны в бою?.. Нет! Он победит версты, сколько бы их ни было, Куч доставит Шелиха в Охотск живым... Горделивая усмешка пробегала по лицу индейца каждый раз, когда он, преодолев очередной снежный намет, вырывался на менее трудную дорогу.

Истощенные дальней тяжелой дорогой псы еле тащились.

На речке Ине, верстах в ста от Охотска, попали в затяжную пургу и, закопавшись в снег, просидели неделю, не двигаясь с места. Собачьи корма вышли, и человечья пища иссякла. «Неужто под самым домом погибнуть доведется? — думал Шелихов. — Как зайцу в яме тундровой...»

А на седьмой день отсидки под снегом прошептал: — Замерзаю... Ног не чую...

От истощения — пищи становилось все меньше — и лежания в луже застывающей под ним крови, — а кровотечение из-за беспрестанных толчков в дороге возобновлялось несколько раз, — у Шелихова начали стынть ноги, несмотря на все меха, наваленные на него Кучем.

Выбравшись из-под снега, Куч увидел, что пурга утихает. После этого он три раза с наскоро освежеванной собачиной возвращался в сохранивший их сугроб. Убив трех собак, Куч накормил остальных и ослабевшего Шелихова. Сам же довольствовался только свежей кровью зарезанных псов.

Затем наложил постромки на семерку самых сильных собак, везших нарту Шелихова, и, двигаясь возле нее легкой рысцой, тронулся в путь. Надо было одолеть последние сто верст, остававшиеся до Охотска и пирогов Натальи Алексеевны.

27 января 1787 года выдавшие на своем веку разные виды охотчане заметили невдалеке от города необыкновенного медноокрашенного человека. Спотыкаясь и падая, человек этот волок вдоль берега по льду нарты с чем-то неподвижно тяжелым, лежавшим на них и тщательно укрытым мехами. Следом плелась, едва передвигая лапы, тощая и одичавшая собака.

Куч встретил бежавших к нему людей с тревожным недоверием, и те, ринувшись на лед навстречу незнакомцу, остановились перед наведенным на них ружьем Куча. Такого меднолицего охотчана доселе еще не видели и стухнули перед «краснорожей образиной».

— Кто такие, что надо? — спрашивал Куч, держа ружье наготове и смотря на столпившихся людей.

— А ты кто?.. Из каких будешь?.. Мертвяка куда тащишь? — оправившись от неожиданности, угрюмо откликнулись охотчане, угадывая под мехами, наваленными на нарту, очертания человеческого тела.

— Я — Куч, атаутл, сын волка и орлицы морской...

— Ишь ты... знатного роду! — насмешливо отозвался кто-то из обступивших Куча людей. — Ою и видать, что волчий сын... А на нартах что у тебя?

— Но-но, — важно ответил Куч, — трепещите! Это мой господин — великий тойон Ше-лих... Он бежит в Охоцку к жене своей, а имя ей На-та-шен-ка!.. На-та-шен-ка! — повторил он еще раз внушающе. — У нее пироги есть будем...

Охотчане были людьми, которых не могло остановить ружье в руках одиночки, но они угадывали какой-то смысл и правдивость в словах краснолицего человека. Неизвестно, чем могла бы кончиться неожиданная встреча, но тут зашевелилась меховая куча на нартах и из нее выглянуло смертельно бледное лицо, неузнаваемое в склеенных кровью клочьях буйно отросшей бороды. Куч, поддерживая жизнь Шелихова, как и свою, сырым собачьим мясом, в последние дни пути перерезал всех собак, а нарты тащил на себе, с неимоверными усилиями одолевая по пять — десять верст в сутки.

— Это я, ребята, я!.. Григорий... Шелихов... — свистящим шепотом проронили спекшиеся губы. — Ско-

рей... домой доставьте. Этот варвар, — человек на нартах указал глазами на Куча, — снежку... подать не хотел и пса пристрелить... отговаривался...

Куч не понимал слова «варвар», но жалобу Шелихова на то, что он не позволял мореходу удовлетворять жажду снегом и не пристрелил случайно упущенного из рук пса, который теперь плелся за ним, понял.

— Нельзя снег пить, когда крови мало и здесь пусто, — хлопнул себя индеец по глубоко запавшему животу. — Смерть! И пуля осталась одна, ее нельзя тратить на пса... Я берег ее для человека или зверя, от которых должен был защищать его жизнь или тело! — Куч, как бы в доказательство своей правоты, вертел над головой ружье, заряженное последней уцелевшей у него пулей.

Как ни грубо упрощенными были представления охотчан о чувстве товарищества, следуя которому человек в тяжких испытаниях, насылаемых иногда суровой природой Севера, разумно помогает другому, — они все же чутьем стали на сторону неведомого краснолицего человека, едва державшегося на ногах.

— Ладно, опосля разберетесь, кто кому виноват... В ноги, хозяин, поклонись человеку этому, что тащил тебя на себе и снегом твою жизнь не докончал... Ну, мужики, выпрягайтесь, выручим кормильца нашего охотского, не дозволим задубеть на глазах хрестьянских... Свозили богатства его, свезем и хозяина! Ведро винца за тобой, Григорий Иванович... Э-эх, наддай! А ты, крашенный, от нас не отставай...

Варнаки немало в прошлом поработали на складах и кораблях Шелихова и привыкли видеть в нем покладистого работодателя.

Шутки-прибаутки, смех охотских варнаков напомнили Кучу зверобоев-добытчиков из оставленной на Кыхтаке ватаги Шелихова. «Союзные нам люди, доведут нарты куда следует», — подумал Куч, сбрасывая лямку с плеч, растертых под мехом парки¹ до живого мяса.

— Силен и зол краснорожий чертушка! — уважи-

¹ Меховая рубашка.

тельно подшучивали варнаки над Кучем, над легкой иноходью индейца, который передвигался вслед за нартами по глубокому снегу с зажатым подмышкой тяжелым ружьем. — И сколько, поди, переходов с таким грузом осилил! Занятной человяга!..

Бездомовные, круглый год ходившие в жалком отрепье варнаки представляли собой рабочую силу в Охотске на портовых работах, из них же пополнялись зверобойные ватаги некоторых купеческих судов, выходивших из Охотска в неведомые просторы океана на поиски морского зверя.

В безморозное время года варнаки жили вольными артелями, ночуя где придется, а зимой собирались в «скиту» — кабаке известной всем охотчанам Растопырихи. Ей они обязывались отапливать кабак своими силами. Случайно наткнувшаяся на обессиленного Куча партия бродяг и «выбежала», как они говорили, в окрестности Охотска на поиски дров для простывшего кабака.

Варнакам предстояла тяжелая работа — в лесах, вырубленных вокруг Охотска на корабельные надобности, найти и свалить плохими топорами несколько подходящих елей или берез да волоком, а то и на плечах, дотащить их по глубокому снегу до дверей кабака, а там порубить и протопить огромную избу.

Варнаки и не подозревали, глядя на легкую поступь и каменно-спокойное лицо индейца, как укорял себя в душе Куч за слабость, проявленную перед людьми, когда он, не зная, что находится уже вблизи Охотска, отсчитывал последние шаги, оставшиеся ему и Шелихову в жизни, и даже готов был рискнуть последней оставшейся пулей — прицелиться в тащившегося в недоверчивом отдалении пса. Допустима ли такая слабость в войне великого племени колошей-кухонтан?

Да варнакам, впрочем, было и не до Куча. Впрягшись в нарты Шелихова, они уже обвиняли друг друга в излишнем мягкосердии.

— Ишь, размякли! Вместо дров купца обмерзлого к бабе на печь взялись доставить... Он те не размякнет, когда ты за хлебом к нему постучишься. Эх, слюни-люди! — корил товарищей матерой, но внешне неказистый,

небольшого роста и сухопарый варнак Хватайка, бежавший в кореню так, что от него пар валил.

Хватайка был непримиримым врагом купцов, чиновников и вообще всех людей не варнацкой жизни.

— Растопыриха без дров и в холодную избу не пустит. У купца, скажет, и грейтесь. Купеческой рубль тяжелей исправницкой плети, сопливые! Забыли, как этот самый обмерзлый за полтину в день души наши покупал с рейда через бар корабли разгружать?! Сколько народу кажинную осень гибель свою там находит!.. Ей-слово, слюни, а не люди! — хрипел Хватайка, прибавляя ходу.

До Шелихова долетали злые слова Хватайки, и мореход, лежа под мехами, опасливо прощупывал подложенный в головах кожаный мешочек, в котором было более десяти тысяч рублей ассигнациями, наторгованных на Камчатке. Доведаются варнаки — не задумаются прирезать и ограбить безохранного купца. Но вскоре сам устыдился своих опасений, когда услышал чей-то веселый и крепкий голос.

— Гляди-ка, братцы, Хватайка на купца рычит, а сам, что кобель-вожак, хвост распушив, под нартами расстилается, ажчо пар над ним курится!.. Я так смекаю: находка наша — не простецкий купец мороженой, а человек с понятием... Слыхали, как Пьяных, корабль приведши, у Растопырихи куражился, чего они в Америке накуролесили? Доставим целая-невредима, он за награждением не постоит — всю зиму с вином будем, а по весне... в компаньоны к нему припишемся, в море выйдем... за долей, за волюшкой!.. Беспременно этому человеку пособить надо!..

Вот эти-то слова и успокоили купца. Однако, как непонятный урок, они в то же время не довели открывателя Америки до самого необходимого ему сознания — что только в народе, как бы ни был затоптан ногами сильных человеческий образ таких вот варнаков, может найти он, мореход, почву и опору для своей Славороссии.

Америка — Славороссия! Его Славороссия, о ней уже говорят в народе, к ней стремятся люди, — мельтешились в голове Шелихова несвязные, но радостные

мысли, и под разбойный присвист варнацкой ватажки его впервые за два месяца пути охватило чувство блаженного покоя и полной безопасности.

Наконец замелькали приземистые деревянные строения Охотска. Варнаки с большим бережением протаскивали нарты с Шелиховым по вкривь и вкось расползающимся улицам городка. Улицы были завалены отбросами зимнего сидения горожан по избам.

«Чего это шумуют варнаки?» — услышав гомон человеческих голосов на улице, с опаской думали старожилы и с ленивым любопытством старались что-нибудь разглядеть в щель примерзнувших к подоконнику волоковых оконеч.

— Везут на нартах чего-то, не иначе — медведя убили и к шелиховским амбарам волокут... Продать или на водку выменять, — уверенно рассказывали бабы, выскочившие на мороз поглядеть на варнацкий поезд.

— Чего тащите, охотники? — спрашивали они варнаков.

— Шелиховой Наталье медведя приволокли... Гулять у нее будем! — отшучивались варнаки.

Наталья Алексеевна в жарко натопленной избе, распустив застежки сарафана, кормила грудью трехмесячного сына.

— Батя летом вернется, а Ванюшка большой будет, гукнет, пузырь выпустит и скажет: «Батя, здоров будь, батя; — шепотом занимала она сына. — Нашего, мол, полку, батя, прибыло... Теперь втроем Америку воевать будем... Я, Ванюшка, ты да мамонька... А мамка тебя, батя, не пустит, а без мамки и я никуда ни ногой... Так и знай, батя!» — теребила она пальцы на дрыгающей ножке мальчика.

— Отворяй дверь, хозяйшук! — закричали под окном храпы. — Знатного зверя мы к тебе приволокли! Хозяина доставили! Выставляй ведро вина, не то к Растопырихе свезем и на водку обменяем! — выкрикивали на улице варнаки, предвкушая угощение и тепло в шелиховской избе.

Все это было так необыкновенно и неожиданно, что Наталья Алексеевна замерла — и от страха и от радости.

— Люди! Ох, где вы, люди? Слышите, Григорий Иванович прибыл! Встречайте! — вскричала она, не помня себя. Но так как в избе никого не было и никто услышать ее не мог, она выскочила на крыльцо в одном сарафане да еще и с полуголым младенцем на руках.

Варнаки толпой стояли у крыльца, топтались в снегу и толкали друг друга, чтобы только согреться, — полуодетые и полуобутые. А над нартами высилась мощная фигура Куча. Меднокрасное лицо его от вынесенных в дороге лишений было неузнаваемо: заострилось, почернело, и сверкали одни только белки глаз да зубы. В ногах индейца под откинутыми мехами виднелось какое-то белое, испачканное кровью пятно...

— Гришата! — кинулась к нему с младенцем Наталья Алексеевна, скорей догадываясь, чем узнавая дорогое ей лицо. — Пу-сти-ите! — закричала она, неистово вырываясь из чьих-то подхвативших ее крепких рук.

— Простынешь!.. Ишь ведь как на морозище выскочила и дите убивает! — гудели над ней хриплые голоса варнаков. — Иди в избу, живой купец твой... не кричи дуром, не кусайся!.. Дракой беде не пособишь! Кузьмина женку призови, она живо мужика твоего на ноги поставит... Ишь, сомлела, шалая... Возьми-те, братцы, у нее младенца!

Храпы ввели Наталью Алексеевну в избу. Вожак артели Хватайка выпростал из-за пазухи своего худого азяма едва завернутое в свивальник тельце ребенка, подошел к подвешенной у печи берестяной люльке, положил в нее младенца, пощелкал перед его носом пальцами, гукнул несколько раз и смущенно отошел, когда дитя заливчато расплакалось.

Варнаки наперебой рассказывали Наталье Алексеевне о своей недавней встрече с Кучем, на себе тащившем нарты, и о том, как они догадались пособить ее хозяину в приключившейся с ним беде.

— Мы хозяина твоего возем, а он, чертушка крашенный, рядом бежит, ружьем его оберегает...

Дождавшись прихода знахарки Кузьминихи, единственного лекаря на весь Охотск. — за ней сбежал кто-

то из их артели, — варнаки сочли свою задачу выполненной и гурьбой вывалились из теплой избы в ночь на мороз, не обмолвившись перед захлопотавшейся Натальей Алексеевной ни единым словом о водке и горячих пельменях, которых ожидали в награду за доставку хозяина домой.

Так мореход Шелихов, с верным Кучем, вернулся к пирогам Натальи Алексеевны, покрыв за семьдесят дней свыше тысячи верст непроходимого в разгаре зимы пути из Тигила в Охотск.

Глава третья

1

Старуха Кузьминиха вылечила обмороженные ноги Шелихова.

— Ламут тебя зазубринами копыя и спас, — веско сказала знахарка. — Разворотили рану, кровь из жил и сошла, не загноят ноги теперь... Только ты уж потерпи!

Несколько дней продержала она морехода на холодной половине дома, оттирала ступни снегом и заворачивала в тряпицы с ей одной известными и многократно испытанными мазями. Откармливала жирами с медом, кашицами из ягод и обильно поила таинственными травяными отварами. Только через неделю позволила Кузьминиха внести морехода с окровавленными и заструпившимися ногами в теплую избу. А через месяц Шелихов в пимах, засыпанных мелко рубленной болотного запаха травой, хлопотал в складах компании над сортировкой и разделом промысла.

Накопленные вековым опытом народа лечебные средства, — а их хорошо знала Кузьминиха, — избавили Шелихова от неизбежной, казалось бы, губительной гангрены. За свое еще более отважное, чем плавание в Америку, странствование по морскому льду из Тигила в Охотск мореход заплатил оставшимся на всю жизнь «стеснением в груди» и утратой способности к пляске, которой он протоптал дорожку к сердцу На-

талби Алексеевны. Только об утрате этого бывшего молодчества он единственно, кажется, и сожалел.

За время трехлетнего странствования Шелихова в заокеанские земли Охотску выпали большие перемены. Охотский комендант полковник Козлов-Угренин был вызван в Иркутск на следствие по поводу его многолетних служебных злоупотреблений: еще бы, двенадцать лет солдатам портовой команды жалованья не платил! Экспедиции Угренина за поборами в свою пользу, — а ездил он в застекленной карете, поставленной на двойные нарты, — получили среди ясачных народов прозвание «собачьей оспы». В экспедициях таких гибло множество упряжных собак, составлявших важнейшее достояние кочевого населения бездорожного края. Иркутские чиновники, выехавшие на такие же поборы в Охотский и Анадырский округа, вернулись с пустыми руками: Угренин обезлюдил и разорил селения кочевников. Свой человек среди хищников, пустошивших приволья северо-восточной Сибири, Угренин, ловко виляя в дебрях судейских канцелярий, лет десять избегал наказания и умер под затянувшимся следствием. Охотский совестный судья ассессор Готлиб Кох сразу же после выезда Угренина самочинно вступил в управление портом и, побывав затем в Иркутске с посылками, утвердился в этом звании.

— Как же ты, сударыня, от компаньонов моих и пса этого Готлиба схитрилась пушные товары сберечь, каким пугалом воронье отгоняла? — спросил мореход жену до выхода на склады.

— Биллингсом, — с лукавой усмешкой ответила Наталья Алексеевна. — Его заохотила...

— Биллингсом?! — недоумевая, протянул Шелихов. — Чем же ты щепетильника англичанского при моем добре на цепь посадила? — продолжал он допытываться у жены уже с явными нотками хозяйского и мужского неудовольствия.

Этого капитана Иосифа Биллингса, английского наемника на русской службе, возглавлявшего в 1785—1793 годах правительственную экспедицию по обследованию северо-восточной Сибири и Алеутских островов, Шелихов явно недолюбливал. В Биллингсе мореход

видел наделенного правительственными полномочиями конкурента и соперника. Биллингс пытался приписать себе открытие уже найденных русскими людьми Алеутских островов и побережья северо-западной Америки. А Шелихов в этом деле имел в виду, конечно, главным образом себя и свои заслуги.

Мореходов Шелихов обычно уважал, но Биллингс этого уважения не вызывал. Со слов Прохора Пьяных, посещавшего Григория Ивановича во время лежания в избе, Шелихов уже знал, что Биллингс принадлежит к ненавистной ему породе людей, загребающих жар чужими руками. Всю работу, оказывается, как говорил Пьяных, ведет русский капитан военного флота Гаврила Андреевич Сарычев, а Биллингс только разъезжает по краю да забирает меха, выменивая их на казенное продовольствие и вещи.

Было еще одно обстоятельство, которое вызывало досаду и даже беспокойство Шелихова. Мореход вывез с Кыхтака арестованными передовщика Коновалова, избитого в нескольких бессмысленных убийствах туземцев, и самозванного фельдшера Бритюкова, спавивавшего рабочих людей спиртом, доверенным ему для лекарственных надобностей. Пьяных по возвращении в Охотск от берегов Камчатки доставил этих людей к коменданту порта Коху, с тем чтобы отдать их под суд, а тот обоих освободил и направил зачем-то к Биллингсу. Биллингс принял Бритюкова на службу в свою экспедицию, а Коновалова отпустил на родину, куда-то на Колыму.

После разговоров со «штрафными», как называл Пьяных Коновалова и Бритюкова, Биллингс потребовал от Пьяных сдачи судового журнала и бумаг Шелихова.

— Я уж и так и эдак, — рассказывал Шелихов Пьяных, — а он не отстает!.. Хозяин вернется, говорю, у него и спросите. А они, эти бумаги-то, вот они! — показал Пьяных Григорию Ивановичу на принесенный им объемистый рогожный куль. — Все тут собрал и в нетронутости представляю... Я и Наталье Алексеевне, как ни горевала она, что бумаги твои затерялись, отдать не решился, когда приметил, что Биллингс к ней

зачастил... У Растопырихи в гостевой избе ему место, а не у честных людей. Там бабы и девки гуляющие враз дух запашной с него согнали бы, вражьего сына... Не друг он нам!

Подозрения, сквозившие в словах старого боцмана, насчет Натальи Алексеевны, как бы нелепы они ни были, все же оставили в душе морехода саднящую занозу. Шелихов припоминал нарядного и надушенного капитана Биллингса, появлявшегося на людях всегда в камзоле и при шпаге, а это не меховая шкура или промасленный бострог¹, которые носить приходится ради дела. Еще более неприятные мысли вызывали в нем воспоминания о собственной молодецкой юности и о тех хитроумных, еще недавно со смехом припоминаемых проделках Натальи Алексеевны: проживая молодой вдовой в доме старого деда, она прикрывала так ловко свою близость с ним, Гришатой, единственно ею любимым...

«Проучить бы жену надобно, как отцы и деды уму-разуму жен своих наставляли», — думал Григорий Иванович, но обнаружить перед Натальей Алексеевной засевшую в душе занозу не решался, понимал, что если ошибется — навсегда потеряет друга своих мечтаний и испытанную в превратностях судьбы спутницу жизни. Кряхтел, ворочался, но расспрашивать о Биллингсе духу не набрался.

В один из дней своего вынужденного досуга Григорий Иванович сидел у себя в избе, забавляясь с сыном — наследником его славы и необыкновенных приключений.

— Ты теперь на гроте в дозорной бочке сидишь — Америку высматриваешь... Гляди, Ванятка, не проморгай! — посадил он сына к себе на плечо.

Наталья Алексеевна возилась у печи, наводя ухватом порядок среди расставленных в ней чугунов.

— У-у, бестыжий! — загрохотал вдруг Григорий Иванович, спешно снимая сына с плеча. — Трусишь, не быть тебе мореходом, на грот взобрался и на меня

¹ Род форменной одежды, удержавшийся среди моряков с петровских времен.

море спустил... Осрамился, Ванятка, ай-я-яй! Наташенька, бери сына...

— Будет тебе, Гришата! — недовольно отозвалась Наталья Алексеевна. — Защекотал младенца, застрашал мокретью аляксинской, он тебе и показал, сколь сладко в мокрети этой сидеть... Он умненький у меня! Лежи, лежи, сыночек, я сейчас тебе пелюшку сухонькую подстелю, терпи Аляксу...

И только Наталья Алексеевна склонилась над люлькой сына, на пороге комнаты выросла нарядная фигура затянутого в мундир капитана Биллингса.

— Здравствуйте, господин Шелихов, — сдержанно помахал англичанин шляпой перед хозяином и тут же кавалерственно до полу опустил ее перед Натальей Алексеевной. — *Your servant, mistress Chelechov*¹, — отдавая поклон хозяйке, притопнул ногою Биллингс.

С той же невозмутимой уверенностью в правильности своих действий англичанин прикрыл шляпой букли, взял стоявшую у стены скамейку, поставил ее перед мореходом и сел верхом, не забыв обмахнуть полой расшитого золотом капитанского кафтана верх скамейки.

— Я сделал предположение, что вы уже здоров, — тщательно выговаривая русские слова, объяснил Биллингс цель своего посещения, — и пришел, имея к вам самое важное дело — мне очень любопытный тар² и объяснение вашего блудания в нашем *Pacific ocean*³. Мистрисс умирал мое нетерпение приятным сюрпризом, что я могу ожидать от вас, — хитро улыбнулся англичанин в сторону Натальи Алексеевны.

«Вот куда метит англичанин, — подумал Шелихов, — на Славороссию. Хочет к рукам прибрать честь и славу русского открытия и выгоды освоения неведомой земли. На нее и сам Кук, коего этот индейский петух превозносит выше всякой меры, высадиться не отваживался. Я тебе покажу карту и блудодеяния мои в океане!» — Шелихова в особенности рассердило иско-

¹ Ваш слуга, сударыня (англ.).

² Карта (англ.).

³ Тихий океан (англ.).

верканное англичанином слово «блудания», и он, скрыв гримасу сожаления, ответил плачущим голосом:

— Огорчаюсь, не могу вас, господин Биллингс, удовлетворить... Чего нет, того нет — отослал карту гонцом в Петербург с верноподданническим донесением, где и сколько диких в российское подданство привел...

Поначалу англичанин растерялся. Но потом быстро справился со смущением и решил выбросить последний прибереженный в запасе козырь: им он думал склонить морехода к уступчивости.

— Придется и мне, — сказал Биллингс как можно приветливей, — с гонцом послать известий Бритюкова на жесткости ваши, когда вы человека тамошних государыне в подданство склоняли. Самая лучшая медаль имеет оборотный сторону, — растянул он свой широкий рот в любезной улыбке. — Подумаем и вы и я еще раз, или, как русские говорят, семь раз будем резать и один раз отмерим: я вам — скверный известий Бритюкова, вы мне — double cory глупый map's¹ — и никому ни слова об этой благоразумной accommodation². По рукам? — без стеснения хлопнул он ладонью по столу.

Шелихов со слов Натальи Алексеевны, которой Биллингс читал донос Бритюкова, все уже знал и не сомневался, что сумеет опровергнуть поносную кляузу, если она и дойдет до высших властей. Попытку же Биллингса прикрыть бездеятельность своей экспедиции результатами, добытыми Шелиховым с товарищами, мореход понял как прямое посягательство английского лазутчика на овладение его только что родившейся Славороссией.

Перед столь явным, как казалось Шелихову, покушением англичанина Биллингса на его открытие, — нет нужды, что англичанин на царской службе, — в глазах Григория Ивановича разом померкли все недавние подозрения по поводу замыслов нарядного и надушенного, золотомундирного капитана на его семейную честь, и он, преодолев ярость в себе, выговорил:

¹ Копию карты (англ.)

² Сделка (англ.)

— Допреж продолжения приятного разговору и визитации ко мне предварить вас должен: у русских людей, войдя в избу, испокон веку положено пред святыми иконами шапку скидывать и под шляпой в избе не сидеть... Извиняйте, держусь обычая предков моих! И думаю, что привычек тунгусов немаканных¹, у которых пушнину на складские товары вымениваете, вам, сидя у меня, не след придерживаться! — дал Шелихов понять, что он знает о главном занятии экспедиции Биллингса.

— Jes...² да... шляпу, да, надо перед икон снять,— заерзал Биллингс на скамье.

— И перед русскими шляпу скинете! — до крика возвысил голос Шелихов, отстаивая права первородства русских в открытой им земле. — Вы Бритюковым меня изобличаете, а обитателей страны сей, коих я по их же охотному соглашению и мужеска и женска полу, и больших и малых, до сорока человек взял с собой и в Охотск привез, — этих вы допросили? Тот! Не спрашивали, предавал ли я их отцов и матерей разорению и смерти? А я треть вывозных американцев по показанию отечества нашего с наградой обратно во свояси отправляю, другую треть намерен доставить ко двору ее величества, а тех малолетних, что остались в Охотске или в Иркутске, обуча грамоте за свой кошт, в Америку по их воле перешлю. Через них, обученных и просвещенных, тамошние роды могут много о довольствии нашей державы услышать, а потому к поправлению своему захотят у себя лучшего учреждения и порядка...

— Этим вы насилий своих, о коих от Бритюкова все уже дознано, не опровергнете, господин Шелихов... Государыня ревностно оберегает славу покровительницы диких народов, европейским мнением за нею установленную, — возразил Биллингс.

— Если сподоблюсь быть перед стопами у ее императорского величества, обо всем по долгу усердия моего к отечеству беспристрастно поведаю... И поисти-

¹ Некрещенных.

² Да (англ.).

не готов, как вы сами молвили, семь раз отрезать: карты по памяти изготовить не берусь, Бритюкова враньем не интересуюсь, а за бобрами, обещанными женой моей на шубу, не постою... — В последнее мгновение мореход решил смягчить резкость своего ответа таким испытанным в сношениях с начальствующими людьми средством, как взятка, и повторил: — Бобры выбрать самолично в амбар ко мне пожалуйста...

Биллингс понял, что открытий на Алеутских островах, а тем более на американском побережье за счет Шелихова ему не удастся осуществить, но десять—двадцать бобровых шкур упустить тоже не хотелось, и поэтому, приспособивая треуголку к пышным буклям парика, он примирительно бормотал:

— Вы еще имеете время подумать... О, да, пожалуйста... if you please... ¹. Я тоже имею время не торопиться отсылать рапорт Бритюкова... I hope we shall meet again, mylady ². Очень, очень сожалею, что супруг ваш не хочет видеть своих истинных друзей...

— Ему виднее! — отрезала Наталья Алексеевна.

Кох во всех событиях, предшествовавших этой встрече, держался в стороне. Он был напуган вмешательством Биллингса, в лице которого Наталья Алексеевна сумела найти «палку», чтобы в отсутствие мужа отогнать всех, кто попытался бы похозяйничать в амбарах компании. Управитель Охотска стушевался, как песец перед волком, предполагая, что Шелихов благодаря своей «бабе» — Кох обо всех людях думал грубо и грязно — в лице Биллингса нашел себе сильного покровителя и сообщника.

Не жалея денег и спирта, Шелихов развил бешеную энергию и в две недели, разослав повсюду нарочных, собрал огромный транспорт для отправки промысла на Якутск, откуда после перегрузки на новых выючных и упряжных животных предстояло по льду Лены доставить тысячи тюков в Иркутск.

«У меня длинные уши и короткий ум», — в злобе на себя и о себе же думал ассессор Кох, когда накануне

¹ Пожалуйста (англ.).

² Я надеюсь на встречу, сударыня (англ.).

выхода шелиховского каравана убедился, что между блестящим начальником петербургской экспедиции Биллингсом, облеченным, как казалось Коху, великими полномочиями, и отчаянным сибирским купцом, вывезшим из Америки без всяких полномочий несметные богатства, нет ни дружбы, ни согласия.

— Разве вы не знаете, что Шелихов забрал под свою меховую торговлю всех собак и оленей, нужных для моей экспедиции на север?! — в ярости бегал Биллингс по комнате у Коха. — Шелихова нужно задержать, вы понимаете?! Его задержать, а собак и оленей передать мне!.. Потрудитесь, господин комендант, немедленно исполнить мое требование!

Как ни боялся Кох полномочий Биллингса, но трусливое желание досадить вельможному начальнику владело им. Кох злился на Биллингса, так как из-за него он упустил долю в привезенной мореходом пушнине.

— В силу присвоенных вам полномочий, — поднялся из-за стола Кох, — сделать это можете только вы, господин капитан. Этот купец есть опасный человек и окружил он себя такими людьми... А двадцати инвалидов, оставшихся в моей команде, совершенно недостаточно, да они еще к тому же все работают у него. Казаки? Но они по вашему требованию ушли в Анадырский острог, капитана Сарычева сопровождать... Нет, нет, я не имею силы, только вас этот дикий купец по дружбе может послушать... Попробуйте!..

Но Биллингс не стал доводить дело до неблагоприятной развязки.

Ничего не подозревая о попытке Биллингса показать когти, Шелихов на другой день беспрепятственно тронулся из Охотска, провожаемый Кохом и хмельными инвалидами комендантской команды.

— Доброго пути — Крестовую благополучными перейти! — напутствовали морехода жители Охотска, поражаясь огромным размерам шелиховского каравана.

А в середине марта 1787 года все население Иркутска высыпало на улицы встречать этот пестрый и шумный караван с трофеями трехлетней экспедиции в

Америку. Лошади, быки, олени в санях и под вьюками, бесчисленные собачьи упряжки в нартах, в сопровождении проводников — тунгусов и якутов, — все это, попеременно с подростками, обряженными в невиданные для Иркутска уборы, со свирепой татуировкой лиц, поднималось с Ангары в гору, прямо на Соборную площадь, к амбарам шелиховского дома.

— Богатствам счет потеряли! — растерянно говорили иркутяне, оглядывая стоявшего в воротах усадьбы виновника невиданного события Шелихова, который считал входившие в ворота упряжки.

Он с женой и новорожденным на легких собачьих нартах опередил караван и за несколько дней до его прихода незаметно въехал в Иркутск. Здесь надо было заблаговременно подготовить и помещения и разгрузку добра.

2

Привезенные Шелиховым вести и лагядные доказательства чудес Америки недолго занимали иркутское население.

«Хороша Маша, да не наша», — подавляя зависть, сказали иркутяне и вернулись к той поглощающей их интересы и воображение войне с властью из-за распоряжения губернатора убрать нужники в глубь дворов. Эту войну они называли «нужной» войной.

Свара между компаньонами из-за дележа добычи, борьба морехода-купца Шелихова со своими полухозяевами-полукомпаньонами — Лебедевым-Ласточкиным и Голиковым — поначалу иркутянами была не замечена, она протекала скрытно, в стенах домов, и не бросалась в глаза.

А между тем мытарства «росского Колумба» начались как раз по возвращении его в Иркутск. Здесь мореход оказался, как он горько отшучивался в своих разговорах с Натальей Алексеевной о нарастающих неладах с компаньонами, «на приколе». Иркутская земная тишь и твердь, столь привлекательная после морской кипени, пахнула на него тоской, и он по-

чувствовал всю злобность судьбы, не дававшей ему хода.

Только десятая частица из большой, стоившей так много труда и здоровья добычи приходилась ему, а все остальное компанions-купцам, — нет, такой несправедливости мореход принять не мог. Да и не наживы ради клал он жизнь и труды. Помыслы и усилия открывателя земель направлены были прежде всего на то, чтобы прославить отечество...

Места себе не находил Шелихов и в конце концов стал искать утешения в запойном чтении жизнеописаний великих мореплавателей. В особенности его трогала «История адмирала Христофора Колумба», составленная сыном великого мореплавателя и переведенная с испанского Федором Коржавиным. В жизни потомка генуэзских ткачей-суконщиков Шелихов находил большое сходство со своей судьбой.

— Гляди, Наташенька, в одном разнствуем: королевской милостью пока не взыскан и в тюрьме не сидел, — говорил Григорий Иванович, сравнивая книгу-отчет о своем плавании, которую он писал с оглядкой на судьбу Колумба.

Мореход находился всецело под впечатлением состоявшегося на днях объяснения с компанions по разделу промысла, и, читая жизнеописания мореплавателей, он особенно остро переживал злобу и грызню из-за дѣлежа добычи, которыми обычно завершался подвиг каждого из них.

— Пока до королей не дошел, нечего на них и жалобиться, а Голиковы с Лебедевым, ежели дурить будешь, до суммы и тюрьмы бесприменно доведут, — напоминала ему о кривде жизни Наталья Алексеевна.

Однако Гришата не послушал ее совета разделиться в промысле так, как было обозначено в договоре, а потом уже судом требовать и увеличения своей доли. Григорий Иванович собрал компанions и без обиняков выложил пред ними свои мысли и решения удерживать равную с ними долю промысла силой, пользуясь тем, что промысел сложен в его амбарах.

— Доверие ваше, господа вояжиры, я и люди, отданные под мое управление, оправдали, — сказал Ше-

лихов усевшимся за его столом компанions. — Нашими трудами и подвигами, в коих, часто бывало, и жизнь на кон ставили, нагромоздили мы на каждый учредительский пай по двести пятьдесят тысяч рублей в мягкой рухляди и иных американских товарах...

— Земной поклон тебе, Григорий Иванович, за усердие и попечение об нашем интересе, — умильно проблеял Иван Ларионович Голиков и огладил пухлой рукой свою мочалистую бороду, в которой уже серебрились нити седого волоса. На него, вместе с посланным в Америку племянником, капитаном Михаилом Голиковым, было записано шесть учредительских паев. Иван Ларионович, прикрывая веками острые, как шильца, глазки, прикинул тут же в уме прибыль и спрятал улыбку, снова оглаживая бороду: полтора миллиона неожиданно-негаданно упало в кубышку его. — Земной поклон, земной поклон тебе, Григорий Иванович, — говорил он, кланяясь над столом и искоса поглядывая на сидевшего рядом Ивана Андреевича Лебедева-Ласточкина, бывшего хозяина Шелихова.

— Выходит... — начал тот и сердито заворочался на скамье, облезло-мохнатый, что медведь по весне. — Выходит, просчитался я, на три пая согласившись?! Из пустой, думалось, затеи, на кою Григорий подбил, дело получилось, а! — и грохнул своим массивным, волосатым кулаком по столу.

У морехода в ответ на это только глаза потемнели от всколыхнувшегося, но не вырвавшегося наружу гнева. Шелихов знал, что этот купчина следом за ним, мореходом, послал на Алеутские острова свою ватагу, непозволительно враждующую с шелиховской компанией, и двойной этой игрой медведеобразный купец внушал особенную неприязнь Григорию Ивановичу.

Григорий Иванович, выждав, когда компанions успокоятся, сказал:

— Поклоны богу бейте, а просчеты уж при себе оставьте. Что же касаето меня и людей наших, поимейте совесть рассчитаться по человечеству...

Купцы при таком неожиданном обороте речи аж за-

мерли, Голиков и рот даже открыл, уставясь на море-хода. А тот, сжимая рукой угол стола, говорил:

— Мы ли хребты не ломали, крови-жизни для вашего прибытку не щадили!.. И потому полагаю: до того как к делу приступать, одну десятую промысла отделить в награждение усердных и добронравных рабочих по моему списку. Я обещал, что мы их награждением не забудем, тем паче, что и выдать-то пустое придется — по три тысячи рублей на пятьдесят человек, что в живых состоят, да еще тысячи примерно по две — семьям-сиротам сорока погибших передать... Это ведь за три года, что мы под смертью ходили! Что до меня касается... — Шелихов снял со стола руку, встал и резко, как вызов, бросил: — то требую: достальной промысел поровну промежду нас разделить на четырех на учредителей, хотя племяш твой, Иван Ларионович, и жалования капитанского отробить не в силах был.

— Очумел ты! Али крест в Америке потерял? — вскочив из-за стола, тоненько вдруг заверещал от Гришкиной продерзости Иван Ларионович Голиков и подался ближе к Лебедеву-Ласточкину, как бы ища у того защиты.

— От варначьа храбрости набрался, — презрительно наконец отозвался Лебедев-Ласточкин, словно теперь только сообразивший, что от него хочет Шелихов. — Не на боязких напал, — устоим, а нашего не отдашь... в долговую посадим! Через три дня пришлем оценщиков и понятых приемку делать и... На чужой каравай рта не разевай, Григорий! — закончил он уже угрожающе. — Самого себя заглынешь...

3

И еще раз Григорий Иванович Шелихов мысленно обозрел свой пройденный путь, который сегодня уперся в город Иркутск.

Иркутск конца восемнадцатого века, несмотря на сравнительно небольшое население — около пятнадцати тысяч душ, слыл среди людей старой веры «четвертой столицей», после Петербурга, Москвы и Киева.

Иркутское купечество и посадские работные — ремесленники, извозчики и многочисленные вольные и гулящие люди, бравшиеся ради куска хлеба за всякую работу, — считали себя преемниками той благодати, которую вынес им из своей ссылки в Даурию знаменитый расколучитель протопоп Аввакум.

В каменных приземистых домах, что стояли в глубине просторных усадеб, окруженные каменными же и деревянными амбарами несокрушимой долговечности, расположились гнезда столпов старого обряда купцов-миллионщиков Свешниковых, Поповых, Голиковых, Лебедевых, Сибиряковых и многих других, имена которых теперь никому и ничего не говорят и свидетельствуют лишь о преходящей и неверной власти накопленного золота.

Из этих домов принудительная сила и власть купеческого рубля тянулась к самым тяжелым тогда промыслам Сибири — к хлебным пашням по Селенге, к избушкам зверобоев в тайге, к солеварням Усть-Кута, к пропитанным сибирской язвой кожаным чанам посадов Иркутска, на старательские золотые прииски и серебряные рудники Нерчинска и Акатуй. Не легка была доля мелких служащих, также и приказчиков, губивших здоровье, а часто и жизнь при выполнении разных поручений торговых домов, в бесконечных тысячеверстных разъездах по сибирскому разбойному бездорожью.

Шелихов пробрался в Сибирь из далекого Рыльска, с Украины. Сменив здесь сермягу и лапти, в чем скитался годами, на купеческую однорядку и юфтовые сапоги новонайденной оседлости, Шелихов не утратил понимания страданий и недовольства народной массы, среди которой он сам еще так недавно был никому неведомым и нищим искателем счастья. Корень зла русской жизни своего времени он видел только в засилии дворян-тунеядцев и во всем подражающих им чиновников.

На пороге девятнадцатого века в далеком Иркутске при новых исторических условиях жизни русского народа в деяниях Шелихова, как и в его образе, ожила и заблестела свежими красками тогдашней современно-

сти сказочная былина седой русской старины о Садке, богатом госте:

Во славном во Нове-граде
Как был Садко купец, богатый гость,
А прежде у Садка имущества не было:
Одни были гусельки яворчаты.

Случай, поднявший Гришату Шелихова, бойкого и предприимчивого приказчика купцов-миллионщиков, начался, как уже сказано, со встречи со старым Трапезниковым в Охотске, у берегов студеного Ламутского моря¹. Трапезников в поисках свободной земли для преследуемых правительством людей старой веры растратил большое состояние и выбыл из среды именитого сибирского купечества. Но за ним осталось прозвище «морского царя». Прозвище это дали Трапезникову по его же рассказам об островах и землях, которые он находил в своих странствованиях на всех широтах океана выше сорокового градуса.

«Морской царь» высказал однажды Гришате Шелихову дружелюбный совет:

...Ступай во Новгород
И ударь велик заклад,
Заложи свою буйну голову.

И спорь, что в Ильмень-озере
Есть рыба — золоты перья.

Дам три рыбины — золоты перья,
Тогда ты, Садко, счастлив будешь.

С той поры Григорий Шелихов без остатка отдался одной мысли: найти обещанную «морским царем», старым Трапезниковым, сказочную «рыбу — золоты перья», скрывавшуюся на востоке, в водах Великого океана, — сиречь «богатую землю» Америку.

Шелихов не упускал случая раздражить спесь и алчность сибирских купцов-богатеев и славой и барышами

¹ Под таким названием на картах петровского времени и позже среди сибиряков-старожилов было известно Охотское море.

«от вылова» такой «рыбины — золоты перья». «Рыбина» эта не что иное, как открытие Америки и проникновение на ее материк с того далекого северо-западного конца, который неведом был и великому Колумбу. Оконечность эта только стала подозреваться мореплавателями позднейшего времени. Ценой великих усилий и тонкого подхода раззадорил все же Гришата Шелихов именитых купцов принять в заклад его буйну голову — он возглавил дерзкое по отваге плавание на трех утлых суденышках к суровым Алеутским островам и к не захваченным еще людьми Западной Европы берегам Америки.

— Ударим-ка о велик заклад:
Я заложу свою буйну голову,
А вы залагайте лавки товара красного. —
Три купца повыкинулись,
Заложили по три лавки товару красного.

И поехали ловить в Ильмень-озеро.

Добыли рыбку — золоты перья.
Стал Садко поторговывать,
Стал получать барыши великие.

«Морской царь» — старый Трапезников — и впрямь не обманул Гришату Шелихова. Карта и приметы Трапезникова помогли ему найти в Восточном океане неисчерпаемую кладовую драгоценных мехов — чудесную Славороссию. Наградил он отважного морехода и еще большим, чем богатство, — умной красавицей женой.

Много женщин встретил на своем жизненном пути Григорий Шелихов, много девичьих кос распустила его рука, много приветливых очей затуманилось в день последнего расставания, но жизнь его текла по былинному складу, а из песни слова не вывернешь.

— Как станешь выбирать девицу-красавицу,
Так перво триста девиц пропусти,
И друго триста девиц пропусти,
И третье триста девиц пропусти:
Позади идет девица-красавица,
Красавица девица Черनावушка;
Бери тую Чернаву за себя замуж—
Будешь, Садко, во Нове-граде...

Шелихов знал и любил больше других бывальщин знаменитую «старинку» о Садке, госте Новгородском. Восхищался ею, находя родственные черты между собой и героем бывальщины. В одну из поездок перед плаванием в Америку привез с Урала из Невьянского завода и подарил Наталье Алексеевне сборник таких «старинок», собранных, как говорили, старым казаком Киршей Даниловым и отпечатанных в Москве на деньги знатного богача Демидова.

«Надо бы у Наташеньки поспросить, куда книжицу девала, я-то забыл, а любопытно поглядеть, как Садко с купцами разделался и куда золоты перья девал», — забеспокоился как-то мореход, поймав себя на смутных воспоминаниях о поразившей когда-то его воображение чудесной старинке-бывальщине.

— Скучаешь? — догадливо отозвалась Наталья Алексеевна на расспросы о книжке. — Цел вернулся, на сухом сидишь, хочешь хоть по книжке у морского царя в гостях побывать?

— Да нет, не то... — смущенно отрекся Шелихов от такого несообразного желания. — Хотел посмотреть, как он с купцами-богачами разделался.

— Это я тебе и в книжицу не глядя скажу, — смеясь ответила Наталья Алексеевна. — Перво-наперво церковку построил, а потом купцом именитым зажил, а золоты перья в сундук сложил... Чего тебе еще? — переставая смеяться, строго спросила она.

— Хватит, — отшутился Григорий Иванович, стремясь скрыть от жены свои фантастические мечтания. — В купцы именитые запишусь, а церкви строить не буду, да и тебе не церковь — моленная нужна...

— Ничего мне, Гришата, не нужно, кроме спокойствия твоего! — убежденно закончила Наталья Алексеевна непонятный разговор.

Шелихов, конечно, не смог бы устоять в борьбе с миллионщиками, на стороне которых был закон и общественное мнение, зависимое от могущества денег, ес-

ли бы не слепой случай, неожиданно открывший мореходу двери в покой всеильного сибирского сатрапа — иркутского и колыванского генерал-губернатора Ивана Варфоломеевича Якобия.

С давних пор, чуть ли не с самого основания города, иркутские жители придерживались причудливой планировки своих строений. Конюшни, хлевы и в особенности отхожие места они выносили подальше от своих домов, на переднюю линию усадеб. Немощенные улицы Иркутска, проходившие в каменистом, несколько углубленном грунте, оказывались стоком всех нечистот, шедших из-под стен этих столь необходимых в хозяйстве пристроек.

Ни в ком из градоправителей, как и из обитателей города, такая упрощенная канализация не вызывала сомнений. Приказ генерал-губернатора сломать возвышавшиеся над улицами Иркутска конюшни, хлевы и отхожие места и перенести их в глубь усадеб вызвал даже всеобщий ропот и хитроумные изворотливые обходы.

— По улицам только шпыни да люди подлого звания пешком ходят, и не беда, если они ноги подмочат. Где это видано, чтобы нужники и хлевы в садах позади дома ставить?! — жаловались владельцы усадеб частному приставу, вручавшему им приказ губернатора под расписку.

— А вы помаленьку, не торопясь отодвигайтесь, а там, бог милостив, и начальство смилостивится, видя ваше послушание. — уклончиво советовал им блюститель градоустройства.

Злосчастные пристройки после всевозможных проволочек, связанных и со штрафами и со взятками, постепенно отодвигались с уличной линии. В посадах Иркутска, с бедными насельщиками, дело подвигалось успешнее — воля начальства здесь осуществлялась более решительными мерами: штрафов тут с медлительных владельцев не брали, а прямо тащили в холодную на высадку. Зато в центре города потёки разной дряни по канавкам, проложенным дворниками, продолжали нарушать благоустройство иркутских улиц.

Начало этой нелепой «нужной», как окрестили ее

иркутяне, войне положил долетевший до генерал-губернатора из Петербурга слух о предстоящем путешествии наследника-цесаревича или даже самой государыни-матушки на восток для ознакомления на месте с интересами необъятной империи. Не делай Якобий из этого государственного секрета и объяви об ожидающей Иркутск высокой чести, жители на месте «нужных» строений возвели бы по фасаду своих усадеб греческие портики и китайские беседки — такие же, какими были украшены берега Днепра Потемкиным во время путешествия Екатерины Алексеевны по Украине.

Якобия в Иркутске не любили еще и за то, что он, высказывая свои воинственные замыслы против Китая, противодействовал возобновлению в Кяхте русско-китайской торговли, к которой население Иркутска, от больших до малых людей, давно уже приспособилось всем своим экономическим укладом.

Начальник прикрывающей Кяхту Троицкосавской крепостцы и блюститель кяхтинского торгова с русской стороны майор Перфентьев, старый служака из сибирских солдат, набрался смелости оспаривать потребованную Якобием огромную сумму «интереса» в торговле России с Китаем. Поддержанные Перфентьевым, русские купцы осмелели и сказали: «Таких денег нам не поднять». Тогда Якобий, сочтя вопросы своего личного благосостояния делом все же «не казенным», настаивать на взятке не стал, а принялся бомбардировать Петербург своими донесениями о подготовке Китая к войне с Россией: «Из Индии уже и слоны приведены и под Кяхтой спрятаны».

Внимание царицы было поглощено Ближним Востоком и Польшей, — здесь пролегал кратчайшая и легкая дорога к обмену хлеба на новинки и моды культурных народов Запада.

— Какая там война с Китаем!.. Дуроломит Якобий! — отмахнулись в Петербурге, но на всякий случай послали инструкцию: усилить гарнизон Троицкосавской крепостцы батальоном солдат и двумя сотнями из уральских — после Пугачева — ссыльных казаков.

Получив это неожиданное распоряжение, правитель канцелярии Селиванов удивился — «с чего бы сыр-бор

загорелся?» Но вскоре разведал дело, съездил под каким-то предлогом в Кяхту, убедил Перфентьева написать в Петербург об истинной подоплеке донесений Якобия «о готовящемся к войне Китае» и сам одновременно отправил письмо в Москву семейству Соймоновых о «немецкой механике» своего патрона. Часы пребывания Якобия у власти были сочтены...

— На наших даяниях немец не только живет, но и музыку содержит, и нас же еще по миру пустить собирается, — возмущались иркутяне, ища способов свалить чужеземца-сатрапа. — Музыку, твердит, люблю, а музыкантов своих побираться посылает...

Генерал-поручик Якобий, немецкий ландскнехт, появился в России в бироновские времена. Для поправки расстроенного состояния он на склоне лет выхлопотал себе назначение в Иркутск. Привезенный губернатором оркестр из сорока крепостных музыкантов стал для него воспоминанием о бироновском раздолье, пользуясь которым он присваивал себе имущество множества загнанных в Сибирь раскольников и людей более высокого звания.

Якобиевские служители Эвтерпы¹ и впрямь бродили по Иркутску голодные, в поношенных долгополых казакинах, с вышитой на груди эмблемой многотрудного искусства — желтой флейтой.

— Исполняйте «Stabat mater»² великого Перголезе, и она вас всегда накормит! — напутствовал своих учеников якобиевский капельмейстер синьор Реббиа, отпуская их тайком от хозяина «играть перед кем ни придется». — А деньги потом пополам...

На кормление синьор Реббиа жаловаться не мог — как иностранец и маэстро, он пользовался правом кушать на нижнем конце губернаторского стола, но в деньгах всегда нуждался; генерал-поручик забывал платить ему жалованье, так же как крепостным музыкантам выдавать месячину.

После нескольких крупных скандалов на почве

¹ Одна из богинь греческой мифологии, покровительница музыки и элегической поэзии; атрибутом ее была флейта.

² «Страдание матери», патетическая песня скорби.

увлечения купеческих дочек генеральскими музыкантами, среди которых было немало молодых и талантливых людей, пред якобьевскими скрипками и флейтами закрылись двери богатых иркутских домов. В кабаках посадов и знаменитых пригородных «хмельниках» по берегу Ангары, где приходилось теперь музыкантам играть перед простонародием, патетическую «Stabat mater» слушали внимательно и серьезно, после чего кидали в брошенную на пол шапку медные пятаки.

Но домой музыканты возвращались с пустыми карманами и пьяные. Синьор Реббиа сердился и грозил не пускать их больше в город.

— Сарынь на кичку! Не иначе, братцы! Придется по купеческим амбарам пошарить, чтобы дракона нашего Репья ублаготворить, — подал мысль Яшка Цыганенок — лучшая скрипка оркестра.

Для этой цели облюбовали прежде всего амбары Шелихова, славившиеся в Иркутске вывезенными из заморских стран богатствами. Много дней похаживали вокруг да около шелиховских строений, высматривая и набираясь храбрости. И как раз через два дня после размолвки морехода с компаньонами сторожа усадьбы приволокли к Шелихову рано утром нескольких изрядно побитых музыкантов губернатора. Их поймали с поличным в ночной час, когда они подкапывались под стены кладовой, заваленной мехами.

Григорий Иванович сидел за столом в гостевой трапезной, самой большой комнате дома, пестро украшенной заморскими привозными диковинками, и хлебал наваристые щи с кашей, заправляясь, как он говорил, на дневную вахту — рабочий день от зари до зари, а то и до полуночи, если дня не хватало. Ел он по усвоенной в странствованиях привычке много, но не часто — два раза, а то и раз в день. «Неохота за столом жизнь проедать», — примирительно отводил он упреки Натальи Алексеевны, стремившейся вкусными блюдами — ему она всегда готовила сама — удержать его за столом подольше.

— Тятенька, людей, что по городу под дудками ходят, амбарные приволокли, — ворвались в комнату дочери Шелихова Аненька и Катенька. — Страсть смо-

треть какие — битые, в грязище вываленные, а в руках скрипицы держат и дудки такие же, как на груди нашиты, только черные... У одного, чернявый и красивый собой, под глазом синячище... Ух, просто жаль его! — с огорчением вырвалось у старшей Аненьки. — Ты прикажи их не бить и отпустить.

— Что приключилось? Кого привели? С дудками, говоришь? Ф-фу, вот не было печали, так черти накачали! — обеспокоенно оторвался Шелихов от щей. — Ты не егозись, Анка, что битые... А кого же бить-то, как не шпыней? Скажите там, чтоб пред меня доставили, и сами... бр-рысь отсюда!

— Тятя, ты скажи только, чтоб их здесь не били, не надо! — настойчиво кинула старшая — Аннушка, уносясь передать распоряжение Григория Ивановича. — Маменька... — просительно взглянула она, исчезая в дверях, на Наталью Алексеевну.

— Ладно, хлебом-солью встретим, — усмешливо мотнула головой Наталья Алексеевна. — В тебя, Гришата, дочки — не терпят изгальства над людьми... Да ты ешь, хлебай ши-то, губернатору таких не едать!

— Нескладное дело получилось, а может, добрый случай, — неопределенно и недовольно пробурчал Шелихов. — Сыт по горло, Наташенька, хочу и на закуску взглянуть... Входите, входите, тащите рыбешек! — крикнул он, услышав за дверями голоса людей и сердитые окрики на них амбарной стражи.

— В полицию отправить или запросто в шею накласть и за ворота выбить? — косясь на хозяина, спрашивали сторожа, возбужденные сопротивлением незадачливых воров.

— С полицией хлопот не оберешься, — в раздумье сказал Шелихов, оглядывая оборванных, измазанных глиной музыкантов, бережно прижимавших к груди чудом уцелевшие в пылу драки флейты, фаготы и скрипки. — Губернаторские молодчики! Хороши!.. За свое, вишь, как держатся, а на чужое зарятся! — усмехнулся Григорий Иванович.

— Еще бы! — с горечью, но смело отозвался Цыганенок. — Разбей мне ваши мужики эту штучку — кременская, Аматия, ей и впрямь цены нет, — генерал

с моих костей мясо спустит! Инструментами-то он больше, чем нами, хвалится. А так как мы вот два дня уже не жравши, то тут хоть куда полезешь!..

Шелихов посмотрел на него и встал из-за стола.

— Ладно! Я сам оборотов генералу доставлю, — сказал он. В голове морехода мелькнула неясная мысль обернуть этот нечаянный случай в свою пользу. — А пока сведите в людскую да накормите хорошенько... за сбережение генеральского добра... — снова усмехнулся он.

— И впрямь, господин купец, по-людски рассудили, — повеселел Цыганенок. — Не выдержать нам порки генеральской, ежели щец не похлебаем и кашей пуза не набьем... Эх, и сыграем же и спляшем мы напоследях, как под кнут ложиться! — подмигнул он попавшим в беду товарищам.

— Иди уж, иди, набивай брюхо, — просипел сторож, беря его за рукав. — Гляди только, чтоб не лопнуло, как придется ответ держать.

Дочери Шелихова пробрались снова в комнату и, безмолвно притаившись за спинами людей, с любопытством разглядывали губернаторских музыкантов, о проделках которых по городу носились заторные слухи.

Анюта с застывшей в глазах слезкой огорчения, сожалея, вглядывалась в изуродованное подглазным синяком красивое и смелое лицо Цыганенка. Смешливая Катенька, взглянув на скособоченный рот избитого музыканта, подмигивавшего ей, не выдержала и приснула от смеха.

— Убирайтесь отсюда! — крикнул Григорий Иванович, услышав их горошком просыпавшийся смех. — Взаперти держать буду неслухьяных!..

Амбарные сторожа поняли разгневанный выкрик хозяина как поощрение к тумакам. С поспешной ретивостью, обозленные недавним сопротивлением задержанных при подкопе амбара, они мгновенно вытолкали музыкантов за двери комнаты, еще мгновение — и на крутой лесенке, спускавшейся в людскую, послышались приглушенные голоса сторожей и грохот тел, скатывавшихся по ступенькам лестницы.

Шелихов расхохотался, но, заметив недовольное и недоумевающее лицо Натальи Алексеевны, оборвал смех и беспокойно заходил из угла в угол по комнате, поглядывая на жену как бы в ожидании помощи.

А спустя небольшое время из людской в хозяйские комнаты долетели печальные звуки скрипки Яшки Цыганенка. Счастливая догадка подсказала Цыганенку вдохновенную импровизацию на голос любимой песни хозяина амбаров, совпадавшую с собственным предчувствием злополучного музыканта об ожидающей его с товарищами судьбе.

Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думать,
Как завтра мне во допрос итти
Перед грозного судью — самого царя.

Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать,
Я за то тебя, детинушка, пожалуйю
Среди города хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Шелихов вздрогнул, посмотрел на Наталью Алексеевну. Та тоже слушала и молчала, сидя за столом напротив. По лицу ее бежала тень печали. Григорий Иванович не выдержал, сказал:

— Уж и сам не придумаю, как с варнаками быть!.. Спустишь в людскую, Наташенька, скажи, сыграли бы чего повеселее...

Наталья Алексеевна вышла и надолго задержалась в замолкшей людской, а чуть вернулась, из-под клетки понеслись веселые голоса и топот ног в пляске под ухарский напев ходовой варнацкой песни:

Собралось нас, усов,
Полна хата молодцов...
Много!
Ай да усы, ай да усы,
Усы, усы, усы, развалисты усы!

Нам хозяин побожился:
«Ни копейки денег нет!»
Врет он!
Ай да усы, ай да усы...

Впереди сидит усище,
Атаманище.
Вот он!
Ай да усы, ай да усы...

К нам хозяин идет,
Выкупной полштоф несет —
выпьем!
Ай да усы, ай да усы,
Усы, усы, усы, развалисты усы!

— Ну и усы! — захохотал мореход. — Пошли им, хозяйюшка, водки. Пускай хлебнут, оглодки несчастные, перед...

— ...прощением! — решительно закончила Наталья Алексеевна.

— Каким таким прощением? — вопросительно посмотрел Шелихов на жену, — Нет их вины передо мною, может, я перед ними виноватым буду, да ничего не поделаешь, уж больно-то оказия подходящая...

И тут же, волнуясь и спеша, Григорий Иванович изложил Наталье Алексеевне возникший в его голове рискованный по своим последствиям план: отпустить музыкантов, а их скрипки и флейты доставить губернатору самолично, чтобы снискать этим его расположение, передать давно заготовленную записку о плавании в Америку и попросить о поддержке в споре с компаниями.

— «Где подобрал мои скрипки, при каком таком случае?» — спросит тебя губернатор, — трезво подошла к такой нелепой мысли мужа Наталья Алексеевна. — Якобий-то знает, кому какая скрипица выдана, и начнет пороть...

— А мне на поротом гузне не сидеть, — вяло, больше из упрямства, отстаивал Шелихов свою затею.

— Нет, не годится... Подумай-ка, на что ты сядешь, сам ежели, не дай бог, под кнут угодишь... Давно ли славного морехода и первой гильдии купца Бечевина тут же в Иркутске губернатор Трескин в тюрьму посадил да и до смерти забил?..

Шелихов и сам понимал, что придуманный им способ снискать расположение генерал-губернатора для

своих мореходческих интересов сомнителен, а для появившихся в его руки несчастных музыкантов слишком жесток. В годы былых скитаний Шелихов не раз вынуждался добывать себе кусок хлеба воровством, и об этом он никогда не забывал. «Но ежели я упущу такой случай завоевать на свою сторону губернатора — все пропало. А случай, — терялся в размышлениях Шелихов, — есть случай, его за деньги не купишь».

— Постой! Нашел, думается, дорожку, Наташенька, — оживился он. — Только миром с людьми эту дорожку обговорить надобно... В точку все и выйдет! Зови оглодков сюда, Наташенька, всех до одного!..

С таким лицом Григорий Иванович — Наталья Алексеевна навсегда запомнила это — выходил на просторы океана из лабиринта узких проливов и проходов Алеутских островов.

— Что с людьми в согласии надумаешь, на то и я согласна, — повеселела и Наталья Алексеевна, направляясь звать арестованных музыкантов к хозяину.

Шелихов с нарочитой суровостью оглядывал людей, робко входивших в комнату. Задержав взгляд на бледном лице Яшки Цыганенка, сказал:

— Вижу, вы доподлинные усы и на ус сумеете намотать мою сказку... Шли вы, значит, через Хмельники приангарской дороженькой. Для чего попали в худое место — не знаю и знать не желаю. Только шли вы и шли, и напали на вас лихие люди. Ну, как водится, обшарили, денег не нашли — отобрали скрипицы и жалейки ваши, как вы ни плакались... Запомнили?

— Все запомнили! — не смущаясь непонятной поначалу речью хозяина, бодро ответил Яшка Цыганенок, в надежде, что конец ее несет избавление от кнута на кобыле.

— Нет, не все! Еще тверже запомните, — продолжал Шелихов, — что послал вам навстречу Исус милостивый купца. Скажем, это был я с людьми, кои вам под моим амбаром в холку наклали. Вы ко мне с криком: выручай, мол, лихие люди забрали губернаторские скрипицы и нас обидели... Ну я пограбленное у шпыней отобрал, а вам по шеям дал, чтоб поскорей домой бегли и в Хмельниках забавы себе не искали...

— А скрипка? — тоскливо спросил Цыганенок.

— Скрипки у купца остались. Купцу к его превосходительству за всяку цену попасть надобно, а для чего — не вашего ума это дело. Вот я к его превосходительству со скрипичами и доберусь, и музы́ки ваши, как обещался, в целости его превосходительству доставлю... Уразумели, к чему сказка клонится?

— Ежели иначе нельзя, и на том спасибо! — криво усмехнулся отчаянный Яшка, соображая, не удастся ли вытянуть еще какое-нибудь послабление из купеческого усердия выслужиться перед губернатором. Яшка, конечно, не мог знать, как много интересов было связано у Шелихова с надеждой стяжать своей «сказкой» благосклонность Якобия, не желавшего допускать пред свои очи никого из иркутян, пока не закончится «нужная» война.

— Чем недоволен? — хмуро спросил Шелихов. — Али тем, что за амбар кнута отведать избавляю?

— За самовольную прогулку в Хмельники березовой каши тоже наглотаемся, горькая она! — чуть слышно проронил Цыганенок под сердитые окрики товарищей, довольных уже и тем, что хозяин не вспоминал воровского дела под амбаром.

— Розги? Это еще дешево отделаешься, розгами вас, поди, каждый день за музыку дерут... Я не приножудаю, сами выбирайте: сказку о Хмельниках али правду про подкоп в амбаре?..

Шелихов был искренен в желании не допустить злополучных музыкантов до тяжелого наказания кнутом, которое при бешеном нраве Якобия для многих могло бы закончиться смертью.

Отводя от них неизбежное тяжелое наказание за покушение на купеческую собственность, Шелихов тем более считал себя вправе использовать их злое намерение как ступеньку, чтобы войти в расположение губернатора и защитить эту самую собственность от покушений более сильных грабителей. А розги — розог он и сам отдал немало на заре своей юности. В то жестокое и грубое время кнutoбойства в растяжку на кобыле, вырыванья ноздрей и палочного битья с прогоном сквозь строй розги казались такой легкой мерой

наказания, что их и в расчет не принимали в серьезных случаях жизни.

Шелихов не считал нужным разъяснять преподанную «оглодкам» философию розог, но музыканты и так все поняли без дальних слов и повалились мореходу в ноги.

— Награди тебя господь за добродетель твою, господин купец. Пошли, всемилостивый, здоровьица хозяйке и детушкам твоим, а я век за тебя бога молить буду! — лепетал, глотая слезы, сухой и сморщенный фаготист Еремка. Липкая тошнота и теперь подступала к его горлу при одной только мысли об ожидавшем их кнуте.

— Ну-ну, идите, усы оборванные, да опять о чей-нибудь амбар не зацепитесь. Пospешайте, предупредите Репье свое, начальника вашего, чтобы умел ответ-от держать, когда я скрипицы его превосходительству представляю... Пospешайте, а я следом за вами прибуду!..

5

Когда Шелихов с кремонской скрипкой в руках — остальные инструменты он оставил за дверью — вошел в полутемную залу губернаторского дома, он не сразу разглядел в наполнявших ее сумерках, где сидело неприступное иркутское божество.

Якобий, этот высохший до подобия египетской мумии человек, обряженный в розовый камзол старомодного покроя, сидел в глубоком кресле спиной к двери. Ноги старика в тупых туфлях, с перламутровыми пряжками, лежали на решетке камина. Тут же за креслом стоял и Реббиа. В выцветших тусклых глазах губернатора блеснула искра любопытства и удивления, когда он увидел в руках Шелихова прекрасную скрипку.

— Эй, кто пропустил ко мне этого человека? — крикнул Якобий и, не ожидая ответа, сказал капельмейстеру: — Реббиа, погляди на скрипку, не кажется ли тебе, что она сродственна...

— Какой у вас глаз, *eccellenze*¹, кто бы, кроме вас,

¹ Ваше превосходительство.

мог это увидеть, не взяв скрипки в руки, — мгновенно отозвался Реббиа. — Это... это наша, Niccolo Amati... Достойнейший коммерсант поистине чудом спас ее...

Трепещущий синьор Реббиа повторил изумленному генерал-губернатору сказку о спасении скрипки в Хмельниках. Злополучные музыканты, отпущенные домой без инструментов часа за два до визита Шелихова к губернатору, вынуждены были предпочесть вымысел о приключении в Хмельниках правде о подкопе под амбар: легче выбрать розги, чем лечь под кнут. Таким образом маэстро Реббиа уже был предварен о приходе Шелихова.

Ужаснувшись одной только мысли, чем грозила бы ему в глубинах Сибири при беспредельной власти и самодурстве Якобия гибель драгоценной скрипки, синьор Реббиа сразу сделал вид, что поверил музыкантам. Он знал, что они провели ночь вне дома, все походило на правду — и потому почти без сопротивления принял желание Шелихова самолично вернуть скрипку владельцу оркестра, потаенно проведя его в залу, где Якобий имел привычку после обеда дремать у камина.

В пылу уже собственной самозащиты синьор Реббиа, на котором лежала обязанность не только обучения музыке, но и наказания крепостных скрипачей и флейтистов за проступки, заврался и неожиданно для самого себя облегчил их участь.

— Я приказал дать им по пятьдесят розог, — заключил свой путаный рассказ Реббиа. — А этому zingarello¹... Яшке... все сто, чтобы знал, что violino Amati нельзя выносить из дому!

На самом деле маэстро в этот раз был так напуган возможностью раскрытия существовавшего между ним и музыкантами сговора, что ему и в голову не приходило розгами от себя довести до отчаяния эти даже в своем бесправии страшные и непонятные души.

— Мало!.. Мирволишь негодникам... Добавь от меня всем еще по пятьдесят, Яшке — сто! — исправил Якобий, как заботливый хозяин, не понравившуюся ему «снисходительность» Реббиа. — Та-ак... — продолжал

¹ Цыганенку.

он, — виновные наказаны, достойный заслуживает награды... Проводи, Реббиа, купца в канцелярию, прикажи выдать ему... сто рублей за... за... — Якобий затруднился выдумать предлог расходования казенных денег. — Они сами придумают за что!..

— Ваше превосходительство... — опешил Шелихов от такого неожиданного и смехотворного оборота губернаторской аудиенции.

Розги, под которые он подвел людей, его не смущали. Разве не хуже было бы, если бы он их, пойманных с поличным под амбаром, доставил со всеми этими скрипцами и жалейками в полицию? За воровское дело, кладущее пятно на его имя, генерал бы их кнутом ободрал. Розги — это поблажка, за нее благодарить должны. Не об этом тревожился Шелихов: в придуманной им хитрой и тонкой игре он вдруг почувствовал себя пострадавшей стороной.

Денежная подачка сразу обескуражила Шелихова. Он впервые так явственно ощутил, сколько же вельможного равнодушия, тупости и пренебрежения предстоит ему преодолеть, чтобы довести до сознания сильных мира все значение его открытий, выводящих родину на просторы Тихого океана. «Ничего Якобия своей волей для Америки не сделает, — подумал Шелихов, — разве что с Петербургом переписку затеет — и на том спасибо скажешь... Надо только узелок ему в памяти завязать».

— Ваше высокопревосходительство, — награждая губернатора более высоким титулованием, продолжал Шелихов уже только ради того, чтобы завязать хотя бы этот узелок в губернаторской памяти, — за что меня деньгами обижаете? Скрипку я отбил, знаючи, как вы благородными инструментами дорожите и в ограждение имени вашего от напрасного зубоскальства купцов-пересмешников... вроде Голикова, Лебедева и иных прочих... Довольно и того, что они «нужную» войну придумали! — запустил Григорий Иванович отравленную стрелу в своих противников.

— Гм... — буркнул Якобий, дав понять этим Шелихову, что стрела засела в губернаторской памяти. — Что ж, и до сих пор упорствуют, дураки?

— И другим дуракам пример подають! — в тон подсказал Шелихов. — Да и людей, выполнивших приказание вашего превосходительства, чем только не донимают... к примеру, и мне туго от них приходится — кабальным договором задавили...

— Обратись в совестный суд. Я дам указание, — совсем уж благосклонно отозвался Якобий. — Я не допущу несправедливости.

— Не оставьте, ваше превосходительство, милостивым вниманием. Стократ за скрипицу отблагодаренным сочту себя и... — Шелихов запнулся, подумав, не слишком ли много удачи он ждет от такого счастливого поворота затянувшейся аудиенции, но тут же решил: раз с мели сошел — плыть до конца. — И донесение разрешите представить о плавании моем и открытии Славороссии...

— Какой такой Славороссии? Не надо... Биллингс каждый год делает открытия, а начнут в архивах копать, открытия его столетнюю давность имеют: Дежнев прошел, Стадухин сидел, Шалауров видел, Левашев и Креницын описали. Не сочтешь Колумбов российских, кои в Великом океане земель неведомых искали! Где ты свою Славороссию нашел?

— Виноват, ваше превосходительство, обмолвился... Промеж домашних своих так называю я открытые мной и в подданство державе нашей приведенные американские Российской империи новые владения.

Необыкновенное заявление купца, сделанное голосом крепким и уверенным, показалось Якобию дерзким. Благосклонность его начала убывать. Якобий смутно припоминал, что правитель губернской канцелярии Селивонов, делец и умница, пытался занять его время выдумкой о каком-то промышленнике, который в поисках морских животных наскочил на неведомую землю и нахально назвал ее Америкой. А кому не известно, что Америка триста лет назад открыта Колумбом. Уж не этот ли самый враль...

— Ты чем торгуешь и как тебя звать-то? — спросил Якобий, спохватившись, что он совершенно не представляет себе, какая птица стоит перед ним.

— Чем придется, ваше превосходительство, а имя мне Григорий Иванов, сын Шелихов...

— Что же тебя, Григорий Иванов, от лабазов оторвало и в море на такое открытие бросило?

— Вечно достойной памяти первого императора Петра Великого ковш с гербами золочеными, жалованный деду моему Григорию Лукичу, Белгородской засеки затинному стрельцу, за заслуги государственным. Дед холсты домотканые лучшей доброты на окрыление Азовской флотилии поставлял. Служба отечеству бесчиновных предков моих и меня возбудила быть подражателем предкам своим, показать отечеству мое усердие...

В словах и голосе Шелихова ухо Якобия уловило предостережение против пренебрежительного отношения к сделанным заявлениям. В старом авантюристе, не раз в поисках счастья менявшем своих хозяев, иногда просыпалось желание натянуть на себя лохмотья рыцарских чувств.

Якобий покусал губы, насупился.

— Похвально чество предков дорожить. Однако я устал, с тобой разговарившись, — прошамкал он, давая понять, что аудиенция кончилась. — Ступай, милый человек. Завтра явись к правителю дел моих Селиванову, расскажи ему про дела свои и про эту... эх, забыл! И в каких святцах землице своей человек имя откопал? — уже недовольно бурчал Якобий, возвращаясь к прерванной дремоте. — Селиван... доложит...

— Не дерзаю более трудить особу вашего высокопревосходительства! — откланялся Шелихов, снова превеличительно титулуя губернатора, и сунул при выходе в руку Реббиа приличную по номиналу бледнорозовую ассигнацию. — С людьми полегче, господин Репья. Мне, право, совестно, что я их коробочкой этой под розги подвел...

— Коробочка носит имя Аматии! — развел руками Реббиа. — Не извольте беспокоиться, господин Шелихов, посеку... милосердно, без заноз встанут! — предупредительно распахнул маэстро дверь перед мореходом.

Правитель дел иркутского и колыванского генерал-губернатора Михаил Иванович Селиванов, фактический хозяин территории, превосходившей по крайней мере вдвое любое из западноевропейских государств, встретил купца-морехода приветливо и выжидательно.

— Шелихов, Григорий Иванов, рыльской купец и морских Восточного океана вояжиров компанион, — отрекомендовался Шелихов. В официальных встречах и документах он всегда держался этого сложного и пространного звания. Оно не только указывало на происхождение купца, но и заключало тайное намерение морехода поставить себя этим под покровительство чудотворной иконы Рыльской божьей матери.

— Аа-а! Слыхивал о таком и давно ждал случая познакомиться, чтобы от самого проведать о прохождении Восточного океана, яко Моисей по дну Красного моря пешеходяща! Чем, ваше... — запнулся Селиванов, не желая сказать обычное, купеческому званию приличествующее слово «степенство», — чем, ваше здоровье, — улыбнулся он, — могу быть полезен мореплавателю в канцелярии игемона?

Сказал это Селиванов добродушно, даже дружески, как бы приглашая посетителя к откровенности и доверию.

Селиванов был известен как пламенный патриот родины и золотого, по его выражению, дна этой родины — Сибири. По страстной привязанности к своему неустроенному краю, столь нуждающемуся в любящих его людях, Селиванов отказался покинуть Сибирь, когда его благодетель и учитель, предшественник Якобия на посту иркутского губернатора, выдающийся русский географ Федор Иванович Соймонов был вытребован Екатериной II в столицу сенатором и советчиком по сибирским делам.

— Здесь, на месте, я буду полезнее вашему превосходительству. Во-время донесу и справку без лицепрятия подам, — твердо отклонил Селиванов на-

стояния своего благодетеля, целуя руку девяностолетнего старца, которого выехал провожать до перевала через Уральский хребет.

Селиванов дослужился до немаловажного в Сибири чина статского советника. При Соймонове Селиванов, в интересах родного края, переехал из Тобольска в Иркутск и продолжал здесь службу «под Якобием». Якобия он считал самодуром и знал, что тот давно уже окостенел в воспоминаниях о своей молодости при дворе Анны Ивановны. Блеску этого двора Якобий способствовал как собственным «итальянским» оркестром из русских крепостных, так и ревностным исполнением должности церемониймейстера в тех грубых и немецки безвкусных празднествах и развлечениях, которым предавались царица и ее фаворит Бирон. Якобий, избавившись при Селиванове от непосильного для себя труда вникать в беспокойные дела огромного края, так уверился в великом уме и преданности своего правителя дел, что подписывал подаваемые Селивановым бумаги, не читая. Капризничал редко и только в тех случаях, если его «отрывали от дела». А дело у Якобия было одно-единственное — репетиции оркестра, когда он, держа смычок деревянными пальцами, пикировал на скрипке, пытаясь под льстивые восклицания вертевшегося около него маэстро Реббиа передать музыкантам воздушную мягкость особо нравившейся фиоритуры¹.

— Чем же я, Григорий Иванович, в нужде твоей пособить могу? — спросил Селиванов, выслушав с интересом пространный рассказ Шелихова и о плавании в Америку, и о вывезенном оттуда богатстве, и о ссоре при дележе промысла с компаньонами. Мореход не преминул расписать и перспективы, раскрывавшиеся перед Россией и в особенности Сибирию.

— Приморской страной станет наша Сибирь, над самым большим морем вселенной! — убежденно заключил Шелихов свой рассказ.

— Исполать, ваше здоровье! Тогда и ты к королям в кумовья влезешь, голой рукой тебя не возьмешь, —

¹ Сложные орнаментальные украшения мелодии, обязательные в музыке XVIII века.

усмешливо отозвался Селиванов. -- Выкладывай до конца начистоту, ко мне за какой надобностью пришел, Григорий Иванович?

— Токмо до престола с обидою моей помогите дойти, псов компаньонов моих уймите... Мне срока не осталось: как вскроется Лена, беспреренно, пока я делу хозяин, в Охотске должен быть — «Святителей» за море с припасами вырядить, чтоб людей, на Кыхтаке мной оставленных, от гибели избавить, а там.... там видно будет,— сказал Шелихов и поставил на стол изрядный пакет, завернутый в кожу и перевязанный бечевой.

— Это что? Зачем поспешаешь? — нахмурился Селиванов, думая, что Шелихов, по купеческому обыкновению, подносит ему авансом «посулы», общепринятые в сношениях деловых людей с властью.

— Единственное достояние, коему я хозяин, чем должен любезному моему отечеству и чего никогда сполна оному заплатить не могу... Здесь все, Михаил Иванович! — перевел дух Шелихов, укоряя себя за то, что по совету Натальи Алексеевны, встречавшей Селиванова в доме деда, пришел к большому чиновнику с пустыми руками. — Вот все, что я приобрел в сем путешествии, какие замечания учинил и сделал распоряжения...

Суровость с лица Селиванова сошла, он внимательно посмотрел на смущенного морехода и с интересом начал разбирать пачку документов, читая вслух:

— «Журнал плавания»... «Карта плавания»... «План островам»... «План крепостям»... «Наставление по отбытии моем за общей нуждой в Охотский порт оставленному со властью хозяина над всеми трех судов компании нашей российскими людьми главному правителю Константину Алексеевичу Самойлову»... «Записка, какого роду план быть должен в рассуждении торговли с англичанами»... — Тут правитель канцелярии тонко усмехнулся: — Здорово вонзил: «дабы других наций подданные не могли входить в пользы, отечеству нашему принадлежащие»! Умно делаешь, Григорий Иванович, что писанием многотрудным не поленился первородство наше на земле неведомой за-

крепить. Непреложное свидетельство трудов и доблести российской потомству оставляешь! — крикнул Селионов. — На неделю чтения хватит, чтобы вникнуть...

— Мои труды довольно вознаграждены будут, когда из сего может последовать польза обществу! — скромно отозвался Шелихов, не без задних мыслей приняв такое полное и лестное признание своих мореходческих заслуг. Он понимал, что это первая и важнейшая ступень к силе, славе и богатству.

— Добро, добро! Разберусь, — заключил Селионов. — Даю тебе роздых, чтобы «Святителей» твоих поскорее отправить в Америку для ради спасения пребывающих там русских людей. Ну, а для спокойствия в твоих делах, дабы компаньоны тебя без тебя не женили на пустой суме, — проговорил он с усмешкой, но внушительно, — подай сей же час прошение совестному судье иркутскому Петру Яковличу Резанову. Проси разобрать твое дело человеколюбиво и с отвращением от угнетения. До решения же на амбары с промыслом печати наложим... Распоряжение на это от имени его превосходительства я изготавлю. Будешь впредь советов моих держаться — в Петербург тебя отправлю и в люди выведу... До свиданья, ваше здорье!

Григорий Иванович не чувствовал под ногами земли, когда возвращался домой. В мыслях его была Наталья Алексеевна, ее сияющие радостью глаза, с которыми она будет слушать его рассказ о торжестве, доставленном ему забавной выдумкой о спасенных скрипках самодура-губернатора. «Кто умен, все угодя в нем», — самодовольно думал Шелихов о себе, оправдывая поступок, вызвавший насмешки Натальи Алексеевны. Неприятные же мысли о наказании, понесенном злополучными музыкантами, как бы оплатившими своими спинами вмешательство в его дело Селионова, смягчались сомнительным утешением горькой народной мудрости: не за то Сеньку бьют, что краюху съел, а за то, что укрыть воровства не сумел.

Печати совестного суда, наложенные на амбары по красноречивому прошению Шелихова о пересмотре ка-

бального договора, испугали Голикова и Лебедева. В этом они усмотрели прежде всего утрату расположения властей к себе, а стало быть, и к своей дальнейшей откупной и торговой деятельности. Селиванов в подписанном губернатором распоряжении обстоятельно указал на многочисленные нарушения, допущенные компаньонами в оснастке и снаряжении отправленных в плавание судов, отчего мореходы «в поисках выгод отечеству и прославления имени российского не токмо достоянием, но и животом своим поплатились».

— Мошенник Гришка под сильную руку встал, того и гляди как бы вовсе по миру не пустил! — возмущился Голиков и первым пошел на уступки, вспомнив, как его дядюшка, Иван Иванович Голиков, курский купец, занимавшийся винными откупами, был осужден за злоупотребления на ссылку в Сибирь. Помилованный по случаю открытия в С.-Петербурге памятника Петру I, он дал клятву написать историю царствования Петра и уже выпустил первые 12 томов «Деяний Петра Великого», большое собрание разных архивных документов, писем и сказов о Петре.

— Это только вообразить себе надо, — говорил Иван Ларионович с трусливым отвращением, — даунадесять книжищ... бр-р!

Судьба умного и хитрого дядюшки, искупающего былые грехи откупа таким тяжелым и предосудительным для купца трудом, страшила Ивана Ларионовича Голикова. Он разошелся с упершимся на своем Лебедевым и заслал к Шелихову людей для переговоров об условиях как примирения, так и будущего полюбовного использования американской земли.

Но Шелихов, поняв, какая выгода проистекает для него из разрыва между старшими компаньонами, не торопился соглашаться и обдумывал план учреждения компании по примеру известных ему купеческих объединений Ост-Индской и Голландской компаний. Стихия моря и превратности плаваний захватили морехода, он добивался не столько увеличения своей доли в разделе промысла, сколько передачи ему в собственность хотя бы кораблей, с которыми вышел в плавание. Обладая кораблями, он укрепляет свою позицию и сохра-

няет первое место за рулем любой компании в будущем.

Понимала это и Наталья Алексеевна.

— Кто лебедями белокрылыми владает, тот и хозяин американской земле. Не ищи денег, Гришата, требуй корабли. Голиков и Лебедев от них отступятся легче, чем от денег, — с мужским вкусом и деловым чувством, не свойственным купеческим женам, поддерживала она Григория Ивановича.

В начале мая Шелихов с припасами — прядевом на неводы, свинцом, бисером, с цветными бусами, с чугунной посудой, с комплектом скупленных ружей и несколькими бочками пороху, достать которые можно было только в Иркутске, — перебрался в верховье Лены, на Илимские белки, к солеварням Усть-Кута. Здесь он думал закупить драгоценную на Кыктаке и в американской земле соль. А в середине мая, не дождавшись вестей о вскрытии Лены под Якутском, торопясь в Охотск, чтобы пораньше отправить корабль в Америку, мореход, не считаясь ни с какими опасностями путешествия, на неуклюжей шняке, с прямым парусом и двумя «чердаками» на носу и на корме — укрытием от утренней свежести, — ринулся к Якутску.

Яркое солнце арктической весны светило урывками, каждые два-три дня сменяясь снегопадами. Снег выпадал обильными пушистыми хлопьями, застилая видимость реки мягкой мглой.

Вслед за несущимся в Ледовитое море льдом, вместе с выкорчеванными половодьем вековыми кедрами и елями шняка чудом проскочила «щеки» — высокие, отвесно нависшие известковые скалы, образовывавшие узкие проходы, — пронеслась через грозный порог «Пьяный бык» под Киренском, раскинувшийся на все русло реки, и снова помчалась между «щеками» под Витимом и Олекмой. После двух остановок у далеко отодвинутых весенним половодьем берегов, чтобы залатать пробитое дно и потрепанные борта, безумная шняка Шелихова причалила к Якутской пристани.

— Полоумный, прости господи! — встретили морехода якутчане, высыпавшие на берег в зимних одеждах. — В такую-то пору да на таком-то судне!..

Но Шелихов только отмахнулся от них.

— Отстаньте, лежебоки!..

В сопровождении ватаги своих гребцов и работных, гогочущих в предчувствии отдыха и горячих щей в теплой избе, Шелихов направился к просторному дому Луки Ивановича Шебалина.

Луку Ивановича Шелихов считал в числе немногих своих друзей из купечества. С ним в компании Шелихов на утлом коче «Святой Павел» десять лет назад совершил первое свое морское плавание, от Камчатки до Курильских островов.

2

Под Полярным кругом полноводная Лена начинает капризничать, она прячет маточное русло в бесчисленных кольцевых протоках, угрожая пловцу множеством безыменных и именных островов, размеры и очертания которых после каждого половодья изменяются неузнаваемо. Якутск, или Ленский острог, — так называли этот городок русские люди, осевшие на реке Лене в начале семнадцатого столетия, — расположился на холмах левого берега главной Корабельной протоки.

Ровесник больших городов за океаном — Бостона, Филадельфии, Нью-Йорка, — Якутск рос медленно и туго. Высокие деревянные стены, а местами и просто частокол с десятком шатровых башен пушечного боя окружали четыре-пять сотен деревянных изб. Каждые пять лет Якутск выгорал наполовину или дотла и заново отстраивался руками «ермацких детишек», из среды которых вышли отважные русские землепроходцы семнадцатого века: Семейка Дежнев, Михаил Стадухин, Василий Поярков, Владимир Атласов. Руки этих людей каждый раз упорно подымали из пепла городок. Сердца славных удалцов были всегда устремлены на морские пути, и открыватели неведомых земель проходили из Ледовитого океана в Тихий, на Камчатку, Курильские острова и северо-западное побережье Америки.

На весь город было единственное каменное строение — гостиный двор, с тесными лавками-норами местных и наезжих купцов. С башен города в ясный морозный день было видно, как, позолоченные солнцем, выступали на севере безыменные шапки верхожанских предгорий, откуда жители острога постоянно ждали набегов воинственных чукчей и тундровых якутов-кочевников.

Через горы отбросов и нечистот, отмечавших границы дворов беспорядочно разбросанных изб, Шелихов со своей ватагой добрался до дома купца Шебалина, поставленного в отличие от других домов острога в два этажа, причем нижний, с подслеповатыми оконцами, затянутыми оленьим пузырем, едва выглядывал из земли.

У крыльца стояли долгие колымские нарты, а на приколе около нарт расположилась упряжка — девять крупных псов, свирепость которых подчеркивали редкие в собачьем роду белые глаза, характерная особенность лучших на севере ездовых собак колымского помета.

Псы без лая вскочили, ощерились и, сверкая волчьими клыками, сбились в кучу, как бы предупреждая о том, что прохода в избу, где сидит их хозяин, нет.

— Вот удача! Знакомые песики, у Луки Иваныча Баранов гостует, — обрадовался Шелихов, останавливая своих ватажников, растерянно искавших глазами вокруг себя кол или палку. — К Александру Андреевичу белоглазые волки все равно никого в избу не допустят, я-то их знаю... Эй, хозяева! — крикнул Григорий Иванович.

Выскочившая на крыльцо кортомная девка-якутка ничего не могла поделать с псами. Они не обращали внимания на ее окрики, пока на крыльце не появился в сопровождении хозяина дома владелец упряжки Баранов, сухой и бледный человек среднего роста. В острых глазах его искрилась веселая насмешка.

— Григорий Иваныч, каким ветром тебя занесло? — приветствовал он морехода. — Входи, входите, не тронут, — сказал Баранов, бросая довольный

взгляд в сторону мгновенно унявшихся псэв. — Лежать, Добрыня! — прикрикнул он на недоверчиво заворчавшего вожака упряжки.

— Вниз, в трапезную, в трапезную, с дороги, чать, голодны и холодны, — пропуская мимо себя гостей Лука Иванович Шебалин. — Для встречи гостя дорогого Александра Андреевича у меня и пельмешки мясные и рыбные, и гуси-лебеди, и рыбка всякая, а тут бог вдвое радости послал — Григорий Иванович, сердечный друг, с добытками своими прибыл... Эй, хозяйка, встречай гостей! — весело суетился Шебалин.

В полуподвальном этаже дома ватажники Шелихова покрестились на невидимые лики угодников, занимавшие восточный угол трапезной, и уселись за огромный длинный стол.

— Кушай, пей, гости столичные иркуцкие, да не судите, ежели, на отшибе живучи, не угодили в чем! — ласковым баском гудел Шебалин, обходя стол с баклажкой морошковой настойки, не зная, чем еще потчевать неожиданно нагрянувших гостей. — Пой, пляши, дым коромыслом! На сей земле одночас живем, братцы... Гу-ля-ай! — радостно сиял захмелевший хозяин.

Шелихов был необычайно рад встрече с Барановым, купцом-кочевником исконного русского типа. Следуя своей страсти к передвижению и новым дорогам, Баранов заложил несколько факторий среди отдаленнейших народцев Сибири — на Чукотском полуострове и ниже — на берегах своевольной в горах реки Анадырь. В давних разъездах по Чукотке и Камчатке Шелихов убедился, каким уважением и доверием пользуется имя Баранова.

Несколько лет назад Баранов в компании с немцем Лаксманом, «минералогическим советником кабинета ее величества», основал в Иркутске первый в Сибири по времени стекольный завод. Перед самым отъездом из Иркутска Шелихов между делом узнал, что Лаксман, ссылаясь на постоянное отсутствие Баранова и какие-то неупорядоченные между ними денежные счета, возбудил в канцелярии генерал-губернатора дело о передаче ему завода в единоличное ведение.

— Дело решенное, Александр Андреевич, из верных рук знаю! — сказал Шелихов, отставляя чашку с настойкой. — Заведение твое отдал немец Якобий немцу Лаксману. Невмоготу нам, русским людям, с немцами дела вести. Бить мы их бивали и побьем еще, если надобно будет, а в коммерции немец нас кругом пальца обведет... Не серчай на меня за докучную вестъ, а только через нее господь бог нас одной веревочкой связал...

— Так уж и связал? — улыбнулся Баранов.

— Связал, крестом клянусь, навек связал! — горячо воскликнул Шелихов. — Наслал на тебя и связал: такой человек, как ты, Александр Андреевич, позарез мне в Славороссии нужный...

— Где?..

— В Слав... в Америке, говорю я, нужный! — поправился Шелихов.

— В Аме-ри-ке! — разочарованно протянул Баранов. — Чужая сторона и уж мне-то вовсе не нужна, а я думал, ты новую землю открыл и зовешь Славороссией... Это бы подходяще!

— Да оно так и есть, — горячо подхватил мореход и сбивчиво стал объяснять, что это такая страна, которой еще нет, но которая будет, если они возьмутся наладить в ней жизнь...

Разгоряченный вином, Шелихов вдруг почувствовал, что, оказывается, и он-то еще неясно представляет, чем может быть для России и для него открытая земля. Баранов это понял и примирительно сказал:

— Ты, однако, Григорий Иванович, и сам в этом деле до толку не добрался. Дай срок, сбегая на свои магазины по чукчам и корякам, тогда подумаю, как с дельцем твоим быть... Идут слухи, что приказчики мои водкой среди немаканных зашибать стали, нарушили мой запрет — и вот разметали пьяные чукчи мои склады. Все добро безденежно растащили. А тут и Лаксман, говоришь ты, завод присвоил. Выходит, нищим я стал — яко благ, яко наг, яко мать родила...

— Я за деньгами не постою, — вставил Шелихов. —

Деньги... что деньги — тьфу! Проси, чего хочешь, — не пожалею...

— И по мне не в деньгах порог соглашению, — продолжал Баранов. — Но на старости лет внаймы итти неохота, по чужой дудке плясать...

— Александр Андреич! — с упреком замотал головой Шелихов. — Ты ли меня не знаешь?

— С тобой, Григорий Иванович, верю, не разми-немся, а уж купцы, компаньоны твои, иркутские тузы Голиков, Лебедев — бр-рр! Эти мне руки свяжут...

— Я делу хозяин! — выкрикнул заносчиво Шелихов. — Не они, а я их свяжу, в мешок посажу и в море брошу!..

— Не хвались, воевода, на рать вставая, хвались с рати вернувшись! — усмехнулся Баранов и поднялся из-за стола, сказав: — Пойду подушку ломать — со светом выезжаю, времени бы не упустить... Раньше июня, даст бог, до Верхоянска по Яне зимниками добегу, переживу лето там, а в сентябре, благословясь, на Индигирку, Колыму и дальше к чукчам в Чукоцкую земельку и к юкагирам на Анадырь тронусь. Версты-то немереные... Годочка через два-три, если жив останусь, вернусь в Иркутск из объезда, тогда, Григорий Иванович, обо всем договоримся.

Баранов дружески потрепал морехода по плечу и, пользуясь тем, что внимание хозяина и застольных гостей было отвлечено пляской и пением, выскользнул из трапезной в верхние гостевые горницы.

Шелихов остался в раздумье за столом. Видно, нужны тысячи «немереных верст» тундрового сухопутья, чтобы человек пробежал их и убедился: да, никакого другого пути не осталось, как принять предложение и перебраться через новые тысячи верст, и уже по океану, в Америку.

Екатерина II давно лелеяла мечты о третьей столице империи — Константинополе, с собственным внуком Костенькой на греческом престоле. Это был миф, которым трезвая немка позволила увлечь себя

Потемкину. Мираж этот ничего, конечно, не дал ей, но Россия после Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией оказалась наводненной греческими беглецами. Близкий к трону, советник в политической игре самодержицы, украинец Александр Андреевич Безбородко, достигший впоследствии высших почестей в государстве за передачу секретнейших планов своей покровительницы наследнику престола Павлу, превратил подаренный ему, вельможе на правах феодала, бойкий украинский городок Нежин в пристанище предприимчивых греческих изгнанников.

Один из таких пронырливых македонских выходцев Евстрат Иванович Деларов расположил к себе имперского вельможу и с его помощью докатился до Восточной Сибири. Этого Евстрата, а по русскому просторечью — Истрата, потянуло в Сибирь золото, рассказы о нем. Но по прибытии в Иркутск Деларов, оглядевшись, быстро сменил ориентацию в поисках наживы. Золото, добываемое в глухой тайге личной отвагой и бесстрашием одиночек-старателей, показалось уроженцу безлесной Греции делом сомнительным и слишком опасным. На родине Деларов кормился ловлей кефали и дельфинов в Ионическом море, а сейчас перед ним была пушнина. И он сделал для себя вывод: промысел морского зверя у берегов Камчатки и в заморских странах, найденных сибирскими промышленниками, — вот то, что должно стать его истинным призванием, здесь именно и путь грека к богатству! Рассказы о своем опыте и подвигах рудоискателя находчивый македонец сменил теперь на еще более фантастические повести о подвигах и опыте бывалого морехода Деларова Евстрата Ивановича. И о чем бы он ни говорил, могло казаться достоверным, поскольку и в рекомендательном письме самого Безбородко значилось: «В доверии к сему человеку не ошибетесь и отменно обяжете принимающего участие в его судьбе...»

Избрав себе новую дорогу, Деларов, естественно, обратился к купцу-мореходу с предложением своих услуг, но не снискал доверия. Впоследствии Селиванов, дальновидный и тонкий политик, внушил Шелихову,

что грек, как управитель русских поселений в Америке, привлечет к этим поселениям симпатии самого Безбородко. А Безбородко ведает канцелярией прошений на царское имя. Через эту канцелярию рано или поздно предстоит пройти и Шелихову. Да и кто знает — может быть, здесь откроются симпатии и самой государыни, особенно благосклонной к босфорским верно-подданным.

Так или иначе договор между Шелиховым и Деларовым был заключен без согласования с компаниями. Деларов принял на себя обязанности передовщика и морехода на время плавания, а по прибытии в Америку — должность главного управителя, с жалованьем по три тысячи рублей в год и долей в промысле в четыре валовых пая.

— Ежели, от чего боже сохрани, за присталью лошадей или же по каким другим причинам вся следующая в Америку кладь после Троицы, к двадцатому числу июня, в Охотскую область не прибудет, разорви наш контракт, Истрат Иванович, и считай, что, коль этого не сделаешь, не премину на всю Сибирь непригодность твою ославить, — бесцеремонно прервал Шелихов при своем отъезде в Охотск разглагольствования Деларова об опасностях плавания в Эгейском и Черном морях. — Приравнял свои лужи к Восточному океану! «Промедление смерти подобно», — говаривал великий государь Петр Алексеевич, а мне непременно сего лета надобно подкрепить припасами компанию...

Заручившись содействием Селивонова на выдачу с охотских казенных складов необходимого заморским поселениям провианта и снаряжения — якорей, меди, смоленых корабельных снастей, — Шелихов не решился доверить получение их по ордеру новоназначенному управителю. Шелихов знал, с кем Деларову придется иметь дело в Охотске. Там Кох. Этот Кох, можно не сомневаться, сумеет отправить самонадеянного грека за океан с пустыми руками, а ордер с кляузной отпиской о причинах невыполнения вернуть в Иркутск. Единственным виновником гибели русских людей,

оставленных на американских островах и материке, в глазах современников и потомства останется тогда Григорий Шелихов.

Под влиянием этих мыслей, не считаясь с тем, что при тяжбе с компаньонами ему надо быть в Иркутске — собственное благосостояние его висит на волоске, — Григорий Иванович решил бросить все и ехать в Охотск, чтобы лично наблюдать за снаряжением «Святителей» и отправкой корабля в обратное плавание. Деларов же, как условились, должен был выйти спустя две недели, на спаде паводка. Ему поручалась доставка тяжелого груза, главным образом соли. Соль была заготовлена еще в Усть-Куте. Ринувшись тогда по следам ледолома, Шелихов не рискнул ее взять с собой, боясь подмочить и испортить, — достаточно труда и усилий пришлось затратить на сбережение одного только пороха, зашитого в кожаные мешки, втиснутые в двухпудовые бочонки.

До Охотска Шелихов добрался лишь в начале июня, преодолев неистовую ярость и препятствия таежной и тундровой сибирской весны. В Охотске он привел в порядок и спустил на воду простоявший зиму на стапелях корабль. С нарастающим нетерпением мореход стал поджидать человека, которому доверял свою открытую землю.

О прибытии Шелихова тотчас же узнал ассессор Готлиб Кох, уже утвердившийся в должности коменданта Охотского порта. Кох даже воссиял от удовольствия — Шелихов опять очутился в его руках: надо уж теперь как следует поприжать купчишку, не поделившегося тогда добычей.

— За вами должок, Григорий Иваныч, — ехидно заметил Кох, когда Шелихов пришел в портовую канцелярию и подал ему бумагу с какой-то, как думал Кох, просьбой.

— Ежели заслужите, отдать не откажусь, — спокойно ответил мореход. — Токмо в этот раз я не одолжаться пришел. Его высокопревосходительство генерал-поручик Иван Варфоломеевич Якобия поручает вам для моего судна, отправляемого в Америку... — и не удержался усилить впечатление, — во исполнение

Монарших предначертаний! — выдать по казенной цене пятьсот пуд муки ржаной, якорей восемьдесят пуд, меди красной в котлах и в листах сорок пуд, снастей в стренгах и в спуске мелком двести пуд. Прочтением прочих мелочишек затруднять вас не буду....

Кох даже рот раскрыл от изумления. Ткнулся в ордер — на ордере подпись Якобия.

О какой-то необыкновенной перемене обстоятельств, неведомой и непонятной Коху, говорил и внешний вид морехода. Кох видел, как Шелихов нарочито медленно извлекал из глубокого отворота рукава кафтана темнозеленого сукна бумажку. Кафтан этот фасонный Григорий Иванович заготовил в Иркутске по образцу формы, сохранившейся в русском флоте еще с петровских времен. Бросался в глаза и кортик, длиной в половину палаша. «Морской разбойник, а не купец. Такого, пожалуй, и не обстрижешь», — подумал разом поблекший Кох. Но, вспомнив расшитый золотом мундир и преувеличенные собственным воображением полномочия Биллингса, все же решил не сдаваться.

— Все, что в амбарах имеется, — сказал он, — капитан Биллингс за собой оставил для надобностей...

— Для промена на чернобурых лис?.. Знаю, и в Иркутске о том знают! — решительно отклонил Шелихов ссылку на Биллингса. — Его высокопревосходительство знал о Биллингсовых надобностях, потому-то и прописал «предоставить мореходу Шелихову право лично на складах отобрать потребное и означенное в ордере».

Кох еще раз окинул взором купца и оспаривать подпись генерал-губернатора уже смелости не набрался.

Шелихов через неделю погрузил все отобранное на корабль, выведенный на рейд.

На погрузке работала артель, собранная мореходом из гулящих людей. Их в Охотске во время навигации насчитывалось иногда больше сотни. Эта вольная и буйная ватага всей своей внешностью как бы говорила о роковых столкновениях с жестокими законами времени. Добрая половина бродяг не имела ноздрей: ноздри были вырваны клещами палача. Немало было и людей, носивших длинные волосы, во-

лоссами они прикрывали отрезанные уши, и редко у кого на едва укрытых лохмотьями плечах не проступали следы ссылочного и каторжного клеймения. Всех этих людей называли «храпами», и кличка «храп» ни у кого из них не вызывала ни протеста, ни обиды, разве что заломит кто-нибудь несуразную цену за работу, чтобы только отвязаться от неприятного человека. Зато расспросы о причине страшных отметин редко сходили благополучно. За неуместное любопытство кое-кто и страдал от храпов.

Охотское начальство после нескольких запомнившихся тяжелых случаев вмешательства в жизнь храпов не имело желания отличаться на поимке клеймённых. Стороны встречались и расходились, не замечая друг друга.

Шелихов хорошо знал этот народ. С ними еще до Кыхтака он провел несколько плаваний в береговых «скорлупках» на Камчатку и Курильские острова. Не было людей надежнее храпов перед лицом опасностей и лишений. Зная, что в Охотске в разгаре лета и за деньги свободных рабочих рук не найдешь — мало ли какие в короткое северное лето возникают среди оседлых жителей заботы: рыбная ловля, сенокос, починка изб, в чем без храпов никак не обойдешься, — Шелихов сразу же, как только заявился в Охотск, забалил человек пятьдесят этаких охотников до морского дела.

— Слушай меня, — обратился он к ним. — На сторону не глядеть, с берега не отлучаться, зато есть ли работа, нет ли работы — до отплытия «Святителей» все равно полтина в день на нос, пятку десятников — по рублю, старосте — два рубля! Идет? — повел глазами Григорий Иванович по лицам собравшихся.

— А безносый как? — ввернул кто-то из толпы.

— Надо бы гривенник скинуть, да уж ладно, — отшутился Шелихов, — приравняем! Но смотрите, мужики, чисто работать, за кражу али подмочку остатков носов сверну... Караван вот-вот быть должен.

Погрузка вырванных у Коха припасов прошла с редкой удачей. Шелихов это приписывал своей на-

практикованной руке и сожалел, что нет Деларова: ему бы здесь следовало поучиться, как надо браться за работу. Не затонуло ни куска металла, ни мелкой бисеринки или бусинки: мешки с мукой и бочонки с порохом были переправлены через бар и выстроились на палубу без затечин — небывало! Погрузка купеческого корабля испокон веку была в Охотском порту предметом хитроумнейших ухищрений охотской «рвани». За нищенскую оплату трудной и опасной работы она вознаграждала себя подчас чуть ли не открытым пиратством. Но в этот раз на бере в устье Охоты, в каменных челюстях тверди, которые замыкали выход на просторы океана, храпы при малейшей опасности, не ожидая понуканий хозяина, прыгали на камни без оглядки и, рискуя жизнью, глотая воду, на руках и плечах протаскивали тяжелые баркасы и шняки через бурны, кипевшие над подводными камнями.

Необычного поведения храпов на погрузке корабля мореход и в этот раз не заметил, не задумался над причинами, отдавшими ему в руки этих людей. Быстроту и четкость погрузки Шелихов приписывал хорошей оплате и своему опыту, хозяйскому глазу.

Случай и удача принесли Шелихову богатство и начали кружить ему голову. Войдя в общество людей, видевших дорогу к жизни только в скупом и скучном накоплении — «копейка рубль бережет», — Григорий Шелихов проникся к ним презрением. С дворянством не сошелся — случая не представилось, да и своим достоинством поступаться не умел. Так и дошел в одиночестве до того, что мысленно все чаще стал сравнивать себя с одиноким несокрушимым морскими бурями кедром — таким, как тот, который мореход видел однажды на пустынном американском берегу.

Вершина этого кедра стала забывать, чем она обязана корням и побегам подножия, сдерживающим под кедром почву.

В конце восемнадцатого века среди сибирских простых людей в дикой глуши далекого востока России народная молва охотно подхватила и высоко подняла имя отважного морехода и землепроходца Григория

Ивановича Шелихова. В открытой им никому неведомой и вольной стране одни надеялись найти приют и выход из беспросветной нищеты и унижения — «там вздохнем, без пачпорта и подушных жить будем», другие же в удаче Шелихова и его первых сподвижников видели осуществление собственных затаенных мечтаний и возможностей — «и нас господь крепостью, мужностью и разумом не обидел, найдем и мы себе долю». Много людей из низов искали случая примкнуть к делу Шелихова, чтобы своим самоотверженным трудом и отвагой подкрепить сотню шелиховских удалцов, пробравшихся в Америку. Эти люди мечтали обстроить, запахать и отстоять для России новые американские владения.

4

Храпы и хозяин поначалу были довольны друг другом. Шелихов ежевечерне расплачивался с ними, выдавая по полтине за день, хотя в иные дни люди и не работали, а вылеживали на песке под скупым солнцем и еще чаще под опрокидываемыми при дожде баркасами. Храпы стоически отклоняли самые выгодные предложения охотских жителей — «до спаса поработаешь, зиму в тепле продержу и кормить буду» — и еще более заманчивые посулы вербовщиков Биллингса, который подбирал команды на суда снаряжаемой на Алеутские острова экспедиции.

— Мы в поход готовы, хоть на край света, но не под мундирным мореходом, — отвечали храпы к вящему удовольствию Шелихова и после вечерней получки гурьбой валили в кабак Растопырихи послушать «сольвья».

Такое прозвище получил бывалый мореплаватель Прохор Захарович Пьяных.

Потомок вологодских лесовиков, в конце семнадцатого века под предводительством Владимира Атласова добравшихся до Камчатки и открывших миру эту вулканами покрытую страну, Пьяных считал себя кровным русаком, хотя внешность его свидетельствовала о неизгладимой примеси с материнской стороны ительменской

туземной крови. Карие, как крупные кедровые орехи, глаза под нависшим надлобием, грива русых волос над желтым, взрытым оспинами лицом падала на крутые плечи приземистого тулова — в груди поперек себя шире.

На свои широченные плечи — верхнюю палубу, как он их называл, — Прохор Захарович легко вскидывал «четверть соли» — десятипудовый куль — и с ним по зыбкой доске всходил на борт корабля. С тушей убитого на охоте оленя, присвистывая снегирем, он перепрыгивал через глубокие, кипятком кипящие ручьи, прорезающие подножия действующих сопок, и шел себе как ни в чем не бывало. От людей, с которыми говорить не хотел, отделялся тем, что пожимал плечами: не понимаю, мол, о чем речь, и прибегал к свистящему и шипящему ительменскому языку, а на нем не разговоришься.

На побережье Охотского моря, до самого Гижигинска, и на обоих берегах Камчатки, восточном и западном, все от мала до велика знали Прохора Захаровича Пьяных как желанного и занятого гостя в каждой избе и яранге: Пьяных, как никто, умел расцветить мрак темных жилищ Приполярья рассказами о странствиях и приключениях во всех широтах Великого океана.

До отхода в поворотное плавание на Америку Пьяных устроился в кабаке Растопырихи, как в своей штаб-квартире. Не преследуя никаких целей, кроме услаждения себя во хмелю приятными разговорами, Прохор Захарович всегда встречал среди храпов внимательных слушателей. Чудеса и приманки американского рая, открытие которого он приписывал себе и гордился тем, что «первый увидел и закричал «земля», не то бы прошли мимо», увлекали людей.

— Не жизнь, а райское житие, — говорил Пьяных. — Рыба, звери сами в руки идут, птицы видимо-невидимо, есть и такие... серенькие, что не худо поют, вроде будто соловушки. Коренья — репа наша, к примеру, — сажали — в голову вырастает. Американцы, алилуты, чугачи и какие там еще есть — люди рослые, становиты, больше круглолицы и живут до ста лет.

Женщины, — причмокивает «соловей», — удивительные! Подбородки, грудь и плечи так раскрашены, будто косынки шитые, ходят босы, но чисто, для того умываются своей мочой, а потом водою. К нашему брату, особенно ежели кто русявый и бородатый, привязчивы. Одна такая, в губе фунтовая колюжка, в носу кость рыба — дворянка, значит, по-ихнему, — ко мне пристала... Страсть ласковая! — не смущаясь общим хохотом, солидно умозаключил Захарыч. — Хвори обнаковенной не знают, кроме примеченной... венерической, завезли треклятые китобои иностранные... Они в те края нет-нет и забегут! Пуще жизни любят эти дикие в гости ходить и гостей принимать, пляски плясать, и первая почесть на пиру в том, что подносят холодную воду... Налей-ка, Родионовна, чепурашечку за алилутов простодушных выпить, вольготная там жизнь! — и Пьяных в волнении от своих воспоминаний, подогретых изрядной долей хмеля, бросил чарку в подол Растопырихи. Та восседала на куче юколы под выставленной на середину кабака бочкой водки.

— Чего же ради ты в раю этаким остаться не соблазнился, по морям колесишь, утопления ищешь? — усумнился в прелестях американского рая артельный староста Лучок Хватайка. Полное его имя Лука, но по причине малого роста и едкости характера Хватайку никто не удостоивал этого полного имени. — Гоняет тебя купец твой, Шелихов...

Пьяных опрокинул очередной стаканчик, отбтер усы и не сразу ответил.

— Этого ты, — крикнул он, покосившись на Хватайку, — не можешь понимать. Я — мореплаватель, меня и мамка в баркасе под Камчаткой в бурю родила. Оттого не положено мне на суходоле, хотя бы и в ягодах, с бабами сидеть, на суше я цынготной болезни подвержен... А чем в Америке для прочих людей не вольная жизнь? Двести рублей на год жалованья хотя бы такой безмозглый, как ты, получает, да компанейский полупай — Григорий Иванович всех в компанионы записал, кто в прошедшее плаванье с ним пошел, — пять сот рублей вытянет, а ежели в рубашке родился,

и в тысячу обозначится. Пять годков, велик ли срок, отбыл — купцом возвернулся...

— Видели, каких ты из нашей породы обратных купцов привез, — не унимался Хватайка, — с цынгой и в верелах, хватит пакости на полный пай... Нет, Прохор Захарыч, напрасно ты народ сказками американскими смущаешь, разве что заплачено тебе...

— Ты кто т-таков? — вытаращился на Хватайку. Пьяных. — Ты в Америке был, чтоб в моих словах сомневаться и марать?..

— Да зачем мне трудиться-то марать, — насмешливо возразил Хватайка, — купцы, куда бы они ни втерлись, сами все замарают, и чиновники к этому делу печать гербовую приложат да отпишут — все, дескать, по закону...

Споры Хватайки с Пьяных не всегда разрешались мирно. Храпам не раз приходилось выручать мелко-рослого и тщедушного Лучка из могучих рук вошедшего в раж Захарыча. Другому храпы не спустили бы неуважения к своему старосте, а тут — ничего... «Нет нужды, что Прохор Захарыч перехватит лишнюю кружку пенника и прилыгнет что-нибудь. Не любо — не слушай», — утешали они помятого Хватайку.

Храпы хотели верить в существование страны, текущей молоком и медом, — страны, где человек мог бы вздохнуть во всю ширь груди, стиснутой от рождения нищетой и бесправием, а у многих и навсегда сдавленной тяжким надгробием каторги. Почти каждый из «клеименых», вступавших в шелиховскую артель, решал для себя попасть в число трех десятков работных, которых, как о том проговорился тот же Пьяных, хозяин имел намерение, присмотревшись, отобрать из артели себе в компаньоны.

Первый рейс регулярной связи России с Новым Светом, о чем во всеуслышание объявил Шелихов, начинался с отправления в Америку «Трех святителей», а это уже не слепые поиски, — это открытая всем русским людям трудами и заботами Шелихова широкая дорога к привольной жизни в сказочной стране.

Перед Шелиховым после разрыва с купцами-компаньонами встала задача освоить американскую землю

собственными силами и средствами. Поначалу он радовался создавшемуся положению: представлялась заманчивая возможность одному присвоить блага Славославия. Для этого, казалось бы, нужно было только самому, — а не управителей посылать, — сесть на берегах Америки и самолично повести все дела. Но деловая трезвость купца сильнее порывов мечтателя. Деньги! Где взять для этого деньги?.. Все дары и блага американской земли — это ведь тоже деньги. А как их без денег достать, прежде чем они, эти дары и блага, превратятся в звон подлинного золота?..

— Не безумствуй, Гришата, — останавливала мужа Наталья Алексеевна, когда он в разгаре мечтаний выкладывал перед нею свои расчеты. — Где видано, чтоб один человек силы набрался такое дело поднять?.. В Америке зажить — капитал нужен, люди нужны, а у нас с тобою...

— Яков Строганов с братьями Сибирь завоевал! — с запальчивостью кричал Григорий Иванович, как бы пытаясь отогнать этим криком не раз встававший перед ним вопрос о средствах и людях.

— Когда это было и так ли было? Ермак Тимофеевич, да и он не в одиночку, а народушком Сибирь покорил. Строгановы царю ее передали, а себе оставили одно только право ясак собирать да ясырь в рудники гнать — это, поверю, купеческое дело. В Ермаках ты побывал, с тобой и я судьбы-доли ермацкой отведала... Много довольна! Но искушать волю божью в другораз тебя не пущу. Чтобы в силу войти, нам крылья надобно — капитал приобрести... Ты в большие годы вошел, сорок, почитай, стукнуло, а какая у нас сила?.. Мечтанья, пух!..

Сидя на берегу Охотского моря, можно сказать, на пороге новооткрытой земли и вертя так и этак мысли о способах овладения ею, Шелихов вспоминал бархатный, певучий голос Натальи Алексеевны и высказанные женой жесткие, но правильные, как он понимал, слова. Все права имеет Наталья Алексеевна купчихой именитой век доживать.

Держит он себя на людях, что и говорить, хозяином, а настоящей-то силы в нем, денег-то нет, — одни

птичьи слезы. Деньги-то в мягкой рухляди, сваленной на пол иркутских амбаров. Даже при благоприятном решении совестного суда рухлядь эта превратится в деньги не раньше чем года через два: ее ведь еще надо доставить в Китай, Москву, Петербург. Да там и продать, а до той поры варись в собственном соку. Нет и кредита, — в глазах купечества имя Григория Шелихова стоило не много. Кладовые в Америке пусты. Люди, людские пополнения? Они еще нужнее американским поселениям, — а где их взять? Да и чем платить им будешь, владелец новой земли, пустой шиш Григорий Иванович?! Выходит, прав Селиванов: «Сколько шкур ни добывай, американские земли шкурами не удержишь. Закрепить ее за Россией мочно токмо пахарем, землепашеством да мастеровым чело-веком с ремеслами». И эти слова правителя дел канцелярии губернатора не выходили из памяти морехода. Ими Селиванов в один голос с Натальей Алексеевной неизменно заканчивал продолжавшиеся после первого знакомства встречи и разговоры. «Вольных сибирских мужиков, чалдонов, в Америку не сманишь, — не раз говорил Селиванов, — не захотят люди от добра добра искать. Ты «несчастненьких» тех, что из кулька в рогожку переходят, подбирай, их тысячи по нашему краю перекатываются. С умом да заботой на землю сажай, тогда лет за десять Америку, глядишь, и освоишь».

«С умом и заботой — сказать легко, а как выполнить!» Ценой великих усилий и жертв Григорий Шелихов, не смущаясь окриками и недовольством своих алчных к наживе компаньонов, только и мог доставлять в Охотск пока один порох да пули, — Сибирь и сама-то едва зачинала земледелие. И все же он из Сибири через тысячи верст океана перебрасывал на Аляску семена невиданных на американском побережье растений.

«...Остается мне сказать вам, — писал он на обороте реестра каждой посылки, как бы незначительна она ни была, — что вы и без назначения моего о времени посадки семян сами знаете по имеющимся уже на Кадьяке опытам, когда, в какие месяцы положить

начало сему преполнейшему делу. Господину Поло-
мошному, вашему сотруднику, я вручил здесь хлебных
семян: ржи 59 п. 39 ф., овса 2 п. 4 ф., ячменю 7 п. 12 ф.,
семени конопляного 33 ф., гречихи 23 ф., пшеницы 10 п.
35 ф., а сверх того огородных всяких семян: редьки,
репы, свеклы, капуст разных и огурцов, луку, дынь,
арбузов; да таковыми же в изобилии снабжен отец
архимандрит. Опытность ваша, как и святых отцов
и посланных хлебопашцев, научит вас поступать в сем
важном деле со всею осторожностью и по лутчей ме-
тоде».

На доставку семян, перевозку их через океан в
двойных рыбьих пузырях, заботы у Шелихова хватило.
Не хватило лишь заботы о людях, о пахарях, сеятелях,
руки которых только и могли обсеять русскими семе-
нами новооткрытую землю.

Золото не ржавеет, но человека ржавит. Случайное
богатство и огромное выросшее на нем дело постепен-
но погасили в душе именитого гражданина Григория
Ивановича Шелихова воспоминания о той голодной,
бродяжнической жизни, которую он сам испытал
в юности. Кусок хлеба из сумы калик-перехожих ко-
гда-то ведь поднимал на ноги ослабевшего в дороге от
голода мальчика Гришку, а черная изба пахаря укрыва-
ла до выздоровления пригожего парня Григория от
захваченной в скитаниях огневицы.

Посылая драгоценные семена на Аляску и давая
наставление сеять «по лутчей методе» для обеспечения
больших прибылей от хозяйства, Шелихов, этот «вот-
вот миллионщик», с большой беззаботностью к жизни
человека указывал:

«Что же принадлежит до способа, кем орать новую
землю, ежели недостаточно будет кадыцких взрослых
быков, то рассуждаю я в сем случае употребить на
первый раз и людей, в сем необходимом деле можно
и не пожалеть излишних человеческих трудов... Что
принадлежит до бережливости хлеба и скота и прот-
чего экономического устройства... во всем на вас по-
лагаюсь».

На охотском досуге Шелихов в ожидании карава-
на Деларова проведаль настроения тех самых «несчаст-

Небьких», которых Селивонов советовал обратить на заселение Америки. Не расспрашивая в разговорах с храпами, за что тот или другой лишился ушей или носа, мореход успел выведать подноготную жизни каждого и убедился, что артель по первому зову готова сняться в Америку. Добрая половина людей, оказывается, полна одной думой — найти в новой стране семейный очаг и спокойный труд над мирной пашней. Выход, казалось, был найден.

«Мужицкое нутро цело. Любви к земле и каты не вырвали. Годятся! — подумал Шелихов. — А фортуна? Не мужицкое дело фортуна, что им фортуна! Их судьба — землю пахать... Попади я в их шкуру, не выдержал бы, в душегубы ушел бы и душегубом до конца живота ходил бы».

Душегубом Григорий Шелихов не был и навряд ли мог превратиться в душегуба, слишком жизнелюбив был сам и любил жизнь вокруг себя, но купеческие вороватые повадки, неотделимые, как говорил Хватайка, от природы купца, предпринимателя и всякого человека, стремящегося к богатству, проявлялись в нем легко и бездумно. Эта легкость и бездумность были даже непонятны в Шелихове, человеку большого размаха и добытчицкого пренебрежения к тем же деньгам.

«Вот напасть, люди есть — денег нет; нос выгащил — хвост увяз, — растерянно ухмылялся собственным противоречивым размышлениям мореход. — Деньги горы взрывают, безденежье же дела, куда большие, чем гора, в пыль превращает. Ну, ничего, как-нибудь выкручусь, не допущу себя до срама, в Америку же напишу что-нибудь подходящее, а если и останутся недовольны, из-за океана все одно жалобы не долетят...»

В конце концов мысль Шелихова остановилась на нанятых работных — валяются целый день на песке да еще посмеиваются над его «позорной» трубой, над тем, что он в ожидании каравана в хозяйской заботе каждодневно обшаривает взгорья. Им что? Вываляются за день до одури, вечером получают по полтине, подтянут портки и закатятся в кабак пропивать хозяйские

кровные денежки... На человека истратить полтину в день не жалко, а выкладывать лежебокам тридцать рублей всякий день, тысячу рублей за месяц — покорно благодарю! «Не то что новую землю, портки сам потеряешь... Завтра же скажу: баста!»

На другой день с утра Шелихов, выйдя на берег моря к работным, без долгих околичностей объявил:

— Распушаю, братцы, артель!.. Доверил караван бездельному человеку — не скоро приведет, а я не в силах за ожидание платить по соглашению, кое заключил на срок до отправления «Святителей». Придет же караван, всю артель в первую голову на погрузку приму, до последнего человека, и, как договаривались, — по полтине в день... За сей день плачу так и быть, где наша не пропадала!..

— Фи-иты! — пронзительно, по-разбойничьи свистнул Хватайка. — Уразумели теперь, чья правда была: Прохора али моя? Ах и слюни-люди, об Америке возмечтали... купец вам покажет Америку! Воистину благодетель: примет, когда горбы наши занадобятся, а жрать что мы будем, пока тебе надобны станем?! Отблагодарил уже раз, когда мы тебя замерзлого к бабе твоей привезли, эх ты... миллионщик! Да что с тобой толковать, волк в себе неволен, когда овцу режет, купец есть всегда купец — одна подлость!..

— Хватит бобы разводить! — прикрикнул на Лучка мореход, торопясь не дать Хватайке разжечь страсти. — Подходи за деньгами! — Шелихов, допуская, что его поступок может вызвать возмущение, даже пистолет за пазуху сунул, выходя к артели.

Но решение Шелихова при установившихся почти дружеских отношениях между хозяином и работниками было настолько неожиданно, что многие приняли это за испытание их доверия к хозяину и готовности на жертвы и потому молчали, слушая выкрики Хватайки. А кое-кто даже пытался остановить его брань:

— Будет тебе, Лучок, будет... Велико ли дело полтина, нам твоя правда обидна...

В том же молчании люди брали последнюю полтину и с беззаботной, но смущенной улыбкой, не огляды-

баясь, исчезали в дверях стоявшего на бугре гостеприимного и столь утешительного кабака Растопырихи.

— Дай штоф, Родионовна! — кидали входившие на прилавок последнюю полтину. — На достальные щец с мясом подкинь...

Более осторожные хмуро оговаривали:

— За полтину неделю строго по чашке подносить будешь...

— Ладно, — хрипела довольная Растопыриха, подбирая сыпавшиеся полтины. — Что, охтимнеченьки, пропиваете?

— Долю...

— Доля — дело наживное, пока воли не пропили, гуляйте...

Нет, воли они не пропьют, а в Америку попадут и долю наживут.

Однако через неделю всем стало ясно, что суждено им остаться при старой доле. Произвол хозяина, проявленный так грубо и безнаказанно, рассеял розовые облака над Америкой, навевая волшебными сказками Пьяных. Не приходится ждать добра в Америке, там и податься будет некуда, если купцу-прибыльщику даже шкуру снять с тебя занадобится.

Очень немногим удалось найти работу и прокормление.

Когда храпы приходили к старожилам и спрашивали что-либо «поработать», те в отместку за отказ пособить в начале летней страды с притворным равнодушием отвечали:

— Уж как-нибудь и без вашего брата дело справим. — И, глядя на храпов, на их поникшие головы, отягощенные хмельком, соболезуя, замечали: — Скажи, пожалуйста, выбросил?.. Вот не зарьетесь впредь на купеческий ярушник¹, вырвет с него...

Обманутой и обиженной артели некуда было деваться. Слонялись кучками, как бродят по Охотску стаи собак, которых хозяева отпускают летом на волю кормиться тем, что ни попадет.

Хватайка, как староста, считал себя обязанным

¹ Ячменный хлеб.

отстоять права артели, заставить «толстопузого» сдерживать уговор. Он глазами, более острыми, чем подозрительная труба, и чаще Шелихова впериался во взгорья и ждал, не покажется ли караван с особо важными для торговли в Америке товарами, ради погрузки которых Шелихов два месяца просидел в Охотске. Невзгоды товарищей терзали Лучку сильнее собственного голода: он, ротозей, договариваясь с купцом, не догадался подписать «бумажку» на уговор. В очищение совести Хватайка тайком от товарищей выдал на себя «запись» Растопырихе на пятьдесят рублей, чтобы она как бы по доброте своей, «христа ради», давала каждому чашку щей раз в день. Лучок боялся распыления артели. С голодухи и самые сильные, самые отважные могут разбежаться в поисках счастья в тайге или на Камчатке. Кто ему тогда поможет свести счеты с Шелиховым?..

5

Караван Деларова прибыл только в конце июня. Караван большой — тысяча двести пудов груза в шестипудовых вьюках, доставленных от самого Якутска на двухстах с лишком лошадях, быках и оленях, с полсотней проводников — якутов и тунгусов, непригодных для какой бы то ни было работы на море. Сразу же по прибытии в Охотск проводники стали торопить с разгрузкой и расчетом. Они спешили еще до осенних дождей вернуться по домам. Дорога им предстояла не только дальняя, но и трудная. Сложность была в том, что вьючный свой скот, поскольку наниматели на обратный путь фуража не давали, проводникам предстояло гнать домой попасом.

Щеголеватый грек Деларов, впервые оказавшийся в глубинах Сибири, на ее караванных тропах, прибыл в Охотск в неузнаваемом виде. Лицо Деларова, багровое и опухшее от бесчисленных укусов гнуса — бича тайги и тундры, походило на расписанный кровью рыбный пузырь, на какую-то плясочную маску алеутов. Шелихов только охнул, взглянув на него, но послабления решил не давать.

«Разве я или Баранов, скажем, допустили бы гну-са обезобразить себя, как этот болван!..» — злорадно подумал мореход и, чтоб подбодрить унылого грека, весело прокричал:

— С такой рожей, Истрат Иваныч, алеутские жен-ки тебя вмиг на пляску подхватят и женят, а пока собери моих работных на перегрузку добра!.. Где най-ти?.. В кабаке, конечно... Вон над нами на бугре стоит... Спроси человечка, Лучком зовут, — он те их и сгонит... Да чтоб сейчас же выходили! Тебе на Петра и Павла надо в море выйти, а мне — на Иркутск, ина-че все убытки на твое жалованье поверну...

Хватайка, нырявший в пестрой толпе провод-ников, слышал слова Шелихова и поспешил сторон-кой пробраться в кабак, чтобы встретить там Де-ларова.

Лучок сидел уже в кабаке, когда грек появился на пороге. Хватайка молча слушал его и не проявлял никакого интереса. Грек даже растерялся, а потом стал кричать, видя, что Лучок как бы забавляется его горячностью.

— Вот что, — сказал наконец Хватайка. — Ты не кричи, господин. Сегодня распотать никак не спро-можемся, народ нивесть где бродит. Завтра поутру всей артелью на берег выйдем, — ухмыльнулся вдруг Лу-чок. — Давно ждем...

А вечером Лучок рассказал собравшейся артели о том, как рассчитаться с Шелиховым за «подлость», за обманутые надежды и за голодное урчание в брю-хе в ожидании каравана.

— Вдругораз не дождемся ухватить толстопузого за жабры, а упустим такое, нас комары заедят! — под-нимал Лучок дух артели. — Перво дело, скажем, — заплати по полтине в день за прожидание... Целый месяц не жрамши сидели! Друго дело — по рублю в день тому, кто через бар возить будет, а кто утонет али задавит кого на камнях — пятьдесят рублей се-мейству и... на это на все — словам не верим! — под-пиши бумажку на всю артель... По выбору на работу никто не становись — уьем! Не удовлетворяет нашей обиды, посмотрим, как сам грузить будет с тем ком-

панионом, что ко мне приходил... Купец нам сказал «баста», и мы ему бастанем, а свое получим...

Утром на берегу у пристани Шелихов встретился с собравшимися работными и, махнув в знак приветствия рукой, сразу начал:

— За три дня погрузите — всю артель в Америку заберу. А перво-наперво баркасы в порядок привести...

— Погоди, Григорий Иванович, перво-наперво договоримся и бумажку подпишем, — остановил его Лучок и туг же не удержался, чтоб не съехидничать: — Тебя с благополучным прибытием долгожданного, а нас с получкою по полтине... за поджидальные дни...

— Какие такие поджидальные?..

— До выхода «Святителей» в море! Мы... хоть мы и храпы, уговору держимся... Видишь, все как один, только мигнул ты, явились! Полагаем, что и ты слову своему хозяин... А еще те мужики, коих ты через бар возить назначишь, надумались по рублику спросить, уж больно тяжело и опасно через камни переваливать, сам знаешь... а в случае кто...

— А в случае я прикажу тебя за бунт арестовать? — прервал Шелихов Лучка.

— Что?! — закричали храпы, окружив Шелихова плотным кольцом. — Не дадим козла! Всех сажай! Гляди у нас: Лучка обидишь — себя пожалей!..

Шелихов слушал и не верил собственным ушам. Не было никаких сомнений — артель вышла на берег с обдуманым и закрепленным круговой порукой решением сломить его хозяйскую волю, заставить платить по необдуманному обещанию...

Положение безвыходное. Люди нужны сейчас дозарезу и именно эти люди, с их отвагой и сноровкой, столь важными при опасной погрузке, когда дорогу на рейд перерезают кипящие буруны. Мореход был суеверен: в прошлом году, отчасти по своей вине, он не вернул «Святителей» в Америку, а в этом году отправит корабль с летящей ему вслед людской злобой и проклятиями — быть беде в далеком пути, не дойдет корабль до Америки, погибнут оставленные в ней без помощи товарищи и соратники... «Где и ко-

гда я людей на погрузку соберу? Дался идолам клейменым себя поймать — надо платить и кончать миром, ежели половину артельных с кораблем отправить хоч», — думал Шелихов, успокаиваясь и приходя к единственно разумному и справедливому разрешению спора.

— Признаешь нашу обиду, Григорий Иванович? — прервал затянувшееся молчание Хватайка. — Решай! Коли не по праву с тебя спросили — откажи, ежели справедливо требуем — плати и прикажи к работе приступать, а пнями перед тобой стоять нас... оторопь берет, — прикинулся простачком Хватайка. — Вот и Кох выручать тебя спешит... при его благородии нам спорить с тобою несподручно...

Из-за бугра, на котором стоял кабак Растопырихи, показалась в сопровождении вооруженных «братских» — так называли принятых на русскую службу бурят — жердеподобная фигура коменданта порта и совестного судьи Коха, совместившего в своей особе всю полноту власти в городе. Кох издали уже посылал приветственные знаки Шелихову.

— Стервятники завсегда в кучу сбиваются. Сейчас и этот клевать нас зачнет... Держись, гольтыба! — буркнул Лучок. — Грозы не бойся, гроза не из тучи... на уговоры не поддавайся!..

Подбодренный приближением коменданта, Шелихов решил поторговаться с насевшей на него артелью. И если уж удовлетворять законное требование захвативших его врасплох храпов, то только в порядке добровольном, сделать это как снисхождение со своей стороны.

— Не припомню, чтоб обещал поджидальные до прихода каравана платить, но раз уж вы делу моему крепко стояли, не разбежались и на берег как один вышли — верю и должен... наградные платить... По двугривенному за день получайте...

— Не согласны! — зашумели храпы. — Не на перти за милостынькой стоим! Полтина, как договорились! Наше полностью подай...

— Зарядила сорока одно про все — полтина, полтина! Вот идет совестный судья господин Кох, вы ему

и представьте обещание мое: как он рассудит, так и будет! — поднял голос Шелихов, предвидя не роняющий достоинства выход из положения. Кох, конечно, отклонит претензию каторжных. — Да не галдите, беспорядка, гомона не терплю!..

— Я пришел, Григорий Иванович, осмотр товарам сделать, — начал Кох, подойдя вплотную к обступившей Шелихова толпе, — не надо ли вывозные пошлины платить? Боже сохрани нас государственную копейку упустить, — бормотал Кох, прощупывая глазами сваленные неподалеку горы мешков и ящиков. — Почему крик и беспорядок? Почему не работают, в чем дело? — оглядывая толпу, начальственно приосанился Кох.

— В том и дело, что пошлины высматривать вы тут как тут, — в раздражении ответил Шелихов, догадываясь, что Кох ищет и обязательно найдет повод затормозить погрузку припасов. И, не желая вмешивать Коха в спор с артелью, опрометчиво добавил: — А от беспорядка в порту навигацию избавить — ищи ветра в поле...

— Какой в порту беспорядок? Кто зачинщик?

— Да нет... пустое... Поспорили малость... — Шелихов оглядел артельных и неожиданно для самого себя, поймав презрительную усмешку Хватайки, ткнул в него пальцем: — С энтим, чумазым! Ограбить захотел...

— Эй ты, выходи! Взять его! — заорал Кох, обрадовавшись случаю замять назревавшее столкновение с Шелиховым. — Смирно-о! — закричал Кох, входя в начальственный раж.

Казаки из бурятов, страстные ненавистники варнаков, мгновенно подняли ружья на прицел.

Сибирское начальство всех рангов всячески разжигало и поощряло враждебные действия туземцев Сибири против варнаков, то есть людей, так или иначе вырвавшихся на волю с места ссылки или каторги. Дикие кочевые охотники, буряты и тунгусы, в тайге гор и долин Сибири создали своего рода промысел из охоты на варнаков, живых из-за трудностей доставки брали редко. Варнаки со своей стороны также не щадили охотников.

Один из «братских», отдав ружье другому, направился к Хватайке с наручниками. Храпы сдвинулись вокруг Хватайки. Казак-бурят в нерешительности остановился перед сгрудившейся артелью.

— Выходи! Встань передо мною и скажи, чего вы требовали от господина навигатора... не то по всем стрельбу открою! Трусишь ответ держать, сукин сын! — кричал Кох, вытаращив помутневшие от ярости глаза.

— Этот шалый и впрямь стрелять прикажет. Я — староста, я за вас и в ответе... Пропустите, братцы, пойду с ним, как-нибудь вывернусь, не впервой, — сказал Лучок и, оценив положение, вышел из толпы. — Отвяжись! — отмахнулся он от подбежавшего с наручниками «братского». — Видишь, сам иду его благородию жалобу изложить на купечское мошенство...

Услышав эти слова, Кох, обрадованный в глубине души представляемой возможностью причинить Шелихову неприятность хотя бы комедией расследования, кивнул казаку головой: не надо, мол, наручников.

— Взять под ружье! Кругом марш — и вперед!

Кох окинул грозным взглядом понуренных храпов, повернулся и с принужденной усмешкой бросил Шелихову:

— И вас прошу последовать за мной, как... как от ветчика!

Предложение Коха идти в портовую канцелярию в качестве обвиняемого по жалобе варнаков жестоко обожгло самолюбие Шелихова. Он оглядел их со злобой и вмиг перерешил: «Никакого примирения с артелью и никакой отправки ни одного храпа на «Трех святителей» в Америку!»

— Останься на месте, оберегай кладь, Истрат Иванович, — сказал он греку. — С этой рванью никаких тары-бары не разводи! Через короткое время вернусь, тогда решим, как грузить будем!

И, негодуя сдвинув морскую шляпу-блин на затылок, Шелихов нарочито неторопливо зашагал в портовую канцелярию вослед скрывшемуся за бугром Коху.

— Ишь, рвань голозадая, я ее кормил-поил, а они под какой срам подвели, — бурчал он, отбрасывая ногой попадавшие на дороге камни. — Галдеж подняли, прямой бунт учинили, Лучок в лицо мошенником обозвал, бродяга, купца именитого, и я же виноват! Кох, крыса канцелярская, ответа спрашивает, чего доброго — всамделишно судить будет... И за что, за кого терплю! — Шелихов вспомнил спокойное лицо Хватайки, когда тот вышел из толпы к Коху, и с отвращением сплюнул. — погоди уж, я твоего изгальства не забуду!..

Вдруг впереди себя он услышал гортанные вскрики невидимых за холмом казаков-бурят и визгливый голос Коха: «Держи его! Стреляй!»

Прогремело несколько выстрелов, и все смолкло...

«Что такое? Неужто... — Григорий Иванович оставался, почувствовав неприятный холодок под ложечкой. — По Лучку стреляли, — мелькнула мысль, а с ней — предчувствие какой-то непоправимой беды, которая темным пятном может лечь на едва пробивающиеся ростки русского дела в Америке. — В который раз немчура проклятый мне карты путает! — досадливо морщился Шелихов, стараясь собрать бессвязные мысли. — Не иначе — убили... «братские» белку в голову без промаха бьют... Как я людям в глаза смотреть буду? Докажи теперь народу, что неповинен я в крови дуролома этого... По всей Сибири разнесут: заспорил, мол, с Шелиховым несчастный варнак о деньгах заработанных, а тот и мигнул немцу Коху: мол, прикончи... Одна надежда была укрепить дело — заселить новую землю гулящими, все же русским корнем, а ныне — ах! Перебежит черная слава вольную дорогу... И дернул же меня бес в Лучка пальцем тыкать! — сокрушенно вздохнул Шелихов над участью Хватайки. — Чего доброго, этот не столь уж важный в таких условиях случай затруднит, а может, даже приведет к полному крушению намеченный на первое время план действий...»

Несмотря на одышку в ходьбе, мореход в несколько прыжков взбежал на холм. Вниз с холма спускалась дорога в порт, по сторонам ее серели первые, еще

командором Берингом лет пятьдесят назад выстроенные и теперь уже полуразвалившиеся, каменные портовые амбары.

На дороге и у амбаров никого не было. «Сбежал Хватайка. Молодец! За ним, видно, и побегли все, ловят», — обрадованно подумал Шелихов и быстро двинулся вниз, чтобы помешать расправе с беглецом в случае поимки.

Проходя мимо разрушенных амбаров, отходивших от дороги в глубь портовой территории цепочкой, Шелихов увидел через пролом стены глубинного амбара Коха с его людьми. Они копошились и разглядывали что-то лежащее на земле.

— Кончал! — услышал мореход торжествующий возглас бурята.

Лучок лежал неподвижно, перевернутый лицом в загаженный мусор. Задранные на голову лохмотья пестрого азяма открывали на обнаженной спине четыре кровоточащих раны под лопатками и на пояснице. «Стреляют косоглазые точно, на смерть», — содрогнулся Шелихов, хотел сказать что-то резкое и крепкое Коху, но вместо того снял с головы свой блин, поклонился мертвому телу и вышел.

— От Коха не убежишь, — самодовольно укорил убитого совестный судья. — На небе бог, а в Охотске Кох! — послал ассессор свое излюбленное словечко в адрес выходившего на дорогу морехода. — Оставить на месте, варначье сами подберут, — сказал он бурятам и тоже пошел на дорогу.

В кабаке Растопырихи, где уже сидели вернувшиеся с берега артельные, слышали выстрелы. Высмотрели возвращение одного только Шелихова к оставленной на берегу под присмотром приказчиков кладу, заметили, что Лучка среди выбравшегося из разрушенных амбаров отряда Коха нет, увидели, как погрозил кулаком Кох в сторону собравшихся на бугре беглых, и все поняли...

— Видать, навеки доказал наш Лука Прокофьич Хватов купецкую и чиновную подлость, сомневаться не приходится, — махнул рвкой в сторону Беринговых амбаров безносый и безухий храп Неунывайка, впер-

вые назвав хлопотливого и неустрашимого Лучка его полным человеческим именем.

В сумерки десятка два храпов спустились на дорогу, обшарили брошенные амбары и нашли тело Лучка. Скрестив три пары рук, они, подменяясь на выходящей в гору скользкой тропе, перенесли на них своего старссту в кабак и положили на стол, выдвинутый на середину избы. Потом уселись вокруг, кто на чем стоял, и справили хмурые поминки.

Ночью, когда выставленный Растопырихой по такому случаю безвозмездно бочонок водки подходил к концу, без поа отпели бесстрашного предстателя артельных интересов.

Приканчивая бочонок, храпы пустили с злыми прибаутками вкруговую объемистую посудину. Они словно наливались из нее решимостью выйти с мертвым телом в ночь, под зарядивший во тьме охотский холодный дождь. Надо было успеть до утра захоронить убитого без помехи. Мало ли что может забрести в голову Коху или охотскому старосте!..

— Споем, други, на прощание любимую Прокофьяча, проводим товарища-бродягу в могилу честь честью, — предложил кто-то из храпов, когда уже подняли тело Лучка на подведенных под него, вместо носилок, заступах и кайлах.

— Дельно... ты и заводи голос, а вы, мужики, согласно подхватывайте, да не горланьте: и ночь ухи имеет... Покладите его обратно на стол!..

И понеслась над телом Лучка, замотанным в неведомо откуда раздобытый кусок издырявленной парусины, широкая, как река в разливе, бытовавшая среди наводнявших Русь бродяг, замечательная сложным многоголосием песня:

Ах, станы ли вы, станочки, станы теплые!
Еще все наши станочки поразорены,
Еще все наши товарищи переиманы,
Я остался добрый молодец одинешенек в лесах.

Как задумал я перебраться на ту сторону,
На ту сторону на далекую...

— ...на да-а-леку-ую... — замер, взвившись на предельную высоту, подголосок, и за ним:

Сам кончаться стал...—

горько вздохнули голоса основной мелодии.

Сам кончаться стал...—

подтвердила чья-то рокочившая октава.

И снова, словно оторвавшись от бездыханного тела Луки Хватова, многоструйным и бодрым потоком разлилась песня, в единовдушном слиянии чувств и чаяний «клеименых» с хранимым в народной памяти грозным и широким, как море, именем:

Вы полбжите меня, братцы, между трех дорог,
Между Киевской, Московской, славной Питерской,
И пойдет ли иль поедет кто — остановится:
Что не тот ли тут похоронен вор-разбойничек,
Сын разбойника, сын удалого Стеньки Разина.

Ночь, как оказалось, действительно имела уши. Шелихов, вернувшись на берег к клади, сваленной в облюбованном для погрузки месте, не нашел решения, как начать работу, и остался ночевать при своем добре, опасаясь налета обиженных храпов.

Разбуженный зачистившим с полночи дождем, начал он возиться в темноте с установкой наспех одной из отправляемых за океан палаток и услышал песню, доносившуюся из кабака на бугре. Вслушался и догадался, что это каторжные приволокли туда убитого Хватайку и по-своему снаряжают его в последний путь. «Поминают богов своих: наибольшего Стеньку Разина... сейчас и молодшего Емельку Пугачева вплетут... Воровские боги, сколько от них безвинных людей загублено, сколько купцов ограблено», — раздраженно и зло думал Шелихов. Но сознание своей виновности в бессмысленной и безнаказанной гибели человека росло. Он боролся с голосом совести, приводил, казалось, правдивые доводы здравого смысла и ничего сделать все же не мог, как не мог и не слушать долетавшую до него в ночной тьме кабацкую песню.

«Вилит бог, не хотел я смерти Лучка!» — перекрестился Шелихов в испуге перед собственной слабостью, подобрался и залез в расставленную палатку. «Где

я завтра людей на погрузку найду? Старожилы — во-
ры записные, да их и не уговоришь, забоятся отмест-
ки каторжных — красного петуха под крышей... Ин,
ладно, не застряну... Храпы тыщу вымогали — три
отдам, а «Святителей» через неделю в море выражу!»
В защиту от беспокойных дум и бессонницы мореход
завернулся с головой в брошенный на промокшую зем-
лю медвежий мех и, как полагается человеку, уверен-
ному в своей силе и правоте, сумел заснуть.

Глава пятая

1

Фортуна, капризная богиня удачи, неизменно по-
кровительствовавшая своему избраннику, выручила
морехода и в этот раз.

На пятый день бесплодных поисков рабочих рук на
догрузку «Святителей» Шелихов пришел в бессильную
ярость. Старожилы отговаривались неотложными ра-
ботами, а храпы как вымерли и на берегу не показы-
вались. Мореход с ругательствами стал тогда вымо-
гать согласие от тех работных, которых привел из
Иркутска Деларов. Их было человек десять, и никто
как они должны были начать опасную переправу тя-
желых тюков и ящиков на рейд через каменную сеть
бара. Но и они, непривычные к такому труду, отказы-
вались. И вот, когда отчаяние уже готово было пому-
тить разум морехода, на горизонте показался вдруг
парус корабля, медленно, но явно направлявшегося
к охотской гавани.

— Под одной бизанью идет, а грот и фоку¹, ви-
дать, потерял... Не наш — чужак... будто англинский
клиперишко, — непререкаемо определил гостя старый
корабельный мастер Кузьмин, до которого никто из
высыпавших на берег охотчан не осмеливался высту-
пить со своим предположением.

¹ На трехмачтовых парусных судах фор (или фок) — носо-
вая мачта, грот — основная центральная, бизань — кормовая
мачта.

— И кто бы это в наш гиблый заkut наведаться вздумал? — говорил Шелихов, беспокойно передвигая фокусный конец неразлучной с ним подозрительной трубы. — Темноликие какие-то... не разгляжу... и волосы лохматые... Неужели мои, кадыяцкие сидельцы... захватили чужеземный корабль, какой попался на abordаж? Все бросили, что с собой забрать не могли — уничтожили... крепость... строения... Ну, хоть живы вернулись, и за то благодарение господу! — радовался Григорий Иванович.

Постоял еще немного на берегу и, не проронив никому ни слова о своем превратившемся в уверенность предположении, пошел к себе в палатку подготовиться к встрече. Неужели все заново начинать придется? Да и пока он на этом пути соберется с силами, перехватят его место в Америке. Тот же Голиков пошлет по его следу своих людей или еще более страшный противник полковник Бентам, о котором он столько слышал в последнем году своего пребывания в Америке. Этот полковник, находясь на службе Гудзонбайской компании, ухитрился заложить английскую фортецию на какой-то реке, над горой Доброй Погоды, вперерез пути в Калифорнию, и привел туда из Канады или морем привез — дотошный бес! — целый батальон английских красномундирных солдат. Лазутчика этого Бентама, мутившего народ, как припомнил Шелихов, он сам обнаружил, когда пробыл под Нучеком несколько дней в поисках следов трех исчезнувших с охотниками-алеутами четырехлучных байдар. Бентам... ох, Бентам!..

С мыслью о нем, утомленный всем пережитым за последнее время, Григорий Иванович прилег на поставленные вместо кровати доски и незаметно для самого себя забылся в тревожном сне.

— Полковник Бентам! — услышал Шелихов чей-то разбудивший его голос, открыл глаза и удивился, до чего явственен сон, когда увидел над собой мясистое и обветренное бритое лицо — таким именно мореход и представлял себе этого Бентама — с одобрительной и коварной усмешкой, подмигивающее Шелихову, как уличенному в невинном грехе доброму приятелю. —

Господин полковник Бентам! — повторил голос, и тотчас же из-за спины полковника выдвинулось знакомое лицо ссыльного поляка Меневского. Меневский, хвально зная всех языков мореплавателей, умолил Шелихова взять его из Охотска в плавание на Америку. Григорий Иванович, возвращаясь в Охотск, оставил Меневского на Кадьяке как толмача при правителе Самойлове. И вот толмач этот здесь, да еще у Бентама.

— Ты как сюда попал? — вскочил и грозно надвинулся на него Шелихов, даже спросонья оценив всю несообразность такого превращения верткого шляхтича в толмача при своем неожиданно объявившемся сопернике. — Я тебя сей минут, как беглого, Коху представлю... Кто тебе машкерад такой дозволил!

— Но, по! ¹ — вмешался полковник, заслоня собой толмача. Потом спросил о чем-то растерявшегося Меневского, выслушал его объяснение, отрицательно помотал головой и предложил Меневскому перевести то, что надо сказать.

— Прежде всего мы с вами хорошие соседи и не должны ссориться. Я покрыл не одну тысячу морских миль, чтобы выразить свое восхищение пред энергией и деловыми способностями человека... О, такие люди, как вы, немедленно нашли бы признание и широкую поддержку в Британии! — По смягчившемуся выражению лица Шелихова Бентам догадался, что взял верный тон в поставленной себе цели приобрести дружбу и доверие пробравшегося в Новый Свет варварского морехода, и продолжал еще более уверенно: — Об этом человеке, — Бентам пренебрежительно кивнул на Меневского, — и говорить не стоит, но в устранение возможного в таком деле разногласия замечу: мистер Меневский, как свободный человек, — он пленный офицер войска польского, — добровольно перешел на службу его величества *et ob eam incontaminatam causam* ² пользуется защитой всех находящихся в распоряжении

¹ Нет, нет! (англ.)

² И по такому незапятнанному побуждению (лат., юридическое определение).

английской короны сил и средств. Что касается господина Коха, заверяю вас словом джентльмена, что берусь лично уладить с ним такой не стоящий вашего беспокойства вопрос.

Шелихов понимал, что полковник Бентам неспроста пожаловал в Охотск, и решил оставить в покое Меневского, не замечать его — перевертень еще может пригодиться, чтобы выяснить истинные намерения англичанина.

— В ногах правды нет, садитесь и закурим трубку мира, как делают союзные нам американцы, — сказал Шелихов, опускаясь на доски своего ложа. Потом подвинулся к изголовью, чтобы очистить место для полковника. — Не поставьте в вину, что креслом не запасаюсь, но и в отечестве, как в лагере, живу... Благополучно ли плавание изволили провести?

— О да... нет, нет! Собственно, чудом добрался до вас. Где-то около открытых мной островов... туземцы их называют Чисима¹, замечательные острова, цепь вулканов, они заряжают воздух бурями... я потерял кливер, потерял фор-мачту, потерял грот, — словом...

— Словом, тяжело далось вам открытие наших... Курилов. Камушки эти, как и американские, и самые берега Америки до острова Нутка суть земли русского владения и давно открыты.

— О-о! Кто же признал вашу географию? — заносчиво удивился Бентам.

— Мы и кого это касается! — внушительно ответил мореход.

— Ага!.. Понятно, понятно... Спорить не о чем, мы еще будем иметь время договориться о наших общих интересах в Восточной Азии, — предупредительно согласился Бентам. — А пока, до времени, которое не за горами, меня интересует — говорю прямо, как деловой человек с деловым человеком, — сколь долго вы думаете пробыть в Америке? Как представитель интересов... — Бентам замялся, — Гудзонбайской компании... мы...

¹ Японское название Курильских островов.

— ...пришли на Аляску позже русских, а есть тоже хотим! — договорил за него Шелихов. — Что же, мы супротив того не пойдем, ставьте дома и хозяйничайте...

— Прекрасно сказано! Ха-ха! Значит, по рукам? — удовлетворенно загоготал Бентам, довольный легко и быстро одержанной, как он думал, победой. — Мы хотим договориться о взаимной пользе и деловом купеческом сотрудничестве.

— Почему не договориться — места для всех хватит, уживемся: и худой мир лучше доброй ссоры, — подтвердил Шелихов и встал, решив оставить последнее слово за собой. — Прошу прощения: заботы призывают, не своей охотой прерываю беседу...

Меневский так долго и длинно переводил его реплику, а глаза Бентама так оживились, что мореходу стало ясно: толмач — отличный осведомитель и рассказывает о столкновениях с храпами, о затруднениях в погрузке, о чем он, конечно, сразу же пронюхал при высадке на берег.

— Я, кажется, смогу вам представить еще более убедительное доказательство выгод взаимной дружбы, — выслушав Меновского, сказал Бентам после минутного раздумья. «Угадал, — оказывается, мне и толмач не надобен!» — самодовольно подумал Шелихов. — Вы дадите мне корабельного мастера, лес и десяток плотников поставить новые мачты, а я, — продолжал Бентам, — я передаю в ваше распоряжение пятьдесят человек из моего экипажа до окончания погрузки.

— Не осият... лихие буруны, — счел нужным заметить это Шелихов, чтобы прикрыть, как он обрадован предложением, позволяющим ему выйти победителем из столкновения с охотскими варнаками, намерившимися заставить его плясать под свою дудку.

Когда на следующий день старик Кузьмин поднялся на искалеченный клипер Бентама в окружении своих плотников-устюжан, вооруженных единственно заткнутыми за кушак топорами, полковник, выйдя к ним навстречу в расшитом всеми цветами радуги мундире, был неприятно удивлен бедностью их снаряжения.

— Шелихов, как и следовало ожидать, обманул нас, прислал людей дрова колоть...

— Скажи ему: пусть за нас не болеет, чем работать будем, — с сердцем отозвался Кузьмин, когда Меневский спросил старика, справится ли он с восстановлением рангоута судна одними топорами. — Его дело принять или охулить нашу работу...

Кузьмин в сопровождении своей безмолвной команды внимательно осмотрел повреждения судна, дважды прошагал по его длине и ширине, прикинул веревочкой объем застрявших в гнездах комлей мачт и, не задав ни одного вопроса хозяину, съехал на берег со всеми своими «дроворубами», ничем не обнаружившими интереса к предстоящему делу.

Светлобронзовые канаки и желтые малайцы из экипажа «Леди Анна Бентам» даже в трудных условиях Охотска оказались превосходными грузчиками. Инстинктом людей, рожденных на море, они успешно преодолевали каменные западни охотского бара. Шелихов был в восхищении от их четкой, слаженной работы — в три дня беспорядочно сваленные на берегу грузы были переброшены на «Святителей», а он избавлен от унижительной, а может быть, и роковой необходимости задержать отпуск корабля в Америку и отсрочить свой отъезд в Иркутск и предстоящую поездку в Петербург, от которой ожидал решения судьбы всего дела.

Перед самым отходом «Святителей» Шелихов убедился, что затруднение в людях для пополнения экипажа корабля и подкрепления сил оставленных в Америке промышленников все же стоит перед ним без надежды на благоприятное разрешение: храпы не показывались и ничем не обнаруживали прежнего намерения переселиться в Америку.

— Сходи в кабак, прихвати с собой Захарыча, — подозревал Шелихов Деларова, метившего оставленные на берегу тюки и ящики, — объяви дуракам, что сегодня до вечера последние контракты подписываю. Кто поутру, скажи, с остаточной ходкой на «Святителей» с записью не явится, — Шелихов махнул рукой, — пусть на себя пеняет, а я обойдусь, за уши к говядине тащить не буду...

Храпы отсиживались в кабаке Растопырихи. С чувством острой злобы смотрели они на непереносимое

зрелище, как чужими руками производилась погрузка, и еще более тягостно и обидно становилось от сознания своего бессилия сломить торжество купеческого кулака. Поэтому, когда Деларов и Пьяных появились в кабаке, храпы встретили их с едва сдерживаемой враждебностью.

— Отстань, Захарыч, наскучило! — слышались нарочито равнодушные голоса храпов, едва Пьяных начал рисовать им выгоды, если они примут предложение Шелихова. — Вот как сыты байками твоими!.. Раскрылись наши глазыньки на хозяина твоего! — сказал находчивый на слово и жест Неунывайка, промяв себе руками горло, а потом и протертые на заду штаны. Круто вдруг повернулся к Деларову и совсем уже злобно прикрикнул: — А ты, купчина, и вовсе говорить не моги, уноси ноги, пока цел!..

Шелихов, когда узнал, чем кончились переговоры, помрачнел. Но тут подвернулся Меневский, который, полагая, что речь идет о найме матросов, посоветовал:

— Попробуйте закинуть словцо о своей беде полковнику. Он так к вам расположен, что не упустит случая доказать свою дружбу уступкой на переход через океан десятка-другого превосходных матросов.

Бентам же, выслушав Шелихова, живо отозвался:

— A friend in need is a friend indeed¹. В этом вы теперь, надеюсь, убедились, мой дорогой друг! Я оставляю на вашем корабле двадцать канаков, лучших матросов в мире, с Меневским во главе, без него они не будут понимать вас... Ваш корабль и я, мы пойдем вместе до вашей фактории на Кадьяке, после высадки я заберу своих людей... О-о, я охотно пожертвую пару дней, чтобы лишить вас права сказать, будто я отказался быть вашим гостем, — любезно отвел Бентам какие бы то ни было возражения Шелихова против появления в кадьякской крепостце непрощенных гостей.

Шелихов прекрасно понял ход англичанина: Бентам хочет лично проверить полученные от Меневского сведения о боевой способности русских укрепленных поселений, их вооружении и настроении людей. Вместе

¹ Друг в беде есть несомненный друг (англ. пословица).

с тем отказаться от удовольствия видеть у себя такого «друга» в данный момент мореход не находил предлога.

Уверенный в predetermined самим господом богом преимущества английской цивилизаторской миссии на всех морях и континентах земного шара, Бентам считал Шелихова за удачливого, хотя и недалекого, подражателя дел великих людей «владычицы морей» — Британии. Чтобы доказать эту несомненную для каждого британца истину, Бентам готов был дать наглядный урок и выручить морехода из таких пустячных, по мнению англичанина, затруднений, как нелады с докерами Охотского порта, этой нелепой «бородавки», обнаруженной Бентамом на небезинтересном для Британской империи краю земли.

Так или иначе, соглашение, предваренное ночной беседой Шелихова с отбывающим в Америку новым правителем российских владений Деларовым «всякой ценой не допустить англичан до обозрения нашего расположения на Кыхтаке», — состоялось.

Отправление «Святителей», как ни хотел Шелихов увидеть парус исчезающим в серой дымке горизонта, пришлось задержать из-за неготовности бентамовского клипера: дружба обязывает. Шелихов налег на Кузьмина. Наконец медленно поспешающий старик Кузьмин со своими устюжанами пригнал «плавуном» к обезглавленному кораблю обтесанные на берегу и размеченные на крепление будущих парусных ярусов две огромные лесины, с помощью лебедок поднял и укрепил на груди «Леди Анны» основной костяк мачт и в два дня, работая ночью при свете скурых фонарей, установил стоячий рангоут и сложный подвижной такелаж корабля.

— Несравненный ship-builder¹, и место ему в доках Фальмута². У людей его золотые руки... Признаюсь, я был далек от мысли найти в дикой Татарии таких... Чудо! — восторгался Бентам после тщательного и придиричьего осмотра восстановленного рангоу-

¹ Кораблестроитель (англ.).

² Важнейший в конце XVIII века кораблестроительный порт на юго-западе Англии.

та и такелажа судна. — В фальмутских доках не сделали бы лучше! Поднести русским мастерам по стакану рома и выдать по гинее¹ от меня за прекрасную работу! — мигнул Бентам старшему офицеру.

— Счастливого плавания! — важно провозгласил Кузьмин, принимая стакан. — Ох, осилю ли, давненько не пил... А червонцев ваших не возьмем, договоренное от Григория Иваныча сполна получили, — отвел Кузьмин поднос с разложенными на нем полутора десятками блестящих новеньких гиней. — Людям вашим отдайте, кои помогали нам реи и салинги на бом-брам-марселях крепить. У моих устюжан — плотники они и ничего больше — копыта плоские, непривычны к беличьей матросской сноровке...

Хронология того времени ориентировалась на посты и большие церковные праздники. В середине июля 1787 года, горделиво распустив паруса навстречу поднимающемуся из океана солнцу, оба корабля покинули берега России.

«На Покрова, ежели все пройдет благополучно, мои «Три святителя» причалят на Кыхтаке, а вот попаду ли я в Иркутск к Покрову — бабушка надвое сказала», — подумал Григорий Иванович, представляя себе четыре тысячи верст сибирской таежной глухомани, отделявшие его от дома на пути Охотск — Якутск — Иркутск.

Другой дороги — короче и верней — не было. При одинаковом расстоянии обогнать во времени корабль на море мог только тот, следуя тайгой, у кого хватило бы сил и воли слезать с седла или нарт лишь на время кормежки или замены приставшего коня. И все же Григорий Шелихов, сменив в пути несколько десятков коней и до полусотни закаленных проводников — якутов и тунгусов, вернулся в Иркутск, как и наметил себе, «на Покрова». Дома, как ни в чем не бывало, он сел за щи и праздничный подовый пирог с нельмой, даже не придав никакого значения совершенному им «по купеческому делу» очередному подвигу землепроходца.

¹ Старинная английская золотая монета, равная 10 рублям

В Иркутске, увидев на амбарах собственные полупудовые замки и печати суда нетронутыми, Шелихов окончательно стряхнул одолевавшие его в дороге тревожные мысли о судьбе оставленных в Америке промышленников и посланных туда припасах.

Тревогу же эту вызвал не кто иной, как Менеvский. Перед самым отправлением из Охотска «Святителей» он, улучив минуту, когда Бентам куда-то ушел, завел разговор с Шелиховым о жизни оставленных на Кыктае добытчиков. Польский шляхтич, продолжая вести двойную игру, стремился рассказом о делах на Кыктае оправдать свою перебежку к Бентаму.

— В прошлом году, — говорил он, — после вашего с супругой отплытия, люди немного приуныли, а к Рождеству, когда увидели, что на возвращение «Святителей» и вовсе нет надежды, стали негодовать. «Обшамурил нас купец твой, Константин Алексеич!» — начали они наступать на Самойлова. А Самойлов, — вы знаете Константина Алексеевича, — человек твердый и верный, спокойно отвечает: «Чего кричите, может быть, «Святители» до Охотска еще не дошли, а может быть...»

— Утопли? — усмеаясь, перебил Шелихов. — Со мной на мель не сядешь!

— Вот, вот, — подхватил Менеvский, — потому-то и не унимались, особенно когда из хлеба начисто вышли...

— Я, — сказал Шелихов, как бы оправдываясь, — в плавание только три мешка взял, а триста пуд — последнее — оставил и приказал Самойлову на сухари перепечь. Сам из-за заботы той в такую перепалку попал, что, видишь, едва ногами володею, а ты — мука вышла, сухарей не стало! Через то, что сухарей с Кыктаа не взял, и я ног едва не лишился!

— Да, — продолжал Менеvский, — но сухарей к Рождеству и крошки не осталось. Как до весны дожили — одному богу известно. Ремни сыромятные варили и ели. Ворон, мышей землероек, слизняков всех вокруг подобрали... Ф-фу, вспомнить многое тошнo! На ран-

ней весне, в самый мясопуст, когда людей еле ноги носили, — лисьевские алеуты кита забили, а за ним и другого. После этого неделю, не отходя от берега, все китовину кромсали и жрали, пока одни ребра да головы с усами не остались... Немало тогда наших людей от сырости рыбьей — варить и жарить не успевали — поносом умерло...

— И много? — с тревогой спросил Шелихов, прикидывая, с какими же силами придется осваивать в это время свою Америку.

— Человечков пятьдесят, не более, — ответил с деланным спокойствием Мeneвский. — Но только и живые-то никуда не годятся. В возмещение потери в русской силе они женок-алеуток завели, у кого даже по две появилось, и всякой промысел забросили... Железная рука требуется туда, чтобы порядок среди хлопов навести! — картинно распрямился Мeneвский, сжимая под кружевными манжетами цепкие пальцы в кулак.

«Уж не ты ли эту «руку» предлагаешь?» — пренебрежительно подумал мореход, оглядывая принаряженного в английское платье Мeneвского, и жестко вдруг сказал:

— Ты на всех языках болтаешь, да веры тебе нет. А еще холопами, английское подхвостье, добытчиков российских обзываешь! Твои «железные руки» они вмиг тебе назад скрутят, а не то и вовсе оторвут!..

Шелихов нахмурился. «Куда ни кинь, повсюду в заклин попадешь. Корабль и кое-какие припасы отправил, но люди... подкрепить ничтожные русские силы — этой главной задачи не выполнил, а дело, как и дом, только людьми строится. Проклятые варнаки! Обманули! Отказались плыть в Америку. Спасибо Бентам — будь он неладен! — а все же выручил при погрузке!.. А те храпы — даже к отплытию «Святителей», дьяволы беспортошные, не вышли, в кабаке Рас-топырихи засели, из кабака галдежом провожали».

— «Железная рука»! — насмешливо сказал вслух Шелихов.

Но Мeneвский помнил наставление Бентама искать примирения с Шелиховым, войти к нему в доверие

и найти путь к тому, чтобы сделать морехода полезным своим новым хозяевам — Англии и ее представителям в Гудзонбайской компании. Потому толмач и вида не подал, что ему неприятна и просто оскорбительна издевка Шелихова. Меневский был нахален, но умен, гибок и искушен в интригах. Воспитание, полученное в коллегии отцов иезуитов, панские происки на сеймах времен крушения польской государственности, панские заигрывания с всепожирающим русским царизмом, даже собственная судьба и ссылка на каторгу, из которой извлек его Шелихов, приучили Мeneвского все переносить, ни перед чем не теряться, ловить момент удачи, а если нужно, и терпеливо выжидать...

И, с невозмутимым спокойствием поглядывая на морехода, Мeneвский думал: «Главное — и это прежде всего — надо как-то втолковать все же купчине, что я нечаянно к Бентаму попал».

— Досконально знаю, что веры мне нет — вы считаете меня перебежчиком, но службы своей английскому полковнику я не предлагал, пан Шелихов! — Мeneвский грустно покачал головой и на мгновение опустил глаза, как бы в огорчении перед таким напрасным обвинением. — Но нет, я не перебежчик, я... Разве смел бы я стать перед вами с лицом Каина? Пан Самойлов...

— С каких это пор и я и Самойлов, русские мужики, в паны у тебя попали? Привык новых хозяев мистерами величать? — ядовито усмехнулся мореход. — Приласкаться к панам хочешь? Ну, вали, вали, чего сказать собирался.

Мeneвский хотел было в отместку за это огоршить Шелихова — сказать ему о гибели Самойлова, но опомнился и попрежнему спокойно продолжал:

— Чтоб отвлечь добытчиков от дурных мыслей о хозяине и унять смутьянов, господин Самойлов собрал компанию в пятнадцать человек и выехал в Кенайские земли искать англичан...

— Каких англичан? Откуда попали англичане к кенайцам? — насторожился Шелихов.

— Мистер Бентам как раз прибыл на Кадьяк и просил Самойлова помочь выбраться заблудившимся

в Кенаях англичанам... За их нахождение и помощь мистер Бентам обещал доставить не позже будущего года необходимые нам припасы и продовольствие... Я переговоры эти тогда толмачил и все знаю...

— Неужто на эту удочку попался Константин Лексеич и бросил Кадьяк на поток и разграбление? — громыхнул Шелихов кулаком по столу. — Почему же он тебя для разговора с англичанами не взял, а оставил на Кадьяке?..

— Я тогда болен был, — нашелся Мeneвский, чтобы прикрыть неувязку в своих словах, — при смерти лежал.

— А когда Самойлова выпроводили — воскрес, сбежал и в Охотске объявился сказки плестъ? — начал догадываться Шелихов об истине в хитросплетенной лжи Мeneвского, багровея и еле сдерживаясь, чтобы не схватить перебежчика за ворот. — Самойлова, Константина Лексеича, где ты оставил, когда к Бентаму сбежал?

— В К-кен... наях, — неуверенно выговорил Мeneвский, понимая, что у него не хватит духу сознаться, как он воспользовался дошедшими на Кадьяк вестями о гибели партии Самойлова и его самого в стычке с индейцами-кенайцами. Вестники несчастья передавали даже, что Самойлов и его отряд — все погибли на кострах и под стрелами кенайцев. — Я на байдарке отправился на корабль к мистеру Бентаму спросить совета, как быть и что делать... Спустился к нему в каюту, а когда вышел из нее, увидел, что корабль на всех парусах несется в открытом море и Кадьяк уже в тумане скрылся, — я попал в плен...

— А теперь из англинского плена попадешь в тюрьму к Коху! — неожиданно прервал Шелихов.

— Куда угодно, — не растерялся толмач, не сомневаясь, что Бентам найдет способ вырвать его из коховской тюрьмы. — Но Кох... бездушный палац Кох, — сделал Мeneвский последнюю попытку смягчить Шелихова в расчете на неприязнь морехода к Коху после событий, закончившихся убийством Хватайки, о чем Мeneвский уже знал во всех подробностях. — Страш-

но попасть в руки Коха, он может убить меня и ничем не ответит за убийство несчастного ссыльного...

За все время пребывания в Охотске Шелихов не мог отделаться от укоров совести в косвенной причастности к убийству смелого варнацкого старосты Лучка. Пусть Лучок требовал невозможного и даже оскорбил, назвав мошенником... Но что вышло? Лучок правым остался — безвинно пострадал, а он, Шелихов, достойный мореход и купец именитый, покоя не имеет. Шелихов вспомнил старые беринговские амбары, брошенного в мусоре убитого Лучка и тяжело вздохнул.

— Убирайся, черт с тобою! — сказал он. — Хоть и чувствую, что ты виноват, не хочу в кознях твоих пачкаться, неровен час — сам обмараться. Да и не поправить дела, если и случилось что недоброе...

В обратном пути на Иркутск воспоминания о смерти Лучка и предчувствие гибели Самойлова не давали Шелихову покоя, — скорее бы добраться до дому, рассказать обо всем и поделиться заботами с женой.

С этими мыслями мореход, пробираясь через таежную глухомань вдоль реки Лены, через редкие, отделенные друг от друга сотнями верст якутские и тунгусские стойбища, вернулся домой и, окунувшись в сытую, теплую домашнюю обстановку, не проронил ни слова — нехорошо перекладывать на плечи жены такую гнетущую тяжесть. Она помнит Лучка, перед отъездом в Охотск наказывала: «Увидишь Лучка, подари ему теплый азам...» «Нечего сказать, обдарил я Лучка! А Самойлов, Константин Алексеич... Нет, лучше и не заикаться, да и тревога раньше времени: без основания хороню дорогого человека. Вернется старик в будущую навигацию — посмеемся над моими панафидами!»

Так Григорий Иванович, окончательно утвердись в намерении утаить про охотские события и полученные из Америки темные плохие вести, с головой ушел в подготовку предстоящего решительного свидания и разговора с Селивоновым о донесении государыне и, кто знает, может быть, о поездке в Петербург.

— Здоров, здоров, Григорий Иванович, экий ты двухильный, дважды за полгода через воды и дебри таежные на Охотск промахнул!.. Ну-ну, рассказывай, каких дел натворил! — шумно встретил Селивов морехода, пришедшего к нему на дом спустя несколько дней после возвращения.

Шелихов сдержанно рассказал об охотских событиях и о том, что Кох будто бы воспротивился и не разрешил переселения «клеяемых» в Америку. Говоря же об убийстве Хватайки, как о «несуразном обхождении с русскими людьми», он попросил привлечь Коха к ответственности.

— Нет, таким путем до Коха мы не доберемся, — ответил Селивов, выслушав сетования Шелихова. — Да и что Кох сделал противозаконного? Убил варнака на побеге? За это не взыскание — поощрение полагается. На себя пеняй, Григорий Иванович и — мой совет — плюнь на нестоящее слов огорчение и подлинного дела не упусти... Сочинил я, рассмотревши твои бумаги, всеподданнейший рапорт от иркутского и колыванского генерал-губернатора и кавалера Якобия на имя государыни императрицы... Видишь, на шестнадцати страницах? Слушай и, ежели что поправления требует, замечай, потом поздно будет, когда отдам перебеливать борзописцу каллиграфу...

— Отец родной, — растерянно пролепетал Шелихов, которого даже в жар бросило от того, что он услышал, и, благодарно потянувшись через стол, схватил руку Селивонова. Тот только отмахнулся и с деланой досадой проворчал:

— Да ты слушай, что прочту тебе!..

Как зачарованный, внимал Шелихов получасовой повести о своих приключениях. Искусно выделенное витиеватым канцелярским красноречием описание государственного смысла в шелиховском почине захватило дух Григория Ивановича. Все то значительное, что одушевляло морехода и смутно носилось в его сознании, предстало сейчас перед ним как что-то безмерно огромное, что он давно уже нес на своих плечах, не

совсем еще понимая суть свершаемого подвига. И все же усилием воли Шелихов взял себя в руки и трезво вдруг заметил:

— Дозвольте просить вставить: Алексей Ильич Чириков в тысяча семьсот сорок третьем году, а я сейчас — мы первые возымели отвагу высадиться на матерую американскую землю выше сорокового градуса...

Перед лицом государыни он хотел опровергнуть сообщения капитанов Кука, Биллингса и полковника Бентама, которые пытались доказать, что не Шелихову и вообще не русским людям принадлежит право первооткрытия.

— Давай, давай, — подбодрил Селиванов усилия морехода объяснить, что ни один испанец, ни один англичанин и даже захваленный Кук не отваживались ступить на ту землю, где Шелихов основал русские поселения. — Токмо святцы русских открывателей ты закрой — не доходчивы до престола имена их: черный народ, мужики да и купцы в счет не идут... Не криви рожу-то, я никем не брезгую, говорю о тех, кто читать и решать будет! Ты чего, Григорий Иванович, добиваешься — чинов, титула? Ты за Россией просишь удерживать новооткрытия, а тебе дозволить промысел и торговлишку?.. Вот то-то и есть! Тогда так и надо записать...

Селиванов откинулся в кресле и стал обдумывать, как переложить нескладно выраженные мысли морехода. Потом склонился над бумагой и принялся писать. Наконец, после длительного молчания, прерываемого только скрипом пера, удовлетворенно отставил от глаз исписанный лист и внушительно сказал:

— Ум — хорошо, два — лучше... Окажем делу твоему со стороны власти поддержку... Слушай! — И раздельно зачитал шелиховскую вставку:

— «Да и не одна, кажется, торговля тут потерпит ущерб. Присвоения многих обретенных со стороны России мест, кои со вре-ме-нем, — последнее слово Селиванов отчеканил по складам, — особо могут стать полезны, нельзя будет удерживать без важнейшего подкрепления на здешних водах русских морских сил. Следовательно, намерения вашего величества, претво-

ренные в жизнь чем скорее, тем лучше, окажут государственному делу великую пользу...»

Здесь Селиванов остановился, чтобы проверить, какое впечатление произвели на Шелихова последние строки. Ими Селиванов пытался внушить царице собственную, давно выношенную мысль о необходимости завести в Тихом океане русский военный флот — мысль, которую, как он знал, поддерживал перед царицей его покровитель, мудрый старик Соймонов. Из писем Соймонова Селиванов знал о намерении царицы послать в Дальневосточные воды четыре военных судна из Кронштадта под командой талантливого молодого моряка капитан-лейтенанта Григория Муловского.

Восторженно-удивленное лицо Шелихова удовлетворило Селиванова. «То-то, думаешь, один ты умен, прозорлив и славе отечества прилежен», — остановил Селиванов движением руки вопросы, готовые сорваться с уст морехода, и, глубоко вздохнув, продолжал чтение обработанной шелиховской вставки:

— «Нельзя сомневаться в том, что дорога, которую показал известный мореплаватель Кук своим соотечам, Российской державой будет оставлена, тем более, что похищенные плоды российских приобретений и добытки, какие англичане от сего видели, всегда станут поощрять их к новым захватам. Полагаемые же меры: отправление флотилии из Балтийского моря и учреждение порта при реке Удь — совершенно могут преградить всякие сторонние покушения на дальнейшие похищения...»

«Чихнет Бентам, когда столкнется с нашими военными орлами. Это тебе не купеческие промысловые шниктики! Дай мне двояшку таких, я тебе и сам показал бы, где раки морские зимуют», — завистливо подумал Шелихов, жмуря глаза как бы в ослеплении перед ширью, развернувшейся в соответствии с его замыслами и мечтами.

Дальше в рапорте шли выводы и умозаключения государственной власти на месте, и Шелихов почти не слушал. Он уже думал о том, почему так скупое и без души отражены в рапорте пережитые им и его сорат-

никами опасности, бедствия и победы в завоевании дружбы и расположения алеутов. Хотел об этом спросить и не смел.

А Селионов вдруг умолк и выжидательно посмотрел на Шелихова. Шелихов беспокойно посапывал и ерзал в кресле, готовый что-то сказать. Но правитель канцелярии ухмыльнулся и стал читать дальше, чуть скашивая глаз на морехода, смущенно затихшего после слов:

— «...Донесенные записки оставил я такими, как они мне представлены, дабы ваше величество благоизволили из них точнее и лучше усмотреть все поступки Шелихова. Из записок же видно, что Шелихов умел привлечь народы Кадияка, Афогнака и других островов и мест и при одном российском человеке без всякого опасения отправлял по тысяче человек диких с их согласия на свои надобности далеко от пределов постоянного обитания...»

Селионов сделал передышку, подвинулся ближе к столу и, все время незаметно наблюдая за купцом, с легкой усмешкой подумал, пробегая глазами только что прочитанное: «Ах ты, хитрый мужичишка! Как составил свои записки. Знает, что государыню хлебом не корми, ей бы токмо оды сочинять одни». И с той же ухмылкой, проведя рукой по выпуклой лысине, продолжал вслух:

— «Дела его доказывают о доброжелательстве и знании... А еще более склоняет меня к нему то, что дикие народы согласились, чтобы дети их были обучаемы российской грамоте, до того вовсе никакой им не известной, и что сорок человек из диких разных полов, вознамерясь увидеть селения российские, приехали с Шелиховым в Охотск, из коих пятнадцать человек живут в Иркутске и Яныне, дабы увидеть российских жителей и образ их жизни».

— До сего дня без меня али Натальи Алексеевны на улицу выйти боятся, — удовлетворенно усмехнулся мореход. — Так Наташенька их, как клуша, и водит!

— «Я споспешествую, — никак не отзываясь на это замечание, читал Селионов, — сему весьма полезному упражнению Шелихова оказанием пособия ему, от ме-

ня зависящему, позволив отпустить на отправляющееся от него к Кадияку судно, по просьбе его, до пяти-сот пуд из Охотска ржаной муки и на триста пуд из тамошних такелажных вещей, до мелких оснасток принадлежащих... Наконец, мысля, что и сам Шелихов, может быть, нужен будет иногда для каких-либо объяснений, рассудил отправить купно с сим и его самого».

Дальше читка шла невнятной скороговоркой, правитель канцелярии бормотал скорее для себя, лишь для того, чтобы убедиться еще раз в прилежности и точности составленного всеподданнейшего донесения. На этом «всеподданнейшем донесении» голос Селиванова приобрел силу, и Шелихов услышал: «... с коим я пребуду непоколебим. Генерал-поручик Иван Якобий».

— Благодетель! — выкрикнул Шелихов в избытке восторга от свершения самых смелых его ожиданий. Да и впрямь, что же это такое?! Он лично будет иметь возможность подать императрице продуманное и написанное Селивановым донесение Якобия! — Чем отблагодарю тебя?! — не сводил глаз с Селиванова мореход. — Памятник в Америке воздвигну!.. Ваше...

— Будет тебе, перестань, Григорий Иванович, с меня хватит, ежели свечку за упокой души моей поставишь, — растроганный неподдельным волнением непокорливого морехода, буркнул Селиванов. — К тому же я вовсе не для тебя экстрактом из твоих бумаг занимался — для отечества! — важно произнес он. — Во исполнение завета Михайлы Васильевича Ломоносова — провидец он был! — изложил я дела твои и соратников твоих...

Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить...

Селиванов в волнении, захватившем и его, перевел дыхание и неожиданно крепким, проникновенным голосом, каким произносят заклинание или молитву, заключил:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих...

О ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

— Запомни эти слова, Григорий Иванович, они и в предбудущем силы не утратят... Ну, прости, голубчик, иди с богом домой, я устал... Ох, старость, старость, кабы не она, я и сам бы в дело твое вошел, да укатали сивку не крутые горки! Ты, чай, понимаешь теперь, чего тебя ожидает? Через это принуждаюсь снова урок поставить: заканчивай спор свой с компаньонами в известном суде по-хорошему и прочие дела, какие над тобою нависли, да так, чтобы на Катерину¹ и след твой в Иркутском простыл... Прощай, Григорий Иванович! — важно наклонил голову Селиванов в ответ на прощальный поклон Шелихова по старинке вперегиб.

4

Путешествие в Охотск, уход корабля в Америку и возвращение Шелихова в Иркутск показали Ивану Ларионовичу Голикову неопровержимым доводом в пользу примирения с мореходом и уступок ему в счет будущих беструдных прибытков от такого оборотистого и делового компаньона.

Иван Ларионович за долгие годы пребывания в Сибири сколотил на откупе водки миллионное состояние, но побывать самолично в таких медвежьих углах своего царства, как Охотск, Гижига, Камчатка, Чукотская земелька, ни разу не удосужился; он довольствовался управлением обширными делами из своей моленной с лестницей в руках. Старообрядческая лестница облегчала порядок сношений с богом и людьми, четки ее служили напоминанием о долгах людей и числе молитв богу, подлежащих за них с Ивана Ларионовича.

¹ Церковный праздник 24 ноября ст. ст.

— Мошенник Гришка и, бывает, завирается с работными форсу ради, но смышлен, удачлив и для дела головы не пожалеет. Нас он не боится, за ним сильные люди — и здесь и в Петербурге. Надо мириться, Иван Андреевич! — проговорил Голиков, зайдя на дом к Лебедеву-Ласточкину, с тем чтобы накануне предстоящего рассмотрения спора в совестном суде выяснить настроения своего компаньона. — Гришка, дошли до меня сведения, новое товарищество складывает, на манер Ост-Индийской и Голландской компании.

Лебедев даже не усадил гостя на лавку. Стоял в светелке на пороге и сумрачно смотрел на Голикова из-под своих кустистых бровей. Голиков еще что-то говорил, но Лебедев словно и не слышал гостя. Потом подошел к нему вплотную и прорычал свирепее:

— Не уступлю, р-раз-зорю мальчишку! А ты, иди ты к черному!.. Виляешь хвостом для отвода глаз заместо того, чтобы за честь и крепость купечества именитого стоять... Знаем мы тебя златоуста — на языке мед, а под языком змиево жало. Себя продашь, ежели прибыль с того увидишь!

Иван Ларионович посмотрел на него, помолчал, махнул рукой и ушел. Что с дураком говорить! Не хочет — не надо. Он-то, Голиков, Иван Ларионович, уже договорился с Шелиховым об условиях примирения и действовал сейчас в интересах собранной Шелиховым новой «Северо-восточной американской компании», в которую вошли купцы капиталами и персонами, правда, помельче, но зато самая компания стала числом побольше: селенгинские, иркутские, устюжские, вологодские купцы. «Один хитрюга Киселев в стороне остался на каких-то Прибыловых островах... Ну да ничего, даст бог, отнимем у него эти Прибылые острова, наплачется тогда упрямец, — подумал Иван Ларионович, бросил пешку на лестнице для памяти и успокоился. — Остальные прочие сойдут, народ подходящий!» — хотя среди «прочих» Ивану Ларионовичу не нравились некоторые новые в торговых делах личности — отставной иркутский прокурор господин Будищев и какая-то баба Катерина Францевна. О ней известно только то, что она дочь генерал-майора Кличке, отставного начальни-

ка иркутского гарнизона, и ничего не известно насчет ее капитала. «Гришкины подкупные ходы!» — сообразил Иван Ларионович. Но как бы там ни было, компания существует, прописалась в казенной палате, над окнами дома Шелихова — Гришка сдал компании под контору за хорошую цену половину своего дома и склады — появилась вывеска с какими-то чертями в перьях, цветами, плодами, зверюками... «Ох, надо бы от греха подальше, да что придумаешь, коль тянет нажива! А грех... грех на искусителе Гришке, с него и спрос...»

Рассмотрение дела в совестном суде, — а спор шел с сильными людьми и спорили об очень больших деньгах, — закончилось полной победой Шелихова. Немалое значение в таком исходе сыграло заявление Шелихова, которое он сделал в начале разбирательства.

Образ убитого Хватайки, уткнувшегося лицом в мусор загаженного охотского амбара, не раз вставал перед Шелиховым, он будто напоминал ему о чем-то большом и важном, что Шелихов так и не удосужился продумать. Шелихов, рассказывая о злоключениях, выпавших ему на долю в Охотске, утаил от Натальи Алексеевны, чем кончилась история с Хватайкой, зато об убийстве храпа он поведал Селиванову, и хотя Селиванов не придал этому событию никакого значения, мореход все время тревожился, что история со смертью Лучка вдруг дойдет до жены, а от жены так просто не отделаешься.

И вот на суде он начал свое слово голосом более взволнованным, чем хотел то допустить:

— Господа примирители и судьи, дозвоьте сказать! Погоня за деньгами, прижим людей денег ради до добра не доводят, — из жизни испытал. Справедливости, токмо справедливости ищу! В товарищах моих по плаванию, коим мы достигли великой перед отечеством заслуги, имел я редкую удачу, а компаньоны наши, из дому не выходя, приобрели неимоверные выгоды. Неужто мореходам и зверобоям, равно и сиротам и вдовицам тех отцов и мужей, кои померли в непереносных испытаниях, мочно отказать в малом награждении за кровь, за гибель?! Не поверю, зная

сердце и слова всемилостивейшей государыни! — ткнул Шелихов кулаком в полотнище, висевшее над столом судей.

Стена совестного суда украшалась, как предписано было указом, крупной выпиской на полотнище принципов, взятых напрокат у великих гуманистов прошлого.

— «Человеколюбием, почтением к особе ближнего и отвращением от угнетения», — отдельно прочитал Шелихов выцветшие буквы. — Увеличения прибытков в деньгах не домогаюсь, удовольствуюсь своей долей, ежели господа старшие компаньоны уступят мне захудалые кораблики, на коих завоевал я отечеству славу, да еще одну долю уступят на награждение добытчиков сверх контракта.

На этом условии Шелихов уже достиг соглашения с Голиковым, но Лебедев ни в чем уступать не хотел.

Так как одна из противных сторон и истец желали закончить спор мирным соглашением, совестные судьи вынесли решение: две десятых общей добычи выделить на вознаграждение «работных» компаньонов, одну десятую оставить за Шелиховым и передать ему в собственность корабли, на которых он плавал; остаток огромной наживы разделить между старшими компаньонами, сохранив оговоренные в первоначальном договоре доли участия: Ивану Голикову с племянником Михайлом — шесть долей, Лебедеву — три. Голиков и Лебедев сочли себя «ограбленными» таким приговором совестного суда, но решили примириться и отыгаться на Гришке в дальнейшем.

— Богат, богат, Наташенька, и делу хозяин — корабли мне отданы! — влетел Шелихов домой, на ходу сбрасывая шляпу и гремучий кортик, с которыми, одетый в камзол, он явился в суд, чтобы внушить судьям мысль, сколь значительна разница между мореходом — государевым слугой — и купцами-аршинниками в длиннополых кафтанах.

— Не куражься, Гришата! Лебедев из амбиции в коронный суд передаст и денег не пожалеет. А там, сам знаешь, кто жирней смажет, тому и правду присудят, — старалась умерить Наталья Алексеевна форс,

не приличествующий, как ей казалось, достоинству морехода и открывателя Америки.

— Селиванов Михаил Иванович не позволит...

— На Селиванова надейся, а сам не плошай.

— Ежели против меня обернется, уплыву на Кыхтак...

— Хорошо, что упредил, — сказала Наталья Алексеевна. — Я сама на тебя в суд подам и на корабли арест наложу. Мои-то деньги ты все в мокреть американскую вбухал?!

— А-а... — растерянно вскинул на нее взгляд мореход. — Вот ты какая у меня! — И с веселой улыбкой вдруг сказал: — Я и сам думал, хозяйшшка, внести в баланс новой нашей компании корабли мои под твоим именем, первойшей русско-американской пайщицы...

Первоначальная «Морских Северного океана вояжиров компания», под флагом которой Шелихов открыл Аляску и заложил на северо-западном побережье Америки русские поселения, возникла снова, но теперь уже под другим названием, — это была «Северо-восточная американская компания». Единовластным директором-распорядителем всех мероприятий по закреплению за Россией новооткрытых земель в Новом Свете стал Григорий Иванович Шелихов. Он оставался во власти одной-единственной мысли — использовать новый, принадлежащий родине берег для прыжка на юг, в солнечную Калифорнию, на радужные и многие еще никому не известные острова Тихого океана.

«Вырастает, вырастает из детской рубашонки моя вытащенная из пучины найденка!» — неудержимо фантазировал наедине перед лицом своей удачи мореход. Надуманное им пышное наименование «Славороссия» как-то незаметно стало тускнеть и терять свое первоначальное звуковое притяжение. «Какая там Славороссия! Утвердясь крепко и навечно на американских берегах Великого океана, останется одна токмо Россия — Вселенская океаническая держава, а я... я к ней путь проложил...» — думал Шелихов, оставляя только за

одним собой место в будущем и забывая, как это часто с ним бывало, множество имен русских людей, чьи усилия направлялись к блистательному будущему России.

К мыслям и чувствам людей разных стран Тихого океана мореход обещал ближайшему поверенному своих дум Наталье Алексеевне найти еще более короткий и верный путь. Этот путь подсказывал Шелихову опыт его сношений с алеутами и индейцами Америки, — опыт тем был хорош, что успех предприятия оказался полный, хотя в предприятии этом силы участников были ничтожны.

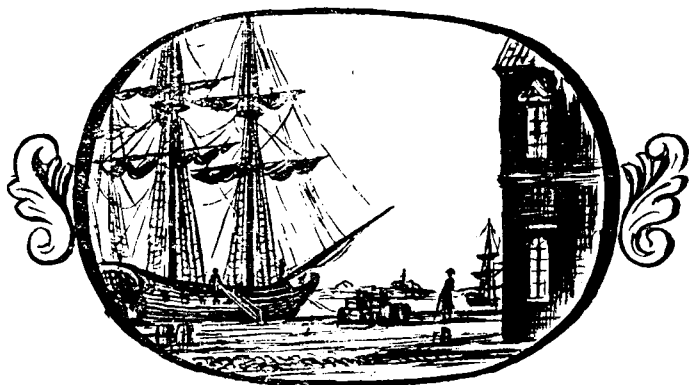
Первым шагом по пути к своей заманчивой цели, сулящей огромные выгоды и славу, Шелихов считал поездку в Петербург. Печальный пример Колумба и других великих мореплавателей-компрадоров, погибших в странствованиях или от происков завистников, не оживал в кружившейся от удачи голове Шелихова.

— Там, токмо там, в Петербурге, я крылья себе обрету! — уверенно заканчивал Григорий Иванович в тишине спящего дома полуночные разговоры с женой.

— Гляди, не обрезали бы и те, что имеешь. Не видала что-то я дружбы орла с волками, — грустно и неуверенно качала головой Наталья Алексеевна и замолкала под горячими, умоляющими воздержаться от сомнения глазами своего Гришаты. — Бог один видит и знает, как я молю его о... твоём здоровье...

Часть вторая





Глава первая

1



В начале декабря, получив в канцелярии генерал-губернатора от Селиванова подорожную и последнее напутствие, к кому заехать на двор в Петербурге и как держать себя со столичными вельможами, Шелихов выехал из Иркутска якобы на Урал и в Москву. Только Голиков знал, куда и по каким делам действительно отбыл его компаньон по вновь возникшей и пока еще наполовину оформленной «Северо-восточной американской компании». Голиков совместно с мореходом и подписал бумаги, заявки и прошения. Составленное Селивановым донесение, за подписью Якобия, мореход Голикову не показал, обернул в кожу и повез на груди у себя отдельно от всяких бумаг.

Шелихов не впервые выезжал в Москву и Петербург, — по торговым делам своих доверителей он бывал уже в обеих столицах и чувствовал себя на сибирском бездорожье не хуже отважного Садка в море.

океане. Но в этот раз, разбогатев и гонясь за еще большим богатством и славой, он впал в сомнения перед лихой славой сибирской дальней дороги и безлюдья.

В пути до Красноярска, на могучем Енисее, он не раз выпадал из столь желанного в пути бездумья и оцепенения, тревожно подымался и оглядывался из кошевы, слушая кряхтение дышавшей в морозном сне белой тайги. Иногда, проносясь мимо запорошенных снегом и инеем кедров и сосен, Шелихов явственно слышал как бы выстрелы — так сердито отзывались великаны-деревья на побудку от зимнего сна.

— Чего суматошишься? Лежи смирно и недвижно, тепло упустишь, это кедрачи откалывают ветки либо шишки: не беспокой, мол, нашего сна... А ты, господин купец, немало денегжат, видать, везешь и через то труса празднуешь, — успокаивал Григория Ивановича ямщик, с лукавой ухмылкой косясь на уложенные в ногах морехода объемистые мешки.

— Нашел дурака через тайгу деньги возить. В мешках довольствие дорожное и спирт для сугреву, а для любителей чужих денег — вот они, тульские пряники! Из них за двадцать шагов медведя без промаха уложу, если что-либо замечу, — ответил мореход и будто ненароком высунул из-за пазухи длинные дула тульских пистолетов, лежавших всю дорогу на груди — под руками были бы.

— Пряники твои что! — белозубо ухмыльнулся ямщик. — Токмо ежели на лихих людей и вправду наскочим, ты их пряниками своими не раздражай — отдай без спору спирт и довольствие и спасен будешь. Зимой за спирт, за хлеб-мясо варнаки сибирские, глядишь, помилуют, не зарежут дорожного человека.

— Гони, гони, до наслег не близкий путь. До вечерней звезды добежишь, кружку спиртного, так и быть, поднесу, — заминал мореход неприятные дорожные разговоры и покрепче укладывался на кожаный баул, помещенный в головах, до отказа набитый ассигнациями и жаркими червонцами, взятыми на жизнь и расходы по делу в Петербурге.

За Ачинском выбрались на бескрайнюю сибирскую

равнину, которая раскидывалась к востоку от рек Тобол и Оби. После трудной езды по ухабистым сограм, заваленным снегом, Шелихов взбодрился. Бесконечные обозы тянулись по увалам стародавнего сибирского тракта на Тюмень, а дальше к Ирбиту и за Урал в Макарьев, Москву и даже в Петербург.

На равнине, пусть далеко отстоят друг от друга сибирские села, можно не бояться нападения лихих людей из засады в таежных завалах.

— Распустил вожжи! — все чаще прерывал Шелихов жалобы ямщика на скудость сибирской земли и алчность купцов, гоняющих обозы по этакому морозу, и прикрикивал, подражая знакомой ему фельдъегерской манере: — Гони, я по казенной надобности еду, нет охоты слезы собирать! А не по душе собачья жизнь — брось все и в Охотск к океан-морю пробираться... к Шелихову... Слышал о таком человеке? Он тебя в Америку отправит — там всласть заживешь... три жены будет... Заруби на носу, дуралей немаканый: в Охотск к Шелихову и... в Америку! Тамо приставов, старост и попов нет и никакой веры не спрашивают...

Заметив интерес к своим словам, мореход до переезда через Урал не упускал случая, не называя себя, поманить задавленных нуждой и бесправием людей волшебной страной. Но, перевалив Урал, Шелихов прекратил, как позже говаривал, «вербовку». На западной стороне Урала начиналась подневольная закрепощенная Русь дворян и приказных. Шелихов остерегался поскользнуться в сношениях с нею, боялся обвинения в воровском сманивании.

Миновал Казань, с перепряжкой лошадей, и узнал мимоездом, что старый знакомец, блестящий гвардии господин поручик Державин, много лет уже не наезживал в родной город, а прежние знакомцы — семейство мануфактуриста Осокина — выбрались в Петербург после несчастья... Что за несчастье, Шелихов не хотел расспрашивать встреченного на постоялом дворе освдомителя — пьяного приказного из губернского правления.

В Нижнем Новгороде, ревнуя к славе знаменитых

людей из купечества, Шелихов задержался на два дня, чтобы посетить на городском кладбище безвестную могилу, в которой якобы похоронен большой человек народа русского — Кузьма Минин, сын Захарьев-Сухо-рукий.

Григорий Шелихов навсегда запомнил и хранил в своей памяти слова «Истории российской с древнейших времен...» Василия Никитича Татищева, приписываемые им «гражданину» Минину. И теперь, стоя перед указанной ему безвестной могилой, с убогим, вя-занным из бересты крестом, Григорий Иванович, сняв с головы малицу, шептал врезавшиеся в память слова, думая о своей российской Америке:

— «Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов — дворы свои продадим, жен, детей заложим... И какая хвала будет всем нам от русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело...» Славороссию к ногам России положить — вот моя клятва, Кузьма Минич! — воскликнул Шелихов в тон мининскому призыву к патриотизму россиян.

После посещения могилы Кузьмы Минина Шелихов в тот же день выехал по тракту на Москву.

В Москве также не погостил. Отслужил в часовне чудотворной иконы Иверской божьей матери, что стояла в проходе на Красную площадь, молебен за успех своего дела в Петербурге и через Тверь—Валдай—Чудово двинулся в столицу.

— Молодец Гриша! — похвалил себя Шелихов, покрывая последние версты перед въездом в Петербург. — Ничего худого про тебя не скажешь, на полатах в пути не отогревался, на постоялых дворах чайком не баловался, за два месяца, худо-бедно, шесть тысяч верст проскакал, а расскажешь — не дадут тому веры кавалеры столичные!

Завернуть прямо с дороги на двор к Соймоновым, к которым имел письмо от Селивонова, Шелихов не решил и остановился у казанского своего знакомого, сына первейшего в России суконщика, Ивана Петрови-

ча Осокина. С Осокиным Шелихов вел дружбу, а с фирмой — торговые дела.

— Каки-таки новы вести и дела завелись, выкладывай! — обратился Шелихов к хозяину, садясь после первых приветствий за стол с огромным серебряным самоваром на парчовой скатерти.

— Батюшка волей божьей... — начал хозяин, щеголеватый, не по-купчески одетый молодой человек в парике, с какими-то чудными двойными стеклышками, прикрепленными к костяной ручке, с которыми он не расставался и поминутно подносил к глазам.

— Умер? — живо подхватил Шелихов, припомнив строгого, но хлебосольного, гостеприимного фабриканта сукон.

— Мученической смертью... Заспорили мужики — сукновалы и трепальщики шерсти — в который раз о деньгах и харчах плохих... разве этот народ бывает доволен! Батюшка, правду сказать, крутенек был — ударил какого-то палкой: не горланьте, мол, смерды... Ну, они и бросили его в чан с поташем горячим! Войска вызывали усмирять иродов сиволапых, кнутом учили и в Сибирь немало народу погнали. Только что с того, нет родителя! — вздохнул наследник и поднес стеклышки к глазам, чтобы скрыть искорки радости от того, что так неожиданно стал хозяином огромного дела.

— М-да... конечно, бывает такое, — раздумчиво произнес мореход и, потеряв охоту продолжать разговор, попросился отдохнуть с дороги: с завтрава, мол, по хлопотам своим начну мотаться... Предстояло еще раз хорошенько продумать, откуда начать, кому что сказать, кого и о чем просить можно.

Роскошная обстановка дома Осокина, снятого за бешеные деньги у безвыездно проживавшей в Италии княгини Барятинской-Гольдштейн-Бек, и изменившаяся внешность Осокина, предложившего ему во время чаепития шипучего французского вина — названия его Шелихов так и не упомянул, — породили тревожное беспокойство. Сумеет ли он найтись и держаться с большими людьми столицы, как того требует важность дела, ради решения которого очутился он здесь, одолев такие пространства?

За подсчетом в кровати географических миль моря и суши, пройденных им в жизненных скитаниях, мореход и уснул.

На другой день поутру Шелихов, с не изменяющей ему верой в удачу, кинулся в глубокие водовороты столичного моря.

Среди праздников и затей пышного царствования Екатерины II Америка Шелихова и русские интересы в этом далеком и свободном уголке Нового Света встретили дурной прием у больших и малых, пустых и серьезных людей. Вершители судеб Екатерининской империи, включая самое царицу, прошли мимо уже многих славных изобретений того времени, на столетие опередивших техническую мысль Запада, — не заметили ни Ползунова, с его первой в истории паровой машиной, ни Кулибина, после смерти которого осталось тридцать семь неиспользованных ценных изобретений, ни Фролова, конструктора и строителя сложных гидротехнических установок, построившего в 80-х годах на Урале металлургический комбинат, приводившийся в действие силой воды; главные вельможи, правители страны, пренебрегли даже великим зодчим Баженовым и круто расправились с Новиковым и Радищевым.

Пламя Пугачевского восстания, несмотря на пятнадцатилетнюю давность, оставило неизгладимый след в сознании правящей верхушки русского общества. Любой общественный почин, если он мог вызвать интерес и сочувствие народной массы или если он зародился среди людей «подлого звания», порождал скептическое отношение и заградительные рогатки сверху. Почин малых людей мог рассчитывать на одобрение только в таких делах, как введение новых фигур полонеца или новой комбинации шитья золотом и драгоценными камнями парадных камзолов и роб, одобрялись все пышные растраты средств, создававшихся закрепощенным трудом.

В вековой борьбе с врагами русский народ воспитал в себе самоотверженное чувство подчинения своих дел и начинаний государственному началу. Это государственное начало, как казалось людям, олицетворялось государем, а дедовские рассказы о петровских вре-

менах подкрепляли представления о том, что народное благо действительно является единственной целью дел и мыслей государей. Так понимал назначение царствующих особ и Григорий Шелихов, человек крупного масштаба и живого ума.

Увлеченный своими широкими планами, он, самообольщаясь надеждами на внимание короны, упорно искал государственной связи собственных и народных интересов в вершине государства — во дворце, не замечая, что дворец этот отгородился и от народа и от его выдающихся людей непреступной стеной царедворческого этикета. Шелихов не понимал да и не видел непроницаемого царского окружения — людей случайных, равнодушных и даже враждебных его целям.

2

Осенью 1787 года Турция, подстрекаемая Англией, Швецией и запутавшимся в собственных делах французским королем Людовиком XVI, объявила войну России. В Иркутске поначалу об этом прошел только какой-то смутный слух. Вести о войне были столь глухи, что, приехав в Петербург, Шелихов растерялся: он даже и не подозревал всего коловорота уже развернувшихся событий. Он и представить себе не мог, с какими непреодолимыми преградами столкнется в столице при попытке получить аудиенцию у царицы: как-никак он клал к ее ногам огромную, открытую им часть Нового Света!

Понадобились две недели пребывания морехода в столице, чтобы он наконец кое-что уразумел. В присутственных местах и передних высоких вельмож Шелихов тратил часы и дни на бесплодные усилия вызвать внимание начальства к тому кладу, который он привез в столицу. Он искал покровителей и их поддержки, чтобы предстать перед самодержицей, а его выслушивали с улыбкой или просто с обидным хохотком: забавно, мол, врешь — и, едва кивнув головой, выпроваживали.

Шелихов мало-помалу стал проникать в нравы

чиновных людей. Без случая, понял он, ходу не найдешь — и прекратил выжидательное сидение в приемных. Все надежды мореход возложил теперь на возвращение с олонецких заводов председателя берг-коллегии генерал-майора Михаила Федоровича Соймонова, сына покойного основателя штурманского училища в Охотске. Соймонов, по словам Селиванова, единственный в Петербурге человек, способный оценить сделанные Шелиховым для России приобретения, к тому же он известен государыне и дружен с председателем комиссии по делам коммерции графом Александром Романовичем Воронцовым.

Попасть же к государыне-матушке и впрямь было трудно не только какому-то сибирскому купцу-мореходу, а и гораздо более важным особам.

Воинственное настроение и военные дела, как и неотложные литературные занятия, поглощали дни и недели государыни императрицы так, что для приема частных лиц времени у нее не оставалось. Об этом неопровержимо свидетельствовали и записи в «Дневнике» ее секретаря Александра Васильевича Храповицкого. Прирожденный царедворец, Храповицкий был приближен царицей к престолу нарочито для истории. Тонко понимая возложенную на него задачу, Храповицкий находил случаи забывать свой дневник на секретарском столе, и царица, читая его, могла проверить, сколь беспристрастно отражает ее современник в зеркале истории.

«...Пойти с добрым ветром и сильными пушечными выстрелами, — бодро записал Храповицкий напутствие царицы адмиралу Ушакову на объявленную Турцией войну, — приветствовать великого султана и его недостойных советников с добрым утром».

И далее запись о выраженном царицей удовольствии по поводу придворного праздника, данного после того, как Суворов сбросил под Кинбурном турецкий десант в море:

«...Говорено с чувствительной признательностью о народе, что в 25 лет приобрела доверенность. Никто теперь при начатии войны не унывает, все военные охотно идут в сражение».

В феврале Соймонов вернулся в Петербург, и Шелихов в тот же день отправился к нему. Морехода принял суровый, плечистый генерал, истый сибиряк, закаленный сибирскими морозами. Прочитав письмо Селиванова, поданное мореходом, генерал отодвинул, не рассматривая, выложенные Шелиховым бумаги и карты в сторону, и пробурчал дружелюбно:

— Садись, голубчик, и обскажи попросту, своими словами, что испытал, видел и сделал купно с товарищами по плаванью... Кстати, много ли у тебя из первооткрывателей людей в живых осталось?

Последним вопросом Соймонов дал тон беседе, и Шелихов понял это. Генерал с живым интересом выслушал полуторачасовой доклад Шелихова об Америке и планах на будущее. Особенно понравился генералу «страдалец Сысойка», поросенок, завезенный Шелиховым из Охотска в Америку, которому, пока он пришел в возраст, хищные и назойливые американские вороны «кокатоки» общипали закорючку хвоста и уши.

— Гляди, это тебе предупреждение, — заливался смехом Соймонов, — не оторвали бы там и вам хвостов... Так, так... Хочешь, говоришь, просить государыню границы поставить англинским судам и других держав, а еще просишь дозволения компании завести торговлю с Японией, Китаем, Кореею, Индией, Филиппинскими и прочими островами, по Америке же с гишпанцами и с бостонцами? — ухватил Соймонов существо замыслов и намерений Шелихова. — А еще обнадеживаешься испросить у ее императорского величества помощи в пятьсот тысяч рублей и судна из Охотского порта, под залог от компании... И немного ты просишь, а не пройдет! — с сожалением развел руками генерал. — Одну войну уже имеем и знаем, что Англия в ней мутит, потому воевать с Китаем или еще каким народом побоимся... Великие мастера англинские лорды и купцы интриги политические плести! Ну, да ничего, ничего, бог не выдаст, свинья не съест... Ты духом не падай, — утешил Соймонов морехода, — держись своего курса, а я поговорю с графом Воронцовым и Безбородко, Александром Андреевичем, этот

силен сейчас при государыне, выхлопочем тебе прием и вспоможение.

Через несколько дней после этого разговора в «Дневнике» Храповицкого появилась запись, которая, отразив мгновенное высочайшего внимания к сибирским делам, несомненно подняла бы увядшие надежды морехода, если бы Шелихов мог прочесть ее.

«1788 года, дня 10 февраля. Читали донесение Парфентьева на Якобия. Велено, чтобы Шешковский доложил...»

«По иркутским делам указы подписаны», — неделей позже подобострастно отметил Храповицкий результат высочайшего внимания к нуждам Сибири: генерал-поручик Якобий заменен генерал-поручиком Пилем. Но в судьбу дела Шелихова эта перемена никаких изменений не внесла, несмотря на то, что генерал-губернатор Пиль особенно ревностно и лично, а не через Селиванова, поддерживал последующие попытки морехода добиться государственной помощи.

Проживая у Осокина, Шелихов изнывал в унылом бездействии, топя тоску и отчаяние во французском шипучем вине. По вечерам молодой хозяин, сорвавшийся с узды после смерти родителя, таскал морехода по злочным местам столицы.

Однажды в таком злочном месте, прикрытом дворянским гербом, Шелихов, раздраженный жеманством танцоров в русской пляске, неожиданно вышел на середину зала, скинул кафтан и, оставшись в расшитой руками Натальи Алексеевны цветастой рубашке китайского шелка, крикнул музыкантам: «Играй то же, да позабористей, я спляшу!..»

— И отчебучил я такое, — рассказывал потом Шелихов жене, — что посадил меня рядом с собою вельможа один, да так и не отпускал, пока не уехал. Обладал, расспросил про имя-отчество, кто таков, откуда приехал, чего ищу в Питере. Я, понятно, рассказал, ну и... Александр Андреевич Безбородко был вельможа сей. Наобещал с три короба, к себе позвал, я на другой день к нему поехал... Только все напрасно!.. Нет, если влезут чиновные в мое дело, — пропала Америка!

Шелихов ошибался, он так и не узнал никогда, что

Безбородко сделал все, чтобы довести до сведения государыни докладную морехода и испросить открывателю Америки аудиенцию. Но в аудиенции было отказано.

Безбородко прекрасно учел коммерческие перспективы дела Шелихова и решил поддержать купца, имея в виду потребовать от него потом для себя долю в американском предприятии. Не учел он лишь одного — непригодности в таком деле графа Воронцова. Правда, Безбородко знал, что царица недолюбливает чопорного Воронцова не только за его англоманство, но и за самостоятельность мнений, как и за неприязнь графа ко всем очередным ее фаворитам. Больше того, Безбородко упустил из виду две вещи: мелочно-изощренную, недалновидную политику царицы, ее боязнь осложнить отношения с Китаем, бostonцами и особенно с Англией — в Европе и без того беспокойно, — это с одной стороны, и с другой — надо было понимать и то, что императрица неспособна забыть личной неприятности в прошлом — тех чувств ревности, которые часто вызывала у нее сестра графа, «грубая толстуха» Елизавета. Она, фаворитка покойного Петра III Федоровича, злополучного мужа государыни, бывала причиной многих невидимых миру слез Екатерины, негодовавшей на подчеркиваемую неверность своего августейшего супруга.

Сидя в утренней теплой тальме на скамеечке тенистого парка своей интимной резиденции в Саари-Сойс — Царском селе, под Петербургом, царица перечитывала врученную ей личным статс-секретарем по прошениям на высочайшее имя докладную записку Шелихова с рапортом Якобия.

«Все разумно будто бы и даже величественно, — думала государыня. — Подвиг купца-мореплавателя и занятие Америки восхитит ее родных в Германии и друзей во Франции... Воображаю, какая интересная переписка может возникнуть по этому поводу с английским и испанским двором!»

Императрица вспоминала забавного «Инженю» — Дитя природы — наивного гуронца господина Вольтера. Отныне она включит гуронцев в число своих под-

данных и обеспечит им жизнь и благоденствие, но... «Только зачем в это дело влез Воронцов? Опять какая-нибудь гадость со стороны этого низкого семейства!» — неожиданно встревожилась царица, увидев вдруг в конце рапорта Якобия подпись Воронцова под словами: «Присоединяюсь к мнению генерал-поручика Якобия, поддерживаю и ходатайствую о всемирнейшем удовлетворении нужд компании».

Скромный гриф президента комиссии по делам коммерции, выпрошенный у него Безбородко, оказался просчетом хитрого украинца. Первоначальная благожелательность царицы к подвигу сибирских землепроходцев сменилась нарастающим раздражением.

Отвратительный в представлении Екатерины образ «петой толстой дуры» Елизаветы Воронцовой встал в ее воображении и заслонил леса и горы Америки и гуронцев, жаждущих счастья вступить в подданство российской императрицы. Ядовитая улыбка зазмеилась на тонких губах Екатерины, рука потянулась к угольному карандашу, с которым она, читая что бы то ни было, не расставалась, и на прошении Шелихова появилась первая пометка:

«Пятьсот тысяч на двадцать лет без процентов. Подобный заем похож на предложение того, который слона хотел выучить говорить через тридцатилетний срок и, быв вопрошаем, на что такой долгий срок, сказал: «Либо слон умрет, либо я, либо тот, который даст мне деньги на учение слона...»

Воспоминания о перенесенных в молодости оскорблениях от полоумного мужа и близких ему женщин все больше раздражали царицу, а с этим рос и протест против навязываемых ей, государыне, новых забот.

Особенно обеспокоили Екатерину неведомые Курильские острова: «Тут накрепко подтвердить надлежит, чтоб с китайцами не заводили о владении спор. Избегать надо споров и по поводу островов, находящихся под другими державами».

Докладная Шелихова, вызвавшая множество неприятных воспоминаний, разочаровала императрицу. «Дочитаю позже, когда время будет», — подумала она и пошла переодеваться к назначенному перед полу-

днем «малому выходу», на который приглашался и малый круг избранных и ближайших к царице лиц.

Через час царица вышла в недавно отделанный зодчим Камероном янтарный зал дворца, сияя своей обольстительной, прославленной современниками улыбкой. Заканчивая мимолетную аудиенцию, Екатерина заметила настойчивые искательные взгляды Безбородко, нахмурилась и тут же, ласково улыбаясь, сказала:

— Сейчас мне не до торговли, да еще где — на Тихом море! — И с облачком величайшей озабоченности добавила: — Я ума не приложу, как удовлетворять требования Григория Александровича¹ на войну с турками и на то, и на се, а вы мне Америку подкидываете... *Le jeu ne vaut pas les chandelles*². Я приказала Храповицкому бумаги купца отослать в комиссию о коммерции еще раз на суждение графа Воронцова...

3

Рука Безбородко нигде не давала застрять бумагам Шелихова. Шелихов совершенно напрасно приписывал свои неудачи отсутствию в Петербурге Державина. О влиянии Гаврилы Романовича в дворцовых кругах мореход имел преувеличенное представление.

— Ванятка, помнишь, как мы с Гаврилой Романовичем у вас в доме, в Казани, ели-пили и в картишки перекидывались, а он нам еще «Фелицу» читал? — горестно сетовал мореход Осокину на то, что нет Державина в Петербурге. — Читал и говорил: «Теперь, ежели что понадобится, прямо ко мне обращайся: все сделаю!»

— Мм... — мычал в ответ Осокин. — Высоко взлетел господин Державин, превосходительством величается. Да, в Тамбове губернатором сидит... Душевный человек! — убежденно кивал головой Осокин, не зная того, что Державин находится в негласной отставке и, сидя в своем имении в Званке, пытается восстановить себя во мнении царицы.

¹ Григорий Александрович Потемкин.

² Игра не стоит свеч (франц. пословица).

В конце марта Шелихов уже собрался двинуться в обратный и еще более трудный, весенний, долгий путь, как Соймонов сообщил ему, что комиссия по делам коммерции за подписями Воронцова, Христофора Миниха и соймоновского двоюродного брата «Петьки» — тоже его превосходительства генерал-майора Петра Александровича Соймонова — представила государыне доклад, полностью поддерживающий начинания в Америке и на Тихом океане.

— Дельный экстракт, братец ты мой, они из бумажек, тобой представленных, составили, — помахивал Соймонов перед носом морехода копией, выпрошенной у Воронцова «для ознакомления». — И сильный фундамент подвели. Слушай, что пишут о тебе и Якобии: «В самом их прошении заключается не единая их польза, но общая, весьма важная и достойная милостивого вашего императорского величества воззрения...» И далее государыню словно под локоток подводят на такой сюрприз, коего ты и ожидать не смел... Нет, нет, не скажу! — возбужденно смеялся Соймонов. — Ежели пройдет, а пройти бесприменно должно, сам узнаешь...

Шестого апреля невидимая «рука» все того же Безбородко добила составления протокола Непременного Совета на поднесенный ее императорскому величеству доклад комиссии по делам коммерции.

Хитроумный Безбородко, заметив, как поджала государыня губы, когда мельком просматривала донесение Шелихова, счел за благо внушить господам членам Непременного Совета мысль уменьшить казенную ссуду компании с пятисот до двухсот тысяч рублей и выдачу ее указать «из тобольской казенной палаты сибирской монетой».

Безбородко как будто бы все предусмотрел, чтобы не вызывать у государыни горьких мыслей о том, что ссудою открывателям неведомых земель она урезывает деньги, столь нужные роскошному князю Тавриды, или — того хуже — что она должна будет уменьшить вознаграждение как раз удаляемому в это время от двора очередному «любимцу» — графу Дмитриеву-Мамонову. И все же принятые меры никакого успеха Без-

бородко не принесли. Соппротивление царицы он встретил с совершенно неожиданной стороны. Екатерина, с изменной неприязнью к брату «толстухи Елизаветы», заподозрила Воронцова в неблагоприятных намерениях.

По свидетельству того же Храповицкого, по записи его в «Дневнике» 27 апреля, раздражение Екатерины сказалось в словах, что такого доклада, как о Шелихове, она не видела еще за все время своего царствования. Требуют отдать в монополию купцу не что-нибудь — Тихое море! «Дай только повод! Президент гр. Александр Романович Воронцов распространит дальнейшие виды для своих прибытков».

«В новых открытиях нет великия нужды, — сделала царица пометку на полях доклада, — ибо хлопоты за собой повлекут, наипаче каждое открытие обратится в монополии».

Таким образом, протокол Непременного Совета не был утвержден царицей и вместе с докладом комиссии лег в секретный ящик ее стола. А мореход, не подозревая, на какой опасный подводный камень он наскочил, продолжал ждать решения и обещанного ему Соймоновым «суприза».

Решающая резолюция к докладу комиссии о коммерции, положенная на основании сделанных замечаний, была еще резче и короче. Ознакомившись с нею, Безбородко решил отступить от дела и коротко сообщил генерал-прокурору сената князю Вяземскому: в ссуде «на подкрепление дальнейших деяний» — о т к а з а т ь, в преимуществах плавания и торговли, несходных «принятым от ее величества правилам об истреблении всякого рода монополий» — о т к а з а т ь, в снабжении «военной командой до ста человек и артиллерийскими служителями» — о т к а з а т ь.

«Немногим тебя, добродий, утешить могу», — подумал украинец Безбородко о Шелихове, прописывая в письме Вяземскому строки о всемилостивейшем награждении купцов шпагами, похвальными грамотами и золотыми нашейными медалями, с портретом ее величества и изъяснением, за что даны.

В июле 1788 года союзная с Турцией Швеция, бредившая возвращением Ижорской земли, исконно рус-

ской, но присвоенной шведскими наемниками в «смутное время», собрала флот и грозила высадкой под Петербургом. Купцы и мещане городской думы и мелкопоместный дворянин Александр Радищев сплотились в патриотическом порыве: купцы одели, экипировали и кормили ополчение из беглых крестьян и безработных мастеров. Ополчение воодушевлял и выводил на воинское учение быстроглазый, звонкоголосый дворянин Радищев.

Народный почин в этот раз под угрозой наскока шведов на столицу удостоился высочайшего одобрения. Царица обещала после отражения врага вернуть «беглым душам» даже свободу, а купцов, занявших офицерские должности, наградить дворянством.

Общее патриотическое одушевление захватило и Шелихова. Он как будто забыл о своем деле, каждый день ходил на топкий Царицын луг¹, присматривался к ратным учениям ополченцев и через несколько дней подал прошение в адмиралтейств-коллегию: зачислить, как опытного морехода, во флот командиром капера, обещая внести требуемый законами о каперстве денежный залог. Казенные моряки оглядели его поддевку, посмеялись, не скупясь на соленую морскую словесность, и отправили домой, сказав, что будут иметь в виду, если встретится на Балтике надобность в каперской войне.

Мореход понял, что купеческая поддевка кладет предел его усилиям быть полезным отечеству. Огорченный таким открытием, Шелихов перестал ходить на Царицын луг и прекратил искать случая познакомиться с дворянином Радищевым. А познакомься он в то время с ним, кто знает, может быть, это повлияло бы и на судьбы их обоих и на течение истории самой русской Америки.

В морских сражениях среди шхер Финского и Ботнического заливов флот шведов был разгромлен, а подготовленный десант их пущен ко дну. В одном из боев у острова Эланд на брандере, взорвавшем флагманский корабль шведского флота, смертью храбрых пал

¹ Марсово поле.

капитан первого ранга Григорий Муловский. Этот человек, как о том было известно Шелихову, должен был провести кругосветным маршрутом в дальневосточные воды русскую военную флотилию. Узнав об его гибели, мореход пришел в такое уныние, что потерял всякую охоту ждать решения по своему делу и какого бы то ни было обещанного ему «суприза».

Была еще одна и последняя капля, переполнившая чашу терпения. Шелихову стал известен высочайший указ о роспуске думского градского ополчения, с предписанием генерал-полицмейстеру Архарову вернуть беглых черных мужиков из ополчения их хозяевам, а «души», не нашедшие владельцев, поверстать в рекруты.

Государыня не сдержала своего обещания. Шелихов не мог, конечно, предвидеть в то время, что царской милостью не будет забыт позже и единственный представитель благородного сословия в этом ополчении, дворянин Радищев. Спустя два года, когда шведов под Петербургом и в помине не было и турецкая война блистательными победами Суворова приближалась к победному концу, дворянин Радищев получил из рук царицы свою награду — замену смертной казни ссылкой в Илимский острог.

Но Шелихову довольно было и того, что он уже знал и видел.

Он рванулся домой. С Осокиным попрощался наспех. К покровителям совсем не явился.

«Суприз» догнал морехода в дороге под Красноярском: фельдъегерь не жалел ямских лошадей и того менее людей.

«А я-то ждал, время терял и на поездку тратился», — горько усмехнулся мореход, узнав из врученных ему указов и бумаг, что единственным результатом его пребывания в столице, наградой за основание русских поселений на американских берегах стала нагрудная медаль да право ношения шпаги.

«Полдворянином стал... И с кем наравне? С Голиковым, Иван Ларионовичем! То-то он теперь нос задерет! Он, если и плавал когда, то в банном корыте, — невесело думал мореход, приближаясь к Иркутску. — Наташенька засмеет. Она упреждала не надеяться на калачи...»

В пути летнее солнце развеяло тяжелое настроение морехода. Свежий ветер, напоенный запахом пробужденной природы, казался Шелихову ветром с океана, наполнял душу бодростью, отгонял мысли о выпавшей в Петербурге неудаче и вынесенных из столицы тяжелых впечатлениях и наблюдениях над столичными людьми. Григорий Иванович самому себе не хотел признаться, как поколебалась его вера в царицу и царскую признательность за подвиг во имя родины. «С мужиками, что на шведа вышли, неладно получилось, — раздумывал мореход, — и на меня в адмиралтействе, когда я каперство предложил, как в грязь плюнули... Запомни это, Григорий!» — предостерег себя Шелихов, невольно припоминая собственное поведение в прошлогоднем столкновении с охотскими храпами.

За Уралом он совсем отделался от петербургских воспоминаний. Сибирская равнина пестрела бесчисленными, с весны не просохшими озерками, по которым важно бродили журавли в поисках лягушек и вились, блистая на солнце белыми крыльями, чайки. Кибитка, несшая Шелихова, казалась ему судном в море: колыхавшаяся под ветром степная трава расстилалась без конца-края, куда глаз ни глянет, изумрудной морской волной, вспененной на гребнях белыми полосами одуванчиков.

Приближаясь к Иркутску, Шелихов придумал в дороге целую повесть о своем пребывании в Петербурге, сделав для себя назидательный вывод: война идет, и пока не кончится, надо добиваться всего своим хребтом — раскошеливайтесь, господа компаньоны, ежели барышей ожидаете!..

4

Шелихов вернулся в Иркутск вместе с нагнавшим его в дороге фельдъегерем и решил использовать обстановку в своих целях.

Иван Ларионович Голиков удовольствовался нашей медалью и шпагой, с которыми стал появляться на богослужениях в царские дни. Никто из пайщиков ничего не знал об отрицательном отношении государы-

ни к шелиховскому почину в Америке, а тем более к широким замыслам морехода о плавании в Тихом океане.

— С Урала, обнадеживаясь в первопрестольной мягкую рухлядь сбыть и связь покрепче на будущее время установить, махнул в Москву, — объяснил Шелихов пайщикам свое долговременное отсутствие. — А Москва, она слезам не верит, низкую цену давала, я и повернул на Петербург... Доказал там необходимость возобновления Кяхтинского торгового дела и затем Якобия объяснил...

Иркутянам и в голову не приходило усумниться в словах Шелихова. Ненавистный Якобий на их глазах сдал должность вновь прибывшему генерал-губернатору Пилю и с остатками собственного оркестра по первопутку выехал из Иркутска.

— Умен Григорий Иванович, — начали шептаться иркутские купцы, — сильную руку в Петербурге нашел, сумел выволить нас и от «нужной» войны, и от солдатских обысков на Кяхтинском тракте.

Дела и новости, компанейские и семейные, захлестывали Шелихова и не оставляли времени разобратся в причинах петербургской неудачи.

В почте из Америки, принятой Натальей Алексеевной, первым в порядке важности известий лежало письмо Деларова с сообщением об отправлении вверх и вниз по меридиану от Кадьяка двух галиотов на поиски новых земель и островов и о появлении в американских водах инодержавных кораблей — английских, бостонских, испанских.

«Приверженные нам народы не допустили те суда ни до торговли, ни до мены», — дочитал Шелихов сообщение до конца и довольно усмехнулся.

Он не стал откладывать ответа и сейчас же набросал черновик письма Деларову, в котором наряду с множеством хозяйственных распоряжений сдержанно сообщил о своей поездке в Петербург: «Ведомо вам да будет: я и Иван Ларионович Голиков от монархини получили великую милость и обнадежение всем людям компании ожидать милости монаршей».

Потом особо подчеркнул необходимость мер про-

тив вторжения на русские земли в Америке иностранцев:

«От иностранцев будьте осторожны: Англия, Пруссия, Швед, Голландия и Турция — российские неприятели, они могут переменить и флаги; а потому и должны вы всех иностранцев опасаться и быть во всяком случае осторожными, наставления храня».

В конце письма Григорий Иванович давал указание:

«Грамоте, пению и арифметике учить более мальчиков старайтесь, чтоб со временем были из них мореходы и добрые матросы; также мастерам разным учить их надобно, особливо плотничеству. Книг учебных горных, морских и прочих множество к вам пришлю. Кто учится хорошо, тем гостинца пришлю на судне. Затем всем добрым молодцам объяви мое доброжелательство и поклоны...»

Но Шелихов, составляя черновик этого письма, и не подозревал, на каком тонком волоске висела его собственная судьба, если судить по негодующей записи в «Дневнике» Храповицкого, сделанной примерно в это же время:

«Читал донесение Биллингса и описание варварства Шелихова на американских островах, очевидцем коего был некто из его же, Шелихова, команды фельдшер Бритюков. Особо отмечено, как все старались за Шелихова, чтобы доставить ему монополию. Он всех закупил, и если будет таким же образом продолжать свои открытия, то привезут его скованным».

5

Покончив с почтой, Шелихов спустился вниз на семейную половину. Здесь с некоторых пор часто стал появляться присланный в Иркутск не то в ссылку, не то к папаше в гости сын совестного судьи молодой дворянин Николай Петрович Резанов.

Молодой человек держался в Иркутске скромно и замкнуто, ни с кем не знакомился, нигде не бывал и в доме Шелиховых появился случайно, перехватив ло-

шадей, понесших на крутом спуске к Ангаре кибитку, в которой находились Наталья Алексеевна со старшей дочерью. Самоотверженный поступок молодого человека вызвал горячую благодарность Шелиховых, завязалось знакомство, и Резанов стал бывать в их доме. Гостеприимство Натальи Алексеевны, обаятельная внешность и свежая непосредственность ее дочери, равно как и слава имени купца-морехода, способствовали завязке романа.

Иркутские жители всеми обстоятельствами жизни были приучены не проявлять любопытства к прошлому появляющихся в городе столичных людей. Представленный главе дома по его возвращении из Петербурга, молодой Резанов, уловив в рассказах Григория Ивановича отрицательное отношение к порядкам и людям столицы, счел за лучшее не таиться. Удачно изображая действующих лиц, с их манерой столичного разговора, он поведал за ужином в тесном кругу семьи Шелихова о приведшем его в Иркутск «возмездии». Возмездие он получил за вольный образ мыслей, проявленный по возвращении в Петербург из «содома Парижского бунта», как уже называли в столичных сферах события, предшествовавшие французской «конституанте» 1789 года.

Неуместное восхищение молодого человека остроумием парижской черни, окрестившей супругу короля Людовика XVI Марию-Антуанетту уличным прозвищем «мадам Дефицит», навело высоких людей петербургского общества на мысль о нежелательности пребывания Резанова в столице.

— В столичной жизни, вьюноша, у вас дефицит объявился, — многозначительно просипел начальник якобы упраздненной Тайной розыскных дел канцелярии Степан Иванович Шешковский, разглядывая вызванного к себе молодого человека. — Прор-реха, по-русски сказать! — угрожающе гаркнул он, не замечая того испуга в лице Резанова, который обычно овладевал людьми, когда они попадали в эту канцелярию. — Отправитесь в Иркутск впредь до восполнения дефицита...

— Помилуйте, за что же...

— Если бы я не помиловал, — на Камчатку, а не в Иркутск сослал бы... А касаясь «за что» — вам лучше знать и будет время обдумать... Ступайте!..

— ...В бумаге, направляющей меня под надзор папаша и губернатора иркутского, сказано и того проще, — улыбнулся Резанов и, сделав паузу для усиления эффекта, проскандировал: — «За растрату казначеем, в моем ведении состоявшим, естольских рублей и копеек...» Но я не ропщу на судьбу, мой дефицит покрыт с избытком, — бросил он красноречивый взгляд в сторону Анюты Шелиховой, вставая, чтобы поблагодарить хозяев и откланяться.

Заметив краску смущения, залившую лицо Аннушки при этих незначительных-и, казалось бы, не относящихся к ней словах Резанова, Шелихов пришел в дурное настроение, объяснить которое и сам не мог.

— К чему эти заведения, дворянские затеи, — фыркнул Григорий Иванович после ухода гостя на украсившие гостиную комнату клавикорды. Он ревниво приглядывался к жене. В домашней суматохе и в каком-то праздничном настроении глаза Натальи Алексеевны мерцали так же молодо и призывно, как и десять лет тому назад.

— Уж не прикажешь ли... матрозкой... весь век провести? — задорно возразила она. — Мол, не полагается купеческой жене и на клавикордах играть? А я вот буду!.. Одним пальцем, а буду бренчать... «Заходи-ка, мой хороший, заходи ко мне, пригожий, вечер долгий коротать», — пропела она густым бархатным голосом. — С тобою до сих пор токмо что на тунгусском барабане стучать выучилась... Ну, ну, не охмуривайся, — ласково остановила она готовящуюся вспышку мужа. — Неужто сам не видишь, дочка... Аннушка в невестах ходит. Ко мне, что ли, в дом Николай Петрович повадился?.. Эх ты, простофиля, слепая старинушка, и как это ты Кыхтак-остров еще не проглядел?..

Жена открыла глаза Григорию Ивановичу на готовящееся в доме событие. Падчерица Аннушка давно стала его любимицей. Постоянными расспросами об Америке и наивным девичьим восхищением перед чу-

десами неведомой земли она купила сердце отчима; к тому же Аннушка была живым портретом матери в молодости. Посматривая на падчерицу, он и любовался ею, и грустил о невозвратном прошлом, в котором столь много ему дала любовь с Натальей Алексеевной.

Известие о Николае Петровиче Григорий Иванович принял с предубеждением, но с выводами не спешил, надо присмотреться к молодому человеку. Все чаще снисходя до участия в веселом времяпрепровождении семейной половины дома, он вскоре убедился, что Наталья Алексеевна и на этот раз права в своей линии.

Николай Резанов прочно овладел сердцем любимицы Шелихова. Жених привил простодушной купеческой девушке любовь к чтению и, ласково, но упорно заговаривая с Аннушкой на французском языке, заставил ее взяться за его изучение. Это понравилось мореходу, он не имел купеческого предубеждения к светскости и образованию, наоборот — сожалел, что такими качествами не обладают ни он сам, ни жена, и охотно усваивал крупницы их, подхваченные у «благородного сословия».

С одним не мог примириться Шелихов — с легкомысленным, как казалось ему, и даже насмешливым отношением Николая Петровича к открытию, заполнившему жизнь морехода. По склонности Резанова к парадоксальным мнениям выходило, что мореход намеревается величие России и собственное благосостояние построить на неверной опоре — на котиковых и бровых шкурах.

— Когда-нибудь, лет этак через сто, а может быть и больше, Григорий Иванович, поверьте слову русского дворянина, который кое-что видел и на собственном опыте испытал, — отшучивался Резанов от попыток Шелихова привлечь его к своему делу, — в России появятся люди, кои смогут понять, поддержать и даже, кто знает, осуществить ваши намерения. Господин Гийом Рейналь, — я имел честь встречаться с ним в Париже и Санкт-Петербурге, — подарил мне свои труды «Историю философическую и политическую обза-

ведений и коммерции европейцев в обеих Индиях...» Благодарю покорно, я не прельщаюсь принять участие в таких делах с русской стороны!

— Мало ли какие враки господа сочинители печатают, — без смущения отверг Шелихов ссылку на Рейналя. Он не имел и представления о том, какое бесмертное обличение чудовищных преступлений европейских купцов и промышленников оставил потомству аббат Рейналь. В одном из салонов столицы он не постеснялся сказать людям, неумеренно превозносившим благодеяния императрицы Екатерины: «Не принимайте слова за действительность».

Однако вскоре чтением и переводом *à livre ouvert*¹ того же Рейналя Резанов завоевал расположение морехода, хотя и убедился при этом, что слушатель его лучше усваивает и запоминает устройство колоний, чем страстные филиппики автора против рабства и жестокости колонизаторов.

Весной Аннушка Гуляева стала мадам Аннет Резановой. Во избежание лишних толков о том, что он сбывает падчерицу за кого попало, за ссыльного «фармазона», каким Николай Петрович Резанов успел прослыть в Иркутске, мореход и Наталья Алексеевна постарались принять меры против широкого оглашения события. Свадьба состоялась дома, обычной на купеческих свадьбах гулянки не было, но все знали, что венчание совершал соборный протоиерей отец Павел Афанасиев и на торжестве самолично присутствовал генерал-губернатор Пиль.

— Только варнак Гришка и мог такое неприличие сочинить, — возмущались иркутские обыватели, — допустил на свадьбу всех краснорожих американцев, коих наукам дома обучает... И как его превосходительство стерпел такое поношение!..

Не теряя надежды привлечь зятя к своим предприятиям, Шелихов настоял, чтобы молодая чета после свадьбы жила в его доме. За это он обещал выхлопотать Николаю Петровичу возвращение в Петербург. Дом Шелиховых давно уже стал местом встреч и сбо-

¹ Перевод без подготовки, с листа (франц.).

рищ передовых людей Иркутска, как и мореходов и наезжающих промышленников и купцов из России и далеких углов Сибири. Зять с молодой женой и Наталья Алексеевна сумели внести в атмосферу дома веселие и непринужденность молодости, радушие и широкое сибирское хлебосольство, надолго оставлявшие воспоминания у посетителей этих «масонских сборищ» — так окрестили их завистливые иркутские языки.

— Любо-дорого поглядеть, как Шелиховы открыто на людях живут, — шипели жены и дочери иркутских толстосумов, изнывавшие в клетках угрюмых домов своих мужей или родителей. — Потому деньги и удача к нему идут, что он от людей не бегаёт.

— Молчите, дуры! Гришка ногами уже немощен и оструплен... Поглядам, чем кончит...

6

В конце 1790 года, зимой, в жарко натопленную комнату Шелихова в мезонине, которую мореход называл «каютой», не предварив стуком, ворвался прямо с улицы в волчьей дохе и бобровой малице зять, Николай Петрович.

— В Иркутск Александр Николаевич Радищев прибыл!.. Я, как увидел его, подскочил, спрашиваю, какими судьбами, а он стихами:

Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду...

— Радищев? В Илимск, говорите, едет?.. Да что же это на самом деле такое! — растерянно отозвался мореход. Он видел в Радищеве, как в бывшем управляющем петербургской таможни, человека в высшей мере полезного. «Все законы и правила об охране торговли знает и в военном деле разбирается, — вспоминал Шелихов дворянина Радищева уже как командира петербургского ополчения на Царицыном лугу. — А много ли времени прошло, — подумал он, — и защитник отечества врагом отечества оказался. Что же это такое?..»

— Спрашиваю: «Где остановиться изволили?» — «В трактире у Семиволосых, продувного мужика», — отвечает. Говорю: «Переезжайте в наш дом... к Шелиховым». А он усмехается: «Не перееду, говорит, но видеть этого человека — вас, Григорий Иванович, — бесприменно должен...» Помахал рукой и пошел вниз на Банную в заведение Семиволосых, а я к вам кинулся...

«Государственный злодей» Александр Николаевич Радищев прибыл в Иркутск раскованным, но между двух фельдъегерей, сидевших по бокам. Явился к генерал-губернатору Пилу с письмом Воронцова, которому Пиль считал себя обязанным знакомством и содействием в устройении каких-то личных дел. Радищев попросил разрешения пробыть в Иркутске некоторое время для сбора сведений по поручению Воронцова о Кяхтинской торговле.

— Отчего же, милости просим, — охотно согласился Пиль и с солдатской прямоотой добавил: — Прошу только воздержаться от надомных посещений, при вас два этаких цербера состоят. А чтоб свободным быть, заезжайте в трактир Семиволосых, дайте церберам десять рублей на водку. Пока они их пропьют и вытрезвятся, вы гуляйте себе на здоровье, где пожелаете... Я пошлю пристава в трактир сказать, чтоб егерей, при вас состоящих, поили-кормили — от стола до кровати дойти... Не поставьте в вину, что по занятости своей визита отдать не смогу! — придерживаясь светского тона, заключил беседу находчивый старик Пиль.

Позже, по приезде в Илимск, Радищев выслал Воронцову свой экономический трактат «Письмо о китайском торге», в котором суммировал сведения, извлеченные из архивов губернского правления, а также бесед с жителями Иркутска, извозчиками и купцами, занятыми торговлею в Кяхте.

«Пресечение торга в Кяхте с китайцами не есть столь важная для государства потеря... Если истинно вообще, что внешняя торговля не есть корень благосостояния государства, то сие истинно в отношении Сибири и торгу с китайцами.

...Основание всего торгу с китайцами есть мягкая

рухлядь, большей частью из Охотска, заморского лова.

...В Иркутске остановка Китайского торгова тем была чувствительнее, что великий капитал лежал в запасенном товаре, по уверениям некоторых от 4 до 5 миллионов рублей.

...Не столько естественным, но местоположением политическим Иркутск может равняться с лучшими российских торговыми городами и превосходит многие».

Выписывая строки о «мягкой рухляди заморского лова» и миллионных запасах ее в Иркутске, Радищев вспоминал лицо Шелихова и неоднократные беседы с ним, состоявшиеся после первого, не совсем выгодного для Шелихова знакомства.

Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» поставил себе за правило знакомиться с людьми в наиболее естественной и обычной для них обстановке.

Держась данного Пилю обещания избегать надомных посещений, Радищев решил познакомиться с Шелиховым в конторе компании. Разыскав дом Шелиховых и склады, он полюбовался экзотической вывеской предприятия и с усмешкой перешагнул через высокий порог амбара, из глубины которого долетал громовый голос, принадлежавший, несомненно, хозяину.

В заднем конце, под высоко прорубленным окном-шелью, мореход сортировал и отбирал пушнину на возобновляемую с масляной недели следующего года ярмарку в Кяхте. Драгоценные бобровые и котиковые шкуры, пролежавшие в амбаре почти четыре года, несмотря на меры предосторожности, оказались в значительной части траченными молю, слезались и были разрушены примитивным способом обработки — сушкой на огне.

— На огне сушили, в огонь и кинуть придется! Деньги жечь заставляют, чтоб их оспа извила, чтоб их... — рычал мореход, приходя во все большее раздражение от подносимых рабочими новых тюков порченных шкур, и, неожиданно для самого себя, давая выход хозяйскому гневу, дал первому попавшемуся под руку работному такого тумака, что тот вместе с ворохом мехов покатился по полу.

«Первородный грех человечества — насилие сильных над слабыми», — подумал Радищев, почти теряя желание знакомиться с открывателем Америки, но преодолел вспыхнувшее отвращение и проговорил наружно спокойно:

— Хочу видеть и познакомиться с достоправным соотечественником и негодяем господином Шелиховым, но... помешал, кажется... Радищев! — назвал себя вошедший.

— Милости прошу в дом пожаловать, я и есть такой... Григорий Иванов Шелихов... Ничему не помещали!.. Давно ждал случая... Твержу олухам, не подворачивайся под руку, ежели виноват... В торговом деле, знаете ли... а тут, гляжу, товара не на одну сотню тысяч изведено...

— О тяжести руки вашей свидетельствовать могу, но за порчу товара хозяина нерадивого бить надобно, — строго перебил Радищев оправдания морехода. — Впрочем, оставим это... Я пришел расспросить о дальнейших намерениях ваших в Америке и по берегам северных морей. Кое-что я о них знаю... По поручению графа Воронцова ознакомился с вашей «Запиской странствования в Восточном море», прошениями и рапортом генерала Якобия и дал положительное о них, одобренное графом, заключение для доклада государыне. Признаюсь, хотел и сам к вам присоединиться, была одна мысль, примером Вашингтона и Костюшки вдохновленная, но война со шведами и собственная беда отвлекли внимание... Присядем, если временем располагаете! — Радищев оглянулся вокруг и опустился на ближайший тюк с мехами. — И вы расскажете, как подвинулись на пути своем...

Не замечая насмешливых взглядов работных — «наскочила, дескать, коса на камень», — Шелихов продолжал стоять. Он забыл, что до сих пор скрывал ото всех правду о своей поездке, и начал рассказывать о понесенном в Петербурге поражении.

— За все, что претерпели мы, и за все, что терпеть готовы, получил вот этакую... — мореход пренебрежительно потряс подвешенной на шею медалью с портретом самодержицы.

— Вы медаль получили, а спутники ваши, первооткрыватели, чем их подвиг отмечен? — спросил Радищев.

— Я им награждение некое от компаньонов высутил, а в Петербурге... — Шелихов сложил из пяти пальцев выразительный шиш и помахал им перед носом собеседника.

— И вправду немного, — усмешливо расценил Радищев этот красноречивый символ награды. Но тут же лицо провидца великого будущего русского народа утратило свое смягченное выражение, когда он услышал от Шелихова хвастливое утверждение о внимании, оказанном его открытию полковником Бентамом, представителем просвещенных гудзонбайских английских и бостонских купцов.

— Петербург в десяти артиллерийских служителях мне отказал, а Бентам предложил батальон солдат да и судно с пушками коммерцию развивать, кое-что и еще... Да то пустое, нам, как мы всегда за отечество стоим, это не подходит! — проговорил мореход, новидимому не склонный распространяться насчет своего отрицательного отношения к союзу с полковником Бентамом и недавно родившейся «страной процветания» — штатами Американской республики.

— Волчьи зубы из-под бараньего лба видны у вашего Бентама, — сказал Радищев. — Остерегитесь, друг мой, не впадите в пагубное заблуждение! — Сосредоточившись, Радищев продолжал развивать, повидимому, давно выношенные мысли. — Остерегитесь следовать пагубною тропой. Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровью природных жителей, завершили истребление туземцев новою корыстью. Заклав индейцев, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя бога истины, учителя кротости и человеколюбия, к яростным убийствам завоевателей присоединяют такие хладнокровные убийства, как порабощение невольников куплею. Сии-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенегала под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейся.

— Это вы напрасно, господин... На нас тоже крест

есть, разве я о невольниках думаю, — пытался мореход остановить Радищева. Горящие взоры работных, с которыми те слушали речь необычного посетителя кладовой, встревожили морехода.

— И мы страну такого опустошения назовем блаженною?! — видя перед собою бесчисленную толпу слушателей, в каком-то самозабвении продолжал Радишев. — Где сто гордых граждан утопают в роскоши и тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и холода укрытия?!

Пусть лучше опустеет такая страна! Пусть терние и волчец, простирая корень свой глубоко, истребит все богатства и драгоценные произведения Америки! Бойтесь, чтобы не сказали о вас: «Перемени имя, повесть о тебе вешает».

До Шелихова не дошел смысл выпада Радищева против англичан и их бостонских и виргинских сородичей, но внутренний голос совести, здравый смысл и предубеждение морехода к союзу с соперниками в промысле и торговле — все это исключало необходимость возражать Радишеву. Окружавшие Шелихова и Радищева работные уловили, о чем шел разговор, и Шелихов сказал:

— Это истина-с, так и я понимаю... Поэтому я и от солдат Бентамовых, как и от товарищества, начисто отказался, а судно... судно взял, счета с ним были... После афронта и всякого безобразия, коего натерпелся я в столице, — с горечью вдруг выговорил Шелихов, — придется и от Славорос... Америки отказаться! Я теперь на Ледовитое море гляжу, нацелился там дело завести и проход от Архангельска на Колыму через льды сыскать, дерзания ермацких детей и Михаила Васильевича Ломоносова выполнить, — шегольнул Шелихов знакомством с трудами Ломоносова, о которых знал понаслышке от Селивнова. А заметив пытливый взгляд Радищева, рассказал о своем замысле связать Сибирь с Европой кратчайшей дорогой через Таймыр—Вайгач—Печорское, Белое и Баренцево моря.

Идея Северного морского пути заинтересовала Радищева больше, чем американские промыслы и торгов-

ля, но он сомневался, можно ли найти для такого подвига подходящих людей и суда.

— Что вы! — воскликнул Шелихов. — Сибирь народом полным-полна! Ермацких детишек по тайге и рекам у нас без счету бродит, дела ищут, и суда на такое дело имеем испытанные — кочи!.. На них еще Семейка Дежнев из Колымы на Анадырь прошел мимо Страшного носа¹. Только на то благословения спрашивать не надо в Петербурге — льдом задавит!..

Искренняя неприязнь Шелихова к Петербургу приорила Радищева с теми неприятными наблюдениями, которые он было вынес из непосредственного знакомства с открывателем Америки и его деятельностью в России.

«Сколь много полезен может быть такой человек отечеству, если взять его в руки и направить по истинному, доброму пути», — размышлял вечером в горнице заезжего двора Семиволосых Радищев, перебирая в памяти иркутские знакомства и готовясь при скудном свете сальной свечи занести свои мысли в дневник.

Достоверным отражением настроений и размышлений Радищева были письма его к графу Александру Воронцову. Автор «Путешествия» и оды «Вольность» — образцов, которым следовал сам Пушкин, — вынужден был писать свои письма в большинстве случаев по-французски, так как Воронцов не любил и плохо знал русский язык.

«Панглосс, — таким философическим рассуждением начиналось одно из писем Радищева, — говорил, что мы живем в лучшем из возможных миров. Это потому, что этот простак философ отделался от виселицы ссылкой на галеры. Я размышлял о превратностях мира сего... Бодрость, терпение!»

Размышляя о собственной участи и будущей судьбе, Александр Николаевич Радищев при отвращении ко всему тому, что под внешним блеском проступало как насилие и жестокость, сохранил доброжелательное отношение к людям и делам, наполнявшим их жизнь.

В последующих своих письмах он не раз возвра-

¹ Так в старину называли Чукотский полуостров.

щался к запомнившейся ему могучей фигуре купца-морехода.

«Я завязал здесь знакомство с неким Шелиховым... он каждую весну ездит в Охотск встречать свои корабли, возвращающиеся из Америки.

...в компании с полковником Бентамом он построил и вооружил корабль для торговли с Америкой, но (корабль) сел на мель, и Шелихов принял на свое содержание капитана англичанина...» .

Зная об интересе Воронцова к начинанию Шелихова, полезному и значительному для России, Радищев стремился вселить сиятельному адресату мысль о необходимости поддержать морехода и тем дать соответственное направление его колонизационным замыслам, к которым Радищев относился с предубеждением и осторожностью.

«...и то, что имеет спрос в Китае, добывается на Алеутских островах и других... Вы не ошибетесь, ибо этот царек Шелихов не зря просил солдат. Мне говорили, и это вполне правдоподобно, что полковник Бентам давал ему 100 человек из своего батальона для завершения завоевания... хищнической торговли, которая в зародыше заглушает в человеческом сердце сострадание».

Горячая и глубокая душа Радищева жаждала продвига более трудного и значительного, чем открытие доселе неведомой части Америки. В памяти великого революционера Шелихов сохранился как носитель смелой мысли об открытии более важного для России Северного морского пути.

В то время подвиг Дежнева, похороненный в сундуках якутского и тобольского приказов, был мало кому известен, ничего не знал о нем и Радищев. Замыслы Шелихова представлялись Радищеву первым почином на этом пути и восхищали уверенностью в силе русских людей осуществить грандиозное предприятие.

«...Ему, — имея в виду Шелихова, писал Воронцову изгнанник, — привиделись еще потомки сподвижников Ермака, чтобы искать и открыть проход через почитаемые непроходимыми льды Северного океана и

тем непосредственно связать Сибирь с Европой... Легкая (через Карское море — Вайгач), короткая и прямая дорога в эти края... Я вызвался бы охотником найти этот проход, несмотря на все опасности, связанные с такого рода предприятием...

Ваш сердцем и душой А. Радищев».

Радищеву не суждено было принять участие в этом предприятии. Он выехал в конечный пункт ссылки — в затерянный на хмурых бесплодных сопках Илимский острожец, и связь с Шелиховым порвалась. Несомненное влияние, которое приобрел и оказывал на морехода непреклонный дух революционера-борца, уже не могло иметь должной силы и действительного значения.

Рассказывая жене о посещении Александра Николаевича, Шелихов сконфуженно жаловался:

— И надо было, чтобы на этот момент подвернулся мне под руку охломок какой-то с кучей гнилой пушнины!.. Хватил я его по заливку и осрамился перед господином Радищевым... Он подумает, что я и диких таким манером уму-разуму учу, — беспокоился Шелихов о своей репутации просветителя алеутов, простодушно полагая, что рукоприкладство в применении к «российским людям» законно и непредосудительно. — Беспременно, как соберусь опять в Петербург, забегу к нему в Илимск, — проговорил Григорий Иванович, думая, что этим самым он загладит свою вину.

— В Илимск? — переспросила Наталья Алексеевна. — Тысячу верст в сторону от тракта — такой-то крюк?!

— Ну что ж, пусть крюк! — сказал Шелихов. — Может, облегчение жизни какое ни на есть доведется сделать и услужить — письмо али посылку сродникам отвезти...

Из встреч с Шелиховым на складах компании и у себя в горенке, под храп беспробудно пьяных фельдъегерей, Радищев выведал все подробности как торга с Китаем, так и странствований морехода в океане. Однако от соблазна побывать в доме Шелихова, не-

смотря на горячие просьбы морехода и Резанова «осчастливить посещением», Радищев уклонился, ссылаясь на предостережение губернатора Пиля.

— Что ты носишься с ним, обнаковенный человек и одна заслуга на нем — гонимый! — сердито прервала однажды Наталья Алексеевна сетования мужа на то, что никак не может залучить господина Радищева в дом, чтобы удивить его вывезенными из-за океана редкостями и поговорить по душам. Шелихов знал Илимск и живущих в нем людей, к которым предстояло ехать Радищеву, и тешился мыслью подсказать изгнаннику возможность — только захотел бы — выбраться на волю, в Новый Свет. «Я его правителем рядом с Барановым поставил бы. А за такими плечами устояла бы земля моя, — думал он, строя фантастические и несбыточные планы. — Я, ежели бы со мной такое, сбежал бы, видит бог, сбежал бы!..»

Радищев, подавленный сложностью собственных переживаний, не догадывался о мыслях Шелихова. А осторожные разговоры морехода, вроде таких, как: «Эх, если бы вы захотели посмотреть наш гиблый кут — Охотск, я бы взялся за это дело! Куда угодно доставил бы!» — Радищев принимал за обычную купеческую угодливость и даже за неприятную, подмеченную им в мореходе склонность к хвастливому фанфаронству.

Канун наступающего нового, 1791 года, которым открывалась вереница неразличимых дней и ночей илимской ссылки, Александр Николаевич провел у себя в горнице перед тусклой сальной свечой, записывая для памяти торжественным гекзаметром свои размышления над духом века, жертвой коего пал и он.

Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро!
Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех.

...Твоих сил не достало к изгнанию всех духов ада,
Брызжущих пламенный яд чрез многотысячный век.

Выше и выше лети к солнцу, орел ты российский,
Свет ты на землю снеси, молнии смертельны оставь!

Зрите на новый вы век, зрите Россию свою! —

почти выкрикнул он, записывая последнюю строфу своей оды «Осьмнадцатый век», и умолк, очутившись неожиданно в темноте. Оплывшая свеча с шипением погасла.

Через несколько дней Александр Николаевич был вызван к генерал-губернатору.

— Когда собираетесь, господин Радищев, выезжать к месту назначения? — деликатно спросил Пиль.

— Хоть завтра!.. Простите, злоупотребил гостеприимством. Завтра выеду! — не задумываясь, ответил Радищев, мгновенно отказавшись от намерения запасть в Иркутске мукой и другим продовольствием. Об этой насущной для жизни в Илимске необходимости Радищева предупреждал Шелихов и обещал даже заготовить для него несколько мешков ржаной и пшеничной муки.

На другой день поутру, не попрощавшись ни с кем, Александр Николаевич выехал в Илимск по буреломному тракту вдоль Ангары через Балаганск — Братский острог. От этого острога шел крутой поворот на еще более страшную дорогу в Илимск, прорезанную в тайге отрогами Илимского хребта.

Шелихов был крепко огорчен внезапным отъездом Александра Николаевича, — так налегке и без муки, оставшейся на дворе у морехода затюкованной в кошеве. Бродил по дому и складам мрачный и злой, работные люди замирали при встрече с ним и ожидали или тумака или окрика.

7

Недолговременное общение с «государственным злодеем» Радищевым оставило неизгладимый след в душе Шелихова. По крайней мере, с провинившимися людьми он не расправлялся, как бывало, выслушивал и принимал их оправдания. Незаметно улучшились харчи, а для людей на тяжелой и грязной работе мореход даже открыл доступ в хозяйскую баню.

— Погоди уж, он зато вдвое вызверится, смерт-

ным боем бить зачнет, как у Ферефёрова и прочих купцов заведено, — говорили работные, не доверяя неожиданной и крутой перемене хозяина.

Однако Григорий Шелихов сам заметил и удивился, что его «охломки» стали работать лучше, охотнее и дружнее. Задумался над причинами такого отношения людей к делу и поделился своими наблюдениями с Натальей Алексеевной.

— Вот, Гришата, — сказала она, — ты по-людски, и люди в деле без злобы и пакости ходят...

Григорий Иванович промолчал, припоминая врезавшиеся в память беседы и пристальные, испытующие глаза Радищева. «За Урал поеду (Шелихов даже в мыслях избегал вспоминать Петербург), — непременно по пути в Илимск забегу».

Летом, во время бушевавшего и заполнившего Иркутск раскаленным зноем и дымом пожара в тайге, умер испытанный друг, покровитель и советник Григория Ивановича Селиванов. Старик давно и тяжело хворал, но и при Пиле оставался правителем дел канцелярии наместника Восточной Сибири.

— Позвал тебя, Григорий Иваныч, на последнюю беседу, — прохрипел старый сибиряк, выслав набившихся в комнату чиновников с бумагами по службе. — Чую — пожара не переживу... Не придется лба перекрестить за успех твоего почина, но ты еще молод и силен — дождешься... Не трать силы на охотские путешествия, не в Охотске судьба решается, не лишним миллионом, который ты с мехов в карман настрижешь. Езжай в Петербург, пока Пиль, Иван Алферьевич, благостный муж, в Иркутском хозяином сидит. Добивайся в столице дозволения на перевоз в Америку русских людей, хотя бы из ссыльных. Мы тут мигом повеление выполним. Я список статейный на ссыльных составил — возьмешь на столе: первым делом казаков из малороссиян отправим, с самим Железняковым¹,

¹ Максим Железняк был одним из видных вожakov восстания правобережных казаков и крестьян на Украине во время так называемой Колиивщины. Его товарищ Иван Гонта был выдан Польше и замучен. Железняк, державшийся ориентации на Россию, был по повелению Екатерины сослан в Сибирь.

затем яицких и мастеровых с Урала, от Пугача унаследованных, а там помещичьих — этих каждый год сотнями гонят... Гляди, так и обрастет русским народом Америка, или как, бишь, ты ее называешь...

— Славороссия! — проронил Шелихов, с тоской вглядываясь в раздутые водяной черты многоумного друга.

— Опять же к Соймонову, к Михаилу Федоровичу, обратись, я и письмо к нему заготовлю, после смерти моей зайди к жене — получишь... А теперь иди, не могу больше разговаривать!.. Прощай навсегда!.. Прощай, Гришенька...

Через неделю Шелихов в мрачном раздумье шагал за гробом Селиванова к его могиле, отведенной в почетном ряду Знаменского монастыря. Потерю чуть ли не единственного в жизни доброжелателя, — Наталья Алексеевна как жена в счет не идет, — Шелихов чувствовал очень остро и давал себе клятву выполнить последний совет друга: не позже конца года выбратся в Петербург вторично.

Послав в начале осени с оказией предварительное извещение о своем приезде Гавриле Романовичу Державину, улыбчивому приятелю по давним встречам в Казани, — Державин сейчас находился в зените своей славы как поэт и доверенное лицо царицы по приему прошений на высочайшее имя, — Шелихов, ни с кем, кроме Натальи Алексеевны и Резанова, не советуясь, при первых же ноябрьских морозах собрался в Петербург.

— Кученька, поедешь со мной в столицу? — спросил Григорий Иванович своего верного друга, имея намерение показать государыне нового ее верноподданного красной породы, не только невиданной в Петербурге, но еще такого, который сможет, в доказательство достигнутых мореходом успехов по просвещению дикого края, приветствовать самодержицу на русском языке.

— Куда позовешь, туда и пойду, — просто ответил Куч и даже как будто осклабился, уловив благодарный взгляд Натальи Алексеевны.

По пути в Петербург Шелихов решил завернуть в Илимск и доставить Александру Николаевичу кошеву с мукой, сахаром и свечами. «При лучине, чай, бедный сидит и ошупью пишет», — подумал Григорий Иванович, давая приказание затюковать три пуда свечей.

В Илимск Шелихов прибыл с рождественской пургой, за которой едва разглядел засыпанные снегом избы городка. Нежданный гость удивил и обрадовал Радищева. Радищев сразу же усадил Григория Ивановича и Куча за схлопотанный самовар. Безустали проговорили целые сутки. Говорил, собственно, Александр Николаевич, как будто вознаграждая себя за долгие дни молчания и отсутствия понимающего человеческого речь собеседника.

«Так пророки глаголали», — думал Шелихов, стараясь не упустить нить идей и мыслей заживо погребенного в снегах Сибири человека.

— Когда рабы разобьют железом наши головы и кровию нашей обогрят нивы свои — что в том потеряет государство? Из среды их объявятся великие мужи для заступления избитого племени; но будут они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие... Я зрю сквозь целое столетие! — гремел Радищев, и Шелихов слушал его, содрогаясь и от новизны слов, и от страха, не быть бы подслушанным невидимым ябедником приказным. «Не сносить и мне головы за то, что слушаю», — отчетливо сознавал Шелихов, но удобного предлога прекратить разговор не находил.

Куч сидел рядом, олицетворяя равнодушное бесстрашие.

Уловив в глазах Шелихова беспокойство, Радищев на полуслове оборвал разговор, отпустил гостей спать, а сам уселся за письмо к графу Воронцову, своему единственному адресату в оставленном позади мире. В снежном безмолвии и полугодовом сумраке Илимска Александр Николаевич утратил потребность в регулярном сне: вставал к деятельности, когда увезенный в ссылку небольшой берегет показывал полночь, а отдыхать ложился в середине дня.

Шелихов по совету Радищева должен был добиться свидания с Воронцовым и ему, только ему в руки, отдать письмо. Александр Николаевич прекрасно понимал, что не встретил в мореходе активного последователя и надежного борца за свои идеи свободы и человечности в людских отношениях, но тепло и сочувственно отозвался о нем в письме, писал, обдумывая каждую фразу, но коротко — Шелихов должен был с рассветом, через несколько часов выехать в далекий путь на Петербург.

Расставание, — великий революционер и отважный мореход никогда более не встретились в жизни, — было омрачено щепетильностью Радищева в денежных делах.

— Сколько стоят жизненные радости, которые вы мне доставили, Григорий Иванович?

— Пустое! Мука — пятьдесят, сахар и леденцы — сорок, свечи — десять рублей. Я и впредь могу по дешевой цене этого добра хоть целый обоз к вам пригнать...

— Отменно признателен, но вот вам деньги за первый фрахт, — отсчитал Александр Николаевич пачку мелких ассигнаций.

— Что вы, что вы, вовек жизни не возьму! Я в презент доставил, не на продажу...

В споре о деньгах оба дошли до раздражения. Глаза Куча впервые выразили удивление, глядя на них.

Неловкая сцена кончилась тем, что Шелихов, не взяв денег, выбежал из дому и, вскочив в поджидавший его крытый возок, гаркнул с неподдельной обидой в голос:

— Дворянская гордость!.. Гони, Никишка!..

Куча едва успел догнать возок и вспрыгнул на мешки с пельменями, притороченные на запятках. Только выехав из Илимска на Красноярский тракт, Шелихов вспомнил о Куче, остановил возок и забрал индейца к себе.

На исходе хмурого февральского дня 1792 года через шлагбаум Московской заставы въехал в столичный город Санкт-Петербург необыкновенный зимний возок на полозьях. Возок был тщательно обит заиндевевшими волчьими шкурами мехом наружу.

В окнах редких домиков столичной окраины уже зажигались скупые огни вечерней лучины. У одной из полосатых будок, расставленных в черте города на каждую версту московского тракта, возок остановился. От будки отходило в стороны несколько наезженных дорог. Из приоткрывшейся заснеженной дверцы послышался раскатистый, громовой голос:

— Эй, служба! Будожник! Как проехать мне к дому превосходительства штат-секретаря Гаврилы Романовича господина Державина?

— Кого надобно? — подойдя к дверце возка, просипела «служба» навсегда застуженным голосом.

— Гаврилу Романовича господина Державина, славного пиита российского, глухой пень... Его и в Сибири-то знают, — гремел из возка голос, способный перекрывать вой морских бурь.

— Т-такого не знаем... сиклетарев много у нас, а питухов и того боле будет, — уныло сипела «служба», опасливо отодвигаясь от дверцы возка, из которого долетел не то стон, не то клекот огромной полузадушенной птицы.

— Те кхат... нитутенка... чаук... тукухви... кутах-тух...¹ — неслись из возка непонятные, принадлежащие неведомому существу звуки, заглушенные уговаривающим голосом проезжего.

— Ну-ну, Куча, потерпи, милой... сколько держался! Не к кому-нибудь едем — к самой государыне. Она на тя взглянет, все твои боли как рукой снимет... Не осрами меня, что ж я ей... мертвого индейца привезу? Засмеют меня столичные... Ай да Гришка Шелихов,

¹ На наречии индейского племени приаляскинских колошей: «Хочу пить... слышишь ли... бубен... я умираю...»

путешественник, он там всех уморил, мертвяками хвать! — объявился. Никто в бубен не бьет... такому ли атаутлу¹ умирать! — встревоженно гудел голос проезжего, копошившегося над кем-то лежащим в возке. — Слышь ты, чело­вьяга, нет ли водицы у тебя? — высу­нулся он неожиданно из дверцы.

— Осподь с тобою, господин проезжий, — еще дальше отодвинулась «служба», несмотря на жгучее желание заглянуть внутрь возка. — И где же на таком морозе, в чем ее, воду ту, держать?.. Мы снег глотаем, коли...

— Эх, ты... кислые щи! — досадливо отозвался проезжий. — Ничего-то у тебя нет, и ничего ты не знаешь!.. На Мойке на речке живет господин Державин, поруч Жеребцовых господ и Зубовых. И про таких не слыживал?..

— В-вот, сразу бы так, господин!.. — встрепенулась «служба». — Кто же не знает дома-от Жеребцовых господ и Зубовых... их сразу б и спросили — Жеребцовых, на Конюшенной проживают... баба какая и та укажет Жеребцовых.

Получив нужные разъяснения, после которых в снег к ногам топтавшейся «службы» упал стертый четвертак, волчий возок свернул вправо и во весь дух помчал по одной из проложенных от будки ухаби­стых дорог.

Переехав через речку Фонтанку по настланному мосту из круглых, едва обчищенных бревен, возок въехал в центральную часть быстро застраивавшегося огромного города. Все чаще попадавшиеся прохожие, крестясь, сплевывая вслед и отступая по колена в снег, — тротуаров в то время не было, — давали дорогу бешено мчавшейся тройке.

У проезжего, в возке которого лежал, по догадкам «службы», несомненно, умирающий человек, была веская причина торопиться к разыскиваемому дому. В дороге с Урала, в лесах под Хлыновом, как называли в то время Вятку, на него со спутником напали разбойники.

¹ Воину.

Окружившие возок полуголые на морозе оборванцы сначала было растерялись, когда выскочивший из возка хозяин, явно русский купец по обличью, не испугался занесенных ножей и топоров и двинулся на них с одной дубинкой в руках, приговаривая: «Если с голодухи воровать пошли — на хлеб подам, а если на деньги польстились, не обессудьте — расшибу!» Еще более ошеломил лесных шпыней вид спутника проезжего купца, с невиданным среди них меднокрасным лицом и черными сверкающими глазами.

Вожак шайки, видя растерянность товарищей, замахнулся за спиной купца ножом, чтобы прикончить его, но меднокрасный спутник проезжего грудью кинулся на нож и принял удар против сердца.

Силач купец рассвирепел, разможил дубинкой голы убийцы и еще двух шпыней, обратив в бегство остальных, подобрал в возок раненого спутника и умчался с ним.

В дальнейшей дороге, проездом через глухие деревни и небольшие городки, проезжему нигде не удавалось сговорить жителей принять на излечение своего тяжело раненного красного спутника, все отказывались: «Помрет язычник, хоронить хлопот не оберешься». Так и довез проезжий раненого до Петербурга. Розыски дома Державина приводили его в отчаяние и ярость.

Наконец, широкоскулый ямщик с разбегу осадил покрытых клубами пара и бархатного инея каурых перед крыльцом небольшого, на первый взгляд, но ярко освещенного по фасаду домика удачливого певца Фелицы¹. Уютный домик поэта стоял рядом с огромной барской усадьбой. В ее высоких запущенных снегом соснах прятался изрядный, постройки Гваренги, дом-дворец правителя дел коммерции-коллегии, действительного статского советника Жеребцова, шурина всемогущего флигель-адъютанта царицы графа Платона Александровича Зубова.

В этом же доме в свободное от придворных обязанностей время принимал людей, имевших в нем ну-

¹ Под этим именем Державин воспевал Екатерину II.

жду или искавших «войти в случай», девически миловидный и спесивый, как татарский мурза, граф Платон Александрович — «милое дитя» и последнее увлечение не сдающего времени сердца шестидесятитрехлетней царицы.

Платон Зубов был «тих и благочестив, пусть царя в голове не имеет», как выразился о нем тесть его брата, фельдмаршал и светлейший граф Рымникский Александр Васильевич Суворов. Платон Зубов по своей деликатной придворной «должности» был обречен на холостяцкую жизнь и жил, занимая лучшую половину, в доме своей старшей сестры Ольги Александровны. Ее он выдал замуж за мелкопоместного, но весьма способного и делового человека из захудалого дворянского рода Жеребцовых.

Обладатель громового голоса вылез из возка в диюковинной, белого медвежьего меха шубе и, во все глаза разглядывая темный в ранних питерских сумерках дворец Жеребцовых, думал: «Вот, если бы туда этак подкатить... да чтоб хозяева приветливо встретили и в баньку под руку повели... да чтоб можно было...» — и, прервав никчемные мысли, рыкнул сбежавшему с крыльца в одной ливрее дворецкому:

— Чего тебе?

Потом сообразил:

— Доложи, братец, Гавриле Романычу, что мореход Шелихов, Григорий Иванович Шелихов, из Иркутска прибыл, а как с Любани не евши, просит пельменей и водки к ним.

Дворецкий Аристарх, обтесавшись на частых в доме Гаврилы Романовича приемах высоких гостей, — даже матушка-государыня не погнушалась дважды удостоить посещением скромный домик своего певца, — топтался на месте в неподдельной радости.

— Батюшка, Григорий Иванович, благодетель наш... вот уж не чаяли... на святой ждали!.. Не признали, батюшка, Аристарха, стар, должно, становлюсь, образ теряю? — с легким упреком продолжал он певуче величать гостя, заметив, что тот не узнает его. — Покличь людей, Мишутка, — обернулся он к казачку в белом, добротном, перехваченном широким голубым

поясом кафтане, — Василия, да Петьку, да Спирьку, кто есть там, дорожное в горницы внести... жи-ва-а!

И, опять обращаясь к Шелихову, заговорил:

— Никак раньше святой не ждали вас, Григорий Иванович, потому знали, какую вы дорогу до нас одолеваете... Гаврила Романыч упреждали меня, можно сказать, каждого дня: — Архип, то бишь Аристарх, смотри в оба! Прискачет Григорий Иванович с путя дальнего-сибирского, чтоб все удовольствия... перво-наперво в баню сведешь, из бани приведешь, чтоб пельмени были... Пожалуйста, пожалуйста, гостюшко долгожданный! Гаврила Романыч только-только в баньке с полка сошли, квасом прохлаждаются, чтоб гостей, званных к ужину на восемь после феатра эрмитажного, свежим встретить. За обедом чуток замаялись Гаврила Романыч с этими... греками Альчестою и Ламброю, что с бумагами и писулей от графа Платона Александровича приходили...

— Так что в баньке прохлаждается Гаврила Романыч? — проговорил, поднимаясь на крыльцо, Шелихов. — Ну, туда и проводи меня на полок к нему прямехонько, — сказал он, сбрасывая в теплых сенях с широких плечей медвежью шубу, скрывавшую его статную фигуру в длинной, ниже колен, коричневой, купеческого покроя поддевке доброго сукна. — Да еще распорядись, Архипушка, чтоб баулы и сумы мои из возка люди вынесли, лошадок на конюшню поставили... человека там, жителя американского, колюжем¹ называемого, забрали, в тепло снесли... попало бедняге дорогой, совсем плохой... Привез показать матушке-государыне нового верноподданного, да, видно, не придется... Из мехов его не вынимайте, я сам потом приду, гляну, как с ним быть.

Шелихов невольно остановился перед огромным зеркалом, из которого как бы набежала на него его же крепкая фигура, с ярко блестящей в домотканном кружеве жабо огромной золотой медалью — портрет матушки-царицы в алмазной пыли.

¹ Колюжами называли племя американских индейцев-кблосей, живших на тихоокеанском побережье между 40 и 60° северной широты.

— Знай наших! — подмигнул себе Григорий Иванович, расправляя крутые плечи. — Ты впереди иди, Архипушка, возвести Гавриле Романычу, что слуга его покорный, Шелихов, Иванов сын, из Иркутска прибыл благополучным и просит разрешения войти в купель златоструйную, веничком путь-дорогу зимнюю смыть.

Архип, дворецкий поэта и славного государственно-го мужа Гаврилы Романовича Державина, произведенный для благозвучия по повелению тогдашней классической моды в Аристархи, высоко поднял над головой семисвечный канделябр и, продолжая приветливо болтать, повел приезжего в баню по бесконечным и запутанным ходам-переходам державинского дома, такого маленького и нехитрого с внешнего взгляда.

— Не удивляйтесь бабьим голосам, коль послушите их, батюшка Григорий Иванович, — говорил он. — Смело входите. Там гренадерши наши, Афродитка-гсрнишная и Варька-вышивальница, грека бритого, Алчесту этого, парят. Гаврила Романыч, как был подпимши в обед, приказал девкам ванную греку готовить... Так вот и посейчас там они...

Баня находилась в самом конце неприметного с улицы бокового крыла дома. Три ступеньки наверх вводили в предбанник. Из предбанника доносилось складное протяжное женское пение в два голоса:

...Как на матушке, на Неве-реке,
На Васильевском славном острове,
Как на пристани корабельная,
Молодой матрос корабли снастил
О двенадцати тонких парусах,
Тонких, белых, полотняных...

— ...ы-них! — замер на кружевной неслыханно высокой ноте голос, чистый и прямой, как скрипичная струна. И тут же, не останавливаясь, оба голоса понеслись в бешеном темпе уличной хороводной:

Вдоль по улице широкой
Молодой кузнец идет;
Ох! идет кузнец, идет,
Песни с посвистом поет.
Тук! тук! в десять рук
Приударим, братцы, вдруг!

«Приударим, братцы, вдруг!» — подхватил про-себя приезжий богатырь и решительным движением распахнул дверь в предбанник. Распахнул и замер, изумленный...

Просторная комната, на половину высоты выложенная красным в жилку олонекским гранитом, была освещена тремя многосвечными канделябрами, стоявшими на гранитных колонках по углам. Огни свечей бесконечно множились простеночными венецианскими зеркалами.

Под голландской печью, затейливо выложенной пестрыми изразцами, сидели две красивые девки. Пригожие молодки наряжены были в цветные, расшитые золотым позументом сарафаны из китайки, в высоких, рогатых киках, украшенных лентами. Свежие лапотки и белые, тесьмою перевитые онучи на вытянутых ногах завершали наряд. Идолъственно равнодушные ко всему, они не повернули даже головы в сторону вошедшего.

Роскошная комната никак не вязалась с обычным представлением о предбаннике, хотя бы и таком, какие строили себе иркутские тузы-богатеи — Сибиряковы, Мыльниковы, Голиковы. Ни в какое сравнение не мог идти и предбанник, который разделал в своей бане по возвращении с американского материка Григорий Иванович Шелихов.

— Курятник! — вслух назвал свою баню Шелихов.

— Свет ты мой, гостюшко долгожданный, Григорий Иваныч! — завопил хозяин, поднимаясь во весь рост со скамьи и кидаясь навстречу гостю в том, в чем мать родила. Камчатная простыня, облекавшая его дородное волосатое тело, осталась на полу.

— Нас курятниками называешь? Прошибаешься, драгоценный, прошибаешься! Пост нонче, и курятиной не балуюсь, да и этих антихристов до молодок не допущаю... хрестьянские, чать, души девки-то — за них я, господин, в ответе, а песни... песню, сам знаешь, больше жизни люблю! — говорил он, прижимая гостя к голъй и влажной еще, мохнатой груди.

Гость и хозяин трижды, истово крестом обнялись и расцеловались.

— Афродитка, подай, дура, простыню! — спохватился Гаврила Романович, только сейчас заметив чрезмерное обнажение свое и возбужденное этим дикое веселье банных companions:ов.

Два шерстистых тучных тела, сбросив облекавшие их простыни, в неистовых судорогах, хохоча, корчились на скамьях. Икота и урчание, прерывавшиеся какими-то цокающими выкриками, колыхали чудовищные чрева. Оливковая кожа одного из них была покрыта, как насечкою, бесчисленными шрамами.

— Будет, Ламбра! Симон, довольно! Чему обрадовались, курятники, голого афедрона не видали, гречские губки! — ворчал Гаврила Романович, подставляя плечи накидывавшей на него простыню Афродитке.

Неподобающий образ господина ничем не отразился в голубых глазах красавицы, не изменивших своей стеклянной безмятежности, а господин не понимал стыда перед работою.

— Ну, вы, нимфы ржанные, в девичью ступайте! За песни спасибо, замуж попроситесь — сватом буду... А вы, судари, довольно коряжиться, платье надевайте да идите встречу гостям, мы тут с Григорием Ивановичем с дороги разберемся... Скидывай, Григорий Иванович, платишко... Пока париться будешь, расскажи, за каким делом прибыл, — деловито произнес Гаврила Романович, опять сбрасывая простыню и направляясь, как добрый банщик, в парную поддать жару в каменку.

Молодки исчезли, как растаяли. Во мгновение ока сбросив платье, но оставшись из вежливости в широких портах, мелко крестясь, Шелихов открыл дверь в первое банное отделение.

— Сюда, ко мне, на Олимп взбирайся, Григорий Иванович! — кричал откуда-то сверху Державин, скрытый в облаках жгучего пара.

— Иду, иду, хозяин заботливый, — в тон ему отвечал Шелихов, нахлобучивая на голову одну из веревочных скuffеек, валявшихся у кадки с холодной водой. — Ох, и баня у тебя, Гаврила Романыч, истинно господская баня! Только... вылазка где из нее?

— Какая такая вылазка?

— Да на улицу, в снежок... обкататься и смыться чтоб...

— Христос с тобой, Григорий Иванович, это в деревне мужики наши дикие боятся водою баню затопить, в снег смываться скачут, а мы... у нас бани восточные... турецкие, пару и воды для смывания сколько хошь... Ну, ложись, ложись, вытягивайся, я тебя сейчас березовым намыленным похлещу, а ты рассказывай, ехал как, видел чего, в Петербург зачем пожаловал... Э-эх, ожгу! — лихо вскрикнул Гаврила Романович, движением заправского банщика покрывая о конца веника широкую грудь морехода душистой щелочной пеной.

2

Жмурясь от удовольствия, распуская в ароматном тепле задубевшие мускулы, Шелихов неторопливо разматывал повесть о своем путешествии на протяжении нескольких тысяч верст, через таежную глухомань, через могучие, не знающие мостов реки, мимо станов лихих людей, открыто привалившихся к самой дороге.

— Прошедшего года из Иркутского, в ноябре месяце, как установилась санная дорога, в самое полнолуние, выехал я, Гаврила Романыч, только-только мороз-воевода на речки наши мосты навел. Компанейцы мои за правами и привилеями для новой Аляксинской, мной складенной компании американской вырядили, а Наталья Алексеевна...

— Воображеньем не охвачу, какой королевой стала на спокойной жизни после плаванья к диким алеутам хозяйюшка твоя Наталья Алексеевна! — любезно отозвался хозяин, обжигая гостя хлесткими ударами веника. Державин никогда в жизни не встречался с Натальей Алексеевной, но хорошо помнил восторженные отзывы морехода об уме и красоте жены и ее участии в отважном путешествии.

— Благодарствую на добром, Гаврила Романыч, она тоже вас не забывает. Низкий поклон передавать наказывала и препоручила просить помощи вашей, домишко со всем обзаведеньем для дочки нашей стар-

шей, для Аннушки, в Петербурге благоприобрести... Выдали мы Анюту с божьей помощью за хорошего человека, за господина Резанова, Николая Петровича. Папаша господина Резанова при губернаторе и колыванском наместнике, Иване Алферьевиче Пиле, председателем совестного суда состоит.... Государственного разума и светлой души человек Николай Петрович!

— Как же, знаю господина Резанова! Племянником внучатым приходится президенту коммерц-коллегии Воронцову графу, Александру Романычу, и при моей канцелярии по сенатским мемориям правителем состоял... Проветриться в Сибирь послали господина Резанова от заумия Гельвециева и Гольбахова — набрался от безбожников, в Париже проживаючи... Недаром я заграницы эти терпеть не могу, — русский человек должен дома сидеть!..

— Письмо к графу Воронцову по делам нашим аляксинским от Николая Петровича привез, но не сказал мне зятюшка, что к дяденьке пишет, не любит он родовитостью бахвалиться.

— Уж он таков, совсем как я, господин Резанов... Душевно за тебя радуюсь, Григорий Иванович, немалую подпору в делах своих заимел ты! В Петербурге Резанова все знают....

— Скажи на милость, никогда о сем не проговаривался Николай Петрович! — скорее для себя, а не для хозяина, бормотал Шелихов. — Не разумею, чему и радоваться боле, Гаврила Романыч: то ли тому, что дочке бог такого мужа послал, то ли что мне, купчишке серому, дружбу-доверье и поученье от него... До встречи с Николаем Петровичем я и сам громадности дела своего на земле американской не видел. Ведь рублем допреж, одними деньгами я мерил талант и страдания свои и людей...

Ободренный вниманием, с каким Гаврила Романович слушал его нехитрый рассказ, Шелихов вскочил с полка и живо продолжал:

— С великого почина Ермака Тимофеича, вот уж двести лет, претерпевая несказанные муки, какие и наибольшим героям древним не снились, пробивается

Русь на восход солнца, в индийскую землю свободную, где свободный землепашец купцу своб...

— Тс-с! Тс-с! Окстись, Григорий, куда* тебя понесло! — зашипел на разошедшегося гостя доселе добродушный хозяин, уронив в изумлении веник. — Тс-с! В петербургских банях, репова ты голова, опричь грибов и уши растут... У меня, конечно, нечисти такой не заведено, но я сам акафистов эти-их... сказок ма-сснских не люблю. Пугачевым Емелькой от них попадает, с Радищева попугайничаешь... Кабы я да не знал тебя...

— А что ж Радишев? — твердо встретил ислуганную тираду хозяина сибирский гость. — Поболее бы дворян таких в отечестве нашем было, не давилась бы Русь мякиной, не изгалялись бы над пахарем-кормильцем недоросли поместные. Процветали бы, множа силу престола, торговля, мануфактуры, рукомесла... А знаешь ли, Гаврила Романыч, — с внезапной откровенной решимостью сказал Шелихов, глядя в глаза Державину, — хоть и барин ты великий и царедворец знаменитый, а доверие к тебе имею — скажу: я, своей персоной, видел господина Радищева и говорить с ним удостоился...

— И где ж ты на пень чертов наскочил, непутевая голова? Каков он теперь, Григорий Иванович? — забывая о только что сделанном предупреждении, живо отозвался Державин.

Шелихов возбужденно и простодушно, невольно выдавая ранее недоговариваемое, рассказал об обстоятельствах своей первой встречи с Радищевым в Иркутске, но о поездке в Илимск и выпадах Радищева против американского рабовладения и русских порядков все же умолчал.

Державин только кряхтел и выжидающе молчал. Когда-то он пользовался славой обличителя вельмож и не раз возглавлял по службе расследования различных злоупотреблений и бесчисленных темных проделок погрязшей в стяжательстве дворянской верхушки. А теперь, видно, был не тот.

— Я упредил тебя, Гаврила Романыч, что по доверию рассказываю? — спросил Шелихов и, тяготясь

выжидательным молчанием хозяина, уже неохотно, каким-то упавшим голосом продолжал свой рассказ: — Господин Радишев, чуть выпустил я из лапш своего работного, сделал вид, что ничего не заметил и даже с приятностью мне сказал: «Слышал про вас, мужественный мореход, много наслышан был еще за границей и в Петербурге о плаваниях ваших с супругой верною, истинной дочерью народа русского». Это он, господин Радишев-то, про Наталью Алексеевну молвил. Опосля того много мне вопросов ставил, а я рассказывал ему, как мы с Натальей Алексеевной да с горстью промысленных от тысяч копьев алеутов мохнатых на острове Кадьяке поначалу отбивались, а потом дружбу и согласие с ними нашли. Как из двухлетнего плавания в Иркутск повернули и как на пути в Якутск чудом спаслись, две недели в пургу под снегом отсиживались, собак едва не всех поели и до ближнего якутского наслег сибирских верст с двести, немалых, с Наташенькой — а она сына еще новорожденного несла — еле ноги волокли. Рассказал я ему и про землю американскую, про вольных красных жителей, ее обитающих, про нравы их простодушные, обычаи, а потом и про замыслы свои и моего зятя господина Резанова... Господин Радишев одобрил наше дело. «Великие перспективы открыли вы, государь мой и достойный соотечественник, державе российской на американской земле, — отвечал мне господин Радишев. — Да обратятся они на пользу многострадальной родине и народу нашему и на благо и просвещение простодушных краснокожих... За них вы перед богом в ответе!»

Осмелевши после этих слов, я позволил себе спросить, за что он пострадал и каковы намерения имеет на будущую жизнь. Рассказал, какие в остроге на Илеме люди живут, темные и дикие, как болезни камланьем шамановым изгоняют, в избе черной слепнут... «Знаю, друг мой, все это знаю и хорошо представляю, но не уповаю долго прожить в сем мире!» — ответил господин Радишев и тут же, достав из кармана мемориальную книжицу, начертал и подарил мне вирш чувствительный, который я наизусть затвердил,

да письмо дал французское, графу Воронцову передать.

— Ну-ну, скажи, Григорий Иванович, вирш! — с живым любопытством откликнулся Державин, молча слушавший взволнованную повесть сибирского богатыря.

Шелихов вскинул голову и начал, запинаясь и нажимая на слова «не скот, не дерево...»

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду...

Стихи, в которых Радищев, осужденный Екатериной на «казнение вечное», прощался с миром живых людей, Шелихов прочел каким-то особенным, хрипатым от душевного волнения голосом.

— Гладкой стих, чувствительный, — отозвался. Державин после минутного молчания, — только... разномысленный и... ты забудь его. Не вспоминай ни стиха сего, ни тем паче сочинителя... для ради Натальи Алексеевны, коли истинно любишь ее. Письмо в огонь брось и встречу позабудь, во сне про нее не обмолвись, Григорий Иванович, как друг истинный тебе говорю и заказываю. Я от тебя ничего не слышал и про встречу и письмо знать не знаю... Понял? — серьезно, без улыбки, закончил наставление Гаврила Романович. — Сполоснись теперь, да пошли облачаться в ризы пиршественные! Чать, гости к корыту моему съезжаться начали, — продолжал он, заметив тень, набежавшую на выразительное лицо Шелихова.

— Уволь, Гаврила Романыч, от ужина, я... в буфетной закушу, разморила меня баня, — стал отказываться Шелихов от чести быть в обществе столичных гостей Державина, в которых после разговора с самим хозяином догадывался встретить людей, далеких и враждебных лучшим и сокровеннейшим замыслам своей души.

— Не могли и говорить такое, Григорий Иванович! Как раз случай и дела твои двинуть, за которыми ты неспроста ж шесть тысяч верст проскакал, — решительно оборвал несвязные возражения гостя Державин, предвкушая эффект появления Шелихова за своим столом. Пусть петербургские неженки увидят да послушают Колумба русского, приобщившего империю российскую к участию в судьбах Нового Света.

В предбаннике, продолжая прерванный разговор, Державин, как истый царедворец, осведомленный во всех хитросплетениях придворных дел и настроений, уверенно вводил своего сибирского друга в политический курс столичной жизни.

— Осенью французские беспортошники, — рассказывал он, — санкулотами и якобинцами прозываемые, нахлебавшись Вольтеровой и Дидеротовой ухи, — а из того корыта и Радищев твой, крови не боясь, ума набирался, — презрев законы божеские и человеческие, заарештовали и засадили безвыходно в Тюильрийском дворце короля своего, богом данного Людовика шестнадцатого, а с ним и жену его Марию-Антуанетту и сестру мадам Лизавету и добрых дворян, из придворных множество, сколько изловить могли... Государыня-матушка спать одна боится. Велено флигель-адъютанту, графу Зубову, Платону Александровичу, — он все теперь у нас, — при ее особе неотлучно быть и камерюнгфере Перекусихиной, пробошнице чертовой, Марье Саввишне, в той же комнате на полу стлаться. Каждый день курьеры тайные, — первые сейчас они люди, — от нас и до нас из-за границы шмыгают, письма привозят да сумки кожаные, с имперIALами, увозят... Сейчас насчет деклараций разных и прав этих.. человека — у нас строго! Одно право человекам оставлено: почитать и выполнять волю господина своего... Вот и ожел бялы¹ — Речь Посполитая, Польша, соседка беспокойная, — вороной на войну каркает. Забыла шляхта гоноровая благоденствия, коими осыпала царица-матушка круля ихнего,

¹ Намек на белого орла, олицетворяющего государственный герб Польши.

Станислава Понятовского... Петушится шляхта сверх дозволенного, с беспортошными французами в дружбу вошла. Объявился у них некий ерш-енерал, Фадей Костюшка¹ по прозванию, «не позволяю» кричит на князя Миколу Репнина...² Ну, да с ними разговор короткий, подавятся они костюшкой своей, — не удержался от возможности поиграть словами Державин, — накроет их Суворов, Александр Васильевич, мокрым полотенцем, повыдергает орлу белому перышки из хвоста — и фьюить!

— А у нас, в Сибири, — вставил свое слово Шелихов, — посланные поляки вольно живут, наши купцы к большим делам их приставляют, жалеют и родниться, бывает, не брезгают... В Сибири, Гаврила Романых, нет такого, чтоб обижать людей, которые за волю, за права свои, за человечество стояли, так уж с Ермаковых времен повелось у нас, Гаврила Романых, мы...

— Мы да вы, у вас, у нас! — раздраженно вдруг перебил Державин. — Ты за столом, Григорий Иванович, поостерегись — у меня разные людишки на даровую хлеб-соль собираются, и есть между них скоты опаснейшие, вроде Альчесты... грека того черного, что я из предбанника, как ты взошел, выгнал, — не вздумай перед ними за столом «мыкать». У нас мыкальщиков не жалуют, у нас мычащие сейчас в почете... Прошу тебя, дружбы ради, не входи в рассуждение по материям, до торговли и звания твоего не касаемым... Ты вот лучше скажи, за каким случаем прибыл, а я тебе куда надо и до кого надо нитку-линию в руки дам, — сказал, позолотив преподнесенную самолюбивому мореходу петербургскую пилюлю, поэт-царедворец.

Шелихов заколебался. Минутой перед тем он твердо решил отказаться от выхода к ужину, но послед-

¹ Выдающийся патриот и борец за независимость Польши против завоевательных устремлений Екатерины II и Пруссии. Державину Костюшко представлялся бунтовщиком.

² Тогдашний русский резидент в Варшаве, подготовлявший третий и окончательный раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией.

ние слова Гаврилы Романовича о «нитке-линии» пробудили в нем никогда не умирающее в душе каждого добытчика и землепроходца желание поймать «улыбку фортуны», не упустить случая к успеху. Дела компании, развернувшиеся на севере американского материка и на его далеких, суровых островах, находились под угрозой. Шелихов знал, что если он в эту поездку не добьется на ближайшие годы государственной поддержки и покровительства, его ждет не только позор неудачи, но и полное разорение. А слава Колумба русского, которой, верил он, окружают в грядущем его имя потомки? А высокие замыслы о павшем на его долю вывершении великого дела Ермака — устройении на найденных землях новой Руси, могучей, счастливой и свободной от дворян-волков и приказных хорьков-ярыжек?.. Этих злых подобию человеческих не знают вслывшие граждане Нового Света, между ними и пепелищами дедовских хижин в душной Европе лежит могучий океан.

Такое понимание жизни века и своего места в этом веке сложилось у Шелихова постепенно из обширного опыта и наблюдений, вынесенных со всех ступеней пути, пока он подымался к богатству и славе.

Шелихов был тщеславен и самонадеян. Но он никогда не забывал той страшной минуты, в которую осиротевшим подростком-несмышленищем, оставив родную свою матушку бездыханно распростертой у подножия чудотворной иконы Рыльской божьей матери, покинул родительский дом. И это было как раз в то время, когда ярыжки приказные выставили на торговую казнь и глумились над его отцом, Иваном Григорьевичем, раставив нажитое семьей добро. «Иди, Григорий, не малодушествуй, — воюй фортуны себе и людям! — вспомнив прошлое, скрипнул зубами мореход. — Акулы в море не съели, человеки на земле и подавно тобою подавятся».

— Ладно уж, Гаврила Романыч, вы и мертвого подымете за жизнь воевать, — отозвался Шелихов на воркотню Державина. — Подымем грот¹ и пойдем

¹ Главная мачта парусного корабля.

через камни моря столичного! — гроыхнул он нарочито густым голосом, вызвавшим довольную улыбку на лице хозяина.

Подходя к столовой, хозяин и гость услышали доносившиеся из нее удивительные по звучанию голоса роговой музыки. Гаврила Романович гордился и славился своим небольшим, но ладным хором «рогачей». В мягких, грудных, баритонального тембра звуках трепетал, как крик оленя в весеннем лесу, один из модных тогда менуэтов Люлли, перекочевавших из Версаля в барские дома Северной Пальмиры. Дворянская верхушка России сохраняла непоколебленной верность и преклонение перед всем, что исходило от двора Людовика XVI, подталкиваемого в то время в далеком Париже неумолимым роком к гильотине...

— Ба, Амфитрион взошел! С легким паром! — приветствовали хозяина, перекрывая музыку, заждавшиеся гости.

Старые и молодые без всякого стеснения наставили лорнеты на стоявшего рядом с ним крепыша-сибиряка. О нем грек Симон Альтести, выпровоженный Державиным из бани, уже успел порассказать нивесть каких небылиц и чудес.

Симон Альтести, типичный авантюрист восемнадцатого века, содержал в Константинополе «веселый дом» и прикрывал им темную профессию шпиона и продавца тайн Высокого дивана¹ разлагавшейся Порты. Какими путями он проникал к этим тайнам, известно было только ему одному. Русский посол в Турции Яков Иванович Булгаков, постоянный покупатель его двоякого товара, высоко ценил редкие даже для Стамбула способности прохвоста и, выезжая в Россию, вывез и Альтести. Здесь Альтести, натасканный в подлостях, сумел в короткое время стать правой рукой некоронованного владыки, последнего фаворита престарелой Фелицы, графа Платона Зубова. Участие грека в делах Зубова было настолько значительно, а проявления его наглости так памятны, что одной из первых мер императора Павла по восшествии на престол была

¹ Совет министров тогдашней Турции.

высылка любимца ненавистного ему Зубова в самую страшную глушь Сибири, где Альтести безвестно и исчез.

— Сложен, как Геркулес, а уж богат... Не уступит председателю российской коммерц-коллегии! — намекал Альтести на кресло президента российской коммерц-коллегии графа Александра Романовича Воронцова. И гости, прекрасно знавшие стремление семейства Зубовых прибрать к своим рукам коммерц-коллегию, понимающе улыбались.

— Нимфы Гаврилы Романовича, — продолжал остро словить константинопольский пройдоха, с необыкновенной быстротой поворачивая во все стороны свою маленькую, как у черепахи, голую, покрытую каплями жирного пота голову (Альтести с дозволения высокого покровителя не носил обязательного в высшем свете парика), — нимфы сей парнасской обители, как увидели такого красавца, так и кинулись вести его в баню... Кабы не я с Ламбро, не пришлось бы вам, сударыни мои, увидеть этого ироя дивного в бодрости и свежести, на совершение приятнейшего для вас подвига Геркулесова самой натурой приспособленного.

Ламбро Качиони, один из опаснейших скотов, званно и незванно толкавшихся под неразборчивой кровлей хлебосольного державинского дома, в прошлом был тайным агентом Потемкина, имел поручение поднять восстание греков против Турции и вести партизанскую морскую войну на Эгейских и Ионических островах. Растратив и присвоив отпущенные на это огромные суммы, он пошел на предательство и двойную игру, но, не избалованный в этом, сумел приблизиться ко двору и стал играть при нем роль «доктора». Тучный, как воловий бурдюк с валашским вином, этот старый морской пират кивал головой на каждое слово бойкого друга. Игра на двусмысленностях приходилась по вкусу большинству гостей певца Фелицы, не исключая и дам.

Ламбро был надут спесью. Цепочка Альтести — Зубов — Марья Саввишна Перекусихина, больше верившая в знахаря и колдовскую силу, чем в англий-

ского доктора своей повелительницы, привела Ламбро в Аладинову пещеру, к неисчерпаемому источнику полновесных русских червонцев — таинственным болезням матушки-царицы. Ламбро вызвался исцелить загадочный недуг северной Семирамиды¹ травами, открытыми ему якобы святой жизни схимником Савватием на Афон-горе. Призванный пред очи царицы, Ламбро скинул со своих плеч баранью безрукавку и, задрав без малейшего смущенья не первой свежести сорочку, показал повелительнице тридцати миллионов россиян свои страшные, глубокие шрамы на спине и на могучей груди, покрытой седой шерстью.

— Только через них, через травы эти, жизнь берег и пред тобой, автократорная², стою, чтобы тебя спасти...

Екатерина поверила заживленным шрамам пирата, и Ламбро стал важной персоной в петербургском свете.

3

— Сударыни! Господа кавалеры! — торжественно провозгласил Державин, идя к столу под руку с гостем и обводя веселыми глазами присутствующих. — Дозвольте представить вам и передать вашей благосклонности давнего моего и почтенного друга, иркутского первой гильдии негоцианта и истинного Колумба русского Григория Ивановича Шелихова... В состязании с первейшими мореплавателями Лондона, Амстердама, Лиссабона и Мадрида он превознес славу имени русского и утвердил герб и права нашей державы в Новом Свете, где и капитан Кук не отважился сойти с корабля на твердую землю...

На низкий купеческий троекратный поклон Шелихова на три стороны державинские гости отвечали кивком головы, в меру собственного ранга и положения в обществе. Лорд Уитворт, английский посланник

¹ Знаменитая вавилонская царица, с которой сравнивали Екатерину.

² Самодержица.

при русском дворе, прекрасно владевший русским языком, отлично понял, кому прежде всего предназначается сказанное Державиным. Он равнодушно свернул свой лорнет и надменно, во всеуслышание, ни к кому в отдельности не обращаясь, процедил сквозь зубы:

— *Si non è vero, è ben trovato...*¹ Джемс Кук десять лет назад развернул английский флаг там, куда нечаянно забрался этот *bold bootwain*². В Новом Свете русским делать нечего!..

Державин тоже понял, что его парфянская стрела попала в цель, и, как ни в чем не бывало, продолжал с наигранным простодушием:

— Садитесь, гости дорогие, без чинов и ряженья, кому с кем любо вместе быть... Ольга Александровна, матушка, позвольте под ваше начало сего молодца поставить! — подтолкнул он Шелихова к выделявшейся внешней миловидностью и обилием украшавших ее бриллиантов сестре графа Зубова Ольге Александровне Жеребцовой, за креслом которой стоял тяжелый и грузный лорд Уитворт. — Иди, приладься к ней, Григорий Иванович, — тихо шепнул он на ухо Шелихову, — в ее руках удача твоя...

Каждый раз приглашая гостей садиться где кто вздумает, Державин с необыкновенной легкостью и искусством сумел собрать вокруг себя во главе стола всех особ, расположением и вниманием коих особенно дорожил.

— Ох, и ловок же Гаврюша, недаром далеко пошел, — не преминул отметить светскую ловкость хозяина старый его друг Денис Иванович Фонвизин, прикативший на огонек любезных ему в доме Державина вечеров.

Близкий к смерти, Фонвизин едва уже передвигал свое разбитое параличом тело.

— И где он богатыря этакого раскопал? — продолжал Фонвизин голосом хриплым и резким, обратившись к соседу — молодому, скромному гвардии

¹ Если и не верно сказал, то хорошо соврал (итал. пословица).

² Бравый шкипер (англ.).

капитану Ивану Ивановичу Дмитриеву, успевшему прославиться своей песней «Стонет сизый голубочек», недавно только напечатанной в «Московском журнале» Карамзина. — Я как раз намерен, — продолжал Фонвизин, не ожидая ответа, — прочитал предивную книжицу о нем, не знаю, кем написанную, — «Странствование российского купца Григория Шелихова в 1783 году», с чертежами географическими и изображением самого морехода...¹ В натуре, вижу, он куда лучше, Синбад² морей гиперборейских!.. Жаль, одна только первая часть издана, второй, боюсь, не приведется прочесть, смерть не даст надальше отсрочки, — грустно проговорил Денис Фонвизин.

— А и чем, Аристарх, кормишь-поишь нас сегодня? — обратился Гаврила Романович к стоявшему с каменным, бесстрастным лицом за его стулом дворецкому. — Так... Распишьте столовому кушанью, — начал читать Державин вслух для гостей, чтобы каждый мог управлять своим аппетитом и ограниченной самой природой вместимостью желудка, — месяца февраля, в день пятнадцатый, в навечерии, в восьмом часу...

— Давно девять пробило, Гаврила Романович, — бесцеремонно перебил его сидевший за столом Альчести.

— Не доверяй курантам жизни своей, господин Альчести! — недовольно отозвался Гаврила Романович. — В восьмом часу!.. Так... Коврыга монастырская, калачи хомутинные, сельди соловецкие, икра астраханская, тулова ершковые в студне, звено белуги ставное, свежее... водка хлебная, да сухарная, да рябиновая, да анисовая, да мятная, да калуферная, да бонбарисовая... Добро, добро! Пироги подовые московские да уха стерляжья, из живых... рябцы и тетерки дикие... спаржа голландская, гретая... вина французские и рейнские... поросенок молочный, тамбовский,

¹ Собственноручное описание Шелиховым своего первого плавания на Алеутские острова и к берегам северо-западной Америки. Издано Сопиковым в 1791 г.; 2-е изд. 1812 г. Переведено на немецкий и английский языки.

² Герой одной сказки из «Тысячи и одной ночи».

с хреном... Лапша кудрявая в меду литовском... так!.. бланмажея сливочная, клеевая... Добро, Архипушка, на славу накормить вознамерился... Начнем, в добрый час, гости дорогие! И первую здравицу возгласить хочу за матушку нашу, человечества благодетельницу, преславную государыню... Ур-ра!

Подстерегавший здравицу хор роговой музыки на антресолях, под потолком столовой, мгновенно откликнулся бурным тушем. Гости разноголосым «ура» заглушали музыку.

После жаркого в сопровождении множества вин Ольга Александровна Жеребцова, рожденная Зубова, уже немилосердно надавливала под столом каблучком красной, золотом расшитой туфли сапог Шелихова. Возбужденная вином и мощью своего красавца кавалера, она пыталась разогреть его спокойную простоту и, как она думала, робкую застенчивость бесчисленными бокалами водок и вин, которые он, по ее настоянию, осушал один за другим, не обнаруживая и малейших признаков опьянения. Такая способность к поглощению вина, какой она, несмотря на свой большой жизненный опыт, никогда еще не видела, окончательно покорила ее сердце: поистине Геркулесовы подвиги может творить сей сибирский мореходец.

— Расскажите из страшных самое страшное свое приключение, Григорий Иванович, — взволнованно просила она, хватая его то за руки, то за отвороты поддевки и не обращая никакого внимания на презрительные гримасы сидевшего напротив лорда Уитворта, общепризнанного и давнего ее друга. — Самое страшное, чтобы... кровь была, смерть... женщина...

— Не было такого у меня, Ольга Александровна. Не лил я крови беззащитных... от страха смерти бог миловал...

Скромное упорство Шелихова в глазах Ольги Александровны предстало как что-то такое новое и обаятельное, в сравнении с чем отступили все, кто пользовался до того времени ее мимолетной благосклонностью. Жеребцова неожиданно вскочила на стул и, придерживаясь рукой за кудрявую голову соседа, закричала Державину:

— Гаврила Романыч, я и гости ваши чрезвычайно заинтересованы узнать, как воевал *notre vaillant compatriote, glorieux navigateur... chevalier*¹ Шелихов, — она вызывающе подчеркнула слово «шевалье». — Какие чудеса видал...

— О là-là! — пренебрежительно отозвался лорд Уитворт с чисто британской грубостью. — *Comme c'est facile chez vous autres russes d'être tiré de son néant et de devenir un gentilhomme... en se cramponnant à la jupe d'une noble dame*².

— Too much drunk, mylord!³ — нарочито по-английски отозвалась Жеребцова на чрезмерно вольную реплику своего старого друга и продолжала как ни в чем не бывало: — Как народы тамошние живут и правда ли, что они одних англиченцев любят и ласково встречают? Я сколько прошу, а кавалер мой нелюбезный не хочет... Неужели и вас не послушает?

Шелихов не понимал французского языка и глядел на надувшегося, как сердитый индюк, англичанина с чистосердечным простодушием. Однако лица застольных гостей Гаврилы Романовича и выражение лица самого хозяина, с которыми они встретили обмен репликами между Уитвортом и Жеребцовой, заставили его насторожиться и почувствовать в словах англичанина вызов, направленный именно ему, Шелихову.

Окинув расшитую золотом фигуру англичанина равнодушным взглядом, Григорий Иванович инстинктивно нашёл победоносный выход из положения.

— Дозвольте, ваше сиятельство, за здравие ваше и ласку в особицу выпить! — поднял он и подвинул свой бокал к Жеребцовой.

«О, да ты совсем не такой простак!» — прочел Шелихов в несколько удивленном, но милостивом взоре своей дамы, которым она приняла его стоящий самых острых слов ответ Уитворту. Кривая, натянутая

¹ Наш славный соотечественник, прославленный мореплаватель... кавалер (франц.).

² О ла-ла! Как легко среди русских перешагнуть свое происхождение и влезть в дворянство, уцепившись за юбку знатной дамы (франц!).

³ Вы перепили, милорд! (англ.)

усмешка англичанина подтверждала понесенное им неожиданное посрамление.

Державин, который нес обязанности личного секретаря при государыне-матушке, мгновенно почувствовал в только что происшедшем обмене «любезностей» едкое дыхание крупной ссоры. Любой каприз сестры графа Зубова имел силу закона для окружающего ее общества. Грубая выходка Уитворта касалась не только Жеребцовой, — она очень плохо будет принята и там, в верхах. Кроме того, Гаврила Романович не мог отказаться от удовольствия пережить впечатление, которое должен произвести рассказ Шелихова на его гостей и, в частности, на лорда Уитворта. Заносчивого англичанина нужно было чем-то побудить к большей сговорчивости в обуздании претензий Турции на Крым, что наполняло Державина, бывшего в курсе намерений высоких и высочайших персон, немалой заботой.

— Окажи нам, собравшимся здесь, Григорий Иванович, честь, расскажи что-нибудь из твоих странствований, коими держава российская обогащена землями Нового Света и множеством краснокожих жителей его, приведенных тобою на верное подданство государыне нашей... Лорду Уитворту — он думает, что русским делать нечего в Новом Свете, — очень любопытно будет услышать, что ты сотворил там, где прославленный Кук на землю боялся сойти... Господа кавалеры, повремените слушать звон бокалов! Зачинай, Григорий Иванович!..

Откинув движением головы запутанные Жеребцовой волосы, Шелихов — эх, была не была! — ровным былинным голосом начал свой рассказ.

— Как в Сибирь перебрался и с Китаем в Кяхте торговлю завел, начал я примечать, что богатеют едино те промышленные купцы — ловцы-добытчики, кои не боятся в океан ходить на добычу мягкой рухляди. Заимел я крепкую думу изменить судьбу, сыскать свою

путь-дорогу к фортуне... Тут случилось, что я в дружбу вошел с одним добрым купцом, Лебедевым-Ласточкиным, и с фамилией Голиковых, Иваном Ларионовичем и Михайлой Сергеечем. Сговорились во всем, разделились в паях: мой — один, добыткам — один, их восемь кусков — и снарядили в Охотском корабли с двадцатью фальконетами и единорогами двухфунтовыми и всяким запасом: «Три святителя», «Симеон-богоприимец и святая Анна-пророчица» и «Святой Михаил»...

Находясь в обществе знатных и высоко стоящих над купечеством людей, Шелихов счел необходимым рассказать о своих странствованиях и приключениях тем «высоким штилем», заимствованным из чтения книг, который, по его мнению, единственно соответствовал широте и размаху необыкновенной деятельности, наполнявшей жизнь русского Колумба.

— В августе тысяча семьсот восемьдесят третьего года вышли мы таким флотом, как некогда Колумб, открыватель Америки, в океан искать край земли. Со мной на «Трех святителях» находилась супруга моя Наталья Алексеевна... Дед ее, знаменитый мореплаватель Никифор Акинфиевич Трапезников, и дорогу мне туда открыл.

— О-о! Ишь ты! Вот это жена-а! — послышалось в разных концах стола. — Не захотела с индианками делиться...

Советник академического правления Осип Петрович Козодавлев, будущий министр внутренних дел, известный пока непристойными стихами и тем, что о нем шел слух, будто он во-время сумел преподнести Екатерине полученный по дружбе от Радищева первый экземпляр «Путешествия», заливался тонким, поросычьим визгом, прильнув ухом к Альтести, который нашептывал ему какие-то двусмысленности.

— Буря невиданная, чувством человеческим непостижная, — продолжал Шелихов голосом, прекратившим веселые замечания слушателей, — буря эта расшвыряла наши углые галиоты... С «Симеоном» сбежались мы через две недели при острове Уналашке, а «Святого Михаила», с зимы в поминание зане-

сеяного, в оказательство, каких токмо чудес на море не бывает, ровно через год целехоньким принесли к нам ветры морские на остров Уналашку... В мае восемьдесят четвертого года, когда мы стояли на добыче бобров, морских котов, сивучей и других зверей, довелось нам быть свидетелями чуднова дива — родов земных... Погодка тогда выпала тихая, туманная, и вдруг, чуем, дрожит наш корабль и океан под ним, как в трясовице, дышит, зыбью ходит. Смотрим — впереди туман багроветь стал, вроде пожар прикрывать, а потом как ухнет что-то, будто пушка какая, силы невиданной... да еще и еще!.. А следом — на палубу камешки, большие и малые. Взял в руки — горячие. А они сыпятся и сыпятся, какие в складки паруса попали — закурились, задымились паруса. Послал я на рен матрозов паруса спасать, а сам удивляюсь, ума к загадке не приложу. Наташенька рядом белее снега стоит, молится: «Святители-угодники, Николай-чудотворец, богоматерь Одигитрия, странствующих и плавающих заступница, спаси и помилуй!..» А впереди туман, то пламенем наливается, то тухнет. Будто пушка невидимая от раза к разу бухает, порохом-пылью горючей «Святителей» осыпает, а мы с места сойти не можем, ветра нет... Так ночь прошла, день, а там опять ночь и еще день. Все жили на палубе. Потом видим — целы, невредимы остаемся под покровом благостыни божьей. Человек, он таков — привыкать стали: дозорные стерегут, а мы спим, носом флейты выводим...

— Ну, ну, что же это такое было? Говори, не томи душу! — не выдержали слушатели эпического спокойствия рассказчика. Один лорд Уитворт не изменил маски скучающего равнодушия.

— На шестом дне колыхнул ветерок, стал туман разгонять, и как очистилась гладь морская, завидели мы на утренней заре, далеко перед собой, со дна, из глубины безмерной поднявшийся камень-зуб — новый неведомый остров... Из середины дым валит и хвостом на запад стелется, а с ним чрез каждое небольшое время столб огненный, с пушечным громом, к небу встает и снова падает в чрево земное. Не по дням,

а по часам, как в сказках бывает, на глазах вырастал дивный остров, и курила все меньше и тише, будто заспокаивалась после огненных родов, утроба земная. Через два года, в поворотном с американского материка плавании, видел я на нем и птиц морских и сивучей отдыхающих. Засек я место то, как только солнце в тумане нащупал: пятьдесят три градуса пятьдесят восемь минут северной широты и сто шестьдесят восемь градусов восточной должины!.. А назвали мы новорожденную твердь, как объявилась она православным в день святого Иоанна-богослова, Богословским островом. Под именем сим да вовек он и пребудет! — торжественно закончил мореход свой необыкновенный рассказ.

Вставший в середине рассказа во весь рост Шелихов сел и машинально выпил, не переводя духу, пододвинутый ему Жеребцовой огромный бокал вина.

— Про американский материк расскажи, про индейскую землю, о жителях ее! Что видел там? Сколько золота, алмазов вывез? Какой хлеб сеют, пашут чем? Каковы их князья, дворяне? — раздавались со всех сторон возгласы гостей, возбужденных необычным началом приключений сидящего среди них, если судить по одежде, такого обыкновенного, отнюдь не дворянской породы человека.

— Григорий Иванович... Гриш... — чуть слышно шептала ему, глядя затуманенным взором, обычно шумная, ничем и никого не стеснявшаяся Жеребцова. — Завтра к утреннему фриштыку о полудни ожидаю вас... Неотложно! — И внушающе добавила, заметив недоуменный и как будто растерянный взгляд Шелихова: — Братец мой, граф Платон Александрович, беспрерывно должен видеть и послушать вас... я его извещу... он только утром досуг имеет...

«Вот она, фортуна! Сама удача в руки идет!» — молнией мелькнула в начавшей тяжелеть голове Шелихова неясная, захватывающая дух мысль, чем-то связанная с обещанной ему Державиным «ниткой-линией». Природный ум и жизненный опыт подсказали

отважному добытчику и манеру и тон разговора в этом обществе.

— Благодарствую, Ольга Александровна, на милостивом приглашении. Токмо осмелюсь ли я пред его сиятельством, занятым государственным управлением, скучные купеческие сказки рассказывать да проистекшие из странствований во славу нашей державы убытки и нужды торговые пред ним выкладывать? — вполголоса вопросом ответил Шелихов, ловко подчеркнув этим собственную незначительность перед ослепляющей возможностью говорить со всемогущим верховником, который, несмотря на свою молодость, уже прославился алчностью и стяжательством. — И... милость вашу, благодетельница, тогда токмо принять решусь, — продолжал он с наигранным простодушием, — ежели позволите дары американской земли на выбор ваш доставить — бобров морских, лисиц чернобурых, песцов серебряных, из лучших лучшие.

— Дозволяю, Григорий Иванович, позволяю и даже сама спросить хотела, что из Нового Света нам привезли... на бедность, — охотно, с небрежной шутильностью и хохотком откликнулась Жеребцова. Она привыкла к таким приношениям. Они текли к ней отовсюду с тех пор, как государыня приблизила к себе братца Платошу.

Чуткий слух, зоркий взгляд и тонкое соображение в оценке любого момента разворачивавшихся вокруг него больших или малых событий, будь то на дворцовом паркете или на зашарканных полах присутственных мест, позволяли Гавриле Романовичу всегда вовремя и кстати принять в них участие.

— Не упускай, Григорий Иванович, нить драгоценную, держись пути своего в американские земли! — ободряюще обратился он к Шелихову. — Гости ждут услышать продолжение подвигов твоих...

В счастливо начавшейся игре Шелихов дерзнул поставить на кон — почему не поставить, ежели принимают! — все, что могло расположить к нему собравшихся за столом, рассказав о пережитых им опасностях и страданиях и о безмерном мужестве и выдержке его товарищей.

— Дождавшись, — говорил он, — попутного ветра, снялись «Святители» с «Симеоном» с якорей и пошли к Кадьяку-острову, где живет алеутское сильное племя, называемое конягами. Пятьдесят лет коняги эти не допускали доброй волей к себе на остров наших промышленных и иных каких европейских людей, а кто сошел, там и оставались, побитые костяными ножами и каменными топорами. Так уж повелось в тех местах: то приезжие над ними мстятся, всех — вплоть до детей малых — уничтожают, жгут бараборы ихние и добро, что попадая, забирают; то коняги, схитрившись, чужаков при первом случае всех до одного порежут... Нет, думаю, бесчеловечием, как пытались Соловьев и Натрубин, еще лет за двадцать до меня добравшиеся до Алеутских островов, над дикарством верха не возьмешь, древних и свободных владельцев земель этих голым железом к державе русской не приключишь...

— Святую истину говорите, мореход. Скотининых везде бьют! Простите, прервал вашу замечательную повесть, — заторопился стушевать свой хриплый выкрик Фонвизин, заметив, как все недовольно взглянули на него.

Но это фонвизинское замечание лишь ободрило Шелихова. С поклоном в сторону Фонвизина, на который тот ответил жалкой улыбкой деревенеющего в параличе лица, мореход продолжал:

— Из байдар, что окружили наши корабли, влезли на «Святителей» двое алеутов, подошли ко мне с робостью, начали носами о мой нос тереться, — дружбу, мол, хотим иметь. Через толмача нашего с Уналашки, Киквака, словами и знаками вошел я в разговор с ними, и меж нас легко согласие. Мы и запасы посвоили на берег и острожек возвести приступили. Коняги ничему не препятствовали, лишь оглядывали и щупали все, как дети малые... Стал я коняг выпрашивать, какие люди и как живут они на матерой земле. Но коняги говорили про них без охоты и с опаской: земли обширные, лесом покрытые, реки громадные, горы огнедышащие, вроде все на Камчатку нашу похоже, а люди злые, до крови жадные, к ним попадешь —

живым в огне сожгут, с головы врага волосья с кожей снимают, — кòлошами прозываются... «Один такой, говорят, калгой — рабом по-ихнему — с нами живет». Привели его ко мне. Вижу — не алеутской породы, других статей человек и ростом и поступью: грудь вперед, осанка гордая, нос что клюв орлиный... Выкупить его я восхотел, как он мне на дальнее дело нужный был, а алеуты, приметив мой интерес, цены не сложат. Знал про это индеец тот и что я с ним в родные места плыть собираюсь, — как пес до меня привязался, понимать мы скоро друг друга стали... Одново дня пришел он ко мне и дает понять, что на завтра в ночь, близко утренней зари, алеуты ближних и дальних островов побить нас сговорились — на добро наше зарятся, а «воот» мою — жену, значит, Наталью Алексеевну — тойон, начальник алеутский, Агильхагук в барабору, изба ихняя, к себе заберет — китовый жир ему топить... «Алеуты трусливы, — сказал он еще, — как выдры морские, ты истребишь их, а я с тобой в бою буду. Обо мне не проговорись и виду не подавай, что знаешь, а толмача своего Киквака убей — он тебя продал смерти... а еще лучше пошли его с чем подальше, я его накажу».

Послал я толмача Киквака звать домой промышленных с моря, а всех людей собрал думу думать. Мехов драгоценных у нас — богатющий промысел и торговля там были — тысяч на пятьсот, а то и более заготовлено, да запасы всякие, с кораблей перенесенные, лежали... И порешили мы, как один, положиться на милость и помощь божью, не переходить на корабли и дать алеутам для ихней же пользы и вразумления урок. Наталья Алексеевна тоже не захотела на корабль перебраться, сколь ни просил я ее...

Слушавшие недоверчиво переглянулись и пренебрежительно захмыкали пред таким проявлением духа женщины простого звания: они хорошо помнили, в каком страхе были их жены и дочери, когда Пугачев рушил помещичьи гнезда. Захваченный воспоминаниями, Шелихов замолк на мгновение, но, почувствовав недоверие и недоброжелательство этих камзольных щеголей и женщин в робах к своей жене, разумной

и ласковой Наталье Алексеевне, продолжал строгим, внушительным тоном:

— Через то и мне одно осталось — либо победу сыскать, либо смерть вместех встретить! Расставили мы наши фальконеты и единороги так, чтоб с углов острога наперекрест бить нападающих, а внутри разместили шесть единорогов на случай, ежели прорвутся какие алеуты. Запасные мушкеты и штуцеры приготовили, ножи охотничьи булатные, топоры широкие сибирские наточили... Караулы денно-нощные из людей, для виду занятых разной работой, расстановил я, где требовалось... И пришла та зорька под-ночи, которой вовек не забуду! На каждого, — а всего было нас сто тридцать душ, — шло по сту диких, яростных, черной краской войны и смерти раскрашенных... «Туку! Туку косяки — смерть казакам!» — так они русских прозывают, — кричат и через стены острога на головы наши сигают. Одного положишь — за ним десять вырастают... Вижу я: край надвинулся, не сдержать алеутов фузиями да топорами, закричал канонирам своим: «Фальконеты, единороги, пали! На картечь!»

В этом месте слова Шелихова прозвучали таким громовым раскатом, что головы некоторых присутствующих сами собой ушли в плечи и по спинам забежали мурашки. А Жеребцова в полном забвении впилась в пылающее лицо Шелихова восторженным взглядом. Как ничтожны были перед этим богатырем все известные ей люди!

— Вижу — наша берет! — поторопился мореход закончить рассказ. — Приказал не бить глупых на смерть. «Глуши, кричу, по затылкам обушками топов, оживут — за науку благодарить будут...» Только слышу крик, — как копьё, крик этот в сердце ударил, — она, Наталья Алексеевна, Наташенька моя, кричит, помощь призывает. Темно еще, плохо сквозь мглу предрассветную вижу. Снова крикнула, — кинулся я на голос, добегаю до бараборы нашей главной, вижу — алеуты тащат кого-то, в одеяло обволокнувши, а сбоку их старшой — Агильхагук — шагает, признал я его по росту, и вижу тут, откуда ни возмись, человек какой-то в алеутовой парке, как бабр лютый, поло-

сатый, в их кучу прыгает и топором крошить зачинает. Не успел я добежать, Агильхагук сзади человека этого меж плечей ножом ударил — пал мне под ноги бабр отважный, и я тут же развалил топором алеута мохнатого на полы... Остальные, кто жив остался, попадали лицом в землю, живота просят, а из одеяла Натшенька на грудь мою в слезах кинулась...

Закончив рассказ, Шелихов остановился и смущенно улыбнулся, как бы почувствовав вдруг неловкость, что занял у собравшихся так много времени.

Но едва он умолк, со всех сторон посыпались нетерпеливые вопросы:

— А кто же человек тот был, что жену вашу спас?

— Человек тот был калгой, — ответил Шелихов, — из племени кóлошей, Куч, славный атаутл, воин поихнему, из волчьего рода Канука, самого крепкого среди кóлошей, с горы святого Илии, что от острова Кадьяка лежит верст на триста к югу. Там теперь мы собираемся заложить первый город наш Славороссийск, с сильным управителем Барановым, из каргопольских залешан, Александром Андреевичем... Куча же я кóлошам не вернул, потому что не мог в тот раз до ихней родины добраться, он и прижился у нас, в Иркутское с нами поехал вместе с аманатами, коих я двадцать мальчиков и двух девчонков с собой вывез грамоте, счету, музыке обучить... Аманатов тех, обучивши, я в родные места на службу компании обращал, а Куч без нас, меня и Натальи Алексеевны, ехать не хотел... Я его с собой вот в Петербург взял показать, каких верноподданных держава русская в землях Нового Света занять может, да опасаясь, не кончилась бы бедой подорожная наша...

— На охотника и зверь бежит — на долю морехода все новые авантюры выпадают, — пошутил кто-то из гостей.

Гаврила же Романович Державин, любивший громы и водопады не только в поэзии, по достоинству оценил высокий стиль повести морехода, пренебрегая обильным в ней просторечием, которым и сам в поэтическом языке пользовался. Завтра об его вечере

будет говорить весь высокий Петербург. Кто знает, может быть, сама государыня-матушка спросит его с милостивой улыбкой: «Каким это монстром, со всех сторон слышу, Гаврила Романыч, угощал ты намерен гостей своих?» Вспоминая тут же пьяную выходку Уитворта, Державин мысленно готовил нужный ответ... Бабье лицо расплылось в широкой улыбке, как будто он сам был героем удивительных приключений своего друга и гостя.

И как раз в это время дворецкий Аристарх, которому передали что-то из толпы дворцовых людей,глазевших из-за дверей на господский пир, почтительно склонился над ухом Державина и стал тому шептать. До слуха сидевших долетело несколько отрывочных фраз:

— «Смерть вижу, — говорит краснорожий, — позовите хозяина моего Шелиха». Понятно так, по-нашему говорит... Умираю, мол, скажите... А потом перья на себя натянул и по-своему, как причитание какое, зашел и сейчас пронзительно поет....

Досадливо морщась, Державин глядел на насторожившегося Шелихова. Мореход, захваченный воспоминаниями о пережитых опасностях, только сейчас, к стыду своему, вспомнил о верном Куче, отправленном по приезду в людскую и так легкомысленно забытом.

— Григорий Иваныч, — отозвался Державин на вопросительно ожидающий взгляд морехода, — там... краснокожий, слуга твой, к себе тебя кличет...

Шелихов вскочил, уронив стул, и, не оглянувшись, кинулся к дверям.

— Мишка, проводи Григория Иваныча в людскую, заблукает в потемках по переходам нашим, — сказал Державин, направляя вслед Шелихову шустрого казачка. — Карты нет при нем, и звезд, слава богу, через пстолок в доме еще не видно, — шутил Гаврила Романович, стараясь шуткой сгладить неприятный конец удавшегося вечера.

— И мы, Гаврила Романыч, и мы пойдем! — шумно поднялись со всех сторон подвыпившие гости. — Интересно поглядеть на чудо заморское — красного

человека волчьего рода... Cavaliers, engagez vos dames¹, — весело гуторила хмельная ватага. Ее радужному хозяину и пришлось возглавить по долгу гостеприимства. Впрочем, Гаврила Романович и сам любопытствовал взглянуть на пока еще живого американского жителя.

Глава третья

1

Расторопный Аристарх, с несколькими дворовыми, несшими в высоко поднятых руках тяжелые многосвечные канделябры, оказался впереди гостей. Через бесконечный лабиринт больших и малых коридоров и сенец, подымаясь то вверх, то вниз, с шутками, смехом, притворно испуганными вскриками дам, шумная толпа державинских знатных гостей, из которых многие несли бокалы и кубки с вином, как будто устремляясь навстречу приятному и веселому зрелищу, добралась до расположенной в дворовом флигеле обширной и, надо отдать справедливость дворовым людям, чистой и прибранной людской.

В глубине комнаты с пристенными скамьями и белыми, выскобленными до блеска столами, на кровати людской стряпухи Степаниды сидел необычайного вида и наряда человек. На нем была длинная, ниже живота, рубаха птичьего пуха с кровавым расплывшимся на груди огромным пятном, уже засохшим по краям. На голове с иссиня-черными волосами, заплетенными в мелкие косички, высился убор из стоячих орлиных перьев. Перья эти были прикреплены к спадавшему с затылка на спину пушистому волчьему хвосту. Ноги облегали кожаные, отороченные по бокам красной тесьмой штаны, заправленные в сапоги из оленьего меха. Кожаный опорожненный мешок, предназначенный для убора, валялся в ногах.

Человек сидел прямо, как струна, уставив взор черных блестящих глаз куда-то вперед, словно не

¹ Кавалеры, приглашайте своих дам (франц.).

замечая окруживших его людей и даже Шелихова, стоявшего рядом с выражением неподдельного горя. Черты коричнево-красного лица американца казались высеченными из камня, и только в крыльях ноздрей орлиного носа, придававшего всему его облику гордое и дикое выражение, трепетала жизнь.

Вдруг он встал, сделал небольшой шаг вперед и вытянул руку, в которой зловеще сверкал длинный и узкий отточенный нож. Толпа хмельных щеголей и нарумяненных красавиц, в высоких, à la Marie Antoinette, обсыпанных серебряной пудрой прическах, отшатнулась и смешалась с дворовыми людьми Державина.

Красный человек заговорил гортанным, низким и медленным голосом, прижимая руку к месту, где билось слабеющее сердце. Окружающие люди, как завожженные, слушали звуки незнакомого, схожего с клекотом большой хищной птицы языка. Один Шелихов улавливал смысл заклипаний умирающего, в которых чувствовался своеобразный ритм песни.

— Я, Куч, волк, атаутл рода кухонтан¹ — детей Канука, волка-человека и орлицы морской, — говорю тебе, брат мой, который всегда делился со мной пищей, огнем и табаком: я вижу открытое небо и на нем великий Кицук²... Это знак мне — я должен умереть!..

Ложь никогда не слетала с уст моих, трусости не знала моя грудь. Я не боюсь смерти. Мы часто встречались с ней. Я побеждал ее, теперь ее черед...

Вот мой нож. Я даю его тебе, чтобы ты зарезал мне сильного калга. Не оставь меня в новой жизни без слуги.

Положи со мной, вложи в мои руки копье, томагавк, лук и стрелы с железными жалами. Сети для рыбы положи мне под голову. Ружье положи со мной, чтобы не остался я в дальнем пути без мяса и рыбы. Сожги меня, брат мой, на высоком костре, чтобы мог я после смерти подойти к огню и не стоять за спинами

¹ Одно из наиболее воинственных племен ситхинских клблшей, имевших тотем с изображением волка и орла.

² Северное сияние.

других, которые греются. Скажи своей воот Наталии... Прощай, я иду... иду...

Голос индейца прервался, по каменному лицу пробежала короткая судорога. Закрыв глаза и склонив голову на вытянутые руки, — из них выпал и торчмя вонзился в половицу длинный нож, — Куч, медленно подгибая колени, будто спуская с плечей тяжкую кладь, опустился на пол, лицом вперед, — только так, встречая врага и смерть, умирают храбрые атаутлы, воины из волчьего и орлиного рода кухонтан-кóлошей.

Таким же медленным движением, подавленный сознанием своего небрежения, Григорий Шелихов склонил колени у бездыханного тела краснокожего человека, называвшего его братом.

— Уберите руки, Симон Атанас... не соромно вам, а еще барин, на людях такое творить?.. Пустите! — прозвучал в застоявшейся тишине, возвращая всех к привычной действительности, задыхающийся шепот полногрудой Афродитки. Случайно очутившийся около нее Альчести с чрезмерным, очевидно, увлечением пользовался преимуществами тесноты и полумрака.

«Тьфу, свинья несытая, басурманский грек», — подумал Державин, заслышав неуместный, приглушенный до шепота голос Афродитки, и резко окликнул развязного сластолюбца:

— Альчеста, господин Альчеста! Довольно похабничать! Подойди ко мне, Альчеста!..

— Подумать только, откуда прибыл человек, чтобы помереть в Северной Пальмире!.. Жаль, не уберегли монстра американского — государыне-матушке показать! — понеслись со всех сторон голоса, как отзвуки пережитых впечатлений.

— А не пора ли в столовую, к беседе мирной вернуться, сударыни мои хорошие и господа кавалеры? — заключил бодрым голосом хозяин. — Самый раз, полагая, вином добрым запить тлен жизни человеческой... Григорий Иванович, пойдем, милый! Аристарх и без тебя тут управится. — Но, увидев лицо поднявшегося Шелихова, досадливо махнул рукой и направился к выходу, во главе заторопившихся покинуть людскую гостей.

Выждав, когда последний из господ, опасливо оглядываясь, исчез в дверях, Аристарх ободряюще обратился к Шелихову — тот стоял в тяжелом раздумье:

— Не извольте беспокоиться, батюшка Григорий Иванныч, мы это враз спроворим, без шуму захороним. Кому надо с языческой душой канителиться...

— Чушь несусветную балабонишь, старый! — резко оборвал его Шелихов. — Крещеная душа слуга и друг мой краснокожий — Кириллом зовут, что значит твердый по-греческому. Преосвященный Михаил, архиепископ иркутский и камчатский, на дому у меня таинство над ним совершил. Обмойте его, уберите, в домовину покладете, и попа позовешь, чтобы все было — панафида, обедня заупокойная и отпевание — по чину, как полагается. — И, вынув из штанов тяжелый кошель, мореход, не считая, сунул в руку оторопевшего Аристарха несколько червонцев. — На требы и прочее... Пойдем, покажи мне, где спать уладишь? Да принеси штоф пенного, для сна, Архипушка, — уже мягко закончил Шелихов.

— Вот это хозяин, друг слуге своему. Вишь, как заскорбел душевный человек! — сочувственным шепотом проводили переглядывавшиеся дворовые крепкую фигуру сибирского купца. Он понравился им с первого взгляда. — Понимает и сочувствует нашему брату, кабальному человеку, — по-своему оценили они молчаливо отданный Шелиховым прощальный низкий поклон Кучу.

Под ночлег Шелихову отвели красную гостиную, расписанную целившимися из луков во все стороны розовыми толстозадymi купидонами, обвитыми кружевом гирлянд и розовых лепестков. Сразу же, как только вошел, он сел на кровать и начал раздеваться.

В голове роились невеселые мысли. Застольный задор державинского ужина-пира и легкий угар многообещающей, необычной приветливости и ласки могущественной барыни Жеребцовой уже исчезли. Шелихов правильно оценил, что может дать ему участие в его деле взбалмошной Ольги Александровны. Но сколь

ничтожны наполняющие его заботы и хлопоты пред лицом смерти. Как огорчена будет смертью Куча Наталья Алексеевна! Григорий Иванович знал, что она бережно любила всегда молчаливого, неотступной тенью державшегося около них Куча. «Умер, погиб, за меня кровь свою отдал Куч», — думал Шелихов.

Потарапавшись в дверь, как мышь, вошел Аристарх с пузатым штофом пенного.

— Спасибо, Архипушка, за сон принесенный... Иди и ты спать, напрыгался, чай, за день, — поблагодарил он, отклоня попытку Аристарха помочь ему раздеться. — Утречком, когда поп придет, разбуди меня к панафиде...

Лишь только закрылась дверь за старым дворецким, Шелихов наполнил золотистого стекла рюмку, посмотрел через нее на свет стоявшего в головах кровати трехсвечника и, крикнув, разом опрокинул в рот: «За упокой души твоей, Куч!»

Но пенник не отогнал одолевавших Шелихова печальных мыслей: «Без времени пропал... Тридцать лет, не больше, было Кучу, и он мертв, а за мной полвека лежит, скоро, видно, и мне туда, иде же несть болезней, печали, ни воздыхания».

Неожиданно для самого себя мореход ощутил гибель индейца как потерю некоего залога удачи, живого талисмана. Этот талисман как бы связывал Шелихова с найденной в Новом Свете свободной землей, а с ней — и с затаенными в душе до времени, когда накопятся нужные силы, великими мечтами и планами. Планы и мечты знали пока только он, Наталья Алексеевна и Куч да угадывал, может быть, не показывая виду, зять, Николай Петрович Резанов.

Еще и еще, рюмку за рюмкой опорожнял, словно искал истину в пузатом штофе, мореход.

Далеко за полночь, проводив последнего гостя и переоблачившись в синего бархата теплый халат, подбитый белкой, Гаврила Романович, с сонным казачком, державшим в руках свечу, вошел в комнату Шелихова. Заслышав его голос за дверью, мореход задул догоравшие свечи и, как был, полураздетый, в

сапогах, кинулся на постель. Не было охоты да и не о чем ему разговаривать с Гаврилой Романовичем.

— Пш-шел, пш-шел... пш-шел к такой матери! — притворно бурчал Шелихов на оклики Державина.

— Ах ты, сибирская душа, не знал я, что ты сему привержен, — добродушно выговаривал понимавший русскую слабость к зеленой вину и дружески настроенный государственный муж. — Мишка, разбуди Григория Иваныча, надо ему два слова сказать! Григорий Иваныч, ты не забудь, друг милый, — продолжал он не допускающим возражений голосом, увидев, что Шелихов открыл глаза, — не забудь, что тебе завтра о полудни к фриштыку Жеребцовой, Ольги Александровны, в подобающем ордонансе явиться должно... Платон Александрович на нем присутствовать будет. Она наказывала, чтобы ты его не боялся и беспременно был. Лучшего случая и вообразить нельзя, а меха твои, рухлядь, с которой ты назвался к ней и очень умно подъехал, — она любит этакое — утром пораньше с черного хода к ней доставь, чтобы богатства американские перед Платоном Александровичем тебя делом репрезентовали. Сам на тройке своей прямо к парадному подкатывай, да не забудь камзол надеть и медаль с портретом, жалованную матушкой нашей, повидней где нацепи. Слушай меня во всем, Григорий, я друг тебе, слушай во всем, что говорю, и все сбывается, чего душа твоя пожелает. С Ольгой Александровной церемоний кавалерственных не разводи, бери сразу, что предлагает. Она в тебя по уши врезалась...

— Ладно! — коротко бросил Шелихов и откинулся на подушку. Он действительно был в крепком угаре.

Державин посмотрел на него, пожевал губами и, не сказав больше ни слова, направился к выходу.

2

Присущее мореходу острое чувство времени подняло Шелихова с кровати задолго до утреннего прихода Аристарха.

— Просунув с поздним петербургским рассветом голо-

ву в дверь красной гостиной, старый дворецкий застал Шелихова разглядывающим из окна занесенный снегом простор державинской усадьбы.

— Рано вставать изволите, Григорий Иванович... Отец Сидор, приходский наш, с причтом для отпевания, как приказывали вы, прибыл, да хитер поп, глянул на краснорож... красного слугу вашего, в сумление пришел, сколь я ему ни толковал...

— Поставь пред попом гроб, и если не заплатишь — скажет «клоп», — досадливо проговорил Шелихов. — Проведи, Архип Сысоич, к попу-то да раздобудь рассольцу огуречного — жжет в нутре, дышать тяжело...

Аристарх, польщенный величием по отечеству — откуда, скажи, дознался? — во мгновение ока доставил Шелихову освежающего рассольцу, очевидно про всякий случай заранее нацеженного в хрустальный жбан. Сочувственно проследив, как жадно пил мореход, он повел потом Григория Ивановича по лабиринту ходов и сенец державинского дома в людскую.

Людская была полна народу. Посреди комнаты стоял на двух сдвинутых скамьях наскоро сколоченный из тесаных досок гроб с телом Куча, на который старанием Аристарха был наброшен кружевной занавес из барских покоев. В головах высился канделябр и горело несколько тонких домодельных восковых свечек, прикрепленных к краям гроба в изголовье.

Мореход, идя за Аристархом, намеревался яростно опровергнуть и высмеять сомнения попа Сидора, но под влиянием ли огуречного рассола или торжественного молчания державинской дворни, обступившей гроб, круто положил руль вправо и, сложив лодочкой ладони с зажатым в них империадом¹, почтительно подошел к батюшке под благословение.

Испытанный купеческий аргумент Шелихова без труда убедил столичного попа.

— Свидетельство господина — рабу всяческое оправдание... Ежели преосвященный удостоил таинством крещения, не нам отказывать в напутствии христианской душе, — здравомысленно вслух произнес

¹ Десятирублевая золотая монета того времени.

отец Сидор, торопливо заправляя на место отстегнутую епитрахиль, под покровом которой исчез империял.

Рассеянно слушая отпевание, Шелихов обдумывал дела предстоящего дня и, вспомнив о мехах, еще не отправленных Жеребцовой, и о полученном на сей счет наставлении Гаврилы Романовича, подозвал Аристарха.

— Суму кожаную, из всех наибольшую, тесьмою красной прошитую, доставь, Архип Сысоич, сейчас же Жеребцовой, Ольге Александровне. Только распорядись, чтобы не вякали, снесли споро и через черное крыльцо...

— Сам представлю, Григорий Иванович, в точности исполню, не извольте заботиться, — с пониманием отозвался услужливый Аристарх и, отдав поклон гробу и спине батюшки, вышел, мигнув следовать за собой двум дворовым мужикам.

Через четверть часа тело краснокожего Кирилла-Куча, в сопровождении Шелихова, попа с диаконом и двух дворовых, усевшихся около гроба на расшивные сани, выплыло из распахнутых ворот усадьбы в последнюю дорогу к кладбищу у Московской заставы.

«Опоздает к фриштыку Ольги Александровны! — досадливо подумал проснувшийся Гаврила Романович, наблюдая из-за спущенной шторы в спальной съезжавшую со двора убогую процессию. — Чудной человек Григорий этот, но уж истинно из русских русской — без всякого понимания, индейца ради, slučaj такой упустить готов».

Досада Гаврилы Романовича лишь свидетельствовала, как даже широкие и даровитые люди русской империи мало понимали силу и волевое своеобразие народной души. Колумб русский, Григорий Шелихов был типичным русским добытчиком и землепроходцем. Потери, неудачи и опасности лишь пробуждали деятельность, расчет и предприимчивость этого из народных низов поднявшегося русского человека.

Отец Сидор понял, что богатый сибирский купец спешит и не погонится за велелепием и чином, а так как и сам изрядно прозяб — поторопился с отпуском.

— Во блаженном успении вечной покой подаждь, господи... — с чувством возгласил отец Сидор, отдавая тело Куча болотной ижорской земле.

— Со святыми упокой... — простуженным баском отозвался наспех диакон. Глухо застучали о крышку гроба мерзлые комья. Погребальные костры в Северной Пальмире не положены и для самых славных атаутов Америки.

С кладбища, доставив по дороге попа и диакона к их домикам, Шелихов вернулся в тех же расшивных саях. Сунув провожавшим гроб дворовым мужикам целковый на водку, мореход, встреченный у порога Аристархом, прошел в свою комнату и спешно — времени оставалось немного — занялся туалетом. Он волновался — встреча предстояла с капризным фаворитом, рука которого, как казалось Шелихову, держала ключ в будущее..

— Все сделал, как приказали, Григорий Иванович, — докладывал Аристарх, помогая Шелихову облачиться в белый атласный камзол и расправляя брыжки кружевного галстука и манжет. — Я уже докладывал Гавриле Романычу пред отъездом их в сенат... Эх, разглядить бы кружевца не мешало, слежались в дороге... Мишка! — закричал он, зная, что за дверями стоит неотлучный при нем казачок. — Мигом доставь сюда Варьку с утюжком горячим!

До прихода Варьки старый дворецкий, обнаружив тонкое понимание людей и обстоятельств, повторил Шелихову доклад, сделанный Гавриле Романовичу.

— Как внесли мы суму, откуда ни возьмись сама Ольга Александровна, велят за нею итти и привели нас к себе в спальную... Через короткое время — меня даже изумление взяло — вошли Платон Александрович, в шлафроке, и к сестрице своей по-французски обратились, а оне в ответ как затарахт... заторопятся, слова вставить не дадут — он и обмяк... Разглядывать шкурки начали, в руки берет и даже принюхивает, какие лучше — отдельно в кучку бросает, а она ему со смехом про англичанца этого... Вытвора... рассказывает. Платон Александрович бровки нахмурили... «Не дам,

ничего не дам, ни армии, ни флота! — ручкой взмахнувши, крикнули — и потом: — Это ко мне, Оля, отошли, а к фриштыку, когда американец твой явится, — про вас это, как я понимаю, Григорий Иванович, — дай знать, я выйду».

Закончив одевание, Аристарх отошел и со стороны критически оглядел Шелихова.

— Теперь. Григорий Иванович, все на вас как надо, хоть к самой... пред самой, — запнулся Аристарх на мысли, испугавшей его своей дерзостью, но, взглянув еще раз на ладно скроенную фигуру морехода, уверенно закончил: — Истинно говорю, не стыдно вам и пред государыни светлые очи предстать.

— Эв-ва, хватил, Архипушка, где уж тут с суконным рылом да в калашный ряд, не нам, купцам, на таких местах стоять, — с нарочитым смирением отозвался Шелихов, удовлетворенно оглядывая в зеркало свою статную, преображенную кавалерственным костюмом фигуру. Мелькнула мысль о том, что, поставь их судьба рядом, не уступил бы ни в чем первому фавориту государыни, силачу и красавцу графу Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому, о приключениях которого ходило много фантастических рассказов.

В белом атласном камзоле, при шпаге, пожалованной в прошлый приезд вместе с нагрудной медалью — портретом государыни в алмазах, Шелихов выглядел мужем в расцвете сил — типичным сколком не вымирающей в народной памяти породы русских витезей-богатырей.

Григорий Иванович с удовольствием подметил простодушное восхищение своей особой в глазах Варьки. Лицо и бархатный голос кружевницы он запомнил еще с банной встречи.

— Спасибо, деваха, должок за собой — не забуду. — ласково кивнул он зардевшейся от похвалы пригожей девушке, умевшей в нужных случаях — он прекрасно помнил это — держаться с бесстрастностью китайского божества Будды. — Проводи меня, Архип Сысоич, без тебя не выйду из ваших хором, — подмигнул он Аристарху, подставляя плечи под принесенную догадливым Мишкой белую медвежью шубу.

Каурые, отдохнув в тепле и на овсах державинской конюшни, рванули как в степную даль. Только шелиховский ямщик-бурят мог через мгновение остановить их бешеный разбег. Кони замерли перед колоннадой подъезда зубовско-жеребцовского дворца.

Рослый гайдук с непокрытой головой вырос как из-под земли перед выбиравшимся из возка мореходом:

— Пожалуйте! Ольга Александровна к себе просят...

Шелихов не заметил фигуры Зубова, промелькнувшей в ближайшем к подъезду окне второго этажа. Зубов отошел от окна в раздумье, неприятно удивленный вылезшим из возка белым медведем. Игрушечный красавчик питал антипатию к людям большого роста и внушительной осанки.

— Что хорошего? Обыкновенный гвардейский солдат! — говорил он в интимном кругу, вспоминая огромного и великолепного князя таврического Григория Александровича Потемкина, своего тогда обойденного, а теперь уже умершего соперника.

Платон Александрович, не задумываясь, отослал бы купеческого верзилу обратно к подославшей его старой лисе Державину, если бы не женский интерес, открыто заявленный к ражему купчине сестрицей...

В высшем петербургском свете, с легкой руки заграничного остро словца, российского посланника в Англии графа Семена Воронцова, сестра Зубова, Ольга Александровна, навсегда прослыла *compte un saumon*¹.

Капризный нрав и манеры Зубовой-Жеребцовой лишь закрепили во мнении света авторитет зоологических познаний и наблюдательности Воронцова. Ольга Александровна стала причиной вражды двух ближайших к солнцу фамилий: молодого фаворита Зубова и сиятельного, образованного Воронцова. Масла в огонь

¹ Обезьяной (мартышкой) (франц.).

подливала протекавшая на глазах у всех затяжная связь «мартышки» с английским посланником при петербургском дворе лордом Уитвортом.

История сохранила в фамильном архиве Воронцовых глубинную подоплеку влияния Жеребцовой на брата-фаворита и проявляемой к ней в свою очередь нежности благородного милорда Уитворта.

Узы королевской службы и личной приязни связывали Уитворта с Уильямом Питтом-младшим. Питт, лидер вигов — партии английских буржуа, в страхе перед успехами республиканской Франции проделал в последнее время политическое сальтомортале в лагерь своих недавних противников — «кавалеров» тори, защищавших самый косный во всем мире английский феодализм. В борьбе за сохранение британской монополии в промышленности и торговле Питту очень важно было иметь на своей стороне Россию, которая бы с готовностью согласилась воевать с французскими промышленниками не чем-нибудь, а русскими солдатами. Эту политику при дворе Екатерины II как нельзя лучше можно было проводить, используя интимную связь английского посла в России Уитворта с Ольгой Александровной Жеребцовой. Она, сестра могущественного фаворита графа Зубова, имеет на своего брата влияние, а через него, следовательно, и на императрицу.

Оно так и было.

Сестрица Оленька, бесстыдная обезьянка, как бы шутя, с хохотком, забавными ужимками и большим остроумием начинала Платошу уитвортовой мудростью. Не стеснялась она делиться с братом и женскими секретами, применительными к его обязанностям «гениального и милого ребенка»¹ в интимных покоях престарелой императрицы.

Магическая сила советов и поучений сестрицы помогала Зубову держаться на головокружительной высоте. Он привык ее слушаться и с нею одной, может быть, считался всерьез...

¹ Так в переписке с Потемкиным Екатерина называла Зубова.

Утренний разговор с сестрой задел в душе Зубова самые чувствительные струны.

Бесцеремонный намек Уитворта на «бабьи юбки», из кружевной колыбели которых вырастают российские вельможи, пробудил всегда живший в Зубове страх за свое положение: вдруг дойдет что-нибудь до ушей самой да заставит оглядеться и прислушаться? Завистников, подлых душ много, позволь только рот раскрыть — они-то... Бр-р-р!

Допустим, поклев англичанина пройдет незамеченным — пятном только на Ольге останется, — тоже простить ведь нельзя, иначе каждый начнет тебя дегтем мазать... Уитворта из Петербурга придется выгнать, чтоб другим nepовaдно было... Черт с ней, с Англией, найдем других партнеров!

Оленька говорит, купец ее — сущий испанский конквистадор. Он сам и его предприятие, ежели как следует взяты, сулит немалые выгоды. Медведь российский хочет берлогу себе в Америке устроить. Что ж, если для того имеет трезвую голову и понимает, кого и как за помощь благодарить, — можно посмотреть. Подумаем и, гляди, двух зайцев убьем — в Новом Свете милордам английским и купчишкам бостонским покрепче на ногу наступим, а там и дорогу гладкую себе к золоту, к несметным богатствам откроем.

Алчность разогрела кровь временщика. В конце своей жизненной карьеры, умирая одиноким стариком в отнятом у Радзивиллов литовском имении Янишках, он оставил состояние в пятьдесят миллионов рублей.

В какое-то мгновение Зубов вдруг решил перехватить морехода у сестры — Ольга подождет, пока он хорошенько, с глазу на глаз, у себя в кабинете, прощупает сибирского медведя, чтобы зверь понял, перед кем стоит и от кого удостоился чести говорить...

Платон Александрович хлопнул в ладоши и, как был в бухарском халате, в сопровождении двух выскочивших из-за дверей черных арапов в ослепительно пестрых восточных костюмах, увенчанных зеленой башнеподобной чалмой, вышел на мраморную площадку с двусторонней лестницей цоколя, крытой красным сукном, широкой, что улица.

Остановившись и взглянув как бы невзначай вниз, Платон Александрович голосом приятным и мелодичным, с французским оттенком чуть в нос, — тем волнующим голосом, которым он читал перед царственной Като¹ Вольтерова «Магомета», — окликнул поднимавшегося в сопровождении гайдука Шелихова:

— Эй, кто там? А-а, это ты, открыватель Америки! Наслышан про тебя, со всех сторон жужжат... Ну, входи, подымайся бодрее, и пройдем ко мне... Здесь прохладно что-то, — зябко повел плечами изящный фаворит, оглядывая в лорнет с ног до головы остановившегося ступенькой ниже морехода.

Молча стоявший под графским лорнетом, Шелихов еще острее почувствовал свою отчужденность от этих людей, а гнуть спину перед ними заставляла судьба. Припомнились простые и суровые, полные уверенного в себе достоинства фигуры бостонских купцов и английских шкиперов на вольных просторах океана и у берегов американской земли. Голова морехода, которой он давно определил гнуться пониже ради заветной цели, неожиданно поднялась.

Он был поражен роскошью покоев, убранных дворцовой мебелью, гобеленами и картинами, подаренными Екатериной своему фавориту из того Эрмитажа, куда доставляла сокровища искусств обширная агентура из всех уголков Европы, — рубль мужицкой России был тогда в цене.

Зубов привел морехода в комнату, из окна которой подозрительный фаворит предварительно высматривал всех подъезжавших к его дому. Эта обширная комната — рабочий кабинет фаворита — была обставлена просто и даже бедно. У наружной стены между двух окон — огромный стол, заваленный книгами и бумагами; разбираться в них был приставлен все тот же Симон Альтести, особо доверенное лицо при Зубове.

Весь левый угол занимал двухэтажный иконостас с неугасимой лампадой, горевшей перед образом святой великомученицы Екатерины, работы молодого Боровиковского. Портрет императрицы и образ в ико-

¹ Интимное имя Екатерины в ее переписке с Вольтером.

ностасе поражали сходством Екатерины земной и Екатерины небесной. Перед иконостасом стоял обтянутый черным сукном узкий аналой, с псалтирью, развернутой на покаянном псалме царя Давида.

Иконостас Зубова оттенял возвышенный идеализм хозяина и, в особенности, религиозный пиетет его пред высокой покровительницей. Убранство кабинета государыне было прекрасно известно, но она, конечно, не знала того, что поддерживать вечное пламя в лампаде и сметать пыль с псалтири относилось к обязанностям того же Альтести.

Над столом, в простенке между окон, висел кусок белого атласа в витой серебряной раме. Посредине поля, окаймленного гвоздиками и бутонами роз, незабудковой гладью, были вышиты слова оды, преподнесенной упоительному красавцу в день его совершеннолетия, пепиньерками¹ Смольного для благородно-рожденных девиц монастыря:

Monsieur! Joyau de la patrie.

Pour Votre prospérité nos coeurs sont attendries².

Очаровательные ручки, вышивавшие на атласе, не теряли связи с предметом своих устремлений через того же Альтести. Разбитной грек, содержащий в Стамбуле «веселый дом», сохранил навык устраивать тайные свидания девиц со своим высоким патроном.

В ожидании возвращения временщика Альтести валялся, утопая в подушках, на широкой турецкой софе. Над его головой, увековеченные кистью Григория Лукича Левицкого в знаменитом групповом портрете «Воспитанницы Смольного монастыря», красовались, застыв в прощальной фигуре менуэта, тайные жертвы екатерининского фаворита.

— Опять валялся и пачкал софу... Исчезни, нечистый дух! — грубо бросил вскочившему при его появлении клевету Зубов. Шелихова этот тон насторожил. Альтести держал себя вчера в державинском доме на

¹ Выпускницы институтов.

² Ваше высочество! Сокровище родины,

Вашим преуспеньем восхищены наши сердца (франц.).

равной ноге с немаловажными особами, а тут — ни тени человеческого достоинства.

— Почто гоните, ваше сиятельство, — понадоблюсь... А с его степенством мы очень хорошо знакомы, и дело купца я знаю от соотечественника моего, Евстратия Деларова, знаю лучше, чем наши колумбы в Иркутском в нем разбираются по приказчиным отпискам из Америки, — как будто безобидным и нарочито простодушным тоном отозвался Альтести, не трогаясь с места.

Зубов заметил, как мореход удивился, услышав имя Деларова. Кляузный и трусливый трек Деларов три года управлял поселениями и делами торговой компании Шелихова на Алеутах и Аляске и только в прошлом году был заменен новым правителем Александром Андреевичем Барановым, о даровании которому государственного чина по должности и для представительства намеревался просить Шелихов.

— Видишь, братец, как обо всем мы осведомлены? — не упустил Зубов подхватить во-время подброшенный догадливым Альтести пузырь для плавания в американских делах.

Имя Деларова Зубов услышал впервые. Невежественный, поглощенный дворцовыми интригами временщик имел самые скудные и сбивчивые представления о подвигах русских добытчиков и землепроходцев, на утлых шнитиках добравшихся до самого Нового Света, но высокое положение обязывает знать и вникать в мельчайшие дела и нужды подданных. К тому же мореход со своей Америкой набежал в руки, как заяц на охотника, — нельзя более кстати...

— Выкладывай, купец, товар — Америку свою... Что подойдет и понравится, все откупим, за деньгами и честью не постоим! — шутливо, подделываясь под презираемый в душе «скаредный», как он называл, русский язык, прощупывал Зубов морехода.

Большой и тяжелый, с потемневшим суровым лицом, стоял Шелихов перед надменным шуплым юношей, капризно развалившимся на софе. И вдруг в душе его померкли все крепкие мысли, живые слова и яркие краски, накопленные для описания чудного ви-

дения — открытой им за туманами океана богатой и вольной американской земли.

«Аркан нужен, без аркана с таким не договоришься, — думал Григорий Иванович, не зная, как держать себя дальше. — Душа в нем ежовая — малая и, видать, колючая, а оболочка на ней моржовая: не то что словом — пулей не пробьешь... Помогай, заступница наша Рыльская, на мель не сесть, своего не потерять и для людей найти. Блоху на слюни ловят, а князей на золото... Воюй, Григорий!»

— Дозвольте просить, ваше сиятельство, секретного разговора касательно государственного дела странствований и открытий моих, — пророкотал Григорий Иванович голосом, придавшим Зубову на софе сидячее положение. В глазах временщика, до этого скучливо скользивших по комнате, минуя стоящего перед ним Шелихова, отразилось нескрываемое изумление, когда мореход, склонив голову в английском суховатом поклоне и придерживая рукой эфес отброшенной вбок от себя шпаги, притопнув ногой по-военному, еще настойчивее повторил свою просьбу.

В голове Зубова промелькнула смутная мысль об Эльдорадо — затерянной в Америке сказочной долине сокровищ. Может быть, сибирский флибустьер нашел ее и хочет поделиться тайной... Взглядом он показал Альтести на дверь и, заметив недовольно-удивленную гримасу на лице грека, прикрикнул:

— Исчезни! Да скажи Ольге Александровне, чтоб не ждала меня, вместо себя купца ей, скажи, пришло... Ну? — с деланным равнодушием обратился он к Шелихову. — Выкладывая свою сказку, только денег за нее не проси...

Григорий Иванович меньше кого бы то ни было мог быть подготовлен к пониманию того, насколько русские интересы в Америке оказались вдруг связанными с тем, что разыгралось в его присутствии за державинским столом между Ольгой Александровной и Уитвортом, но чутье добытчика и морехода и в этот раз счастливо провело его через подводные камни не только капризных и зыбких настроений неверной души временщика, но и тех сложных отношений, которые

складывались в придворной политике при решении серьезных дел.

— Купец я, ваше сиятельство, и сказками не промышляю, — в том же, перенятом от иностранцев, сурово-сдержанном тоне ответил Григорий Иванович, а сам подумал: «Врешь, выюноша, и деньги дашь, и в компанию попросишься». — Американской землей кланяюся великой государыне, новым царством, как некогда Ермак Тимофеич Сибирью...

— Ты задавить нас, Шелихов, хочешь! Мы с Сибирью управиться до сегодня не можем, — с насмешкой в голосе перебил временщик Григория Ивановича. — Вот если бы ты... Персию... — мечтательно продолжал Зубов, зацепившись за излюбленную тайную мысль, развернувшуюся три года спустя в неудачную для России войну с Персией. — На такое дело я бы деньги дал, а Америка...

«Эх, лишнее болтнул, Григорий», — подумал мореход, слушая насмешливую реплику Зубова, но... отступить — наверняка проиграть, и пустил в ход последний и опасный козырь, прибереженный на решающий момент игры за волю и долю в будущем.

— Англичане и бостонцы о той земле правильнее нас понимают и рыщут вокруг да около наших владений. Полковник ихний Бентам неподалеку от нас на реке Чилкат изрядную английскую фортецию возвел да зачастил к нам с дружбой... По долгу присяги не смею, ваше сиятельство, от государыни тамошних дел утаивать — однажды он, этот Бентам, прибывши в Охотск, после того как мы рому ямайского для знакомства полведра выпили, взял да и выложил, за чем ездил: переходи, грит, господин Шеликоу, — так меня англичанцы окрестили, — на королевскую службу. Дадим тебе майорский чин, триста солдат, запас огнестрельный, положим на год сто галлонов рому и тысячу гиней жалованья, чтобы ты подвел всю американскую землю под английский флаг. России там делать нечего...

— Чем... гм... еще, купец, тебя англичанцы покупали? — с деланным равнодушием спросил Зубов морехода, вставая с софы. Воображение фаворита разыг-

рывалось: Уитворт в Петербурге и английский полковник из Америки дословно повторяли друг друга... Заговор? Мы найдем чем огорчить вас, милорд Уитворт...

— Подведешь Америку под королевскую руку, баронский титул получишь и, захочешь, губернатором над нею останешься, — без запинки ответил Григорий Иванович. В сущности, Шелихов ничего не выдумывал и не лгал. Такие разговоры и посулы он не раз слышал, сидя за бутылкой рома с мимолетными друзьями — английскими шкиперами и другими искателями приключений на просторах Тихого океана.

— Баронет... как, бишь, тебя... Шелихоу? Барон Шелихоу! Уморил, ха-ха!.. Об этом надо рассказать ее величеству, от души посмеется... — Деревянный смехок фаворита не смущал морехода: «Смеешься, игрушечный, а сам давно ли и за какие славные дела графом стал, герой постельный...» Григорий Иванович спокойно, ничем не выдавая своих мыслей, смотрел на вдруг забежавшего перед ним по комнате временщика.

Внезапное решение осенило Зубова. Он остановился перед мореходом, запахнул полы бухарского халата и, расставив ноги, процедил голосом важным и строгим:

— Покупаю, купец, сказку твою, но много, еще раз говорю, не проси. Сказывай — первое, второе, третье — в чем нуждаешься, да покороче...

Григорий Иванович даже опешил от столь, он чувствовал это, пустого и неверного поворота в деле, ради решения которого готовился к долгому хождению по мукам, предполагая обсуждение этого дела в Совете с седовласыми государственными мужами. Без распросов, без представления обстоятельных сведений, карт и чертежей географических, без издания указов и законов обдуманых разве мыслимо такое решать? Неужто ему, Колумбу русскому, ненужное мерещилось — поставить Великий океан на службу родине, как срединное море российское? И неужли русские люди не будут вспоминать подвига именитого гражданина и морехода Шелихова с товарищи, — вспоми-

нать из колена в колено, когда наступит, а оно обязательно придет, золотое времечко?.. Нет, нет! Этой мысли не могла допустить пламенная душа Григория... Заплошала ты, Россия-матушка, после великого государя Петра Алексеевича — он-то знал, за каким делом Лужина и Евреинова, Беринга и Чирикова и прочих землепроходцев на восход солнца за океан посылал...

Голос внутреннего долга и совести, присущий русским людям, со всей силой протестовал против такого «торгово» выгодного для него, но бездушного, поптичьему легкого решения судеб родины, завязанных на Великом океане.

4

Захваченный бурным потоком этих противоречивых мыслей, мореход внезапно ощутил острую боль, будто раскаленным гвоздем пронизавшую сердце. Он зашатался, хватая воздух руками в поисках опоры. Еле передвигая непослушные ноги, добрался до письменного стола и здесь плашмя вытянулся на покрывавших стол бумагах.

Зубов видел, что с мореходом происходит что-то неладное, но ни одного движения не сделал, чтобы помочь, и только когда Шелихов упал на стол, захлопал в ладоши, вызывая слуг. Зубов, кажется, даже был доволен проявившейся на его глазах немощью морехода.

— Помоги ему и вызови доктора, если надо, — равнодушно кивнул он в сторону Шелихова вошедшему вслед за слугами Альтести.

Но мореход уже оправился и встал, неловко оглаживая себя руками. Допуская, что Шелихов переволновался в приливе благодарных чувств, Платон Александрович снизошел до того, что вспомнил о необходимости закончить разговор об Америке...

— Гм... кх... — кашлянул он. — Так говори, американский барон, в чем нужда твоя ко мне, а то мне некогда, пора ко двору ехать...

Досадуя на негаданно накотившуюся слабость и

упущенную из-за нее возможность подробно рассказать о нуждах новозаложенных колоний, Шелихов, путаясь и сбиваясь, мешая первостепенное и необходимое с маловажным, заговорил с хрипотой и на-тугой:

— Первое, ваше сиятельство, указ издать о присоединении американской Аляски и Алеутовых островов к скиптру российскому... Правителя нового послал я туда — Баранова, Александра Андреева... в должности утвердить прошу и чин, равнозначный месту и интересам державы нашей, дать Баранову надо... Денег, ваше сиятельство, прошу из казны государственной в ссуду беспроцентную на двадцать лет пятьсот тысяч рублей на судостроительство, на дома, заведение хлебопашества и прочие нужды... Я реестр составил, дозвольте подать, ваше сиятельство! — Шелихов извлек из заднего кармана камзола и подал Зубову объемистую, исписанную и разграфленную тетрадь «Опись первоочередным коммерциальным, навигационным и воинским надобностям северо-восточной, северной и курильской Торговой Компании».

Зубов брезгливо, двумя пальцами, взял тетрадь и, усевшись за стол, начал было читать, scomандовав стоявшему за спинкой кресла Альтести:

— Переворачивай страницы, да не спешно... Любопытно, во что колумбы русские Америку нам ставят?

— Великий открыватель Америки Христофор Колумбус генуэзский поднес ее испанским государям безденежно! — мгновенно отозвался Альтести и, не угадав настроения патрона, осекся, услышав резкое:

— Дурак!

Просмотрев несколько перевернутых Альтести страниц и убедившись в скучности и бесплодности занятия — Зубов не понимал назначения большинства предметов, на приобретение которых испрашивались разрешение и средства, — временщик захлопнул тетрадь и, не забыв предварительно осмотреть, по собственной ему мелочной аккуратности, взятое с подставки северского фарфора «Фавн и пастушка» гусиное пе-

ро, начертал поперек заглавного листа размахисто и не задумываясь:

«По высочайшему повелению предлагаю утвердить. Зубов».

«Президенту коммерц-коллегии графу Александру Романовичу Воронцову. Выдать по сему двести тысяч рублей ассигнациями. Зубов».

«Правителю дел коммерц-коллегии д. с. с. господину Жеребцову. Проверить реестр, особливо в части огнестрельного запаса и корабельного снаряжения. Доложить мне об исполнении повеления государыни. Зубов».

— Доволен, Шелихов? — вслух прочитав наложенную резолюцию, спросил временщик.

— Премного доволен, ваше сиятельство... только чин положить правителю американских колоний запаматовали и дозволения не дали моряков военных на службу нанимать без перерыва государственной выслуги.

— А не боишься, что перед правителем своим и офицерами флота шапку ломать придется?

— По нашим делам перед кем только не приходится спину гнуть, ваше сиятельство, — с горечью сказал Григорий Иванович на колкость фаворита.

В глазах Альтести промелькнула насмешливая искорка: «Что, патрон, кушал?» Авантюрист готов был видеть в Шелихове собрата по судьбе, заставляющей умных служить дуракам.

— С ним, — кивнул Зубов Шелихову на Альтести, — закончишь, чего мы с тобой не договорили, он доложит мне. — И добавил: — Безденежно выполнит... денег не давай, ежели и моим именем будет вымогать...

Взглянув на брегетовы часы, стоявшие перед ним в настольном футляре, фаворит встал и поспешно, не кивнув даже головой на прощанье, удалился в смежную с кабинетом туалетную комнату. Опытные руки и изобретательный ум массажиста-англичанина, рекомендованного Уитвортом, куафера-француза и портного-поляка превращали расслабленного и блеклого по утрам красавца Платошу в блестящего вечернего па-

пильона, неумоимо развлекавшего, с помощью советов сестрицы Оленьки, старческую дремоту пресыщенной Семирамиды...

Альтести выжидающе смотрел на Шелихова, лицо и фигура которого выражали уныние.

— Отложим?! — уверенно спросил Альтести. Авантюрист и сам был непрочь выиграть время, чтобы на досуге прикинуть цену своих услуг и хранившихся у него кляуз Деларова. Америки продаются и покупаются не каждый день. Чего бы он стоил, упустив справедливый куртаж с обеих сторон. — Вам еще с Ольгой Александровной управляться предстоит... — И, не поняв недовольного взгляда Шелихова, поспешно добавил: — *O, je ne suis pas jaloux... Acceptez mes sentiments* ¹.

— Устал... не могу! — невпопад ответил мореход и направился следом за Альтести на площадку лестницы, разделявшую половину Ольги Александровны от апартаментов ее брата.

— Вам направо и... прямо в рай! — игриво напутствовал морехода Альтести.

Все тот же рослый красавец гайдук, который встречал Григория Ивановича у подъезда, подкарауливал его теперь на площадке лестницы.

— Ольга Александровна просят...

— Скажи, прошу прощения... занемог, скажи... не могу, не могу... — бормотал Шелихов, отмахиваясь от заступавшего ему дорогу гайдука. Непереносимая боль в сердце снова разгоралась и не давала вздохнуть. Григорий Иванович сходил, шатаясь и оступаясь. Его провожали испуганно-удивленные и сочувственные взгляды зубовских дворовых людей, под разными предложениями пробравшихся в нижнюю гардеробную поглядеть на сибирского купца. Про диковинные приключения купца и об его умершем индейце-слуге, а может быть, и вовсе не слуге, а сыне — кто их знает, этих путешественников, — они уже прослышали от державинской дворни, не скупившейся на фантастические подробности.

¹ О, я не завистлив! Примите наилучшие пожелания (франц.).

Волоча за собой поданную ему внизу и всех изумлявшую белую медвежью шубу, Григорий Иванович вышел на воздух и, схватив с земли комок снега, сунул его себе под кружевное жабо рубашки — словно на уголь, горевший в груди...

Уставясь мутными глазами в бледное и испуганное лицо гайдука, вышедшего следом за ним на улицу и пытавшегося что-то сказать, Шелихов понял вдруг, что этого рослого и красивого парня страшит ожидающая у Ольги Александровны неминуемая расплата за его, Шелихова, невежливое и непонятное бегство.

— Посади меня, друг... сам видишь — на ногах не держусь. А Ольге Александровне скажи, что явлюсь по первому приказанию, ежели жив останусь...

Гайдук бережно посадил его в возок и угрюмо оглядел верхние окна, в одном из которых увидел господа, яростно грозившую ему сжатыми кулачками. Неистова была в своем гневе и расправах Ольга Александровна. Зубовская дворня знала это на собственном опыте. Озираясь по сторонам, рослый малый пришибленно направился с докладом к обманутой в волнующих ожиданиях барыне.

Сбежавшая вниз Наташка, бойкая горничная Жеребцовой, равнодушная к красивому гайдуку, схватила его за руку и плачущим голосом, смахивая рукавом набегавшие слезы, залепетала:

— Иди, бегом беги, Стенюшка. У нас ужась что творится. Все фалфоры побила... За тебя и мне с пяток оплеух досталось... Как смел, кричит, его выпустить! Запорою Степку, на каторге сгною. Господь помилуй, что будет, господи... Стеня, родненькой...

Как бык, поставленный к убою, тоскливо поводя вокруг глазами, Степан слушал причитанья девушки. Краска сбежала с румяного черноусого лица. Стецько Голован был вывезен из киевского имения графа Зубова. С барыней, Ольгой Александровной, у него сложились тяжелые, непонятные отношения. Никому столько не приходилось терпеть от ее капризов, как Степану. Заставляя красавца раба служить при своем туалете, во время которого, едва отвернувшись, она меняла рубашки, барыня не упускала случая, чтобы

не ушипнуть Степана за неловкость и неумелость его рук. Не раз из туалетной комнаты, наполненной приторными запахами, Степан шел на конюшню и ложился под розги на навоз, расплачиваясь за разбитые пудреницы и склянки с притираниями. Но хуже всего был стерегущий, хищный взгляд кошки, которым барыня провожала каждое его движение...

— Иди, Степан, из барской воли не вырвешься, хуже бы не вышло, — как бы угадывая его мысли, проговорил находившийся при гардеробе нижний гайдук Афанасий и с усмешкой добавил: — И ты, Ташка, с ним пройди, может, тебя барыня застыдится — не размахнется...

«Фриштык» с мореходом Ольга Александровна, сохраняя за собой выгоднейшие позиции, готовилась провести в своей спальне.

Комната, обтянутая персидскими шелками и турецкими коврами, была пропитана запахом мускуса и входивших тогда в моду духов пачули.

На стенах висели перекочевавшие из Эрмитажа через брата Платошу картины Ватто, Буше и Фрагонара. В твореньях этих мастеров преобладали сюжеты острые, мифологические и галантные, — все это было в пряном вкусе хозяйки.

У стен высились горки с хрусталем, изделиями из фарфора, дерева и кости. Знатоки после осмотра, повертев их в руках, ставили на место с многозначительным: «Гм! гм!» Ольга Александровна обожала свои изящные игрушки и предвкушала удовольствие показать их наивному сибирскому богатырю.

Но сейчас нарядной комнаты нельзя было узнать. На полу валялись осколки разбитых безделушек, хрусталя и зеркального стекла. Столик, сервированный Степаном в углу между двух канапе, лежал на одном из них, опрокинутый со всем содержимым. Разлитые вина и настойки зловещими пятнами покрывали голубую обивку канапе, сброшенную скатерть и паркет пола.

Такой погром могли произвести только пьяные гвардейцы или спущенная с привязи взбесившаяся обезьяна.

Прославленная французская couturière¹ мадам Жерве, поставлявшая в дома столичной знати моды и сплетни, не угодив однажды чем-то Жеребцовой, попала в положение свидетельницы неистовой ярости русской барыни.

Французенка отомстила за пережитый страх и унижение чем могла: в высшем свете Ольгу Александровну Жеребцову, невзирая на всемогущество ее брата, сторонились и обходили comme un saraïou furieux².

Но если портниху Жерве защищало звание подданной французского короля, то гайдук Степан, стоявший с помертвевшим лицом на пороге барской спальни, был беззащитен как подданный русской самодержицы. Степан был дворовым человеком графа Зубова, подаренным сестрице Оленьке, облюбовавшей широкие плечи Стеньки и голубые глаза на румянном черноусом лице...

Стецько Голован, вырванный из вишневых садов Украины, став среди зубовской дворни Степаном Головановым, уже давно с ненавистью постиг весь ужас бесправия крепостных. Он стоял перед лицом госпожи, вольной в его животе и смерти.

— Занедужили господин Шелихов, барыня... Снегом душу примораживали. Вышедши на улицу, ком снегу под рубашку положили, — пытался объяснить Степан Ольге Александровне, бесновавшейся перед ним в чулках: в ярости она не могла найти туфель.

— Ему снег, а тебя на угли!.. Розгами запорю, в солдаты сдам!.. На каторгу сошлю, сгною в рудниках!..

Обезумевшая от злобы душевладелица выхватила из обсыпанного серебряной пудрой головного шиньона подарок лорда Уитворта — золотую шпильку, похожую на кинжал, с голубой из индийской бирюзы мухой, и намеривалась выколоть глаз Степану, как тут вмешалась Наташа.

Девушка проскользнула в комнату Жеребцовой за

¹ Портниха.

² Как яростную обезьяну.

Степаном и, притаившись за ширмой у двери, трясясь как в лихорадке, стерегла каждое слово и движение разгневанной госпожи.

— Помилосердуйте, Ольга Алексан... барыня!..

Ольга Александровна от неожиданности отступила на шаг и затем неистово закрутила над головой схваченный со стола серебряный колокольчик.

— Досифей! Чтоб сей минут явился! — закричала она вбежавшему лакею.

Стенька и Наташа переглянулись — что-то недоброе задумала госпожа. Конюшего Досифея, угрюмого и равнодушно-жестокоего исполнителя барского гнева, боялась и ненавидела вся зубовская дворня.

— Этой... Ташке, — встретила Досифея бешеными глазами Ольга Александровна, — сейчас же обрежешь косу, в людской при всех снимешь, и сегодня же отправишь в симбирскую деревню, я напишу старосте, чтобы отдал ее замуж за Никишку...

Наташа, стоявшая перед барыней с низко опущенной головой, всплеснула руками и без сил опустилась на пол. Пастух Никишка, старый, дурашливо-нечистоплотный, злобный горбун пользовался дурной славой в деревне, из которой была взята Наталья.

Степан, знавший Никишку по Ташкиным описаниям, сделал невольное движение в сторону барыни, которое не укрылось от ее взгляда.

— А этого на конюшню... сто... нет, двести... двести розог всыплешь! — закричала барыня. — Со всей строгостью, и солью присыпать... На ночь в подвал посади, а утром еще раз выпорешь и отвезешь к полицмейстеру, я и о нем сама напишу, его в Сибирь надо, в солдаты навечно, чтобы и там меня помнил!.. Да не забудь, Досифеюшка, квитанцию рекрутскую взять — мне доставишь...

После этого мартышка почти успокоилась и подошла к зеркалу взглянуть, как отразилось на ней перенесенное волнение.

Степан и Наташа в безнадежном молчании смотрели на охорашивавшуюся перед зеркалом барыню.

— Пошли! — махнув рукой на дверь, деловито бросил Досифей.

Соприкосновение Шелихова с жизнью и нравами столичного общества принесло, таким образом, печальный и неожиданный конец любви Натальи и Стеньки — людей простых и далеких от целей и действий открывателя Америки. Размолвка за державинским столом между Уитвортом и Ольгой Александровной имела некоторую связь и с другими, более значительными событиями. Эта размолвка совпала во времени с поворотом зигзагообразной высокой политики императрицы, отразившейся в конечном итоге и на дальнейших судьбах всего шелиховского предприятия.

Разрыв связи английского посла с Ольгой Александровной, умело и незаметно внушавшей своему брату-фавориту все те же мысли и желания, которые Питт-младший передавал через Уитворта, Екатерина использовала по-своему — она охладела в своих дружеских чувствах к Англии. Для Питта это тем более было досадно, что английская политика, душившая континентальную промышленность и торговлю под предлогом борьбы с французской революцией, все больше стала вызывать сопротивление России. При такой обстановке Екатерина отказалась в конце концов от намерения послать русских солдат в Париж на обуздание гидры революции. Ход дел сложился вскоре совсем не так, как хотелось бы Англии, — не только было снято запрещение на ввоз в Россию французских товаров, но и сборы за вывозимые в Англию хлеб, пеньку и сало оказались повышенными.

Глава четвертая

1

Встретив Григория Ивановича, Аристарх увидел, что с полюбившимся ему и всей державинской дворне человеком случилось что-то неладное. Позванные люди бережно провели морехода в дом, на пороге которого их уже ждал обеспокоенный Гаврила Романович, незадолго перед тем вернувшийся из сената.

— Бережливо... эй, вы, бережнее ведите! — покри-

кивал Гаврила Романович, теряясь в догадках по поводу неприятной оказии. Не вышло ли чего худого — унеси моя печали! — между Григорием и Платоном Александровичем, от этого враз дождешься...

— Сердце схватило... жжет — мочи нет, — проговорил Шелихов, заметив наконец перед собой встревоженное лицо Гаврилы Романовича.

— Заложить мои сани!.. Ты, Аристарх, сам езжай за господином Роджерсоном, проси моим именем срочно пожаловать... Ан нет, пошли кого потолковее, я письмо передам, а ты проберись в зубовский вертеп и разведай досконально, что там приключилось, и ко мне... Живо!

Часа через два в дом Державина прибыл популярный в высшем свете собственный ее величества лейб-медик сэр Реджинальд Роджерсон. Дородный медлительный англичанин заслуженно пользовался славой искусного лекаря, несмотря на то, что шепетильно избегал шарлатанских приемов и поражающих воображение лекарств медицинской науки своего времени.

Чуть ли не целый час осматривал и выслушивал сэр Роджерсон уложенного в постель морехода. Доктор заинтересовался приключениями больного, о которых ему рассказал Державин.

— Very well! ¹ Очень карошо... Горячий артрит!.. Он пил много виски и джин... Лечение? Строгий диэта и лежать, еще лежать и еще лежать — *conditio sine qua non*! ² Полезно выпустит немного кров... Лекарства? — задумчиво и сомнительно протянул Роджерсон. — Никакой лекарства... Давайте мне знайт здоровье этой славный капитан...

Две недели пролежал Григорий Иванович в красной гостиной державинского дома, борясь со смертью, притаившейся в натруженном сердце. Гаврила Романович, получив вечером того же дня через Аристарха представление о разыгравшихся на половине Ольги Александровны событиях и уверясь, что они ничем не

¹ Превосходно (англ.).

² Обязательное условие (лат.).

угрожают его личным отношениям с Зубовым, окружил своего сибирского дружка внимательным уходом.

Две недели от постели Шелихова не отходила ни на шаг определенная Аристархом в сиделки кружевница Варька, и сам Аристарх не упускал случая в каждую свободную минуту провести больного. Ежедневно, иногда и дважды на день, к нему заходил Гаврила Романович, урывая минуту от дел и гостей, не переводившихся в его хлебосольном доме.

— Лежи, лежи да помалкивай, Григорий... отдышишься, будет время — поговорим ужю... Я скажу Аристарху бруснички тебе подать, — с добродушной улыбкой торопливо бросал Гаврила Романович и исчезал на призывные звуки роговой музыки, доносившиеся до постели Шелихова.

В конце второй недели, когда Григорий Иванович начал уже вставать, к державинскому дому неожиданно и без приглашения подъехал сэр Роджерсон.

— Сидяйте, сидяйте, капитан, — дружески остановил он вставшего от окна навстречу ему морехода, — я хотел проверять, как ви здороф, и приекал... дать вам совет на дальши жить... Я нашел у вас сериозни беспорядок — еще один такой пароксизм и ви будете плавать в безвестни океан... Виски, джин ни-ни! Плавайте Америкэн — ни-ни!

После вторичного и последнего осмотра Роджерсон разрешил Шелихову приступить к делам.

— Какое, ах, какое здоровье поглотила ваша жизнь! — сказал англичанин, прощаясь со своим случайным пациентом и помахивая без всякого смущения связкой драгоценных шкурок белых песцов, поднесенных ему мореходом в благодарность за лечение и правдивый, как он сам смутно чувствовал, хотя и бесполезный прогноз.

Вечером того же дня к Григорию Ивановичу забрел, не зная, куда себя девать от скуки, Державин. Жизнерадостный поэт после смерти жены не любил оставаться один. Гости в этот вечер не было, он и решил навестить Шелихова.

— Наконец-то выдался свободный часок поговорить о плантах твоих, Григорий Иванович... С Платоном Александровичем, слышал я, ты все уладил. Пригодилась нить путеводная, которую я тебе в руки вложил, — говорил Гаврила Романович, заметно напирая на собственное «я». — Поедешь теперь в Иркутск, положи Америку в карман... Помнишь, обещал я тебе, Григорий, все получишь, чего душа твоя пожелает? На мое и вышло... Ну, расскажи-ка, расскажи, что от жмота молодого выцарапал... Ох, тяжел Платон Александрович, хуже гостинодворского лабазника... Таврический князь, покойный Григорий Александрович Потемкин, перед этим поистине водопадом щедрот изливался...

— Ничего не достиг я, Гаврила Романович... Читайте, вот! — и Шелихов подал Гавриле Романовичу извлеченную из кармана висевшего на кресле камзола тетрадь американского устройства, с наложенной поперек резолюцией Зубова.

— «По вы... высочайшему повелению... пред... предлагаю... ут... вердить», — еле разбираясь без очков, читал Державин. — Ишь, кутенок, сколь много на себя берет, силу, видно, чувствует... Скажи пожалуйста, как уверен, — ворчал, качая головой, Державин, но остался верен основному правилу своей жизни и с улыбкой сказал: — Не будем судить промысел божий, Григорий Иванович, нам что... наша изба с краю... Помнишь, ежели читал, стих мой «Вельможа»?

А ты, второй Сарданапал,
К чему стремишь всех мыслей беги?
На то ль, чтоб век твой протекал
Средь игр, средь праздности и неги?
Чтоб пурпур, злато всюду взор
В твоих чертогах восхищали,
Картины в зеркалах дышали,
Мусия, мрамор и фарфор?

Читая свои стихи, он их по моде времени почти что пел...

— Не любит Платон Александрович виршей моих — по сей день «Водопад» забыть не может. Страсть

ревнует он Потемкина! — и голосом, натужным от возбуждения, Гаврила Романович продекламировал пышную строфу, где было сказано о Фирсе. В этом Фирсе, сиречь Терсите, прославленном лгуне и трусе «Илиады», Зубов, захвативший власть, принадлежавшую Потемкину, якобы узнавал себя.

...Алцибиадов прах! — И смеет
Червь ползать вокруг его главы?
Взять шлем Ахиллов не робеет,
Нашедши в поле, Фирс? — увы!..

— Во-о, то-то и оно, Гаврила Романович! — живо откликнулся мореход, неожиданно обнаруживая способность к пониманию литературных выпадов Державина против зла, просачивавшегося через все поры народной жизни. — Все у нас в Фирсовых руках... лучше от них подале стоять и милости ихней не искать, не то они и Америку мою к своим рукам приберут, руки у них загребушие...

Державин, раскрывши рот, изумленно глядел на Шелихова.

— Опять ты ересь порешь, Григорий Иванович... Чужой кто услышит, по головке не погладит за этикие речи... А ты подумал про отечество свое, Русь-матушку, державу российскую? Сойдете вы на вольный берег, двести, пятьсот, ну, тыща удалых головушек. Кто вы, чьи вы, чей флаг над домами своими подымете? Губернии Нетевой, Тараканьего княжества, герб государственный — кистень с лаптем... Эх ты, Емеля! — пренебрежительно улыбнулся Державин, как государственный муж, поучающий стоящего перед ним дикаря. — Русское подданство тебя отяготило и твоих оглашенных с тобою... Нет, Григорий, в наш век нового царства не построишь с шайкой очуманелых добытчиков и беглых рабов... Если не соседний какой краснокожий царек вас перестукает, так англинцы заберут, испанцы, голландцы, любая из мореплавающих наций, имеющая подмогу с родины. Сумлеваюсь, чтоб они всех вас в губернаторы и купцы произвели, а если и пообещают для приманки, то все едино, только надоб-

ность минует, в солдаты, в матросы, в холопы поверстают безродных, безотечественных людей... Ей-ей, правду говорю!

По унылому лицу Шелихова Гаврила Романович видел действие своей отрезвляющей речи и охотно продолжал громить ересь, обуявшую человека, которым, по его мнению, могла бы гордиться Россия.

— Америка поделена... Америкой, Григорий, англичанцы владеют да новоявленная американская штатная республика... даже мы ее признали!.. Да кое-где испанцы еще держатся — этих не будем в расчет брать. Но англичанцы либо бостонцы беспрерывно вас сожрут, а Россия, отечество, скажет: «Туда им и дорога, изменникам и предателям отечественного интереса!» Неужели такой памяти добиваешься в потомстве, Колумб русский? — патетически воскликнул Державин, увлеченный собственным красноречием. — Забыл, что и твою державу аляксинскую защищать нужны пушки, солдаты, ружья, амуниция, огнестрельный запас — порох да пули!.. Кто же тебе их даст? Англичанцы, бостонцы, которым ты и сейчас бельмом в глазу сидишь? Или Россия, отечество, от которого ты отрекся? За англичанами стоит король и Англия, за бостонцами — Штаты Американские и их президент... Георгием Вашингтоном зовут, слышал про такого?

— Слыхивал, — вяло ответил мореход.

Гаврила Романович, сам о том не догадываясь, обнажил все затаенные шелиховские до конца не выношенные думы и одну за другой разбил, растрепал до пустой, как оказывается, середины. Как утопающий за соломинку, мореход ухватился за упомянутое Гаврилой Романовичем имя Джорджа Вашингтона, славного вождя недавней, победоносно закончившейся войны «бостонских» американцев за независимость обрабатываемой ими земли. Смогли же они сокрушить тиранию английских владетельных лордов...

— А как же, Гаврила Романович, разъясните мне, хлебопашцы, ремесленники и купцы на восточной стороне Америки побили генералов и войско английской короны, волю полную и права человеческие

себе и потомкам своим завоевали?.. За ними никто не стоял, а отечество ихнее, Англия, мачехой над ними изгалялось...

— На кого равняться вздумал, Григорий! Бостонцы двести лет терпели, силы копили... У них, когда они на мятеж поднялись, пять миллионов народу было, они в армию миллион набрали! — В понимании Гаврилы Романовича Соединенные Штаты Северной Америки, несмотря на признание их правительством Екатерины — в пику Англии, оставались сомнительным продуктом мятежа и измены. — Англия, — говорил Гаврила Романович, — в войне с французами чего только туда не навезла, какие только арсеналы и крепости там не воздвигла — пушки, амуниция, порох! Они изменой сколько добра захватили, выждали время подходящее. Вот чем бостонцы взяли! Только не верю я, чтоб они лучше нашего зажили... Заведутся через малое время и у них дворяне поместные, хуже будут менялы и лавочники, когда в знать вылезут... Помани мси слова, доживем — сам увидишь!..

Но лицо Шелихова вдруг просветлело, в глазах исчезли напряжение и задирчизая озлобленность. «Переломал ушкуйника», — с удовлетворением подумал Державин. А «ушкуйник», передумывая сказанное Державиным, сделал неожиданный для себя вывод: «Терпеть надо, силу копить, а там видно будет», — и радовался этой мысли, как ценной находке.

— Правильно, — воскликнул он, — вот как правильно сказали, Гаврила Романович!.. На всю жизнь и во всех делах вашим научением руководствоваться буду. Я и сам так думал, но до концов не добирался. Вовек не забуду!

— Нигде, кроме отечества, доли не найдешь, Григорий!.. Ты знаешь, я неправды не терплю... Через то и враги мои, сколь ни ярятся, не в силах меня погубить. Государыня знает, что не лжив язык Гаврилы Державина, и цепит за то, что сама говаривала — «горяч и в правде черт», за то же и к виршам моим снисходит и под защиту всегда берет! — И с плутоватой усмешкой Гаврила Романович, театрально взмахнув рукою в перстнях, проскандировал:

...Снисходишь ты на мирный лад,
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.

— Вот, учись, Григорий Иванович, — с неожиданной серьезностью сказал Державин. — Подвиги, истинно геройские дела в наше время тоже подавать надо, как вкусный лимонад... Жаль, не слышал ты, как Александр Васильевич Суворов о победах своих доклады-
вает — ку-ка-ре-ку!

— Перед кем же Суворов кукарекать о своей до-
блести принуждается? — наивно спросил не искушен-
ный в загадках жизни высоких сфер мореход.

— Перед самой... перед государыней-матушкой! —
живо ответил Гаврила Романович и, спохватившись,
добавил в пояснение: — Чудак он преестественный,
Александр Васильевич, всегда коленце какое ни на
есть выкинет... Ничего не поделаешь, братец, не лимо-
над, так квас подавай!

Гаврила Романович замолк, подумывая, не пора ли
на покой. Молчал и мореход, напряженно усваивая
столичную мудрость, преподнесенную его государ-
ственным другом.

— Завтра по делам своим направишься, Григорий
Иваныч? — спросил Державин, вставая с кресла. —
Будешь, конечно, перво-наперво добиваться к прези-
денту коммерц-коллегии графу Александру Романови-
чу. Без его внимания, хоть и расчеркнулся на нуждах
твоих Зубов, ничего не достигнешь. Затаскают, заму-
торят тебя коллежские ярыжки... Один Жеребцов чего
стоит — любое дело в чернилах, ежели захочет, уто-
пит. Разве что помилует в благодарность за разыгран-
ное тобой бегство Иосифа от жены Пентефрия, от
супруги его, Ольги Александровны... Кстати, знаешь,
кто за невежество твое, охальник ты этакий, распла-
тился? Гайдук Стенька, Степан, ражий малый, карету
за заднее колесо удерживал, и девка какая-то, горнич-
ной при Ольге Александровне ходила...

И Гаврила Романович рассказал финал, которым
закончились неистовства «бешеной мартышки», сестри-
цы блистательного фаворита Зубова.

— Девке косу обрезали и в деревню замуж за дурака горбатого выдали... За что надругалась над человеком бешеная мартышка, один господь знает! Вот так-то помещики безумные на нас народ поднимают! — с брезгливым возмущением воскликнул Державин. — А Стенька этот, когда его барыня приказала сдать в солдаты, ободравши розгами до костей, со двора бежал, да мало того, — Державин злорадно захохотал, — умудрился к дверям барской спальни — хорошо, она на ключ была заперта! — ножом писульку приколоть. А на бумажке написано: «Молись ключу, курва ненасытная, я же тебе Наталию вовек не прощу». Весь Петербург сегодня знает, чего сестрица Платона Александровича от холуя своего дождалась, а она, перепугавшись насмерть, две недели из комнаты не выходит — везде ей Стенька мерещится. На ночь караульных к дверям спальни приставляет и супругу своему, Ивану Акимовичу Жеребцову, милость вернула — в кровать — тьфу! — к себе укладывает. Всем губернаторам Платон Александрович, разгоревшись за сестрицу, самолично указ написал ловить — ищи ветра в поле! — Стеньку этого...

— Такого молодца я бы к себе на Алеуты передовщиком взял на полный пай, — с обычной несдержанностью отозвался Григорий Иванович, припоминая тоскливые глаза и растерянное лицо красивого малого, почти на руках донесшего его до возка.

— А я... я без шума в солдаты его сдал бы, — охлаждая морехода, внушительно ответил Гаврила Романович. — Пугачевщину не разводи, Григорий... Но пошли спать... Свети, Мишка!

Запахнув полы халата, Державин торжественно простествовал на покой.

Поглядев на закрывшуюся за ним дверь, Григорий Иванович задумчиво поскреб в затылке и подошел к окну... «Эх, скорей бы отсюда на волю, трудно здесь», — подумал мореход, вглядываясь в огромный занесенный снегом двор, залитый прозрачным светом зимней луны. То ли дело просторы океана, шумящего у берегов

Нового Света. Столпились на этих берегах, как суровые воины этой земли, красные горы в черных полосках ущелий и теснин, под белыми снежными шапками. Стоят, грозно курясь вулканическими дымками, покрытые до седой головы вековыми хмурыми лесами, сторожат проходы в глубь заповедной земли от непрошенных пришельцев. Горят над ними несказанные американские зори... раздолье, простор... Эх!

Махнув рукою, Шелихов отошел от окна и бросился на кровать.

2

Роскошный дворец президента коммерц-коллегии графа Александра Романовича Воронцова находился на правом берегу Невы, на Березовом острове, нынешней Петроградской стороне. В этот дворец, к графу Воронцову, стал собираться с утра Григорий Иванович.

Откушав утреннее кофе, заведенное Гаврилой Романовичем в подражание дворцовой моде, после которого следовало несколько мясных и рыбных блюд обычной барской кухни, Шелихов уже поднялся из-за стола, как неожиданно увидел входящего Альтести.

— С вас куртаж, неотменно куртаж получаю, крез американский! — как бы не замечая удивления Шелихова, затрещал скороговоркой грек. — Вы дом желаете купить, как сказывал мне Гаврила Романович и препоручил подыскать... Готово! Я, как Фигаро у славного французского комедианта Бомарше: «Фигаро тут, Фигаро там» — Альтести там, Альтести тут... Как и он, я не устану твердить: «Золото, боже мой, золото — вот в чем нерв всякого дела». У вас есть золото, господин Шелихов, — Альтести к вашим услугам, и любой дом Северной Пальмиры вы сможете купить через Альтести... Дом я подыскал вам на Васильевском острове, на самом подходящем месте — позади помещения Двенадцати, блаженной памяти государя Петра Первого, коллегий... Хозяйка его, секунд-майора Глебова вдова, после кончины супруга собралась в свою деревеньку на покой переезжать... И цена со

всем, что в нем есть — посудой, мебелью, коврами, картинами, совсем пустая... — Альтести остановился на мгновение, чтобы проверить впечатление своей речи на сибирском миллионщике, и, пуская в ход для вящей убедительности европейскую колониальную терминологию, эффектно заключил: — Для вицероя¹ российской Америки ничтожная цена. Сто тысяч рублей и мне куртаж пять тысяч...

— Не подойдет, Симон...

— Атанасович! — важно подсказал Альтести.

— Не по моему капиталу, Симон Атанасович! — решительно заключил Шелихов. — На приобретение в столице дома для Анны Григорьевны и моего зятя, господина Резанова, положил я двадцать... ну, от силы тридцать тысяч рублей — на все обзаведение...

— Если куртаж — пять тысяч остаются за мною, — без малейшего смущения отозвался Альтести, — глебовский дом ваш, господин Шелихов, за тридцать тысяч со всем, что в нем есть... Осмотреть в натуре хоть сейчас можно...

— По рукам, Симон Атанасович! — согласился Григорий Иванович. — На смотрины завтра поедем. Сейчас я на дом к графу Воронцову, Александру Романовичу, собрался. Не хочу откладывать. Закончу дела компанейские, домашним черед придет.

— Так, очень хорошо-с, — понимающе закивал Альтести, — я, как Фигаро, мной помянутый, всегда на месте, всегда во-время. Вот, извольте получить! — картинно изогнувшись, чему немало мешал благоприобретенный на русских вольных хлебах живот, Альтести подал мореходу свернутый в трубку зубовский указ о пожаловании золотой медалью на владимирской ленте правителя российских американских колоний, приписанного к якутским третьей гильдии купцам из каргопольских государственных крестьян Александра Андреева Баранова. — Не забыл я вашего ходатайства, господин Шелихов, и хотя Баранов оный посажен на место моего друга Евстратия Деларова, каждо-

¹ Вице-короля.

дневным напоминанием Платону Александровичу так наскучил, что... Вот каков Альтести-Фигаро!

Прикинув в уме, во сколько следует оценить улыбку удовлетворения, появившуюся на лице морехода, Альтести вкрадчиво добавил:

— Полагаю, что не ошибусь, Григорий Иванович, положив на ваше усмотрение за бумажку сию шесть бобров морских на шубу себе и жене моей двадцать лис огневок...

— Ладно! На этом не постоим, Симон Атанасович, — царскими мехами ублажусь, — добродушно согласился Шелихов, восхищенный ловкостью и отважной наглостью стамбульского деляги. — Вот, выбирай сам, по своему разумению, какие понравятся! — показал мореход на стоящие в углу кожаные мешки с мягкой рухлядью.

Не ожидая такой сговорчивой щедрости, Альтести решил до конца использовать благоприятный случай.

— Браво, брависсимо, мой американский благодетель. Дозвольте Симону Альтести быть до конца бесчестным... Господин Бомарше прямехонько в меня метил, когда сказал: «Если от слуги требовать честности, то много ли найдется вельмож, достойных стать лакеями?!» Держава российская на вельможах стоит, возможно ли перевести столь драгоценную породу через разведение честных слуг? Избави бог! А посему дозволейте просить еще двадцать песцов серебряных на халат зимний — никак к холодам здешним после солнечного Стамбула не приспособлюсь... И не подумайте, что задаром прошу, не послужив вашему интересу... Вот!

Альтести жестом доброго волшебника протянул Шелихову второй указ и на этот раз уже председателю адмиралтейств-коллегии суровому шотландцу адмиралу Самуилу Грейгу. Этим указом американской компании Шелихова предоставлялось право вербовать на свою службу волонтерами офицеров русского военного флота, с сохранением за ними мундира, сроков службы и права на пенсию.

— Довольны?!

— Бери песцов, Симон Атанасович, бери чего на-

до! — коротко ответил Шелихов, понимая, на какую крепкую ногу становится дело новоустройстваемых колоний. В военном флоте было немало знающих, сильных в своем деле и отважных командиров, закаленных в непрерывных войнах с Турцией, Швецией, Пруссией. — По вашим большим знакомствам, Симон Атанасович, вы всех и вас все в столице знают, укажите, где кораблестроителей и штурманов нужных в Охотское и Америку искать... В долгу не останусь...

Альтести, несказанно довольный русской, помноженной на сибирский размах щедростью морехода, отбирая добротных песцов на халат, с величайшей готовностью ответил:

— Чего не сделаешь для хорошего человека! Десять червонцев с головы — и через три дня завербую вам десяток охотников на Америку... Подходит?

— Голова на американских берегах червонцев стоит, Симон Атанасович... в Петербурге контрактов десять подмахнут, подъемные и поверстные получат, до Охотского пятеро доедет, а увижу ли кого в Америке?.. Матросов, промышленных, ремесленных и сошных вербовать доводилось и чем удержать знаю, а господ офицеров, да еще из дворян...

— Не сладка Америка, господин Колумбус, в вашем рассуждении, — расхохотался Альтести. — Но мы дезертирство отсечем — вы заплатите мне десять червонцев в Петербурге за добровольную голову, сданную компании высочайшим указом по адмиралтейству: «Сим повелеваем для пользы отечественной откомандировать с сохранением...» За таким ордером господам волонтерам, — вы им, конечно, предоставите двойной оклад по чину и паевой интерес, — за таким ордером податься некуда, кроме как по разжаловании рядовым в сибирские полки... Я не вельможа — посулами торговать... Слово Альтести — дело чести! — самодовольно сказал грек.

— Быть по-вашему, Симон Атанасович. Плачу против указа! — согласился Шелихов, уверовав в ловкость и всемогущество пролазы, столь третируемого Зубовым.

Такая запродажа людей казалась мореходу обык-

новенной торговой сделкой, а оговоренная гарантия придавала ей характер государственной поддержки и необходимой солидности. Вербовка — он знал, что такое вербовка! Завербованные в Охотском промышленные, получив задатки и все пропив в кабаках, отказывались грузиться, выбегали голыми на мороз, шумствовали. Приходилось охотского коменданта Готлиба Коха просить оправдать подписи. На пропойцу наденут компанейское казенное платье, завяжут в мешок либо закуют в оковы, загонят на корабль — и плыви, куда деньги брал. Коменданта даром не побеспокоишь, с головы тоже платить приходилось.

— Сорок червонцев за вами уже сосчитал! — уверенно сказал Альтести, он находил еще менее предосудительной заключенную сделку. — Лейтенант Быкадоров и мичман Дубяга, два славных Аякса балтийского флота, храбрецы и преотчаянные дебоширы. Сколько они галер шведских брандерами в шхерах пожгли — за этих людей, что в Америку уйдут, и со шведов взять не грех! В долгах они по уши. Эти хоть завтра репортры на Америку подадут, — Альтести загнул два пальца на руке. — Теперь мичман Талин — три! Наплавков, провиантмейстер, человека кулаком убивает, но поедет — под следствием он, с господином Шешковским политические неприятности. Это уже четыре! А то есть еще вице-адмирал — Мордвинов, Николай Семенович, кораблестроитель¹... Этот для вашего дела пятерых стоит... Аккуратный, чисто англичанин, и в Англии учился! Уволили его за попустительство матросне и мастеровщине. А корабли строить хочет по своим прожектам — быстроходные, многопушечные, да ходу ему нет в адмиралтействе. Кроме Грейга, все адмиралы в подрядчики пошли, потому и флот наш, как государыня на кронштадтском смотре изволила сказать, только для ловли сельдей пригоден... Мордвинов золотой человек, за него, чтобы сманить к вам, Григорий Иванович, — уговор дороже денег, — меньше пятидесяти червонных согласиться невозможно...

¹ Видный в дальнейшем, в царствование Александра I, государственный деятель, пользовавшийся славой либерала и антикрепостника.

— Ладно, ладно, господин Альтести, за нужных людей не постую надбавкой. Мордвинова беспрерывно уговорите, чтоб в Америку просился, там он за короткое время, обещайте, разживется... За каждое спущенное со стапелей судно две тысячи наградных в контракте подпишу, так и скажите! Мне простите, Симон Атанасович... спешу дела намеченные до вечера опра-
вить...

Шелихов явно торопился с отъездом, он хотел за-
стать президента коммерц-коллегии на дому. Но Альтести еще не исчерпал ассортимент возможных услуг и имеющихся у него товаров. Человек, ежели правильно о нем понимать, по мнению Альтести, самый ходкий и самый дешевый или дорогой, смотря к чему предназначается, товар. Стамбульская профессия и петербургская практика в доме патрона Зубова навсегда убедили в том Альтести. Богатые турки, левантийские и французские купцы, английские лорды и русские бояре — все они на один покрой шиты и до гурий охочи, и этот сибирский купец, раз миллионщиком стал, должен тяготеть к сладчайшему из наслаждений.

— В Сибири... Сибирь... — запинаясь говорил Альтести, вплотную подходя к мореходу и не сводя с него глаз, — бедна Сибирь радостями жизни, Григорий Иваныч. Нет у вас цветочков таких, чтобы голова от них кружилась, душа умилялась благоуханием невинности, белизной лепестков, негой. Вместо роз и фиалок у вас остячки, бурятки, алеутки. Для чего жить человеку, если дано ему красоту и чувство ценить? Тяжело среди сибирской дикости, и потому хочу вам предложить гувернантку.

— Губернатку?! Хватает и без них начальства, на кой она в нашем торговом деле? — удивился Шелихов, с беспокойством следивший за словесными петлями Альтести.

— То есть как это начальство? — в свою очередь изумился Альтести. — Не начальство — девицу, нежную, всеми изяществами украшенную, которая сама начальства и покровителя искать причуждена, в дом предлагаю... Государыня по проекту Ивана Ивановича Бецкого «Воспитательное общество благородных

девиц» учредила — новой породы женщину выводят, — они и на клавикордах обучены и танцы придворные танцуют, в живых картинах богинь и нимф мифологических во всей прельстительной натуре изображать привычны, по-французски даже меж собой изъясняются, а в остальном... богатые и знатные замуж выходят, а бедные и сироты, предназначенные для обучения детей и смягчения родительских нравов, места ищут в хороших домах, а дальше... дело хозяйское! Люди высокопоставленные в призрении иных сирот, бывает, особо заинтересованы и очень даже милостями и покровительством отблагодарить могут... Вы видали в кабинете Платона Александровича портрет девиц Чоголовой и Шепелевой? Премиленькие! Выбирайте любую, а все остальное препоручите мне... Понимаете?

— Понял, все понял, господин Альтести! — сказал Шелихов. — Не гожусь я для такого... и жену мою Наталью Алексеевну обидеть не хочу. Дочку замуж выдал, внуков ожидаю, и вторая в невестах ходит, а сын... сыну на мифологической девице жениться не позволю. Не подошел товар. Прощевайте, Симон Атанасович! — Ссориться с опасным и блудливым пройдохой он не хотел, но предпочел, если на то пошло, отказаться от чьих угодно милостей и благоволения, но не допустить проникновения столичной заразы в дом, в свою семью.

Но, раскланиваясь, Альтести спохватился:

— Да! Еще хочу вам дать совет, господин мореход: заканчивайте дела и поскорей домой выезжайте. Ольга Александровна, — не употребите во зло доверие, — разлутывалась на вас, выезжайте скорей... Каждый день она нивесть что на вас Платону Александровичу выдумывает и Ивана Акимовича, супруга своего, разжигает...

Не пристроив зубовских «гувернанток», Альтести решил выслужиться перед своим всемогущим патроном с другой стороны. Давно научившись разгадывать желания и тайные помыслы его, умный грек видел, что проживание морехода в столице внушает Зубову какое-то беспокойство, и правильно разгадывал его причину. Зубов знал неудержимую любознательность го-

сударыни, любознательности этой и годы не положили предела, и потому боялся услышать в один прекрасный день благосклонно-материнское:

— А почему вы до сих пор, *mon petit poucet*¹, не хотите показать мне американского медведя, о коем так много, со всех сторон слышу, говорят в столице? Неужели не приведешь ко мне человека, столь заслуженного перед отечеством?

А медведь, это признавал и Зубов, на женский вкус занятен и на язык не туп, да если бросится в глаза сходство с Алешкой-кулачником (Зубов презирал, но и боялся всех Орловых, особенно Алексея вместе с его братом Григорием, столь близким в молодости Екатерине и восхождению ее на трон), — вот и конец головокружительному счастью, упоению славой и почетом, золотому дождю!

Ревнуя только к этим атрибутам жизни, — ревновать царственную покровительницу как женщину Зубову не приходило в голову, — временщик готов был на все, чтобы Шелихов поскорее отправился восвояси.

— Уезжайте скорей, Григорий Иванович, с глаз сойдете — все забудется, — продолжал Альтести. — Ольга Александровна и Америку под злостью своей может схоронить! Уезжайте, чтоб худого чего не вышло, а я на себя комиссию от вас приму проверить, что поручите... Вознаграждением, ласкаюсь, не обидите, не таковский вы человек!

Мореход задумался. Ольга Александровна и особенно ее всесильный брат, если он станет на ее сторону, и впрямь могут навсегда закрыть ему дорогу в Америку, одним мановением перста зачеркнуть труды всей жизни, превратить в обломки кораблекрушения созданное нечеловеческими усилиями благосостояние и даже самую память о подвиге его жизни.

— Спасибо за упреждение, Симон Атанасович! — просто сказал Шелихов, не понимая причин доброжелательства Альтести. — Зажился я в столице, пора и честь знать. Благовещение не за горами, а там и Пасха, — после Святой на Сибири реки тронутся, по вес-

¹ Мальчик с пальчик. (франц.).

не и летом путя у нас нет... Пора, ох, пора! И соскучил я, да и боюсь на чужой стороне навсегда остаться, — простодушно проговорил мореход, впервые выдавая закравшуюся в душу мысль о смерти, о которой никогда не думал ранее.

Григорий Иванович извлек из-под подушки заложенную в головах изрядную кожаную сумку и прикинул на руке вес одного из мешочков, вытащенных из нее.

— Возьмите, Симон Атанасович, песочку... золотого, самородного. Червонцев на пятьдесят будет в нем — это за совет ко времени.

У Альтести разгорелись глаза. Схватив мешочек с золотом и забросив за спину охапку отобранных мехов, перевязанных мочалою, бормоча слова благодарности, он задом стал пятиться к дверям, как бы боясь, что хозяин в последнюю минуту разгадает механику его нехитрых фокусов и отнимет незаслуженно брошенную богатую подачку.

Вошел Аристарх и растерянно отступил перед двигавшимся на него меховым чучелом. Но, разглядев под шкурами оливковое лицо Альтести, укоризненно закачал селой головой.

— Сколько дворов хрестьянских под себя закупит, бусурман некрещеный! — с сердцем буркнул старый дворецкий. Он упорно считал Альтести турком и не верил в принадлежность его к греческой церкви. — Лошади поданы, Григорий Иванович!

3

Как только грек ушел, Шелихов сунул за пазуху поддевки оба указа и выехал к Воронцову на Березовый остров.

Великий зодчий российского барокко Варфоломей Растрелли Младший за полвека до того отстроил дворец Воронцовых. Род светлейших князей Воронцовых исчез с лица земли, монументальное создание гения Растрелли осталось.

Родитель Александра Романовича, граф Роман

Илларионович Воронцов, имел прозвище «Роман — большой карман». Он обставил свой дом с умопомрачительной роскошью. Под защитой своего младшего брата Михаила Илларионовича — великого канцлера и под сенью старшей дочери Елизаветы, всесильной фаворитки скудоумного голштинского блазня Петра III, «Роман — большой карман» прославился как один из наиболее бесстыдных и неумных лихоимцев того времени. Безнаказанно обделявая самые вопиющие беззакония, он составил огромное состояние для своего рода.

Александр Романович был воспитанником своего бездетного дяди-канцлера, женатого на графине Анне Скавронской, двоюродной сестре императрицы Елизаветы. Анна приходилась родной племянницей жене Петра I Екатерине Скавронской. Петр I при короновании Екатерины императрицей издал указ, по которому крестьянский род Скавронских возводился в графское достоинство. Александр Романович отличался в своем роду тем, что, оберегая права просвещенного собственника пятидесяти тысяч крепостных душ и трехсот тысяч десятин земельных владений, с многочисленными заводами и фабриками, питал непобедимое отвращение к ужасам французской революции. Но в то же время, вместе с младшим своим братом Семеном, удачливым дипломатом, безвыездно прожившим вторую половину жизни в Англии на посту российского посланника, — оставался страстным поклонником французских просветителей и английского политического устройства. В окружавшей трон толпе «ловцов счастья» Александр Романович выгодно выделялся широтой кругозора, отсутствием угодливости и независимостью мнений и образа действий.

Он был непримиримым противником многочисленных «воспитанников» государыни-матушки и особенно последнего из них — Зубова, сочинившего по адресу обоих братьев Воронцовых презрительную кличку «ан-гло-маа-ны», благосклонно принятую императрицей. Александр Романович вызывал к себе особенно холодное отношение государыни тем, что покровительствовал Радищеву — «бунтовщику хуже Пугачева». Екатерина была совершенно убеждена, что Радищев

издал свое «Путешествие» по наущению Александра Романовича. Переписка между государственным преступником и президентом коммерц-коллегии не могла остаться для нее секретом. Знала Екатерина и о том, что Воронцов посылает Радищеву книги, а равно оказывает «илимскому злодею» и его семье материальную помощь.

Шелихова, когда он по расчищенному от снега широкому полукругу подъехал к монументальному портику дворца Воронцовых, удивил аккуратно подстриженный на английский манер какой-то заиндевевший кустарник и еще больше поразило отсутствие снежных сугробов, заваливавших путь к дому Державина, дворцу Зубовых и, как он успел заметить, проезжая по городу, к большинству барских дворцов и особняков. Лакей в черном фраке и атласных шоколадного цвета штанах по колено, ниже — белые чулки и туфли с кожаными пряжками, лицо дородное с какими-то волосьяными котлетами на щеках и начисто выголенным подбородком, — таких никогда еще не приходилось выдывать мореходу, — привел его в полное замешательство.

— Как доложить прикажете? — вежливо, но без всякого подобострастия спросил чернофрачный слуга.

— Шелихов... иркутский первой гильдии купец... касательно американской торговли и с письмом... — Григорий Иванович запнулся и не назвал имени Радищева, — с доверительным от известного его сиятельству лица письмом...

Ловко и спокойно освободив морехода от белой медвежьей шубы, слуга не спеша потянул к себе несколько раз бронзовую грушу шнура. Шнур вел наверх, к звонку.

— Господин Шелихов, иркутский первой гильдии купец, с письмом доверительным к его сиятельству! — передал он мгновенно появившемуся на верхней площадке такому же чернофрачному лакею. Верхний исчез, не взглянув на ожидающегося внизу посетителя.

Как бы приглашая подготовиться к долговременному ожиданию приема, слуга с молчаливым поклоном пододвинул Григорию Ивановичу один из стоявших у

стены английских гнутых стульев. Но в этот раз разрешение на прием последовало из графского кабинета с неожиданной для нижнего лакея быстротой.

— Просят! — крикнул сверху его двойник и, отойдя от мраморной балюстрады к дверям, окаменел. Двери вели во внутренние покои дворца.

Идя впереди внушительного по осанке посетителя, слуга, миновав несколько комнат, понравившихся Григорию Ивановичу подчеркнутой строгостью и добротностью убранства, остановился и, не подавая голоса, дважды легко стукнул в дверь кабинета его сиятельства.

— Come in!.. Войдите! — пригласительно прозвучал за дверями сухой, как будто не русский голос. И не раньше, как услышав это, вымуштрованный слуга открыл дверь и посторонился, пропуская морехода.

Войдя, Григорий Иванович размашисто поклонился по направлению к окну, у которого, спиной к свету, стояли две фигуры. Одна из них, принадлежавшая высокому, сухощаво-стройному, пожилому человеку с холодными и властными серыми глазами, сделала как бы шаг навстречу, придерживая откинутой назад рукой порывавшегося уйти собеседника.

— Чем могу быть полезным... первой гильдии купцу Шелихову? — спросил президент коммерц-коллегии морехода тем же сухим голосом иностранца, говорящего по-русски. — Вам некуда спешить, Федор Васильевич... останьтесь! У меня, прошу вас, и отобедаете... а пока не откажите мне разделить удовольствие беседы с нашим прославленным мореплавателем и негоциантом... Вы же сами рассказали мне столько чудес об его приключениях и *drôles sorties de notre saraïou*¹ на вечере у нашего отечественного Пиндара² Гаврилы Романовича... Неужели вам не любопытно самому побеседовать с виновником пылких чувств сестрицы Платона Александровича, разрешившихся таким финалом? О нем только и говорят в Петербурге.

В румяном, рослом гвардейском офицере с пышны-

¹ Смешных выходках нашей мартышки (франц.).

² Знаменитый античный одописец.

ми черными усами Шелихов узнал одного из гостей на памятном вечере у Державина. Столь печально прославившийся впоследствии генерал-губернатор Москвы 1812 года Федор Васильевич Ростопчин не имел еще в то время графского титула и ничем по существу не отличался от любого из «ловцов счастья». В последние годы Ростопчин, предусмотрительно заглядывая в будущее, сблизился с самой опасной в России того времени партией цесаревича Павла Петровича, опасной по явно враждебному отношению царицы-матери к своему сыну и наследнику престола. Аристократическое пренебрежение Воронцовых к альковным тайнам двора сближало их поначалу с Павлом Петровичем и людьми, ждавшими восшествия нового солнца на небе Российской империи. Поэтому Ростопчин предпочитал в глазах света держаться умеренной фронды воронцовской партии и не упускал случая мазануть дегтем зубовский герб.

— Не смею отказать себе в удовольствии отобедать, ваше сиятельство, у вас, — выдержав этикет, охотно согласился Ростопчин, тем более, что политические настроения Александра Романовича привлекали его. — Не расскажете ли вы, любезный, что там у вас произошло с Ольгой Александровной? У Гаврилы Романыча вы в один вечер лишили лорда Уитворта плодов многолетних усилий, — с небрежной благоклонностью, желая позабавить чопорного Воронцова скандальной «зубовщиной», обратился Ростопчин к Шелихову.

Григорий Иванович оправился от первоначального смущения и, правильно угадав, какого полета птица этот блестящий, надутый ненавистной ему барской спесью офицер, ответил резко и холодно:

— Не пойму, ваше высокородие, чем интересуетесь... Я занимаюсь торговлей и мореплаванием и потому ничего промеж меня с Ольгой Александровной произойти не могло... В людских не сижу, слушков не собираю...

— Потом, Федор Васильевич, потом об этом... Господина Шелихова привело ко мне, я полагаю, важное дело? — примирительно и сдержанно потушил Алек-

сандр Романович готовую вспыхнуть ссору. Воронцову понравилась богатырская фигура, смелое и открытое лицо морехода. К Ростопчину, которого злые языки города называли «первым человеком воронцовского двора», его сиятельство не питал ни уважения, ни симпатий, хотя всегда любезно усаживал за стол.

Григорий Иванович молча подал президенту коммерц-коллегии тетрадь с изложением нужд новооткрытых земель и хозяйничающей на них компании, а также оба полученных через Альтести зубовских указа.

— Это все? — холодно спросил Воронцов, успев прочитать размашистую резолюцию Зубова о выдаче шелиховской компании ссуды в двести тысяч рублей.

— Все-с! — сдерживая голос, с холодком в сердце ответил Григорий Иванович. Но потом с подкупающей искренностью добавил: — Ни при чем я здесь, ваше сиятельство, видит бог — ни при чем! Сам не ожидал такого пустого... Разве в моем деле деньги... не одними деньгами решается оно... Я ищу, чтобы поклониться родине, России-матушке, как Ермак Сибирью, американской землей, а Платон Александрович, не выслушав, не расспросив даже, где и какая она, за двести тысяч от англичан откупать меня восхотел... А управитель ихний, Альтести-грек...

Слушая неискушенного в искательном красноречии морехода, Александр Романович несколько смягчился, а слова о каком-то откупе от англичан нескрываясь заинтересовали его.

— Ваши странствования и открытия хорошо мне известны по вашей попытке четыре года назад получить поддержку и от брата моего Семена Романовича. Ему, как посланнику нашему в Англии, они немало хлопот причинили... Англичане весьма ревнивы, — они, как собака на сене, того отдать не хотят, чего и сами съесть не в силах. Я хорошо знаю положение дел в Америке: вся она федеральным штатам через небольшое время будет принадлежать, но это отказа нашего от участия в судьбах Нового Света обозначать не может... Экспедиция Беринга пятьдесят лет назад единственно установила, что узкая протока, разделяющая оба света, не позволяет утверждать, где кончаются

владения российские и рождаются права английские на Новый Свет... Расскажите, Григорий Иванович, — я не ошибся в имени вашем и отчестве? — Воронцов любил блеснуть знанием людей и всеудерживающей цепкой памятью, — расскажите о планах и предположениях ваших. Как понимаете вы первоочередные наши нужды на Великом океане?

— Все соображения, посильно разуму моему, изложил я в тетради, поданной вашему сиятельству. Будущие времена добавят, что упустил я, не додумав, а мне... мне господь и русские люди простят! На медные учен, ваше сиятельство! — воскликнул Шелихов, весь всполохнувшись каким-то внутренним светом.

— Но все же... — поощрительно настаивал Воронцов.

— Народ знает свою дорогу, ваше сиятельство... Простите, если что не так скажу! — собираясь с мыслями, велеречиво начал мореход, но постепенно, успокоенный молчаливым вниманием сановного хозяина, заговорил просто и горячо. — На Великий океан издавна устремилась Русь, на нем ей и придется встретиться со всеми нациями, став первой среди них, а у нас сейчас, окромя замерзлого Охотского, и гавани на нем нет, — беспомощно развел руками Григорий Иванович. — Гавань в первую голову нужна, ваше сиятельство! Гавань, откуда можно было бы флоту российскому на просторы морские выйти — на Китай за чаем и шелками, на Индию алмазную, на сахарные острова Филиппийские — за сандалом и китовым усом, на жемчужные Гавайи и в наши — по всем правам наши они! — мной открытые земли американские, где сами в руки идут золото, руды медные самородные, уголь земляной, кость моржовая, а бобров морских бесценных, сивучей и нерпы больше, чем гусей у нас. Гавань нужна, адмиралтейство поболее петербургского — корабли океанические строить, склады для товаров, жилья человеческие... В Охотском по сей час, как медведи, в ямах живут! — закипая горечью при воспоминании об отечественном убожестве и дикости, гремел мореход возбужденным голосом.

Граф Александр Романович с возрастающим инте-

ресом присматривался к такому невиданному им среди русского купечества человеку.

— И гавани этой еще Васька Поярков¹, на якутских плоскодушках по Лене, Алдану и Зее на реку Амур с боями продравшись, в горле амурском место указал... Полтораста лет легло после этого дела, а мы из охотского гнилого кута на вселенную дорогу не вышли!

— Трудное это дело, Григорий Иванович, — задумчиво отозвался Воронцов, — не можем мы дружбу и договоры наши с Китаем нарушить...

— Китай на левый берег и носу не показывает, ваше сиятельство, а реку — вольная она и широкая — пополам разделить без ссоры и обиды мочно...

— Ведь, пожалуй, Шелихов прав... Вы как думаете, Федор Васильевич? — И, не ожидая как бы само собой подразумеваемого положительного ответа, граф продолжал: — Гавань на Амуре... этим надо заняться...

— Против горла амурского раскинулся Черный остров, по китайскому Кудедао, — загорелся Шелихов надеждой вовлечь Воронцова в круг своих мыслей, — издавна живут на нем и промышляют русские люди... На Лаперусовой лоции, снятой мною у господина Лессепса, когда он через Иркутск в Европу проезжал с известиями о кругосветном славном плавании, начертан на лоции протоку между островом — Сагалином Лаперус его называет — и японским Мацмаем... Сагалин этот и Курильские острова — на них Михаила Стадухин при Алексее Михайловиче пришел — особливо надо беречь и нашими заселить. Кто их держит, тот хозяином океана и дорог в Китай, и в Индию, и в Америку сидит. В Охотское ли плыть, из Охотского ли флоту выходить — Курилов не минуешь, за горло схватят! Люди тамошние, курильцы бородатые, безобидный народ, только вот соседи наши по Курилам японцы — сомнительны. Об Японии забывать никак мы не должны! Воровские люди, самураи двусабельные, на Нифонских островах сидят. Горды и злобны, жадны!

¹ Видный сибирский землепроходец середины XVII века.

без меры, от всего света отгородились и всякого, кто к ним случаем попадет, через плен и муки живота лишают.

С Японией, не пропускавшей ни на каких условиях компанейских кораблей на Макао и Кантон — единственные порты, открытые тогда Китаем для торговли с иностранцами, у морехода были давние счеты и о характере правящих ею самураев сложилось самое неблагоприятное мнение.

— Японию отомкнуть должно и нам за нею в оба смотреть — эта земля и владельцы ее многой крови и горя отечеству нашему причинны будут... Крепкого человека наслать на них надо бы! — говорил Шелихов. — И таких же людей, знающих торговлю и иностранные обычаи, повсюду послать, консулами на узлах мировых посадить, конторы консульские, российские, во всех приморских больших городах, особливо на Великом океане, немедленно открыть... Как безотцовские мы, ваше сиятельство! Доберемся, обманувши Японию, или на корабле под звездастым американским флагом, а не под славным Андреевским крестом, — доберемся до Кантона, а было, что доходили и до Каликутты — и... стоп! — ищи голландца, или англичанина, или китайца, чтоб товарами русскими торговать...

Деловой размах русского купца нравился Воронцову. Он не хотел отрицать за ним и государственного понимания судеб России, русских интересов на Великом океане, представившихся сейчас и ему самому в таком неожиданном и во многом новом свете. Граф Воронцов был в восхищении от беседы с этим русским самородным умом. Но президент коммерц-коллегии ее величества прекрасно знал направление, которого придерживалась в вопросах колониальной политики в экзотических странах государыня.

Раздарив два миллиона русских и украинских мужиков «воспитанникам» и другим людям случая, она, набожно поминая имя Жан-Жака Руссо, строжайше повелевала обращаться справедливо и милостиво с курильцами, алеутами и индейцами, даже самоядью и чукчами, не задевать гордости японских даймио и миролюбия китайских ямыней, хотя проверкой таких

указов, как и проверкой счетов за празднества, интересовалась она мало.

— Вы объявили о письме, Шелихов, которое имеете мне передать? — спросил президент коммерц-коллегии, чтобы выиграть время для ответа, достойного своего государственного положения. — От кого письмо?...

Григорий Иванович, метнув глазами в сторону Ростопчина, что не укрылось от взора Александра Романовича, отвернулся, бормоча себе что-то под нос, и в замешательстве, распустив гашник, стал доставать письмо Радищева из вшитого в напускные шаровары потаенного кармана.

— Извольте получить в целости и сохранности, ваше сиятельство! — подошел он к Александру Романовичу с изрядно помятым секретным письмом.

Увидев руку покровительствуемого «преступника», Воронцов понял, почему Шелихов, недоверчиво метнув взор в сторону Ростопчина, не назвал имени письмотателя. «Да он совсем умен, этот увалень, и разумно осторожен... такому можно вполне доверять!» — с удовольствием убедился Воронцов лишний раз в своем тонком нюхе на людей. Шелихов оказался человеком, вполне заслуживающим симпатии и внимания.

Александр Романович не имел нужды скрывать от Ростопчина письмо, полученное от Радищева, но не хотел упустить случая выявить невинный характер переписки, тем более, что письмо уже было в его руках. Избегая излишних прикосновений — кто знает, где хранил его сибирский медведь, — Воронцов быстро надорвал конверт и, извлеки письмо, бросил конверт на стол.

— О, целый трактат! Почитаем, что нам Александр Николаевич из недр сибирских сообщает, — с несколько принужденной полуулыбкой, холодным тоном ронял Воронцов, пробегая строки письма глазами — «...с получением милостивого в Новгороде указа, снявшего с меня оковы, благоденствия ваши не перестают меня преследовать. Вот чем я обязан вашему сиятельству...»

— Преувеличивает Александр Николаевич... Как христиане, мы должны сострадать ближнему, всякий

на моем месте так же поступил бы, зная бесконечное милосердие государыни, — неохотно припоминал Воронцов безрезультатное заступничество за Радищева перед разъяренной царицей.

Воронцов знал, что его за вмешательство в радищевское дело едва терпят при дворе и часы его государственной деятельности сочтены.

— Мечтателем всегда был Александр Николаевич, обширный разум имел и сострадательную душу... Сколь ни разъяснял ему заблуждения, в коих он вращался, не слушал меня, а сейчас вот каяться пришлось... Да, ах, поздно!

— «...вам свойственно было прощать и снисходить на странности моя голова и быть к оным терпеливым...» — продолжал Воронцов чтение письма. — Так!.. Э-э... так... так... О тщете своих устремлений попрежнему философствует Александр Николаевич, но рад и тому, что каторгой от виселицы откупился... А какая надобность, скажите, в этом была? — счел нужным отмежеваться от радищевских lamentаций рассудительный и благоразумный Александр Романович и, обращаясь к Шелихову, добавил как бы между прочим: — Радищева намечал я из Петербурга услатить к вам, Григорий Иванович, на океан, Алеутские острова, в Америку, укрепить русское дело таким умом, вдохнуть в него огненную душу, да вот... Досадно, ах, как досадно! — и снова стал читать письмо: — «Рыба красная рубль двадцать копеек пуд, масло...» Так... так... Дешева в Сибири жизнь, Григорий Иванович, без денег можно сытым быть... Ага, вот и про вас господин Радищев отписывается!.. Федор Васильевич! — привлекая внимание Ростопчина к невинному содержанию письма, намеренно четко прочел Воронцов по-французски несколько фраз, не замечая, что мореход не понимает французского языка.

— Простите, ваше сиятельство, по-англински малость разбираюсь, навыв в странствованиях, а французскому — господский язык — не обучен, — проговорил Шелихов, опасаясь сказать что-нибудь невпопад на обращенное к нему чтение.

— Что же вы молчите, этакий... простодушный, —

подосадовал Александр Романович на потерянное время. — Александр Николаевич опять о делах ваших пишет, напоминает о задуманной вами экспедиции для отыскания северного прохода из Сибири в Европу. — И, пробежав страницу глазами до конца, Воронцов строго спросил, обрывая чтение: — Откуда вы стали знакомы господину Радищеву, Григорий Иванович? И почему он о делах ваших осведомлен, хотя бы об этом полковнике Бентаме, с которым у вас какие-то недоразумения по корабельным делам были и который тем не менее желает вам и солдат отдать — своих... английских, конечно? — для каких-то завоеваний... Чего? Кому? Америке, что ли? Чем вы обидели полковника Бентама, Григорий Иванович, так обидели, что из-за него и брату моему, посланнику в Лондоне, огорчаться приходится?

— Виноват, ваше сиятельство, из Колымы в Архангельск дорогу сыскать не собрался, а по Америке из Восточного океана в Атлантический разыскать проход Баранову приказание дал... там оно легче... Что касается полковника Бентама... — Шелихов понял, что президента коммерц-коллегии более всего интересуют его встречи с полковником Бентамом.

От Бентама мореход чаще, чем от других иностранных соперников, выплывавших из просторов Великого океана, выслушивал за стаканом дружественно распиваемого грога предложения о переходе на службу английской короне. Бентам, ссылаясь якобы на банкротство, очень легко отказался от своих прав на совместно построенный в Охотске галиот и даже отдал в полное владение Шелихову корабль вместе с английским капитаном. Злоумышлял, англичинская собака! Но Григорий Шелихов, — старого воробья на мякине не проведешь, — разгадал неладное, не дался в обман — корабль взял, а штурмана английского, снабдив деньгами, на родину отправил.

— Было такое, ваше сиятельство, в океанском моем житье-бытье было, и на Алеутах и на американском берегу случалось... — неопределенно сказал Шелихов, объясняя недоразумение, возникшее вокруг корабля и снятия с него английского штурмана.

Григорий Иванович, описав обстоятельства и обстановку знакомства своего с Радищевым, не только рассказал обо всем, ничего не утаивая, вплоть до последнего разговора с Державиным в Петербурге, но и позволил себе пренебрежительно, весьма к месту и на строению слушателей, отозваться об отношении графа Зубова к Америке.

Небрежность Зубова, проявленная к защите российских владений против бентамовских солдат и коннектикутских карабинов бостонцев, как и предпочтительное отношение фаворита к планам завоевания Персии, вызвали сдержанную улыбку Воронцова и раскатистый хохот Ростопчина.

— Ха, ха, и воображает себя равным Питту и Гренвилю!¹ Людям стократ умнее себя подает — ха-ха-ха! — два пальца... Приходится, конечно, мириться, по понять выбор ее величества трудно, — верноподданнически усумнился Ростопчин во вкусе самодержицы...

— Оставим это... частные дела потом, Федор Васильевич, и in a pagrow circle² — сказал осторожный Воронцов и спросил морехода, что-то обдумывая:

— Вы сохранили дружбу с полковником Бентамом?

— Не подорожил, ваше сиятельство... Ловил он меня! В запрошлую осень приплывши в Охотское, привел меня в каюту, подал стакан рому, другой, а потом и начал — солдат сулит, и губернаторство, и еще... разное... Я пью... молчу... Он ключик показал, открыл сундук в углу, а в нем набито — билеты английские банковые, радужные, золото... «Все твое, говорит, если на нашу сторону перейдешь», а я ему — меня аж в груди ударило — я ему: «Деньгами, господин Бентам, не возьмешь — своими кур кормлю, а сундук подарю... я его в галюн³ для «Святителей» — это корабль мой, ваше сиятельство, — приспособлю, матрозам... нужду оправлять». Он ко мне с кулаками было сунулся, но... — Григорий Иванович лениво ухмыльнулся при

¹ Крупнейшие политические деятели Англии того времени.

² В более узком кругу (англ.).

³ Отхожее место на корабле.

воспоминании о чем-то забавном, последовавшем за этим «но», и равнодушно выговорил: — Расстроилась дружба, ваше сиятельство!

Ростопчин, с молодости игравший на понимании русской «натуры», в этот раз, не выжидая отклика хозяина, неудержимо расхохотался. Снисходительная улыбка разгладила поднятые брови и прояснила взгляд Воронцова. До него не сразу дошло назначение, которое Шелихов придумал денежному сундуку полковника Бентама.

— Для святителей приспособлю, ах, шельма! Вот она, находчивость русская, ваше сиятельство... хо-хо-хо! — грохотал Ростопчин, забывая недавнюю непочтительную по отношению к нему выходку морехода. — Воображаю английскую рожу Бентама этого... полковника... ха-ха!.. матросам... нужду опрavlять! Ах, ты...

4

Англия на самом деле, как уже отметил англизированный русский вельможа, подобна собаке на сене, но президент коммерц-коллегии никак не мог одобрить столь явного посрамления законов приличия между джентльменами и торжества татарщины. Посади российского негодяя за стол, он тебе и ноги... И все же этот человек, окрещенный Радищевым американским «goitelet»¹, — человек обещающий, крупный человек, и дело, начатое им, имеет огромную будущность, если только есть у нас кому понять это... приласкать, обнадежить, помочь...

Александр Романович принял твердое решение вывести Шелихова на мировую сцену, а для этого прежде всего нужно Колумба русского научить ходить и с достоинством носить костюм, предназначенный ему историей.

— Видите ли, Григорий Иванович, — осторожно, подбирая слова, начал Воронцов, — я не хочу рассматривать ваше проникновение в Америку единственно

¹ Царек (франц.).

как купеческую авантюру... Дело это большой государственной важности и чревато событиями, которых мы сейчас и предвидеть не можем. Мы должны признать, что положение наше, России — хочу я сказать, в Новом Свете очень трудное. Все козыри в руках партнеров, они это знают и усаживаются за стол без приглашения. От вас требуется...

— Жизнь готов отдать, ваше сиятельство! — с наивным жаром воскликнул мореход.

— Вот этого-то и нельзя допустить! Недоразумения вроде того, что было у вас с полковником Бентамом, подвергают именно самую жизнь вашу неожиданным случайностям. Случайностей же таких, к сожалению, в далеких и диких странах слишком много. Вы знаете, конечно, что существует такая *Adventurers of England, trading into Hudson's Bay*¹.

Александр Романович, заметив промелькнувшее на лице Шелихова вместо ответа пренебрежительное выражение, подошел к мореходу и, положив руку на его плечо, продолжал доверительно тем же ровным, бесстрастным голосом:

— Я совершенно осведомлен о личности полковника Бентама... Корабль со шкипером Свифтом и шайкой его головорезов, столь добродушно уступленный вам Бентамом по случаю мнимого банкротства, если бы вы отправились на нем в Америку, легко мог стать вашим гробом, как и отряд бентамовских солдат, прими вы их под свое командование, был бы почетным эскортом в могилу... О, на службе этой торговой компании состоят решительные люди и отчаянные головы! Страшнее их только бостонский купец Астор², освободивший восточную Америку от краснокожих...

— И это знаю, ваше сиятельство... Астор и у нас в соседях объявился — на реке, они ее Колумбией называют, выложил изрядное укрепление Асторию... Там хозяйничает его приказчик Бенсон, лихой китобоец и

¹ Компания английских авантюристов, ведущих торговлю в Гудзоновом заливе.

² Основатель династии и торгового дома Асторов. Предок небезызвестной ненавистницы Советского Союза леди Астор, переселившейся в Англию и купившей себе герцогский титул.

злой пират, с чином советника короля датского. Мы уже дважды их с наших промыслов гоняли...

— Авантюристическая компания, Григорий Иванович. Она может помириться и договориться с Астором и остальными бостонцами. Все они одним миром мазаны. Спят и во сне видят, как бы нас в море спихнуть. Что тут делать, и не придумаю... — печально, как бы с самим собою разговаривая, ронял Воронцов. — Государыня обременена годами и заботами... Чего не навязали ей безответственные люди! Если Зубову верить, шесть столиц России надобны... Царьград, Вена, Париж, Варшава... Не гляди, что свои Москва и Петербург не обстроены, а чужие в руках сильнейших европейских государей пребывают! На Париж калмыцкую конницу юноша безусый посылать вознамерился... Персию ему на блюде подай!.. Беда, если ералаш и шарады забивают голову человека, случаем поднявшегося до подножья престола, — он и земли под собой не видит!..

Воронцов терял присущую ему выдержку и спокойствие, когда вспоминал грандиозные и бесплодные фантастические планы «гениального ребенка» самодержицы.

— Где уже за химерами Америку заметить, догадаться два полка на новые границы выделить, флот послать, чтобы разбойников морских переловить... Пристало ли душу Александра Македонского на мелочи такие растрачивать! Семен Романович каждый месяц из Лондона мне о происках английских отписывает, а Уитворт в Петербурге Зубовым зубы заговаривает — на Париж натравливает... Чего легче в такой чехарде не то что Америку — голову потерять!

Воронцов не преувеличивал затруднений, возникших с первых шагов русских землепроходцев в Америке. Английская печать того времени, а нравы ее определялись названием таких газет, как «Странствующий шпион» и ему подобные, отражая интересы колониальных дельцов лондонского Сити, пестрела сообщениями и письмами «достоверных и совершенно почтенных очевидцев» русского нашествия и русских бесчинств в Америке.

— Казаки в Америке!
— Татарские зверства в Америке!
— Камчатские медведи пожирают индейцев!
— Морские бобры — монополия русских!
— Off the long bearded russian corsairs!
— Gregory Chelechow merchant chieftain of russian robbers!¹

Высокородные лорды тревожили парламентского спикера непрерывными запросами: «Известно ли?» и «Когда будет положен предел?»

Перед судом палаты уже пятый год тянулся возмущивший даже английские крепкие нервы процесс о чудовищных злоупотреблениях и насилиях над туземцами первого британского губернатора Индии сэра Уоррена Гастингса. Награбленное Гастингсом невероятное по тому времени состояние в семьдесят миллионов золотых рублей стоило жизни семи миллионам индусов. Пламенные речи обвинителя Ричарда Бринсли Шеридана² по этому делу остались только памятником парламентского красноречия. Обвинитель не мог до конца преодолеть защитных усилий воротил Ост-Индской компании. Гастингс потерял лишь награбленное состояние, но на виселицу не попал...

Весьма понятно, что русские в Америке в то время у английских парламентариев были бельмом на глазу. Немалые в прошлом грехи, числившиеся за первыми суровыми русскими добытчиками, сразу приобрели особое значение в парламенте и стали пароотводом того парламентского негодования, которое направлялось против коррупции Гастингса.

Лондонские заправилы, потеряв в недавней войне с бostonцами и филаделфийцами восточные и центральные земли Америки, устремили свои взоры на огромное белое пятно в северо-западной части американского материка, но неожиданно для себя встретили там многочисленные и обжитые русские поселения.

¹ Долой длиннобородых русских пиратов! Григорий Шелихов — торговый вожак русских разбойников! (англ.).

² Известный английский парламентский деятель, юрист и писатель, создавший классическую комедию из жизни высшего английского общества «Школа злословия».

Граждане федеральных Штатов, бостонцы, которых англичане окрестили перенятой от индейцев поносной кличкой «янки», твердо верили, что рано или поздно им будет принадлежать весь американский материк. Самые предприимчивые из бостонцев, узнав о русских поселениях на далеком Западе, куда они добрались полустолетием позже, не торопились вступать в сомнительный спор о первородстве, хотя также не упускали случая сочинить любую зависящую от них пакость...

Но зубовых и зубовское окружение ничто на свете вообще не интересовало — хватало собственных грандиозных проектов въезда в Царьград, Вену, Берлин и Париж на белом коне. Государыня, как лойяльно заметил Александр Романович, сохраняя респект перед верховной властью, на которой зиждилось и его благополучие, была обременена годами и усиливавшейся с ними единственной тревогой сохранить за собой последнее утешение любвеобильного сердца. Кому в России при этих условиях нужны колумбы? Кто возьмет на себя бремя забот, порождаемых их беспокойной силой и деятельностью?

— Да... не придумаю, ничего не могу придумать! — с каким-то оттенком терпкой досады и безнадежности, но тем же спокойным, бесстрастным голосом прервал Воронцов молчание, которое после его последних слов уважительно хранили собеседники. — Я ознакомлюсь с вашим докладом, Григорий Иванович, и дня через три попрошу... впрочем, нет... если будет нужно, я вас сам вызову... Не хочу вас обнадеживать, что я в силах добиться того, в чем вы меня уже почти убедили. Увы, я лишен доверия решать по своему разумению вопросы, связанные с внешними сношениями, но я попробую, я попробую...

— Крест целовать готов, ваше сиятельство! Умру, а все выполню, что укажете, — твердо, отчеканивая слова, выговорил мореход.

— В том-то и беда, Григорий Иванович, что я ничего не могу указывать, разве одно — напрячь силы переждать безвременье... Будущее за Россией. «Она знает свою дорогу», — как вы сами прекрасно сказали...

Ободренный явным сочувствием, которое он встретил со стороны столь сильного человека, каким казался ему Воронцов, Шелихов решился просить его поддержки и в том главном, что он считал самым необходимым для колонизации края и о чем, обладая трезвым пониманием действительности, не решался говорить с Зубовым и даже с Державиным.

— Не прошу войска, солдат, ваше сиятельство, — сошных людей и вольных ремесленных для своей Америки прошу! Даже покупкой взял бы их, ежели купечеству дали бы на то право... Единственно, что домостроительством и хлебопашеством за Россией и закрепить все можно... Дозвольте государственных черносошных мужиков олонецких, мезенских, вятичей да с Украины козаков-однодворцев... — Перед внутренним взором Шелихова промелькнуло черноусое лицо и тоскливые голубые глаза пострадавшего из-за него жеребцовского богатыря-гайдука. — Дозвольте переселить тех, кои своей волей на то пойдут, с семьями, для начала тысячи три — в год по тысяче, и... сгинут Бентамы и Асторы, яко дым от лица огня! Пахари, они и дома свои защитят, они и целину американскую русской силой поднимут. Оброк, окромя подушной, не в три — в десять рублей с тягла выплатят... Компанию наших купцов всем достоянием ответственность заставляю!

— Почему, Григорий Иванович, вы, помогаясь переселить государственных крестьян, не призываете в Америку помещика просвещенного, который и людей своих с собою бы взял, и семена злаков, и орудия сельскохозяйственные? — остро вглядываясь в пылающее лицо Шелихова, но и на иоту не повысив голоса, спросил Воронцов. — Среди дворянского сословия сейчас найти можно немало трудовых землевладельцев, возьмем для примера тульских — Болотова, Андрея Тимофеевича, и Бобринского, добывание сахара из свеклы учреждающего, на Полтавщине у Трошинского все хозяйство на английской передовой системе, тоже вот у Румянцева графа, даже я, у меня... да, и я готов подумать об опыте, столь обещающем...

— Они... я... вы... я, ваше сиятельство, государ-

ственных, на себя работающих, ну и... на казну... будто и вольные они... — Шелихов под нацелившимися на него глазами Воронцова и Ростопчина путался, тщетно подыскивая слова, которыми он мог бы выразить свою мысль, не теряя навсегда доверия и расположения вельможного крепостника.

Представления Шелихова о силах, движущих прогресс и историю, были, конечно, сбивчивы и противоречивы. Он понимал, что в соседстве со свободными людьми американских Штатов и Канады все сравнения были в пользу их жизни и нравов, — только руки таких же свободных людей могли бы удержать за Россией его Америку. В голове промышленника копошилась догадка, что в наличии свободных рук заключены его собственные выгоды и польза, а в глубине души таилась обида на Воронцова за пренебрежение к купеческому сословию. Провал в Ближнем Совете при государыне поданного Шелиховым два года назад прошения от имени компании он приписывал Воронцову. Отчаявшись тогда найти для заокеанской земли вольнонаемных пахарей и мастеровых, Шелихов попробовал вырвать у феодалов уступку своему сословию — подал на высочайшее имя дерзкую просьбу о праве на покупку людей для освоения Славороссии, таком же праве, какое имели Строгановы и Демидовы на Урале.

— Даже Колумбу и Ньютону было бы непозволительно присвоить исконные права дворянства! — первым подал свое мнение генерал-прокурор князь Александр Вяземский, настоявший в свое время на четвертовании Пугачева.

— Еще бы! — иронически отозвался Воронцов, готовясь пред лицом государыни последовательно выступить в защиту уравнивания прав ведущих сословий империи.

— Купец сей гульвиса¹, — неопределенно заметил дипломат Безбородко. Воспитанник духовной академии, он никогда не высказывался по существу дела прежде матушки-царицы.

— Так, отказать полагаете, господа советники, —

¹ Проказник, сумасброд (укр.).

решила государыня, поняв непозволительную иронию Воронцова и тем охотнее становясь на сторону феодалов в одном из первых столкновений интересов дворянства с интересами выходящей из младенчества российской буржуазии.

Генерал-губернатор Сибири Пиль под великим секретом сообщил Шелихову о провале его ходатайства, приписывая из личного уважения к Воронцову решающее значение восклицанию того: «Еще бы!» Мореход в поисках сочувствия рассказал об этом Николаю Петровичу Резанову, но услышал от зятя давно уже знакомое и утешительное: «Все к лучшему в этом лучшем из миров» — и не мог с тем не согласиться по зрелом размышлении.

Резанов, как дважды два, доказал, что «крепость» для россиян и в то же время свобода для индейцев и алеутов несовместимы и грозят непреодолимыми затруднениями в устройстве заокеанских земель, а на превращение индейцев и алеутов в крепостные души у компании и самого Шелихова не хватит ни сил, ни средств. Все помыслы в Америке, таким образом, должны свестись к промыслу рабов, к чему мореход не имел никакой охоты. Он и в дальнейшем никогда не искал возможностей приобрести «мужичков» в обход закона, как делали это многие российские промышленники с помощью разных вертопрахов дворянского звания, всегда готовых за малую мзду предоставить для этого и свое имя и дворянские, самим господом богом присвоенные, «голубой крови» права.

Шелихов догадывался, что надо идти новыми, непроторенными дорогами, но он не умел или не смел опередить дух своего времени.

И сейчас, стоя перед Воронцовым с мыслью построить хотя бы кусок, хотя бы часть новой, не зараженной дворянскими язвами американской земли, он боялся оттолкнуть от себя единственного защитника и покровителя.

Не найдя ничего подходящего, он перескочил тогда на перспективы будущего раскрытия Америки, просто-душно надеясь уйти от прямого вопроса Воронцова.

— В глубь края от берегов проведу сошных, на

зюд-зюд и зюд-ост продвинемся — через короткое время пшеницей и скотом по всему океану торговать начнем... Зверовые промыслы, хоть и сам от них живу, преходящи, ваше сиятельство! Уйдет, исчезнет перед человеком зверь, земля-кормилица вовек не оскудеет, труды сторицей возвернет... Опять же торговля, ремесла разные, мануфактура, рудное дело, кораблестроение преобразуют дикость земли той, приобщат просвещению краснокожих — на это дело весь достаток, до последнего живота, отдам, детей и жену туда перевезу, ваше сиятельство!

Александр Романович, хотя и убедился в том, что в плане шелиховской Америки места для русских просвещенных помещиков и «трудовых» землевладельцев нет, не мог однако побороть своих симпатий к этому полнокровному, сверкающему умом человеку. Воронцов был непрочь дружески и спокойно, как это бывало приходилось делать в многочасовых интимных беседах с Радищевым, убедить Шелихова в узости и ошибочности его воззрений. «Исследование о природе и причинах богатства народов» великого английского экономиста Адама Смита, с некоторой собственной поправкой на русские крепостные души, Александр Романович считал краеугольным камнем мировоззрения каждого европейски просвещенного человека. Но присутствие Ростопчина мешало такому разговору, да и вообще нужно ли говорить о том, чему предназначено — он твердо был убежден в этом — естественное, согласованное с общим ходом истории и цивилизации в мире сосуществование. Бостонцы добились независимости от метрополии, чего уж надо — свободно живут, но негров держат рабами, негры у них главный предмет ввоза и импортной торговли. Купец-мореплаватель прав: для новой земли, чтоб поднять ее, нужны мужики, но позволить мужикам на эту землю уходить — с чем же Россия останется?

— Дело это, Григорий Иванович, очень и очень нужно обдумать, прежде чем решение ему дать. Вообще надо посмотреть и обсудить, чем государство может помочь... Войдите! — отозвался Александр Романович на легкий стук в дверь.

— Господин Жеребцов с бумагами к докладу! — ровным голосом произнес чернофрачный лакей.

— А-а... просите войти! — Воронцов в большинстве случаев обращался к прислуге по английской моде на «вы». — Вот, Григорий Иванович, кстати и познакомлю вас... хотя вы, вероятно, знакомы уже? — вспомнил он причастность Шелихова к скандальной истории с супругой Жеребцова и, заметив отрицательное движение руки морехода, не без яда добавил: — По-знакомлю с человеком, которому Зубов препоручил заняться Америкой... Ситуация, правда, сложилась для вас неблагоприятная... а жаль, от него многое зависит...

— Прошу прощения, ваше сиятельство, спешил с докладом, но дела столько-с, что невольно замешкался, — с порога еще, не замедлив проявить служебную субординацию, проговорил небольшого роста, рыжеватый, с острыми, бегающими глазками человек в мундирном фраке и с Владимиром на шее. Его оттопыренные уши резко выделялись на фоне высокого, подпирающего голову темнозеленого воротника.

В среде столичных чинов Иван Акимович Жеребцов был заметной фигурой. Начав служебную карьеру в провинции при отце всемогущего фаворита Александре Николаевиче Зубове, когда тот был еще симбирским губернатором, Жеребцов проявил себя непревзойденным виртуозом кляузно-канцелярского дела. Захватом чужих имений и деревенок он немало способствовал обогащению Зубовых и достиг того, что, женившись на Ольге Александровне, вошел в лоно семьи, захватившей вскорости через удачу своего младшего отпрыска Платоши многие высшие должности в государстве. К тридцати годам Иван Акимович ходил уже в чине действительного статского советника, носил Владимира на шее и звезду на анненской ленте. Теперь же он терпеливо выжидал назначения на пост президента коммерц-коллегии, прямо к денежному сундуку государства, на место Александра Романовича Воронцова, часы государственной деятельности которого, как всем известно, были сочтены и от кото-

рого не ожидали ничего, кроме прошения об отставке по состоянию здоровья.

Александр Романович был вполне в курсе надежд своего помощника и потому, относясь философски к тщете и превратности жизни, любил все же подразнить прогивного ему человека.

— Недомогаю я, Иван Акимович. Приходится думать о покое и освобождении от занятий государственных, а тут Платон Александрович новую шараду сочинил... Вот сибирский наш крупнейший негодьянт и славный мореплаватель Шелихов, Григорий Иванович... Впрочем, вам, вероятно, хорошо он известен? — невинно съехидничал Воронцов. — Надо ему пособить в устройении колоний американских, ссуду выдать и в прочем не отказать...

— Не премину господину Шелихову, что в моих силах, всем послужить, — не моргнув глазом откликнулся Жеребцов. — Попрошу в присутствии...

— Зачем же «в присутствии», Иван Акимович, я бы предпочел, чтобы в моем присутствии вы сказали, чем мы можем помочь, тем более, что Платон Александрович с высочайшего одобрения признал завоевание американских земель насущной задачей. Американские земли суть кладовая драгоценных мехов.

— Точно так-с, ваше сиятельство. Вполне понимаю и приму зависящие меры, чтобы поскорей отпустить господина Шелихова к его делу, — поспешно согласился Жеребцов, перед взором которого встали груды драгоценных шкурок, занявших два шкапа в гардеробной Ольги Александровны и осмотренных им до мелочей в ее отсутствие. Кроме того, он со своей точки зрения, как и его блистательный шурина, желал скорейшего выезда Шелихова из Петербурга, так как от Ольги Александровны, требовавшей чуть ли не заточения Шелихова в Петропавловскую крепость «за дерзость», не было покоя.

— Поступите по сему, Иван Акимович, — сказал Воронцов, верно разгадавший ситуацию и мысли своего будущего преемника, и протянул ему тетрадь с докладом Шелихова и резолюцией на ней Зубова. — Тетрадь эту мне сегодня же доставьте обратно, Иван

Акимович, хочу сам познакомиться с делом столь важного значения для российской державы и предполагаю докладывать государыне...

В зубовской резолюции для Жеребцова, конечно, ничего нового не было. Относительно «ермацких» подвигов Шелихова, втягивавших Российскую империю в американскую кашу, он давно, еще во время болезни Григория Ивановича, получил исчерпывающие инструкции и указания от своего всесильного шурина: «Деньги дай, Иван Акимович, чтобы отстал медведь сибирский, а что до остального — повремени... Надо приглядеться к делу и к людям, которые в Америке сидят, — кто их знает, может быть, мартинисты какие-нибудь, санкюлоты зверские, вроде Радищева или Новикова?! Устроят за океаном притон для беглых рабов, а там, гляди, федеральную республику объявят... Принохайся и мне доложи, как Воронцов, до старости бесстыдный вольтерьянец и масон, к Шелихову и Америке этой отнесется. За Воронцовым в оба глядеть надо, а деньги дай и гони Шелихова в шею, выбей его из столицы, через него скандалов не оберешься».

— Все как на ладони, и все, что приказать изволили, будет сегодня же исполнено, ваше сиятельство! — охотно согласился Жеребцов, во мгновение ока «принохавшийся» к шелиховским симпатиям Александра Романовича, которые, как он понимал, не послужат на пользу его шефу, если Воронцов действительно вздумает морочить государыню Америкой. — Помилуйте-с, мне и самому лестно способствовать подвигам российского Колумба. Попрошу господина Шелихова со мной проследовать, — с вашего разрешения, ваше сиятельство?

Столь легкая сговорчивость Жеребцова, не сделавшего самонадеянной попытки сотворить кляузу, удивила и насторожила Воронцова настолько, что он счел необходимым подчеркнуть серьезность момента соответственным напутствием и выявить свое отношение к историческому шагу в будущее, совершаемому в его присутствии.

— Отправляйтесь, Григорий Иванович, с Иваном Акимовичем, раз он берет вас под свою руку. Об

остальном мы позаботимся! — И, несколько мгновений помолчав, закончил цветистой фразой. В важных случаях он предпочитал французский язык, на котором, собственно, и думал, делая более или менее удачные переводы своих мыслей на русский. — Я хотел, господа, сказать, что момент этот, возможно, вспомнят потомки и будут о нас судить по нашему отношению к этому наследнику славы Пизарро и Кортеса, завоевателей Нового Света... Не смущайтесь, Григорий Иванович, но постарайтесь оправдать! — снова обратился он к Шелихову по своей привычке на французском, забыв о его незнании языка... — Шелихов останется героем в глазах народных низов! Уверяю вас, что его подвиги прославятся в песнях и даже жестокость в борьбе создаст вокруг его имени легенду... Препоручаю, Иван Акимович, вам быть восприемником у колыбели русской славы и мощи!

Александр Романович наклоном головы — руки так и не подал, не пришло в голову — отдал морехода во власть ярыжки-чиновника, сословия которых так боялся и ненавидел Шелихов.

Глава пятая

1

Благосклонный прием, оказанный президентом коммерц-коллегии, не рассеял в душе Шелихова чувства пустоты и разочарования. Никогда ему, Шелихову, не стать на одну доску с негоциантами Ост-Индской компании, об успехах которой он хорошо был осведомлен. А между тем для России и русских людей он, конечно, видел куда более широкое поле деятельности, чем могли видеть для себя какие-либо инодержавные негоцианты. Американская земля, острова Великого океана, побережье Китая и за непроницаемой завесой, отделяющей от мира, Ниппонское царство — все это представлялось Шелихову как обширные районы, ждущие приложения сил его, русских людей, России.

Печальные, смутные мысли преследовали морехода.

Пространна, могуча и обильна матушка Русь, а орлиные крылья правители ее обломают всякому, кто дерзнет с российских равнин подняться к солнцу. Шелихов уже ясно начинал понимать, что Америка и первые вольные русские поселения среди вольных ее краснокожих народов остались для человека даже таких горизонтов и ума, как Воронцов, не говоря уже о невесте Зубове, землей далекой и дикой, обременительным и беспокойным подкидышем. «До государыни дойти бы, — думал Григорий Иванович в частые теперь для него часы бессонницы. — Попрошу Гаврилу Романыча дозволения предстать пред нею, — может быть, она светлым зраком разглядит с высоты престола то, от чего отказываются ее слабодушные министры, запутавшиеся в кротовых ходах. Беспременно попрошу!»

Не получив при первой своей поездке, лет пять тому назад, никакой поддержки от трона, кроме присвоения права носить шпагу и медаль, Шелихов все же думал, что государыня помнит о начатом им деле, видит в нем исполнителя замыслов великого Петра, продолжательницей которых она любила называть себя. Шелихов разделял невольные заблуждения многих передовых людей своего времени, полагавших просвещенного монарха оплотом справедливости и щитом против феодального произвола в дворянско-помещичьей России. Удача, сопутствовавшая его начинаниям, пока он не просил внимания и помощи сверху, поддерживала эти иллюзии.

— Прошу ко мне в карету! — на выходе у подъезда прервал его раздумье Жеребцов, который как будто сейчас лишь вспомнил о неприятной необходимости иметь дело с этим перепорученным ему докучливым просителем.

— На своих поеду, на тысячеверстных, — отклонил мореход вынужденную его любезность. В нем Шелихов с первого взгляда разгадал сильнейшего и наиболее опасного врага своему делу.

— Препятствий не имею! — отрывисто бросил Же-

ребцов, усаживаясь в карету на полозьях, с накладными золочеными орлами по бокам и сзади. Не только Платон Зубов, но и все его родственники и состоявшие при нем люди разъезжали в придворных экипажах.

Огромные косматые рысаки Хреновского завода Алексея Орлова, поставлявшего двору выездных лошадей, машисто понесли карету Жеребцова.

— А нут-ка, Никифор, покажи питерским барам сибирскую нашу езду! — сказал мореход своему ямщику-буряту. Шелихов понимал, что обгоном огромных дворцовых рысаков на своих низкорослых мужицких каурых он совершит недопустимый со столичной точки зрения проступок, но раздражение и озорство, как это с ним бывало часто, еще раз одержали верх над рассудком.

— И-их! Пади! — взвизгнул желтолицый широкоскулый Никифор, и через минуту, черкнув полозьями по крыльям жеребцовской кареты, обшитый волчьими шкурами возок Шелихова оставил ее за собой в облаке снежной пыли.

Дважды повторил эту забаву Григорий Иванович, то отставая от кареты, то обгоняя ее. Но во второй раз жеребцовский кучер, получив на то, очевидно, указание от своего седока, ухитрился вытянуть Никифора кнутом-арапником. Сибирский нагольный тулуп на медвежьем меху защитил Никифора от изъяна. Пропустив вперед карету Жеребцова, Шелихов чинно подкатил вслед за ним к зданию коммерц-коллегии на 1-й линии Васильевского острова, вблизи загадочно пустынного бироновского Буяна¹.

Жеребцов вышел из кареты и, не оглядываясь на возок Шелихова, прошел в распахнутые перед ним канцелярским служителем двери.

«Рассерчал, напакостит чего», — подумал Григорий Иванович, уже сожалея о допущенном озорстве, но тут же позабыл о Жеребцове и нерадостных питерских заботах, когда увидел у причалов набережной лес

¹ В современном Ленинграде отрезок набережной Малой Невы между мостом Строителей и Тучковым мостом.

заиндевеливших корабельных мачт. Как зачарованный, глядел на них Шелихов: «Когда же, когда и мои лебеди белокрылые, придя из Славопосейска, груженые заморским товаром, станут после кругосветного плавания у столичных причалов? Эх, и хороша штука! — пришелкнул языком мореход, завистливо разглядывая двухмачтовый бриг «Bold swimmer»¹. Таких бы вот к Святительской гавани на острове Кальяк, круглый год незамерзающей, десяточек приписать, — первой бы державой стала Россия на океанах! Отвалить четыре миллиона за камушек блестящий — это мы можем, — припомнились Шелихову слышанные разговоры о покупке государыней огромного бриллианта, названного именем силача фаворита «Орлов». Камень этот лет десяток назад самыми фантастическими путями перекочевал из сокровищницы Великого Могола Индии под стеклянный колпак бриллиантовой комнаты Эрмитажа. — А за деньги эти американскую землю, бриллиант бесценный, бриллианты родящий, в корону державную вправить — на это нас нет... Под черной планидой родился ты, Григорий», — невесело думал мореход, всходя на крыльцо коммерц-коллегии.

— Заняты-с! Велено обождать! — коротко, с миной величайшего безучастия сказал чиновник, сидевший у дверей, когда Шелихов остановился перед кабинетом Жеребцова.

После часового ожидания, во время которого в кабинет входили мундирные бюстители государственных финансов, вызываемые бегавшим за ними чиновником-посыльным, Григорий Иванович, свнув в руку этого придверного Цербера десятирублевую ассигнацию, решил напомнить о себе.

— Спроси, друг, когда прийти велит, а то мне недосуг сегодня...

Опустив ассигнацию с ловкостью фокусника в один из бесчисленных карманов нанкового мундира, чиновник исчез в кабинете Жеребцова.

¹ «Отважный пловец» (англ.).

— Пожалуйте! — провозгласил он, появляясь снова на пороге и пропуская морехода в святилище жреца российской коммерции.

— Как деньги возьмешь, купец, отпущенные его сиятельством на твою затею? — совершенно зубовским, надменно грубым тоном встретил Жеребцов. — Я вызывал казначея, он говорит: иначе выдать не могу, только рублевыми да трехрублевыми ассигнациями, да медью, да серебром мелким — мешков пять-шесть наберется... Ежели не подходит, не вывезут кони, на которых гоняться любишь, не бери, пожалуй. Мы напишем наместнику сибирскому, его превосходительству Ивану Алферьевичу Пилю, — подчеркнул Жеребцов обязательность обращения по чину к высокопоставленным должностным лицам, — чтобы тебе на месте из питейных сборов и подушных выплатили...

— Не надо! Обойдемся без денег этих! — Шелихов повел плечами, как от укуса лесного клеща. «Дернула меня нелегкая гоняться с ним, — подумал он с досадой, — замучит, ярыжка мундирная».

От рысых глазок Жеребцова, устремленных как будто бы в лежавшие перед ним бумаги, не укрылось возмущение Григория Ивановича.

— Когда из Петербурга выезжать собираетесь? — неожиданно спросил Жеребцов, испугавшись, что вдруг Шелихов по этой причине решит задержаться в столице.

«Расправиться с сибирским стоеросом по-нашенски ничего не стоит, — думал зубовский шурин, разглядывая из-под рыжих бровей могучую статью морехода. — Да, черт его знает... за ним Державин стоит, Воронцов — этот, хоть и не любит его государыня, а постоять на своем не боится и умеет... Не вышло бы чего, даром и Платон кругом ходит, нас притравливает, а сам взять боится».

— Генерал-фельдцейхмейстер его сиятельство граф Платон Александрович удивляются, — не дождавшись ответа на вопрос, после некоторого молчания продолжал Жеребцов, — как вы дело свое можете на такое долгое время покидать для поездок в Петербург? Мало ли чего в ваше отсутствие может случиться — вы

пред властью в ответе... с вас спросят, почему и как допустили!

Ошеломленный таким оборотом приказного остроумия, Шелихов побагровел и, не находя слов для ответа, кроме вертевшейся на языке несуразной брани, схватил себя за ворот рубахи.

— Ты... ты меня к ответу ставишь?! — хрипло выдавил он несколько слов.

— Беневоленский! — крикнул Жеребцов, встав и отодвигаясь от приблизившегося к нему морехода. — Проводи, Беневоленский, господина купца к казначею, к Мамаяткину. Скажешь, что я приказал из-под земли найти, но не более чем в три мешка уложить деньги... Понял?

Махнув рукой, Григорий Иванович круто повернулся и пошел за Беневоленским к казначею. «Запомнишь, каково с Жеребцовым гоняться!» — злорадно посмотрел вслед мореходу и усмехнулся дошлый на блошинные укусы шурин Зубова.

Процедура отсчета заняла у казначея Мамаяткина около трех часов, и только под вечер вернулся Григорий Иванович в державинский дом, внеся из возка в свою комнату три прошитых и опечатанных мешка мелких ассигнаций.

2

Вечером у Державина снова были гости. Шелихов сослался на недомогание и не вышел к ужину. Проснувшись он с полуночи, встал и долго сидел у окна, раздумывая о предстоящем возвращении домой. Он представлял себе, на что может рассчитывать в будущем. Петербургские впечатления и ничтожные результаты хождений вызвали досаду и боль. Он видел себя предоставленным собственным силам. Что же, может, он будет делать погоду в далекой и пока вольной американской земле, не считаясь с произволом всех злых ветров, какие только могли дуть из столицы?.. Тяжело было на сердце Шелихова.

И уже раза два подходил ночью Аристарх к дверям красной гостиной и подолгу, качая головой, слушал

вздохи и кряхтенье иркутского гостя. «Замаялся, болезный, среди коркодилов питерских. Ехал бы домой, долго ли тут до беды», — думал старый дворецкий, знавший все сплетни и разговоры зубовской дворни. Знать все, что делалось и говорилось в зубовско-жезбцовском «вертепе», его обязывал Гаврила Романович, который каждый день принимал поутру от Аристарха вести, — Державин их учитывал в своей государственной и придворной политике.

Зубовские люди передавали подслушанные недобрые господские разговоры, вплоть до подробностей о том, как Платон Александрович отговорил государыню от якобы внушенного ей Гаврилой Романовичем желания самолично видеть и выслушать Шелихова, о котором у нее сохранилось смутное и досадное воспоминание. Узнав об успехе Зубова, не допустившего Григория предстать перед государыней, Державин потемнел лицом, насупился и подумал про себя, что мореходу и впрямь следовало бы поскорей отбыть восвояси до лучших времен.

По-своему подходил к Шелихову Аристарх. Он всем сердцем прилепился к Григорию Ивановичу, после того как тот предложил Архипушке в ночной беседе при подаче квасу тысячу рублей, чтобы выкупиться на волю и ехать к нему в Иркутское доверенным приказчиком. Аристарх расплакался тогда, но отказался:

— С малолетства при господине своем, с ним и помру — погодки мы...

Конечно, разговор этот навсегда остался тайной для Гаврилы Романовича, и Шелихов с Аристархом никогда больше не вспоминали о нем, но с той поры покой и интересы Григория Ивановича стали Аристарху дороже собственных.

Поэтому, когда часов около одиннадцати дня к державинскому дому подкатил Альтести и захотел видеть Шелихова, чтобы ехать к вдове секунд-майора Глебовой для осмотра и покупки дома, Аристарх решительно и сурово сказал:

— Как угодно ругайте, воля ваша, хоть прибеите — не могу будить, и Гаврила Романович приказали не беспокоить! — Старик взял на себя смелость солгать.

Впрочем, он хорошо знал, какую цену имеет Альтести в глазах его господина. Но еще ниже и строже ценил грека сам Аристарх: шпынь, блюдолиз, басурман.

— Дом покупать поедем для дочки и зятя Григория Иваныча,— распинался Альтести, зная, что в державинском доме нельзя разделаться с дворецким так, как он поступил бы с холопом в любом другом доме.

Аристарх наконец сдался и, буркнув: «Обождите», пошел проведать морехода.

— Альтеста, грек бусурманский, ломится к вам, Григорий Иванович. Говорит, вы приказали с утра явиться, к Глебовой ехать... Как почивать изволили?— озабоченно спросил Аристарх, застав морехода лежащим в постели с открытыми глазами. — Фриштык в комнату подать? Алчеста в гостиной подождет, я туда его проведу... Водочки прикажете? — сказал, обернувшись в дверях, Аристарх.

— Сорокоушку, Архипушка, да огурчик либо редечки... Кофею не носи мне! — бодро крикнул ему Шелихов. Ночью он принял решение ничего более не искать в столице, кончить с домом и немедленно домой, в Иркутск, а там в Охотск, а там за океан... «Никто, как бог и ты сам, Григорий, судьбы своей господин и распорядитель».

— *Von appétit!*¹ — по привычке затараторил было Альтести, проникший в комнату Шелихова, но, заметив, что мореход не в духе, без заминки перешел на деловой тон. — Поздновато просыпаться изволите, Григорий Иваныч, я уже где только не побывал. Сейчас одиннадцать часов, как раз к обеду попадем к Глебовой, а у нее престранный аппетит... Не обращайтесь внимания, если что и заметите: баба глупая и нравная, а домик хорош, домик что надо.

— А мне что до ее аппетита, обедать у нее не собираюсь.

— Конечно, конечно, — заторопился Альтести, — хозяйка вольна в своем доме кушать, как душе угодно, а зады...

¹ Приятного аппетита (франц.).

— Дворянские зады, как и брюха, все выдержат! — усмехнулся мореход и, не желая больше говорить, встал из-за стола.

— Поехали? — поднялся и Альтести.

Едва куранты на адмиралтейской башне пробили двенадцать часов — время, как тогда говорили, адмирального обеда, Шелихов и Альтести, каждый в своих санях, подкатили к дому вдовы секунд-майора Глебовой. Отстранив топтавшегося перед ними и пытавшегося преградить дорогу подслеповатого и глухого старого слугу в домотканном казакине по пяты, оба вошли в теплую переднюю и, скинув шубы, направились в комнаты, из которых доносился чей-то истошный, захлебывающийся в крике голос.

— Чего бы это, никак дерут кого? — сумрачно спросил мореход своего чичероне, расхваливавшего в этот момент достоинства зала с антресолями и ковровых гобеленов в простенках, с аркадскими вышитыми на них пастушками и склонившими перед ними колени изящными кавалерами.

— Обедает Глебова, а задами, особливо кухаркиным задом, аппетит развивает, — нимало не смущаясь, ответил Альтести. — Чудная барыня! Охотница великая щи с бараниной кушать: как скоро примется свои щи любимые кушать, то кухарку люди притащат, на пол положат и потуда батожьем немилосердно секут и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать...

— Да ты врешь, Симон Атанасович?

— Зачем врать, пойдем в столовую, сами на вдовий аппетит поглядите...

Альтести двинулся вперед, за ним Шелихов, и спустя минуту Григорий Иванович увидел через распахнутые двери невероятное зрелище.

За столом, в огромном фиолетовом чепце, расшитом зелеными и красными цветами, сидела сырая и пухлая, на первый взгляд добродушная старая женщина и что-то ела из стоявшей перед ней большой фарфоровой миски, поминутно облизывая распущенные жирные губы и не сводя глаз с покрытой багровыми подтеками поясницы растянутой перед столом бабы.

Старуха в чепце недовольно вскинула глаза на вошедших и отложила ложку. Два ражих мужика, стоявшие с батогами по сторонам лежащей на полу бабы, как по сигналу, мгновенно подхватили ее подмышки, встряхнули и поставили на ноги. Баба, оправляя подол задранной понявы, земно поклонилась барыне и, мельком взглянув исподлобья на вошедших, выбежала из комнаты.

— Приятнейшего аппетита, Аграфена Лукинишна! — без тени смущения, как будто виденное было самым обыкновенным, не стоящим внимания делом, приветствовал Альтести владельца дома.

— Какой там аппетит, коли ты мне его испортил... С кем это ты приехать изволил? — в тон ему равнодушно отозвалась вдова секунд-майора.

— Купца на дом ваш привез, Аграфена Лукинишна! Григорий Иванович Шелихов, иркутской и американской первой гильдии негоциант... Сибирские люди непривычны под такую музыку кушать, — шутил Альтести, с тревогой глядя на желваки, игравшие на скулах морехода.

«Чистый кат в юбке», — думал Григорий Иванович, испытывая желание плюнуть на жирную старуху и уйти, отказаться от осмотра и покупки дома.

— Зады к делу не относятся, Григорий Иванович, того ли насмотритесь, у нас поживши... Она теперь, шей поевши, меньше упрямиться будет, — буркнул Альтести. — Нам с ней не детей крестить!

Вспомнив наказ Натальи Алексеевны без дома для дочери и зятя не возвращаться и принятое ночью решение неоткладно выезжать домой, мореход преодолел отвращение и, не глядя на хозяйку, повернулся к выходу, сказав:

— Ладно, пошли оглядывать...

— Мужлан, фи! — поджала губы сердечком старуха, на что Альтести игриво погрозил ей пальцем.

После длительной и придирчивой сверки движимого имущества с врученной ему описью Шелихов увидел на кухне поротую кухарку, спрятавшуюся за печь при входе свидетелей ее стыда и унижения.

— И что же, часто она тебя так, болезная? — спросил он оторопевшую женщину. — Как зовут-то тебя?

— Раза два на месяц щи с бараниной заказывает и меня... дерет, — всхлипнувши, ответила немолодая баба. — А зовут Анной, Аннушкой, а она... Селиной. Нет на меня погибели! Замучили. Мститесь на мне, забить не может, что Проклушка мой двадцать лет назад, когда Пугачев ходил, облил ее щами горячими... Майор покойный иссек Прокла до костей и в солдаты сдал, а она посейчас, как щи закажет и есть начнет, меня при людях врасстяжку сечет... Удавлюсь, загублю душу, не могу терпеть! — стуча зубами как в лихорадке, выговаривала женщина.

— Торгуй у нее кухарку, Симон Атанасович, пушай при доме останется... на имя дворянина Резанова, Николая Петровича, или супруги его, Анны Григорьевны, крепость выправляй, — сказал на ухо Альтести Григорий Иванович. — Пятьсот рублей тебе на то отпускаю, за что купишь — купишь, остальное твое! Не кручинься, болезная, не будут на тебе щей варить, не кручинься, Аннушка!

Женщина молча упала в ноги Шелихову, крестясь, плача, лопоча слова благодарности.

— Заканчивай по закону, Симон Атанасович, с домом этим и поймей в себе, что я купец, негоциант, и даже в этом разбираюсь. Если что не так, пропал твой куртаж, нет у меня охоты с жабой земляной вдругорядь встречаться... И Анну, кухарку, выкупи за всяк цену! — Затем, поставив на каждом листе описи свою подпись, выйдя в зал, строго, как на корабле, распорядился: — За деньгами ко мне, к Гавриле Романовичу, привезешь Глебову с бумагами и описью запроданного — там выплачу, и есть у меня к тебе еще разговор, но о нем впереди...

Не дожидаясь хозяйки, Шелихов вышел.

— Домой! — коротко сказал он Никифору. — В среду на заре, Никишка, выедем к себе в Иркутск. Хватит — нагляделись, побаловались!

— Якши! — довольно мотнул головой широкоскулый Никифор, соскучившийся в державинской людской

по вольной дороге, по ночевкам в знакомых ямах¹, по родной сибирской земле. — Якши! И-ях, вы, волки! — распустив вожжи, с места пустил он каурых.

3

Петербургские жители удивленно смотрели на невиданный мохнатый возок, несшийся с быстротою вихря по столичным улицам в обгон любых попадавшихся на пути пышных барских выездов.

Гаврила Романович был дома, грелся у камина в ожидании обеда. Он со смехом встретил рассказ морехода о шах вдовы секунд-майора Глебовой, а потом задумался и проронил как бы нехотя:

— Кровососная банка, а не дворянка эта Глебова. Двадцать лет назад, когда гонял я шайку Емельки Пугачева по Симбирской губернии, застал дом ее в облоге, опоздай я на час какой — повесили бы ее. А была она молодая и ладная собой... Вот уже не знаешь, кого спасешь! — неопределенно закончил он, как будто сожалея о том, что когда-то спас молодую Глебову.

— Разбойник и душегуб был Пугачев, спаси нас бог от таких, а только через глебовых народ к «пугачам» пристаёт, — охотно отозвался Григорий Иванович и совсем невпопад и не к месту сказал: — О чем я хотел попросить вас, Гаврила Романович: нельзя ли мне с делом моим пред государыни светлые очи предстать, ежели бы вы про меня словечко замолвили? Затерли Америку мою бары высокие, нет у них государственного антиреса...

Державин не хотел говорить Шелихову о роли в этом деле Зубова и ответил:

— Занята денно и ночью сейчас государыня, Григорий Иванович: тут тебе и Швеция, и Польша, и, главное, Франция, где фармазон Мирабоа, достойный многих виселиц, пожар зажег, а ей, как потушить пламя, думать надо... Нет, не время сейчас матушке нашей с Америкой докучать! Я вот наведу мосток, подготавлию

¹ Почтовые станции.

все и за тобой фельдъегеря сгоняю, а ты к тому времени запаси в Иркутске американских жителей — мужика и бабу, чтобы с краснокожими подданными, вроде того волчьего хвоста, что у меня в людской помер, пред государыней предстать... Только ты, Григорий Иванович, выбрось из головы вольность свою фантазийную! Америку на Россию перекроить надо, без этого Америку свою против пустых слов проиграешь... Пошли обедать, друг сердешный!

Не проронив ни слова, Шелихов послушно двинулся за хозяином в столовую. Последняя надежда подломилась, как соломинка.

«Не ко времени, скажем прямо — не ко двору, пришелся подвиг горсти отважных русских людей, распахнувших перед Россией двери Нового Света, — сядя за стол, думал Державин, — скудные времена настали, на месте орлов и соколов попугаи сидят, с ними и орлица в курицу перекинулась... Нечего Григорию у порогов людей, попавших в случай, околачиваться, ехал бы к себе — может, своими силами до поры с делом обернется».

— Григорий Иванович, ты когда домой к Наталье Алексеевне собираешься? — спросил Державин, опрокидывая за скучным, в молчании проходившим обедом третий бокал крепкой сливовицы. — Я не гоню, не гоню! — поспешно добавил он, чтобы смягчить резкость своего неожиданного вопроса. — По мне что — гостюй, я всегда тебе рад...

— Чего там, Гаврила Романович, я не в обиде, сам вижу, без нужды засиделся... Послезавтра, в среду, поутру приказал Никишке изготавиться к дальней дороге. Поспешать надо, пока речки наши сибирские не тронулись, а мне Тобол, Иртыш, Обь, Енисей, Тунгуску одолевать, да малых рек за сотню наберется.

— Да-а, нелегка твоя дорога, — неопределенно отозвался Державин. — Ты смотри, как лучше, насчет путешествий не мне тебя учить.

— Алчеста с майоршей Глебовой в сенях ожидают! — с явным пренебрежением в голосе к прибывшим доложил Аристарх, внося блюдо в столовую. И тут же следом за ним, не ожидая приглашения, показалась

сизая бритая голова Альтести и расплывшаяся фигура Глебовой в лисьем салопе.

— Нижайше и почтительнейше кланяюсь, Гаврила Романович! Этот... татарин, — с ухмылкой кивнул он на Аристарха, — в сениях нас оставил. Как, думаю, можно: со мной дама, дворянка, и я по делам Григорий Ивановича с утра в разгоне, маковой росинки во рту не было, а тут Гаврила Романович, носом чую, обедать изволит.... Вот и решился взойти, не выгонят же нас, думаю.

— Аграфена Лукинишна, прошу! К столу прошу садиться, — дружелюбнейшим образом, с насмешливыми искорками в глазах приветствовал гостью Державин. — У меня как раз ваши излюбленные... щи с бараниной, только без приправы... По вкусу ли будут?

Глебова на приветствие хозяина, как была в салопе, жеманно присела в глубоком реверансе елизаветинских времен и неожиданно засюсюкала:

— Мерси вас, Гаврила Романович, вы всегда любезным кавалером были... премного благодарная! Как раз сегодня перед выездом щи кушала — сыта! А о здравии вашем, спасителя моего, никогда не забываю просфору вынуть... Как поживать изволите? Слыхала о горе, утрате вашей неоценимой — кончине Катерины Яков...

— Что поделаешь, все под богом ходим, один, как перст, один остался, — перебил Державин, глаза которого мгновенно увлажнились слезами.

Шелихов, только что слышавший отзыв Державина о Глебовой, с удивлением смотрел и слушал разговор хозяина с земляной жабой.

— Ай да щи! — блаженствовал Альтести, с сопеньем и чавканьем похрустывая бараными косточками. — Против таких, Аграфена Лукинишна, не выстоят и ваши, на кухаркином заду вареные...

— Альчеста! — счел долгом остановить бесстыдника хозяин. — Ешь щи с грибами, да язык держи за зубами. Вконец испохабился ты, Альчеста, с гвардейскими юнцами по трактирам шляючись, — место забываешь.

— Благодарю за хлеб-соль, Гаврила Романович! —

встал из-за стола Шелихов. — Я к себе пройду, деньги приготовить...

— Да ты их сам принеси, Григорий Иванович, сюда принеси. Зачем Аграфене Лукинишне ножки топтать? А еще лучше — езжайте домой, Аграфена Лукинишна, Альчеста вас проводит, а Григорий Иванович завтра деньги на дом приставит и купчую заберет.

Спорить с решением Державина не приходилось. Все согласились. Державин, провожая гостью, поцеловал пухлую руку, в ответ на что вдова секунд-майора жеманно прикоснулась губами к плешине на его темени.

Покупка дома у Глебовой — как будто бы мало-важное дело — спутала все расчеты Григория Ивановича и окончательно убедила его в гнилой сердцевине общества и людей, дававших ему тон.

Получив деньги, вдова секунд-майора тут же заявила, что освободить дом она сможет только по весне, когда установится погода и дорога для переезда в симбирскую деревню. Обязательства запродажной освободить дом по получении денег Глебова не признавала.

— Держись, матушка! Купчишки дома дворянские скупают, а дворянам куда деваться? — прослышав об этом, поддерживали ее большие и малые фигуры столичного света.

С этим Шелихов мирился, не имея времени и желания таскаться по судам. К тому же Альтести за деньги, Державин по дружбе обещали выхлопотать перевод зятя, Николая Петровича Резанова, обратно на службу в Петербург, но насчет времени не обнадеживали: значит, раньше будущей зимы дом не понадобится. Гонение на людей, заподозренных во французских вольностях, не ослабевало, скорее росло и ширилось.

Хуже вышло с кухаркой Анной, проданной Глебовой по уговору Альтести дворянке Анне Григорьевне Резановой за баснословную по тем временам цену — четыреста рублей, когда молодая, здоровая девка шла на свод за сорок-пятьдесят рублей, а в Сибири кортомных девок «имали на постель для блудного воровства» за пять—десять рублей.

— Все одно ши на ней варить буду! — заявил упрямая и нравная старуха, узнав, что Шелихов оставляет Аннушку домоправительницей и хозяйским оком при доме, не считаясь с присутствием в нем бывшей госпожи.

По совету Альтести, умевшего во всем находить свой барыш, Шелихов купил на имя Резановых, не считаясь с ценой, всю челядь Глебовой и все же не мог укоротить когти земляной жабы.

— Будошников позову, ежели людей у меня хитростью отняли, а из Селинки щей наварю! — твердила старуха.

Язык Альтести и злопамятной Жеребцовой, до которой от него и дошла «оказия с Глебовой», делали свое дело. Сплетни, перемешанные с грязью и нелепыми жалобами обманутой будто бы Глебовой, поползли из дома в дом. Аристарх с великой осторожностью и умолчаниями нашел случай рассказать о них Григорию Ивановичу.

Мореход с грустью и озлоблением убедился, что человеческое чувство, втянувшее его в эту историю, превратилось в глазах столичного общества в смешной анекдот о диком сибирском купце, увлекшемся столичной разбитной кухаркой. Имя Колумба русского пришивают к юбке какой-то неведомой деревенской бабы. Баба эта и майорша Глебова больше возбудили разговоров и интереса, чем все чудеса Америки, с вестью о которой он приехал в столицу.

Шелихов не выдержал и попросил Гаврилу Романовича дать место злополучной Аннушке в его людской до приезда дочери с зятем.

— Не обьест, пусть живет, — согласился придворный поэт. — А крестить сам буду и крестника в обиду не дам, — улыбнулся Державин.

— Бог тебе судья, Гаврила Романович, а только шутики шутишь ты обидные! — с горечью и серьезно, потемнев в лице, ответил Шелихов. — Придется ли еще свидеться, не ведаю, но... Что и говорить, наградила меня столица честью!..

Потеряв больше недели в досадных хлопотах, мореход только в середине марта выехал из столицы.

В восьмом часу петербургского туманного утра, после обильного завтрака, к которому вышел велевший еще накануне разбудить себя Гаврила Романович, Шелихов выбрался на крыльцо в сопровождении чуть ли не всей державинской дворни. В патриархальном доме Державина такая вольность позволялась и не вызывала окрика.

Под командой Аристарха были уложены в возке три мешка с двумястами тысяч рублей, погребец с петергофской чайной посудой, посылаемой Гаврилой Романовичем в подарок Наталье Алексеевне, и мешок с индейским боевым убором Куча, захороненного в русском обычном платье. Убор Куча и его пропитанную кровью рубаху мореход захотел взять домой. «Буду в Америке, отдам отцу-матери, — думал Григорий Иванович, вспоминая о невыполненном обещании доставить Куча живым на родину. — Не тело твоё захороню, Куч, в родной земле, но хоть кровь из верного сердца».

Шелихов не предчувствовал, что и ему самому не суждено еще раз увидеть открытую им заокеанскую вольную землю, которой он в мечтах своих дал многозначительное имя Славороссии.

— Почеломкаемся, друг Григорий, на дороге дальнюю! — выйдя на крыльцо, до слез расчувствовался Гаврила Романович. — Жду услышать о новых твоих подвигах и великих делах во славу государыни и державы нашей! Я всегда за тебя и все, что в силах моих, сделать готов... Ты прямо на меня обо всем отписывай! — с искренним чувством заверял Державин морехода, чувствуя в глубине души укоры совести за нейтралитет, которого — был грех, надо сознаться, — он инстинктивно держался в столкновении русского Колумба с засильем пакостных людей, подвизавшихся в безвременье.

Уж очень не хотелось стареющему поэту неосторожностью допустить торжество мальчишки Зубова и зубовской своры. Второй «Фелицы» не напишешь, — годы, придворный паркет отяжелили душу, лишили парения... «Выбьется Григорий, дойдет своего», — утешал себя Гаврила Романович и сказал вслух:

— Ты только берега держись, дурь из головы вы-

брось! Не колпак яacobинский или шляпа какая бостонская — картуз и шапка к лицу купцу российскому. Придут и для нас добрые времена — Америка не медведь, в лес не убежит... Плеча, плеча русского держись, Григорий! Не сковырнись в яму англинскую или бостонскую, если и бриллиантами выложат... Неисповедимы пути господни — своя у Руси дорога, и передовых на ней — придет и на то время — народ вспомнит...

Шелихов обнял Державина и от души расцеловался, забыв о том, что охлаждало их отношения в последние дни. Старик Аристарх с непокрытой головой, забывая место за спиной господина своего, неотступно топтался около Григория Ивановича и, желая поддержать под локоток сходявшего с крыльца морехода, почти повис на его руке.

— Прощай, Архип Сысоевич! Прощай, милый! Спасибо за попечение о здравии моем, за постель пуховую, ограждение от Алчесты алчного, — усмехнулся мореход и, целуя, схоронил в охапке под белой медвежьей шубой сухонькую фигуру старика.

— Прощай, Григорий Иванович! Прощай, орел наш и жалелец! Не довелось послужить тебе верой-правдой... Вовек не забуду. Не придется уж, видно, встретиться, к могиле идем, — шептал старик, давясь набившейся в рот шерстью. Он не допускал и тени мысли, что ему придется на полтора десятка лет пережить сибирского богатыря.

— Чем ты приворожил их, Григорий Иванович? — недоуменно оглядывал сгрудившуюся вокруг собственную челядь Державин.

— Русские люди! В духоте живут, не ко мне — к жизни тянутся, — неопределенно отозвался мореход. — Счастье, Гаврила Романович! Прощевайте, мужики и девки! — поклонился на стороны Шелихов, усаживаясь в возок.

Через полчаса подобный катящейся снежной глыбе возок морехода выехал на Вологодский тракт, древнюю дорогу новгородских ушкуйников в земли чуди белогла-

зой, оставляя за собой последние черные избы столичной окраины на Охте.

В первый же день к вечеру остановились ночевать в Заозерье, отъехав верст сто двадцать от столицы.

Задержавшись на день по торговым делам в Хлынове, недавно переименованном в Вятку, у знакомого купца Зимина, Григорий Иванович тронулся в путь и в двадцатых числах марта въехал в Пермь. Тогда она начинала отстраиваться на месте строгановского медноплавильного завода, на горе Егошихе,— маленький, погруженный в зимнюю спячку городок между раскидистых вековых елей и сосен.

Дальше ехать было легче и проще. Начиная с Ирбита сколоченное Шелиховым американское компанейство, в которое входили усть-сысольские, Соли Вычегодской, тюменские, селябинские¹ и других попутных городов купцы, четвертый год содержало, расходуя немалые по тем временам средства, собственные заезжие дворы на каждые приблизительно пятьсот верст пути от Иркутска до Ирбита. Русские корабли тогда еще не отваживались на кругосветные плаванья, на что толкал их Шелихов, ежегодно посылая во все присутствия докладные и челобитные. Часть товаров компании, добытых в Сибири, а главное на Алеутах и в Америке, а также и переторожкой с Китаем через Кяхту, шла сухопутьем, в сопровождении доверенных приказчиков, на богатые и прославленные в то время Уральские ярмарки и с них — на Москву и Петербург.

С Урала, тогдашней единственной всероссийской кузницы, — тульские и олонечские заводы в ту пору заглохли, — везли железо, чугунное литье, корабельную парусину, пеньку, канаты и веревку, в пути догружались мукой, крупами, салом — и обозами в двести, пятьсот, тысячу саней или телег — летом ходили реже — довозили все до Иркутского, меняя в пути десятки полозьев и колес. Из Иркутского на шаландах, вьючных лошадях, оленях и собачьих нартах, смотря по времени года, вытягивали тысячепудовые грузы к Охотскому, единственному тогда, если не считать еще нескольких

¹ Челябинск тогда звался Селябой.

рыбачьих гаваней, русскому порту на азиатском прибрежье Великого океана. Доставка грузов по этому пути в иные годы обходилась до одиннадцати рублей с пуда. Так связана была в те годы Россия с приобщенной к ней Шелиховым американской землей.

Сказкой, легендой, не менее удивительной, чем поход древних аргонавтов за золотым руном или великие плаванья Христофора Колумба, открывшего Караибские острова, звучат в этом свете подвиги, мужество и могучая сила русских землепроходцев, добравшихся до побережья Великого океана и с его груди высадившихся и построивших первые русские избы на противоположных берегах далекой Америки.

Перевалив через Урал и катясь в бесконечных дорожных думах-дремоте сибирской равниной по старому Колыванскому тракту, — он тогда еще не был упразднен, хотя уже и налаживалась правительством многострадальная «Владимирка», — мореход в тысячный раз перебирал в памяти все разговоры, которые он вел с разными влиятельными особами за время своего пребывания в столице.

«Народ не хозяин своему дому. Сто пятьдесят лет назад Михаил Стадухин, колымский добытчик, в Соли Вычегодской рожденный, сумел добраться до Курилов и заложил на Сахалине русский острожец... Поддержали его? Нет. Проглядели — некогда было: Степан Разин на Москву боярскую тогда поднялся... Хорошо! Пришло время Петра. Петр Алексеевич вспомнил, куда доходит Россия, и дальше заглянул — послал славных мореходцев Чирикова и Беринга... Но умер Петр — враз забыли! И вот еще пятьдесят лет прошло — я, Григорий Шелихов, шагнул через Алеуты в Америку, отстроил селения и крепости, корабли, верфи завел, коняг, чугачей, кенайцев, колошей домостроительству и земледелию обучил, потеснил залетных пиратов англичанских, купцам бостонским Асторам дорогу переродил — и что же?» Шелихов так верил в будущее своей российской Америки, что невольно и в мыслях преувеличивал успехи только что начавшегося освоения богатой, но суровой и дикой земли. «Не с руки нам Америка, без людей в ней не удержишься, а людишки

сбегают туда охальные, там на их заду щей не сварить, — думал мореход, насмешливо представляя себе разговоры противников, вдруг слившихся в его воображении в один образ упрямой и злобной земляной жабы — вдовы секунд-майора Глебовой. — А придет время, вспомнят русские люди Шелихова с товарищи, когда Бентамы и Асторы с удавкой потянутся к ним из-за океанов-морей... Ну, да чего загадывать, когда нас не будет? Страшен сон, да милостив бог! Пройдут подлые времена, в рост встанет Русь, сумеют постоять за свое и за себя русские люди...»

Такие мысли, мешаясь с планами на будущее и теми распоряжениями, которые он намеревался сейчас же по прибытии в Иркутск послать Баранову в Америку, наполняли душу морехода, не имевшего записных книжек и навыка в обращении с ними. И когда только мысль может претвориться в дело, если подумаешь, что ведь не меньше семи тысяч верст сухопутного бездорожья и коварной морской бездны лежит меж Иркутском и Кадыяком — тем Кадыяком, где сейчас по его указаниям закрепляет Баранов фундамент русской мощи и славы?

Пасха в этом году была поздняя. Предпасхальную неделю Шелихов провел в дороге и в десятых числах апреля по крепкому еще снежному насту, покрыв более четырех тысяч верст за четыре недели, въехал в Красноярск. Здесь он решил отстоять заутреню и провести весь первый день праздника в отдыхе за всю долгую гоньбу-дорогу. Ему не терпелось поскорей прибыть в Иркутск, обнять жену и детей, посоветоваться с Николаем Петровичем Резановым о дальнейшей судьбе дела, не встретившего в столице должной поддержки и сильных протекторов. Григорий Иванович словно предчувствовал, что судьба оставила ему малый срок для выполнения больших замыслов.

«Весна холодная и затяжная, если доскачу на Тунгуску до ледохода — дорога дней десять еще продержится — добрый знак: все сбудется, в чем удачу ищи!» — подбадривал он себя, преодолевая усталость и загадывая, как бывало делал мальчишкой, на «да» и «нет», на добрый чох и птичий грай.

В дороге, как в океанских странствованиях, Шелихов суеверно держался правила не изменять принятому решению: «Судьба ведет!» На второй день праздника, чуть свет, тяжелый от пасхального обжорства, — угошали неизменными и в Пасху сибирскими пельменями, олениной, гусиными печенками, подовыми пирогами с нельмой, — мореход выехал на свежих лошадях одолевать через Нижнеудинск и Балаганский острог последнюю тысячу верст, оставшуюся до Иркутска.

Дорога от Красноярска почти вся лежала через тайгу. Услышав, что на ней не то варнаки, не то медведи шалют, Шелихов решил подсадить на облучок к Никифору, разбитому и одуревшему от безостановочной гоньбы, такого же желтолицого ямщика-якута Митьку с винторезом¹.

— Ежели до Тунгуски за пять ден доскачем и по льду благополучно на нашу сторону переправимся, по двадцать рублей каждому, ребята, отвалю и по ведру в Иркутске выставлю. Гони! — сказал Шелихов, забираясь в возок.

С гостями на трех тройках хозяин, красноярский старожил-купец Атмакин, провожал возок любезного друга Григория Ивановича Шелихова верст на двадцать за город, до сенокосной своей заимки. Да и как не проводить человека, столь поднявшего, по мнению Атмакина, перед всем миром престиж сибирского купечества.

На двадцатой этой версте провожавшие, окружив с цветными бутылками в руках возок Шелихова, поднесли мореходу «посошок» на дорогу, выпили не закусывая, облобызались впоследствии, помахали вслед платочками и повернули в Красноярск — продолжать раздольное пасхальное гулянье в снегах, заваливших крутосклоны притаившегося в соснах и кедрах городка.

4

На пятый день гоньбы на сменных лошадях, разминувшись с полусотней тянувшихся по тракту попутных и встречных обозов, возок Шелихова докатился под ве-

¹ Пулевое нарезное ружье.

чер, после смены лошадей в Бардадыме, до места на берегу Верхней Тунгуски¹, с которого начинался переезд по льду реки. Мореход не захотел здесь дожидаться утра, как советовал ему ведавший переправой нерчинский служилый казак Емельян Молодых.

— Весна — через короткое время лед тронется, под правым берегом полыньи открылись... Уйдешь под лед, неровен час, — обожди до утра, Григорий Иванович! — говорил казак, хорошо знавший Шелихова и расположенный к иркутскому купцу, о подвигах и удаче которого был наслышан и много раз за последние десять лет встречал его на переправе. Но морехода трудно было переубедить в принятом решении, особенно ссылкой на риск и опасность. Одна только Наталья Алексеевна умела влиять на него.

Усевшись в возок, Григорий Иванович приказал Никишке спускаться на лед. Беззаботный Никишка только свистнул и, сдерживая на вожжах добрых сибирских лошадей, съехал на лед. Всматриваясь зоркими, будто волчьим огоньком отсвечивающими глазами в бурый след колен, гнал он во тьме лошадей по зимней дороге через Ангару.

Переезд заканчивался благополучно. Но вдруг, саженьях всего в пяти от крутого правого берега, под которым особенно глубока полноводная Ангара, раздался зловещий треск, всплески воды, и левая пристяжная исчезла во внезапно раскрывшейся черной полынье. Могучий мохнатый коренник, завалясь вбок и чуть не сбив с ног правую пристяжную, хрипел и рвался из упряжи. Вода заливала дорогу.

— Руби! Отдавай, руби! — крикнул мореход, во мновенье ока вываливаясь в воду вправо от возка. С быстротою рыси Никишка, выхватив нож, прыгнул с облучка на спину коренника и молниеносно перерезал сбрую около удила и валька пристяжной, тянувшей в полынью коней и возок.

— Й-ях! Й-ях, волки! — орал Никишка, сидя на

¹ Ангара.

спине коренника. На паре вскинувшихся в чудовищном рывке коней он сорвал возок с подломанного льда и выскочил на берег у самой воды.

Мореход, мокрый с головы до ног, стоял на двадцатиградусном морозе рядом с залитым водою возком. Лежавшая в возке шуба местами замочла и теперь, накинута уже на плечи Григория Ивановича, ледяными тисками сжимала его тело.

Что делать? Вернуться назад к Емельяну, казаку-переправщику, чтобы согреться и обсушить платье? Не хотелось, — скажет: «Слушал бы меня!» Да и вторично вступать в спор с коварной стихией небезопасно — благо в этот раз целы выскочили...

Ближайшее жилье лежало верст за десять — сибирских немереных верст, — село Спасо-Никольское. «Не задубеть бы дорогой, — пронеслось в голове Шелихова, — на паре не шибко добежишь». Провалившаяся пристяжная не выбилась на берег, ее затянуло под лед.

— Вперед! Вперед, Никишка! Гони в два кнута! Пропадем, если глазом моргнуть не добежим до Спасского, — негромко сказал мореход, забираясь в возок.

Подгонять не пришлось. Никишка и Митька в подмоченных тулупах чувствовали себя плохо и побежали рядом с возком, помогая коням, с трудом выбиравшимся по извилистой дороге через тальник на крутой берег.

До Спасского добрались часа через полтора — в семь-восемь вечера, когда, по сибирскому обычаю, все село спало уже непробудным сном. У старосты Силантия, знакомого человека, к которому подъехал мореход, долго с недоверием переспрашивали: откуда, да почему, да кто такие поздние гости, вздували лучину, искали пимы.

Войдя в жарко натопленную избу, Шелихов отказался от еды и, выпив стакан водки, принесенной из возка, забрался на печь, скинул сушить мокрое, оттаившее на нем платье, укрылся оленьей дохой и тулупом и сразу заснул как убитый. Никишка и Митька распрягли лошадей и, поставив их под навес — якутские кони не знают конюшни, — уселись за щи, выта-

щенные хозяйкой из печи, и долго еще рассказывали Силантию о пережитой опасности, а там и сами залегли на полотах отсыпать дорогу.

Ночью мореход почувствовал невыносимую жажду, озноб и жар в крови. Слезши с печи, разбудил хозяина, разыскал и одел с его помощью просохшее платье. Проснувшаяся хозяйка среди ночи растопила печь, запарила и напоила почетного нежданного гостя лесной малиной. Сognaв Никишку и Митьку на лавки, Григорий Иванович улегся на полотах, где хозяйка приготовила ему постель.

Днем, преодолевая жар и головокружение, — никогда не приходилось переживать такое мореходу, — Шелихов купил с помощью Силантия левую пристяжную на место утонувшей и на следующее утро выехал одолевать последние триста верст, отделявшие его от Иркутска, от дома.

Сменив на увалах Прибайкалья две тройки, — добрая лошадь стояла тогда в тех местах от трех до пяти рублей, — Григорий Иванович на третий день по насту, начавшему проваливаться под лучами солнца, вкатил в Иркутск и минут через десять был на своем дворе.

На крыльцо выбежала, накрывшись только платком, Наталья Алексеевна и остановилась — ждала, когда же откроются дверцы и появится в них богатырская фигура, прогремит голос славного хозяина и друга сердечного.

Но дверца не отворялась, ее открыл, соскочив с облучка, Никишка. Озабоченно заглянув внутрь возка, он обернулся к ней лицом и махнул рукой.

Не помня себя от ужаса, в предчувствии недоброго, вихрем метнулась с крыльца Наталья Алексеевна и, перебежав в сафьяновых сапожках по навозным кучам двора, бросилась к возку.

На нее глядело из медвежьей шубы чужое и незнакомое старое лицо, мигали мутные, выцветшие, как будто ничего перед собой не видящие глаза.

— Григорий Иваныч! Гришата! — всплеснула руками Наталья Алексеевна, но тотчас же овладела собой и, сдвинув снуровые черные брови, твердо сказала

уже сбежавшимся к возку и окружавшим его людям:— Тише! Недужен Григорий Иванович... С бережением выносите и в спальню... А Куч, где Куч девался? — растерянно оглядывая пустой возок, спрашивала она, только сейчас заметив отсутствие верного красного друга и слуги.

Никишка молчал, виновато опустив голову и скосив куда-то вбок бусины глаз. Наталья Алексеевна поняла, что Куча она никогда больше не увидит, и, подавив спазм, перехвативший горло, первая, несмотря на дорожность, ловко проникла в возок, чтобы бережной и заботливой рукой поддержать любимую буйную голову, подкошенную лихой бедой.

— Наталья Алексеевна... Наташенька... уплывем... на Алеутские уплывем. Баранов Александр Андреевич ждет, поди, не дождется... и Куча... кровь из сердца Куча с собой возьмем... там захороним Куча, в его родной земле, — отдаваясь во власть недуга, преодолеваемого до этого момента нечеловеческой силой воли, выговаривал в забытии мореход.

Истерзанное трехдневной ездой в жару и ознобе могучее тело Шелихова, обмытого душистой сосновой водой с водкой, переодетого в чистую рубаху и порты, обмякло и как бы растаяло в блаженном покое под белоснежными холщовыми простынями собственной постели в собственном доме. Только сейчас признала Наталья Алексеевна в худом и осунувшемся лице с закрытыми глазами знакомые черты своего Григория Ивановича.

— Никишке велишь пятьдесят рублей выдать и Митьше двадцать и по ведру водки — пушай гуляют! — с хозяйственной заботливостью неожиданно громко, как бы во сне, сказал он. — И поплывем... с Кучем поплывем, Наташенька...

— Поплывем, поплывем — сама распоряжусь... Не утруждай себя, спи, не береди души, Гришата! — положила руку на его губы Наталья Алексеевна.

Через час, послав за чудаковатым городским лекарем шведом Сиверсом и усадив у постели Григория Ивановича старшую дочь Анну с зятем Николаем Петровичем Резановым, вернувшихся из гостей, Наталья

Алексеевна заставила себя заняться делами. Она привыкла к этому в частые отлучки мужа и отлично разбиралась в разнообразных и сложных шелиховских предприятиях, будь ли то китайские шелка, чай, американская пушнина, моржовая кость с Чукотки или указы из Петербурга и распоряжения генерал-губернатора Восточной Сибири Ивана Алферьевича Пиля. Как никто, была она в курсе намерений и сокровеннейших замыслов морехода и хозяйственной своей распорядительностью и тонкой политикой всегда вызывала его восхищение.

Из женщин именитого иркутского купечества, с первым десятком которого молодой «миллионщик» Шелихов не мог даже равняться по состоянию, единственно Шелихова Наталья Алексеевна принимала участие в скудных событиях общественной жизни города.

За свое пребывание в Америке Наталья Алексеевна, утешая людей в совместно переживаемых опасностях и невзгодах, обещала многим работным позаботиться об их оставленных на родине семьях, престарелых родителях и детях. «Нам-то отселе, уж видно, не будет возвращения», — звучали в ее ушах прощальные речи перевоззасельщиков. В посильном выполнении обещаний Наталья Алексеевна видела свой первый непреложный долг. Выполнение этого долга было как бы залогом ее собственного семейного счастья.

Какие причины заставляли жену настойчиво хлопотать о помещении каких-то стариков в содержимую на купеческие средства богадельню или подростков из бедных семей в недавно открытое, первое в Иркутске, городское училище, Шелихов не знал, но относился к хлопотам поощрительно. Добиваясь намеченной цели, Наталья Алексеевна не останавливалась на пороге своей горницы, но, сохраняя самобытную внешность и одеяние честной купеческой жены, без смущения входила в дома иркутской чиновничьей верхушки, где благодаря своему уму и «тонкой политике» заводила полезные знакомства и связи, не раз пригождавшиеся и самому Шелихову в его разносторонней коммерческой деятельности. В те времена, да еще в таком староза-

ветном замшелом городе, как Иркутск, это что-нибудь стоило.

— Заморским негоциантом живу, а не сибирским медведем, — самодовольно шутил Григорий Иванович в кругу близких людей, имея в виду угрюмые и безлюдные дома-крепости кондового сибирского купечества.

— За своей бабонькой не пропадешь, Григорий Иванович, — подшучивал над мореходом Александр Андреевич Баранов, суровый, исключивший из своей жизни всякую слабость к женскому полу человек, которого Шелихов десять лет уговаривал и наконец уговорил выехать и возглавить дело устройства заокеанских колоний в Америке.

И в настоящем, из ряда вои выходящем случае не изменила себе Наталья Алексеевна. Не прервав и единым словом, выслушала она бесконечный рассказ приехавшего в комнаты Никишки, обильно сдобренный таежной фантазией и услышанными в державинской людской сплетнями.

Чего в нем только не было! Смерть Куча среди плававших генералов и господ; привольное житье в Петербурге, с музыкой и танцами у господ и в людской тоже; шалая графиня Зубова, объединившаяся в представлении Никишки с сестрицей графа Зубова — Жеребцовой, которая хозяину глаз вынуть хотела, да он убежал; приключившаяся там — сглазили! — болезнь Григория Ивановича: помер бы, да заморский лекарь спас — царица прислала; и как он, Никишка, карету злого человека с полозьев своротил; и дом купленный, где баб розгами секут; и выезд из Петербурга — «весь город пришел провожать», — и денно-нощная гоньба, в которой два полнолуния встретили и десять да еще десять троек загнали; ночная переправа через Ангару и черная полынья, из которой не выскочили бы, если бы не он, Никишка, возок со дна не вырвал, и опять гонка — полтора-два верста за день и ночь, а он, Никишка, все не спит, все не спит, а теперь — привез, сдал — спать будет, много дней спать будет...

Наталья Алексеевна понимала, что большего толку от Никишки не добьешься.

«Поправится Гришенька—сам все расскажет»,—подумала она и отпустила Никишку спать, а сама, покли-
кав на подмогу старшего шелиховского приказчика
Ивашку Кускова, сыгравшего впоследствии видную
роль в жизни и устройении поселений будущей Россий-
ско-Американской компании, принялась вместе с ним
приводить в порядок вынутые из мешков деньги, под-
моченные водой и превратившиеся было в ледяные
глыбы.

Она не знала, сколько денег привез с собой Григо-
рий Иванович, но зато была убеждена, что, сколько бы
их ни было, Кусков не утаит для себя и полушки.

— Раскидай их, Ванюша, и запри комнату, к за-
втраму обсохнут — сочтем! — просто сказала она, торо-
пясь к больному, оставленному на попечении дочери и
зятя.

У постели Григория Ивановича священнодействовал
аптекарь Сиверс. Огромным термометром Цельсия,
драгоценным инструментом, чуть ли не единственным
на тысячеверстную округу, измерял он жар, отнявший
у морехода память и сознание.

— Гм, ja... О, ja, — рассердился старик, разглядев
ртутный столбик, поднявшийся за 40° деления термо-
метра. — Простодушная горячайка, — немилосердно
коверкая русские слова, ответил он на настойчивый,
спрашивающий взгляд Натальи Алексеевны. — Es sev
страшни шорт, aber милостифи бох! Будем лечить, —
Колумбус русски soll nicht sterben¹. Я до кризис пе-
реселяется на ваш клеб, Наталия Алексеевич...

Старик Сиверс, швед по рождению, служивший ко-
гда-то врачом в армии так называемого «великого»
Фридриха и попавший в Сибирь тридцать лет назад
после пленения в роковом для немцев сражении под
Кунерсдорфом, прочно обосновался в Иркутске и не по-
желал воспользоваться дарованным Екатериной II раз-
решением вернуться в Европу.

Старый Сиверс был своим человеком в доме Шели-
ховых и души не чаял в славном мореходе. Сын Сивер-
са, худосочный иркутский канцелярист Адам Сиверс,

¹ Пусть... однако... не должен умереть (нем.).

по рекомендации, умело ввернутой в беседе с Безбородко Григорием Ивановичем пять лет назад, был зачислен переводчиком и суперкаргом¹ в направленное вскоре после того из Иркутска посольство в Японию. Посольство возглавляли немцы: гижигинский исправник поручик Адам Лаксман и отец его, носивший фантастический титул «минералогического советника кабинета», лекарь Эрих Лаксман.

Посольство успеха не имело из-за немецкого чванства и глупости, как объяснял это Сиверс-отец, однако Сиверсу-сыну оно принесло чин титулярного советника и повышение по службе.

К чудачествам старого Сиверса относили пристрастие его к китайской медицине и фармакопее: к чудному корню жень-шень, пантам маралов и другим чудодейственным средствам, перекочевавшим из страны Тибета и далекой Индии.

Заветная аптечка была перенесена в дом Шелиховых и, возможно, сделала свое дело. Усилия Сиверса подкреплялись любовью и волей Натальи Алексеевны в борьбе за жизнь любимого человека. Но верней всего думать, что и в этот раз, в последний может быть, сказалась могучая натура морехода.

С десятого дня по возвращении домой, после кризиса, когда казалось, что душа Шелихова покидает измученное тело, и Сиверс, с трудом разжав его сцепленные зубы, влил в рот — последняя надежда! — отвар корня жень-шень, Григорий Шелихов начал медленно, но верно возвращаться к жизни.

Оправляя как-то подушки, Наталья Алексеевна заметила в темных кудрях мужа прядки совсем белых, седых волос.

«Не попадем мы, Гришата, в Славороссию твою. Не доживем увидеть, как сбудется, да и сбудется ли без тебя мечта жизни твоей?» — с непереносной горечью в сердце подумала Наталья Алексеевна, и впервые за все дни страшного испытания из черных запавших глаз ее теплым градом покатались слезы на еще бесчувственное, но живое лицо мужа.

¹ Смотрителем грузов.

Когда сознание начало возвращаться к Шелихову, пришла и его очередь удивляться и не узнавать близких и родных людей. Он тупо и равнодушно смотрел на тревожное лицо любимицы своей Аннушки, не замечая ее блестящих слезами глаз, и никак не отзывался на шутки зятя Николая Петровича. А однажды совсем огорчил окружающих, когда, увидев у кровати младшую дочь Катеньку и насупленное лицо сына Ванятки, спросил, едва шевеля губами: «Чьи эти ребята... чьи?»

Однако выздоровление подвигалось довольно быстро.

— Наташенька! — наконец вполне сознательно и отчетливо проронил он, увидев склоненное над ним худалое и темновидное, как икона старого письма, лицо жены. — Недуговала? Извелась, гляжу, лица на тебе нет, — путался он в мыслях, потеряв представление о времени и событиях, предшествовавших болезни.

На дворе стояло ветреное и знойное лето. По немощенной соборной площади, на которую выходила усадьба Шелиховых, носились пылевые смерчи, вздымаясь черными витыми столбами к солнцу. Над городом свирепствовал прибайкальский норд-ост — тундровая «харахаиха», подобно сицилийскому сирокко бесившая людей и животных духотой и сибирской добавкой к ней — тучами мошки и гнуса. Из-за Ангары неслись запах гари и дыма. Обычные в жаркие лета таежные пожары почитались божеским попущением, тушить их было некому и нечем, спасение приносили осенние дожди и зимние снега.

Бесконечные дни иркутского лета Григорий Иванович проводил в своем саду, где в дальнем конце, в зарослях черемухи среди кедров по обрыву над Ангарой, гудела жизнью и трудом бортевая пасека. Сад Шелиховых был предметом восхищения немногих и зависти для большинства.

В середине сада красовалось по полусотни раскидистых деревьев амурской яблони дичка, прищепленных

на рыльскую, с родины доставленную антоновку-каменку. Рядом был разбит ягодник, с отобранными в тайге лучшими кустами малины щетинки и облепихи; на ягодах облепихи иркутяне издавна научились готовить крепкие настойки на меду. Еще подальше раскинулся огород. Половину огорода занимал незнаемый заморский овощ — картофель. Именитых иркутских купцов, из них многие были компаньонами Шелихова по океанским промыслам и торговле с Китаем, особенно раздражала возня Григория Ивановича с «чертовым яблоком» — картофелем. Из предшествовавшей последней поездки в Петербург, в небольшой сумке, всю дорогу хранившейся под шубой, мореход привез в Иркутск десятка три картофелин, добытых между делом и тайным путем через подкупленного садовода из оранжереи при петербургском «фонтанном доме» шталмейстера Петра Борисовича Шереметева. Там его высаживали для графского стола рядом с ананасами. Великие достоинства картофеля расхваливали книжки государственной медицинской коллегии, внедрявшей по личному заданию императрицы новую, неведомую в России культуру.

Узнав из книжиц об успехах земляного яблока в Англии, Фландрии и Германии, а главное — о происхождении его из Южной Америки, где оно было найдено европейскими землепроходцами в высокогорных долинах Андов, Шелихов прельстился мыслью ввести новую культуру в Сибири и перекрыть ею постоянный хлебный недостаток в русских поселениях на севере американского материка.

— Бахвальство! Озорничает и с жиру бесится, — неодобрительно отзывались иркутские толстосумы о картофельной затее Шелихова. За мореходом водилась слабость преждевременно хозяйничать в будущем — он пообещал через десять лет заменить потребление хлеба «чертовым яблоком» своего огорода и продавать его по десять копеек за пуд.

С Шелиховым купцы во многом не ладили, готовы были дерьмом закидать его огород. Чем черт не шутит, когда бог спит. Хлебушко, он кормит не столько пахара, сколько умного человека: по отдаленности от хлеб-

ных мест иркутские амбарщики, случалось, поднимали ржаную муку до баснословной для того времени цены в три рубля, в Охотском и на Камчатке — до восьми, а в американских поселениях — до двенадцати и более рублей за пуд.

По компанейскому договору многие иркутские хлебники были не только пайщиками по промыслам, но и поставщиками продовольствия и других нужных на американском берегу товаров. В возможность замены хлеба твердым и грязным «каратуфелем» они не верили, но за всем этим подозревали хитрый подкуп Шелихова под законнейшие, по их убеждению, купеческие барыши. Поступиться своими барышами они никак не хотели и искали только случая сократить самоволие морехода. Болезнь Шелихова дала им возможность по-своему вникнуть в дело.

«Брюхо — твое, хлеб да соль — мое; захочу — на вес золота продам, захочу — даром отдам!» — как сговорившись, отвечали кондовые иркутяне на частые упреки Шелихова. Упрекал же он их в живодерстве и непонимании обязательных, по его мнению, для просвещенных негоциантов гражданских обязанностей и государственного интереса в обслуживании продовольственных надобностей американских поселений.

Любопытствуя узнать про столичные новости, указанные привилегии и охранные грамоты, добытые Шелиховым для колоний на американской земле, компаньоны не хотели дожидаться выздоровления Григория Ивановича. Несмотря на всяческие препятствия, чинимые Натальей Алексеевной, оберегавшей спокойствие мужа, они поодиночке и как бы невзначай пробирались в сад Шелиховых, где, как в конторе, вели с ним долгие и утомительные споры по каждому пункту плана наилучшего устройства и прочного закрепления первых поселений на заокеанской русской земле.

— Ежели собрались навестить меня, побеседуем, господа компаньоны! В ногах правды нет, садись в кружок поближе до меня... Кусков, тащи скамьи! — радужно пригласил в одну из таких встреч топтавшихся вокруг него купцов Григорий Иванович. — На Наталью Алексеевну не сердчайте, что не допускает вас, жен-

щина — она о своем деле понимает! — шутливо оправдывал он жену, неласково принимавшую гостей.

Отчет о поездке в столицу, который Шелихов думал сделать собранию пайщиков по выздоровлении, был продуман им до конца. Он понимал, что не следует обольщать ни себя, ни своих companions надеждами на поддержку и помощь власти. Освоение и будущее русской Америки предоставлены собственным силам, разуму и размаху русских людей, хорошо и то, что мешать не намерены...

— Скучно встретили челобитие мое американской землей, — заключил он рассказ о встречах и разговорах с сильными петербургскими людьми. — До государыни не допустили, а на случай — ответ держать придется — куски бросили. — Шелихов прочел копии указов, добытых через Альтести, сказал о привезенных в мелкой монете двухстах тысячах рублей. — Все дело на наши плечи ложится, господа купцы, без народа же плеча нашего не станет дело поднять! Значит, первое дело народную силу раскачать...

— Не купеческое занятие предлагаешь, Григорий Иванович! Наше дело купить товар выгодно — выгодно товар продать, прибылое в кубышку про черный день положить... Торговлей купеческому сословию силу копить положено, а не народ мутить, на неведомое дело поднимать. Зачем в народе душу мечтанием тревожить! — степенно и убежденно возражал мореходу признанный иркутский «златоуст» Иван Ларионович Голиков.

— Торговать хочешь — товар иметь надо! — пытался Шелихов склонить companions к вложению прибылей компании, как и накопленных капиталов. Без денег не построишь кораблей, не развернешь мануфактур, ремесленных промыслов, домостроительства, не откроешь школ и всего того, чем бostonцы закрепляют за собой необозримые земли. — А кто же у нас товары работать будет? Где и какие у нас товары против английских или бostonских стоять могут? Опять же, чтобы товары продать, покупной народ с деньгой нужен, а мы народ до костей обдираем, труда его хлебом насущным не обеспечиваем...

— Не купеческое дело наглядывать, кто какие щи варит да есть ли в них мясо, — купечеству торговать положено, дворянству — в войске быть, чиновнику — государством управлять, а прочий народ — мох и трава. А ты знаешь, Григорий Иванович, для чего трава каждый год нарождается? Коси, пока отрастает... Раз от казны пособия на Америку не положено, значит ненужная она нашей державе — так я тебя понимать должен? А что сумеешь не мудрствуя взять — на то заборы нет... От гордыни, суемудрия и лукавствия спаси и сохрани нас господь! — истово перекрестясь, отмахнулся купеческий «златоуст» от развернутых мореходом соблазнительных картин преуспевания заморских поселений, ежели в них капиталы и душу живую вложить.

— Бостонцы и англичане нам не указ, пускай хучь вдвое дешевле свое добро предлагают, а за мое мою цену подай! — упорно бубнил новый компаньон, обрусевший грек Калофати.

— Запретим постройке у иноземцев товары покупать! — упирал на запретительные меры отставной прокурор — пайщик Будищев.

— Распустил ты добытчиков, Григорий Иванович, — кричали третьи, — а мы их в Нерчинск на рудники высылать будем за нарушение подписки... Исправника на них пошлем! — особенно настаивал на карающей руке гнусавый голос богача Мыльников, метившего в перегонку с Голиковым попасть в заправилы компании.

— Ваша, купцы, утроба свиная, ненажорливая, она людей на разврат и своеволие толкает! — вскипел наконец мореход, раздраженный тупой и самодовольной алчностью компаньонов, и достал одно из последних секретных донесений Баранова. Он их обычно не оглашал и решения, поскольку они часто касались вопросов щекотливых и сомнительных, принимал единолично или по совету с Натальей Алексеевной и зятем Резановым. — Хлеба на Алеуты и в американские селения мы не посылаем уже третий год и делаем это для того, чтобы разобрали там старую тухлую муку. Каюсь, и я грешен, мирился на этакое! Купеческого сына Егория из великоустюжских Пуртовых все знаете? Кто худое о нем скажет? В запрошедшем году ушли люди на лет-

ние промыслы без запаса... Даже алеутское брюхо не принимало вашей муки, да еще по шешнадцать рублей за пудик! Промышлял и Пуртов с партией в Чугацкой губе. И зашел туда английский торговый разбойник капитан Кокс, может статься, и не случайно зашел, если поразмыслить, что он сейчас на шведскую службу записался... Получать в Иркутском на паи прибыль — дело немудрое, а в Америке на паи ее промыслить — хлебнешь всякого! Деларов, лысомудрый грек, — дело это было до приезда Баранова, — дал Пуртову трех беглых матрозов с китобоя шведского, на Кадьяке представшего, они и замутили промышлененных, как увидели английский судно, а может, и сговор у них на это с Коксом был... Зашумели островные американцы: «Русские товаров не посылают — русские сюда больше не придут! Давай муки на затуран¹, водки давай, сахару, девкам-каюркам китайки давай, не дашь — домой повернем».

— Пострелять их Пуртову надо бы! — рявкнул в воинственном азарте один из companions, иркутский старожил Ферефёров.

— Там стрелять — не ветры из брюха пускать. Изан Максимыч, по опыту знаешь! — не полез за словом в карман Шелихов под грохочущий хохот остальных companions, намекая не то на неудобную в обиходе привычку сибирского старожила, не то на две его собственные экспедиции, отогнанные туземцами от американских берегов.

Выпучив водянистые навывкате глаза без ресниц, Ферефёров было вскочил и снова сел, вытирая взорвавшую шею красным ситцевым платком. Соседи переглянулись, ухмыльнулись добродушно и безнадежно покрутили головами, отодвигаясь от тучного купчины...

— Вот слушайте, я зачту, что пишет Баранов, — сказал Шелихов. — «Замутили беглые шведские матрозы алеутских мужиков. Пуртов видит — не сладить, поехал с шведскими матрозами на Коксов корабль. Договорился честь честью и на другой день повез ему, а матрозы те на корабле остались, повез ему три бай-

¹ Похлебка с мучными клецками.

дары бобров и морских котов на хлеб, на ром, на пестрядь менять... Кокс обмен обещал сделать по бостонским ценам, а они втрое ниже наших. Подняли рухлядь на палубу, и Пуртов взмолился, а на него двое громадных негров кинулись с кандалами... Только Пуртов не сробел — не велик собой, знаете, а в груди поперек себя шире! — одного черного на месте ушиб, другого за борт бросил и сам за ним вниз головой, ухватился в воде за байдару и к берегу погнал... Кокс из пистолетов и ружей в них палил, но ушли! Одного только ранили... На берегу старшим Медведков оставался... Есть у нас такой бесценный человек, он с американцами, почитай, десять лет прожил и первым у них начальником стал! Медведков мигом изготовился к встрече, байдары в камнях укрыл, единороги выкатил, людей расстановил... и Кокс — он в подзорную все разглядывал — для острастки стрельнул с десятков раз, безвредно — далеко стоял, а ближе через камни к берегу не подойдешь — он на другой день и ушел в море». — Шелихов кончил читать, отодвинулся в тень высокой белой березы и, не глядя на собравшихся, сказал: — Вот какие люди на нас работают! Одна колюжская дорога сколь тягостна и несносна для бедных иноверцев... Представьте едущих туда и обратно до Якутата тысячу верст в тесной байдаре, без парусов, на гребках, по недостатку кормов в пути голодающих, а по малоимению пристаней погибающих от бурливости моря. Вот и предоставляю вам судить, требуется ли отважность духа у русских быть в таких делах!

Все молчали. Невзгоды «колюжской дороги», развернутые Шелиховым в сладостной тени сада, заставили даже тупых иркутских купцов присмиреть и хотя бы на время прекратить возражения, порождаемые алчностью и погоней за наживой.

— Какое же наказание положил ты на Пуртова, Григорий Иванович? — прервал Голиков молчание.

— Отписал Баранову объявить Егору Пуртову замечание за то, что вступил на палубу чужеземного корабля без осторожности, и ему же и Медведкову за удалство и достойный отпор врагу предложил выдать по суховому паю не в зачет службы, а иноверцам про-

мышленным, что с ними были, по стакану водки и аршину бисера... за здоровье господ компаньонов! — без тени смущения ответил Шелихов.

— Поощрил, значит, за бунт и воровство, — подхватил Голиков, поглаживая бороду. — Нет, Григорий Иваныч, так руководствовать и нас не спросясь не годится! Награждения татей, хоть и не велики деньги, на свой пай не приму...

— Кому пироги ясть, а нам с сумой по миру итти! — наливаясь кровью и пуча глаза, пробурчал Ферефёров.

— Ты постой, Иван Максимыч! — остановил его Голиков. — Не путай пустого с делом... Мы, Григорий Иваныч, к тебе идучи, положили промеж себя дать облегчение трудам твоим... Всем-то ты один ворочаешь, долго ли надорваться! Вот мы и решили за счет компании подпереть тебя верным и добрым человеком и на то место наметили Полевого, ты-то знаешь его, Алексея Евсеича, вроде бы главным суперкаргом компании назначить, — говорил Голиков, осторожно подбирая слова и нащупывая отношение Шелихова к попытке компаньонов ограничить его доселе бесконтрольное и единоличное управление делами компании. — Ты вот и сам не раз жалобился, что все на себе везешь, мы и приняли в резон... Я не могу морской торговлишкой заниматься, земноводная у меня душа, да и откупные дела досуга не оставляют... Ты руководствовать будешь и, как был, распорядчиком и направителем останешься, а он, Алексей Евсеич, хозяйственные мелочи возьмет — закупку товаров, продовольствия, доставку, раздел промысла, людей подотчетных проверку, склады, кладовые, магазины наши...

Собравшись у Шелихова с готовым решением подсадить в управление заморскими промыслами цепкого блюстителя пайщицкой копейки, недостаточно оберегаемой, как они были убеждены, мореходом, компаньоны чувствовали себя в положении охотников, обложивших берлогу медведя. В случае взревет да на дыбки станет — откажется допустить Полевого к делу, — сговорились поднять на рогатину: выйти всем до последнего из товарищества «Северо-восточная американская ком-

пания» и объединиться с ее давним и напористым конкурентом Лебедевым-Ласточкиным, а медведь пусть подохнет...

Против ожидания медведь на дыбки не встал и даже рывкнуть не захотел, миролюбиво потеснился и.. обошел рогатину.

— Спасибо, господа купцы, что труды мои отличили и надумали облегчение им дать. Давно пора! А ты, Иван Ларионович, прими благодарение в особицу, как это дело, понимаю, твоя голова придумала, — потягиваясь и как бы сбрасывая с широких плечей давившую тяжесть, сказал в ответ на елейную речь Голикова Григорий Иванович... — Очень даже знаю Полевого, Алексея Евсеича, — продолжал Шелихов, — молод, правда, но разумен, просвещения не чурается — для нашей международной большой коммерции лучшего не сыскать... А я как раз собираюсь, только на ноги встану, на Удь, на Шантары, Амур-реку и куда господь приведет по следу Пояркова гавань искать, чтобы круглый год не замерзала. Без того не стоять России на Восточном океане!

Присутствовавший на собрании по наказу Натальи Алексеевны — «чтобы не растревожили дуrolомы Гришату» — Николай Петрович Резанов с молчаливым одобрением покачивал головой.

— Сказано: толцйтесь — и отверзется, — благомысленно поддержал на этот раз Голиков, обычно враждебно воспринимавший тягу морехода к странствованиям. Отход Шелихова от дел товарищества отвечал планам откупщика. «В штурманы на мои корабли проситься будет, не возьму непутевого», — подумал степенный Иван Ларионович, злорадно представив себе судьбу, ожидающую Колумба русского в таком путешествии.

— Зачежится с гаванью этой за китайское колесо, опять прикроют ямыни¹ торговлю на Кяхте, — ворчал Ферефёров, а с ним и другие иркутские купцы, монополизировавшие торговлю на китайской границе, — участником этой торговли был и Шелихов.

Добродушие и спокойствие, с которыми Григорий

¹ Правители китайских областей.

Иванович встретил ничем не прикрытый поход за ограничение его прав как открывателя Америки и основателя компании, объяснялись очень просто. За несколько дней до собрания Алексей Полевой тайно навестил морехода и рассказал о готовящемся «облонамести» Алексея Полевой, отец объявившегося в пушкинское время по началу своей деятельности прогрессивного и талантливого купца-литератора Николая Полевого, принадлежал к новому нарождавшемуся в России купеческому поколению, искавшему выхода к власти и влиянию через торговлю и деньги. В Шелихове Полевой увидел свой идеал купца-кондотьера, завоевателя новой культурной жизни. Этот идеал Алексей Евсеевич Полевой создал в своем воображении при чтении исторических книг. Он не мог допустить крушения Шелихова на подножке, подставленной лабазниками, и под клятвой молчания открыл Григорию Ивановичу замыслы Голикова. Такое обстоятельство способствовало их сближению, и Шелихов многое передоверял скромному и робкому мечтателю Полевому.

После поездки в Петербург Шелихов понимал, что делу его грозит окончательная гибель, если он допустит выход из компании последних, хотя бы только голый наживой заинтересованных людей, и вторжение на Аляску множества слабых, но вороватых и бесцеремонных хищников.

— За помощь спасибо, господа компаньоны! — торопился закончить Григорий Иванович надоевшее ему сборище и предупредить дальнейшие споры. — Наши промышленные, сами знаете, какие люди... Вино пей, жену бей и ничего не бойся! Однако они не хуже нас, хозяев, а на подвиги для родины гораздо способны... Просвещение дать им надобно: обучение, книги!

— Едино страхом божьим просвещались доселе люди, Григорий Иваныч, пастырским словом, церковью и молитвою! — подхватил Голиков, уловив подходящий момент для проведения своих дальнейших замыслов. — Я давно тебе советовал просить монаршего соизволения на отправление к тамошним жителям пастырей, духовных особ. На просвещение светом веры православною диких американцев и наших буйственников я

и сам, сколь ни убоги прибыли мои, паишко-другой откажу...

— Полезная, государственная мысль! — неожиданно поддержал Голикова Николай Петрович Резанов, заметив начавшее багроветь лицо морехода. — Григорий Иванович недавно и сам препоручил мне составить всеподданнейший доклад...

— Уж и доклад готов?! — с недоверием протянул Голиков. — А со мною Гриш... Григорий Иванович спорил: не к месту, мол, попы в Америке... «Ци-ви-ли-зо-вать, грит, — насмешливо, по складам выговорил Голиков не нравившееся ему слово, — американцев надобно, а не попов к ним посылать! Поубивают американцы монахов за тунеядство и алчбу — не оберемся хлопот», — пугал меня Григорий Иванович...

— Обдумал и передумал! — оборвал Шелихов скользкие объяснения Голикова, подчинившись предостерегающему взгляду Резанова. — Закрываю сидение — устал, не обессудьте телесную слабость... Вот и строгий лекарь мой идет! — кивнул Шелихов в сторону Сиверса, приближавшегося к ним, размахивая огромным термометром, в сопровождении Натальи Алексеевны.

Компанионы переглянулись. Они опасались не столько Сиверса, у которого лечился весь Иркутск, сколько сурового и властного нрава Натальи Алексеевны. Не в пример прочим купеческим женам, она держалась с мужчинами свободно и независимо, умела показать свою силу и влияние на мужа не только в домашности, но и в торговых делах. В разговорах между собой компанионы называли ее «матрозкой», но в глаза держались уступчиво: как-никак, первая русская женщина, ступившая на берег Нового Света.

— Николай Петрович, ай-ай, нехорошо! — с улыбочивым упреком обратилась она к зятю. Резанов с подчеркнутой предупредительностью встал ей навстречу. — А еще слово дали: не допускать Григория Ивановича до заботных дел... Нельзя ему кровь волновать! И вы, господа заседатели, без конца! Пустила вас, как добрых людей, о здоровье проведать, с возвращением от смерти проздравить, а вы... Распускаю заседание! Гришата,

тебя Федор Иванович обслушивать будет, а гостей я сама провожу... Подовый пирог их в столовой горнице с нельмой ждет на закуску трудов заседательских, — объявила она и решительно повернулась к дому, как бы приглашая засидевшихся посетителей следовать за собой.

Компанионы, пересмеиваясь, один за другим потянулись в дом за хозяйкой. Идя по дорожкам сада, с любопытством поглядывали по сторонам, высматривая кусты и деревья. Сад был хорош и уютен, располагал душу к миру и отдыху. Большинство было довольно любовным окончанием собрания. Хитрости Голикова многие опасались больше, чем самовольства Шелихова, приносившего, что ни говори, немалые барыши, к тому же настойки и подовые пироги Натальи Алексеевны славились на весь Иркутск.

— Не осуди, Григорий Иванович! Дело наше, сам понимаешь, гуртовое, ты скорей... того... за гужи берись! — примирительно бормотали компанионы, прощаясь с хозяином, и размашисто, как на торгу, протягивали руки Шелихову, принимавшему их таким же широким дружелюбным движением.

— Видели, Николай Петрович, меркаторов российских? Дело наше гуртовое, говорят, — устало откинулся Григорий Иванович к зятю, когда последний из гостей скрылся за поворотом садовой дорожки. — А допусти их в Америку, друг друга самоистребят и под костями своими дело схоронят — злодейства лебедевских ватаг и погибель за них Самойлова тому пример являют... Только вы, Николай Петрович, не проговоритесь Наталья Алексеевне, что знаете от меня о кончине Самойлова. Не хочу ее тревожить — мою болезнь едва пережила, а старика она как родного отца почитает. «Никто, как Константин Лексеич, — до сих пор твердит, — из Аляксы меня вернул», — спохватился мореход на том, что проговорился о тяжелом известии, утаенном из отчета возвратившегося из Америки Деларова.

Потерявши свою самоуверенность и оправдываясь в неудачах своей управительской деятельности, грек ссылался на то, что он вступил в управление, не приняв

дел от Самойлова, а Самойлов не вернулся из экспедиции, вызванной восстанием кенайцев, возмущенных насилиями промышленников, посланных Лебедевым. К такому концу Самойлова Григорий Иванович, надо сказать, был подготовлен еще два года назад путаным и не доведенным до конца, как он понимал, разговором Меневского о каких-то таинственных «англичанах», заблудившихся в Кенайской земле. Особенно тяжелы были подробности мученической смерти Самойлова и его спутников.

Раздраженные лебедевцами до неистовства, кенайцы, захватив вероломно в плен Самойлова и его спутников, не пожелавших применять в свою защиту оружия, судили их, приписывая им преступления лебедевских ватажников, и приговорили, привязав к деревьям, к смерти огнем и стрелами. Естественно, что о такой мученической гибели благожелательного к туземцам Самойлова Шелихов не мог и не хотел говорить жене, откладывая это дело до отъезда Деларова в Петербург.

— Меневский и Бентам знали, чего лебедевские в Кенаях натворили, они оба и направили моих людей в ловушку «англинцев искать»... Константин Лексеичи мои люди за это жизнью заплатили, а я... я «англинцев» нашел! — с внезапным горячим гневом заключил Шелихов полученные от Деларова известия. — Не могу додуматься, под какой подливой подать эту историю Наташеньке.

Резанов слушал этот рассказ, возмущенно и недоуменно покачивая головой, и еще более утверждался в своем отрицательном отношении к Славороссии, проповедуемой его тестем.

2

Николай Петрович Резанов был истинным сыном века, двинутого вперед духом предприимчивого меркантилизма буржуа и бюргеров и рационалистическим разумом Вольтера и Дидро. Следуя господствующим воззрениям времени, Николай Петрович обходил вопросы о поведении завоевателей и владельцев священной

собственности у истоков ее накопления. Гуманист и эпикурец по духу, он был озабочен и заинтересован единственно способами просвещенного управления.

В результате превратностей и испытаний судьбы, беспорядочного чтения и дружества со многими выдающимися людьми своего времени Николай Петрович на принудительном иркутском досуге, с весьма трудными для его пылкого характера материальными лишениями и зависимостью, следовал собственной системе добра и порядка в мире.

Мир и человечество представлялись Резанову, согласно воззрениям его излюбленного учителя немецкого философа Вильгельма Лейбница, скоплением пребывающих в вечном движении «монад». Люди суть «истинные атомы природы» и зависят от направляющей их силы. В чем заключается эта сила, каково ее направление, не дано было видеть даже передовому человеку восемнадцатого века. Следуя «Теодицее» своего учителя, Резанов признал существующий вокруг него мир лучшим из возможных миров. В нем все, даже зло, — к лучшему. Это положение Лейбница вынужден был признать и подтвердить и господин Вольтер в своем «Кандиде». Все дело в направляющей силе, а сила эта — просвещенная государственная власть, она дает поддержку, направление и управление вихревому движению слепых монад. Основные рычаги этой власти — просвещенный государственный служитель-чиновник и, как временная скидка на человеческие пороки и невежество, служитель церкви, оберегающей моральные устои и совесть собственности.

Исходя из своего путаного оптимистического представления о силах, движущих миром, Николай Петрович Резанов лет через десять после описываемых событий блестяще доказал еще одно великое положение своего учителя Лейбница, что «настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее...»

Григорий Иванович по-своему понимал и до некоторой степени разделял туманные философские концепции зятя. Он улавливал в них веру в будущее и почерпал силы для борьбы за свое открытие. Он радовался счастью дочери, — она нашла себе мужа в та-

ком блестящем, образованном и благородном человеке. Его умиляла шепетильность Резанова в денежных вопросах и отсутствие интереса к деньгам и приданому дочери. Именно частые дружеские беседы с зятем развили и укрепили в Григории Ивановиче отрицательное отношение к попам и поповщине, и поэтому он неохотно отводил им место в устройении американских колоний.

Рассеянно отвечая на вопросы Сиверса о здоровье, мореход внимательно смотрел на зятя, который, покачивая ногой, обтянутой белым чулком, как ни в чем не бывало мурлыкал свою любимую французскую бержеретку¹, что всегда являлось у него признаком хорошего расположения духа.

Viens. Aurore, je t'implore,
Je suis gai, quand je te vois,
Le bourgeois, qui m'est chère,
Est vermeille comme toi².

— Попов, попов заведите, Григорий Иванович, на американской земле... Неприятное, но необходимое условие, чтобы при нынешнем политическом курсе иметь успех. Вы должны понять мое вмешательство в игру против интригана Голикова и неоткладно дадите подписать ему всеподданнейшее ходатайство пред престолом — я сегодня же сочиню вам брүльон³ о назначении в американские земли духовной миссии. Сейчас это в моде! Старые шлюхи всегда любят попов и молитвы, — безмятежно, но многозначительно, с намеком на царицу, сказал Николай Петрович.

— Чего, польза будет?! — усумнился Шелихов, не понимая предерзостного намека зятя.

— Великий философ Франсуа Вольтер говаривал, — с усмешкой на тонких губах отозвался Резанов, — что

¹ Буколическая пастушеская песня условно-придворного характера.

² Взойди, Аврора, умоляю,
Я весел, когда вижу тебя,
Пастушка, дорогая мне,
Румяна, как ты.

³ Черновую бумагу.

если бы бога не было, его следовало бы выдумать... Спрашиваете, как согласовать его же слова, облетевшие весь мир, — «уничтожьте гадину»?! Помнить надлежит, что сие относилось господином Вольтером к иезуитской римской церкви. Наша, православная, по-проще, а к тому же состоять будет на компанейском коште — уладитесь!

Шелихов быстро сообразил выгоды приобретения для себя столь сильного союзника и предстателя пред властью за интересы заокеанских поселений, каким могла бы быть православная церковь. Кроме того, он знал уже из донесений Баранова о появлении среди индейцев иезуитских и пресвитерианских миссионеров и квакерских проповедников, знал, что они являются передовщиками английских и бостонских купцов, и хотел сражаться с врагом его же оружием.

Через несколько дней наместник Сибири направил в Петербург императрице сочиненное Резановым всеподданнейшее ходатайство за подписями иркутских купцов Шелихова и Голикова о посылке на Алеутские острова и в самое Америку православной миссии и построении там церковью иждивением «Северо-восточной американской компании».

Одновременно мореход собственноручно и секретно писал Баранову о предпринятых шагах: с попами, которые прибудут, надлежит наладить добрые отношения во имя интересов доверенного дела, а «дело надо строить так, чтобы монахи не видели, что делают бельцы¹, а бельцы не видали бы монахов».

Лично Григорий Шелихов хотел бы услышать в своей Славороссии древний вечевой колокол новгородской купеческой вольности, но не нашел способа наполнить его медный язык силой, зовущей в будущее. Его ли в этом вина?

«Попами Америки не завоеешь», — думал Шелихов, решая в этом же году, несмотря на неурочное, позднее время, перебросить в колонии кораблестроительные материалы и большую партию семян для хлебопашества и огородничества.

¹ Миряне, гражданское население колоний.

Сибирский лук батун и картофель были грузом, требовавшим особых забот и предосторожности. Мореход собственноручно, не доверяя никому, засыпал их и зашил в кожаные торбасы, чтобы не подмокли и не подмерзли в дальней дороге. Сибирская осень коротка и своевольна, осенний океан еще капризнее, а как угадаешь, что ждет на четырех тысячах верст пути через таежную глухомань и пучины моря.

— Эк тебя приперло, Григорий Иванович, безо времени корабль за океан спсылать! — резонно возражали пайщики, прослышав о снаряжении поздней экспедиции. — Судно на свой страх бери, мы против из-за «чертова яблока» посудиною рискуем!

— Ладно, все на себя приму и сам поплыву, господа купцы! — отмахнулся от возражений Шелихов и, хитро улыбнувшись, спросил: — А ежели раздел промысла на оборот доставлю, тогда как?

— Пльви, коли тебе головы не жаль, — отступились пайщики, — только ежели потонешь, посудины и пущины не простим.

— Золото на посев везем, а Нептун — он дружит с Григорием Ивановичем! — поддакивал мореходу Полевой, целиком передавшийся на сторону Шелихова со дня назначения его суперкаргом компании.

Отъезд был назначен на 1 сентября, после празднования дня ангела Натальи Алексеевны, приходившегося на 26 августа. В этот день, по установившемуся обычаю, в доме Шелиховых собиралось все иркутское богатое и чиновное общество и приезжал — так уж повелось — сам сибирский наместник Иван Алферьевич Пиль в шитом золотом генеральском мундире, при орденах и регалиях. Губернатор своим присутствием как бы подчеркивал почет, оказываемый Колумбу русскому. Умный старик Пиль высоко расценивал подвиги и неутомимую энергию купца-морехода и неоднократно уминал и поддерживал в наместнических донесениях государыне «полезное движение оного по берегам Америки».

— Что же это ты, Григорий Иванович, губернию в две Камчатки к России присоединил, а обозреть ее не догадаешься меня свезти? — неизменно при встречах шу-

тил наместник, дружески похлопывая морехода по ши-рокому плечу.

Проснувшись в день именин жены по обыкновению с восходом солнца, Григорий Иванович нашел ее уже вставшей. Наталья Алексеевна была одета и убрана по-утреннему. Низко вырезанный сарафан китайского сурового шелка открывал под наброшенным сверху тельником полную белую шею. Две толстые и тугие темные косы с предательскими нитями преждевременной седины пышной короной венчали гордо посаженную на покатых плечах голову. Огрубленные временем линии матовых щек и округлого подбородка хранили еще следы бывшего девического очарования и легкости. Карие глаза под снуровыми бровями, как бы застланные дымкой печали и тяжелых предчувствий, были устремлены на лицо мужа.

— Натальюшка, и в такой-то день в туге и заботе! — сказал, протянув руки к верной подруге, Григорий Иванович, пытаясь привлечь ее к себе. — А ты погляди, что я тебе... — и, пошарив рукой под подушкой, он достал сверток киноварной парчи, из которого извлек богатое ожерелье катаного жемчута, с большой, в голубиное яйцо, розоватой жемчужиной посредине.

— Гришата, ты все смеешься, балагуришь, подарками откупиться хочешь, — не поддаваясь мужней ласке, отвела его руку Наталья Алексеевна, — а мне предстательница моя небесная, великомученица Наталия, недобрый сон наслала... Не надо мне, Гришенька, шелков, парчи, женьчугу, дорогих подарков! Подари ты мне единственный без цены подарочек ко дню моему, если только вправду, как всегда божился, любишь меня и деток наших, — откажись от плавания в этом году! Слабый ты, не вернулась к тебе бывшая сила богатырская. Я ли тебе, как не болело сердце, когда перечила? Все по-твоему было. А в этот раз подари ты мне отказное слово от плавания задуманного или... меня с собой бери!

— Наташенька, лебедь моя, мореходская подруга испытанная, ну как же так... ну можно ли из-за видения пустого, из-за страхолютиков сонных с пути меня поворачивать! Люди засмеют, ежели узнают, каким

компасом мореход Шелихов в плаваниях своих руководствуется. И что тебе в сне твоём привиделось, поведай на милость? — ласково, но недовольно увещевал жену Григорий Иванович.

— Недобрый сон! — в глазах Натальи Алексеевны отразился страх. — И как рассказать — не знаю. Привиделось, будто стою я у наших ворот, а мимо гроб плывет, черным воздухом закрытый, и не несут его, а сам собой плывет... Попы за ним идут, певчие, люди знакомые, иркутские люди валят... И такая в груди у меня тоска и боль лютая! Спрашиваю: кого хоронят? Все мимо идут, молчат, будто не слышат, и только один человек работный, совсем простой человек, кинул: «А вот этого!..» И все враз вскружилось, смешалось... Только вижу я себя на кладбище Знаменского девичьего монастыря: могилы, кресты вокруг, и одна из них вроде родная, а над нею ты... да не ты, а статуя мраморовый с твоим обличем, как живой стоишь! Каменное лицо, а знаю — твоё лицо... Рука правая на шпаге лежит, а в левой компас держишь, сбоку чертеж развитый полощется, в ногах у тебя бухоль канатов корабельных... И так мне горько и страшно стало, заголосила я — и прокинулась. Вижу: ты рядом лежишь, похрапываешь, живой, тёплый... Неладный сон, спаси нас господь! Гришата, подари мне отказ от плавания! В наступающем году вместе поплывем опять на Аляксу твою. Прикажешь — навсегда там останемся!

Отважен был Шелихов в странствованиях на суше и по морю, в купеческих делах расчетом и смекалкой у людей не одолжался и в понятиях жизни был разумом крепок. Однако и трезвый ум и некоторый запас знаний и просвещения, накопленный из чтения книг и общения с людьми, не вытравили в нем простонародного суеверия в знаки и приметы, расставленные на жизненном пути, как он думал, каждого человека.

— Голиков, Иван Ларионович, за такой сон обо мне сто лишних поклонов отбил бы в своей моленной, а уж памятник мраморный над могилой моей за свой кошт поставить взялся бы! — пробовал Григорий Иванович отшутиться от страхов жены, хотя сон Натальи Алексеевны и ему омрачил начало радостного дня.

В конце концов мореход сдался, взяв с жены клятву не проговориться людям на посмешище о виденном сие. Решено было в плавание отправить верного шelihовского приказчика Ванюшу Кускова. Вызванный по настоянию Натальи Алексеевны Кусков охотно согласился плыть в Америку, о которой наслышался таких чудес в хозяйском доме.

— Два-три года поживешь в Америке и, коли скучно станет, вернешься — мы тебя женим тогда, а понравится новое дело — останешься, хозяйничать будешь... Я напишу Александру Андреевичу Баранову, чтобы спсылал тебя в Кантон и Макао для переторжки с Китаем, а еще передовщиком на занятие калифорнийского теплого берега — на это дело надежный человек нужен... Я и сам, Ванюша, хотел бы на твоём месте быть! — невольно вырвалось у морехода, и сожалительный взглас его об утерянной молодости, свободе и уходящих силах пресекся под укоризненным взглядом Натальи Алексеевны. — Жалованье тебе кладу — сто рублей на месяц, паек продовольственный в особицу и два суховых пая, а что они дадут — от твоих рук и работы придет...

Кусков, человек огромного роста, с медвежьими хватками, носивший, несмотря на молодость, окладистую бороду, даже вспотел от хозяйской щедрости. Жалованье было положено по тем временам огромное. «Поистине удача-судьба ожидает в неведомой стране», — думал Кусков, соглашаясь плыть за океан на срок по желанию, а вернулся в родную Сибирь только через сорок лет глубоким стариком, без гроша денег и с такой пенсией Российско-Американской компании, родившейся из шelihовского начала, которой едва хватало на дожитие.

— А мочно ли будет из жалования моего, Григорий Иванович, половину матери в Иркутском отдавать? — спросил Кусков, на иждивении которого была старушка мать и сестра, горбатенькая вековуша.

— Хвалю, Ванюша, что матери не забываешь! Доколе я и Наталья Алексеевна живы, как за стеной каменной мать твоя и сестра Фелицата жить будут... Иди пока и про разговор до поры до времени помал-

кивай, — отпустил мореход Кускова. — Ну, по-твоему, Натальюшка? — обернулся к жене Григорий Иванович.

— По человечеству, Гришата! Ванюшу в люди выведешь, честнее его и совестливее я никого не знаю, — в тон мужу ответила успокоенная и просиявшая Наталья Алексеевна. — А хлопоты сегодняшние, прости господи, про гостей и поздравителей без слова твоего отказного мне и начать невмочь было... Пойду на поварню!

Спасаясь от суеты и приготовлений, охвативших весь дом перед ожидаемым после полудня съездом гостей, Шелихов ушел в сад на любимое место, к обрыву над Ангарой. Разложив на дощатом столе под кедрами принесенные с собой карты азийских и американских берегов Восточного океана, Григорий Иванович углубился в их рассмотрение. На картах было множество подлинных и скопированных маршрутов русских и иных наций открывателей.

Особое внимание морехода привлекли лоции знаменитого французского мореплавателя Жана Лаперуза. Копии их он получил в обмен на свои карты от де Лессепса, посланного Лаперузом из Петропавловска-на-Камчатке через Сибирь в Париж с отчетом о путешествии французов, когда и Шелихов только что вернулся из своего первого плавания на Алеутские острова.

В лоциях Лаперуза, — а он пробирался вдоль азиатского берега Японского моря, — Шелихов тщетно искал подтверждения китайских сведений об островном положении Сахалина. В существовавшем, по сбивчивым китайским рассказам, Татарском проливе и южнее его, до самого Квантуна, Шелихов надеялся найти место для русского порта, который бы владел Восточным океаном. Но лоции и скупые пояснения к ним не давали ответа.

— Эх француз недогадлив был! Калитку в океан меж Черным островом¹ и Японским Мацмаем² нашел и на ней имя свое выставил, а где дому быть, места

¹ Так русские в то время называли Сахалин.

² Остров Хоккайдо и Лаперузов пролив.

не показал, — досадовал мореход, не находя в Лаперузовых лощиях ответа на свои мысли.

Шелихов ясно понимал, что первым условием прочного закрепления американских владений за Россией и выхода ее на просторы Тихого океана должно быть обладание незамерзающими гаванями на азиатском берегу. В поисках решения этой задачи мореход задумал план отчаянной в условиях того времени экспедиции на собственные средства.

— Хочу пройти по гриве прерывающегося хребта от Байкала до берега того моря, куда впадает знаменитая река Черная, называемая по-татарски Урум, а по-нашему Амур-батюшка, и другая — Уль, — говорил Шелихов, показывая Резанову на собственноручно вычерченной карте варианты маршрутов экспедиции. — А надобно будет, и дальше, на реку Шунгури¹, следовать той дорогой, по которой маньчжуры двести лет назад китайским государством овладели... Или еще проще — в устье Уди против Шантарских островов, давно русскими разведанных, шнит выстроив, на нем к югу плыть, пока не встречу места для гавани...

— Не пройдет, Григорий Иванович, — помолчав, раздумчиво отвечал Резанов.

— А кто меня остановит?

— Петербург! Зубовым Париж нужен, а не Тихий океан... — Мореход в душе не мог не согласиться с мнением зятя и, свернув карту, больше к разговору не возвращался. Но отказаться от мысли быть первым в удовлетворении первейшей и неотложной потребности родины не хотел, днями просиживал над картой, обдумывал тысячи способов заставить Петербург поддержать его затею и поднять русский флаг над той незамерзающей гаванью. — он не сомневался, что найдет такую, которой суждено владеть Востоком...

— Батюшка! — и на этот раз вывела отня из глубокой задумчивости посланница Натальи Алексеевны — старшая дочь Аннушка, пленившая в свои восемнадцать лет такого избалованного победами над женскими сердцами кавалера, как Николай Петрович Реза-

¹ Сунгарн.

нов. — Гости съезжаются, а вы все над картами сидите, в будущее плаваете... Маменька обижена вашим неглиже! Извольте итти одеваться и гостей встречать.

3

Мореход не искал и не добивался разрыва со стариной и обычаем в домашнем быту. Дома и по торговым делам он ходил в долгополом кафтане-однорядке особого купеческого покроя — своеобразном сюртуке российских негоциантов, поддевку носил как верхнее платье. Было удобно и привычно. Вместе с тем в торжественных случаях, в сношениях с людьми знатными и чиновными, при встречах с иностранцами, Шелихов поставил за правило появляться в «дворянском» платье, выбирал его со вкусом и носил с достоинством. Одевая дочерей по светской моде, сама Наталья Алексеевна неизменно придерживалась в одежде старины, а Григорий Иванович полностью разделял ее вкус и не мог представить себе свою жену в пышном платье с кринолином и низко вырезанным корсажем столичных модниц.

— Ахти! — с комическим испугом обнял дочку мореход. — А я под Шантарами плаваю... Ну, идем, идем!

Часа через два после молебна с многолетием, отслуженного иркутским архиереем Михаилом, с соборным причтом и певчими, в торжественно убранной зале, гости по приглашению хозяина и хозяйки тут же стали усаживаться за столы, расставленные вдоль стен просторной комнаты.

По сторонам залы, в двух комнатах поменьше, были накрыты столы для приказчиков и работных людей шелиховского дома.

Фигура и повадка морехода в пышном камзолном костюме белого атласа, в котором он представлялся Зубову, резко выделялась на фоне купеческих поддевок и темнозеленых чиновничьих мундиров. Наталья Алексеевна в этот раз вышла к гостям в платье необычного среди купеческих жен фасона. Поверх глухого са-

рафана из дорогой китайской парчи, расшитой серебряным замысловатым узором, был надет кунтуш плотного синего шелка, отороченный по краям драгоценным баргузинским соболем. Из широких откидных рукавов кунтуша выбивалась белопенным водопадом кисея рубашки. Голову венчала кика из тончайших серебряных кружев домашней работы, подобная короне владетельной особы. Кроме всего этого великолепия, на плечах ее по купеческому обыкновению лежал темный и скромный старинный полушалок. Глаза Натальи Алексеевны, счастливой вырванным от мужа «отказным словом», сияли возбужденно и радостно. Рядом с замужней дочерью она казалась старшей сестрой.

Именитые с женами косились на чету Шелиховых и пренебрежительно фыркали исподтишка:

— Вольничает в кургузом под чужеземца. И Алексеевна хороша — дворянкой, барыней вырядилась, а дочку, как гусыню, в корзину с яйцами всадила... — иркутяне решительно отвергали кринолин. — Был бы жив дедушка ейный, он бы показал внучке и правнучке, как в робах ходить, срамиться!

Усадив наместника и иркутского преосвященного по обе стороны от жены-именинницы во главе срединного стола, Григорий Иванович занялся размещением других гостей. В этом нелегком деле, удерживая в памяти все, хотя бы единожды обратившее на себя его внимание, мореход проявил находчивость и такт, заимствованные у столичного высокого друга и покровителя Гаврилы Романовича Державина.

Когда многочисленные гости были рассажены по местам, Григорий Иванович хлопнул в ладоши.

— Начнем, благословясь! Наталья Алексеевна, поднеси его высокопревосходительству Ивану Алферьевичу первую чару по старому русскому обычаю! — обратился он к жене, передавая серебряный подносик с наполненным водкой хрустальным кубком.

Приняв поднос, Наталья Алексеевна еще раз блеснула восхищавшей мужа тонкой «политикой», склонившись с подносом прежде всего перед архипастырем.

— Не пью, не приемлю по званию моему, любезная

дщерь. Его высокопревосходительство не оставит меня выручить, с верой уповаю! — бледно улыбнулся сухонький архиерей, трижды осенив крестным знаменем бокал с водкой и легонько подталкивая хозяйку в сторону наместника.

Наталья Алексеевна склонилась в низком поклоне перед сияющей регалиями грудью наместника. Когда генерал, густо крикнув, единым духом опрокинул в себя содержимое бокала, она, опустив бархатные ресницы, приблизила к нему лицо. Его превосходительство на мгновение как будто растерялся и не знал, что делать, но по-военному быстро нашелся и, обтерев платочком седые усы, не замедлил трижды поцеловать хозяйку, стоявшую перед ним с опущенными вдоль тела руками.

— Горько! Горько! — не выдержали некоторые гости, но осеклись под устремившимся в их сторону строгим взглядом начальства.

Закончив обряд, Наталья Алексеевна степенно поклонилась гостям.

— Кушайте, пейте, гости дорогие, что на столе стоит и чем обносить будут. Не обессудьте, ежели мало запасено или что не по вкусу придется...

Пир удался на славу. Хотя у Шелиховых не было повара, хозяйка не ударила лицом в грязь. Столы ломились под мясами всех названий, птицей домашней и птицей дикой, рыбой речною и рыбой байкальской, солеными грибами, маринадами ягодными собственного сада. Простые и грубые вкусы сибиряков были удовлетворены сверх всякой меры. Пили по-сибирски, когда, как говорили, «не пьет, а с посудой глотает».

— Гостьба толстотрапезная! — крутили головами захмелевшие гости, оглядывая поданных на третью перемену аршинных байкальских омулей, обложенных моченой моршшкой, горками рубленого луку и отваренным в воде картофелем.

— Ты... ты хрещеный человек или... что ты такое есть, Григорий Иваныч? Чем ты православных людей в доме своем накормить вздумал? — обиженно загальдели подвыпившие именитые, ковыряя вилками и разбрасывая по столу ненавистное «чертово яблоко»,

принятое ими поначалу за репу. — Мы к тебе со всем уважением, а ты... насмеяться над нами захотел?

Многие, яростно трясая бородами и отплеываясь во все стороны, встали. Между тем его превосходятельство Иван Алферьевич и иркутский преосвященный исправно кушали картофель и нахваливали неведомый в Сибири овощ, слушая рассказ Шелихова, как подают его ежедневно за столом государыни и знатнейших особ в Петербурге.

Заметив по тревожным взглядам Натальи Алексеевны беспорядок на дальних столах и сообразив его причину из долетевших выкриков, мореход вышел на середину зала со стаканом водки и дымящейся картофелиной в руках, разломил ее, круто посолил и отправил в рот вслед за водкой. Воспользовавшись молчанием гостей, Шелихов задорно оглядел именитых и раскатисто громыхнул:

— Кумус кобылячий у мунгалов пьете, господа негоцианты? Гнилую юколу у якутов и чукчей не раз жрали? А картофель в обиду приняли? «Чертово яблоко», говорите? Неужто государыня худороднее нас с вами, когда сама за своим за царским столом картофель эту кушает и не брезговать божьим даром подданных своих призывает?! Да вы знаете, какие особы...

— Прекрати, Григорий Иванович! — Пиль, сверкая регалиями, встал из-за стола во весь рост. — Всем за стол и есть, есть извольте, господа купцы! Распиской обяжу выполнять высочайшее произволение! С сегодняшнего дня! Всех! За кого же вы почитаете его преосвященство и меня... наипаче меня? И не только нас, но и всех господ чиновников, которые, как видите, все с благоговением вкушают этот... эти чудные дары природы, с высоты престола до нас дошедшие.

Господа иркутские чиновники, воодушевленные красноречием всемогущего начальника, с несравненным аппетитом уничтожали картофель, чуть ли не отжимая его друг у друга с тарелок. Господа иркутские негоцианты угрюмо молчали, но возражать, а тем более продолжать буйство не осмелились. Против

имени государыни и против поддержки наместника с преосвященным не пойдешь. Гришка Шелихов еще раз побил их наглостью и хитростью. Придется и в этом уступить варнаку.

— Придумали: чертово яблоко! — говорил мореход, обращаясь преимущественно к наместнику. — Да я этим чертовым яблоком через пять лет всю Америку завоюю и Сибирь кормить буду. Вы бы народ спросили, что он про земляное яблоко скажет, купцы именитые! — кивнул Шелихов на комнаты по сторонам залы, откуда из-за закрытых дверей доносились оживленные голоса работных и малых людей шелиховского дома, праздновавших день ангела всеми любимой хозяйки. — Оно и ржицу, и овес, и полбу заменит, ваше высокопревосходительство! Для него ни сохи, ни коня не надобно, — каждая баба клюшкой да руками возле избы посадит и все хозяйство накормит.

— Очень хорошо! Очень! Ты подай мне донесенье, Григорий Иванович, об этом самом... об яблоке твоём, да напиши уставно, как садить его и ходить за ним, а пришлешь к столу своего разведения — каждый день есть буду! Это тебе не репа или редька — отменная, великатная овощь! — поддакивал, остывая, добродушный Пиль.

Торжествуя победу, мореход почувствовал необходимость поднять упавшее настроение гостей и шепнул о чем-то Ивашке Кускову, который сразу же после этого вышел из зала.

— Что приумолкли, гостюшки дорогие, обижаете хозяйку мою с дочерьми? — замелькала меж столами, склоняясь поочередно к каждому из сидевших, крупная фигура морехода. — Мадамам наливайте и сами кушайте, а мы вас сейчас американской музыкой и плясками красными угостим. Ваше высокопревосходительство, и вы, ваше преосвященство, удостоьте индианам моим из американской губернии экзамент по всей строгости учинить из письма, чтения, цифирным выкладкам и закона божьего, которым к вящей славе отечества обучаю я диких новоподданных. Ругают меня компаньоны за напрасную трату денег...

— А ты не слушай их — делай, знай, свое! — внушительно отозвался Пиль. — Я писал, хвалил тебя за это перед государыней...

Шелихов подбадривающе закивал головой показавшемуся в дверях зала Кускову, и сейчас же в зал вкатилась пестрая толпа, человек тридцать мальчиков, подростков и юношей, частью в русской, а многие в меховой и кожаной одежде необычного для Сибири покроя. Это были «аманаты» — заложники. Шелихов и его люди по издавна установившемуся среди землепроходцев всех наций обычаю выбирали аманатов от разных алеутских и индейских племен в первые годы освоения заокеанских земель.

Вошедшие ребята резко различались между собой складом лица, цветом кожи и осанкой. У одетых в русское платье висели через плечо барабаны, в руках других были бубны, украшенные нитками бисера и лентами, и дудки из кости животных и дерева. Волосы некоторых были заплетены в мелкие косицы с воткнутыми в них перьями птиц, ракушками и пестрыми тряпичками.

— Веекувит, акхани! Здорово, землячки! И ты, Иннуко, и ты, Атленчин, и ты, Угачек! — весело и громко здоровался мореход с ребятами. Шелихов знал по несколько слов из всех наречий встреченных им племен и пройденных земель и любил похвастаться этим при случае.

— Веекувит, каиш! Здравствуй, отец! — отвечали, растягивая в улыбке рот до ушей, алеуты, в то время как молоденькие индейцы, чугачи и колюжи, сохраняли и в приветствии суровое достоинство.

Морехода ребята знали и любили за те несколько ласковых слов на родном языке, которые он всегда для них находил, за веселые шутки, за табак и сласти, которыми он часто угощал их, навещая в устроенной для них школе и общежитии при собственной усадьбе, где «американцев» учили чтению, письму, счету, закону божьему и музыке.

Это свое начинание Шелихов непреклонно защи-

щал и отстаивал перед пайщиками, когда они упрекали его во вздорной растрате компанейских средств. Он требовал ежегодной присылки ребят и в письмах к управителям на островах и Аляске подчеркивал важность этого мероприятия для колоний.

— Нечетлех! Аткаси! Пляши, пой, ребята! — продолжал мореход сыпать удержавшиеся в памяти слова. — Кускехан хотя... тогошки пуатлех... Русские люди хотя посмотреть, умеете ли вы плясать по-мужски... Пляшите! Ичиты сегятын ичаны — дам много табаку, гребней, мяса, жиру... Нечетлех — пляши!

Ребята переглянулись между собой и впились глазами в Кускова, ведавшего по поручению Григория Ивановича «американской семинарией». Кусков сжился со своими американскими воспитанниками и прекрасно знал умение и способности каждого из них. По его знаку барабанщики, дудочники и бубнисты раздались в круг, очистив в середине место для танцоров, и, как заправский оркестр, огласили залу какофоническими звуками первобытной музыки, в которой все же был своеобразный ритм и понятная, направляющая танцоров мелодия.

Четверо юношей с короткими ручными копьями, мгновенно поданными им из задних рядов, повторяя друг друга в движениях, потянулись по кругу. Приставляя руку к глазам, они как будто высматривали добычу, в то время как пятый, растянувшись на полу, с натянутой на голову маской в виде тюленьей морды и в нерпичьей парке двигался впереди них с нарочито неуклюжими повадками ластового зверя.

Замирая на ходу в напряженных охотничьих стойках, зверобои окружали «сивуча». Пройдя так несколько кругов, они выгнали «зверя» на середину, на мгновение замерли и с диким вскриком «аих!» метнули в него копья. Четыре копья, впившись острыми наконечниками в пол, дрожали и чуть заметно качались в голове, в ногах и по бокам «убитого зверя». Окончив «танец сивуча», все пятеро вышли из круга.

— Браво! Фор! Фор! браво! — захлопал в ладоши наместник, а за ним, конечно, господа чиновники и их жены. Купцы пучили глаза, сидели молча, недоуме-

вали, чем могли так обрадовать образованных господ Гришкины красноречие скоморохи.

— Хозяева знаменитейших парижских салонов ничего не пожалели бы, чтобы иметь возможность показать такую иллюстрацию к модным повестям господина Бернардена де Сен-Пьера! — раздался высокий теноровый голос Николая Петровича Резанова.

Многие из господ чиновников обернулись к нему, ожидая услышать хитроумную шутку или анекдот, на которые всегда был так щедр Николай Петрович, но он уже что-то нашептывал на ушко молодой жене, а та смеющимися глазами обегала окружающих, как бы впервые разглядывала эти с детства знакомые лица.

— Ты пастырь наш, ты и скажи! — послышался подстрекающий голос за срединным столом, где засела плотная кучка именитых с Иваном Максимовичем Ферефёровым и иркутским соборным протопопом отцом Павлом Афанасиевым в центре.

Натура искренняя и безудержная, но изуродованная воспитанием в духовной бурсе и непомерной приверженностью к вину, протопоп Афанасиев прославился не только ревностью и удачей в обращении к свету веры христовой темных якутов-язычников и чукчей, но и смелыми обличениями с амвона светской и церковной неправды. Под конец жизни он докатился до расстрига и умер, забытый всеми, в пьяном буйстве, среди беглых каторжников и других подозрительных людей, населявших знаменитые иркутские «хмельники» на берегу Ангары.

— Чадо мое возлюбленное, Григорий-свет... Колумбич! — неожиданно выпалил отец Павел, вздыбляясь среди сидевших и отталкивая тянувшиеся к нему руки. О присутствии преосвященного он, казалось, забыл. — Ты — аки отец духовный говорю! — не козлумствуй лукаво, не подражай... здесь неким... — отец Павел грозно взглянул на любезно улыбавшегося ему Резанова. — Почто людей возвращаешь к шаманскому скоморошеству, языческим камланиям? Кó-лұм-бó-вич, — раздельно отчеканил протопоп, — ты душу мне отверзи русской пляской, русской песнью... Иноверцы, изыдите! Бр-рысь, дьяволята! — заклинающе простер

отец Павел черные рукава рясы в сторону испуганно сгрудившихся ребят.

Григорий Иванович любил и считал необходимым беречь своего покладистого и удобного духовного отца. Заметив страдальческую, брезгливую гримасу на лице преосвященного, воззрившегося в сторону буйного протопопа, мореход, перекрывая шум, громовым голосом скомандовал Кускову, собиравшему, как встревоженная насадка, растерявшихся ребят под свое крыло.

— Ванюша, тащи сюда Шуку да того черного... грузина, архитекта моего Ираклия, захвати! Они в этой горнице гуляют! — кивнул Шелихов на соседнюю с парадным залом комнату. — Полюбуйтесь, купцы именитые, как орлы мои на ваше желание русскую, цыганскую и кавказскую пляски-огневицы отдерут! — балагурил как ни в чем не бывало Григорий Иванович.

Двери в смежные комнаты, где гуляли на именинах хозяйки работные люди шелиховского «дела», распахнулись. В залу к парадным гостям вышли, хмуро оглядываясь по сторонам и одергивая на себе праздничное платье, двое молодцов. Несколько человек с балалайками остались у дверей, а за ними, напирая друг на друга, продираясь головами, навалились остальные. Бабы и девки, охорашиваясь и пересмеиваясь, очутились впереди: может, и их плясать позовут, а страсть хотелось...

Шелиховские люди и в особенности вызванные плясуны не терялись и не робели пред парадными гостями. Случаи, подобные сегодняшнему, приключались в доме морехода не раз: на Григория Низианского и на Наталию, на Анну, Катерину, на Николая, с благополучным возвращением и на добрую дорогу — поводов, словом, было много! Хозяин, сам Григорий Иванович, гулебщик и удалая голова, был прост, пред богатыми и знатными не робел, над простыми и бедными не заносился. Любил песни и пляску, сам певал и плясал, игры затевал. Работу спрашивал строго, но копейкой человека не прижимал. Хозяйка, Наталья Алексеевна, —

сердобольнее и ласковее хозяйки не встретишь... С такими без камня за пазухой погулять можно!

Впереди плясунов, в белой полотняной рубаше, отороченной замысловатым узором из петухов и елочек, в козловых купеческих сапожках, — и сам впрямь купец — стоял хитроумный слесарь и медных дел мастер Афонька Щукин.

Прослышав о мастерстве «Щуки — золотые руки» да поглядев его пляску на избяной гулянке в одну из своих подорожных по Уралу, мореход отвалил Афоньке пятьсот рублевиков на выкуп и выхватил Афоньку с Верхне-Нейвинского завода графа Соймонова для сысканных в далекой Америке руд и обслуживания по слесарной части будущих корабельных верфей.

— Без тебя, Григорий Иванович, в Америку эту не поеду, а с тобой и за тобой хоть на Северную Звезду прыгну! — уперся Афонька, доехав с Шелиховым до Иркутска. И так третий год, выезжая летом в Охотск на снаряжение отплывающих за океан кораблей, зимовал в иркутском доме Шелиховых.

Мореход, хотя и помог «золотым рукам» выкупиться на волю, но и себя в дураках оставить не захотел — чего говорить, мореход и купцом был всамделишным, — спрятал у себя выкупное свидетельство и взял с Афоньки кабальную запись на пятьсот рублей, однако с отъездом Афоньку не неволил: упрямство «Щуки — золотые руки» даже как-то льстило мореходу верой в его, Шелихова, силы и удачу.

Щукин и зимой хлеба даром не ел, придумывал затейливые замки, инструмент и иные поделки из железа, которые хозяин с изрядным барышом продавал в Иркутске или выменивал на Кяхтинском торге с Китаем. Дела всякого хватало — Сибирь была безлюдна на добрых мастеров.

— Подожди, Афоня, — заговорщицки подмигнул выпешедшему в круг Щукину мореход. — Сперва спляшет нам Ираклий, а ты камаринского, нашенского, на заедки подашь, посмешишь-потетишь гостей...

Гости смолкли и выжидающе уставились на круг, где стоял черноусый стройный красавец с грустными темными глазами на горбоносом лице.

Ираклий Боридзе, мечтая о благородной деятельности архитектора и строителя в родной стране, покинул Грузию и выехал в Петербург с группой передовых людей грузинского народа, добивавшихся союза с Россией ради спасения своей родины от кровавых набегов турецких янычар и персидских казилбашей. До несчастной поправки в Северную Пальмиру Ираклий успел побывать в Италии и Париже, где изучал архитектуру и вошел в соприкосновение с людьми передовых идей западноевропейской культуры.

В Петербурге он на маскараде в одном из великосветских домов столицы имел несчастье крупно поссориться с предшествовавшим Платону Зубову «воспитанником» российской самодержицы — графом Александром Ланским.

Ланского Ираклий заставил просить прощения у грубо оскорбленной в игре маскарадных интриг женщины. Ираклий не знал, как оболгал Екатерине, жалуюсь на него, воспитанник любвеобильного сердца императрицы, но зато хорошо узнал, как дорого придется расплачиваться за урок чести, данный ничтожному фавориту. Через неделю после ссоры пылкий грузин был схвачен начальником тайной канцелярии самодержицы и ее цепным псом Шешковским по обвинению в поношении царского имени под маскарадной маской. И через год, без следствия и суда, после страшного странствования по тайге и тундрам Сибири под неусыпным надзором грубого унтера-фельдъегера, Ираклий очутился в Гижигинском острожке под Камчаткой, куда в те времена было перенесено управление Охотской областью.

Шелихов, основываясь на высочайше предоставленном ему праве, просил сибирского наместника дать ему из ссыльных дельного архитектора-строителя и искусного чертежника для американских поселений. Алеутские острова и неведомые земли Америки в глазах власти представлялись еще более гиблыми местами для ссыльных, чем тундры Сибири: все были убеждены, что оттуда не возвращаются.

Гижигинский исправник Адам Лаксман как раз вовремя донес наместнику про объявившегося у него

дивного чертежника и зело искусного строителя Боридзе, какового и в Иркутске, пожалуй, не сыщется. К тому же ссыльный слаб грудью и климата гижигинского не выдержит. Не соблаговолит ли его высокопревосходительство использовать искусника? Пиль из приязни к Шелихову занарядил Ираклия в список мастеровых из ссыльных, предназначенных для отправки за океан, а для испытания в познаниях приказал доставить его в Иркутск.

Прибыл Ираклий из Гижиги в Иркутск полуживым — это было в прошлом году — и сразу попал к Шелиховым в дом, где вскоре стал незаменимым человеком для морехода. По заданиям Григория Ивановича он чертил проекты жилых домов и публичных зданий для русских городов в Америке. Созданный Ираклием проект заокеанского адмиралтейства привел морехода в совершенный восторг. Зять Шелихова Николай Петрович Резанов, повидавший, слава богу, на своем веку немало знаменитых людей, дружески сошелся с талантливым архитектором и вскоре, завоевав его доверие, во всех подробностях узнал жизнь, мечты и чувства молодого грузина — все, вплоть до случая, забросившего Ираклия в снега Сибири.

И Наталье Алексеевне впал, как говорится, в око красивый, грустный и болезненный, но всегда отменно обходительный грузин. Ираклию была отведена горница, обедал он с хозяевами и с ними же проводил свое свободное время. Ираклий попал в число любимцев и особо доверенных людей Натальи Алексеевны.

— Гришата! — шепнула украдкой мужу матерински заботливая Наталья Алексеевна, заметив печальный взор стоявшего на кругу грузина. — Зачем ты Ираклия плясать назвал! Видать, ему в тяготу перед этими... Гляди, какой невеселый!

— Не слинят! — недовольно бросил мореход, но, взглянув на Ираклия и уловив холодно-скупающее выражение лица зятя, которым тот обычно прикрывал свое недовольство, Григорий Иванович проникся жалостью к столь жестоко обойденному судьбой человеку. — Друг! Архитект преславный, ты... того, ежели ты нездоровый али устал, не пляши, пожалуйста...

Я, ты знаешь, охотник до пляски и тебя назвал, чтобы люди тобой любовались, именинница наша чтоб настроилась, со мной как любливила русскую сплясать... А ты, Ираклий, толико великатно и легкодушно плясешь, что хоть кого расшевелишь!

— Мравалджамиер дому твоему, хозяин и друг наш! Я худого не думал... так, вспомнилось... У нас в Грузии для женщин, прекрасных душой и лицом, — Ираклий теплым взглядом окинул Наталью Алексеевну, около которой, как младшие сестры, стояли обе дочери, — для прекрасных душой и лицом женщин каждый грузин с радостью птицей полетит в пляске!

И, взмахнув, как крыльями, широкими рукавами темного кавказского кафтана, перехваченного в стройной талии узким ремешком с серебряной насечкой, как бы отделившись от земли, на концах носков, плавно, — дай ему в руки стакан вина, капли не выплеснет, — Ираклий понесся по кругу под четко державшие ритм переборы балалаек домового оркестра.

Резанов, мореход, Кусков, Наталья Алексеевна и обе ее дочери ударяли в ладоши в такт бубну, переливавшемуся в руках Афоньки. Этому научил их Ираклий, показывая как-то кавказские пляски. Подчиняясь улавливаемому ритму, подзадоривая друг друга, к ним присоединились и многие из господ офицеров и чиновников. Всплески ладоней усиливались. Захваченный общим воодушевлением, в ладошный оркестр включился и сам наместник. Темп пляски, с самыми неожиданными разворотами и бросками в стороны, убыстрялся. Голова и плечи Ираклия плыли в воздухе, как бы отделенные от тела и ног, слившихся в неуловимых переборах, только руки в плавных круговых изгибах, как воздушные весла, влекли вперед и вперед тело несравненного плясуна.

Именитые скупливо переглядывались. Не поймешь, чего хорошего в этакой неслышной, птичьей пляске? То ли дело, когда бабы и девки, по старому сибирскому обычаю скинув обутки, в шерстяных чулках, напирая одна на другую, уточкой и в развалку начнут пятками оттоптывать пол, да ежели еще какая блазнить умеет... Знай, чеши!

Ираклий, как будто окрыленный раструбами бешмета, в бешеном вращении вокруг собственной оси ввинтился в землю, в обратном движении на носках взвился вверх и замер, окаменев...

— Изрядно пляшет твой архитектор, Григорий Иваныч! — довольно кивнул головой в сторону грузина наместник и вытер вспотевшее лицо платком, как будто он сам участвовал в огненной пляске.

Мореход подмигнул Шукину: «Твоя очередь, удиви!» Под задорные балалаечные переборы «Камаря» Афоня вразвалочку, пошевеливая плечами под белой полотняной рубашкой, с миной величайшего равнодушия на тронутом оспой лице, делая сбои с ноги на ногу, похлопывая по бедрам и коленкам ладошками, поплыл по кругу... Беззаботный и простодушный камаринский мужик!

Хмель и скука разбирают мужика, и вот он, чтобы себя показать и людей удивить, начинает вязать коленца, одно другого замысловатее, забористее и ядренее...

— Жарь! Наяривай! Для бабочек постарайся, бабы... это самое любят больше пряников! — не выдержали именитые, подзадоривая Афоньку на обычные в их кругу коленца «пошишковатее».

Поймав смеющиеся глаза морехода и одобрительную усмешку самого генерала, Афонька, изображая вконец осоловевшего камаринского мужика, выкинул такое двусмысленное коленце, что мужская половина гостей разразилась трохотом неистового утробного смеха. Жены господ чиновников и именитых, делая нарочито непонимающие глаза, досадливо отмахивались от потянувшихся к ним мужских рук. Наталья Алексеевна и виду не подала, что заметила Афонькино коленце, занятая разговором с дочерьми и зятем, не глядевшими на плясуна.

Мельком взглянув на хозяйку, которую он, как и все, любил и побаивался, Афонька, несмотря на поощрительную улыбку хозяина и разжигающие выкрики убогоговоренных гостей, решил отказаться от имевшихся в запасе скромных коленец загулявшего с бабами камаринского мужика и, неожиданно ахнув и

свистнув по-разбойничьи, под дробот струн пошел вязать такие кренделя и фигуры, что даже осоловевших именитых заразил очарованием русской, ни с чем в мире по молодечеству и безудержной русской широте не сравнимой пляски.

Лихую присядку, которой он уже дважды прошел широкий круг, мячом взлетая от полу на человеческий рост, Афонька закончил вихревым волчком.

— Р-раздайсь! Зацеплю — убью! — вскрикнул он, взвился в воздух и, брякнувшись на пол, застыл на каблуках широко раскинутых ног.

— Утешил! Держи, русская сила! — неистово ржали именитые, кидая под ноги Афоньке полтины и рубли. Как будто не замечая их, Афонька широко шагнул и нырнул в толпу баб и девок, крикнув: — Подбирай, сахарные!

Бабы и девки с визгом кинулись на деньги, хватая их, ползая по полу, опрокидывая друг друга. Разжигая начавшуюся на полу возню, именитые подкидывали монеты. Грубая гульба была во вкусе сибирских нравов.

— Григорий Иванович, — слышались голоса, — ты сказывал: коняги и чугачи без ума плясать любят... Ты Афоньку на место Баранова пошли, Афонька нам враз индейцев под ноги бросит, докажет им...

— К индейцам попавши, и вы заплясали бы, — добродушно отшучивался мореход, довольный на славу удавшимися именинами.

При отъезде наместника и преосвященного гости подтянулись и взяли себя в руки. Подходили под благословение к сухонькой ручке архипастыря и с чувством лобызали замокревшую от умиленных поцелуев руку преосвященного.

— Святитель! Неосудительный, понимает нас грешных, знает, что купцом церковь и вера держится, — качали головами именитые, усаживаясь за столы после отъезда высоких гостей. По сибирскому обычаю гостьба продолжалась до тех пор, пока последний гость по своему хотению не покидал дом, где гулял, либо спускался под стол, за которым сидел.

Наталя Алексеевна с дочерьми неприметно ушла

к себе. Григорий Иванович с помощью Кускова и Афона продолжал убагаваривать оставшихся купцов и го-спод чиновников. Одного за другим захмелевших го-стей выводили во двор, где стояли наготове несколько запряженных телег с сеном, грузили в них обессилев-шие тела и развозили по домам. Опившихся до полной потери сознания вытаскивали из-под стола и уклады-вали в соседней комнате на принесенные сенники и мягкую рухлядь.

В полночь, уложив спать на сеннике сраженного нарочито поднесенным большим кубком рому неуго-монного отца Павла, Григорий Иванович поручил Ку-скову надзор за уборкой комнат и заночевавшими гостями и отправился к себе, довольный, что всех пе-репил, всех пересидел и честь честью принял. Завтра за работу — выражать Кускова в позднее и опасное плавание...

Глава седьмая

1

Сибирская осень рано дала себя знать в 1792 году. В начале сентября упали первые крепкие заморозки, их сменили дожди. Люди, прибывшие в Иркутск с се-вера, сообщили, что осенний паводок на Лене поднял воду аршина на два, так что от Верхоленска до Якут-ского лежит прямая дорога, каверзные перекаты у Жигалова и Усть-Кута не грозят опасностью, не заста-вят перегружаться, но зато гужевой тракт на Охотск от Якутска — и подумать страшно, во что превратили глухую таежную дорогу осенние дожди.

На второй день после именин Натальи Алексеевны Кусков выехал в Верхоленск принимать и грузить на речные шняки товары и запасы, доставленные туда для отправки на Охотск летом. А самое нужное и хо-довое, что прибывало из России, наскоро сортирова-лось и перепаковывалось в короба и мешки по амба-рам иркутской усадьбы Шелихова. В усадьбе размеща-лись центральный склад и контора «Северо-восточной американской компании». В амбарах работали днем и

ночью. По ночам над бочками с водой горели смоляные лучины, около которых стояли следившие за огнем девки. Двор был запружен телегами и лошадьми. Как только телеги загружались, они ежедневно уходили на Верхоленск небольшими обозами в двадцать — тридцать пар под охраной нескольких конвойных казачков.

Работа захлестнула Шелихова. Полевой, заправлявший делами компании, многое упустил в подготовке к плаванию — отчасти по недостатку опыта, отчасти по нарочитому попустительству Григория Ивановича. Шелихов был уверен в том, что он перекроет ошибки и упущения Полевого в последнюю минуту и этим самым, кстати, подчеркнет свое значение единственного хозяина и распорядителя делами компании.

Возражения Голикова против позднего отправления кораблей в Америку, поддержанные некоторыми в пылу споров бурного собрания, совершенно отпали, когда на досуге и поостыв компаньоны поразмыслили о разделе промысла, предстоящего по возвращении Шелихова из Америки. Никто не знал, что Григорий Иванович отказался от намерения лично вести корабли и вместо себя посылает Кускова.

Голос морехода тремел в амбарах компании и, казалось, по всему Иркутску. Наверстывая упущения Полевого, он обшаривал склады компаньонов и заставлял их отдавать товары, затребованные реестрами Баранова и прежнего правителя на Алеутах Деларова. Огонь по ночам в комнате Шелихова и в конторе горел до самого утра.

Конторские мальчики из алеутов и индейцев, — их мореход готовил для работы в будущих торговых городах и факториях своей страны, — восхищенно мотали головами и, прикусив языки, переписывали реестры товаров и запасов, отправляемых на их далекую родину. Ребята росли в собственных глазах, становились важными людьми, перечисляя на бумаге богатства, которые на больших парусных байдарках перелетят через океан, — эти бусы, бисер, зеркальца, одеяла, топоры, ножи, котлы, леденцы, табак. Они

мысленно распределяли их там, на родине, между своими отцами, матерями, братьями и сестрами...

«Ах, это Иннуко! Его три зимы назад взяли от меня, и вот он уже прислал мне роскошный подарок», — скажет мать, завязывая красный ситцевый платок поверх десяти рядов бисера и бус, намотанных на шею, и укутываясь в байковое одеяло.

«Мой сын — большой человек в стране касяков, — важно говорит в кругу соплеменников старый вождь Татлек, отец Атленчина, пробуя пальцем блестящее лезвие топора. — Кто знает, может быть, он подарит мне и ружье...»

Ребята знали еще, что десять человек из них поедут сопровождать эти богатства туда, где живут и ждут их близкие. Они ревниво оглядывали друг друга и с замиранием сердца ждали «экзамена» — страшное слово! После него Григорий Иванович отберет десять лучших, тех, что быстрее всех умеют читать, писать и класть числа на счетах. Эти десять поедут домой. Так сказал каиш, а раз он сказал — так и будет... Они вернутся туда, где ждут их родные скалы, лес, безбрежное море, где они опять будут есть не хлеб и кашу, а мясо сивуча, сколько хочешь густого китового жира, носиться на байдарах по вздымающимся волнам океана, идти по следам бесчисленных зверей в родных лесах...

Первого сентября, накануне отправки к Верхоленской пристани последнего обоза, с которым должны были идти и люди, набранные мореходом в подкрепление Баранову, Шелихов вызвал к себе Шукина.

— Половину кабальной ты отробил, а двести пятьдесят рублей за тобой осталось, — сказал Шелихов. — Пора тебе, Афоня, к Баранову на подмогу выезжать. С будущего году он в Америке свои корабли строить zaczynaет, без тебя не обойтись...

— Копытца вывезил, а голова и душа, — ответил Афоня и приложил руку к сердцу, — в твоих руках, Григорий Иванович... И по остатку кабальной ты можешь меня куда хочешь сослать.

— Мне твоя голова не надобна, своя имеется, а голова твоя, и руки, и весь ты нужен там... Долго ли

упираться будешь? — недовольно проговорил Шелихов. — Для чего я тебя от Соймонова откупал? Забыл, как мы с тобой тогда и о чем договорились?

— Кабальным да по своей охоте в Америку не поеду, а вольным хоть завтра отправляй! — прямо глядя в глаза, сказал Щукин.

— Ты!.. — вспыхнул было мореход и сдержался. Чего, собственно, добивается Щукин? Не знает разве, что в Америке каждый человек, если волей больше головы дорожит, может уйти куда глаза глядят, какие бы кабальные на нем записи не были. — Ладно, ступай! — сказал наконец Шелихов.

«Всегда она такая, благодарность человеческая. Уж не я ли ему, черту рябому, перину в жизни взбил! — кривил губы Григорий Иванович, размышляя о зазнавшемся слесаре Щукине и о способах, как привязать его к русскому гнезду в дорогой шелиховскому сердцу вольной земле. — Весь под ногтем у меня, а кочевряжится: поеду — не поеду... И нет думы о том, кто при деле своем в горшей неволе находится, я или он? А терплю, ради себя терплю, что ль? — И невольно по совести сам подсказал себе правдивый ответ: — А для кого же, Григорий-свет? Ты Щуке толковал о вольной жизни, о вольных людях и будущих делах их на вольной земле, но покупал работника на себя, а теперь... Вот Щукин тебя и проверяет, каков на деле есть человек, что в мыслях на Ермаково место становится, Ермаковы замыслы задумал вывершить... Лабазник ты, Григорий Иваныч, и напрасно перед Голиковым и Ферефёровым нос дерешь — одного теста...»

Поразмыслив и успокоясь от вызванного набежавшими мыслями помутнения и обеднения той душевной бодрости, которой он преодолевал до сего времени все стоявшие перед ним заботы, препятствия и опасности, Шелихов в полночь вторично вызвал к себе Щукина.

— Теперь поедешь? — спросил он Афанасия, передавая ему выкупное свидетельство и разорванную пополам кабальную запись.

— Сказал — поеду! — как будто равнодушно ответил «Золотые руки» и с усмешкой добавил: — Поч-

то кабальную разорвал, Григорий Иваныч? А ежели я...

— Неволить не буду, на дело это я и сам по охоте встал.

— А будет ли дело, Григорий Иваныч? — с сомнением отозвался Щукин. — Обсеем дальнюю землю русскими косточками, а жатву кто собирать будет?

— Кто жнецом ни будет, нас забыть не должен... Иди, Афанасий, собирайся! — Мореход не допускал сомнений в будущем начатого им дела. Как везде, Россия твердой ногой стоит в Новом Свете.

Отпустив Щукина, Шелихов уселся за стол и до самого утра, дважды сменив за ночь свечи, скрипел пером, набрасывая полууставной скорописью само-нужнейшие указания и поручения Баранову. Завтра, обсудив дело с Натальей Алексеевной и Резановым, даст перебелить их конторщикам. Связь с заокеанской землей была из рук вон плоха. От корабля до корабля, отплывающего в Америку, проходило по году, а то и больше. Дел и расчетов накапливалось для каждой оказии множество.

С восходом солнца войдя в комнату, Наталья Алексеевна застала мужа за столом, заваленным исписанными листами бумаги.

— Гришата, на тебе лица нет — погляди на себя в зеркало! И за что ты себя и меня мучишь?

— Добро, добро, как раз во-время пришла! — не замечая тревоги жены, загудел мореход. — Я Александру Андрейчу писули сочинял на всё и про всё, чтоб как мы прибудем... Послушай и, если что упустил, нагадай. Наперед о городе ему пишу, Ираклия чертежи пересылаю, а пишулю в пояснение к ним... Жаль, Миколеньки нет, дело рассудил бы и всегда к месту присоветует. С Анютой в саду, поди, гуляет. Эх, досадно!

— А я пред вами тут как тут, как лист... с цветочком стою, — послышался вдруг голос Резанова, галантно склонившегося в сторону вошедшей с ним молодой жены. И год спустя после свадьбы Николай

Петрович неизменно сохранял в отношении жены тон изящной влюбленности и рыцарской любезности. — Вместе и послушаем ваши предначертания, Григорий Иванович, к Америке относящиеся...

— К чертежам приятеля вашего Ираклия разъяснение преподаю! — проговорил Шелихов и, как всегда, с наслаждением весь ушел в раздольные планы американского благоустройства.

— «Поставленные ворота, — читал Григорий Иванович, — большие, крепкие, наименовать «Чугацкие» или «Кенайские» или как-то иначе... Вообще названия мест писать, как принято от здешних обитателей, а своими названиями не обезображивать. На батареях надо иметь хотя бы двадцать пушек. Утром при поднятии флага обученные мальчишки должны бить в барабан, по вечерам играть музыку в крепости или при батареях. Караулы в гавани и по всем артелям наистрожайше соблюдать. Подтверждать, чтобы ружья были чистые. Всех не умеющих стрелять обучать с прилежанием. За повреждение ружья записывать без отпущения. Секрет огнестрельного оружия накрепко каждому сохранять.

Наименовать город сей, пока дальнейшее от начальства последует повеление, в честь российской славы — Славороссией... Обелиск поставить в честь русских патриотов...».

— Грищата, ты все о наружном печешься, опять о пушках, ружьях пишешь, — перебила морехода Наталья Алексеевна, — а для американских жителей, братьев Куча нашего, — им защиты ты требуешь?

— Не сбивай, Наталица, выслушай — то, о чем говорили по вечерам, все изложили... Ну, о строениях и устройстве градском умолчу — скучно тебе. О людях хочешь? Изволь! «...Вверенных и подчиненных тебе мореходов нашей компании, передовщиков и работных без лицепрятия в строгости и порядке содержать...»

— Опять в строгости! — грустно заметила она.

— Экая нетерпеливая! Сбиваешь меня с порядка, — ворчал муж, отыскивая прерванную строку. — Ага!.. «...ссоры, драки, несогласия, развраты строго наблюдать и исправлять». Своих, русских, надо до-

преж всего в чувство привести! — пояснил Шелихов. — Они там завоевателями расположились, испанские и англинские обычаи заводят... Сие истребить надо, а что до американцев касаемо, так вот мое распоряжение! — Он перебрал несколько исписанных листиков и, с напускным неудовольствием поглядывая на слушателей, прочел: — «...тамошних обитателей, аманат, служащих при компании каюрами и в работницах, содержать в хорошем призрении, сытыми, а работниц обувать и одевать и никого не допускать до обиды не токмо делом, но и словом. Шить и мыть каюрам никому не позволять.

...На всех лисьевских алеут ныне и впредь, сколько их будет, иметь содержание отменно хорошее, одевать и обувать, как русских, негнушно. Если пожелают восвояси — проводить честно. Об усердных людях и их жизни иметь верную записку и всякое человеколюбивое попечение».

— Содержать негнушно — это хорошо! А как из земли их вытащить, ты подумал, Гришенька? Помнишь, мы с тобой вместе дивились, как они в ямах земляных живут, в них рождаются, в них и умирают... До сего дня горькой жизни их забыть не могу!

— Обо всем думано, ты только дай дочитать. «...Крепости на Афогнаке...» Помнишь, Наташа, тот крутой за Кадьяком каменный остров, лесом укрытый? «...на Афогнаке и в Кенаях устроить елико прочнее, а за крепостью для приезда алеут хорошие и теплые с перегородками избы, у сеней быть и нужнику, в крыле из сеней — бане, в которой мыться каюрам и аманатам. И сараи для коз, теплые и добрые, и разные хлевы, потому что скота я еще пришло из Охотска и, если сыщу, доставлю собак злобных и пригодных. А для овощей иметь загороженные огороды.

...Следует потщиться уговорить поболее мужных американцев и американок к сожителству на новых заселениях, дабы можно было бы все скорее обрабатывать и возделывать, чрез что и американцы скорее приучатся к нашей жизни. А особливо к сему можно употребить выкупленных пленных и впредь выкупае-

мых и кроткими мерами привлечь к себе их преданность».

— Ежели ты ему добро сделаешь, никто над индейцем в благородстве и верности верха не возьмет... У них это крепко! — вздохнул Шелихов, вызывая в памяти присутствующих тень безвременно погибшего колошинского атаутла Куча. — На сие дело я наказывал Баранову не жаться, всеми способами простодушных диких к себе приближать. В каждом письме и сейчас вот про то напоминаю: «...Молодых и хороших ребят и девок к вывозу для обучения заблаговременно приискать и у себя обучать российской грамоте и разговору для переводов, а особливо стараться по простирающейся Аляске к Калифорнии от пятидесяти градусов северной широты до сорока градусов сколько-нибудь взять переводчиков».

— О плаваниях предстоящих, торговлишке и прочем таком особо пишу — на общее рассуждение моих товарищей... — порывлся Шелихов в исписанных листах и, найдя, что искал, прочел: — «...Всякого рода зверя выменивать добровольным торгом. В долг никому ни подо что товаров не давать, покупать наличное за наличность — им веселее, да и нам такой торг без греха. Долговые дачи мною самим признаны на практике вредными».

— Подписал: «Морских Северного океана вояжиров компаньон Григорий Шелихов», а компаньонам пишу свою и прочесть не могу — закусает, как гнус оленя в тайге! — с горечью закончил он чтение письма.

— Письмо ваше за трактат почесть можно, Григорий Иваныч! Цивилизованнейшие мореплаватели обхождению с туземными народами на нем учиться должны! — живо откликнулся Резанов. — Калиопа, муза героического эпоса, и Клио, строгая муза истории, будут спорить о праве занести в свои свитки в назидаение грядущим поколениям такое блистательное свидетельство о величии духа и разума русских людей. Я переведу ваше письмо и пошлю его аббату Рейналю... Помнится, вам нравилась и в моем неискусном переводе его «Философическая и политическая исто-

рия о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях»? Господин Рейналь за счастье почтет вписать хоть одну светлую страницу в свой обширный и безрадостный труд.

— Не стоит труда писать, где уж нам... Клеопы и Кли... Клии эти нас и за людей вровень с собой не считают! — путаясь в мифологических туманах резановского красноречия, смущенно отказывался Шелихов от чести войти в историю. — Одна такая Клёпа — англинский посланник, что ли, — усмехнулся он, вспоминая надменно напыщенную фигуру лорда Уитворта, — не посовестилась за ужином у самого Гаврилы Романыча Державина кинуть в лицо русским людям: не бывае-де вам в Новом Свете, нечего вам, мол, в Америке делать... И что же, проглотили!

— А Рейналь ответил бы: «Англия известна была в Новом Свете одними токмо разбоями, часто удачными и всегда многозначашими!» Это его собственные слова о колонизационной деятельности Англии, — сказал Резанов. Память Николая Петровича цепко удерживала прочитанное.

2

Напоминание о разбойной Англии попало в больное место Шелихова. Опасности постоянно грозили Славороссии. Шелихов пристально следил за числом нарастающими морскими и сухопутными попытками Англии проникнуть в северо-западную часть Тихого океана и присвоить огромные пространства Америки на далеком Западе — то самое «белое пятно», на котором, по уверению англичан, не было даже туземного населения. Давно ли плавал здесь на трех кораблях Кук и дважды приходил в Петропавловск-на-Камчатке! В прошлом году его помощник капитан Ванкувер на двух королевского флота кораблях на Кадьяке снова объявился и сказывал, что прибыл для измерения и нанесения на карту «открытых Куком» берегов. А какое ему до того дело! Прибыл, говорит, и пробудет, пока не закончит... А чем закончит?!

Шелихов молчал, подавленный нахлынувшими на

него безотрадными мыслями. Ответ на вопрос, чем закончит капитан Ванкувер свое ознакомление с ничтожной силой и снаряжением русских на берегах Америки, не вызывал, казалось, никакого сомнения: выгорит! И хорошо, если живыми выпустит...

Григорий Шелихов ошибался, он так никогда и не узнал то главное, что заставило капитана Ванкувера пренебречь инструкциями английского адмиралтейства и мирно удалиться от берегов, объявленных немногими встреченными там русскими «землями российского владения».

Три года спустя после смерти Шелихова, в 1798 году, в Лондоне вышел отчет Ванкувера о том, с чем встретился он в Тихом океане у северо-западных берегов Америки.

«...Индейцы, — писал Ванкувер, — были весьма живы, ловки и искусны в торговых оборотах и отнюдь не употребляли во зло оказанную доверенность... Многие из них говорили русским языком, и, судя по тому, что мы понимали из их разговора и знаков, казалось, что они весьма привязаны к русским.

...Хотя русские и не показались нам ни образованными, ни весьма трудолюбивыми, но тем не менее они во всех колониях берут к себе детей туземцев и содержат их в особенном для сего выстроеном здании, где обучают их русскому языку. Покорив туземцев под свою власть, русские удерживают влияние над ними не страхом победителей, но, напротив, приобретая любовь благосклонным обращением.

...Участие, которое берут туземцы в успехах и благосостоянии русских, основано на твердых правилах, и привязанность и уважение туземцев к русским не легко можно уничтожить влиянием иностранцев, желающих повредить торговле русских; напротив того, должно предполагать, что привязанность сия еще более утвердится».

Взвесив отчет Ванкувера и бремя войны с революционной Францией, английское адмиралтейство не сочло возможным поддержать королевским флотом требование Гудзоновой и Ост-Индской компаний, настаивавших на изгнании русских из Америки.

Малопривычный труд писания, бессонная ночь и, возможно, прием гостей на именинах жены дали себя знать. Сердце сжимала уже знакомая щемящая боль. Кружилась голова.

— Мне... того... опять я на риф сел, Наташенька, — стесненно глядя на жену, признался Григорий Иванович и уронил голову на стол.

— Покличьте людей, Николай Петрович, в спальню Григория Ивановича снести. Как туман снега, съели его заботы и труды непрестанные, а тут вы с клеопами... клопами и прочей гадостью! — обернулась Наталья Алексеевна в сторону сопровождавших ее молодоженов.

Изумленно взглянув на обычно благоволятельную к нему тещу, Резанов молча повернулся и вышел из комнаты.

— Маменька, за что вы Миколеньку обижаете? Чем же он причинен? Батюшка, сами знаете, только с ним в разговорах душу отводит, — заступилась Аннушка за мужа. — Ах, когда же Николеньку в Петербург вернут?

— Нам за океан ехать, а не в Петербург. Петербург этот и погубил орла нашего... Бережно несите! Глядите, о притолоку не хватите, — наставляла Наталья Алексеевна приведенных Резановым людей. — И куда девалась сила-удаль твоя, Гришенька! — горестно шептала она, вглядываясь в заострившиеся, как у мертвеца, черты мужа.

Спешно прибывший старик Сиверс, прощупав пульс и выслушав сердце морехода, долго и горестно качал головой.

— Будем еще раз пробовать мой китайски медикаментум, но должный открыто сказывать — табак... ах, как это по-русски? — а-а, табак дело! Колумбус наш на место сердца... имеют... пузир от бык...

Сиверс с полной откровенностью растолковал Наталье Алексеевне тяжелое состояние Шелихова. Нечего и думать ехать в Охотск, а тем более в зимнюю экспедицию на поиски незамерзающего, неведомо где находящегося порта.

На старом, много испытывавшем на своем веку галиоте «Три святителя» — на нем десять лет назад Шелихов совершал свое первое плавание в Америку — Кусков вышел из Охотска только в половине октября. На такой поздний переход через океан не отваживался еще ни один русский корабль.

Злые «кошки» — боковые песчаные отмели Тунгусская и Уракская — три раза задерживали перегруженный галиот на своих бурунах. В то время эти «кошки» с севера и юга стерегли вход и выход из Охотского порта. Пройти через них было возможно только на гребне приливной или отливной волны и при попутном ветре. Штурман на «Святителях» Бочаров пил без просыпа, куражился и не захотел брать лоцмана. На бурунах, во время тяжелой и опасной работы по снятию с мели, потонуло несколько человек. Возвращаясь каждый день на берег после неудачных попыток выйти в открытое море, люди пропились в охотских тайных кабаках-«мухоловках» до нитки — «срам прикрыть нечем» — и в конце концов взбунтовались, отказались плыть в Америку.

Кусков с командой, наряженной ему в помощь охотским комендантом, вылавливал «дезентиров» поодиночке и силой отправлял на корабль, завязав в мешки... Васька Бубнов выбрался на палубу и, закричав: «Погибать, так на родной стороне!», в мешке скакнул за борт и потонул.

Рассказы вернувшихся из Охотска людей на этот раз нагоняли на Шелихова тоску и уныние. Ежегодные отправления и прибытие кораблей из Америки редко обходилось без происшествий, но они быстро забывались.

Сейчас же тревога не покидала души морехода. Если погибнет корабль, погибнут эти люди, Кусков, Шукин, выехавший в Охотск в твердой уверенности, что хозяин разделит с ними опасности позднего плавания через вздыбленный осенними штормами океан, — на чьей душе грех будет? Не считаясь с самолюбием, насмешками companions и необходимостью принять

на себя тысячные убытки, Шелихов охотно бы вернул «Святителей» в порт и до весны держал людей на своем коште.

— Передайте хозяину нашему поклон и почтение. Скажите, что на том свете увидимся, от того света и купец не отвертится, — говорил шелиховским дворовым Шукин в Охотске перед отплытием в Америку.

В переданном ему вернувшимися привете «Шуки—золотые руки» мореход почувствовал скрытое к себе презрение, но лишен был возможности растолковать Шукину причину, по которой он, Шелихов, остался. От этого растущего раздражения и мрачного предчувствия утраты былой удачи Григорий Иванович упорно стал нарушать лечебные предписания Сиверса. Сидя дсма, он целые дни проводил в одиночестве за разглядыванием карт и чтением книг, раздумывая, по какому образцу издать еще раз проверенный отчет о плавании. С близкими говорил мало и редко, на жену глядел хмуро, со скрытой укоризной: засахарить готова, а что честь и удачу утеряю — до этого ей мало дела...

Обычная в доме Шелиховых бодрая и деятельная жизнь замерла. С приезжими доверенными и приказчиками Григорий Иванович запирался у себя, забирал к себе и почту, приходившую в Иркутск дважды в месяц. С домашними ничем не делился. Ходил с изрядно отросшей бородой, которая даже для Натальи Алексеевны неожиданно оказалась густо посеребренной горькой солью старости — сединой. Все чувствовали: с хозяином творится что-то неладное. Николай Петрович Резанов, повидимому обиженный непонятным отчуждением тестя, появлялся с женой только за обедом. Молодая чета проводила время в разъездах по городу или у себя в отведенных им комнатах.

Неожиданное событие вернуло Григорию Ивановичу утраченное равновесие. В середине декабря в Иркутск прискакал фельдъегерь из столицы. С фельдъегерями обычно доставлялись особо важные указы и распоряжения правительства.

На другой день наместник Сибири генерал-поручик

Пиль затребовал к себе в губернаторский дом Шелихова и Резанова. Чтобы предстать пред очи начальства неопустившимся, Григорий Иванович надел после некоторого колебания парадный камзол и вызвал на дом цирюльника снять бороду.

— Поздравляю обоих с монаршей милостью! — важно приветствовал их наместник. — Обоих, говорю, потому что монаршая милость господину Резанову оказана, как явствует из полученных мной частных сведений, во внимание к заслугам перед отечеством его тестя — твоих, Григорий Иваныч! — о них я неоднократно всеподданнейше доносил государыне... — Наместник передал побледневшему Резанову свиток с привешенной к нему на шнуре печатью с двуглавым орлом.

— «Указ нашему сенату... — подавив охватившее волнение, читал Резанов, — коллежского советника Резанова отпустить из Иркутска по взысканию из утраченных расходчиком, под его наблюдением бывшим, трехсот двадцати пяти рублей и...»

От волнения у Резанова перехватило дух. Сбылось невозможное и невероятное! Даже в интимнейшие минуты жизни, поддерживая надежды и мечтания жены о предстоящей жизни в столице, Николай Петрович сам этому все же не верил. «*Lasciate ogni speranza voi ch'intrate...*»¹ — непрестанно повторял он про себя знаменитый стих Данте, начертанный якобы над входом в ад. И вместе с тем Николай Петрович прекрасно понимал, что великое множество людей, безвинно затнанных в славное царствование Северной Семирамиды на край света, могли бы почесть условия, окружавшие его в Иркутске, за избавление от выпавшей на их долю адской жизни.

Со слов Григория Ивановича Резанов знал не только о приготовленном для них в Петербурге гнезде — купленном у вдовы секунд-майора Глебовой доме, но и все тайные пружины, которые были заведены хитрым и смелым отцом несравненной Аннет в пользу возвращения его, Резанова, к жизни в цивилизованном об-

¹ «Оставь надежду всяк, сюда входящий».

шестве. О-о, теперь Николай Петрович научился ценить то, что потерял! Он уже продумал свое будущее и нашел пути служить великому делу просвещения и цивилизации.

— Аль... тести?! — не удержался, чтобы не скаламбурить Николай Петрович, глядя на тестя с невольным удивлением пред силами, направляющими движение слепых монад в этом лучшем из мыслимых его учителем Лейбницею миров.

— Те-естя? — протянул наместник, по-своему понявший странный возглас Резанова. — Сомневаетесь, молодой человек, кому одолжены благодарностью? Неизреченному снисхождению государыни к заблуждениям молодости и ее же милостивому вниманию к заслугам почтеннейшего тестя вашего, принимая кои во внимание, я... — наместник выдержал внушающую паузу и многозначительно закончил: — я также давал благоприятный отзыв о вашем поведении и усердии к службе, о чем, надеюсь, не заставите меня пожалеть.

Пряча улыбку, Резанов молча поклонился, как будто не находя слов для выражения благодарности и верноподданнических чувств. Не мог же на самом деле прощенный ссыльный передать генерал-поручику Пилю смехотворный рассказ Григория Ивановича о том, как накануне отъезда из Петербурга он, Шелихов, сторговался с Альтести на пяти тысячах рублей за возвращение своего зятя в столицу по высочайшему указу. Екатерине земной не дано было откровения прозреть выгоды, приносимые пройдошисту греку метелкой, той самой, что лежала под иконостасом в кабинете фаворита и которой грек смахивал пыль с изображения небесной покровительницы Платона Зубова...

— Вот и я теперь не в долгу перед тобой, Григорий Иванович! — шутил наместник, припоминая поднесенные ему мореходом в день рождения на Ивана воина великолепные шкуры морских бобров. — Оправил зятя твоего перед государыней! Молодой человек образумится, поглядевши нашу жизнь, — испытание на пользу пойдет. В столице Николаю Петровичу все дороги открыты, через него и у тебя рука там будет...

Ну, с богом! Наталье Алексеевне нижайший поклон скажи...

Шелихов с трудом находил принятые в таких случаях слова благодарности. «Указ нашему сенату» не вызвал в нем удовлетворения, которое обычно приносили удававшиеся предприятия.

Уедет Николай Петрович, увезет в далекий, чужой Петербург Анюту, любимую дочь. Для интересов компании, для процветания дел и успеха в удовлетворении нужд Америки не плохо, конечно, иметь в Петербурге в лице Резанова дружественную и твердую руку. Мореход был убежден, что блестящий зять его быстро станет в столице большим человеком... «Да мне что в том!» — размышлял Шелихов.

Во все дни и часы Григорий Иванович чувствовал теперь неотступающую тяжесть в сердце. Долго ли при такой неотвязной хворобе жить осталось? Подлец Альтести в погоне за пятью тысячами поспешил выполнить обещание... Придется еще и деньги платить петербургским акулам за то, что отняли легкодушного друга и умного советчика, обрушили теперь на одного Григория Шелихова махину неprovорот огромного и сложного предприятия. Неладно дело обернулось, да ничем не поправишь — поздно!

Бурная радость, с которой встретили домашние известие о возвращении Николая Петровича в Петербург, окончательно убедила Шелихова в невозможности удержать при себе, а значит и при деле, зятя и дочь.

— В Петербург! Едем в Петербург, Аннет... вы увидите Неву! Через год я повезу вас в Париж, в Италию! — кинулся к жене Резанов, едва они переступили порог гостиной.

В неудержимом порыве Анюта Резанова рванулась навстречу, чтобы, подскочив как можно выше, повиснуть на шее мужа, но вспомнила: надо привыкать к благовоспитанности в новой жизни, остановилась в разбеге и присела в глубоком реверансе, придерживая обеими руками края платья.

«И таким-то на Алеуты ехать? С раскрашенными дикими в одно жить — в ямах земляных, в грязи, в

зловонии, в звериных шкурах ходить, вечно трепетать за жизнь свою и близких? — чуть ли не вслух думала Наталья Алексеевна, любуясь молодой четой. В памяти всплывало пережитое в совместном с Григорием Ивановичем путешествии в Америку. — Я в счет не иду! С тобой, Гришата, я и сейчас мокрети аляксинской не испугаюсь, ни перед чем не остановлюсь, а этих в марево американское не дам завлечь...»

На лице мужа, молча остановившегося в дверях, Наталья Алексеевна, как в открытой книге, читала мысли и чувства, затемнявшие ему принесенную в их дом нечаянную великую радость. И впервые за долгую жизнь готова была на открытый бунт против мужского безумия и одержимости.

— Будет вам, детки, бесноваться. Через две недели в столицу вас выпровожу... Сколько дела пред такою дорогой! Николай Петрович, вам с Анютой о своем подумать надобно и с Григорием Ивановичем, чаю, обо всем договориться немалое время потребно... Гришенька, — обернулась Наталья Алексеевна к мужу, — там на конторке письмо к тебе из Петербурга от этого... забываю, прости господи, фамилии греческое! Я полюбопытствовала, прочла — письмишко занятное... Фельдъегерь доставил, только-только вы к генералу моему выехали...

Письмо из Петербурга избавляло от необходимости высказать свое отношение к принятому Натальей Алексеевной решению. Жена знала, как и чем вовремя отвести своего Гришату от ненужных и излишних высказываний. Григорий Иванович хмуρο усмехнулся и отправился в кабинет знакомиться со столичными новостями.

«Милостивый государь и досточтимый благодетель! — писал Альтести. — Письмо сие будет доставлено вам одновременно с высочайшим указом сенату для его высокопревосходительства генерал-поручика Пиля об отпуске господина Резанова в Петербург, где его на первых порах встретят геральдические львы и драконы, оными да не пренебрегает.

Поелику ваша человеколюбивая особа неожидан-

ной щедрой помощью извлекла меня из челюстей бедствия и не лишает надежды на повторение ее в будущем, почитаю долгом остеречь вас от лишних надежд в деле вашем на поддержку знатных невежд и не весьма дальновидных политиков.

Хитроумный лорд У., вернув себе после вашего отъезда милости О. А., сумел убедить через нее известное вам сильное лицо в неблагоприятных кондициях вашей репрезентации Америкой. Война с Францией неизбежна, через это с англичанами и американцами заключены дружественные трактаты.

Посему и предоставление государственного чина управителю частных г. Шелихова поселений в Америке, и дозволение господам офицерам военного императорского флота рядиться на службу компании признано несвоевременным. Оставленные мне на сей предмет указы сберегаю для сдачи по вашему указанию в архив компании. Сатисфакцию интересам вашим не премину найти.

Представление его сиятельства графа А. Р. Воронцова ее величеству на предмет переселения в американские земли трех тысяч душ черносошных государственных крестьян с семьями — в нашем кабинете высмеяно, как проявление неприличествующего вельможе вольтерьянского духа. Решено гр. В. отпустить на покой. Имею распоряжение написать генерал-поручику Пилю о дозволении вам перевести в Америку, или куда заблагорассудится, десять семейств плугатарей из ссыльно-поселенных.

Резекция¹ Польши, сдруживши Россию, Австрию и Пруссию, решена ныне к огорчению Франции, которая из противодействия, стремясь сколько можно навредить, ищет причинить новую войну со шведами. Вам надлежит остерегаться шведских каперов, в которые нанялся, как говорит мой друг Евстратий Деларов, небезызвестный вам по Аляске арматор Кокс.

С неубывающим почтением и преданностью вам остаюсь вашего человеколюбия слуга покорный

Симон де Альтести».

¹ Рассечение, раздел.

Письмо Альтести, крайне неблагоприятное для дела в Америке, заставило Григория Ивановича встряхнуться. Напасти, со всех сторон надвинувшиеся на заветное дело жизни, пробудили в Шелихове присущую ему волю к борьбе. Вечером за ужином пили мед и наливки за удачу молодых в столичной жизни.

— Пусть вороги наши плачут, а мы посмеемся! — как в недавнее доброе время грохотал мореход, чокаясь бокалом с переливающимся через край пенистым душистым квасом.

— Григорий Иваныч, кто же квасом одоление запивает? — подшучивал над тестем Резанов.

— Умен ты, Николай Петрович, да насквозь профранцужен — не знаешь того, что русские, хотя квас пили, а всех били, кто на них подымался, — хитро улыбаясь, отшучивался Шелихов.

— Нет, квасом не отыграетесь, Григорий Иваныч... Квас — это напиток таковский! — наседали на тестя Резанов.

Уловив насмешливые нотки в голосе Николая Петровича, тесть насторожился и после минутного раздумья сказал просто и проникновенно:

— Квас и патриотичность понятия несовместные, получается «квасной патриот», Николай Петрович. Нет во вселенной большей любви к отечеству, патриотов к нему усерднее, чем русские люди! Великими делами доведена сия истина, а еще большие дела придут и потрясут иноязычные народы... Квас — это у меня к слову пришлось, да припомнилось, как в столице любовь к отечеству квасом разбавляют, к чему и вам вкуса бы не приобрести! — под общий смех звернул зятю шпильку Григорий Иванович. Мореход умел постоять за то, чем дорожил.

Посторонних в доме не было. Аннет уснула, свернувшись клубочком в углу дивана. От Натальи Алексеевны, которая умела слушать, не вмешиваясь в мужские разговоры, секретов быть не могло. Сообщенные Альтести новости большой политики, хотя Резанов и не преминул презрительно фыркнуть на

дворянское «де», присоединенное канальским греком к своей фамилии, заставляли пересмотреть со всех сторон намеченный план действий в Америке. Отъезд Резанова в Петербург диктовал необходимость разделить, кому и что делать в ближайшее время, и договориться на случай... Мало ли какой случай подстерегает человека! Мореход всегда гордился тем, что он умел подкараулить случай, обратить на пользу себе и людям даже самый неблагоприятный из выпадавших.

— События в мире складываются явно на пользу российских заведений в Америке! — ловко и кругло нанизывал Резанов на единую нить мысли, которые смутно бродили в уме Шелихова, не находя нужной оболочки для своего выражения. — Они... они несут передышку и возможность закрепить завоеванное...

— Токмо об этом и думаю — как укрепиться, корни пустить, — поддакнул Шелихов.

— Зубовы не хотят заниматься такой... *futilité*¹, как Америка? Тем хуже для них — время Зубовых не вечно. Цари и бояре не искали Сибири, ее добыли простые русские люди, Ермак с козаками. Найти русским свое место в Америке труднее, чем испанцам, французам и англичанам, — этих путь был вдвое короче и несоразмерно проще...

Резанов говорил, не стесняя себя в выборе выражений, несколько книжным и условным языком образованных людей своего времени. Напряженное внимание, с которым тесть слушал его, подогревало красноречие Николая Петровича.

— Америка, окрещенная вами Славороссией, страна, не имеющая карты, границ, установлений цивилизации, — страна Утопия! Она существует пока только в вашей фантазии и в счетных книгах компании, обогащающей людей... Хорошо, не будем о них говорить! — согласился Резанов, заметив пренебрежительный жест морехода. — Чтоб родилась ваша Славороссия, объявилась как сущее, нужны усилия десятков таких — не лщу! — богатырей, как Шелихов, как

¹ Ничтожество, пустяк (франц.).

Баранов, железный человек, но и ваши подвиги пребудут втуне, ежели не обопрутся они на тысячи трудолюбивых...

— С этим и стучался я к Александру Романовичу, — живо откликнулся Шелихов. — Да понял, не в ту дверь попал, как стал он допытывать, почему помещиков в Америку не зову.

— Из письма Альтести явствует, что граф Воронцов принял, однако, в резон ваш стук, — заступился Резанов за Воронцова. Его Николай Петрович почитал наиболее законченным в российских условиях приближением к своему идеалу просвещенного государственного мужа. — Отставку и отклонение проекта Александра Романовича я полагаю самой неблагоприятной нам новостью из того вороха, что подбросил Альтести. Без заселения Америки россиянами не видать нам Америки, раньше или позже! Из людей, окружающих трон, лишь Александр Романович понял, что нынешние шумы вокруг европейской политики именно благоприятны для осуществления сего мероприятия... Сколько русских наберется в нашей Славороссии? — живо спросил Резанов.

— Кладите двести человечков с теми, что с Кусковым отъехали, да лебедевские ватаги, токмо они с нами, как турки, всегда в войне, о двух стах душах считайте, — ответил, прикинув, Шелихов и запнулся, когда пред его умственным взором возникли во всей своей оторванности и заброшенности эти травинки-побеги русского корня, прозябающие на суровых берегах, у подножия чудовищных ледников, огнедышащих вулканов и необозримых девственных лесов неведомой страны.

— Все одно, — тихо и уверенно добавил Шелихов, — и с теми, что сейчас там промышляют, берусь и Бентама, и Кокса, и бостонского Астора десять лет на мою землю не допускать, а об руку с Барановым и тобой, любимик мой, и вдвое дольше сдержу... Никогда не допущу!

Так, строя сложные стратегические планы преодоления столичного скудоумия и небрежения к интересам отечества, перебирая всяческие возможности

привлечения россиян в Америку, они остановились на том, что Николай Петрович подаст в Петербурге при удобном месте и случае мысль сослать в Америку объявившихся в Южной России духоборов — последователей новой, опасной в глазах правительства ереси.

Русские пахари, насильственно переселяемые в дикие степи Новороссии, заразились ею от поселенных там же Екатериной фриз-анабаптистов, придерживавшихся учения сожженного германскими феодалами на костре в Мюнстере портняги-ремесленника Яна Бокельсона¹. Господствующая церковь резонно усмотрела великий соблазн возрождения чужеземной ереси на российской почве и воздвигла крестовый поход против духоборов.

— Проездом через Нерчинский острог видел я этих людей — много их в Сибирь на рудники нагнали, — рассказывал Григорий Иванович. — Из потемкинской Новороссии в нашу Славороссию они охотой пойдут! Со многими беседовал... Правильные люди! Вера эта для мужиков наших через то лакома, что на честнейших правилах основана, и важнейшее их попечение ко всеобщему благу относится... Нам что до того, како веруют? Мы не попы и не помещики...²

— «Религия и разум не могут существовать одновременно», заметил Вольтер, а я зарок себе положил: подальше от церковных дрызг! — сказал Резанов. — Прославят нас заступниками богопротивников, этого не доставало!

— Препоручите Альтести обратить нам на пользу сию оказию. Он за деньги с Пугачева анафему снимет! — продолжал Шелихов настаивать на своем. — А на мужиков для Америки денег не жаль...

— Золото открывает все дороги! Попробую содействовать вам, Григорий Иванович, если случай пред-

¹ Голландец Бокельсон, портной, вождь воинствующих анабаптистов, более известный под именем Иоанна Лейденского, которого германские феодалы в 1536 году сожгли на костре в Мюнстере.

² Под давлением церковников и дворян-помещиков Екатерина II первая начала преследовать духоборов.

ставится, но заранее предвижу: успеха не будет! — согласился Резанов. — И клянусь всегда и везде ваше дело считать своим кровным делом. Хоть не по сердцу мне коммерция и разные мануфактуры, но коль это касается Америки, сделаю все, что смогу!

5

Зачисление на службу по герольдии отравляло Резанову радость возвращения в столицу.

Преувеличивая ничтожность предстоящих занятий по должности и предвидя незначительность своего положения в обществе, Резанов оставался в стороне от забот Натальи Алексеевны, хлопотавшей насчет отбора приданого Аннет и всего необходимого им для жизни в столице.

— С милой рай и в шалаше! Что нам нужно, не так ли? — говорил Николай Петрович, обращаясь за поддержкой к жене.

— Нам совсем немного нужно, — соглашалась Аннет, — какие-нибудь мелочи разве... Голубая *tuniqué*, и розовая *chinoise*¹ с собольей опушкой, медальон с вашим портретом и та чашечка, из которой мы вместе чай пьем, и... — рассудительная Аннет стала добавлять к столичному «шалашу» такое количество «мелочей», что Наталья Алексеевна, поглядывая на посрамленного зятя, в конце концов торжествующе улыбнулась.

Первоначальный поезд Резановых, намечавшийся в три, от силы пять саней, вырос в целый обоз из тридцати обшитых кожами и парусиной кошев, груженых отборными мехами, сибирским полотном, китайскими шелками, чаем, причудливыми вазами, драгоценной фарфоровой посудой и всякими диковинками заморских стран.

— Увы, нам все это навряд ли пригодится, *ma bienveillante et chère belle-maman*², — страдальчески

¹ Покрой модного тогда женского платья.

² Моя любезная и дорогая теща (франц.).

качал головой Николай Петрович. — Кого может ожидать на свои приемы архивная крыса герольдии?

— Не век в герольдии сидеть будешь, Николай Петрович, да и крыса в столице, ежели хвост позлащен, за льва сойдет! — грубовато, по простоте своей, пошутил Григорий Иванович и, поймав недовольный взгляд Натальи Алексеевны, поторопился замять неудачную шутку: — Полковник Бем в поезд к вам просится. Тоже в столицу собрался, справедливости искать, а денег на лошадей и кошевы нет. Надо у него побывать, узнать, сколько саней нарядить. Через честность и добросердие человек нужду терпит!

Бывший правитель Камчатки полковник Магнус Казимирович Бем был уволен правительством в отставку «за вредное государственными интересам попущительство иноверцам». Происки и доносы купцов и чиновников, которым он препятствовал обирать туземное население этого отдаленнейшего уголка Российской империи, свалили честного служаку.

Уроженец Польши, искренний демократ и подлинный патриот своего несчастного отечества, раздираемого произволом магнатов и своеволием тупой шляхты, Бем в конце 60-х годов примкнул к либеральной партии Чарторийских, но после зверского подавления восстания украинских крестьян, известного под названием Колиивщины, разочаровался в искренности намерений своей партии и, перейдя на русскую службу, уехал в Сибирь. Обманутый либеральным началом царствования Екатерины, Бем думал осуществить на этой отдаленной окраине свои идеалы общественного устройства. Сибирь стала второй родиной Бема, в которой он честно и усердно работал по устройению восточных границ российской державы.

Полковник Магнус Бем пользовался большим уважением среди ительменов Камчатки, и вооруженные столкновения ительменов с русскими при нем совершенно прекратились. Человек необычного душевного своеобразия, он взял себе в жены девушку-ительменку из смешанного русско-туземного населения Камчатки. Приохотив ее к грамоте и чтению книг, до глубокой старости он прожил с нею в трогательном согласии.

В Иркутске Бем жил уединенно и скромно. Единственной страстью его была охота и книги, которые он читал, свободно владея несколькими языками. Не замечая никого из иркутян, Бем бывал только в доме знакомого ему еще по Камчатке Шелихова, — там Бема и его жену всегда встречали с почетом и искренним радушием. Каждый раз при встречах мореход не упускал случая, несмотря на неизменный отказ Бема, ссылавшегося на старость и недуги, уговорить его на переезд в Америку, предлагая отдать ему под управление любую часть края.

Шелихов и Резанов и прежде бывали у Бема. Но в этот раз, приехав к нему, они поразились тем, что увидели. Бем сидел с книгой на единственной деревянной скамье перед столом, на котором стоял роскошный золотой сосуд в виде греческой амфоры — подарок из Лондона, недавно пересланный ему через Петербург. Получив его, Бем решил ехать в столицу «искать чести».

— Немного же у вас рухляди, Магнус Казимирович, — осторожно сказал Шелихов, оглядывая несколько увязанных тюков и коробов.

— Да, да, совсем немного! Мы все распродали, чтоб до столицы доехать, — грустно улыбнулся Бем, вставая навстречу гостям. — Двух кошев хватит! Единственно, что прибавится, это... — он горделиво кивнул на золотую амфору. — Подарок английского адмиралтейства за спасение Куковых кораблей. Без малого десять лет штука сия ко мне добиралась из Петербурга! Переслать во-время оказии найти не могли.

В середине амфоры на золотой в виде развернутого свитка пластинке была выгравирована латинская надпись. Шелихов долго рассматривал надпись с любопытством и попросил Николая Петровича прочесть ее.

— Мне известно, что англичане Магнусу Казимировичу за спасение Куковых кораблей благодарность высказывали, — доведи мне, Николай Петрович, это надписание по-русски!

— Не знаю, хватит ли моей латыни... Ну, если что не так, Магнус Казимирович меня подправит, — оза-

боченно потер Резанов лоб и перевел изложенную торжественной церковной латынью благодарность британского адмиралтейства русскому начальнику Камчатской области полковнику Бему за спасение и починку кораблей мореплавателя Кука и снабжение их продовольствием и необходимым снаряжением для обратного плавания на родину.

Закончив перевод, Резанов вопросительно посмотрел на Бема.

— Превосходно переложили, Николай Петрович, — проговорил Бем, склонив седую голову. — Не скрою: подкупили меня британцы игрушкой этой, а наипаче надписью — поверьте, не золотом! Все же оказанную помощь людям иногда даже англичане оценить умеют, а я за воспомоществование мореплавателю Куку без дозволения высшего начальства абшид¹ получил, да еще и начет — тысяча четыреста рублей и сорок шесть копеек, — глаза Бема вспыхнули презрением, — из пенсии до сего дня выплачиваю!..

— Начальник! — жена Бема упорно продолжала называть так мужа в присутствии посторонних, хотя бы и знакомых ей людей. — А я и чаем гостей напоить не могу, самовар в короб уложен.

— Не хлопочи, Татьяна, они не осудят, — доверчиво улыбнулся полковник Бем из-под седых усов; прощаясь с приехавшими.

В день Нового года поезд Резанова, к которому присоединились две кошевы Бема, выехал из Иркутска. Шелихов с Натальей Алексеевной провожали вылетавших из родительского гнезда дочку с зятем до Олонка, верст за тридцать от Иркутска вверх по Ангаре. Григорий Иванович подарил Резановым на дальнюю дорогу возок, побывавший уже с ним и Кучем в Петербурге.

Выйдя из возка, в котором они вместе с детьми ехали до Олонка, на проложенный в снегу след, Шелихов с Натальей Алексеевной долго наблюдали, как обши-

¹ Отставку.

тый волчьими шкурами дорожный кораблик, катившийся по снежной долине на запад, исчезал в дымке солнечного заката морозного сибирского дня. Затем возок слился с полоской нагнанного обоза, наконец в сизой заволочке на горизонте растворился и самый обоз.

— Они к жизни, а мы... — вздохнул Григорий Иванович и закончил поспешно и бодро, заметив слезы, застилавшие глаза Натальи Алексеевны: — Домой, за работу! Колоч ветер с Ангары — и мне глаза застил...

Никишка вмиг вскочил на передок кошевы и гикнул на лошадей. При полном месяце, светившем в лицо, въехали Шелиховы в давно уже спящий Иркутск.

Наталья Алексеевна, утомленная двухнедельными сборами и проводами детей в столицу, крепко уснула, а Григорий Иванович зажег в своем кабинете кулибинский зеркальный фонарь, разложил на столе бумаги и карты и с наслаждением углубился в составление новых заманчивых планов продвижения по американской земле и завоевания просторов Тихого океана...

Зеркальный фонарь горел ярко и ровно: многочисленные зеркальца в двадцать пять раз увеличивали силу света вставленной в фонарь свечи.

«Полуночным солнцем», вспоминал Григорий Иванович, называли туземные американцы дивный светец русского мужичка-самоучки, такого же, как и он, Шелихов, беспокойного человека — Ивана Петровича Кулибина. «Страждает, поди, бедняга в столице среди дворянского скудоумия. Эх, таких бы людей в российской Америке собрать... Но условий нет, ничего еще там не налажено, самая жизнь людей не обеспечена». И мысли Григория Ивановича тут же перенеслись к Баранову и его сподвижникам, борющимся в великих трудах и опасностях за будущее края.

«Александр Андреевич Баранов чем же не сила? Изрядный химикус, и стекловар, и винокур, и рудознавец, из истории начитан, в географии учительно разбирается и карты не хуже любого морехода читает!.. А Щука? Природный механик — какой он ворот на зубчатых колесах для якорей морских наладил!.. А Цыпанов, кузнец, не гляди, что к вину привержен, — блоху

подкует, ежели нужда в этом будет... Или вот еще Ираклий, архитектор мой из грузинов кавказских. Он за Катьшей и на край света потянется, — думал Григорий Иванович, замечавший робкие нежные взгляды, которыми обменивались смешливая егоза Катенька, вторая дочка Шелиховых, и молчаливый, всегда грустный грузин. — Отдам за него Катерину... Какими строениями украсит этот человек страну, принесшую ему счастье!»

Взволнованный подсчетом сил из народа, двинутых им на завоевание Нового Света, мореход вспомнил буквально без году неделя примкнувшего к его делу разумного и степенного купеческого сына Михайлу Матвеевича Булдакова. Молодой вологжанин подавал надежду освоить дело и повести самостоятельно любую доверенную ему часть. Вспомнил и офицера-кораблестроителя, обрусевшего англичанина Шильдса, и Пуртова, и Медведкова, и многих-многих, чьи имена и лица всплывали в его памяти.

Отъезд Резанова в Петербург, встреченный с таким огорчением, Шелихов склонен был сейчас рассматривать как перст судьбы, указующий путь к осуществлению его смелых проектов и начинаний, погребенных в столичных канцеляриях чиновными ярыжками вроде Жеребцова.

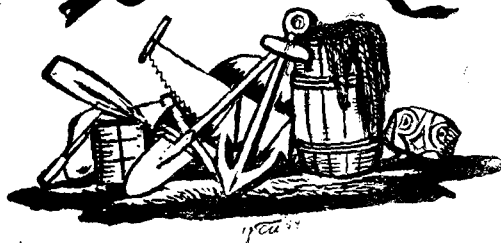
Даже неумная тревога за позднюю отправку корабля стихла, сменившись уверенностью в успехе отчаянного осейного рейса: слов нет, риск велик, но в таких ли переделках русские бывали — хотя бы и его самого, к примеру, взять, — да сухи из воды выходили... «Кусков доведет «Святителей» до Кадьяка — за него мать молится! — убеждал себя Шелихов. — Кусков доставит огнестрельный припас, продовольствие и товары, без которых Баранову не удержаться до лета. На «Святителях» и семена огородные, и картофель — год не упустят, обсеются и огороды засадят. Собак ездовых, колымских, получают, подкормят на летней рыбе и будущей зимой, закончив промысел бобров, в глубь страны на обыск двинутся — давно пора, за десять лет от берега оторваться не можем... «Тяжело одному за все

и всех в ответе быть, но... отправить корабль в Америку надо было неотложно!

Отдавшись течению своих мыслей, Шелихов тут же за столом, уронив голову на руки, незаметно уснул.

Так, распростертого над картами в чаду догоревшей в фонаре свечи, и застала Григория Ивановича Наталья Алексеевна, когда, проснувшись под утро и не найдя около себя мужа, встревоженная, кинулась искать его в пустых и темных комнатах спящего дома.

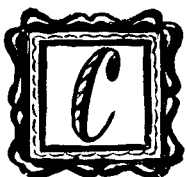
Во сне Григорий Шелихов выкрикивал слова команды, плавая на каком-то утлом оуденышке вместе с Барановым в яростных брызгах сулоя, который все размывал и размывал сползающие в океан вечные ледники Агассицу...





Глава первая

1



незапамятных времен, измеряемых жизнью сотен и сотен людских поколений, ледовая река Тауанса в невидимом человеческому глазу движении сползала с укрытых туманом гор в воды океана.

Горы вздымались над диким, пустынным берегом залива Нучек и ревниво скрывали тайну ее рождения там, вверху, где высился под дымчатой шапкой вулкан Агассицу, или, как называли его, посетив первыми эти места, русские, гора святого Ильи.

— Ой, и тепла шапка у преподобной горы: накроет — не вырвешься! — рассказывали на Кадьяке старовояжные, побывавшие здесь еще лет восемь назад с самим Григорием Ивановичем Шелиховым. — У нас на что смел был хозяин, а и он нучекских сулоев забоялся...

Поверхность ледника была укрыта пухлой подушкой почвенных наносов и обросла, как иглистой шер-

стью, высокоствольными деревьями, и только далеко в заливе обнажалась хребтина ледяного потока, — падая, поток как бы врезался в воды океана прозрачными белыми отвесами в сорок—пятьдесят саженей высоты. Изю дня в день, в часы прилива, около них вскипал неистовый сулой — хаос встречных, сшибавшихся между собой в дикой ярости течений. Время от времени, в какие-то мгновения вечной жизни природы, подточенные морской соленой водой, размягченные солнцем и ветрами чудовищные глыбы застывшей реки внезапно рушились и исчезали в глубинах залива со всем, что было на их поверхности, чтобы дать место новым, безостановочно сползавшим в океан заледенелым волнам Тауансы.

В этом первобытном земном уголке человеку явно не было места. И все же он пришел сюда, подвигаемый неустойчивой, все подчиняющей силой искания, творчества и труда. Пришел и без смущения расположился среди величавого безлюдья со своим лоскутным хозяйством.

На краю ледяного мыса, в куче угрюмых серых валунов, вынесенных ледником, маячила одинокая человеческая фигура.

Приземистый человек, в черном сюртуке и наброшенном поверх индейском шерстяном плаще в цветных узорах, напряженно шарил подзорной трубой в опаловой дали океана. Далеко внизу, в глубоком овале отлогого берега, дымили костры и копошились люди среди островерхих шалашей, связанных из мелкого кругляка и обтянутых парусиной и кожей. Вытянутые на берег выше пенистой кромки прибоя черные байдары, обшитые сивучьей кожей, и сами походили на стадо сивучей, доверчиво выплывших к людским кострам.

— Пуртов и ты, Демид, поглядите, однако, в дальноразительную трубу! — начальнически обернулся человек в плаще к валунам. На голос его как из-под земли выросли двое людей в кухлянках¹. Они укрывались за валунами от свежего ветра с океана, которого как буд-

¹ Меховые полукафтанья.

то не замечал человек в плаще. — Ветер глаза слезит, а мне все будто судно мерещится, — пояснил он, передавая им трубу. — Да не оба сразу! — улыбнулся начальник, заметив, что бородачи, наступая друг другу на ноги, стараются одновременно заглянуть в трубу.

— Мне стекла не надобны, Александр Андреевич, глазом вижу корабль, — отказался от трубы чернобородый великан. Его звали Демидом. — Трехмачтовый! На губу идет, только... не наш корабль, не «Симеон» это...

— Демид правильно говорит, Александр Андреевич. Ох, и гляделки! Орлиные очи! Уступи, Демид, твои гляделки! — восхищенно заметил коренастый русобородый Пуртов, смотря в подзорную трубу. — На всех парусах летит к Нучеку, и не иначе — английский корабель...

— Не наш, говоришь? Та-ак... Айда-те, ребята, к партии, встречать будем... — неопределенно отозвался на слова спутников начальник и молча двинулся по крутым облесненным спадам ледовой реки в сторону далекого табора на берегу залива.

Демид Куликалов шел впереди, уверенно лавируя между двухобхватными серебристыми стволами цуги — драгоценной для кораблестроителей американской красной сосны. Сейчас цуга заслоняла небо и все ориентиры берега и гор. В сумрачном безмолвии лесной чащобы одни только белки-летяги подавали признаки жизни, роняя на пробиравшихся гуськом людей полновесные шишки.

Человек в индейском плаще, прикрывавшем столь неожиданно-странный в чаще девственного американского леса европейский сюртук, хранил важное молчание. Он неторопливо продвигался, стараясь попасть в след ноги великана Демиды. Безошибочным чутьем лесного охотника Демид угадывал за мшистым ковром под ногами все опасные капканы из обломков камня и гниющего бурелома, точно сама природа дикого края была враждебно настроена против непрощенных пришельцев. Молчание начальника не беспокоило ни Демиды, ни Пуртова. Они привыкли к скупости Алексан-

дра Андреевича на слова, и оба были уверены, что в нужный момент всегда услышат спокойный голос начальника, подающего команду и указание.

Кряжист и неподатлив людским мнениям и людям, не проверенным на деле, был правитель русской Америки Александр Андреевич Баранов. Выходец из Онежского сурового озерно-лесного края, в котором затерялся глухой погост Каргополь на широкой Онеге у Лач-озера, Баранов как будто вобрал в себя все необычайные качества первых засельщиков Поонежской пятины, крепких духом и телом залешан¹ из житниих и молодых людей славного Новагорода.

Встречи и сближение с Барановым оказались наибольшей удачей Григория Шелихова. В Баранове Шелихов нашел надежного преемника и продолжателя своего дела. В трудах Баранова, осуществившего почти все замыслы Колумба русского, сохранилась для потомства память о Шелихове.

Как предприимчивые новгородцы, когда-то продвигавшиеся на восток, — а из них не каждый-то и топор имел, — осели и закрепились на необозримых пространствах от Волхова до Урала, среди лесных, на пенек молившихся людей племени чуди белоглазой, — так и Александр Баранов, с горсточкой подобных себе по труду и духу русских добытчиков и землепроходцев, сумел осуществить наполнявшие жизнь Григория Шелихова планы освоения чудесной земли северо-западной Америки.

Через десять лет деятельности Баранова в Америке северное Эльдorado Нового Света было закреплено за Россией. От предельной точки в земле каклигмютов — эскимосов — за Полярным кругом, названной позже мысом Барроу, до пролива Кайганы под 54° северной широты на юге простиралась русская Америка. Позже Баранов продвинулся еще на пятнадцать градусов к югу, в область апельсиновых рощ нынешней Калифорнии.

¹ Население онежского Залесья.

Хотя где-то вверху сияло выбравшееся из туч солнце, сумрак у подножия великанов первобытного леса был густ. Баранов шел с открытой головой. Он был лыс, и лысина его, окаймленная по краям косицами спадавших к шее мягких льняных волос, белела в сумраке леса. Черный суконный картуз с высокой тульей Баранов нес в руке.

Внешность Баранова, человека, перевалившего уже за пятьдесят лет, вызывала суеверный страх и изумление среди его краснокожих врагов. Небольшая и некогда стройная фигура с годами осела и раздалась вширь. Голая, бугристая, будто высеченная из полированной мамонтовой кости голова на сутулых плечах, бескровное белое лицо с набрякшими веками, зеленоватые, с золотой искрой глаза, пронзительного взгляда которых не выдерживали даже индейцы, умевшие встречать, не отводя глаз, конец направленного в их грудь копья, — таков был внешний облик великого русского тойдона, спокойно пробиравшегося сейчас по медвежьим тропам ледника Тауансы.

После одного из особенно замысловатых поворотов Демида в сторону, казалось бы совершенно противоположную цели их движения, Баранов пытливо уставил взгляд в спину передовщика и спокойно, не останавливаясь, спросил:

— А не сбились ли мы, однако, Демид Софроныч, с курса? Мне, как я околиц Нучека еще не знаю, кажется...

— В самый раз вышли... Глядите! — с оправданным промедлением, пройдя еще сотню шагов, отозвался Куликалов и показал на воды залива между поредевшими деревьями, забеленные пенными барашками сулоя. Что-то отеческое было во взгляде Баранова, которым он окинул могучую фигуру следопыта, когда тот отодвинулся в сторону, чтобы пропустить начальника вперед. И от этого взгляда на сердце Демида стало легко — Баранов верил ему.

Лес, покрывавший широкое русло ледяной реки, кончился. Береговая морена, усеянная галькой и камнем, перемолотым когда-то льдами, переходила в холмистую равнину, и равнина эта отлого спускалась к во-

дам залива. Далеко, за выпуклой линией горизонта над океаном, садилось солнце. Над венчиками цветов на опушке леса, с неуловимым по быстроте трепетом крошечных крыл, порхали, как бы подвешенные в воздухе, вперемежку со шмелями, крохотные, величиной с ноготь мизинца, пичужки «кун». Тонкими и длинными клювами наподобие ложечки «кун» — колибри — пили соки цветов диковинной страны, и Баранов, впервые встретивший их в этой разведочной поездке, с восхищением следил за порхающими серенькими «камышками». Он знал, что в иные теплые лета эти пичужки поднимаются на побережье Южной Аляски до 60° северной широты.

— Каких только чудес не покажет страннику натура! — вздохнул Александр Андреевич, присаживаясь на плоский, обкатанный льдами валун. — До табора час ходьбы, передохнем немного, и насчет корабля, что к нам идет, хочу вас, други мои, попередить, поелику вы оба не только мои помощники, но и самостоятельные начальники над людьми, вам от компании доверенными. Придется встречать гостя, и кто знает, кому после встречи жить останется...

Баранов умолк и вперился через подзорную трубу в предвечернюю дымку над океаном, уже укрывшую чужой и враждебный флаг.

Ничего там не обнаружив, правитель все же принял решение не отступать перед вражеской силой.

— Доберемся до табора, — выдержав внушительную паузу, сказал Баранов, — вы оба, каждый по своим концам, прикажете разбросать костры и перенести шалаши в лес. Байдары туда же с берега уберете. Избы, что на месте крепости срублены, палисад и рогатки схороните деревьями и ветками. Текомбаеву и Кашеварову с подручными пушкарями неотлучно быть при единорогах и фальконетах. Огней не зажигать. Всех людей к бою изготовить, но не говорить, кого ждем, а вам скажу...

Баранов вытащил из кармана сюртука толстую пачку бумаг, развернул нужный лист и многозначительно произнес:

— «Секретнейшее»! — правитель поднял палец,

подчеркивая серьезность момента. — «Шведский король умыслил...» А это значит, что мы снова воюем со шведами! — пояснил Баранов, как природный онежанин резко напирая на «о». — «...умыслил разорить российские владения в Америке. На сие дело подговорено под флагом арматора английского Кокса судно «Меркурий» с четырнадцатью пушками, обшитое медью. Опознать можно через изображение Меркурия на корме. В команде Коксовой тридцать отборных английских головорезов и с ними дикие канаки с Сандвичевых островов, сколько набрать смог... Канаки те приобычны питаться человечиной, а оный Кокс и сам привычен, как пересказывают кантонские китайцы, кровь людскую, как воду, лить. Честь и достоинство державы российской возлагают на вас встретить достойным отпором наглого...» Встретим?! — уверенно спросил Баранов Пуртова и Демида, прерывая чтение доставленного Кусковым письма Шелихова.

Письмо перед выходом партий на промыслы Баранов получил на Кадьяке с прибывшим из Охотска судном «Три святителя». Не обнаруживая тогда перед людьми и признака тревоги, правитель неожиданно для всех переменял решение и соединил направлявшиеся в разные стороны партии Пуртова и Куликалова в одну огромную флотилию из трехсот байдар, с пятьюстами промышленных, объявив, что и он поплывет с ними, так как ему нужно лично ознакомиться с местами промысла в Чугацком заливе и далее к Якутату. По его соображениям, Кокс должен был появиться с юга, чтобы попытаться уничтожить партии, находящиеся на летних промыслах вдали от Кадьяка. В его расчеты, видимо, входило и уничтожение крепости Воскресенской, где строятся первые корабли российско-американского приватного флота.

Перед отплытием Баранов пригласил к себе прапорщика Чертовицына, посевшего на службе старого сибирского солдата. Поставил храброго служаку, бывшего в 1767 году под командой Суворова Берлин, перед образами и взял с него клятву не допустить высадки Кокса на Кадьяке. Баранов и сам был уверен, что крепости Павловской, куда он в прошлом году перенес

центр российских колоний в Америке из размытой и затопляемой приливами Трехсвятительской гавани, Коксу никак не одолеть. Высокое положение над морем на гранитных утесах и двадцать фальконетов и единорогов, оставленных еще Шелиховым, придется не по зубам английскому пирату и его людоедам.

— Господин прапорщик, — торжественно заключил правитель свою беседу с начальником Кадьякского гарнизона, — не я, — что я в деле сем значу! — Россия защиты от вас требует... Да не посраимся!

— Не сумлевайтесь, Александр Андреевич, костью ляжем, а на берег англичанцев не пустим! Вот ежели в море... Только что же он в море нам сделает? Стоит, прохарчится и уйдет... Благодарим на доверии! — церемонно раскланялся прапорщик Чертовицын, принимая из рук правителя поднесенную на прощание кружку неразведенного спирта.

Думая о завтрашней встрече и неизбежном бое с шведским капером, правитель вспоминал старика Чертовицына и самое важное — центр русской Америки, селение Павловское, в северо-восточном углу Кадьяка, оставленное на Чертовицына под защитой старых плохоньких пушчонок. Вспоминал свой ладный и внушительный — с моря прямо в глаза кидается — дом правителя, в который всего год как перебрался после двух лет жизни в палатках и под открытым небом. В доме хранились все дела и документы компании, счета и денежный сундук... «На берег Чертовицын Кокса не допустит, а сжечь дом и все селение чем воспрепятствует? Пушки Коксовы, наверно, вдвое дальше наших быют... Мне бы Кокса на Кадьяке ждать! А теперь... теперь здесь надо Кокса кончать», — думал Баранов, ничем не выдавая охватившей его тревоги. Он искал выхода и спасения от представившейся ему опасности.

Отступления перед трудностями и опасностью Баранов не допускал. Годы кочевой торговли среди воинственных чукчей и коряков на крайнем севере Сибири и на Камчатке, а особенно последние три года жизни в Америке, краснокожие жители которой с необыкновенной легкостью решались на пролитие чужой и своей

крови, приучили Баранова силой или хитростью добиваться победы. На войне все средства хороши, но воевать надо с умом.

— Придется, други мои, — начал Баранов, — попытать счастья самого Кокса захватить, а для этого дела один ты, Демид Софронич, подходишь...

— Всегда Демиду место и честь, — недовольно про бурчал Пуртов, предполагая, что правитель намерен взять судно пирата на abordаж. — А кому же, как не мне, с Мелкуром этим рассчитаться за пограбление и наручники? — продолжал недовольно ворчать Пуртов, помня о своей встрече с арматором Коксом года три назад. Тогда эта встреча благодаря находчивости и удалству купеческого сына Пуртова закончилась посрамлением наглого арматора.

— В-во, через то, что ты Кокса боксой уже угощал, через это самое для моего замысла непригоден. Он тебя враз признает! И бородину твою, Егор, жалко для Кокса брить, — пошутил правитель, восхищенный в душе недовольством Пуртова. — Ты ему на берегу объявишься и в наручники возьмешь... Только смотри у меня, грудью не кидаться, удалства не показывать!

Баранов помолчал, как бы еще раз прикидывая в уме шансы задуманного предприятия, и высказался затем с обычной прямоотой, не преуменьшая риска и опасности:

— Индейская хитрость! Пятьдесят лет назад капитан-командор Алексей Ильич Чириков, что плавал с Витусом Берингом, достиг Ситхи на пакетботе «Святой Павел»... Ну, тамошние индейцы, прозываются они ко́лошами, выслали переговорщиков о дружбе и торговле, чтобы на берег выманить. Чириков, — он тогда был хворый, сохранил его господа! — сам не поехал, послал штурмана Дементьева о семнадцати матрозов... Все и сгинули, ни один не вернулся! За науку мы платили, попробуем науку себе в пользу обернуть. Станет Кокс на якорь, ты, Демид, с американцами своими, растолковав все как надо, к нему поплывешь. Ты пятнадцать лет с индейцами прожил, цокотать по-индейски умеешь, повадки их все знаешь, лицо и глаза у тебя подходящие... Борода вот, невиданная у индейцев бо-

рода твоя, Демид Софроныч! Не испортила бы она нам обедни, — с сомнением глядел правитель на окладистую, черную, чуть посеребренную бороду Куликалова.

— А ты, Александр Андреевич, лицо мне выголи, как себя, видел я, перед зеркалом что ни день голишь, — на минутку не задумавшись, просто ответил Демид. — Да я еще красками лицо распишу...

— Тогда комар носа не подточит! — успокоился Баранов. — Я бы сам за тойона индейского на Коксов корабль поехал, однако не гожусь — говорить не могу и, как меня красками американскими ни вымарай, подшерсток выдаст... У Кокса глаз, полагаю, острый! Взойдешь к нему на корабль, надели его бобрами, рому проси и на нас, на русских, ругайся, клепли чего хочешь... Просись к нему в долю нас вырезать и к себе для заключения союза на берег зови, выманивай. Скажи, что мы редут за горами выстроили, обещаю за ружья и порох нас пожечь, только помощи его проси и жадность на грабеж показывай.... Кокс иначе об индейцах не понимает, на свой аршин меряет, как и все из них, кто сюда приходит. Уразумел меня, Демид?

Было решено: утром или днем, когда шведский капер станет на якорь, к нему на пяти-шести трехлучных байдарках поплывет Куликалов, в качестве вождя местных индейцев, с дарами и постарается выманить самого Кокса к себе в селение... Селище такое, якобы индейское, шалашей на двадцать — походный лагерь — надо поставить в ущелье, верстах в восьми от берега. На пути к нему будет засада. Если Кокс на первый раз не отважится лично сойти на берег, засада беспрепятственно пропустит его людей туда и обратно. В лагере этом их встретят индейцы, которых немало уже набравал в свою партию Куликалов, они примут дружелюбно, накормят, обдарят мехами из компанейского промысла и с миром отпустят, чтобы внушить доверие Коксу.

— Стой, однако! — хлопнул себя по лбу правитель. — С такого крючка Кокс не сорвется... Ежели вдругорядь ехать к нему, чтобы выманить, доведется, я дам тебе, Демид, мешочек... Есть такой у меня в лагере! Покажешь Коксу зернины золотые, скажешь,

что у себя в речке намыл, отдашь их за бутылку рома, как есть ты индеец глупой и простодушный. Золотого притяжения Кокс не выдержит — придет за смертью своей. За золото он людскую кровь льет, за него и своей заплатит.

Пуртов с восхищением принял план правителя. Демид Куликалов слушал молча, ничем не выдавая своих чувств, но в глазах его светилась тоска и отрешенность от интересов, волновавших русских добытчиков, и эту тоску не раз уже замечал в нем Баранов. «Александр Андреевич человека с первого взгляда как орех разгрызает», — говорили о Баранове те, кто сталкивался с ним, но даже умудренному острым чутьем на людей правителю Баранову Демид Куликалов казался человеком непонятным и загадочным.

2

В прошлом году осенью, когда Баранов в заложенной на южном берегу Кенайского полуострова крепости Воскресенской самолично, подавая пример работным, затесывал топором стволы цуги для домов и стапелей строившегося в Америке первого русского корабля, охрана лагеря привела к нему вышедшего из лесу человека.

Человек этот, в индейской одежде, с лицом, по цвету кожи неотличимым от выдубленной солнцем и ветрами кожи индейцев, внимательно разглядывал правителя. За широкой спиной человека стояла красивая девушка-подросток, совсем не похожая на индейку, и мальчик лет десяти, дичок красной расы.

— Ты будешь Баранов, кадьяцкий тойон касяков? — спросил правителя лесной человек чистым русским говором. — Я — Куликало... Демидом Куликаловым буду я, а это Анна и Николка... дочка и сын мои. Жена умерла... Я о тебе слышал, индейцы про тебя много рассказывают... Ну, я и вышел и Анну с Николкой с собою взял, — и Куликалов слегка подтолкнул вперед упиравшихся девушку и мальчика. — Повырастали они, крестить с попом, думаю, надо,

учить... русской они крови, мои детища... Принимаешь нас? Я зверя промыслять буду, индейцы все меня знают, если по правде живете — всех к тебе приведу...

— Что же, коль добрый человек, живи с нами, и детей твоих приютим и воспитать поможем, — спокойно и приветливо ответил Баранов лесному человеку, не подавая вида, как он обрадован его нечаянным появлением.

Провожая Баранова на трудный подвиг служения в Америке, Григорий Иванович Шелихов в последнюю минуту, сходя с поднимавших паруса «Трёх святителей», сказал ему о неведомом русском изгое, скрывшемся среди индейцев за снежными горами побережья. Индейцы зовут его Куликало и почитают как великого вождя и колдуна. «Из собственного моего плавания к кенайцам, расспроса аманатов и старовойжных, а равно и справок, наведенных в Охотском портовом журнале, можно думать, — говорил Григорий Иванович, — что человек этот — единственный уцелевший из промышленных людей полютовского шнитика «Иоанн Предтеча». Шнит этот бесследно исчез на путях в Америку лет пятнадцать назад».

«Беспрерывно разыщи, Александр Андреевич, Куликала этого, — наказывал в своих позднейших письмах Шелихов. — Такой человек, ежели он среди индейцев пятнадцать лет прожил и славу великую нажил, для нас есть клад бесценный либо камень, на котором споткнуться можем... Разыщи!»

Но как разыскать? В такой стране человека, что иголку в сене, искать, а он, глядь, сам объявился...

Правитель поселил Куликалова с дочкой и сыном в своей бараборе, чего никогда не делал. И позже, когда Куликалов, стеснявшийся постоянного обилия посетителей в правительском доме, ушел из него и поселился в крохотном, для себя срубленном шалашике, Баранов настоял, чтобы Анка с Николкой остались в управительском хозяйстве. Куликалов, которому буйство и вольные нравы промышленных не внушали доверия, был рад этому и платил правителю неутомимой и безупречной работой на промыслах и в

снoшениях с индейцами, крайне редко появляясь в конторе.

Правитель, хотя и был мужчиной в расцвете сил, жил одиноко и замкнуто. Всем хозяйством Баранова заправляла привезенная, как он говорил, «из России» древняя колымчанка Анфиса Ниловна Стадухина. Предки Стадухиной за полтора ста лет до описываемых событий успели побывать на Камчатке, Курилах и Сахалине. Память Анфисы Ниловны была живым хранилищем имен и подвигов теперь безвестных и позабытых добытчиков-землепроходцев, неутомимо раздвигавших пределы русской земли к манившему их восходу солнца...

Анка с Николкой, выросшие в условиях первобытной жизни, с детства умели ловить рыбу и добывать силками и стрелами мелкую пернатую и четвероногую дичь. Они стали деятельными помощниками Анфисы Ниловны по хозяйству, а от нее научились древним русским молитвам и буквам славянской псалтыри.

За несколько побывок Куликалова в Воскресенской крепости, а потом в Павловской гавани на Кадьяке Баранов узнал всю необыкновенную историю жизни этого человека и еще более утвердился в высоком мнении о великих жизнеустроительных качествах русского народа.

Лет пятнадцать назад, как раз в то время, когда настойчивый английский мореплаватель Джеймс Кук в 1778 году, убрав паруса на прославленном «Resolution»¹, дрейфовал на галсе Кенайского полуострова, борясь в открытом океане с затяжными в этих широтах осенними штормами, мимо его судна, принятый в надвигавшихся сумерках за кита, проскочил в залив трухлявый, потерявший мачту и паруса, едва видный над водою русский шнитик «Иоанн Предтеча».

Шнитик был отправлен из Охотска иркутскими купцами Очерединым и Полютовым для промысла морского зверя на Алеутских островах. Выряжая на скорую руку свою утлую, изъеденную морским червем посудину, богобоязненные купцы не хотели брать лиш-

¹ «Решительный».

ний грех на душу — слезы сирот и вдов — и потому вербовали команду из бессемейных ссыльных, не помнящих родства бродяг и беглых каторжников. Золотой песочек и спирт иркутского курения туманили глаза охотского коменданта полковника Козлова-Уг्रेпина и помогали купцам нарушать закон и некоторые формальности.

Беглому рудознатцу-чугунщику с Невьянского завода Евдокима Демидова Демиду Куликалову некуда было податься, когда он добрался до негостеприимных берегов Восточного океана, и, дав расписку Полютову служить верой и правдой пятилетний срок, он переиел на прогнившую палубу «Предтечи». В голове Демиды Куликалова носились обрывки рассказов о вольной и богатой стране Америке. Рассказы эти он слышал от пленных шведов, с которыми работал в мокрых штольнях Магнитной горы, куда был сослан за строптивость.

Суровый и дикий край, в котором Куликалов очутился, выбравшись на песок Кенайской губы с разбившегося на береговых камнях шнитика, оказался богатым и зверем и рыбой, но мало походил на разукрашенные воображением рассказы пленных шведов, заброшенных в демидовские рудники.

Индейцы-кенаи были мирно настроены, они накормили и приютили больных и обессиленных морем русских.

— Человек, как я сызмалу стал примечать, едва в силу войдет, душу теряет, — говорил Куликалов. — Полютовцы — их было двадцать три человека, — проживши сыто с пяток годков, одичали без хлеба и, почувяв свою силу в безвестном краю, начали огнем и железом покорять себе американцев, обращали вольных людей, как холопей своих... А тут объявился бостонских поселений китобоец Бенсон, в Кенаи он за китами заплывал. Ну, ворон ворону глаз не выклюнет...

— А выклюнет, так не вынесет. Говори, говори, я это так, к слову, припомнил, — поторопился Баранов восстановить прерванное повествование Демиды.

— Они и снюхались, и начали полютовцы вóронам залетным рухлядь, добытую и награбленную у индейцев, сбывать за порох, свинец, за ром. Мне при этих

делах довелось толмачом быть, язык я перенял мало-мало у демидовских пленных шведов. Но только когда они начали продавать Бенсону американских девок, поспорил я об такой торговле с передовщиком полютотевским Михеем Кобылиным... Розняли нас. Я в стороне от них начал жить, со своими ездовыми собаками, которых развел от тех, что с нами к берегу прибились. Псы, кроме меня, никого не слухали. До поры, кроме псов, и я нужный был.

Куликалов безговал жизнью товарищей. В душе созревало решение — при первом же удобном случае уйти, оторваться от хищного обличья всех доселе ему известных людей — и чтобы навсегда. Вскоре Демид убедился, что расхождение с товарищами зашло слишком далеко.

— Отдай мою шавот! — придя однажды к передовщику полютотцев страхолудному Михею Кобылину, сказал индеец-охотник с материка. У этого индейца укрывшиеся под его кровлей от зимней метели промышленные увели жену.

Индеец принес как выкуп связку бобровых шкур. Когда его поставили перед Кобылиным и обыскали, нашли за лазухой меховой рубашки нож.

— Меха — в амбар, а этого... — выразительно мигнул подручным людям Кобылин и налил себе кружку рому. Ненавистный Куликалову Евдоким Демидов так же издевался в Невьянске над попадавшими в его руки беззащитными людьми.

— Не дам убить! — неожиданно поднялся и заслонил собой индейца обычно молчаливый Демид. — Человек-ить, как и мы с тобой, он правды ищет...

— Пр-равды? В собачье мясо искрошу! — захрипел безносый и гугнивый Кобылин и схватился за нож.

Промышленные кинулись их разнимать и вытолкали потом за двери Демида и индейца. Куликалова они не любили, но уважали за навык в поковках, меткость в стрельбе и умение натаскивать ездовых собак. Куликалов знал, что Кобылин и ближайшие к нему люди, вроде зверобоя Хлюпки, ненавидят в нем молчаливого свидетеля их «подвигов» среди запуганных кенайцев и угалахмютов.

Когда Демид входил в свою избу, в которой второй год жил одиночкой в окружении своры только у него удержавшихся крупных волкоподобных ездовых псов белоглазого колымского помета, индеец остановился перед дверями, беспокожно оглядываясь по сторонам.

— Входи... Кусыысаге? Кутысева? Как зовут тебя? Куда пойдешь? Входи, обогрейся, — пригласил его Демид, усвоивший несколько десятков обиходных слов индейского языка.

В избе они говорили всю ночь, говорили долго и трудно: у обоих не хватало слов, но все же индеец и русский поняли друг друга, человек поверил человеку. На рассвете Куликалов застегнул постромки на собаках под двумя нартами — по семь на каждую, привязал к нартам мешки с продовольствием, порохом, свинцом для пуль и запасное ружье в меховом одеяле. Оглядел нарты, прощупал на груди огниво с кремнями, забросил за спину нарезную заряженную флинтку¹, подтянул кушак с заложенным за него топором и, легко присвистнув, поднял собак под первыми нартами. Индеец бежал на Демидовых лыжах около вторых нарт.

Подавшись на матерую землю, верст за триста на северо-восток от русского поселения, к озеру Кнытубян вблизи огнедышащей горы Логен, где никогда еще не ступала нога белого человека, Куликалов навсегда, как он тогда думал, простался с Россией, с родиной, с русскими людьми, а может быть, кто знает, и с жизнью.

Об индейцах рассказывали многие и многое. Говорили об их враждебном вероломстве, неискоренимой ненависти к белым, звероподобной жестокости, о непреодолимом влечении к кровопролитию и убийству. В отношении индейцев, вошедших в соприкосновение с белыми, обрушившими на них огонь и железо европейской цивилизации, все эти страшные рассказы в известной мере были достоверны. Однако даже знаменитое скальпирование не было чисто индейским изобретением. К индейцам северо-запада Америки оно

¹ Длинноствольное ружье.

проникло следом за факториями Гудзоновой компании и бостонскими купцами, установившими в поощрение самоистребления красных людей таксу на индейские скальпы, не гнушаясь ни детскими, ни женскими. Скальпы также находили сбыт среди снобов и любителей экзотики в метрополии и в больших городах Новой Англии.

Александр Андреевич каждый раз с большим интересом слушал рассказы Куликалова об истории его жизни. От этого русского траппера он немало почерпнул полезных сведений. Сведения эти в известной степени помогли первому правителю русской Америки осуществить с ничтожно малыми средствами дело гигантского масштаба, начатое Григорием Шелиховым, — дело не понятое и не оцененное никем из современников в своем значении для будущего родины.

Куликалов, которому не нужны были земли, где охотились индейцы и где стояли их бедные жила, нашел среди них мир и дружбу. Не уводя к себе индейских женщин и девушек в наложницы, но взяв одну из них и соединившись с нею по обычаю племени, заботясь о ней и прижитых детях, как подобает мужчине, Демид заслужил их любовь и доверие.

— Кускехан кикадтуют тлинкит! Русский — добрый человек, — сказали индейцы.

Позже, когда Демид сумел показать диким и бедным охотникам умение и навыки русского мужика и мастерового человека уральских заводов — срубить язбу, завести при ней малинник и огород с диким луком и чесноком, сработать булатные ножи и индейские топорики-томагавки, — а руда в этом крае выпирала из земли прямо под ноги, — его имя туземцы окружили суеверным почетом, каким окружают лишь великих айкау — начальников и иаргижей — колдунов.

Ездовые колымские псы, на которых Демид появился среди индейцев, — они называли этих псов «куч» — Волки, в отличие от бродивших около их жилищ и частенько шедших на мясо полуприрученных мелких собак «кетль», — очеловечили, если так можно говорить о собаках, безлюдные просторы внутренней Аляски и стали признаком силы и достатка индейского

жилья. Такие же белые люди, но другого норова, сменившие на Аляске затерявшихся в глубине времен русских, мало способствовали дальнейшему процветанию и увеличению числа индейских хижин. Около золота, обогащавшего белых, красные люди неудержимо вымирали и вымирают...

Имя Демидо докатилось до передовых факторий Гудзоновой компании на Востоке. Компания прислала к анкау Куликало лазутчика, французского метиса, с предложением перейти к ней на службу. Ответ Куликалова о том, что «русские красные люди — Демид уже считал индейцев русскими — не хотят торговать с вами», не дошел до Гудзоновой компании: на обратном пути метис безвестно исчез. Кто бы ни убил его, но Гудзонова компания, готовая, по обыкновению, во всем обвинять русских, в своем отчете английскому парламенту убийство ее траппера приписала «русским разбойникам», появившимся на далеком Западе.

За годы, протекшие со дня ухода Куликалова в глубь материка, буйная полютовская ватага исчезла с лица земли. В Охотске и Иркутске никто толком не знал, что с ними произошло, и только высадка Шелихова в 1785 году в Кенайском заливе пролила некоторый свет на загадочные обстоятельства гибели «Предтечи» и его людей. Шелихов тогда еще старался найти объяснение, почему его и алеута Василия с таким враждебным молчанием встретили кенайцы, предупредившие, что некий Куликало не велел убивать русских, но запретил пускать их в кенайские земли. А еще позже от индейцев Шелихов услышал о живущем в глубине страны великом и справедливом русском анкау и могущественном иаргиже Куликало, который отрекся от своих преступных собратьев по коже и, так как «шэ» — кровь — у всех людей одна, поселился среди обижаемых индейцев.

О прошлом Куликалова, еще до встречи с ним, Баранов узнал также из расспросов индейцев.

— Куликало, — говорили они, — под страхом смерти запретил злему Кобылю углубляться в страну более чем на два перехода, и когда Кобыль все же пришел к нам, мы окружили под покровом темноты

их ночлег и перебили ездовых собак. Тогда они испугались и вернулись на берег...

— А людей когда вы зарезали? — допытывался у американцев научившийся добираться до их мыслей правитель.

— Куликало запретил нам их резать, и мы его слушали, — рассказывали индейцы, — но за нас отомстила Черная Смерть¹... Убивая нас, она убила злых касяков и наших женщин, что были с ними, и детей от них, а трех, которые отбились от Черной, задавил голод и цынга. Мы не хотели спасать им жизнь, чтобы они снова начали убивать нас.

Повесть пятнадцатилетней жизни среди индейцев Куликалов закончил в один из своих приходов рассказом, как растил он своих детей после смерти жены, огненноглазой Анки, имя которой носила его дочь.

— Без попа окрестил я дочку по матери Анкой — Анной по-нашему... Матка от оспы умерла, когда малой Анке лет десять всего было. Николка на ее руках вырос. Понятливая она, русской крови... «Каиш — отец, говорит, когда мы к своим пойдем?» Вот я и пришел! — Демид пытливо глядел на правителя, точно ждал одобрения собственному неожиданному решению уйти из облюбованной им жизни, отказаться от завоеванной свободы ради будущей судьбы своих детей.

— Правильно сделал, Демид Софроныч! Негоже человеку зверем лесным жить. Земля американская благодатная, мы населим ее, промыслы заведем, дети наши хозяевами в ней будут... Жена твоя от оспы померла, а я Анке и Николке оспу прищеплю собственноручно², страха смерти и уродства да не имут... За этим одним прийти надо было! — убежденно говорил Баранов, видя встревоженность Демиды, не понимавшего еще пользы оспенной прививки.

Черноглазая Анка и шустрый Николка, зная родной язык русского отца, с величайшим рвением на-

¹ Так индейцы северо-западной Америки называли оспу, приносящую к ним с юга на кораблях испанцев.

² Баранов собственноручно делал противооспennые прививки присланной из России вакциной.

учали Александра Андреевича и материнскому своему, индейскому языку.

Баранов учил их русской грамоте, арифметике, раз-
вертывал перед жадным умственным взором лесных
жителей правду чудесной науки географии.

К урокам этим, наполнившим его дом весельем
и уютом молодости, правитель относился с большим
прилежанием и шутливой серьезностью.

В суровую, одинокую жизнь Баранова, человека
пожилых лет и трезвого рассудка, с Анкой вошло что-
то новое и непонятное, в чем решительный и строгий
правитель не хотел признаваться себе самому. В моло-
дости Александр Андреевич потерпел какое-то никому
неведомое крушение и разочарование в семейной жиз-
ни, оставил жену с двумя детьми в Каргополе и, посы-
лая им время от времени деньги, никогда о них в раз-
говоре не вспоминал. В дальнейшей жизни Баранова
интерес к женскому полу был навсегда, казалось, ис-
ключен.

Готовясь к завтрашней встрече с свирепым наемни-
ком Швеции, в которой русские люди того времени ви-
дели едва ли не главного противника своим стремле-
ниям к выходу на морские просторы вселенной, Бара-
нов решил поручить выполнение опаснейшей и самой
трудной части своего плана Куликалову. Правитель
крепко верил, что хищная акула Кокс, а его, если
судить по письму Шелихова, знают и в Петербурге, не
уйдет на этот раз безнаказанным. Славу же и награ-
ду за поимку Кокса он предоставит Куликалову.

«Обелится человек от всего начисто, — рассуждал
мысленно Баранов. — Все недоимки сложат с Деми-
да. Выйдет из беглых крепостных в вольные люди,
и не нужно будет в американских лесах хорониться.
Дети Николка и Анка вольными станут, никто их не
обидит. И мне сподручнее будет...» И тут же, от-
гоняя все чаще закрадывавшуюся в его душу неясную
мысль о своей и Анкиной судьбе, правитель встал и
решительно закончил вслух:

— Пошли, начальники? Утро вечера мудренее,
а нам еще немало чего изготовить нужно...

Когда правитель с Демидом и Пуртовым в поздних сумерках подходили к лагерю, огни костров, к великому удовольствию Баранова, оказались потушены. В темноте ночи нельзя было догадаться о присутствии людей на берегу.

— Кто же так ко времени догадлив был? — невольно вырвалось у Баранова.

— Я присоветовал, Александр Андреевич, когда мы с тобой вчера на ледяную реку уходили, не жечь без нас костров, не манить случайных, — скромно отозвался Куликалов.

Баранов облегченно вздохнул: он боялся, что ночные костры на берегу усилят подозрения и осторожность пирата.

В лагере их окружили промышленные, в большинстве алеуты с Кадьяка и дальних островов. Люди были чем-то изволнованы и встревожены. Все объяснилось, когда из толпы выступил кадьяцкий тойон, толстый, почти квадратный, заплывший жиром человек с острыми и хитрыми глазами. За постоянную удачу в охоте на китов и сивучей и обжорство, в чем тойон не имел себе равных, он носил среди соплеменников почетное имя Лур-кай-ю — Большое Брюхо, но охотно откликался и на русское имя Лаврентий.

— Чужая байдара, инглич байдара под большими парусами идет в Нучек! — размахивая руками и приседая до земли от волнения, сообщил тойон правителю. — Я первый ее увидел, — я получаю за это бутылку...

Баранов еще раз подивился зрению своих морских охотников, увидевших с низкого берега корабль на горизонте, который он видел с ледяного мыса Тауансы через подзорную трубу. Но великому тойону русских не пристало выказывать удивление.

— Я давно ждал эту байдару, Лаврентий, и Демид нашел ее в море, когда солнце стояло в головах у нас, но ты тоже ее увидел, и ты получишь штоф водки за то, что увидел врага! — спокойно ответил правитель и добавил: — Это англичец Кокс. Он три раза был на

Уналашке, три раза обманывал вас и отнимал меха и пищу, отнимал самых красивых девок... Завтра мы на него клепцы¹ поставим и отнимем, что у вас пограбил, я помочь дам!

— Отнимем! Очень хорошо! Спасибо, Александр Андреевич! — радостно закивал головой Лур-кай-ю, а за ним все его сородичи. — Но... это не Кокс... байдару Кокса мы запомнили навсегда, мы узнаем ее даже в снах, если встречаем. Но это такой же инглич, как и Кокс, пусть этот инглич заплатит за Кокса!

— Завтра разберемся, — подумав немного, решительно сказал правитель. — С Кокса все спросим, если же не он — пальцем не трогать... Когда твои родичи, Лаврентий, убили на островах двух русских, разве я заставил тебя платить? Я разыскал чакутов² и наказал их. Мы наказываем того, кто преступает законы! А сейчас собери десятников и приходи с ними ко мне.

Большое Брюхо недаром носил на груди полуфунтовую блестящую медную медаль «Союзный русским», — он знал, что приказание Баранова можно только исполнять, но не оспаривать.

Всю ночь в лагере кипело бесшумное движение. На плечах людей байдары легко уплыли в лес, но перенести большой парусный бот правителя стоило немалых усилий. Избы в центре лагеря были непроницаемо замаскированы срубленными деревьями и ветками. В отдаленном от берега узком ущелье между нависших над ручьем скал за ночь выросло «селение» анкау Куликало, в которое предстояло заманить Кокса. В камнях среди кустарника были установлены заряженные на картечь два единорога и залегли люди засады, там же находился и наблюдательный пост правителя. Если Кокс будет взят, а его головорезы откажутся сложить оружие — командиром засады был оставлен Пуртов, — пушчонки и ружья откроют перекрестный огонь.

Наступившее утро принесло радость и одновременно разочарование. В двадцати примерно кабельтовых

¹ Капкан.

² Убийц (алеут.).

от берега на якорях стоял, убрав паруса, стройный фрегат. Он развернулся бортом по берегу, на борту зияли черными зевами пушки, но блестящей медной обшивки, бросавшейся в глаза на коксовском «Меркурии», борт этого фрегата не имел. Фок-мачта на носу корабля наполовину была снесена.

— Видишь теперь, я говорил, что это не Коксова байдара? — шептал Лур-кай-ю правителю, наблюдавшему из зарослей прибрежного леса чужой корабль в подзорную трубу. — А где голый человек, которого Кокс подвесил под кормой? Я вчера видел, что его нет у брата Кокса, — хвастал своим зрением и сообразительностью Большое Брюхо.

— Вот ты и поедешь на корабль спросить о здоровье Коксова брата, — отмахнулся от него правитель, как от звенящего над ухом комара. Плыть первым на неизвестный корабль Лур-кай-ю вовсе не хотел и поэтому не замедлил исчезнуть из поля зрения правителя.

Из своего зеленого укрытия Баранов видел через подзорную трубу, что люди на корабле через такие же подзорные трубы наблюдают за берегом. Уверившись наконец, не без чувства досады, что судьба в этот раз не дала ему помериться силами с шведским капером, правитель решил узнать, кто стоит перед ним: друг или враг.

— Глядел бычок на пенек, думал — волк... Придется, однако, Демид Софроныч, тебе на корабль сплавать, разведать, кто и с чем к нам в гости пожаловал. Возьми белый флажок, махай флажком и возьми с собой из наших, кто русским обличем повиднее, да этого рыжего, Джима Ларкина, что с китобоя у нас остался, ирландца. Он англиченцев страсть не любит, а лопотать по-ихнему и по-нашенски может. Этот не продаст нас, чаю, но ты смекай... Ежели честный купецкий корабль, про меня объявишь: здесь, мол, главный управитель российской Америки обретается и с добрыми людьми рад будет встретиться.

— Соображу, Александр Андреевич! — коротко заключил Куликалов пространную инструкцию правителя.

Баранов появился на берегу вместе с людьми, вы-

несшими бот и несколько байдар из лесу. Усевшись с подзорной трубой на камне, он наблюдал, с каким интересом отнеслись к их появлению на берегу люди корабля. Видел, как, размахивая шляпами, они приветствовали остановившиеся у трапа байдары Демида. У трапа появился высокий человек в черном камзоле и тоже помахал снятой шляпой. После недолгого и, надо думать, дружеского разговора барановские посланцы, все до одного, привязав байдары к концам трапа, взобрались на корабль и стояли на палубе, окруженные толпой чужеземцев: Куликалов, бородастый Медведкин, рыжий ирландец Ларкин, рядом с ним смелый кадьяцкий креол — гарпунщик и толмач Кашеваров.

Потом все исчезли. «В каюту к капитану или в трюм сошли на угощение», — с некоторой тревогой, но ничем не выдавая ее, подумал Александр Андреевич. Правитель сидел на камне, окруженный, сам того не замечая, толпой вышедших из лесу людей. Наконец, после часа томительного ожидания, барановские посланцы снова показались на палубе корабля, спустились по трапу в байдары и, отплыв чуть-чуть, остановились как будто в ожидании.

Через минуту с борта фрегата была спущена шлюпка, в нее соскочило несколько человек матросов и по трапу спустился человек в черном камзоле, очевидно капитан корабля.

Правитель стоял у кромки воды, встречая прибывших гостей.

— О'Мор, арматор энд кептэн «Феникса»! — называл себя человек в черном камзоле, крепко пожимая руку Баранова. — О, я много слышал о вас, мистер Баранов, и рад случаю пожать вашу руку.

— Ларкин, переведи все, что говорит господин арматор, и не отходи от нас. Спроси, как здоровье, как плавание протекало, в чем нуждаются славные мореходцы, долго ли пробыть у нас намерены, — откинув привычную сдержанность, радушно говорил правитель.

О'Мор сразу понравился Баранову. Отвага, открытое лицо и прямой взгляд ирландца, съехавшего на берег по доверию к имени и репутации Баранова, под-

купили правителя, обычно сурового и осторожного в сношениях с иностранцами. Ирландец, не таясь, открыл причину своего появления в водах Аляски: Ост-Индская компания решила конкурировать с «гудзонцами», найти собственные области китобойного промысла и добычи мехов. О'Мор со своим судном стал на службу компании и прибыл на Аляску для разведки. Он надеется, что места здесь хватит на всех...

— Ларкин, передай господину арматору, что до острова Нутка простираются земли российского владения и промыслы иностранцам в прилегающих водах без дозволения российского правительства запрещены! — соблюдая отечественный интерес, твердо объявил правитель ирландцу.

Баранов не кривил душой. Как раз весной этого, 1793 года, недели за две до выхода байдарочного флота на летние промыслы, он, исполняя распоряжение Шелихова, выслал судно на разведку и занятие побережья Америки к югу, по возможности до острова Нутки под 48—50° северной широты. Александр Андреевич твердо верил, что «Св. Симеон» с опытным и удачливым шкипером Измайловым выполнит возложенную на него задачу, а ему, если придется когда-либо еще встретиться с Мором, не придется краснеть за неудачное предвосхищение событий.

— О, мы не поссоримся с вами, господин Баранов. Наши компании найдут общий язык и договорятся о взаимной выгоде, — без раздражения и вызова принял ирландец предупреждение правителя. — Я не принадлежу к таким людям, как Кокс... Он, правда, англичанин, а ирландцы и англичане по-разному относятся к правам народов. Кстати, могу сообщить вам еще одну новость: Кокс умер месяц назад в Макао от желтой лихорадки, в разгаре приготовлений к какой-то большой экспедиции. Доверенный Ост-Индской компании достопочтенный Макинтош был удивлен количеством понадобившихся Коксу огнестрельных запасов и ядер и взял с меня слово...

— Умер? — скрывая радость миновавшей опасности, перебил собеседника правитель. — Сподобил господь и Кокса сделать доброе дело. В сих местах...

Однако соловья баснями не кормят — прошу, господин арматор, препожаловать на лоне земли российских владений откусать чем бог послал.

Правитель с прибывшими гостями и своими ближайшими помощниками расположился у подножия нескольких чуть ли не к самому берегу океана вырвавшихся из лесной чащи исполинских лиственниц. Люди возлежали на медвежьих, оленьих и котиковых шкурах. На огне костров жарилось оленьё и медвежье мясо, пеклась рыба и готовилась традиционная русская уха, в которую было брошено целиком несколько тушек жирной чавычи¹.

— Егорушка! — скомандовал Баранов и, как бы подсчитывая что-то в уме, оглядел гостей. — Принеси самогонной бочонка три и с ромом ямайским анкерок махонький для гостей... Все, видно, во здоровье их выпить хотят!

Через полчаса, с трудом пробравшись через густую толпу алеутов и индейцев, окруживших стан правителя, — О'Мор насчитал их около пятисот человек, — появился Пуртов с четырьмя промышленными, несшими на дюжих плечах три бочонка живительной влаги собственного, Александра Андреевича, курения, ведра на четыре-пять каждый, и такой же бочонок ямайского рома, предназначенный для гостей.

Лица алеутов и индейцев, раскрашенные в ожидании боя черной и голубой краской, казались вдвое свирепее и страшнее от чудовищных гримас радости, возбужденной предстоящим угощением. О'Мор и его люди разглядывали их с любопытством и скрытой опаской.

Бочонки с водкой были установлены на мгновенно связанных козлах. Рядом на камнях разложили зажаренные туши оленей и горных баранов. У мяса стоял Куликалов с ножом в руке. Пуртов с оловянной кружкой вместимостью в четверть кварты встал у бочонка, держа в руке наполненное водкой ведро.

— Здоровье наших друзей и на погибель врагам! — вставая, провозгласил правитель тост, осушил единым

¹ Рыба из породы лососевых.

духом кружку рому и, наполнив ее снова, передал О'Мору, пуская в круговую. — А вы, братцы, пейте, закусите и по местам, за работу, чтоб до вечера ша-лаши были на месте, байдары на берегу!

Алеуты и индейцы целым родом или семьей двигались цепочкой, в затылок друг другу, задерживаясь лишь на мгновение перед Пуртовым, чтобы опорожнить кружку драгоценной влаги и подхватить на ходу закуску — кусок мяса из рук Демида, с непостижимой быстротой работавшего ножом. Выпив водку, они рвали зубами жесткое, недожаренное мясо и уходили в сторону, уступая место у бочонка другим.

— Поспешай! Поспешай! — поторапливал Большое Брюхо соотечественников, важно сидя на шкуре вблизи правителя — Лур-кай-ю всегда в почете! — с несколькими другими индейскими и алеутскими старшинами. — Байдары осторожно несите, не распорите кожу сучками! — И косился, слышит ли его заботу правитель.

За двадцать пять лет скитаний по морям вселенной Мор не видел ничего подобного: среди нескольких сот проходивших перед ним американских дикарей, вооруженных копьями, а иногда и ружьями, он насчитал не более тридцати русских.

— Я много раз бывал у источников богатств Британии и Португалии, — не замедлил высказать ирландец Баранову свое удивление, — на Перцовом, Слоновом, Золотом и Невольничьем берегах африканской Гвинеи... Нет, нет, я приходил туда не за неграми! — поспешил он добавить, заметив внимательный взгляд Баранова. — Но негров я видел там только в цепях рабства. Я как пять своих пальцев знаю острова Нидерландской Ост-Индии, где голые даяки, скованные единой цепью, обрабатывают плантации сахарного тростника голландцев. Я трижды посетил славный город Бостон, столицу американской республики. В нем пять типографий, и они день и ночь печатают книги, но там... там, кто проведет индейца внутрь Коннектикута, платит штраф в сто фунтов стерлингов, кто даст индейцу приют у себя — за каждый час вносит по четыре шиллинга, продавший краснокожему ружье штрафуется

на десять фунтов, за меру же водки — сорок шиллингов...

— Бостонцы служат единому Маммоне, — ответил Баранов, угалывая в ирландце фанатичного католика и человека, недовольного квакерской нетерпимостью граждан американской республики. — Они, слышал я, выгоняют из города католических духовных, а ежели изгнанный еще появится — смертью карают.

— Бостонцы — те же англичане! — с горечью заключил О'Мор. — Свобода и права существуют только для них, другим они не нужны... Позволю себе надеяться, господин губернатор, что вы поможете мне заменить сломанную мачту, запастись водой и провизией на обратный путь хотя бы до Макао? На судне есть много товаров — вы посетите меня завтра? — что-нибудь из них пригодится и вам...

— Ладно, господин арматор, придумаем, как помочь вам! — просто ответил правитель, который и сам испытывал немалые затруднения в прокормлении своего отряда. — Пока суд да дело, я дам свежей рыбы...

Запасы пресной воды на парусных судах были всегда предметом больших забот капитана, а запастись провизией у безлюдных берегов американского северо-запада случайно попавшему туда кораблю было и того труднее, почти невозможно из-за враждебности воинственных и свирепых индейцев, живших на побережье. Помочь храброму и честному мореходу правитель считал для себя делом чести и немалых выгод для русских интересов, когда завяжутся торговые связи с могущественной Ост-Индской компанией.

Перед закатом солнца О'Мор направился на свое судно. Его провожало несколько байдар, груженных мясом и рыбой. На судне, стоявшем в заливе без единого огня, и в затихшем русском лагере на берегу люди долго следили за беспокойными яркими сполохами зарниц на далеком севере. Но ночь, американская дикая ночь, прошла спокойно, ничем не выдав затаившейся в ее мраке вражды к самоуверенным пришельцам.

Подымаясь с востока, солнце поздно появилось из-за высоких гор побережья. С первыми лучами, упав-

шими на воды океана, Баранов стал собираться с от-
ветным визитом на «Феникс».

Перед отъездом он подозвал Куликалова и поручил ему с отрядом стрелков, обслуживавших питание флотилии, набить десятка два-три оленей и горных баранов, заготовить солонину для отправки на корабль. Лур-кай-ю получил приказание наловить и завялить пудов сто палтусины. Пуртов был оставлен начальником лагеря. Он должен был найти, срубить и доставить на берег дерево для мачты.

Когда бот правителя подплывал к «Фениксу», двадцать четыре пушки с обоих бортов фрегата дали залп... «Измена! Чище Кокса сработал!» — подумал ошеломленный неожиданностью Баранов и тут же до замешательства устыдился своей мысли, когда увидел на шканцах знакомую фигуру в черном камзоле. О'Мор приветливо махал шляпой. С кормы на бизань побежал, разворачиваясь по ветру, большой флаг Ост-Индской компании, а следом серебристый вымпел с родовым гербом владельца судна эсквайра О'Мор.

— Господин губернатор, вы у себя дома! — приветствовал поднявшегося на палубу Баранова ирландец. — Через год кончается мой контракт с Ост-Индской компанией, и я, если пожелаете, в вашем распоряжении...

— Франц Лефорт и Патрик Гордон были первыми генералами у великого государя Петра Алексеевича, Витус Беринг справедливо разделяет славу открывателя сих мест соизместно с Алексеем Чириковым. Вам найдется много дела, господин арматор, на службе российской, — уверенно ответил на приветствия Баранов, мгновенно оценив выгоды привлечения на службу российской купеческой компании такого смелого и знающего морехода.

Черный пес ростом с доброго теленка, с курчавой короткой шерстью, стоял около О'Мора и своими желтыми дикими глазами недружелюбно глядел на появившихся незнакомых людей. Когда кто-нибудь из них слишком близко подходил к хозяину, пес в беззвучном оскале клыков порывался вперед.

— Аши, Саргач! — каждый раз останавливал пса О'Мор.

— Свирепый барбос, вот бы мне такого, — сказал Баранов и, поймав настороженный взгляд желтых глаз собаки, подошел к ней и положил руку на широкую голову. Собака отодвинулась, оскалив зубы, но не укусила протянутой руки.

— О-о! — удивленно воскликнул О'Мор. — Первый раз вижу, чтобы Саргач безнаказанно позволил чужому человеку погладить себя... Я готов с радостью презентовать его вам, господин губернатор! Он плохо переносит море и не ладит на судне ни с кем, кроме меня и Чандры.

— Приму с охотой, — отвечал через Ларкина Баранов. — В моей жизни такой друг сгодится!

После осмотра судна, блиставшего чистотой и порядком, откушав в каюте арматора черного кофе с ромом, Баранов съехал на берег. Куликалов, уходя со своими индейцами, предупредил правителя о необходимости соблюдать осторожность, так как охотники, ходившие накануне в лес за мясом для партии, заметили следы большого отряда немирных индейцев колошей, пробравшихся, возможно, от Якутата, но обнаружить их не смогли. У чугачей были старые счеты с колошами, и они имели все основания опасаться нечаянной встречи с кровными врагами. Отсутствие Измайлова, отправленного на юг вдоль побережья, также тревожило Баранова: по его расчетам «Симеон» давно должен был прибыть к условленной встрече в заливе Нучек.

Старый компанейский шкипер Измайлов юношей, лет двадцать пять назад, участвовал в камчатском мятеже Беньовского, и когда Беньовский, напористый авантюрист восемнадцатого века, добравшись до Мадагаскара, бросил соблазненных им людей ради того, чтобы стать царьком какого-то туземного племени, Измайлов пробрался во Францию. Во Франции через русского посланника князя Куракина выпросил себе помилование и вернулся в Россию. В России его простили, но отправили выслуживать прощение на Камчатку. На Камчатке Измайлов встретился с Шелихо-

вым, а тот принял постаревшего морского волка на службу компании. Баранов ценил опыт Измайлова, но неустанно корил его за приобретенную в былых скитаниях страсть к пьянству и, посылая в экспедиции, всегда побаивался новых «авантюр» беспокойного моряка.

По возвращении в лагерь, из которого в этот день высылали людей только на рыбную ловлю, — правитель не хотел обнаруживать пред иностранцами пушные богатства Нучека и его окрестностей: «не соблазнять, да не соблазнится», — Баранов выставил на ночь усиленные караулы и дважды до рассвета самолично проверял их. Но и эта ночь прошла спокойно. Стоявшим в караулах американцам казалось, что они слишком часто слышат хриплое карканье ворона и злое подвывание аляскинского волка. Однако правитель не склонен был поощрять мрачные опасения островитян, боявшихся и не любивших леса.

Глава вторая

1

Весь следующий день на фрегат доставляли воду. Набирать воду приходилось из ручья в полуверсте от лагеря, где она собиралась в естественном гранитном водоеме. Поэтому набирать и доставлять воду к берегу можно было только в небольших бочонках. На берегу ее переливали в тяжелые морские бочки корабля, бочки, укрепленные на байдарках, попарно связанных толстыми шестами, подвозили к «Фениксу» и там, поднимая талыми на палубу, скатывали в трюм. Алеуты, которые выдерживали без еды и питья по двое суток непрерывной гребли на байдарках в открытом океане, оказались совсем не приспособленными к такому труду. Приставленные к этому делу, они выполняли его медленно и неохотно.

— Скажите проворней капитану, что я приехал кофе пить! — весело кричал Баранов наблюдавшему за приемкой воды боцману, поднимаясь с неотлучным

при нем Ларкиным на палубу по трапу. — За барбоса калым привез! — улыбнулся он вышедшему навстречу О'Мору, передавая ему связку превосходных шкур морских котов. — А песика заберу перед уходом вашим в море, чтоб не скучал по старому хозяину.

— О, зачем же, господин губернатор... Вы слишком по-царски отдалили меня — собака хороша, но цены этих мехов не стоит! — благодарил Мор и увел правителя в каюту пить кофе.

Аравийское кофе, напиток по тем временам редкий, а на диком американском побережье и совсем неожиданный, подавал бесшумно двигавшийся высокий смуглый слуга в белом тюрбане.

— Вы колдун, господин губернатор, — сказал О'Мор, пододвигая Баранову замысловатую китайскую, в виде раскрытого лотоса, чашку с кофе и тонкогорлый медный малайский кувшин с густым пахучим ромом. — Живете среди вооруженных дикарей как будто у себя дома, покорили Саргача и приворожили Риг-Чандру... Чандра сказал мне, что он даже завидует доле Саргача. Чандра служит мне три года и едва ли три раза был наказан. Чандра порядочно говорит по-английски, отличный охотник, превосходно владеет парусами, но он — шудра и на своей родине, в знойной Бенгалии, принадлежит к касте неприкасаемых, самых несчастных и презираемых париев... У вас он надеется найти свободу и богатство, а золото везде дает возможность человеку возвыситься. Чандре — был случай — я обязан жизнью и, если он пожелает остаться у вас, не могу отказать...

— Вот-вот, расскажите, господин арматор, про случаи занятные из жизни вашей, про чудеса натуры виденные. Ничего бы не хотел — только читать и слушать всякое от мореходцев и открывателей бывалых! — с живостью отозвался Баранов и поудобнее уселся в кресле, готовясь слушать долгую повесть.

Любимым чтением Баранова были путешествия и приключения. Хозяйственная трезвость и житейский практицизм никогда не смогли заглушить в душе

Александра Андреевича манящий голос легендарной птицы Феникс, увлекавший тех, до кого голос этот хоть раз доходил из безвестной дали. Поддавшись ее голосу, Баранов заскучал среди своих больших и расстроенных дел в России и, бросив все на произвол судьбы, перебрался по предложению Шелихова в туманную и неизвестную Америку.

— Русские купцы сидеть дома не любили! — никогда не упускал Баранов случая напомнить спесивым иностранцам «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина. — С Волги поднявшись, без малого за полвека до португалов русские в Индии побывали и европейским людям про нее первые открыли... И когда? За сто лет до того, как Ермак на Сибирь пошел!

Во всех «хождениях», древних и новых, вроде зачитанной им до дыр книги «Жизнь и приключения Робинзона Крузо, природного англичанина» Даниэля Дефо, выдержавшей в России к концу восемнадцатого века несколько изданий, Баранов искал не только развлечения, но знаний и сведений на случай.

Перебравшись в Америку, «на край света», как многие тогда думали, Александр Баранов почувствовал себя как бы на вершине горы, с которой во все стороны видно: выбирай, матушка Русь, любой радужный берег для приложения сил и трудов своих. Особенно заманчивы были бесчисленные и малоизвестные острова великого Малайского архипелага. Жемчужные отмели, сандаловые и коричневые леса, перцовые заросли и плантации сахарного тростника этих островов в течение веков обогащали Португалию, а позже вытеснивших ее оттуда голландцев. Голландцы ревниво оберегали источник своих богатств и никого не допускали в страну. Малайские и голландские пираты стерегли все выходы островного лабиринта Больших и Малых Зондов. За роскошным Борнео, Целебесом, Молукками лежит — Баранов знал это — необъятная Полинезия, где в просторах океана без счету рассыпаны, как звезды на небе, райские безыменные и никому не принадлежащие острова.

Благоухание аравийского кофе, смешанное с острым и пряным запахом рома, наполняло каюту. Закатное солнце, с трудом пробиваясь через ее узкие оконца, причудливо освещало собранные Мором диковинки заморских стран — оружие, посуду, ткани.

В дверях, подпирая тюрбаном низкий потолок, застыла высокая фигура Чандры.

— ...«Феникс» стоял на якоре в Бомбее. Огромный город гудел, как улей раздраженных пчел, — рассказывал О'Мор Баранову последнее приключение на службе Ост-Индской компании. — В княжестве Биджапур, из сказочных храмов Джамханди близ Голконды, земли которой засеяны алмазами, была похищена величайшая святыня древнего Декана — статуя Шакиа-Муни¹ со светящимися во тьме глазами. Брахманская стража, чудовищные змеи боа и прирученные гепарды, охраняющие храмы Джамханди, не уstrasшили похитителей. Статуя исчезла... «Сквайр О'Мор, — сказал мне генерал-губернатор Индии сэр Уоррен Гастингс, когда я, спустя месяц после этой на шумевшей истории, был вызван в его дворец в Бомбее, — на вас пал мой выбор. Вы доставите тидорскому султану Майсору на остров Серанг, главнейший из Островов Пряностей, мы называем их Молукками, мое письмо и с ним тысячу кувшинов священной воды Ганга и... — сэр Гастингс мельком взглянул на меня, — статую Шакиа-Муни из храма Джамханди. Мне, полагаю, не нужно говорить о доверии, которое вам оказывают компания и я! Этот забавный идол должен открыть Британии доступ к захваченной голландцами сокровищнице пряностей... Несправедливость должна быть исправлена! Весь груз гвоздики, корицы, перцу, все, чем отдарит вас султан Майсор, с чем вы пойдете в обратный рейс, предоставляю в вознаграждение ваших трудов и смелости. Будьте осторожны, моря голландской Индии кишат акулами и пиратами! Подарок компании султану — воду и идола — примите в Калькутте, там вас ждут»...

Все проходило как в сказке, господин губернатор,

¹ Индийское наименование Будды.

но, клянусь спасением души, здесь нет ни одного слова вымысла! — воскликнул Мор. — На набережной Калькутты, куда я прибыл две недели спустя, ко мне подошел древний, ровесник праотцу нашему Мафусаилу, брахман... И той же ночью в трюм «Феникса» были погружены огромный ящик сандалового дерева с идолом и тысяча кувшинов с водой Ганга, наполненных у стен Бенареса, за тысячу миль от дельты священной реки...

— Всей Англии и несметного войска гастингсов не стало бы на то, чтобы вывезти Иверскую чудотворную из Москвы! — думая о чем-то своем, вслух проронил Баранов, но Мор не понял правителя и продолжал без смущения говорить об английском умении использовать в своих интересах самые невероятные в мире вещи и обстоятельства.

— Из бомбейского арсенала компании, — припоминал Мор сопутствующие обстоятельства своего приключения, — я получил восемь тяжелых бомбических пушек, с полумили пробивавших борт любого корабля, и доплыл до острова Серанг... В пути я не искал боя, но пришлось потопить полтора десятка раскрашенных джонок малайских пиратов и два брига, капитанами которых, я готов поклясться в том, были краснорожие голландцы с бородами, растущими от шеи. Моя цель — двор султана тидорского Майсора — не была достигнута. Султан Майсор находился внутри острова в походе против диких альфуров — охотников за черепами и похитителей людей... Даже тигр уступает в кровожадности туземцам! За черепами они охотятся со страшным оружием — беззвучным духовым ружьем сумпитана: из непроходимой тропической чащи вылетает крохотная стрела — и готово! Кровь ящерицы ядозуба, которой стрелы смочены, убивает человека. Помощниками альфуров в охоте и похищении людей служат молуккские доги... На Молукках этих собак, завезенных китайскими купцами из Тибета, — из их породы ваш Саргач! — любезно поклонился Мор Баранову, — на Молукках для воспитания в собаках злобы, говорили мне, их часто кормят человеческим мясом... Вообще страшнее альфуров в тех местах толь-

ко «лесной человек», скрывающийся в сумраке тропических джунглей, его называют там орангутанг. От человека он отличим только густой рыжей шерстью. Он и даяки ненавидят друг друга. У даяков с ним особые счеты: всему на свете орангутанг предпочитает даякских женщин, которых он похищает и уносит в лес, где, натешившись и растерзав, сбрасывает с вершины деревьев. Подстерегши во мраке леса своего безшерстного соотечественника, орангутанг ломает ему позвоночник.

— Зверь есть зверь. Звериный нор и повадки, нет слов, полезно знать, только меня люди интересуют — о людях тех краев расскажите, господин арматор! — перебил его Баранов.

— Людей там нет! Людей я там не встречал, только звери в человеческом образе; желтые лицом — слабые, белые — сильнее и злее... — пренебрежительно отозвался Мор и тут же привел пример для сравнения. — Безшерстные орангутанги, даяки, поймав лесного человека, бросают, связав его, живым в муравьиные кучи. Очищенные муравьями от мяса скелеты развешивают на деревьях мускатного ореха вблизи своих свайных хижин, а голландцы — они страшнее орангутангов и даяков! — вырезают целые деревни, уличенные в продаже этого муската кому-либо, кроме Нидерландской компании. Отправив торжественное богослужение, они вырезают всех и бросают живыми в огонь горящих хижин малых детей! Так вот и живут среди райской природы желтокожие рабы Нидерландской короны и тидорского султана Майсора...

— Как же вы с Майсором свиделись, господин арматор, и чем вас султан за идола и тысячу кувшинов воды гангесовой наградил? — спросил Баранов замолчавшего в раздумье О'Мора.

— Наградить должен был, по письму сэра Гастингса, смертью в тигровом рву своего зверинца, в который, оступившись, падали все слишком много знавшие о делах султана люди...

Набрякшие веки Баранова поднялись, и Мор увидел испытующие барановские глаза. Арматор почув-

ствовал желание поделиться до конца своей тайной, омрачившей его жизнь с того времени.

— Да, — продолжал с вызовом Мор, пытаясь рассказать необъяснимые обстоятельства своей жизни, — никто не посмеет сказать мне, что я поступил плохо, но я вскрыл письмо сэра Гастингса. Я хотел и думал найти в нем разгадку появления статуи Шакиа-Муни на борту «Феникса». Письмо было написано на языке урду¹, и Чандра спас мне жизнь, прочитав его. Бросая якорь перед городом Пинайя на острове Серанг, я уже знал, что во дворце тидорского султана меня ждет смерть. «Люди болтливы, — писал сэр Гастингс своему «солнечному брату, союзнику и другу» султану Майсору, — я не дорожу жизнью человека, который доставит тебе статую Шакиа-Муни из храмов Джамханди, дарующую обладателю ее власть и силу над народами, исповедующими буддизм, и я не хотел бы, чтобы он вернулся в страну, потерявшую светящиеся глаза Великого...» Я понимал, что мне готовило письмо сэра Гастингса! С помощью сандарака и нежной гумми Чандра стер преступные слова правителя Индии и начертал на языке урду похвалу мне, мир и награду...

Сэр Гастингс — я следил за ним, когда, вернувшись живым с Молукк, делал доклад о выполненном поручении, — с острым интересом искал на моем лице ответа на один занимавший его вопрос и на прощание сказал только: «До свидания»... Но я не хочу свидания с ним и ни с одним из его преемников! — с силой и волнением воскликнул Мор. — Я вернусь к вам и останусь служить у вас... Чандра — он просится к вам — будет залогом моего возвращения!

Баранов встал, молча и крепко пожал руку арматора и, обращаясь к Ларкину, недоуменно смотревшему на обоих, сказал внушительно:

— Забудь то, что слышал сейчас, и никогда, даже спяща, не вспоминай, если жить хочешь.

— Капитан, в море на зюд-вест показалось двух-

¹ Один из важнейших языков Индии, образовавшийся из скрещения местных диалектов с персидским.

мачтовое судно! — перебил Мора вошедший в каюту боцман. — Какие будут приказания?

— «Симеон»! — обрадованно вскричал Баранов. — Мой корабль, что на Нутку ходил, — пояснил правитель Морю. — Мы до Калифорнии добираемся! — И, забыв про недопитое кофе, быстро поднялся на палубу.

Вглядевшись через подзорную трубу в морскую даль, Баранов признал «Симеона» и решил выйти на встречу в байдаре, чтобы поскорей принять отчет о плавании, узнать новости разведки и заодно предупредить Измайлова о присутствии иностранца... «Нутка — земля российского владения!»

Через некоторое время Мор с растущим в душе уважением перед энергией и бесстрашием этого пожилого уже человека следил за байдарой Баранова, чуть видной на скатах вздымавшихся на горизонте тяжелых росплесков океана.

Перед закатом солнца Мор увидел, как небольшой и, видимо, сильно потрепанный русский корабль, уверенно лавируя среди небольших островков и камней, запрудивших залив с юга, подошел чуть ли не к самому берегу и отдал якоря. От корабля отделилась байдара и черной стрелой помчалась к берегу.

О'Мор понял, что правитель благополучно вернулся в свой лагерь. Ирландец презрительно улыбнулся, припоминая, как уверяли его английские хозяева в Калькутте и голландцы на Яве, что русские, не приспособленные к мореходству, сидят, закупорившись, на Кадыке.

2

Баранов вернулся в лагерь в дурном настроении. Вояж Измайлова не дал ничего нового. Напрасно была отложена отправка промыслов в Охотск и доставка оттуда продовольствия, боеприпасов и меновых товаров, в которых так нуждались первые колонисты Аляски. Герасим Измайлов прошел почти до острова Нутка, но что пользы? Берегов и гаваней подходящих на карту не заснял, определений не сделал, аманатов

от жителей тамошних не получил, дружбы и торговли не завел.

«Пил без просыпу! — сделал вывод Баранов сразу же после беглого шутливого разговора с людьми на судне. — Пил, потому и весь вояж без пользы. А против шерсти погладить не смей, не то и такого потеряешь... Однако для примера устыдить придется!»

Он невесело раздумывал над захваченным с собой на просмотр судовым журналом «Симеона», читая фантастические записи Измайлова.

«...а живут на том Шиг-острове люди с волчьей и птичьей головой, и зубы им щеки прободали», — записывал Измайлов, заметив издали у появившихся на берегу колошей-кухонтан острова Ситхи боевые маски племени Волка и Орлицы морской и проткнутые в щеки и губы костяные палочки и «калужки».

«...в горле рек здешних рыбы красной толико собирается, что «Симеон» дважды, на косяк рыбной наплывши, как на мель садился, а по берегу медведей множество ходит, рыбу берут».

«...под Нуткой на зеленой лайде видели бобров морских без числа, а взять не могли — американцы лучные на байдарках во множестве вокруг ходили и копьями на нас прозились».

«...иуня первого дня на возвратном пути повыше Шиг-острова, в проливе Ледяном к острову Хуцну, попал «Симеон» в великое моретрясение. Поднялась со дна морского зыбь неукладная, окиян от берегов уходить начал. Конец, думали, пришел. Вынесли иконы на палубу и акафисты петь зачали. Обошлось. «Симеона» отливной волной с якоря сорвало, из ступы водяной вынесло в открытое море. Тем и спасены были».

Баранов с досадой закрыл журнал и вышел проверить караулы. Дом правителя находился как бы в центре временной крепостцы лагеря. На углах его стояли четыре сруба поменьше. В угловых избах вместо окон были прорезаны узкие отверстия наружу, чтобы стрелять из флинт, и одно в середине пошире для двухфунтового единорога. В проходах между избами стояли рогатки с частоколом, наклонно уложенным на них в уровень человеческого роста.

Из таких временных лагерей на месте промыслов на побережье возникали впоследствии постоянные укрепленные селения: крепость Александровская в устье реки Нучагак, Георгиевская и Николаевская на берегу Кенайского полуострова, Воскресенская при входе в Чугацкий залив, Константина и Елены на острове Хтагил в заливе Нучек, селенье в Якутате у мыса Яктага, селенье у горы Доброй Погоды, «столица» русской Америки — Ново-Архангельск на острове Ситха и, наконец, селенье и форт Росс на реке Славянке в заливе Сан-Франциско. На больших реках внутри страны — на Квихпахе¹, Кускоквине, Танана, Атна² — появились русские одиночки. Они годами жили и вели торговлю как представители компании. На месте этих одиноких, далеких от поселений хижин в наше время возникли города Нулато и др.) с электрическим освещением и комфортабельными барами, где строганину юколы, вяленой рыбы, основную пищу первых и давних русских засельщиков, подают только к пиву в виде специфической туземной закуски...

Правителю Баранову будущее края представлялось только в двух многозначащих словах: «Российская Америка», и этому будущему, веря в признание потомства, он беззаветно отдавал все свои силы.

Ночь была полна таинственной и невидимой человеческого глазу жизни. В лесу, окаймлявшем берег и разбитый на нем лагерь, несколько раз встрепнулись вороньи стаи, как будто чем-то встревоженные. Американский певчий ворон «какатотль» с незапамятных времен привык к тому, что всякое скопление людей дает отбросы. Какатотль нес обязанности санитаря не только в поселках, но и при промысловых партиях, располагаясь ночевать в ближайшем соседстве на деревьях и скалах.

«Умная птица ворон, — подумал Баранов, услышав воронье карканье. — Навыкла от человека жить и его, мертвого, склюет и схоронит... Чего бы это они встревожились? Не иначе, рысь подбиралась...»

¹ Юкон.

² Купер-ривер (Медная).

Мысли об опасности, подстерегающей человека в этих краях на каждом шагу, в этот раз не тревожили правителя. Самый опасный враг, зубастый капер Кокс, размышлял Александр Андреевич, «скончался во благовременье». Корабли в море, селения и промысленные на побережье в безопасности, и моего дома в Павловской гавани никто не потревожит, и Анка...

Поймав себя опять на мысли об Анке, правитель невольно проронил в тишине:

— Все туда же... седина в бороду, бес в ребро! — оглядел чуть видную в темноте фигуру караульного у середины рогатки и пошел к себе, в большую барбору.

Нашупав «постель» — брошенные в углу шкуры, правитель скинул на них плащ и начал снимать сюртук. Под сюртуком, всегда застегнутым поверх пуховой рубашки, правитель носил легкую булатной стали кольчужку златоустовской работы. В прошедшем году при выборе места под Воскресенскую крепость Баранов с небольшим отрядом напоролся в лесу на индейскую засаду. Индейцы, сидевшие в засаде, видали своими глазами, что стрела, ударившая в сердце правителя, упала к его ногам, а он, оправившись от толчка, поднял ее, сломал о колено, и, пораженные суеверным страхом, индейцы бежали. Златоустовские кольчужных дел мастера, отец и сын Елфимовы, помогли великому русскому тойону стать неуязвимым.

Александр Андреевич хотел было на ночной отдых снять кольчугу, но раздумал и опустился на постель. Засыпая, вспоминал рассказы Мора о далекой Индии, о белых в золотых понах слонах на улицах Бенареса, о таинственных магах, мановением руки подымающих в воздух прекрасных спящих девушек...

Сон оборвался на стремительном падении в неожиданно раскрывшуюся ревущую и клокочущую бездну... Леденящий душу вой неведомых зверей, дикие крики алеутов, неистовая ругань, выстрелы, беготня сотен человеческих ног, вспышки огня, просвечивающие через затянутые пузырем окна, прервали радужные сны Баранова.

Правитель вскочил и прежде всего изо всех сил

уцепил себя за руку: не спит ли он и в сонном кошмаре переживает адский конец прекрасных видений? Не по мертвому ли Коксу справляет дьявольские поминки нечистая сила?

Но через мгновение, стряхнув остатки сна, Александр Андреевич увидел, как пламя, охватившее ближайший к лесу сруб, осветило мрак в избе и отчаянное положение людей лагеря, захваченных врасплох нападением врага. В двери яростно колотили прикладами и кулаками растерявшиеся люди.

Баранов, ощупав на себе кольчужку, накинул на нее через голову меховую рубашку, напялил покрепче картуз... «Не в белье же дуrom показываться», — подумал правитель и, отвалив деревянный засов дверей, появился перед людьми, как всегда спокойный и уверенный.

— Не глухой и не слепой, все вижу и слышу... Чего оголомшели? Не знаете, что американцы криком воюют? — сказал он, зорко вглядываясь и ища в толпе нужных людей.

Территория острожка была запружена сбежавшими из шалашей алеутами, «которые, — как позже писал об этом событии Баранов Шелихову, — теснясь в нашем стане, отнимали действие рук». Из загоревшегося сруба выкатилась в дымившихся парках кучка русских добытчиков, вынося на руках короткорылый единорог на деревянном лафете, бомбические ядра для стрельбы на картечь и мешки с пороховыми картузами.

— Острогин! Федя! Станови единорог в воротах! — закричал одному из добытчиков Баранов и впереди толпы одушевленных его появлением людей бросился сам к воротам, самому слабому месту лагеря, перед которыми собралась, беснуясь и кривляясь в невиданном доселе одеянии, огромная толпа нападавших.

На колошах были надеты один на другой три-четыре куяка, панцыря из плетеной древесины, и поверх их толщиной в палец пестро раскрашенные плащи из лосиной кожи.

Головы колошинских воинов защищали огромные шишаки с изображениями на них морд, пастей и голов

чудовищных животных суши и моря. В таком боевом убранстве, с лицами, изуродованными черно-белой татуировкой, оглушая противника неслыханным ревом, нападавшие и самому Баранову показались исчадиями ада в человеческом образе.

— Страшней самых адских чертей кажутся, и пуля их не берет, — оглядываясь на правителя, сказал удалец Острогин.

— Это в темноте, Федя! Мы их сейчас так осветим, что небо с овчинку покажется, — ответил Александр Андреевич, в минуты самой грозной опасности прибегавший обычно к шуткам.

Ружейный огонь русских и стрелы алеутов и индейцев из русского стана причиняли колошам малый урон: пули безнарезных флинт не пробивали брони из лосиных плащей и четырехслойных куяков. Нападающие это заметили и, раскачивая в руках длинное бревно, начали этим тараном бить в ворота. Когда ворота затрещали под ударами бревна, колоши с диким воем бросились на приступ.

— А ну-тка, гафуница¹ картечная, угости американских ироев боем артиллерии российской... Ахметулин, пали! — скомандовал правитель кряжистому белозубому татарину-пушкарю, сидевшему на корточках с тлеющим трутом в руке у пороховой полки коморы единорога.

Картечный выстрел прямой наводкой произвел ошеломляющее действие на якутатцев, большинство которых впервые встретилось с огнем и грохотом пушки. Поражало колошей и то, что великий русский тойон, как называли индейцы Баранова, все время оставался невредимым. Стрелы с наконечниками из обсидиана и зубов акулы застревали в его меховой рубашке и не причиняли ему вреда. Разгневанный, он изрыгает теперь гром, огонь и смерть. Индейцы отхлынули...

Используя короткую передышку, Александр Андреевич собственноручно загнал картечную бомбу в ствол заряжающейся с казны пушчонки.

¹ Гаубица типа единорога, усовершенствованная по идее Ломоносова П. И. Шуваловым в середине XVIII века.

«Неужто на «Симеоне» не слышат выстрелов, не видят огня, не понимают, в какой опасности находится береговая партия, или... Измайлов скотски пьян, пропил наши души, а люди без старого козла, как овцы, топчутся, не знают, что делать надо? — с горечью думал правитель, понимая, что стану не удержаться, если колоши преодолеют страх перед картечью. — И англинцы на «Фениксе» хороши! Боятся на берег ночью съехать, помощь подать. Мор батарейками¹ хвастал, батарейку шлюпкой на берег перевалить можно... Да на что зайцу порох!»

На этот раз, к счастью, Баранов оказался не прав. Едва правитель с приближением темноты съехал с галиота, Измайлов решил «помягчить» неприятный разговор о безрезультатном и, как сам он прекрасно понимал, убыточном вояже к Нутке. Уходя в капитанскую каютку с освежающей голову бутылкой рому для составления якобы письменного «лепорта», старый штурман приказал своему помощнику Карнаухову разбудить его после полуночи и зорко глядеть, чтобы вахтенные не спали, — «Симеон», по распоряжению Баранова, стал на якорь менее чем в полуверсте от берега.

Разорвавший ночную тишину рев и вой нападающих, крики алеутов на берегу, загремевшие выстрелы, пламя подожженного сруба мгновенно подняли на ноги людей «Симеона». Появившийся среди них Измайлов не долго раздумывал.

— Шлюпки и байдары на воду! На шлюпки спустить фальконет и каронаду². На корабле остается Карнаухов с десятью людьми... Отбери себе людей, Карнаухов! Остальные за мной! Пароль «Кадыак», отзыв «Кенай»... Кто подойдет к «Симеону» без пароля и отзыва не знает — бить по тому из пушек!

Измайлов был уверен, что нападает новоиспеченный друг правителя с фрегата, стоящего на рейде. Рев и вой индейцев вокруг стана он приписывал «измене». Кто, как и почему затеял черное дело, Измайлов объяснить себе не мог, да и некогда раздумывать, надо

¹ Небольшие старинные пушки с несколькими стволами.

² Небольшая и легкая короткоствольная пушка малого калибра.

выручать своих, поскорей стать плечом к плечу... Умен да хитер Александр Андреевич, а с англичанами дал маху, как-то господь поможет разделаться...

— Наддай! — крикнул гребцам старый штурман, озабоченный единственной мыслью: не опоздать бы с помощью.

Оставив при шлюпках и байдарах несколько часовых с фальконетом, Измайлов с остальными и маленькой каронадой, которую несли на руках, стал пробираться берегом к лагерю.

Незаметно подобравшись к нападавшим в тыл и чуть сбоку, Измайлов в разбитых воротах разглядел единорог и около него Баранова с десятком людей, готовых врукопашную отражать остервенелого врага. В глубине лагеря ничего нельзя было разобрать. Алеуты лежали, уткнувшись лицом в землю, испуская по временам жалобные крики. Среди них носился яростный Пуртов, стараясь пинками поднять лежащих.

За вторым картечным выстрелом лагерной гафуницы, направленным в устремившуюся в ворота многотенную толпу нападающих, — выстрелом, который и сам правитель считал последним, в тылу колошей рывкнула каронада и раздался залп штуцеров и нарезных флинт хорошо экипированных людей с «Симеона».

Часть индейцев с криком ярости обернулась в сторону измайловской каронады, но тут неожиданно для всех участников ночного боя — индейцы были уверены, что ночью никто с кораблей не решится съехать на берег, — грянул ружейный залп с третьей стороны и небольшие, часто сыпавшиеся чугунные ядра с визгом врезались в кучно нападавших колошей.

— Hourra! Death ztoz copper-coloured! Forward! ¹ — На просеку выскочили человек пятнадцать матросов с «Феникса», впереди которых в неизменном белом тюрбане бежал бенгалец Риг-Чандра, с трудом сдерживая на длинной веревке бешено рвавшегося огромного черного пса. Саргач вместе со всеми спешил на выручку будущего хозяина.

«Подмога!» — догадался Александр Андреевич, за-

¹ Ур-ра! Смерть медноокрасным! Вперед! (англ.).

метив, как дрогнули колошинские войны, потерявшие было страх перед лагерными пушками, около которых оставалось не больше двух десятков русских и индейцев-чугачей. Баранов был уже готов к бесславному концу от руки диких, сумевших перехитрить его, старого и бывалого землепроходца. «Людей жалко, а мне поделом!» — твердил он, сжимая в руке топор, — и вдруг поддержка.

— Измайловцы с «Симеона» и англинцы с «Феникса» на выручку идут! — закричал правитель, веря и не веря тому, что видел и слышал. — Поддержись, люди! Ахметулин, пали! — И, размахивая топором, выскочил за ворота. Огибая палисад, колошинские войны бежали под прикрытие леса. Нападение не удалось: индейцы, следуя своей тактике, исчезали так же быстро, как быстро и неожиданно появились.

В последнюю минуту рослый якутатец, волочивший за собой обеспамятевшую каюрку-алеутку, решил довольствоваться меньшим трофеем. Перегнув через колено голову женщины, он полоснул ее ножом по горлу и сделал надрез по лбу, собираясь снять с головы черную гриву волос с кожей, но топор Острогина, брошенный с двадцати шагов, рассек его затылок.

— Не балуй с девками! — рывкнул подскочивший Острогин, поднимая топор и вытирая его плащом зарубленного индейца.

Не веря еще в окончательное поражение колошей, Баранов запретил преследовать бегущих. Он знал, что каждого, вступившего в ночной лес, ждет верная смерть. Чтобы не дать растерявшемуся врагу опомниться и разглядеть ничтожные, несмотря на подкрепление, силы защитников лагеря, правитель решил еще и еще припугнуть их артиллерией...

— Пуртов! — окликнул он своего помощника, не допустившего с двумя пушкарями и десятком индейцев-чугачей прорыва палисада со стороны леса. — Сволокну, сынок, все пушки противу леса и попужай американцев по кустикам. Только так оборачивайся, чтоб, как последняя стрельнет, первая была заряжена... Герасим Тихоныч, — обратился он к Измайлову, — дай на охрану артиллерии десять человек!

Обходя с людьми место побоища, правитель убеждался, что потери не так уж велики, как ему казалось, когда он сам готовился к смерти. Алеуты, лежавшие повсюду как заправские мертвецы, услышав голос Баранова, вставали один за другим и, виновато отряхиваясь и почесываясь, принимались болтать о своих подвигах в бою...

— Помалкивай, однако... тоже нашелся воин! Обсуши гузно! — сурово обрывал правитель особенно разговорчивых. — А где Лаврентий? Кто видал Лаврентия? — спрашивал он, разыскивая глазами Лур-кай-ю, промелькнувшего перед ним и исчезнувшего в начале боя.

Алеуты переглянулись, некоторые неопределенно помотали головами в сторону правительевой бараборы. Подметив их взгляды, Баранов глазами показал Острогину на свою избу: поищи, мол.

Острогин долго возился у запертой изнутри двери, наконец выдавил пузырь в окне и через него прыгнул в избу. Через несколько минут из избы донесся тонкий поросячий визг, и вскоре на крыльце показался Острогин, тащивший за ухо упиравшегося Лур-кай-ю.

— В печь забился, едва выволок! — сказал Острогин, ставя измазанного сажей Лур-кай-ю перед правителем.

— Ты чего делал там? — грозно спросил Александр Андреевич кадьяцкого тойона. По суровым законам добытчицкой жизни алеутский вождь не мог избежать смерти за трусость, но Большое Брюхо был незаменим опытом и удачей в промыслах и влиянием среди сородичей.

— Избу зажечь не позволял... добро твое стерег... никого не пускал, — смущенно лепетал Лур-кай-ю, не поднимая глаз от земли.

В этом момент из-под кучи сваленных в стороне бревен выползла уналашская каюрка Марьца и подошла в правителю, шатаясь и протягивая что-то пищавшее и мяукавшее в ее руках, завернутое в полу кухлянки.

Правитель, выдавший на своем веку всякие виды, бессчетное число раз бестрепетно глядевший в лицо смерти, от неожиданности даже отступил перед испачканным кровью лицом Марьицы, перегрызшей, очевидно, пуповину новорожденного зубами.

— Лур-кай-ю ему отец... его сын... крести, пожалуйста, — прошептала женщина спекшимися от жажды и родильных мук губами.

Баранов знал, что Марьица во время промысла жила в шалаше Лур-кай-ю, обшивала и заботилась о нарядах тойона, готовила пищу, вела несложное хозяйство. У Лур-кай-ю, завоевывавшего сердца алеуток китовым жиром, была жена в стойбище на Кадыаке, но многоженство среди алеутов не встречало осуждения.

Испуганная ночным нападением, забившись в ужасе под бревно, в звериной щели, тесной для волчицы, первобытная женщина без человеческой помощи, под грохот пушек и дикий бой колошей, разродилась младенцем и сделала все, что могла и умела, чтобы сохранить ему жизнь, не думая о собственной участи.

Лур-кай-ю, судорожно мотавший головой в предчувствии удавной веревки на своей шее, приободрился. Материнский подвиг Марьицы, которую незадолго до нападения выгнал из своего шалаша рожать на стороне, Лур-кай-ю готов был сейчас приписать чуть ли не себе самому.

— Я... мое... мой сын, — бормотал посрамленный хвостун, искательно оглядывая суровые лица окружающих и всячески избегая грозного взгляда Баранова.

Смелые и находчивые в опасной охоте на морских зверей, алеуты в бою с колошами вели себя, исключая немногих, жалкими трусами. В оправдание собственного поведения они — правитель видел это по их лицам — осудили изобличенного в трусости Лур-кай-ю на смерть.

Появление в эту минуту Марьицы для Баранова оказалось очень кстати. Он решил сохранить жизнь Лур-кай-ю, как опытному и смелому добытчику морского зверя, и вместе с этим наказать так, чтобы по-

няли, что труса не лишают жизни только из-за ребенка и его матери.

— Марьице, принесшей младенца, — раздался резкий голос правителя, — выдать фунт леденца, чугунок и пять аршин бисера... Не струсила девка — сохранила дитё! А этого... этому, как он, однако, показал себя бабой, сбрить половину бороды и волос на голове и поставить каюром на байдару Марьицы... На место Лур-кай-ю тойоном будет Учагук! — и правитель положил руку на плечо стоявшего около него молодого алеута, того, который, как видел Баранов, храбро сражался с кровожадными колошинскими воинами.

— Отдашь ему медаль, Лаврентий, тебе не мочно носить ее!

Бенгалезец Чандра, слуга О'Мора, с величайшим вниманием наблюдал за всем, что происходило на его глазах. Когда барановский толмач Джим Ларкин, стоявший рядом, придерживая на голове пропитанную кровью тряпку, перевел индусу последние слова правителя, Чандра схватил его за рукав и потащил к Баранову. Рычание Саргача, ухватившего Ларкина за полу бушлата, парализовало сопротивление ирландца.

— Чего, однако, тебя они приволокли? — удивленно спросил Баранов, увидя перед собой странную группу.

— Спят! — кивнул Ларкин на Чандру, покрыв пальцами около своего лба.

— Сахиб мудр, сахиб справедлив... Я хочу жить среди русских людей. На родине я уже служил русскому сахибу Лебедеву, он построил театр для индусов в Калькутте¹ и переводил на бенгальский язык веселые джатра и раслина², чтобы усладить жизнь бедных людей, но жалкие бхада³, порождение шакала и обезьяны, изгнали меня и под угрозой смерти заставили покинуть Калькутту. Они не захотели ломаться и паясничать на подмостках в обществе пария

¹ Первый европейский театр в Индии был построен в 80-х годах XVIII века в Калькутте русским путешественником Герасимом Лебедевым, сыном ярославского купца.

² Жанры индийского народного театра, сходные с итальянской комедией масок и русским Петрушкой.

³ Скоморохи, уличные актеры.

шудра. Для русских нет пария, русские другие люди... Я прошу дозволения служить сахибу. Сахиб всегда будет доволен Чандрой!

Баранов плохо понял нескладно переведенную Ларкиным взволнованную речь Риг-Чандра, но упоминание имени какого-то Лебедева, забравшегося в столицу Индии Калькутту русского человека, заинтересовало его. Припоминая недавний разговор с Мором, Баранов решил переговорить с ним об оставлении Чандры среди русских.

— Very well! ¹ — перевел Ларкин Чандре ответ правителя. — Александр Андреевич обещается попросить капитана Мора списать тебя на берег...

Чандра понял переданный Ларкиным ответ по-своему и молча встал вместе с Саргачом за спиной правителя. Баранов едва заметно усмехнулся.

Обстреляв по приказанию Баранова лес картечью шести пушек, сведенных в одну батарею, Пуртов окончательно убедил якутатцев в готовности русских перейти в наступление, и к утру напавшие на лагерь колоши, унося своих убитых и раненых, были за пределами досягаемости.

В лагере в ту ночь никто не ложился спать. Разыскивали растащенное в ночной суматохе имущество. Исправляли ущерб, причиненный редуту нечаянным нападением. Правитель с бритвой в руках собственноручно делал раненым операции, извлекая обломки стрел, сшивая кожу, накладывая перевязки на промытые водкой раны. Тяжело изувеченных, а их набралось человек десять — с перерезанным горлом, проломленной головой, раздробленным позвоночником, — последних особенно много было среди алеутов, во время боя лежавших ничком на земле, — снесли в избу Баранова и приставили двух женщин поить их, отгонять мошку и комаров. Смерть и выздоровление изувеченных людей пионеры Аляски, хочешь не хочешь, представляли «воле божьей».

На рассвете похоронили четырех убитых русских добытчиков: тотемского Полуярова, шенкурского Ко-

¹ Отлично (англ.).

раблева да двух устюжан, братанов Земсковых. Срубили и поставили над могилой крест, на котором деревянными клинышками закрепили доску с надписью полууставом, сделанной рукой Александра Андреевича.

Прими господи души
четырь рабовъ твоихъ
Даміана Филиппа Іоанна Іліі
іже за Русь і людіе ея
животь безвремени
положили

Тела убитых алеутов и чугачей Баранов позволил родичам и соплеменникам забрать для захоронения по своему обычаю и приказал на поминки каждого убитого выдать по штофу водки.

Народцы и племена Аляски, находясь на промысле вдали от родных стойбищ, хоронили своих мертвых, выезжая на байдарках в океан, навсегда отдавая могучему и щедрому кормильцу его работника.

Обещая быть на поминальной игрушке¹, правитель решительно отказал чугачам в выдаче трех якутатцев, оглушенных кистенем Пуртова и в беспамятстве попавших в плен. Он знал обычай индейцев, с которым всячески боролся, умерщвлять пленных на поминальных игрушках для сопровождения в загробную жизнь в качестве калгов — рабов, обслуживающих нужды убитых победителей.

— Чугачи храбро бились, но тлинкитов взял Пуртов — он им и господин... Могу дать вам три папуши табаку, но отнять добычу у воина не могу.

Когда чугачи ушли обряжать своих мертвых, правитель приступил к допросу пленных через имевшегося при партии толмача, старого угалахмюта Семейку. Лица якутатцев, изуродованных кистенем Пуртова, были страшны и жалки, и только стоявший впереди рослый

¹ Сопровождаемые плясками, музыкой, разными играми обряды по поводу рождения детей, удачной охоты, похорон с обязательным угощением и одариванием гостей.

и сильный воин, оглушенный ударом кистеня через высокий шишак, не имел на себе устрашительных следов пуртовской руки.

— Откуда вы пришли? Как зовут тойона? — спрашивал индейцев Баранов.

Пленные, ожидая пыток и смерти, явно не хотели отвечать.

— Пуртов, поднеси воинам, однако, по стаканчику для разговора! — приказал правитель, решив испытывать такое необычное доказательство добрых намерений и великодушия русских.

Пуртов принес штоф, налил кружку и со вкусом — не яд, мол, даем — выпил. Налил вторично и протянул кружку индейцу с раздробленной челюстью.

— К्लехчак, ильтлиль катлеце! Умертви, не насмехайся! — отвел индеец протянутый ему соблазнительный напиток.

— Тляакуски! Дурак! — презрительно пробормотал Семейка, не выдерживая роли беспристрастного толмача.

— Ахчиите... Дай... — недоверчиво сказал якутаец с выбитым глазом.

Отпив половину, поднес кружку к уцелевшему глазу посмотреть, много ли осталось, затем медленными глотками допил до дна и, протянув Пуртову вынутую из-за пазухи трубку, сел на пол, где стоял, — знак: набьешь табаком — буду говорить.

— Зачем пришли сюда? — спросил правитель, выждав, пока индеец несколько раз затянулся дымом.

— Чтобы убить, — мирно ответил индеец, смахивая кровавую слезу на пол.

— Что я должен сделать с тобою?

— Также убить, — не задумываясь, ответил одnogлазый. — Атхут! Руби! — и индеец вытянул шею, ожидая удара.

— Нет, русские сильны и справедливы... Пойдете домой... Кусун хунас? Где твои родные? — спросил правитель. — Отнесете им от нас посох дружества, убранный цуклями и бисером. Тойону скажите: жду его в гости. Он и вы, когда придете с ним, получите табак, огненную воду и большие русские ножи...

Индейцы с недоверием смотрели на правителя и толмача Семейку, принявшего такой важный и торжественный вид, будто он сам был источником неожиданной милости и щедрот.

Шум и крики в дальнем конце лагеря прервали допрос. Демид Куликалов в сопровождении охотников своего отряда появился перед Барановым. Подходя к правителю, люди опускали на землю носилки с засоленным мясом убитых животных. Солонина была сложена в мешки из коры хаача — душистого кипариса. Такие мешки у индейцев, сплетенные из древесного лыка, служили в летнее время для хранения мяса, жира и заменяли ведра для доставки воды.

— С удачей, однако, Демид Софронович! — приветствовал правитель утомленных людей.

— Пудов сто промыслили, — не входя в подробности, коротко подтвердил Демид результаты опасной и нелегкой экспедиции в окрестностях, занятых враждебными и неведомыми красными племенами.

4

Баранов был необыкновенно доволен благополучным возвращением Куликалова. Правитель понимал, что охота в глубине края, на которую не мог отважиться даже смелый Мор, укрепит в глазах англичан прочность положения и престижа русских на берегах далекой и оторванной от России страны, к которой по русскому следу тянутся руки претендентов на разделение, но не труда и лишений, нет! — только бобровых и котиковых шкур...

Несмотря на хорошие отношения и доверие, которые вызывал Мор, Баранов не хотел обнаружить перед иностранцами богатства залива Нучек. И было досадно, что уходило драгоценное время летних промыслов... Судно Мора приведено в порядок, вода доставлена, оставалось снабдить провизией — и пусть плывет во свояси. Баранов подозрительно оглядел слонявшихся по лагерю матросов с «Феникса». Некоторые держали в руках по несколько шкур бобров и котиков, выменен-

ных у алеутов на разные безделки. Промышленным запрещалось менять и продавать пушнину кому бы то ни было помимо компании, и в другое время правитель не постеснялся бы отнять добычу у нарушителей правил компании, но с храбрыми матросами «Феникса», пришедшими на выручку в минуту грозной опасности, так поступить нельзя было.

— Пуртов, людей с «Феникса» и измайловских покормить надобно и Демидовых не забудь. Нажарь мяса, бочонок рому выкати. Ларкин, собери людей, чтоб по лагерю не мотались! Усади, поднеси, да спой чего — ты мастер на эти дела! — таким маневром Александр Андреевич надумал пресечь «развращение» промышленных и вместе с тем отблагодарить храбрых соратников.

Через час веселый и беспутный Джим Ларкин, среди русских его звали Яшей, поднося гостям и не обходя себя кружкой доброго рому, горланил с земляками с «Феникса» песни, которые он привез на дикие берега Америки из времен своего студенчества в Тринити-колледж¹ зеленого города Дублина. В Тринити-колледж Ларкин изучал богословие, но разгром тайного общества «Правых ребят»², а Ларкин был его деятельным членом, побудил богослова искать спасения на палубе кораблей, бороздивших океаны вдали от родины. Лучшим номером своего репертуара Ларкин считал одну бодрую песню прославленного поэта крестьянской Англии Роберта Бернса³. Ларкин пел с заразительным чувством, как будто видя через необозримую даль свою бедную родину, угнетаемую ворвавшимися в нее чванными лордами.

Что из того, что хлеб наш груб
И платье бедное дано,
Хотя в шелка одет, кто глуп,
И плуты пьют вино.

¹ Старейший университет Ирландии. Основан в 1591 году.

² Тайная террористическая организация ирландских крестьян во второй половине XVIII века, которая вела борьбу с английскими помещиками и представителями власти.

³ Песню Бернса автор романа дает в своем переводе.

Земляки Джима, матросы с «Феникса», с восторгом хлопая в ладоши, дружно подхватили боевой припев:

Все ж, несмотря на шум вокруг
Таких и этаких потуг,
Бедняга честный, всех бедней, —
Король среди людей!

Александр Андреевич, большой любитель и знаток песни, сам повинный в грехе «сочинительства», повсюду в скитаниях возивший с собой подаренный Шелиховым модный в те времена «Песенник» Михайлы Чулкова, с удовольствием, хотя и не понимал ни слова, слушал крепкий голос Ларкина, покачивая головой в такт песне. Поощренный общим вниманием Ларкин с еще большим воодушевлением начал второй куплет:

Мы ждем и верим — сгинет тьма
И будет то, что ждут:
К признанью чести и ума
По всей земле придет...

— Дружной, ребята! — крикнул Джим, и слушатели, подогретые очередной кружкой рома, подхватили припев:

И это будет — день придет,
Какого не было вовек,
Что человека человек
По-братски обоймет.

— Ладная песня, и спели складно... Будто свою, русскую слушал! — задумчиво проговорил Баранов. — О чем песня, перетолмачь, Яша... Ишь ты, какая она! — продолжал он, вникнув в нескладный перевод Ларкина. — Будто на российский край пригнана... Спасибо за песню, друг!

Матросы «Феникса» хлопали Ларкина по плечу, жали руку, галдели и, стараясь перекричать друг друга, убеждали «плюнуть» на контракт, которым, как они думали, опутали их земляка русские.

— Ларкин! Джимми! Ты родился артистом, ты поешь во сто крат лучше О'Сюливана, а по нему все

знатные люди, посещающие Дрюри-Лэн¹, сходят с ума. И ты похоронил себя в этой богом проклятой стране, где научился у русских медведей жрать сырую рыбу... Марш на корабль! Капитан Мор никому не позволит насильно держать нашего земляка, и мы это докажем.

Сочувственная добродушная улыбка на лицах русских, с которой они слушали звуки песни Ларкина, не понимая ни слова по-английски, была понята матросами арматора Мора как дань восхищения бородатых дикарей английской доблести и цивилизации. С этим они встречались во всех концах вселенной и умели, как им казалось, показать, что заслуживают этого.

Матросы «Феникса» были убеждены, что кдлоши бежали, уstraшенные их появлением, и достаточно им или их капитану заявить, что они берут Ларкина с собой, как русский губернатор согласится на это без всякого спора. Но Ларкин за два года хорошо узнал Баранова и имел не один случай убедиться, как он ревниво отстаивает честь и суверенность Московии на этом далеком и оторванном от нее клочке земли.

— Яша, чего, однако, заершились твои земляки? — с неудовольствием спросил Баранов, почувствовав что-то неладное в поведении моровских матросов.

— Хотят меня взять с собой, уговаривают... просят вашу милость отпустить меня домой... Если будет на то ваша милость, я тоже... — смущенно лепетал Ларкин, благословляя в душе барановское непонимание английского языка.

— А зачем пистолетами размахались?

— Салют в честь вашей милости...

— А ну-ка, Яша, — возвысил голос Баранов, заставляя русских добытчиков насторожиться, — скомандуй землякам: марш на берег, по одному, гуськом, сто шагов интервала... Батарейку, скажешь, я сам арматору доставлю! И еще скажи, что благодарим, мол, за помощь и честь хлеба-соли наших отведать...

Растерянный лепет и бледное лицо Ларкина, а главное — настороженная зоркость русских добытчиков,

¹ Наиболее популярный в XVIII веке театр Лондона.

сразу после слов Баранова вставших на ноги с разобранными по рукам ружьями, убедили моровских матросов, что странный приказ правителя, хотя они и считали себя обиженными, надо исполнять беспрекословно. Своевольничать и дебоширить, как привыкли они к этому во всех портах мира, в этой дыре опасно, слишком опасно...

Русские стояли спокойно, но, оглядев их нахмуренные бородатые лица, матросы «Феникса», пожимая плечами и криво улыбаясь, один за другим вставали и шли к берегу гуськом, провожаемые удивленными взглядами собравшихся на пути алеутов.

На берегу Баранов передал через Ларкина матросам, что он первым плывет на «Феникс» с батареей, присланной арматором на помощь, и байдарами, груженными мясом для продовольствия в предстоящем им далеком пути.

— Друзья, умоляю, подчинитесь... с правителем нельзя спорить, умоляю! — уговаривал Ларкин заволановавшихся земляков. — Да и бесполезно... Вы видите! — кивнул он на множество вышедших провожать гостей добытчиков, которые и не подозревали разывгравшейся на их глазах трагикомедии.

— Ты, Ларкин, и Чандра со мной поедете! — сказал правитель, сходя к спущенному на воду боту. — Герасим Тихоныч, тебе за старшего быть! Этих, — показал он на моровских матросов, — беспрепятственно отпустишь, когда с «Феникса» флажком помянут... Понял?

Мор встретил поднявшегося на корабль Баранова с некоторой тревогой. Лицо ирландца было желтым, глаза запали.

— Бесконечно рад, господин губернатор, видеть вас целым и невредимым. Я провел ужасную ночь! Приступ странной болезни, захваченной в тропиках, — китайские врачи говорят, что ее разносят комары и мухи, — свалил меня с ног... Я не в состоянии был лично прийти вам на помощь, эту честь вынужден был уступить моему помощнику и Чандре... Ты здесь, Чандра, а где же остальные люди? Неужели...

Чандра успокоительно закивал головой. Мор в не-

доумении перевел взгляд на Баранова, затем на беспокойно переминавшегося Ларкина.

— Протрезвиться оставил, — добродушно, как будто ничего не случилось, отозвался правитель. — Все целы-целехоньки! Флажком помахайте... А пока мясо принимать будут, попрошу напоить меня кофеем, господин арматор, за кофеем и о расчете договоримся... Яша, — обратился Баранов к Ларкину, — ты не раздумал на родину возвращаться?

— Если ваша милость... — растерянно начал Ларкин.

— Звал Александром Андреевичем, а к своим попал — «вашу милость» вспомнил. Не раздумал покинуть нашу жизнь, говори?

— Отпустите, Александр Андреич! — после минутного колебания ответил Ларкин.

В каюте, с наслаждением прихлебывая черное кофе, Баранов коротко рассказал О'Мору события минувшей ночи.

— Только мы кóлошей сбили и в лес погнали, а тут и ваши появились, по пятам индейцев из штуцеров и батарейки на ускорение ретирода смазали... Премного дружбе и помощи вашей обязан, господин арматор! Ну, сели поутру победу отпраздновать, однако неприятность меж нас вышла... Богослов сей, — Баранов с усмешкой кивнул на Ларкина, — и люди ваши пистолетами вздумали меня пострашать, чтобы домой его отпустил. Я прогулку им присоветовал, а батарейку сам взялся доставить...

Пояснения Ларкина, переводившего слова Баранова, сопровождаемые неодобрительным покачиванием головы Чандры, привели Мора в великое смущение. Мор припомнил, что Ларкин в прошлый приезд, пользуясь барановским непониманием английского языка, просил его избавить от русского плена, и он, арматор, в присутствии своих людей обещал бесшабашному богослову возвращение на родину.

Престиж капитана в те времена держался на острие ножа. Экипаж «Феникса» после плавания на Молукки и встреч с малайскими пиратами был пополнен из портов Бомбея и Калькутты. Кто знает, чего можно ожи-

дать от людей, избалованных авантюристическими нравами и порядками, усвоенными англичанами в Индии? Наставать на отпуске пленного земляка — он не знал, что Ларкин был дезертиром, нашедшим приют у русских, — Мор не решался. Мужество и смелость правителя, помимо личного интереса и симпатий, которые он вызывал, исключали мысль о столкновении. Пришедшее накануне русское судно хотя и было меньше «Феникса», но Мор видел, как ловко и уверенно лавировало оно в этом забитом островами и подводными камнями заливе. «Ночной десант отлично удался русским, а моя шляпка, — думал Мор, — едва успела к шапочному разбору...»

— Господин арматор, — сказал Баранов, как бы угадывая в молчании Мора его затруднения, — чтобы дружба наша крепкой была, не сделаем ли менку? Я вам богослова этого предоставлю, а вы мне Чандру отдайте, если пойдет Чандра к нам на службу.

— Ричард! — обрадовался Мор найденному выходу. — Его матросы мои Ричардом зовут, господин губернатор... Ричард! Господин губернатор берет тебя к себе на службу...

— Душой и телом буду служить сахибу до конца! — скрестив руки на груди, низко поклонился Чандра Баранову.

— Прощай, Яков! Тебе и на берег съезжать не надобно. Рухлядишку, ежели какая имеется, пришлю. В получении долга, что остался за тобой компании за водку, чай, сахар, я распишусь, а младенца, которого ты прижил с каюркой Ульяной, без тебя воспитаем. Небылиц про нас в отблагодарение за хлеб-соль нашу не сочиняй... Прощай на счастливую жизнь!

Все закончилось к взаимному удовольствию. Мор был доволен, что престиж капитанского имени и слова остался непоколебленным и он так или иначе сумел внушить даже диким русским зверобоям уважение к свободе и личности природного англичанина.

А Баранов тоже был доволен мирным разрешением происшествия. Жизнью простого народа в Англии, особенно земляков своих ирландцев, Ларкин не хва-

лился, но соблазнял промышленных бреднями о благоденствии мужика и рабочего в американских Штатах.

Сбывая Ларкина с рук, правитель был доволен не меньше Мора.

— Мясо принято, сэр! — войдя в каюту, весело доложил боцман. — Девяносто пудов и... весьма порядочное мясо! Рыбы тоже доставлено пудов сто. Бочки налиты водой. Фок-мачта исправлена. Люди с берега вернулись без единой царапины, а угостили их там... — боцман лукаво взглянул на правителя, — только затылки чешут. Какие будут приказания? — спохватился вдруг боцман, заметив предостерегающий взгляд арматора.

— На рассвете поднять паруса, курс зюд-вест! Возвращаемся в Калькутту, — ответил Мор и, заметив одобрительный кивок Баранова, добавил: — На север в этом году не пойдем... Но чем я могу оплатить вашу помощь, господин губернатор? Если бы провидение не устроило нашу встречу... Ступайте, Кадоган, и передайте мое приказание мистеру Конелли! — отослал Мор боцмана к вернувшемуся с берега помощнику. — Я говорю: не поставь провидение вас на нашем пути, мы погибли бы от голода и жажды или еще чего-нибудь худшего среди изобилия, которым дышит эта дикая земля и которым она поделилась с нами рукой своего хозяина...

— А как же иначе? — просто ответил Баранов. — Я не получал вестей, что англичане нам неприятели, и кто мы, чтобы осмелиться нарушить связи и мирные трактаты высоких дворов! — Правитель всегда говорил голосом официального представителя русских государственных интересов в Америке, если опасался их умаления или отрицания с чьей бы то ни было стороны. — Что до меня касается, как есть я, Баранов Александр, сын Андреев, каждый может надеяться, что никогда я не нарушу священных прав страноприимства и человечества. Мы вам, вы нам подмогли — и квит!

— Дружба дружбой, а деньги счет любят, — настаивал Мор.

— Что ж, извольте — посчитаемся! — охотно согласился Баранов. Нужды «губернаторства» были бессчетны, а касса пуста, к тому же убытки от прекращения промысла на все время стоянки «Феникса» в Нучеке были немалые. «На покрытие этих убытков и корабля твоего не хватит, друг мой распрекрасный», — подумал Баранов, принимая поданные Мором счета. — Ну, первое, мясо. Говорит боцман — девяносто пудов доставили? Второе — рыба. Рыбы сто пудов. Мясо положим на пуд два рубля серебром — сто и восемьдесят рублей, рыба по рублю за пуд — сто... Теперь, доставка воды — пятьдесят сорокаведерных налили — двести, скажем, рублей, и лесина на мачту — двадцать... Пятьсот рубликов серебром или — на кантонские пиастры перевести — тысяча пиастров, ежели недорого будет, причитается с вас.

— If you like! O, thank you... If you please!... — растерялся арматор, удивленно глядя на счета. — Ларкин, спросите господина губернатора, не ошибся ли он? — Учитывая обстоятельства места и времени, Мор ожидал услышать гораздо большую сумму.

— Все чохом тысячу пиастров! — подтвердил Баранов и, подозревая желание Мора оспаривать поставленные им низкие цены, холодно добавил: — Не торгуемся! Ежели дорого али денег нет, как потерпевшего ослобоняю... И скажи: денег не ищу, огнестрельным запасом нуждаюсь — порох, пули...

Мор был огорчен неудовольствием, которым правитель встретил его благодарность, и с тем большей охотой старался доказать свое расположение, когда Ларкин перевел ему слова Баранова.

— Пороху? Свинца? О, понимаю! Могу десять пудов пороху и столько же, а если нужно — второе свинца...

Довольный пополнением огнестрельного запаса партии, истощенного ночным нападением колошей, Баранов встал и начал прощаться, желая Мору попутного ветра и счастливого плавания.

— Вы понимаете, мои молодцы, что сделал для нас

¹ Пожалуйста! О, благодарю... Прошу... (англ.)

Господин губернатор? — счел нужным обратиться к своей построенной на палубе команде арматор, пожимая руку отъезжающему Александру Андреевичу. — Вы были на берегу и сами убедились, чего может стоить мясо и вода, добытая в лесах этих гор! Простив ваш петушиный задор и недостойное поведение после боя, господин губернатор по моей просьбе отпустил Джима Ларкина... Господину губернатору и русским отважным людям — hoуга!

Залпом всех своих пушек, о котором Мор заблаговременно распорядился, и многоголосым «Hір! Hір! Hoуга!» провожал «Феникс» Баранова. Когда Чандра заставил упиравшегося Саргача прыгнуть в шлюпку, правитель в последний раз махнул картузом и, сев к рулю на корме, тронулся к берегу, и до самого берега, причудливо залитого багрянцем закатного солнца, провожал арматор глазами утлую шлюпку и сопровождающие ее, чуть видные в пене кипящего сулоя, байдары. Русские на диком побережье южной Аляски, о жизни и делах которых Мор получил достаточно ясное представление, были для него непонятнее и загадочнее всех чудес, встреченных в многолетних скитаниях по свету.

«Если сами не уйдут, их никто не выгонит из этой земли!» — подумал Мор, вспоминая напутственные инструкции Ост-Индской компании действовать силой и страхом, если окажутся бессильными убеждение и золото...

5

— Ты с песиком при мне будешь, хозяйство мое поведешь. Нехитрое дело: сковорода да чайник, ложка да плошка! — сказал Баранов Чандре на берегу, жестикулируя, поясняя круг его обязанностей. — И по-русски, по-русски, спик рашэн... научайся! А-а, понял? — довольно усмехнулся правитель, когда Чандра радостно закивал головой в ответ.

Тут же на берегу Баранов приказал Пуртову, не смотря на надвинувшийся вечер, доставить на «Феникс» рухлядишку Ларкина.

— Да у Яшки, окромя рваных порток, ничего не было! — недовольно буркнул Пуртов, пожимая плечами.

— В таком разе отвези, как собственный, бушлат суконный, сапоги морские лафтаковые, чаю фунт и... пучок лозы березовой, что за иконой, скажи, пушай держит — в память, что лоза сия его обминула! — безулыбчиво пошутил правитель. — Да фонарь на байдаре поставь. Англинцы, в темноте не разобравшись, чего доброго, стрелять учнут! — заботливо напомнил он Пуртову. — А ты, Демид Софроныч, — обернулся Баранов к Куликалову, караулы на ночь удвой — бережного бог бережет! — и дозоры из чугачей своих к лесу вышли... Ежели кому что надобно, я у себя буду.

Ночь прошла совершенно спокойно. Отпор, данный Барановым, был так решителен, потери нападающих настолько велики, что якутатские индейцы со своими союзниками с юга отказались от дальнейших попыток разогнать промыслы алеутов, которых, как они думали, защищают бородатые «касяки», подкупленные островными людьми.

Как всегда, с восходом солнца Баранов был уже на ногах. Вокруг все было затянуто влажной пеленой тумана, сползавшего с ледников северо-западного склона Агассицу — Большой горы — на берег и море.

Такие внезапные и капризные перемены погоды на побережье Аляски в разгаре лета не были в диковинку для Баранова, но в этот раз он обозлился — туман срывал принятые ночью решения.

— Изгаляется анчутка американской над православными за то, что детей его побили, — ворчал правитель, двигаясь на приглушенные туманом голоса людей на берегу. — Эй, кто там есть, корабль английский видать?

— Как его увидишь... — нерешительно отозвался кто-то из мглы.

— Ушел перед зарею, когда луна в море купаться спускалась, а Илья туманом к ней с гор подкрался, — перебил отвечавших уверенный голос. — Я видел, как исчезал в море огонь на корме Коксова брата и слы-

шал... да, да, слышал, как свистела дудка на подъем парусов.

— Кто говорит, выдь ко мне, хочу видеть твои волчьи уши и рысьи глаза... А-а, это ты Лаврентий? Хвалю, что стараешься, — внушительно сказал правитель, оглядывая выросшую перед ним фигуру Лур-кай-ю с державшейся позади него Марьицей. За спиной Марьицы вздыбился горб лотка, в котором алеутки повсюду таскают за собой своих младенцев. — И ты видела и слышала? — ласково спросил ее Баранов.

— Я тоже видела, господин, я тоже слышала все, что говорит Лур-кай-ю! — подтвердила женщина. — И он... он тоже тебе служил — слышал и видел! — добавила она, мотнув головой на лоток, болтавшийся за ее спиной, после чего Баранов окончательно поверил сведениям, добытым глазами и ушами Лур-кай-ю.

Александр Андреевич знал, что алеуты никогда не лгут, выставляя детей свидетелями справедливости своих слов.

— Выдать обоим по папуше табаку! — приказал правитель. — А Марьице новую кухлейку, — добавил он, зорко оглядев ее лохмотья.

Баранов повеселел. Ночью он решил, если Мор, как объявил вчера, уйдет в море, вырядить все партии под охраной Измайлова на «Симеоне» навестывать упущенное в промыслах за время стоянки чужеземного корабля, а самому на баркасе, под парусом и с восьмеркой гребцов, с Чандрой и Саргачом, вернуться в Воскресенскую крепость — принимать и окрестить первенца компанейского флота, построенного на американской земле... То-то Григорий Иванович возрадуется!

— «Добрыня», «Илья Муромец»... нет, краше всего — «Феникс»! — любовно придумывал Баранов название своему детищу. — Дивная птица, куда восхочет, туда и унесет...

В середине дня ветер разогнал туман и принес сорвавшийся с гор грозовой ливень. Хлынувшие потоки воды едва не смыли лагерь на берегу в море. К вечеру бледное солнце, пробиваясь сквозь разорванные тучи, осветило вывешенные на шестах для просушки одеж-

ды и скарб людей. Желтокожие алеуты, мужчины и женщины, без малейшего смущения голяком бродили по лагерю и деловито готовили пищу у разведенных после дождя костров.

Лур-кай-ю с женой в таком же райском виде сидел у своего очага и важно угощал собравшихся вокруг соплеменников полученным табаком.

Белотелые бородатые русские оставались в портках и начальственно похаживали по лагерю, уламывая алеутов к завтрашнему выходу с утренней зарей на промысел.

— Не будет удачи, — упрямо твердили некоторые. — Мы не молились, не постились, не приносили жертв духам охоты... Не будет удачи — беда будет!

— На Кадьяке постились, на Кадьяке камлали, когда в партию шли... Духи довольны! — веско изрек Лур-кай-ю, когда его спросили, как быть и выходит ли он на промысел. Слова его облетели лагерь и прекратили ропот недовольных. Большое Брюхо еще раз доказал Баранову, как умно тот поступил, сохранив ему жизнь.

Острогин, с пушкарями русскими и полусотней индейцев-чугачей и алеутов, оставался на охране лагеря и раненных в ночном бою, пока не закончится промысел в окрестностях и не перенесут лагерь в другое место.

На другой день до восхода солнца лагерь опустел. Около трехсот байдар вышли на промысел морских бобров, растянувшись на десять, двадцать, пятьдесят верст вдоль по побережью, зорко высматривая на всех лайдах¹ драгоценных зверей.

Неуклюжие и как будто беспомощные на земле, алеуты на просторах океана преображались в отважных, неутомимых и искусных охотников, — равными им из белых людей могли быть только русские, родившиеся на побережье Колымы и Камчатки.

Стоя на носу баркаса, державшего под крепким предутренним бризом курс норд-вест-вест, в обход запирающего Чугацкий залив острова Цукли, правитель,

¹ Морские отмели, обильно заросшие водорослями.

как флотоводец на смотру, с помощью неразлучно-дальнозрительной трубы выискивал среди вздымавшихся к горизонту тяжелых волн океана черные щепки байдар своей флотилии. Всмотревшись, Баранов видел как тут и там над этими крутящимися в пене волн скорлупками вставала, как будто танцующая над водой темная человеческая фигура и пускала из прикрепленного к дощечке лука стрелу в пространство, где зоркие глаза морского охотника углядели качающуюся в волнах над зарослями морской капусты чернобурую тушку морского бобра — калана. Истощенный потерей крови от поразивших его после первой еще нескольких стрел, драгоценный зверь всплывет на волнах и будет поднят на деку байдары.

Под вечер, покрыв на утлом баркасе за долгий июльский день около ста двадцати верст хляби морской, Баранов пристал на ночевку к лесистому и безлюдному мысу острова Цукли, с тем чтобы на зорьке снова ступить в путь и при дневном свете пройти последние шестьдесят—семьдесят верст вояжа через усеянную бесчисленными островками и подводными камнями Воскресенскую губу.

В глубине этой губы, в расщелине узкого и длинного фиорда, лепилась у подножия крутых скал, заросших прекрасным корабельным лесом, заложенная два года назад крепость Воскресенская. Место, где быть крепости, еще семь или восемь лет назад выбрал сам Григорий Иванович Шелихов и наперед дал ей пышное имя — Славороссийск, но так как закладка пришлось на день воскресения господня, промышленные окрестили ее Воскресенской.

«Рано еще ей Славороссийском именоваться! — разглядывал Баранов с баркаса лепившиеся к скалам, подобно черным грибам, шалаши и землянки и среди них полтора десятка изб и две казармы. Сложенные из обтесанных бревен постройки почернели за год от сырости и ветров сурового края. — Вот направит ум российский промыслы, принесет с собой заведения добродетельные, тогда и окрестим Славороссийском... А так, пустым местом, чего отечество срамить!» — укрепился Баранов в правильности своего решения.

Идя с кутера, приставшего к свайной пристани в поселении, Баранов спешно зашагал по берегу к мачтовому кораблю, стоявшего в стороне на рештовках антелей. От корабля навстречу бежал, размахивая руками, небольшого роста голубоглазый человек в непромокаемой кухлейке.

— Здоров будь, Яков Егорыч! — приветствовал Баранов капитан-англичанина, обрусевшего на службе в флоте, что зарождавшемся на купеческие деньги российском тихоокеанском флоте. — Медленно с делом спешаешь, однако... С прошлой осени, как я на Кадьяк вернулся, не можешь «Фениксу» нашему крылья приладить! А промедление в деле, как говаривал великий государь Петр Алексеевич, смерти подобно... Что же и чему помеха?

— О-о... — задохнулся Шильдс от негодования, терзая рыжую бородку. — С кем вы меня оставили? Разве это люди? Бездельники, бунтовщики и пьяницы! Что вы мне оставили? Обещали весной все прислать, а где пик, смола и деготь для засмолки? Я буду жаловаться, я дойду...

— Уже дошел, друг... Криком, однако, делу не поможешь, — спокойно перебил его Баранов. — «Святители» с Кусковым и людьми только этой весной, без мачт и снастей, добрались до Кадьяка, а из Охотска еще в прошедшем году перед Покрова вышли... Пришлось им зимовать на Уналашке! Чего не натерпелись люди, а кои и поумирали, однако семена, картофель, коз и собак на Кадьяк доставили. И твои человечки не хуже, Яков Егорыч. С людьми умеючи надо! — Правитель решил перейти в атаку. — А еще доставили известие, Яков Егорыч, что соплеменник твой Кокс взялся по научению Швеции поселения наши разорить и русских в Америке со свету сжить, — вот и рассуди, что мне было делать? Кинулся я Коксу навстречу, чтоб до Воскресенской не допустить, а про твою нужду, каюсь, и забыл... Не будем людей в соблазн вводить — пойдем в избу, пораскинем, чем делу помочь: ум хоро-

как флотоводец на смотру, с помощью неразлучной дальнотрительной трубы выискивал среди вздымавшихся к горизонту тяжелых волн океана черные щепки байдар своей флотилии. Всмотревшись, Баранов видел, как тут и там над этими крутящимися в пене волн скорлупками вставала, как будто танцуя над водой, темная человеческая фигура и пускала из прикрепленного к дощечке лука стрелу в пространство, где зоркие глаза морского охотника углядели качающуюся в волнах над зарослями морской капусты чернобурую тушку морского бобра — калана. Истощенный потерей крови от поразивших его после первой еще нескольких стрел, драгоценный зверь всплывет на волнах и будет поднят на деку байдары.

Под вечер, покрыв на утлом баркасе за долгий июльский день около ста двадцати верст хляби морской, Баранов пристал на ночевку к лесистому и безлюдному мысу острова Цукли, с тем чтобы на зорьке снова пуститься в путь и при дневном свете пройти последние шестьдесят—семьдесят верст вояжа через усеянную бесчисленными островками и подводными камнями Воскресенскую губу.

В глубине этой губы, в расщелине узкого и длинного фиорда, лепилась у подножия крутых скал, заросших прекрасным корабельным лесом, заложенная два года назад крепость Воскресенская. Место, где быть крепости, еще семь или восемь лет назад выбрал сам Григорий Иванович Шелихов и наперед дал ей пышное имя — Славороссийск, но так как закладка пришлась на день воскресения господня, промышленные окрестили ее Воскресенской.

«Рано еще ей Славороссийском именоваться! — разглядывал Баранов с баркаса лепившиеся к скалам, подобно черным грибам, шалаши и землянки и среди них полтора десятка изб и две казармы. Сложенные из обтесанных бревен постройки почернели за год от сырости и ветров сурового края. — Вот направит ум российский промыслы, принесет с собой заведения добродетельные, тогда и окрестим Славороссийском... А так, пустым местом, чего отечество срамить!» — укрепился Баранов в правильности своего решения.

Сойдя с кутера, приставшего к свайной пристани в центре поселения, Баранов спешно зашагал по берегу к остову корабля, стоявшего в стороне на рештовках стапелей. От корабля навстречу бежал, размахивая руками, небольшого роста голубоглазый человек в непромокаемой кухлейке.

— Здоров будь, Яков Егорыч! — приветствовал правитель Джемса-Георга Шильдса, искусного кораблестроителя-англичанина, обрусевшего на службе в только что зарождавшемся на купеческие деньги российском тихоокеанском флоте. — Медленно с делом поспешаешь, однако... С прошлой осени, как я на Кадьяк вернулся, не можешь «Фениксу» нашему крылья приладить! А промедление в деле, как говаривал великий государь Петр Алексеевич, смерти подобно... Что же и чему помеха?

— О-о... — задохнулся Шильдс от негодования, тебя рыжую бородку. — С кем вы меня оставили? Разве это люди? Бездельники, бунтовщики и пьяницы! Что вы мне оставили? Обещали весной все прислать, а где пик, смола и деготь для засмолки? Я буду жаловаться, я дойду...

— Уже дошел, друг... Криком, однако, делу не поможешь, — спокойно перебил его Баранов. — «Святители» с Кусковым и людьми только этой весной, без мачт и снастей, добрались до Кадьяка, а из Охотска еще в прошедшем году перед Покрова вышли... Пришлось им зимовать на Уналашке! Чего не натерпелись люди, а кои и поумирали, однако семена, картофель, коз и собак на Кадьяк доставили. И твои человечки не хуже, Яков Егорыч. С людьми умеючи надо! — Правитель решил перейти в атаку. — А еще доставили извещение, Яков Егорыч, что соплеменник твой Кокс взялся по научению Швеции поселения наши разорить и русских в Америке со свету сжить, — вот и рассуди, что мне было делать? Кинулся я Коксу навстречу, чтоб до Воскресенской не допустить, а про твою нужду, каюсь, и забыл... Не будем людей в соблазн вводить — пойдем в избу, пораскинем, чем делу помочь: ум хоро-

шо, а два лучшие! — заметив растерянность Шильдса, смягчился Баранов.

На вечерней заре пронзительный свист боцманских дудок собрал полторы сотни работных Воскресенской перед избой Шильдса. Баранов вышел к ним без картуза, в сопровождении вызванных в дом десятников, Шильдса и Чандры с Саргачом. В разноязычной и пестрой толпе промышленных в Воскресенской было втрое больше белых людей, чем в партии, оставленной в заливе Нучек, — кроме русских, в ней были финны, плотники из Або, попавшие в Америку из Охотска, куда их насильно переселили после недавней войны со Швецией. С помощью неотразимого аргумента, «барапка в бумажке», Шелихов уговорил охотского коменданта Готлиба Коха списать этих людей на корабельные верфи компании в Америке. Финны, несмотря на привилегированное положение, держались враждебно и угрюмо.

Еще больше хлопот и огорчений доставляли работяге Шильдсу десятка полтора беглецов с английских, датских и испанских кораблей. Они чаще и чаще забирались в эти далекие воды в погоне за пушниной, китовым жиром и усом. Несколько рослых негров и гавайских канаков, сбежавших от тяжелой неволи с кораблей пронырливых «бостонцев», со страхом разглядывали Саргача, как бы узнавая в нем одного из свирепых псов бывших хозяев: те с такими же вот псами держали в повиновении «черную скотину». Неужто справедливый правитель — в его руках они никогда не видели кнута, которым бы он стегал людей, — преобразился в «инглич-босса»?

Баранов, — а ему уже были известны имена отпеченых лодырей и зачинщиков беспорядков и разбойных действий в его отсутствие, — молча оглядывал притихшую толпу.

— Господа промышленные! — начал он спокойно и внушительно. — Благодарю всех трудившихся и душевное удовольствие чувствую, видя в долгую мою отлучку успехи трудов ваших к славе отечества и к чести российского народа, но удовольствие то, кое я желал ощущать, затмевается, с другой стороны, досадой и

огорчением... Узнав здесь про разные скопы и заговоры, разделение на партии, обиды одних к другим, наглое своеволие и развраты, почитаю себя крайне несчастливым, что в управление мне вверены люди таких развращенных нравов. Имеете ли вы право отказываться от послушания в работах и прочем? — Голос Баранова приобрел неожиданную силу. — Требовать таких кормовых запасов, каких либо вовсе нет, либо мало и сберегаются на непредвиденные нужные случаи? Бездельники, стараясь истребить юколу, бросали ее собакам, требовали всегда пироги, оладьи и затуран... — Правитель грозно оглядел чужеземцев-беглецов и стоявшего с ним «богомол» Яшку Плотникова, метившего выйти в попы, но не раз уже уличенного в склонении наивных алеуток к таинствам отнюдь не христианской любви. — Требую чистосердечно объявить, был ли здесь недостаток в кормовых припасах и кто голодовал?! Поелику целость общественная, успехи и благосостояние зависят от доброго и единодушного согласия, буду ожидать от всех вас чистосердечного объяснения и признания в происшедшем. Раскаившиеся могут надеяться на мое человеколюбие и мягкосердечие...

— Ты покайся, а он те сто линьков влепит аль на березу подвесит! — донесся до Баранова голос Яшки Плотникова.

— Зачем линьки аль березу дерьмом поганить? Не тронь дерьма — само засохнет, — безмятежно отозвался Александр Андреевич, шуткой подчеркивая, что не намерен злобиться. — Беседу закрываю. Вред и глупость некоторых, полагаю, все уразумели? С Цыпанова берите пример, с кузнеца нашего. Кровью челевек харкает, а не пожалел сил — перековал и наварил более шестисот топоров и гвозди поделал, болты, якори, брашпиль. Такому человеку отечество истинно помощью одолжено! Завтра с солнцем всех за работой ожидать буду!

Баранов отменил распоряжение Шильдса очистить для начальника одну из изб, занятых промышленными, и устроился с Чандрой и Саргачом в наскоро сколоченном шалаше, рядом с избой-конторой Шильдса.

«Барчерова рука!» — уверенно определил правитель

источник смуты, обнаруженной после девятимесячной отлучки в Воскресенской. Эта же черная рука толкала чуть ли не на братоубийственную войну засевшие в Кенайском заливе и в устье реки Медной артели бывшего шелиховского компаньона Лебедева.

Появляясь под флагом то Гудзоновой, то Ост-Индской компании, а то под каким-то черным неведомым флагом с нашитой на нем змеей, бостонец Барчер выменивал у индейцев побережья бобровые шкуры на ружья, порох, пули. В последнее время он завел темные шашни и усердно спаивал ромом бесчинствовавших в Кенаях лебедецев. Баранов ни разу не встретился с неуловимым корсаром, но угадывал в нем на все готового, опасного врага русскому делу в Америке.

Не останавливаясь ни перед чем в проведении раз принятых решений, Александр Андреевич положил за правило принимать их, держа все нити в руках. Путанные объяснения Шильдса и людей, рассказывавших со слов одного из передовщиков лебедевской артели, не то Петра Коломнина, не то Потапа Зайкова, приходивших в Воскресенскую, о готовящемся восстании индейцев, побудили Баранова держаться выжидательно в надежде добраться до корня...

Под фонарем на бочке, заменявшей письменный стол, правитель почти до рассвета писал донесение Шелихову о встрече с Мором и о событиях в заливе Нучек. Разговоры с Мором натолкнули на мысль об установлении торговых связей с Ост-Индской компанией, манящий голос Феникса увлекал еще дальше — на богатые дарами природы острова южной части Тихого океана. Фантастично смелые, но всегда деловые, подкрепленные цифрами и расчетами соображения Баранова летели навстречу такому же духу отваги и предприимчивости, каким полон был и Шелихов даже в последние годы его жизни, омраченные происками завистников и врагов начатого им дела.

Дописав последние строки очередной, как называл он свои письма Шелихову, реляции, правитель откинулся и прочитал их для себя вслух и с удовольствием:

«Мест по Америке далее Якутата много, кои бы для будущих польз отечества занимать Россиянам давно б следовало... И мужество и неустрашимость потребны к преодолению только первых затруднений, чего в Российском народе всегда найти надеяться можно, и доставить честь государству, которому мы жизнью и покоем жертвовать по присяге и совести обязаны.

Александр Баранов».

Глава третья

1

С отъездом Резановых в Петербург мир и благополучие покинули, казалось, шелиховский дом. Люди и обстоятельства беспрерывно, удар за ударом, разрушали веру морехода в его силы, в былую удачу, в торжество и признание дела, с которым он связал все помыслы последних лет своей жизни.

Высочайшее соизволение на возвращение Резанова в столицу возбудило немало разговоров в Иркутске. Ни для кого не было тайной, что пребывание Николая Петровича в столь глухом, отдаленном от столицы городе следует рассматривать как опалу и ссылку.

— Схитрил Гришка — и труды наши и усердие к отечеству себе в пользу обратил! — обсуждали компании вылетевшие из губернаторского дома слухи о прощении Резанова во внимание к заокеанским странствованиям и открытиям морехода. — Варнак — он всегда варнак: выдал дочку за масона. Мало ли их тут по острогам и рудникам наслано! Выдал, а теперь через столичных фармазонов зятяка оправдал и в Петербург выправил дела обдeldывать. Он нам покажет Америку — по миру пойдем!

Наталья Алексеевна знала о пяти тысячах рублей, которые Григорий Иванович не без труда собрал и передал зятю для оплаты услуг Альтести, склонившего чье-то высокое внимание к заокеанским странствованиям и открытиям тестя Резанова, — знала и потому ничего не говорила мужу о доходившей до неё болтовне

досужих языков: «Не набедокурил бы из-за такого «внимания» Гришата... Темный он стал!»

А мореход, действительно, после отъезда Николая Петровича и дочери в столицу как-то замкнулся, ушел в себя. Сидел дома и, обложившись картами и книгами, готовился к задуманной в лето 1793 года экспедиции на поиски по азиатскому берегу незамерзающей гавани.

Наслышанная о жестокости китайских солдат пограничных ямыней¹, об изощренных мучениях, которым они подвергали попавших к ним в руки чужеземцев, Наталья Алексеевна со страхом и сомнением рассматривала наведенные красным суриком бесчисленные варианты маршрутов экспедиции. Григорий Иванович часто зазывал Наталью Алексеевну посмотреть карты и, больше того, требовал от нее одобрения своей безумной затее...

— Легче мне было бы в Америку плыть, чем пустить тебя на китайскую землю нивесть чего искать! — сдержанно отзывалась Наталья Алексеевна и переводила разговор на отвлекающие размышления о том, как едут или уж доехали и как устраиваются их дети в столице.

— Доехали, Натальюшка, доехали и домового за печь пустили. Николай Петрович, чаю, Державину и челобитные мои передал — не задержали бы дозволением! — охотно отозвался однажды Григорий Иванович на слова жены, думая все о своем — об отправленном на имя царицы всеподданнейшем ходатайстве разрешить ему поиск гавани на свой кошт и, ежели эта нужная гавань будет найдена южнее устья Амура, дозволить вступить в переговоры с китайскими властями.

Прямодушный Пиль, болевший нуждами вверенной его управлению Восточной Сибири, этого, как он называл, «окованного льдами царства», и в этот раз доброжелательно поддержал полезную русскую инициативу, не убоявшись того, как может быть расценено в Петербурге, поглощенном делами на Западе, такое неуместное вмешательство в высокую политику.

¹ Областей.

— Вот кабы Николай Петрович прошение твое в печь спустил, а домового Гавриле Романычу отдал, ей не пожалела бы! — шутила Наталья Алексеевна, вспоминая данного ею дочери по древнему поверью на доброе бытование домового сверчка, с большим трудом уловленного в поварне и заключенного в крохотную коробочку с прелым листом и хлебными крошками. Коробочку с «домовым» Наталья Алексеевна называла Аняте всю дорогу держать в шубке под дохой — не замерз бы. «А нежив будет, замерзнет — брось за печь, как в дом войдешь, чтобы не оскудел дом сытостью! Он за печью оживет...»

— Ну-ну, ты скажешь, Натальяца! Всеподданнейшее прошение на высочайшее имя под козявку сменяла! — замахал руками Григорий Иванович на жену.

Наталья Алексеевна только вздохнула и смолчала: как никогда, был ей не по сердцу новый замысел мужа.

Мысли о том, что усилия найти незамерзающий выход в Тихий океан со стороны Сибири ни к чему не приводят, приносили мореходу много тяжелых огорчений.

Административная кухня губернаторской канцелярии не имела тайн от вездесущего Ивана Ларионовича Голикова, крупнейшего пайщика шелиховских компаний, и Ивана Андреевича Лебедева-Ласточкина, бывшего компаньона по первому, десять лет назад проходившему плаванью Шелихова в Америку.

— Я деньгу в это дело вложил, три корабля экипировал, а он что? Латанные портки да шалую женку, что за ним увязалась! А прибыль делить приказчик мой пополам захотел?! — объяснял Лебедев свой разрыв с мореходом после возвращения Шелихова с женой из преисполненного больших опасностей и невероятных лишений заокеанского странствования.

Сидя дома в ожидании столичного ответа на свой план поисков незамерзающей гавани, Шелихов перебирал в памяти дела и дни, положившие начало его Славороссии.

Причина расхождения с Лебедевым лежала глубже споров о разделе прибыли. Разлад шел из-за того, как управлять колониями и какие цели преследовать в отношении туземного населения Америки. Простодушие и

беззащитность туземцев открытой земли, благородство и преданность Куча тронули сердце морехода. Встречи и разговоры с Радищевым, ссылки на мнения и суждения которого — Шелихов понимал это — были невозможны и опасны, заставили морехода по-иному взглянуть на смысл и направление своей деятельности в Америке.

— Управлять дикими надо твердостью, но и с пониманием, привязывая краснокожих пользою и научением, — принял решение Шелихов и, как умел, старался проводить его в жизнь.

По-иному смотрел на дело Лебедев.

— Железом и страхом подчинять надо, иначе что с них возьмешь, — говорил он.

Сила и права капитала были на стороне Лебедева; на стороне же Шелихова оказались люди — и те, что вернулись с ним из плавания, и те, которых он оставил в первых основанных им постоянных русских поселениях на Алеутах и американском материке.

Третий компаньон, Иван Ларионович Голиков, душой был во власти интересов капитала, но из расчетов стать в будущем единоличным владельцем найденного за океаном золотого руна — «с открывателем как-нибудь уж сам, придет время, управлюсь» — принял сторону Шелихова.

После трехлетней волокиты по судам и присутственным местам Шелихов, проявив неожиданную для Голикова деловую находчивость, смекалку и умение находить покровителей и сторонников, сколотил три новых товарищества и стал во главе дела — на место, которое Иван Ларионович оставлял за собой.

Разойдясь с мореходом, Лебедев основал собственную компанию и заложил две-три фактории на берегах Кенайского и Чугацкого заливов. Передовщиками к нему пошли несколько старовояжных, побывавших с Шелиховым в Америке, но возвращенных мореходом в Охотск по той причине, что оказались неспособны ужиться с туземцами.

«Пропадут непутевые, а какую кашу расхлебывать нам доведется!» — думал Григорий Иванович, разбираясь на досуге в донесениях Деларова и Баранова о

бесчинствах лебедевских людей среди кенайцев и чугачей. Он представлял себе лица перекинувшихся к Лебедеву старовойжных и досадовал: люди все крепкие — Потап Зайков, Коломнин, Забалушин, Коновалов... «Этот-то суший зверь, этот и своих в железа возьмет, дай ему волю!» — вспоминал Шелихов мрачную фигуру партовщика Коновалова, которого он после памятного боя с конягами на Кадьяке арестовал и привез в Охотск судить за ничем не оправданные убийства замиренных островитян.

Коновалов свои преступления пытался взвалить на него, Шелихова. Подлекарь Мирон Бритюков, подлый человечийка, подкупленный Лебедевым, когда начались между ним и мореходом раздоры, подал в 1787 году бумагу капитану Биллингу. До сих пор дело не кончилось, до Петербурга дошло, там и застряло, хотя Бритюков на допросе в совестном суде сознался, что по уговору Лебедева, наглотавшись водки, спьяна подмахнул бумагу, которую подсунул ему сквалыга-ярыжка Козлятников.

Среди кляузных дел, неизбежных в те времена при выдвижении простого человека из народной толщи, днос подлекаря Бритюкова всегда всплывал со дна тяжелых воспоминаний Шелихова. Тем более, что перед лицом собственной совести мореход и сам признавал за собой вину — вольную или невольную, кто ее разберет. А причина, чтобы винить его, была, — причина, наложившая до сего дня не смывое пятно на имя Шелихова, как человека и первого от России завоевателя Нового Света.

«Гришата, на что ты Коновалову рассудил доверить правож над изменой кадьяцких американцев?» — эти слова Натальи Алексеевны, укоризненные глаза и голос ее навсегда запомнились мореходу, когда к ним в барабору, поставленную после высадки на острове Кадьяке, ворвались несколько промышленных с криком о том, зачем Коновалов зря людей переводит.

Пока Шелихов с десятком верных людей добежал до ущелья, в которое согнали покорившихся после ночного боя дикарей, Коновалов, хвативший спиртного для лучшего розмысла, распаленный гибелью своих това-

рищей, успел порубить и пристрелить несколько разма-
леванных черной краской воинов, да многих искололи
и зарезали конвоиры из лисьевских алеутов, имевших
давние кровавые счеты с кадьятскими конягами.

В молодости лихой кулачный боец, Шелихов едва
справился с пьяным, потерявшим рассудок Коновало-
вым, заковал его в кандалы и, продержав преступника
под караулом, забрал с собою в Охотск. Вернувшись
же домой, Шелихов смалодушничал, не дал хода кро-
вавому делу: Лебедев и Голиков отстаивали Конова-
лова, да и сам Коновалов при попустительстве Бил-
лингса исчез, убрался на время в родные места, куда-
то на Колыму.

«Из-за сокрытия чужой и своей неправды — боялся,
чтобы в жестокости и алчбе с испанцами и англича-
ми не сравнивали, — и поплатился», — укорял себя за
это Шелихов. А Лебедев, проигрывая в неправом спо-
ре, на все шел, лишь бы опакостить дело, — ну и
нашел Бритюкова! Бритюков коноваловское зверство
подбросил Шелихову и Коновалова против Шелихова
же в свидетели выставил.

Не дано человеку знать замыслы ни явных своих
врагов, ни тайных недругов, — не знал и мореход, что
Лебедев и Голиков, снова секретно вошедший в лебе-
девскую компанию, усмотрели в возвращении Резано-
ва в Петербург угрозу своим расчетам перенять на себя
шелиховское дело и стать хозяевами в американской
земле. Вослед Резановым и Бему выехал в столицу
бывший заседатель совестного суда Козлятников. Вы-
гнанный с места, этот судейский крючок, находясь
много лет под судом и следствием, занимался практикой
подпольного ходатая по махинациям дошлых купцов.

У обоих компаньонов были грехи и прорухи в тор-
говых делах с анадырскими чукчами и ительменами на
Камчатке — они опасались снявшегося в столицу Бе-
ма. Козлятникову, чтобы отвести от себя неприятности
и показать пример своей рачительной заботы правдо-
искателей, они поручили разворошить дело Шелихова
о разорении американских селений и убийстве множе-
ства новых верноподданных, завоеванных державе
стараниями купцов Голикова и Лебедева.

Учить Козлятникова не надо было. Голиков указал ему только одно — найти советника коммерц-коллегии Ивана Акимовича Жеребцова, с которым у торгового дома Голиковых были давние и прочные связи по откупам. Тихоструйный Иван Ларионович из обрывков рассказов, слышанных от самого Шелихова и через людей, — не умел мореход держать язык за зубами — догадывался найти у Жеребцова поддержку...

2

В середине мая Ангара очистилась от льда. Лед прошел уже и из Байкала, дальше потянулся по Енисею и ввергся в пучины Северного океана. Этим льдом Байкал, говорили тогда, кланялся Ледовитому океану. Из окна шелиховской комнаты, выходившего на задворье — в сад и на реку, было видно, как далеко за Ангарой голубели в весенней дымке гольцы и сопки тунгусской земли.

Шелихов, в ожидании разрешения на задуманную экспедицию, с нетерпением отсчитывал дни до середины лета. К этому времени, по его расчетам, должны были вернуться из столицы, конечно, уже на колесах, посланные с дочерью и зятем кошевы с порохом и ядрами, которые предстояло получить из Кронштадтского арсенала. Хотя порох был и в Иркутске, как в Якутске, Гижиге и в Охотске, где снаряжались суда компании, и от долгого хранения на казенных складах этот порох часто, кстати сказать, приходил в негодность, — все же корабли дальнего плавания по положению могли получать его только из Кронштадта, для чего надо было преодолеть в оба конца двенадцать тысяч верст.

— Законы святы, да исполнители лихие супостаты! — ругался Григорий Иванович, прося зятя исполнить обещанные компании триста пудов пороху и другой огнестрельный запас, а равно наблюдати за погрузкой этого в Рамбове¹ и выпроводить обоз из столицы.

¹ Так в просторечии назывался Ораниенбаум, отстроенный в начале XVIII века Меншиковым.

— В дороге, где ростепель застигнет, переждете, — наставлял Шелихов отправлявшегося с Резановым приказчика, — на колеса перегрузите — и к лету жду обратно...

В начале лета жара иссушила землю. Огромный спиртовой термометр Фаренгейта, подвешенный к кедру в конце шелиховского сада, показывал 115 градусов¹ — такая жара не часто выпадает в Иркутске, привычном к короткому летнему зною.

— Гришата, — сказала Наталья Алексеевна, едва разыскав мужа, занятого подвязкой кустов в малиннике близ пасеки, — прискакал казакишка и говорит, тебя к генералу требуют, к Пилю. «Пусть поспешает», — говорит...

«Разрешение на Китай доставили, что ли?» — думала она с замиранием сердца, но тревоги своей не обнаруживала.

— Разрешение? — задохнулся, спрашивая, Григорий Иванович. Проходили все сроки для выхода на поиск собранной и жившей при его усадьбе партии.

— Уж не знаю, что будут говорить... Куда же ты? — остановила она мужа. — В таком образе генералу объявись? Одеться надо, цирюльника позвать... Ты погляди на себя, на кого похож стал!

— Камзол надеть? Шпажонку прихлестнуть? Парик нахлобучить? — спрашивал мореход и тут же рассмеялся, оглядев измазанные холщовые порты и снятый с головы гречишник². — Ин, быть по-твоему!

Через час, на излюбленной тройке, с неизменным Никишкой на облучке, Шелихов подкатил к наместническому дому — дворцу, как называли его в Иркутске: именитые сибирские купцы обычно пешком из дому не выходили.

Скинув на руки дежурного унтера морской плащ и оставшись в атласном камзольном костюме кофейного цвета, Григорий Иванович оглядел себя в тусклое зеркало — все ли в порядке — и, придерживая рукой

¹ 38 градусов по термометру Цельсия.

² Широкополая с высоким дном мужицкая летняя шляпа из гречишной соломы.

жалованную царицей шпагу, зашагал в кабинет наместника.

— С виду дворянин, иль бери повыше — почетный иностранный гость, случаем занесенный в сибирские края, а на деле самый что ни на есть простой купчина! — шептались, завистливо оглядывая его, попадавшие навстречу знакомые чиновники.

При входе в кабинет Шелихов замешкался у порога, почувствовав сразу что-то неладное, когда увидел у Пилы членов совестного суда и какого-то дородного незнакомца, в добротном суконном мундире столичного покроя.

«Пришел за разрешением, — подумал Григорий Иванович, — а тут, похоже, вязать собрались». И, смешавшись, поклонился, как заправский купец, вперегиб — низким поклоном, забыв и про камзол и про шпагу, которые отличали в нем не купца, а морехода.

Пиль по свойству своей сангвинической натуры обычно встречал Шелихова добродушной шуткой или грохочущим водопадом деловых расспросов, на этот же раз принял морехода сухо и официально. Видно было, что его превосходительство чем-то крепко недоволен и озабочен.

— Вот и Шелихов, — сказал Пиль подавая мореходу знак приблизиться к столу.

Над столом, за спиной наместника, висел портрет Петра I в копии, намалеванной с работы знаменитого английского придворного живописца Кнеллера. На столе по правую руку висилось зеркало¹. На лицевой стороне зеркала Григорий Иванович успел прочесть слова: «суд божий есть...» и «... яко первое и важное дело ведать все уставы государственные и важность их».

— Как звать? Откуда родом? Занятие или ремесло? — спрашивал наместник, как обычно допрашивают подсудимых или подсудимых людей.

— Извольте видеть, тот и есть, кто нам нужен, — обратился Пиль к незнакомцу в сером мундире. — С че-

¹ Трехгранная призма, увенчанная двуглавым орлом; по ее сторонам были наклеены (иногда выгравированы) три печатных указа Петра, относящиеся к отпращиванию законности и правосудия в империи.

го угодно приступить, господин... — Пиль сделал вид, что забыл фамилию прибывшего из столицы чиновника.

— Кайданов, ваше превосходительство! — подсказал тот с невозмутимым видом. — Если не возражаете, зачитаем предписание и отберем расписку, а уж потом...

Чиновник встал и, слегка прокашлявшись, ровным, монотонным голосом прочел взятую из лежавшей перед ним на столе стопки бумаг ту, для оглашения которой он проделал шесть тысяч верст до Иркутска.

— «Его превосходительству Восточной Сибири и Колыванского края наместнику, генерал-поручику и кавалеру Ивану Алферьевичу Пилю.

Между несчетными благами, коими Россия благодетельствована от Екатерины Второя, приятнейшими почитать должно добрые отношения с китайским двором и мир на дальней восточной границе нашей державы. Поелику ненужное и вредное устремление иркутского первой гильдии купца Григория Шелихова, хотя и поддержано вашим превосходительством, явно угрожает нарушением заключенных высокими сторонами трактатов и вытекающей из оных обоюдной пользы, предписываем направляемому в ваше распоряжение младшему советнику коллегии иностранных дел Кайданову объявить ему о сем под вашим наблюдением и отобрать подписку в объявлении означенного Шелихову нашего распоряжения.

Президент коллегии иностранных дел генерал-фельдцейхмейстер и наместник Таврический Зубов».

— Уразумели? Подпишитесь! — протянул петербургский чиновник прочитанную бумагу Шелихову. В голосе его явно звучала недопустимость сомнений в «благodeяниях» императрицы, от которых изнывала Россия, и — еще более — убеждение в ненужности «вредных устремлений» купца Шелихова.

Совершенно ошеломленный, мореход молчал, с лицом, залитым краской стыда и посрамления, склонился над столом и после мгновенного колебания вывел крупными размашистыми буквами: «Иркутский первой гильдии купец, именитый гражданин города Рыльского Григорий Шелихов».

Титулование при подписании правительственных указаний излишне, — поморщился Кайданов, но, увидев бешенные глаза Шелихова, отступил от него на шаг и обратился к Пилю: — Разрешите приступить к опросу, ваше превосходительство?

Пиль молча кивнул и, не выдерживая бесстрастия, которое следовало бы соблюдать как тон, приличествующий в присутствии представителя верховной власти, сказал членам совестного суда:

— Старая кляуза! Господа заседатели уже немало приложили труда, чтобы распутать ее злонамеренность. Я полагал, что адмиралтейская коллегия, удостоверившись из представленной журнальной мореходческой записки и свидетельских сказок, в которых отнюдь не утаивались все те покушения, какие были от американцев на компанию Шелихова и от него на них, признала законность самозащиты. А сейчас вижу, в дело вошла иностранная коллегия по причинам, которые прибывший к нам в сей оказии господин... — Пиль упорно забывал фамилию петербургского чиновника и, услышав скромно подсказанное «Кайданов», произнес отчетливо: — ...господин Капканов разъяснить мне не мог, то и нам остается, выполняя волю высшего начальства, заново рассмотреть донесение подлекаря Бритюкова капитану Биллингсу от второго ноября тысяча семьсот восемьдесят седьмого года... Впустить Бритюкова!

В кабинет наместника в сопровождении тюремного конвойного солдата вошел и остановился на пороге, испуганно щуря подслеповатые гноящиеся глаза, заросший рыжей щетиной неказистый мелкий человечек. Оглядев его с брезгливым интересом, петербургский чиновник, принявший на себя, повидимому, роль прокурора, обратился к Шелихову:

— Ты... вы... знаете этого человека, Шелихов?

— Очень даже хорошо знаю, ваше благородие! — твердо ответил мореход. Он вполне уже овладел собою и решил покорно принять срам и наказание за старый «грех». — Этот человек на кораблях единою почти тягостью был в плавании моем.

— Почему, любопытно знать, именно этот человек,

сообщавший власти о противозак... о сомнительных действиях ваших, был вам в тягость?

— Его спросите, ваше благородие, он про то знает, да и в деле имеется...

— Я вас спрашиваю, Шелихов!

— Ярыжка он кабацкая, а не лекарь. Он не пользовал людей, а множил их недуги, духовные и телесные. Спирт для лекарских надобностей аптеки корабельной до дна высушил и дружкам своим спойл. Женщин и девок американских за спирт к блюду склонял и Коновалова, накачавши спиртом, во зло мне за взыскательность к его безобразиям на черное дело натолкнул, а опосля...

— Так, достаточно! Разберемся теперь в отодвигаемом вами от себя черном деле... — Петербургский чиновник порылся в бумагах. — Ага, вот и оно! — И тем же ровным голосом, значительно оглядев членов совестного суда, огласил:

«Его высокоблагородию, флота капитану господину Биллингсу, подлекаря Мирона Иванова Бритюкова по службе чистосердечное донесение». Чистосердечное донесение! — повторил Кайданов и оглядел членов совестного суда.

«...и прибил сих безгласных народов до пятисот человек, а из захваченных в плен не малое количество обоего пола приказанием его, г. Шелихова, велено... мужеск пол отбить и отвести в тундру и всех переколоть копьями...»

— Не было на то моего приказания! — не выдержав клеветы, воскликнул мореход. — Обносит меня Бритюков...

— Не перебивать! — строго остановил Шелихова петербургский чиновник. — О сем скажете, когда спросу... — И продолжал чтение менее внятно, сам, видимо, удивленный бессмысленными противоречиями приведенного в доносе обвинения.

«...а женщин и детей из оставшихся до шестисот человек взял с собой в гавань и держал три недели, к коим разбежавшиеся и укрывающиеся мужья стали приходить, которым он всякому свою жену возвращал, а из детей по одному человеку оставлял у себя в ама-

наты, и по раздаче отпустил напоследок и остальных. Про страшные сии поступки, слышав от него, г. Шелихова, об уполномочении его и данной ему власти не только сих народов, но и российских казнить и вешать, с приезда моего ни в какое правительство донести не осмелился...»¹

— Как же так, болван, «не осмелился», когда я держу твоё донесение? — остро возрился в поникшего голловой Бритюкова столичный посланец. — Тебя, может быть, запугивали, подкупили?..

— Точно так, подкупили... Козлятников обещался благодарностью от господина Лебедева и водкой поил, я... я подписал и поставил на бумаге... — чуть слышно выдавил из себя Бритюков.

Кайданов чувствовал себя в явно неловком положении. Он знал, что припомнившееся Ивану Акимовичу Жеребцову старое кляузное дело, которым он обязал припугнуть Шелихова, не стоит выеденного яйца, но понадеялся на заверения Козлятникова, что Бритюков, сидящий в тюрьме за ложный донос, будет стоять на своем и выставит видоков, которые подтвердят безобразия, творившиеся на американской земле...

Козлятников же, только что вернувшийся в Иркутск, залег на печь и умирающим притворяется. «Каналья! — злился столичный чиновник. — Да и этот, — глядел он на Бритюкова, — не только ни на кого не ссылается и ничего не подтверждает, но с первого же вопроса кается в облыжном доноситељстве!..»

Члены совестного суда, испуганные недоверием столицы к решению, вынесенному ими по делу в свое время, торжествующе переглядывались: они оказались совершенно правы. Наместник Пиль также счел момент подходящим рассчитаться со столичными властями за то, что они порицают его, губернатора, поддерживающего намерение Шелихова искать необходимую Сибири незамерзающую гавань, как и за то, что сомневаются

¹ Приводится в подлиннике. Несмотря на всю нелепость этого документа, враги и русские и иностранные конкуренты Шелихова обвиняли его в жестоком обращении с туземцами. Такое мнение, не подтверждаемое документами и отзывами современников, существовало и до нашего времени.

в правосудии по грязному, кляузному делу об избииении американских туземцев. Пиль тщательно расследовал дело о мнимых злодействах Шелихова в Америке, знал о гнусном своеволии передовщика Коновалова, как и о высылке его Шелиховым в Охотск. Кроме того, ему, губернатору, были прекрасно известны и торговые раздоры морехода с Лебедевым, породившие это дело.

В понятиях Пили, этого в прошлом «старого солдата», всю жизнь прошедшего в войнах со шведами, пруссаками и турками, гибель нескольких десятков, пусть даже сотни-другой людей вообще ничего не значила: всякое завоевание на крови своей и чужой стоит... И Америка, — разве мало она русской крови взяла!

— Кляуза Бритюкова, полагаю, — сказал Пиль, — теперь и пред вами, как на ладони, лежит. Бритюков несет по закону положенное наказание. Ты скажи, Бритюков, господину Капканову...

— Кайданову, ваше превосходительство! — уже сердито поправил наместника петербургский посланец. — Кай-да-нов...

— Эка память на старости стала, уж вы извините меня, господин Кайданов... Скажи, Бритюков, господину Кайданову, для чего ты спустя два года отважился бумагу капитану Биллингсу подать?

— Капитан потребовал ее, чтобы препроводить куда следует или задержать у себя для моего оправдания, в случае дальнейшей от меня молчаливости.

— Лучше было бы тебе, Бритюков, молчать — не пришлось бы искать оправдания во лжи... А в Петербурге, — вернулся Пиль к первоначальной мысли язвительней уколоть столичную власть, — в Петербурге напрасно думают, что мы к интересам и чести отечества в Сибири вровень с медведями одно понятие имеем! Григорий Иванович, ты обязательно предоставь его высокородию осмотреть твою школу, а вам, господин Кайданов, посоветую о деле этом с ребят, взятых в аманаты и привезенных в Иркутск, опрос снять. Дети туземцев, избиеенных языком Бритюкова, содержаемые в сытости и довольствии коштом Шелихова, обучаются наукам и по-русски говорят и разумеют не хуже нас с вами...

— Не премину, ваше превосходительство! — примирительно и даже искательно отозвался столичный гость, чувствуя полный провал полученного от Жеребцова задания.

Простодушному Пилю, уволенному через год по всемилостивейшему рескрипту в отставку с благодарностью за долгую и усердную службу, никогда не приходило в голову, в какой мере он был обязан этим человеку в сером мундире, которого нечаянно, но метко окрестил «Капкановым». «Чтоб добраться до Шелихова, надо убрать Пиля», — таков был хитрый капкан, представленный советником Кайдановым по возвращении из Иркутска на рассмотрение Ольги Александровны Жеребцовой.

3

«Не быть поиску гавани!» — мгновенно определила Наталья Алексеевна, когда Григорий Иванович чернее тучи вернулся из наместнического дворца. Он потерпел крушение. Срывается его замысел о ненавистой ей экспедиции. И хотя разумом она полностью разделяла горечь поражения мужа, сердцем женщины и жены благословляла ту враждебную силу, которая сковала его волю и стремление к неверному и никому, как она думала, не нужному подвигу.

— Высек петербургский холуй Ивана Алферьевича и... меня! — буркнул мореход, сдернув и бросив с ходу на пол шпагу. — Дай однорядку и... кто придет — гони в шею!

В «каюте» — так в шутку называл иногда свой кабинет Шелихов — он с горечью подошел к столу, где лежали развернутые листы маршрутов поиска незамерзающей гавани. Еще и еще раз проследил затуманенными глазами замысловатую, проложенную через горы и реки Даурии и Малого Хингана линию красного сурика. Где-то выше 40° красный сурик вырывался к океану — в уже найденное воображением незамерзающее пристанище.

Такие же фантастические красные дорожки тяну-

лись, огибая с севера японский Мацмай¹ и с юга Курильские острова, к берегам Америки. Здесь красными звездочками были обозначены русские поселения, ими фантазия морехода покрыла даже солнечную Калифорнию.

В немой мгновенной ярости Шелихов схватил кусок угля и перекрыл карту жирным черным крестом.

— Вам не надобна, а что же мне!.. Я лавку открою, в краснорядцы заделаюсь, — шептал он дрожащими губами. В памяти вставало напутствие Пиля после конфуза: «Иди, иди, Григорий Иванович, ничего не говори... Это нам из Петербурга пальчиком погрозили и для острастки посекали, чтобы знал сверчок свой шесток... ха-ха!.. за печью...»

Сорвав со стола пачку карт, Шелихов одним рывком располосовал их сверху донизу, оглядел оставшиеся в руках половинки, с отделившейся от России Америкой, и, еще больше ожесточаясь, стал рвать их в мелкие клочья.

Клочья расчерченной бумаги покрывали пол, когда вошла Наталья Алексеевна с будничной однорядкой в руках.

— Гришата, почто убиваешься? Гляди-ко, как помучнел², — опустилась она на колени у кресла, в котором сидел муж. Невидящими, будто слепыми глазами он вперился куда-то вдаль, за Ангару, и молчал. — Мучился ты с этой гаванью, мудровал, а охлестыши столичные и свои иркутские аспиды бородатые по насердке, зависти, что на славе ты, и присадили... Оскудел ты всем, чем радовал, — силой-удалью, орлиными крыльями... — И потом чуть слышно уронила: — А как недавно жили-то!

Малиновый диск солнца бессильно опускался и потухал в свинцовой купели разлившихся в западной стороне туч. Правее, в северной части неба, пробегали тревожные не то сполохи, не то зарницы магнитного сияния, которое, как думал мореход, всегда стоит над льдами, прикрывающими северные окраины русской земли.

¹ Остров Хоккайдо.

² Побледнел (сибирское диалект.).

Слушая ласковые слова жены, Григорий Иванович чувствовал правоту ее — своего единственного друга. Он один. Стоит один под ударами судьбы. С проклятой поездки в Петербург, со дня Кучевой гибели, все пошло прахом: что ни задумаешь — оборачивается супротив, сходят на нет почет и уважение от людей, завоєванные отважной игрой со смертью, когда, зажмуря глаза, бросал кости на чет-нечет... С буранами сибирскими, с камчатскими вьюгами, в ураганах морских развеемы силы и здоровье. «Того и жди, задушит, проклятая!» — думал Григорий Иванович о своей болезни — грудной жабе. В воображении Григория Ивановича эта нудная хвороба вырастала в мерзкий образ когтистой жабы, с лицом вдовы секунд-майора Глебовой...

— Лебедевских рук дело и Ивана Ларионовича выдумки! — уверенно сказала Наталья Алексеевна, выслушав во всех подробностях рассказ мужа о событиях дня. — А и что ни говори, безвинная кровь вопиет... Казнить тебе Коновалова за зверство его следовало, а ты потачку дал...

— Как это потачку дал? В трюм кинул и в Охотск на суд отослал...

— То-то на суд! А какой ему был суд? Опять он там, опять над беззащитными изгаляется, кровь людскую, пес хрипучий, слизывает и твои труды и Баранова старания под корень ссекает. Александр Андреевич враз бы его обезвредил, а ты не позволяешь, к Голикову прислухиваешься, Лебедева как бы не обидеть опасешься.

— Недаром говорится: волос долог, да ум короток, — попробовал мореход прикрыться грубоватой шуткой от упреков Натальи Алексеевны. Много неприглядного осталось в ее памяти из первого плавания, и крепко тревожили сообщения Баранова о разгуле лебедевских ватаг под предводительством снова объявившегося в Америке Коновалова. — Пусть уж люди сплетки плетут, а тебе не пристало корить меня... Ты-то знаешь, какой шум Лебедев поднял по нашем возвращении. Голиков и по сей день усердствует дело подорвать, не гляди, что компаньоном считается...

— Кто старое помянет, тому глаз вон, а я... Григорий Иванович, и не судья тебе. Знаю, в каком обложении ты трудишься, — как всегда уступчиво согласилась Наталья Алексеевна. — Тебе виднее! Об одном молю господу, не упала бы на деток наших кровь безвестных и безыменных, погубленных нашим небрежением...

Уж кто-кто, а Наталья Алексеевна знала, сколько греха принял на свою душу ее Гришата в погоне за славой и богатством, сколько молитв, обетов и милостыни положила она за его удачу, когда, выбиваясь из подлого состояния в именитые люди, кидался он на самые что ни на есть опасные дороги, улыбочиво и бездумно ставил на кон свою и чужие жизни. Самым дорогим кладом Натальи Шелиховой, правдивой и сильной духом русской женщины, была вера в то, что муж ее больше мореход и открыватель, чем купец и охотник до золотишка. Неугомонная предприимчивость и беспокойные смелые планы рождены не низменной страстью его к золоту, а из благородного стремления к подвигу, из дум о своем народе, из усердия к славе и чести отечества...

— Ну-ну, не накликай беды, Наташенька, — смущенно защищался Шелихов, не раз уже побаивавшийся душевного зрения и чуткости жены. — Людей, на Китай нанятых, завтра распушу, а в Славороссию вместе поплывем наводить порядок... Вот только от Николая Петровича, как дела наши идут, вестей дождусь да с компанionsми договорюсь, — к тому времени корабли снаряжу...

Разговор был прерван появлением старого Сиверса. Шелихов получил полное удовлетворение от неожиданных вестей, рассказанных доктором. Наезжий петербургский ревизор, потерпев позорное фиаско с поручением высоких особ сокрушить Шелихова и обременить Пилу, выйдя от наместника, поехал, как оказывается, прямо на дом к заварившему эту кашу Козлятникову и, застав пакостника за штофом водки и блюдом байкальских омулей, так измолотил его тростью, что Козлятникова, забившегося в испуге под стол, вытащили оттуда без языка...

— Козлятник, котори лежал под стол, — рассказы-

вал Сиверс, — после столични угощенья, ganz möglich¹, ляжет на стол... Скоротечни покойник!.. Но этот крючок все же имел сил и надобность просить меня составить für Ordnung² медицински протокол, что он битый насмерть...

Лебедев и Голиков, по словам Сиверса, услышав, что представитель крепкомочного столичного правосудия, избивая Козлятникова, обещал так же расправиться и с другими виновниками конфуза, трусили и поехали к Пилю искать защиты.

— Excellenz³ были очень довольный, очень смеялся, очень ругался, кричал «по делам вора и мука», мигнул мне передать медицински conclusum⁴, чтоб отослать в Петербург, а полицмейстеру сказал, что господин Капканов обязаны в одни сутки убираться из Иркутска...

Шелихов хохотал до колик и заставил Сиверса дважды повторить рассказ, смакуя испуг и растерянность личных врагов от такого неожиданного афронта. Поношение сословной чести и достоинства купеческого звания залетным столичным вицмундиром в этот раз не вызвало обычных жалоб на неуважение и униженное положение купечества среди прочих сословий российского государства.

Купец-землепроходец Шелихов держался никем не разделяемых в его время представлений о движущих силах русской истории. В отличие от враждебных, как он понимал, народу бездельных дворян и служилого чиновничьего сословия, он ставил первыми подобных себе купцов, добытчиков и предпринимателей. В его представлении русские люди искони были купцами и землепроходцами. Где торговой смекалкой, а где и воинской силой раздвигали они пределы и крепили мощь русской державы. Настойчивый меркантилизм Петра I, давший выход таившимся в народе подспудным силам, представлялся мореходу золотым веком России. «Иные в графья и бароны повылезли!» — вспоминал Шели-

¹ Очень возможно (нем.).

² Для порядка (нем.).

³ Его превосходительство (нем.).

⁴ Заключение (лат.).

хов фамилии удачливых хищников Строгановых и Демидовых. Священным напоминанием о лучших в представлении Шелихова временах отечества был хранившийся в отцовском доме золоченый ковш с гербом, подаренный великим государем их прадеду, рубежному стрельцу и парусинному мастеру Григорию Лукичу Шелихову. Ковш этот Петр подарил за поставку добротного сработанного рукотканного полотна на окрыление Азовской флотилии.

Через несколько дней после пережитого негласного судьбища Шелихов рассчитывался с людьми, набранными в поиск незамерзающей гавани. Многих из них — хорошие ребята! — Григорий Иванович убедил подписать отбывные обязательства — ехать в будущем, девяносто четвертом году в Америку. Среди всех этих дел мореход узнал, с досадой на собственную догадливость, что петербургский ревизор только-только выехал из Иркутска. В доме Лебедева-Ласточкина, у которого остановился его благородие, было такое трехдневное гульбище, что дым стоял коромыслом. Даже иркутский полицмейстер присядку там откалывал. И все вояжиры шелиховских компаний три дня из лебедевского дома не выходили. Кончилось же тем, что с господином чиновником ушла запасная, груженная доброхотными иркутскими подношениями кибитка, а вместе с ними и поклёпы на него, Григория Шелихова, — какие — сам догадывайся.~

Лето кончилось. Утра вставали туманные и прохладные. Яблони, березы и черемуха осыпали желтым листом полянки просторного шелиховского сада. В начале сентября, на Рождество богородицы, выпали первые заморозки, и с ними в одно багряное предвечерье распахнулись ворота шелиховской усадьбы, впуская долгожданный обратный обоз с огнестрельным запасом и другим закупленным в столице добром.

Исхудалые, оборванные, иссушенные солнцем и ветрами, дважды перекрыв за восемь месяцев путь между 30 и 100° восточной долготы, без малого треть земной окружности, вернулись домой шелиховские люди.

— Из шестнадцати лошадок, что на Расею пошли, возвернулись двенадцать, достальных менкой либо куплей добывали... Колес, оглобель, лаптей и онуч без счету сменили, я все тут записал, — степенно докладывал приказчик Мальцев, явившийся к мореходу после бани, в которую немедленно по прибытии были отправлены все ямщики. — А из человечков одного, Ваську Махалова, не углядели — на Урале жениться захотел и от нас сошел... Его девка Змеевка, Полозова внука¹, так понять надо, на золото сманила...

— Ладно, сбежал, так сбежал! Ты лучше скажи, Максим Максимыч, клади он не схитил? Сколько поро-ху принял и сколько доставил?

— Триста пудов принял, триста и приставил... Да что ты, Григорий Иваныч, впервой, что ли, сходить пришлось? Хитника я у самого Полоза достал бы, — обиженно прогудел Мальцев. — С весов принимал, с весов и сдавать буду...

— Это завтра.... Завтра, скажи ребятам, и ветошь их на пониток² новый сменяю, а теперь идите ужинать и спать ложитесь... Караульных на ночь при клади оставь, Максим Максимыч, у меня к китайской партии много неведомых людей прибилося — не поблазнило бы кого!

Отложив в сторону сданные Мальцевым подотчетные записи, казенные квитанции, накладные и ярлыки, Шелихов взял в руки небольшое письмо Николая Петровича. «Письмишко малое, значит и добра в нем мало», — думал он, не вскрывая пакет, пока не вернется Наталья Алексеевна. Она захлопоталась во флигеле с распределением прибывших людей, большинство которых не имело жилья в городе.

— А ну-ка, ну, чего пишут детки наши? — еще с порога, волнуясь, заговорила она, увидев в его руках нераспечатанное письмо.

— На твою легкую руку открыть дожидался! — сказал Шелихов, вскрывая маленький конверт. — Нюх-

¹ Легендарные образы уральского фольклора, стоящие якобы на страже золота и драгоценных камней.

² Верхняя одежда из домотканного сукна на льняной основе.

нем столичных новостей... — и медленно, с расстановкой начал читать письмо зятя:

— «Милостивый государь, батюшка наш, Григорий Иванович, и милостивая государыня, матушка наша, Наталья Алексеевна! Безмерно тонкой и долгой стала нить, связующая наши жизни, а казенной почте нельзя довериться.

В Петербург приехали здравы и невредимы за сто дней. Наблюдения и картины нашей дороги живописать опасаемся. Ранней ростепелью принуждены были сменить полозья на колеса, а для того в Москве двухнедельную остановку взяли.

В столице гнездо, уготованное вами, нашли в сохранении. Гаврилы Романовича Державина дворецкий Аристарх, прелюбопытный старикашка, смотрение за домом имел денно-нощное. И чудо из чудес — сверчок родительский прибыл с нами в столицу благополучным и, спущенный за печь, к хору поварни глебовской тотчас присоединился. Аннет уверяет, что голос его, исполненный сибирской дикости, и посейчас от прочих отличается. В Петербурге на сверчков мода. Поварня генерал-прокурора его сиятельства князя Вяземского сверчками весьма знаменита, сверчки в кушанье валяются...»

— Пустомелит Николай Петрович по обычаю своему, вместо того чтобы о делах серьезных известить, — недовольно заметил Шелихов. — Дались ему сверчки...

— Читай, бога ради, читай, Григорий Иванович... Эка невидаль, дела! Жизнь уйдет за делами, а ты на дела жадничаешь...

— «...Приехав в столицу, через черные кафтаны и траурные робы сорокоуста, предписанного свыше по случаю казнения десятого генваря несчастного Людовика Шестнадцатого, принуждены были не показываться на людях. Только через неделю печаль улеглась и траур снять дозволили.

Исправно делаю мою должность, но за нею поручений ваших не забываю. Визитировал графа Чернышева, Александра Романыча Воронцова, адмиралов Грейга и Чичагова, имел бесчисленные консультации с господином Альтести и множество дружеских бесед с Гаври-

лой Романычем, за всем тем и единой строки утешительной передать не могу. Слуха и разума лишаешься, сверчков столичных наслушавшись!

Историей парагвайских отцов-иезуитов, создавших «Индийское государство», я немало в Петербурге высоких особ духовных и светских восхитил и в интерес вовлек. Для посылки в наши американские земли подбирают из монахов Соловецкого монастыря людей, в мирской жизни причастных к воинскому делу, занаряжены десять боевых черных коней. С первопутком в гости будут.

О духоворах же и помыслить нельзя. Одно напоминание о них князей светских и духовных в ярость приводит. Мужиков и баб духоборствующих не иначе «детьми дьявола» называют. На этом примере сказывается, что все люди сотворены так, чтоб каждый был или тиран или жертва. Правда, невежество попов часто вызывает поношение всей нации, но из сих двух крайностей я предпочитаю попов-невежд, нежели тиранов.

В столице живут веселехонько, отчего другим скучненько приходится. Чтобы получить сполна порох из Кронштадтского арсенала, пришлось наполовину убавить отпущенные вами запасы пушного. Без помощи Альтести, правду говоря, я и вовсе успеха не имел бы в этом пустом деле. На Альтести вся Америка ваша держится...

Через Альтести я удостоился предстать и пред его сиятельством графом Платоном Александровичем Зубовым, председательствующим в коллегии иностранных дел. Доложил о вашем намерении искать незамерзающую гавань и просил о дозволении войти с Китаем на сей предмет в дружеские сношения. Великий муж, не дослушав и отваливши нижнюю губу в означение жестокого неудовольствия, крикнул: «В удивление себе принять должен, как это вы, дворянин и даже родственник Воронцовых, в купеческие лабазные интриги входить себе позволяете! Мне все очень известно... Позвать Кайданова! А вы... ступайте!»

Как видите из сей аудиенции, дельфийскую пифию легче было понимать. Альтести обиняками впоследствии дал понять, что такое Кайданов. Вы уже, веро-

ятно, познакомились с Кайдановым? Альтести сказал, что двумя десятками американских бобров и соответствующей по чину суммой российских ассигнаций Кайданава можно привлечь на свою сторону.

В утешенье себе возьмите то, что нельзя отнять от потомства той справедливости, чтобы оно не распознало истины от лжи. Потомству предоставлено разбирать и утверждать славу великих мужей, и те большие люди, коих история писана во время их жизни, должны твердо верить, что судить об них будут не по тем описаниям, которые они сами читали, а по тем, которые по их смерти свет увидит.

Стремясь в столицу, не предполагал я, что будем скучать по иркутской жизни. В должности делать нечего, все дела производит господин секретарь, а я разве для рифмы буду тварь, а кому хочется быть такой тварью, которая создана для того только, чтобы служать рифмой другой?

Ласкаюсь уверенностью в вашем добром здравии и надеждой сообщить в следующих письмах о благоприятных переменах. Н. Резанов».

А на обороте листа знакомыми буквами-кривульками вверх и вниз приписка рукой Аннушки:

«Маменька, роденькая, батюшка мой добренький, я — ой, стыдно и страшно сказать! — тяжелой стала, а с какого времени, не припомню. Мы с Миколенькой без счету ссоримся, как назвать мальчика: я говорю — Петенькой, на честь деверя Петра Яковлича, а он твердит — Гришатой, Гришенькой. Порешили назвать и крестить, как маменька велит и отпишет... И страшно мне, и радостно, как-то оно будет?»

— С этого бы и начал письмо Николай Петрович, а то, вишь, про сверчков, — довольно распуская нахмуренные брови, сказал Шелихов и передал Наталье Алексеевне письмо: — Ты, может, еще чего вычитаешь, возьми... За сверчка Гришатку отдарю дочку!..

— То-то! Теперь и тебе от сверчков польза понятною стала, — улыбнулась Наталья Алексеевна, расцветая надеждой, что, став дедом, ее Гришата укротит беспокойную душу и причалит расшатанный бурями корабль к тихой, давно поджидаемой гавани.

Письмо зятя явно призывало к выжиданию перемен в людях и обстоятельствах, враждебных предприятиям и начинаниям Шелихова в Новом Свете и на азийских берегах Тихого океана.

— Что ж, потерплю, покада терпится, — вздыхал Шелихов и, как всегда, стараясь наверстать упущенное в просвещении, заполнял вынужденное безделье чтением авантюрных романов и путешествий, книг исторических и по разным наукам.

— И в этом нет у тебя меры, Гришата, как только голова не опухнет! — заглядывая, будто ненароком, в двери его кабинета днем и ночью, пыталась остановить «книжный запой» мужа Наталья Алексеевна.

— Не любишь ты Америки моей! — хватал жену за руки и усаживал против себя в кресло Григорий Иванович. — А как в ней люди живут, ты только прислухайся!..

В ящике книг, присланных зятем с пороховым обозом, оказалась любопытная переводная книжица неведомого автора, отпечатанная в Петербурге в 1765 году, с заманчивым титульным листом — «Описание натуральное земель Северной Америки и тамошних природных жителей».

В книжке этой, наряду с чинной и размеренной жизнью стяжательных и деятельных бостонцев, копировавших тугомочных купцов и владетельных особ своей метрополии — Англии, были даны широкие картины быта и нравов вольных лесных жителей и охотников Канады. «А все же скверно квакают бостонцы!» — решил Григорий Иванович, читая о засилии в жизни тогдашней американской столицы квакерских сект.

Явное предпочтение он оказывал описаниям суровой, но не отягощенной предрассудками общественного лицемерия жизни потомков французских гугенотов, искавших на вольных землях северо-восточной Америки спасения от раздражавших Францию во времена Валуа религиозных войн и дворянских междоусобиц.

— Гляди, как не обидно живут люди, Наташенька, — вычитывал он что-либо поражавшее его и радо-

вался за людей, как за своих: «В сей земле каждый работает, дабы чем жить, и люди бывают при том весьма довольны. Каждый живет в своей хижине спокойно и ест также, что припас, и греется, ежели стужено...»

— «Нигде, — читал он жене вслух, — не сочтается браком столь легко, как здесь, невзирая на чин свой и состояние. Дворянин берет за себя крестьянку, девица шляхетная, не хотя быть монахиней, оставя шляхетство свое, выходит замуж за простого детину...»¹

— Кто-то пишет и врет, а ты веришь. Я никогда не поверю, чтобы этакое было! — недоверчиво качала головой Наталья Алексеевна.

— Зачем же вру, доподлинная правда! — оправдывался он, как будто сам все это и писал. — В российской Америке мы получше канадских порядки учредим. Там... э-э... — Григорий Иванович запнулся и все же не удержался: — Дай срок — переберемся, я там и Катерину за... замуж Ираклию отдам!

Наталья Алексеевна воззрилась на мужа — нет, слова эти брошены не на ветер! — и слезы радости сверкнули в ее глазах, в неудержимом порыве она кинулась к нему на грудь и, отпрянув на шаг, склонилась в земном поклоне.

— Исполать тебе, Григорий Иванович, не обманулась в тебе моя душа! А уже сколь боялась я, что почет и богатство, как на всех людей, и на тебя навели порчу...

Верховенство в семейных делах, давно и без борьбы предоставленное ей мужем, в последнее время тяготило Наталью Алексеевну. Она мучилась и не знала, на что решиться, когда ей открылась взаимная любовь Катеньки и подобранного мужем с каторги архитектора-грузина, на котором тяготело страшное обвинение в оскорблении величества. Сравнивая возможных претендентов на руку и сердце дочери, Ираклию она от-

¹ «Описание земель Северной Америки и тамошних природных жителей». Перев. с нем. на русский язык А. Р. Печатана в СПб 1765 г.

давала решительное предпочтение, но... сколько бесчисленных «но» было против их любви!

— Где видано, чтобы дочку за поносителя царского имени выдавали?! Гришата, думаю, за доброту к такому не поплатился бы, — склонившись на грудь мужа, каялась гордая женщина в материнской и женской слабости к изведенному в свое время самую и столь понятному ей великому счастью жизни — молодой любви. — С тобой посоветоваться? Заделья¹ не найду! Катерине ослабу дала, а сама в страхе живу: вдруг ты сам догадаешься, загремишь, ударишься, хоть это и не схоже с тобою, в спесь купеческую... С тобой бывало этакое... Вот, думаю, Катюшку, чтоб порухи чести не нажить, по своему выбору, за кого ни попало и выдаст, тогда Ираклия из дому выгонит, обидит насмерть человека, несчастного и безродного... Сохрани нас от такого зла, мать божия!

— А ты думаешь, я не углядел, не доведалься, чем Ираклий с Катериной дышат? И какой Ираклий человек есть — весьма понимаю и о судьбе его забочусь не женским разумом... Ты не кручинься, как-нибудь обойдется, — отвечал Григорий Иванович, понимая, что свадьбой в далекой и чуждой Америке он не успокаивает тревогу своей подруги. — Я, тебе ли не знать, камни и мели подводные за сто верст носом чую, глазами вижу... Катюша и Ираклий давно у меня на ладони, и оказия эта для нас особенно опасна. Враги мои, и здесь и в Петербурге, ничего не пожалеют, чтобы Ираклия наново на Гижигу угнуть, Катюшку в монастырь запереть, замотать нас... Так и скажи обоим — ты им лучше меня растолкуешь, и чтоб до свадьбы и думать не смели... и виду не показывали, а на свадьбе... в Славороссии из пушек палить будем!

Благополучное, казалось бы, окончание щекотливого разговора оставило Наталью Алексеевну неудовлетворенной, настолько они оба по-разному искали и находили выход из великого затруднения.

Пушки, гремящие на свадьбе пичужки Катеньки в американской земле, прозвучали в душе Натальи Але-

¹ Предлога (сибирское диалект.).

ксеевны похоронным салютом ее надежде в совете с мужем найти здоровое и достойное решение вопроса. «Гришата земли под собою не видит, нивесть чего начитавшись из книг», — удрученно думала она.

Шелихов же оставался верен себе: в переселении с семьей за океан он искал спасения не только счастья дочери, но и заветного дела своей жизни, встретившего в последнее время столько неудач и препятствий на родине. В Славороссии Шелихов отводил Ираклию почетное место. Славный зодчий прославит молодую страну как строитель ее дорог и портов, адмиралтейства и сената. Николай Петрович Резанов на многое раскрыл глаза именитому рыльскому гражданину: Шелихов научился ценить людей с той стороны, которую российские купцы не умели в них разглядеть и сто лет спустя.

Так, среди почета и довольства, пришедшего к Шелиховым на закате жизни, мысли и чувства купца-морехода и его жены потеряли драгоценное единство. Только при этом единстве Наталья Шелихова нашла в себе силы разделить с мужем все превратности изумительного похода русских корабликов-ладей в поисках восхода солнца, — похода, который оставил за ней славу первой русской женщины, вступившей по своей воле на землю Нового Света.

— Что б оно такое было, артишоки и спаржи? — неуклюже попытался Григорий Иванович найти поворот в разговоре, продолжая читать книгу.

— Не слыхивала. Зверюшки али рыбы какие? — холодно, вопросом на вопрос ответила Наталья Алексеевна. — Аль на свадьбе угощать задумал? — добавила с невеселой усмешкой она и ушла, ссылаясь на заботы по хозяйству.

Наталья Алексеевна не делала больше попыток вернуться к трудному разговору о судьбе Катюшки и Ираклия.

Прикинув на досуге возможности и виды переезда с семьей за океан, Григорий Иванович не мог не согласиться в душе, что сказал он жене о свадьбе в Америке необдуманно, сгоряча. Не отдавая в том самому себе ясного отчета, он больше, чем почетом и славой, дорожил мнением о нем своей жены, неподкупной сви-

детельницы и судьи всех его дел и помыслов, и боялся отказом от благородного и мужественного решения умалиться в ее глазах. И все же уступать ей он больше не может: в уступках женским просьбам и желаниям он дошел до предела.

Не слыша с некоторого времени оживлявшего дом звонкого смеха дочери и приметив, что Ираклий не появляется за столом даже во время обеда — эх их настрашала мать! — Григорий Иванович решил подбодрить упавшую духом молодежь.

Однажды как бы ненароком он зашел в девичью, где Катенька проводила теперь целые дни за прилежным рукоделием с работными девушками, среди которых было и несколько алеуток. Появление хозяина, никогда почти не заглядывавшего в женское царство, всполошило девичью.

— О чем плакала, Катерина? — подходя к пальцам и будто желая разглядеть узор, с напускной строгостью спросил отец и поднял пятерней за подбородок сморщившееся в испуганной гримасе лицо дочери. — Неужто опять кошка наша нашкодила — котят принесла да потеряла? А я... гм... я думал ее с приплодом в Америку забрать, как переезжать будем... Там кошки вот как надобны. Баранов пишет, житья там нет от мышей и крыс! — говорил он, придумав тонкий и обнадеживающий, как ему казалось, намек на свадьбу с пушечной пальбой. — А я Ираклия ищу не сыщу в целом доме... Не знаешь ли, где он хоронится? Ну, чего, чего ты? — привлек он к себе дочь, заметив на вернувшиеся в ее глазах слезы. — Все-то вы, девки, обидел вас господь, на мокром месте стоите... Отвечай, коли спрашиваю!

— Батюшка... не гневайся на него, батюшка! — чуть слышно проговорила совершенно растерявшаяся Катенька. — Он... он ума решился, день и ночь листы рисует, на полу разложивши... «Кончу урок, говорит, сдам хозяину — тебе, батюшка, — и в скит уйду, нет мне жизни...» А я... я тогда тоже в монастыре затворюсь и... маменька сказала, б-б... благословит меня на это...

Рыдая, Катенька в изнеможении опустилась к но-

гам отца. Работные девушки, чуткие к горю и беде ласковой и дружной с ними хозяйской дочери, одна за другой тоненько заголосили.

— Тьфу, пропасть! — бурчал, растерянно оглядываясь по сторонам, Шелихов. — Развели сырость и эти... С Порумбы, вот с кого пример берите! — кивнул он на меднолицую кенайку, вывезенную в Иркутск из Америки для обучения домоводству. Порумба с присущим краснокожему племени стоическим спокойствием оглядывала плакавших девушек.

— Бережет девка слезы на важный случай... Сходи, умница, на склад, получи фунт леденцу и плаксивых угости, чтоб гусли-мусли не разводили, — проговорил Григорий Иванович, как бы прикрывая этим сладким выкупом свое отступление.

«Какой уж тут секрет любовь Катюшки с Ираклием, если двадцать девок слезами над нею исходят? — тяжело вздыхал и безнадежно крутил головой Шелихов, выбравшись из девичьей. — За такую вожжу компании сибирские и столичные дружки не замедлят ухватиться и побольнее хлестнуть, а за океан сбегать от гнусовых укусов — на лучший конец полгода ждать».

— Отблагодарил, нечего сказать! — воскликнул растравленный набежавшими мыслями мореход и ударом ноги распахнул дверь отведенной Ираклию светлицы. — Чертил, чертил да и начертогонил такого, в чем и главный бес ногу сломит... Ну, черо с тобой делать будем? — безнадежно глядел Григорий Иванович на Ираклия, стоявшего на коленях среди разложенных по полу чертежей.

Ираклий неторопливо встал, распрямился и широким движением смахнул с черного бешмета приставшие соринки.

— Не имею вины пред тобою, хозяин мой и покровитель, — вспыхивая румянцем, но тихо и сдержанно ответил молодой грузин. — Ни в чем не порушил я честь кровли твоей, доверия и дружбы, которыми дарил ты меня, а что полюбил и люблю твою дочь — это моя горькая судьба... Наталья Алексеевна говорила с нами, я знаю твою отеческую заботу, но я... я не могу

жениться на Катерине Григорьевне. Я должен покинуть твой дом... Ты знаешь, господин Шелихов, славный мореплаватель и почтенный купец, как я попал в беду и за что был сослан, куда и ворон костей не заносит. У меня могли отнять родину, солнце и море, но чести и разума отнять у Боридзе никто не сможет — я уйду!

— Куда ты уйдешь, беспрописная душа? — почти закричал Григорий Иванович, взволнованный благородством и мужеством молодого грузина.

— Россия велика, из нее много дорог ведет на Кавказ, и на них я встречу немало добрых людей — я знаю русских, которые помогут мне вернуться на родину...

— Не заблудишься и пособят ли, это бабушка через решето видела. На тех границах, через которые твоя дорога лежит, война с турками идет не переставая и с Персией. — Шелихову припомнилось мечтательно-хищное лицо Зубова, высказавшего ему открытое предпочтение гадательной и безвыгодной войне с Персией перед почти бескровным закреплением за Россией богатой, идущей в русские руки страны в Новом Свете. — С персами вот-вот вражда загорится... По этой дорожке пойдешь — на ней тебе и голову сложить!

Шелихов тяжело вздохнул. Да, он не добился в Петербурге указа о присоединении открытых им островов и северо-запада американского материка к скипетру российской державы. И вот теперь, чтобы не расхолодить пайщиков своих компаний и удержать их от изъятия из дела средств и прибылей, он вынужден выставить Зубова доброжелательным протектором и покровителем русских интересов в Новом Свете.

— Так на дочке моей жениться отказываешься?.. Сбил девку с пути и отказываешься? Неладно выходит. А я хлопочу, жизнь свою перевернуть намерился, чтобы...

Шелихов хотел показать себя оскорбленным в лучших чувствах, но не хватило духу кривить душой. Отказ бесправного ссыльного от женитьбы обжег самолюбие и неприятно озадачил Григория Ивановича. С потерей Ираклия-жениха Шелихов не без угрызений совести в глубинах души готов был мириться. Житей-

ская мудрость услужливо подсказывала: «Была бы честь предложена — от убытка бог избавил», — но с потерей для Славороссии зодчего он не мог и не хотел примириться.

— Станешь ли ты мне в зятево место — не будем загадывать, и, правду сказать, много до того воды утечет, — после некоторого раздумья примирительно сказал Григорий Иванович. — Но... с этим делом кончать надобно. Того, что случилось, в городе не скроешь. Ты в чалдоны уйдешь, а меня... мне ворота дегтем мазать зачнут. Врагов и завистников у меня хватает, — захотят ударить по коню, а попадет по оглобле — так через моих друзей и ты пропадешь! Пока они догадываются, чем меня огорчить, и пока о тебе еще не вспомнили, отправляйся, мой совет, в наступающем девяносто четвертом за океан, под начало к Александру Андреевичу, к Баранову. Этот не выдаст, и там пока моя сила!

— Навсегда отказаться? — взволнованно перебил его Ираклий.

— Чего ради отказаться? — продолжал Григорий Иванович, увлеченный нечаянно найденным, наилучшим, как ему казалось, выходом из трудного положения. — Ты от дочери моей отказался, я от тебя не отказываюсь и все тебе предоставляю... Съедешь в Америку — фьють! — в Гижигу не попадешь. Воздвигнешь Славороссийск и порт при нем, нам и себе домы отстроишь, а там, гляди, и невеста через океан переберется, и прощение тебе исхлопочу, как Николаю Петровичу сделал... Не захочешь и тогда жениться? — Шелихов улыбнулся и, будто отпуская кого-то на волю, развел руками: — Неволить не буду — наш товар не залежится! Домой, на Кавказ, кругом света отправлю — к тому времени компанейские корабли кругом света пушу! — и денег дам... десять тысяч денег дам, слово мое твердо! Токмо за это... за спасение свое, пять лет ты в Новом Свете отработать должен и отстроить и украсить грады его, и в том клятву с тебя беру... По рукам, сынок, что ли?

Григорий Иванович, как обычно, когда речь касалась Америки, загорался бодростью, говорил с важной

искренностью и уверенностью в своих силах. Не упускающий своей пользы, он, купец и расчетливый хозяин, с широким размахом и всегда сопутствующей ему удачей вел огромное хозяйство трех сколоченных им торговых компаний. Компании эти разбросаны по многочисленным поселениям, факториям и складам в Охотске, Кяхте, на Камчатке, Алеутских и Курильских островах и на материке Америки.

Волнение молодого грузина не укрылось от зорких глаз Шелихова. Григорий Иванович заметил, как пылкая душа зодчего с живостью откликнулась на то, что открывалось вдохновенному труду в неведомой стране. «Ай да и молодец же ты, Гриша!» — похвалил себя Шелихов за предусмотрительное распоряжение, посланное с Кусковым Баранову, — заготовить зимой побольше кондового строительного леса, «чтоб целый город из него поднять далось».

— По сырости климата там из кирпича строить не дюже способно, но сосна тамошняя — цугой зовется — нашего кедра стоит... Башню и шпиль адмиралтейский не забудь только повыше вытянуть, — деловито говорил Григорий Иванович, как будто Ираклий уже дал ему согласие стать архитектором Славороссийска, — и золотого маку глав церковных — страсть красиво! — не жалея подсыпать, побольше разбросай... С моря глядеть чтобы сердце дрожало!

Эта «дрожь» передалась и Ираклию. Он заражался шелиховской верой в мечту, в возможность наполнить жизнь творчеством, трудом и красотой, хотя прекрасно знал из рассказов Натальи Алексеевны, что представляет собою Славороссия в действительности. Живые и теплые глаза Катеньки заклинали его: «Если откажешься искать меня, уйдешь — я в монастыре себя похороню». Ираклию было только двадцать семь лет — пора наибольшей силы, надежд и дерзаний. В Катеньке молодой грузин видел все качества идеальной подруги жизни: следуя его указаниям, она раскрашивала проекты, рисовала цветы, научилась понимать красоту. В Наталье Алексеевне и самом Григории Ивановиче, так родственно и по-русски просто принявших в свой дом безвестного ссыльного, он нашел мать и отца,

которых утратил в раннем детстве во время одного из кровавых налетов турецких диких орд на Грузию. Чем же он оплатит шелиховскому дому, бежав из-под его крова?

Глаза Ираклия горели. Только родной язык и высокие слова могли выразить победившие в нем чувства:

Мепетà шигàn сиухвè, вит едёмс алвà ргулиà;
Ухвса мòрчилобс ковèли, игицà, вин òргулиа.
Сма-чамà-дидад шесàрго, деба рà савàргулиа.
Расацà гасцём шениа, рац аrà-дикàргулиа¹.

Твердые звуки гортанной грузинской речи произвели на Шелихова ошеломляющее впечатление. Не понимая и не поинтересовавшись смыслом сказанного, он загрохотал в восторге, как будто с корабельной мачты увидел цветущую неведомую землю.

— Ираклий, архитектор преславный, чего ж ты до сей поры хоронился? Не сказывал, что ты по-американскому знаешь и говорить умеешь... Да тебе цены нет за океаном! Ты учеников там наберешь и краснокожих архитекторов понаделаешь... За каждого из них, на самосильного строителя обученного, пятьсот... нет, тысячу рублей тебе плачу, за десятника — сто... Ну и ну, в бродяги сойти хотел, чудотворец этакий!

Несмотря на всю торжественность минуты, Ираклий неудержимо рассмеялся, когда понял, что вообразил себе мореход, услышавший прекрасную строфу.

— Нет, Григорий Иваныч, хоть ты много видел и слышал, походив по белому свету, в этот раз ты ошибся, — с грустью и уже без улыбки проговорил Ираклий. — Откуда мне знать язык американских жителей? Слова твоей дружбы и щедрой души победили меня — я еду в Америку! В ответ тебе благодарность пробудила в моей памяти не слова американцев, — нет, это

¹ 19-е четверостишие 1-й песни поэмы «Витязь в барсовой шкуре» Шота Руставели:

Щедрость царская подобно древу райскому цветет;
Даже подлый покорится воздаятелю щедрот.
Снедь полезна, а хранимый бесполезным станет плод.
Что отдашь — твоим пребудет, что оставишь — пропадет.

(Перевод Петренко.)

драгоценное шаири¹ из «Вепхис Ткаосани» — «Витязь в барсовой шкуре» — великого месха² Шота из Рустави, золотого колокола Грузии. Следуя их смыслу, я вверяю тебе мой малый талант и все надежды на счастье, позади себя оставляю горькую память о прошлом... Да сгинет!

Глубокая серьезность и доверие, с которыми молодой грузин, не ставя никаких условий, передавал в его руки свою судьбу, заставили Шелихова задуматься, и он тут же дал себе клятву все предоставить Ираклию за океаном, чтобы он только мог принести там пользу, и, если не захочет остаться, отпустить домой на первом же надежном иностранном судне...

«И куда как хорошо с семейством мне перебраться за океан да Катюшку ему отдать, лучшего она не встретит», — вернулся Григорий Иванович к своему первоначальному решению. Вспомнилось: «Жители тамошние плодущи... девица шляхетная, не хотя быть монахиней, выходит замуж за простого детину...» «А купецкая дочь и подавно за архитекта выйти может!» Подумал о внуках, которых вырастит он людьми образованными и сильными. Им ни перед кем не придется шапок ломать... «Хорошо, за чем же дело стало, в девяносто пятом и двину!»

— Ну, подписную дал, пошли обедать... Ты, замечая, давно постишься, аль тебя враны, как Илью пророка, акридами питают... А-а? — по обыкновению шуткой заключил Шелихов подбодрившие его мысли.

— Н-нет... я не пощусь. Наталья Алексеевна по работной моей занятости горячее сюда присылает, и Катерина Григорьевна тоже... жалеет...

— И ты жалостью сыт? Ну, пошли щи хлебать и под контракт выпьем! — Шелихов легко повернул рослого Ираклия и подтолкнул к дверям.

— Дайте архитектору американскому тарелку... жалости со свининой! — победоносно сказал, оглядывая жену и дочь, Григорий Иванович, усаживаясь за стол.

¹ Особый стихотворный размер грузинской поэтики — 16-сложная стопа.

² Одно из основных племен грузинской народности.

— Что случилось? — спрашивала, переводя глаза с Ираклия на отца, зарумянившаяся от смущения Катенька.

Незаметно прошел день официального Нового года. Екатерининская Русь времена года определяла церковными вехами, мореход же отсчитывал годы жизни и труда по открытию навигации в Охотском море, когда в июне-июле оно очищалось от плавающих льдов.

В конце великого поста перед крыльцом большого дома шелиховской усадьбы остановилось десятка полтора крытых кошев с монахами. Толпа доброхотных проводников из женщин и детей с большим интересом разглядывала прибывших.

— Не иначе, на похороны слетелись черные, — зловеще шамкала беззубым ртом древняя бабка Секлетя, подосланная Иваном Ларионовичем Голиковым проследить, как встретит варнак Гришка царских посланцев, направлявшихся в Новый Свет по его, Голикова, как он был уверен, благочестивому почину. Иван Ларионович до глубины души был уязвлен тем, что посланцы в черных клобуках предпочли остановиться в шелиховском доме, а не у Голикова. «Это все зять его масон Резанов нашептал и подсучил», — с горечью думал иркутский «златоструй».

Рослые монахи в клобуках, выпиравших из воротников волчьих нагольных шуб, высыпали из кошев и топтались, приплясывали на снегу, недовольно оглядывая запущенные морозом окна. Некоторые, задрав кверху бороды, с любопытством разглядывали искусно расписанную Ираклием над крыльцом дома вывеску северо-американских компаний Шелихова. В обрамлении шкур и морд невиданных зверей, райских плодов и цветов на вывеске был изображен в человеческий рост полуобнаженный, с копьём в руке, медно-красный, свирепый лицом воин американской земли.

— Истинный сын дьявола, исчадие адаво! — переглянулись и отошли монахи, осенив себя крестным знаменем.

Хотелось есть, с морозцу не грех было бы пропустить чарку доброй водки. Чего-чего, а такой малости, отправляясь на край света проповедовать слово божие, постники вправе были ожидать от хозяев, богобоязненного и усердного к делу церкви семейства Шелиховых, — так рекомендовал возглавившему американскую миссию архимандриту Иоасафу семью морехода Николай Петрович Резанов.

По совету кавалера Резанова, в кошевы, груженные инвентарем для будущих в Новом Свете православных храмов, каждый из десяти членов миссии подбросил по тюку или коробу своего товарца — суеты и побрякушек. Такой товарец пригодится для лучшего внедрения веры в языческие души. Что это за души, монахи смутно себе представляли. Это что-то заключенное в нелюдскую оболочку из красной кожи и падкое до суетных прикрас.

Голоса, шум и возня, слышавшиеся за дверями красного крыльца, замолкли. Ходом с этого крыльца давно не пользовались, и потому разбухшие, скованные морозом двери не поддались усилиям хозяев.

— Не расторопен купчина! — недовольно пробасил отец Ювеналий, когда понял, что двери эти и не откроются. За кlobуком у Ювеналия спадал черный шлык — отличие сана иеромонаха. У иеромонаха мерзли ноги, по его росту волчьей шубы едва хватало до колен. — Должен бы понимать, сибирский облом, приличие. Духовных особ на снегу и навозе ждать заставляет!

Бывший офицер горного корпуса Семен Васильевич Вязьмитинов, после нечаянного, в пьяном трактирном угаре, убийства любовницы, цыганки Стеши, решил поставить крест над карьерой своей светской жизни и с принятием иноческого сана под именем иеромонаха Ювеналия пополнил ряды неудачливых людей всех сословий, находивших в те времена убежище за монастырскими стенами.

Монахи даже не заметили, как неожиданно заскрипели и распахнулись ворота усадьбы с едва различимой под гребнем мшального навеса иконой старого письма и на площадь вырвалась стая ездовых собак, кото-

рых Шелихов всегда держал при усадьбе в великом множестве.

Увидев под окнами дома монашеский поезд в окружении толпы добровольных проводников, Григорий Иванович преисполнился невольной гордости: не к Голикову или Ласточкину, а к нему явились почетные гости — его имя, значит, чего-нибудь да стоит в Петербурге.

— Эх, не приготовились принять, как подобало бы именитому купцу и во все концы света известному мореплавателю! — заволновался Шелихов. — Наташенька, оленины, что просил, не ставь на стол... Пост ведь! Рыбки, омулей, хариуса, нельмы, икорки, гриба всякого, яблок моченых вывали. Боронись святых отцов оскормить! — усмешливо наставлял он жену. — А водки, наливки и меду не жалея, постное — это питва... по-церковному!

Наскоро условившись с Натальей Алексеевной о приеме и размещении гостей, мореход появился в воротах усадьбы в камзолном костюме под шубой, накинутой, несмотря на крепкий мороз, поверх плечей.

— Добро пожаловать, честные отцы! Не осудите, что не с красного крыльца встретил, — заели двери проклятые! — широким жестом пригласил он гостей вовнутрь огромной усадьбы и, сложив руки лодочкой, направился к отцу Ювеналию, по росту и дородности принятому за главного, под благословение.

— Нё мне... не я, — толкнул его огромный иеромонах в сторону невзрачного архимандрита Иоасафа, поддерживаемого под локти двумя услужливыми черноризцами.

— Рад внийти в дом твой, во христе возлюбленный сын, истинно рад, понеже гордятся россияне подвигами твоими и усердием к вере. Всемиловитейшим произволением государыни доверено нам совместно потрудиться над умножением богатств державы российской и просвещением новоприобретенных верноподданных... До отправления нашего за океан о способах и чине, уповаю, дружески договориться...

«Востер!» — подумал Шелихов, пропуская мимо себя гостей.

— Не медведя ли везете, разлютовались мои песики? — спросил он задержавшегося в дверях Ювеналия, увидев оставшиеся за воротами три кошевы, вокруг которых бегали со свирепым подвыванием волкоподобные колымские собаки.

— Не наши... Паяс балаганный! — равнодушно отозвался иеромонах, снисходя на ответ поразившему его камзолу и шпаге. — От Красноярска тянется. В Иркутске комедии собачьи будет ломать и в Америку с нами плыть собирается, соглядатай иезуитский... Только — на, выкуси! — отец Ювеналий ткнул в сторону отставших кошев кулаком, сложенным в огромный кукиш.

Сказанное Ювеналием возбудило в Шелихове любопытство, и он направился за ворота к кошеве. Завязанная голова «паяса» беспомощно выглядывала из возка, куда его загнала волчья, как он был уверен, стоя.

— Кто будешь, эй! — спросил Шелихов, пинками ноги разгоняя своих свирепых северных псов.

— Никколо Миколетти синьор, *artista della piazza*¹. Я — на канате... малолетние дочки поют и танцуют, как ангелы, и собачки тоже танцуют, бьют в барабаны, стреляют из ружья, играют комедию «Мушкетер и маркитантка»... Надеюсь заслужить вашего высокого одобрения, коего всегда устаивался от особ, — лепетал скороговоркой небольшой смуглый человечек, выскочив навстречу Шелихову с маленькой кудрявой собачкой на руках. — Примадонна моей труппы Марики-та исполняет маркитантку... Гоп, Марикита! Гоп, гоп, танцуй! Покажи синьору, что мы истинные артисты... Гоп, гоп! Ослабла, бедняжка, и мы тоже два дня ничего не ели, денег едва хватит с ямщиками рассчитаться, — добавил он, опасливо поглядев на стоявших в стороне хмурых ямщиков. — Мы собирались показать наше искусство в Новом Свете... Мне только бы до господина Шелихова добраться, мне в Ирбите о нем...

Наивность и отвага смуглого канатоходца забавляли Шелихова. Такого чудака и вправду неврдно в Новый Свет спсылать для развлечения одичавших

¹ Уличный артист (итал.).

промышленных и показа американцам игрушек российской цивилизации.

Шелиховские представления о театрах и артистах не шли дальше балаганов, которые он выдвигал в наездах на ярмарки в Ирбите, Макарьеве и в Москве — на Лубянке и Разгуляе. В Иркутске, со дня основания не видевшем в своих стенах ничего подобного, собачью трупшу канатоходца встретит несомненный успех, а в диком краю... Мореход зажмурил глаза и представил себе лица алеутов и индейцев, когда те увидят, что у русских даже собачки умеют плясать, бить в барабан и стрелять из ружья, — в Америке канатоходец, с его собачьей трупшой, будет дорожке полка солдат!

— Не по годам глуп ты... Мимолет! — сказал Григорий Иванович с хмурой и сожалительной улыбкой, чтобы не показать, сколь он доволен неожиданной находке. — Пока ты разыщешь Шелихова, пропадешь у нас, как заяц забеглый... Кто тебя с собаками в дом пустит? Сворачивай, что ли, ко мне, накормлю девчонков твоих с собачеями, обогреешься, а там поглядим, чего делать будем... Может, и впрямь позволю тебе за океан плыть.

Миколетти догадывался, что перед ним стоит сам Шелихов, но раз столь важному господину нравится быть неузнанным, Миколетти будет дурачком. Канатоходец, лепеча слова благодарности, въехал в усадьбу.

На Пасхе дом Шелиховых превратился в ярмарку. В двух лучших комнатах устроили выставку товаров шелиховских компаний: шелка и цыбики чаю из Китая, моржовые клыки, тюленьи шкуры, искусная резьба по кости с Чукотской земли и Камчатки, китовый ус, драгоценные меха морских бобров и другого зверя с островов и материка Америки. В большом же складском амбаре, очищенном от товаров, для представленный Миколетти возвели помост с канатом над ним.

Впереди в беспорядке стояло несколько кресел для почетных гостей, за которыми были расставлены скамьи для господ чиновников, офицеров и купцов, а за ними — отделенные барьером, доской на уровне груди, стоячие места для прочего народа.

Иркутские мальчишки, пролезая под барьером, выбирались к самому помосту и самозабвенно наслаждались искусством канатоходца, танцующих в газовых юбочках ангелов — дочек Миколетти и невиданных доселе собачек в фесках, в киверах, с барабанами, с ружьями.

Когда Миколетти, по окончании представления, со шляпой в руках, а его дочери с поднятыми фартушками обходили публику за сбором доброхотных даваний, мальчишки набрасывали в шляпу и фартушки поверх монет и ассигнаций много пасхальных крашенных яиц.

— К американцам езжай — они тебя бобровыми и медвежьими шкурами закидают, за благодарностью с носильщиками выходить будешь! — шутил Шелихов, похлопывая по плечу Миколетти.

Монахи, жившие в доме Шелихова, на амбарные представления не ходили и с явным неодобрением относились к собачьим комедиям бродячего итальянца.

Как-то вечером, возвращаясь перед сном с обхода усадьбы, возбужденный крепким воздухом весны, Шелихов решил пройти в комнату, где остановился отец Ювеналий. Огромный и мрачный иеромонах интересовал Шелихова. Архимандрит Иоасаф рекомендовал Ювеналия как знаменитого рудознатца и рассказал всю подноготную его походов на Урале и в Москве, подведших дворянина и горного офицера под монашеский клобук. Шелихов надеялся с его помощью поставить за океаном разведку руд и железоделательное предприятие.

— Сгинь... исчезни... уйди! — услышал Шелихов рочующий бас Ювеналия в ответ на свой стук в дверь. — Чего ты хочешь? Зачем приходишь терзать меня... чур, сгинь! — выкрикивал монах.

— Наше место свято! — прошептал удивленный мореход, но отступить не захотел и толкнул дверь. — А-а... — понимающе протянул он, когда увидел обезумевшие, испуганно выпученные глаза иеромонаха, вздыбившегося над уже пустым водочным штофом на столе.

— Эт-то ты, а я думал... — шумно вздохнул Ювеналий.

— Не добро одному в ночи думать, отец, — весело отозвался Шелихов, будто не замечая его странного поведения. — Ежели приемлешь, а ее, — кивнул на штоф, — и монаси приемлют, доставай еще, повторим и поготорим, как в Америке искать и лить железо... Без своего железа не осилить нам дела!

Огромный человек взмахнул гривой черных с проседью волос, хотел что-то сказать, охнул и молча пошел к стоявшему в углу коробу, достал и поставил на стол непечатый штоф.

— Хорош! Не нашего курения... А закусить-то и нет ничего?

Монах кивнул на краюху черного хлеба и рассыпанную по столу соль.

— Э-э, да это спиритус, первак, морское питье! — побагровел мореход, хлебнув из налитой кружки. — Ничего, он языка не вяжет и разума прибавляет. Так вот, отче, чего я хотел просить: возьми труд разведать руды железные и медные и обучи людей тамошних железо и медь варить, к вящей славе и пользе нашего отечества. И с меня за то, чего похочешь, взыщешь...

— И рад бы — не смею! Она на все запрет наложила, — таинственно прогудел Ювеналий, дикими глазами всматриваясь в тьму за окном.

— Не думал, отец, что ты к бабьим шепотам прислухиваешься, — хмуро сказал Шелихов.

— Не шепчет — поет она и танцует... цыганка... Стеша... кружит вокруг меня, а сама шею... рукой прикрывает, и кровь — палашом я рубнул ее — кровь через пальцы брызжет фонтанчиком... то-онким... О-о-ах!

Вздых, вырвавшийся из огромного тела Ювеналия, показался так страшен, что Шелихов и сам готов был поверить в присутствие среди них какой-то зарубленной цыганки, присвоившей таинственную силу и власть над судьбой убийцы..

— Нехорошо тебе... друг, — встал и направился к дверям Шелихов, невольно отказавшись в обращении от уважительного слова «отец». — Скучаешь ты, я пойду, приплю ко-го-нибудь.

От Ювеналия Шелихов пошел было к архимандриту Иоасафу поговорить об иеромонахе, но у самых дверей комнаты Иоасафа раздумал и круто повернул к себе: о чем говорить? «Бесы одолевают, — скажет страж души Ювеналия сухой архимандрит, — наипаче любопытствия и гордыни человеческой — сих не допускать в душу», — и опять же свернет разговор на промыслы и доходы компании, на готовность принять бремя контроля и руководства деятельностью управлятеля Баранова, «понеже тот наемный и из простых мужиков». В какой раз повторит «не трудящийся да не ест», перекрестится и попросит письменного приказа об освобождении духовных лиц от мирских работ для ради сана и успеха проповеди слова божьего.

Войдя к себе в спальную, Григорий Иванович увидел при ярком свете перенесенного сюда кулибинского фонаря светлое лицо жены, спокойно читавшей какую-то книгу. Не захотелось омрачать это дорогое лицо рассказом о душевных муках монаха-убийцы.

— Натальюшка, навигация на носу, собери меня в дорогу, через неделю в Охотское выеду — корабли под монахов и прочих людей проверить надо... Не шуточное дело через океан благополучными перевезти людей, самой царицей посланных, да и клади сколько! — с наигранной беззаботностью обратился он к жене. — Без меня опять тебе доведется за делами досматривать, как и что, учить тебя не буду, знаю — все в наилучшем виде произведешь. Один наказ оставляю: ровно через месяц вослед мне монахов этих под распоряжением Ираклия вырядишь, да и Мимолет^и с собаче^и, с женкой, девками и прочих людей по списку, оставляю реестр, еще скот и кладь...

Наталья Алексеевна во всех подробностях знала о соглашении между мужем и их будущим — она хотела так думать — зятем, «всея Славороссии генеральным архитектором», — как в шутку стал называть его Шелихов.

— Ложись опочивать, родной! — спокойно ответила она, ни о чем не расспрашивая. — Будет день — будет и забота...

В конце мая, вслед за паводком на Лене, Шелихов в восьмивесельном, проконопаченном мохом, легком пазуке с мачтой и парусом на случай попутного ветра двинулся в Охотск. Дело предстояло нешуточное: в Охотске нужно было снарядить корабли, приготовить их к намеченной в конце лета отправке в Новый Свет большой партии поселенцев, мастеровых, промышленных да и прибывших из Петербурга монахов-миссионеров и собачьей труппы бродячего канатоходца Миколетти. Отъездившийся и отдохнувший Миколетти легко согласился на уговоры Шелихова.

— Не обмани, Мимолетѹ, приезжай! Из-за океана богачом вернешься, дочки в бобрах ходить будут. А для верности паспортишко мне отдай, в Охотском, как прибудешь, назад получишь, — и, заметив укоризненный взгляд Натальи Алексеевны, передал ей паспорт, сказав больше для нее, чем для Миколетти: — Пустое! Здесь человеку он ненужный, а спросят, скажешь — хозяину отдал.

После напутственного молебна, присев по обычаю перед дорогой под образами, Григорий Иванович решительно встал и, отдав земной поклон жене, сказал тихо:

— Благослови, Наташенька...

Наталья Алексеевна припала к плечу мужа лицом, подобным восковой маске, и, забыв о присутствии служившего молебен архимандрита Иоасафа и ревнительных к православию монахов, часто и мелко закрестила кержацким двуперстным знаменiem склонившуюся перед ней любимую, теперь такую седую и, казалось ей, слабую голову своего Гришаты.

— Будя, будя! — усмехнулся смущенно Григорий Иванович. — Перепустишь во мне святости, святым до Охотского не доберешься и в Охотском дел не справишь... Ираклий, архитект генеральный! — обернулся Шелихов к грузину. — Гляди в оба, чтобы в сохранности довел караван, людей и кладь. На тебя возлагаю.

а в помощь тебе Мальцев, Максим Максимыч, пойдет. Он мужик бывалый, тертый, слухайся его. Дело большое и строгое!

Ираклий молча кивнул: слушаю, мол, и понимаю, выпрямился и расправил сухие широкие плечи.

— Управишься! — подтвердил мореход и подумал: «В зятя выходит, пускай к делу приучается». — Ну, счастье оставаться и нас дожидаться!

Шелихов вышел на крыльцо к своей молодежи к молодцу подобранной ватаге, разместившейся на полутора десятках двухколесных высоких тележек, которые в Сибири, как и в степной России, зовутся «бедою».

По тяжелой дороге, прихотливо кружившей в диких горах Прибайкалья, устремились на Качуг, первую пристань в верховьях Лены. Лена здесь начинается из горного ключа, в полутораста верстах от Иркутска.

Трудно себе представить, сколько мужества, сил, умения и предприимчивости требовали эти каждую весну совершавшиеся вояжи Шелихова и шедших за ним людей из Иркутска в Охотск для приема клади с кораблей и отправления этих кораблей, которые связывали Россию с ее мало кому известными заокеанскими владениями.

На Улахан-юрях¹ — Великой реке — русские люди появились лет за полтораста до Шелихова и оседлали Лену на протяжении пяти тысяч километров ее течения, имея самую примитивную технику: свои руки да широкий уральский топор. Ценой неисчислимых жертв и усилий подчинили себе русские одну из самых больших рек мира, возникшую на месте древнего Ангарского моря. Из года в год, от ледохода до ледостава, они спускали свои утлые шняки на Лену и плыли. А плавать по Лене приходилось с немалой опаской: после каждого половодья река капризно меняла фарватер, этот фарватер загромаждался несущимся по весне и осенью в Ледовитый океан ледовым салом и стволами таежных великанов кедров и сосен, подмытых и снесенных сибирскими непогодами в реку; на сотни верст тянулись под Жигаловым и Усть-Кутом перекаты;

¹ Якутское название Лены.

«щеки» отвесных скал на обоих берегах под Киренском сужались до того, что не проскочишь, а посредине ко всему прочему еще злой камень «Пьяный бык» и такие же «Ленские столбы», под Сыныяхтатом! Удивительно ли, что они, эти русские люди, пройдя такой путь и подготовив себя к трудностям и опасностям, смогли на своих без единого гвоздя собранных шнитаках пересечь океан и одолеть необоримые сулон, непроходимые горные хребты, ледники, вулканы и лесные дебри негостеприимного побережья Нового Света?

Плавание по Лене и рассказы русских землепроходцев о странствованиях по Камчатке и Чукотке открыли душе Шелихова еще тогда, когда он был молодым и безвестным приказчиком сибирского туза Лебедева-Ласточкина, прекрасные свойства русского человека — дерзателя и натолкнули его на свершение великого подвига.

Шелихов и в зените своей славы любил плавать по Лене и волновался, беспокоился за удачу каждого плавания.

«Коль по Лене благополучны прошли, — все океаны и прочее одолеем», — думал он, сходя с паузка на Якутской пристани в этот двенадцатый свой вояж на Охотск, и не удержался, чтобы озорно не пошутить:

— Лена... — мореход сделал строгое лицо, — она баба хучь ладная, да злая... Кто с ней уладится, тот и с чертовой бабкой уживет. Не робейте, мужики, жени-тесь!

Батага встретила шутку хозяина взрывом хохота. Работу морехода за кормовым веслом на перекатах, между «щек» и под «столбами», люди видели и вспоминали с одобрением.

Из Якутска, поднянав проводников из надежных якутов, Шелихов на местных малорослых, лохматых, но необычайно выносливых лошадах тронулся в Охотск через тайгу и горные хребты. Он не захотел терять время на передвижение вверх по течению Алдана, Майи и других больших и малых рек, связывавших Якутск с охотским побережьем.

Обычно сибирские купцы-торговцы и господа чиновники пробирались в Охотск, если имели в том нуж-

ду, на паузках вверх по сбегавшим с Яблонового хребта притокам Лены—Алдану, Майе, Юдоме. Ватага нанятых или согнанных по повинности храпов, из русского таежно-бездомного люда и «немаканных» якутов и тунгусов, тянула паузок против быстрого течения изо всех сил, хрипя и задыхаясь под ляжками, закрепленными на голове и груди. Крутой же водораздел между реками Юдомой и Охотой одолевали волоком, спускали паузок с загорбков на охотской стороне и долго потом перевязывали ветошью обраненные в буреломе ноги. Зато совсем иначе чувствовал себя купец, под охраной нескольких приказчиков и подручных людей с ружьями, или господин чиновник, с солдатами. И тот и другой, вальяжно отлеживаясь на палубе паузка, лишь постреливали временами через головы яремных в померещившегося в прибрежной чаще медведя. Чиновники ездили бесплатно, «по государственному делу», купцы же платили гроши. Словом, и те и другие кровь и поту людского брали много.

Шелихов пренебрегал таким обычаем передвигаться, да и временем всегда дорожил. И в этот раз посадил он ватагу на-конь да в телеги, нанятые в дороге, и сам уселся — ноги до земли — на мохнатого буланого жеребчика под якутским, бисером расшитым, с серебряными поковками седлом. В защиту от страшнейшего врага в тайге — сибирского гнуса — наготовил медвежьего сала с дегтем, сам обмазался и людям приказал сделать то же.

— Не жалей дегтярки, мажься, душу и кровь бережешь, а в Охотском в бане отпаримся! — хохотал Шелихов. Под деготной раскраской он уподобился в своем волчьем малахае всамделишнему лешему. Проводники-якуты, нечувствительные к таежной мошке, боязливо оглядывали людей ватаги, отыскивая за деготной маской знакомые черты веселого купца и его товарищей.

Последний, самый трудный тысячеверстный переход прошел гладко. В середине июня Григорий Иванович с ватагой спускался со взгорий к Охотску. Убогий городок распластывался в низине между устьями рек Охоты и Кухтуя и походил скорее на кучу больших черных

раковин, неведомо кем разбросанных на плоских болотистых берегах Охоты, чем на сборище людских деревянных домишек.

В разговорах с большими людьми столицы, в бесчисленных докладных, подававшихся в правительственные коллегии, в письмах к Баранову Шелихов не упускал случая пожаловаться на «гнусность» и непригодность этого единственного в его время выхода России в Тихий океан. Попадая сюда по делам, он впадал всякий раз в отчаяние и от этого терял присущее ему легкодущие и покладистое отношение к людям.

Порт Охотск — казармы, магазины и несколько служебных домиков, построенных лет пятьдесят назад Витусом Берингом, — ежегодно затоплялся рекой Охотою и ее соседом Кухтуем. С моря к порту вел узкий фарватер, шириной в двести футов и в два с половиной фута глубиной. Без крайней надобности корабли в этот порт заходить не отваживались. Они отставивались в четырех-пяти верстах от него на открытом рейде, где грузились и разгружались, хотя и на рейде до конца июня, а иногда и позже, носились льды. Льды шли с 65° северной широты, из Пенжинской и Гижигинской губы.

Самый городишко Охотск — сотня черных, покрытых мохом и плесенью, источенных дождем и ветрами бревенчатых домиков — благоразумно раскинулся в трех-четырёх верстах выше порта. Но и здесь все тонуло, когда разливалась Охота и шли дожди. Тритон Охотск, пребывая в воде, не имел питьевой воды. В страшные зимние стужи и ветры воду приходилось доставлять в бочках, с людской и конной упряжкой, из ключа верстах в пяти от города. Впрочем, потребность во влаге охотские жители привыкли утолять больше водкой, чем водой.

Иностранцы хорошо знали это гиблое место и редко заходили в Охотск. А Шелихов из-за каприза недовольной им самодержицы на троне и происков тех, кто толпился около трона, вынужден был отказываться от самого насущного поиска незамерзающей гавани на азиатском берегу и преодолевать невероятные трудности, чтобы поддерживать из этого гнилого закута связь с заокеанскими владениями России.

Забрать с собой в Охотск всю партию отъезжающих в Америку Шелихов, конечно, не мог. Это было бы недуманно. Люди не могли бы найти для себя здесь жилья до погрузки и отправки судна. Среди них в этот раз много было семейных, с женами, ребятишками, домашним скарбом. А Миколетти со своими собаками и девчонками — куда бы они здесь делись? Жилые строения компаний Шелихова были невелики; обширны, правда, шелиховские склады, но товар из складов на улицу не выставишь. Сотня же домишек охотских старожилов забита сибирским бродячим людом, собиравшимся в Охотск для поживы и заработка, да и кто за постой будет платить, когда охотчане, пользуясь горячими днями, за переночевку по полтине с рыла спрашивают.

На горьком опыте минувших навигаций Шелихов убедился, к чему приводит людей даже недолгое пребывание в Охотске. От тесноты и грязи, от испарений болот и свалок люди начнут болеть лихорадкой. Бесfamilейные же от баб охотских, а они все гулящие, еще подарков венерических наберутся и повезут такую пропастину в Новый Свет. А кое-кто в ожидании отплытия просто сопьется и разбалуеться, глядя на угрюмое море, в размышлениях о своей судьбе...

Самому-то Григорию Ивановичу в Охотске никакого времени на размышления не оставалось. Просыпаясь под полуночным незаходящим солнцем северных широт, он будил измученных в труде людей и в ответ на недовольное их ворчание отшучивался: «Не зовут вола пиво пить, зовут вола воду возить».

Шелихова поглотили заботы по снаряжению к предстоящему плаванию только что выстроенных и за несколько дней до его приезда спущенных со стапелей на воду двух кораблей, никогда еще не пересекавших океан: двухпалубного галиота «Три иерарха» и однопалубного шнита «Св. Екатерина».

На этих двух судах предстояло разместить, не считая команды и запаса пресной воды, до ста восьмидесяти пассажиров и двадцать тысяч пудов груза,

включая домашний скот, птицу, десять упряжек ездовых собак, бороны, сохи, разные товары и продовольствие.

При недостатке материалов и умелых рабочих рук нужно было поломать голову над приспособлениями по погрузке! Шелихов дневал и ночевал на рейде, не сходя с заякоренных кораблей. Он сам кузнечил, выделывая скрепы, болты, наугольники, сам плотничал, нашивал фальшборт, возводил навесы для людей, строил загоны и стойла для скота, подвесные клетки для домашней птицы и собак.

Платил Григорий Иванович, не зажимая копейки, и рассчитывался по субботам сполна. Однако количество работавших на оснащении кораблей с каждой получкой уменьшалось. И к третьему от начала работы понедельнику пять шлюпок не вернулось из Охотска, на корабли не явилось и половины людей.

«Придется Коху кланяться и облавой сгонять суких детей. Все они, поди, у Растопырихи водку хлещут», — подумал Шелихов. А тут как раз заладил дождь, и Григорий Иванович съехал на берег в байдаре.

Под вечер того же дня со штофом сладкой и крепкой облепихи изготовления Натальи Алексеевны и связкой гусиных полотков¹ он предстал пред охотским комендантом Готлибом Ивановичем Кохом.

Возвышенной и чувствительной душой обладал асессор Кох. Когда Григорий Иванович распахнул дверь, Кох, зажмурив глаза и истаивая от умиления, извлекал из своей простуженной флейты какую-то тягучую немецкую мелодию. Возвышенность чувств и игра на флейте придавали, как сам об этом думал Кох, еще больший вес и значение его собственной асессорской персоне.

Шелихов, прекрасно разбираясь в людях, постарался рассказами о петербургских встречах и алмазной медалью-портретом, пожалованной царицей, внушить асессору Коху достаточно высокое мнение о своих «связах и знакомствах», да и за административные услуги

¹ Копченая гусятина.

коменданта мореход, как человек практический и искушенный, платил щедро и во-время.

— Ах, как я рад, как я рад! Чем могу служить, почтенный Григорий Иванович? — проговорил и, отбросив флейту, вышел из-за стола охотский «бог».

— Облава надобна, чалдонов моих собрать... ну и выпить по этому случаю за твой успех, господин комендант! — без обиняков ответил Шелихов и, разливая в оловянные кружки густую облепиху, напомнил:

— На небе бог, а в Охотске...

— ...Кох! — самодовольно подсказал Готлиб Иванович.

Шелихов засмеялся:

— Это известно уже и в Петербурге, слыхивал и там, говорят: «Кох!...» Но облаву умно надо устроить, днем и токмо в дождь, когда все под крышу залезут, и чтобы казаки не кучей, а по два, по три в кабак заходили, и на улице расстановить и хватать, кто побежит, да в комендантское гнать, а здесь уж мы разберемся...

Самой большой гнусностью охотской жизни мореход считал асессора Коха, но в создавшемся положении только с помощью Коха можно было снарядить корабли. Охотские старожилы и собиравшаяся сюда к открытию навигации беглая вольница — люди с царских каторжных рудников Акатуя и Нерчинска, нередко и из глубин центральной России, изуродованные звериным бесправием, жестокостью и произволом властей, задавленные горем и нищетой, — все эти люди, естественно, не могли видеть в мореходе ничего, кроме удачливого купца и промышленника, сорвать с которого не грех, а обмануть — заслуга. В свою очередь, горячий и порывистый, не искушенный раздумием над первопричинами, разъедающими человеческую душу, Шелихов часто шел по линии наименьшего сопротивления и пытался либо силой денег, либо принуждением заставить во всем изверившихся и отчаявшихся людей служить его Славороссии — стране, где все будет не похоже на жизнь в Охотске, в Сибири, в России.

Охотскую кабатчицу звали в народе Растопырихой, настоящего ее имени, кажется, так никто и не знал. Эта Растопыриха, огромная баба, весом в мелкую якутскую корову, славилась тем, что выходила один на один и вышибала дух из самых отчаянных каторжников, загулявших или не заплативших ей за выпитое.

Необъятные грудь, спина и бока Растопырихи, как шепотом пересказывали очевидцы ее оголений по пьяному делу, носили бесчисленные следы ножа, шипов кистеня и стекла бутылок.

Заведение Растопырихи звали «мухоловкой».

— Ко мне люди, как мухи на мед, идут, и бог с ними, пушай идут, ежели я сладкая! — басом, мрачно и безулыбчиво шутила Растопыриха.

Зарезанных в мухоловке людей всегда находили далеко от заведения Растопырихи, под стеной, а то и в сенях чьей-нибудь избы. Следствия по таким находкам являлись немалой статьей дохода ассессора Коха. Делилась с ним Растопыриха и питейным доходом, покупая контрабандный ром и русскую сивуху из казенной магазей, делилась и платой за укрытие у себя «несчастненьких», за которыми числились самые громкие дела.

— Ежели на улице возьмут, я не в ответе, а у меня живи, как в скиту за угодниками! — говаривала Растопыриха, принимая от постояльцев, избегавших встречи с представителями власти, золотой песок и самородки. И мухоловка ее среди сотни жил Охотска считалась самым спокойным и развлекательным приютом — и выпить можно без опаски и в карты поиграть, и в зернь, и в юлку...

Вторые сутки лил обложной дождь. Все живое забилось под крыши. В чаду черкасского табаку и сибирской спирающей дыхание махорки, за несколькими столами обширной горницы в избе Растопырихи, елозя ногами по скользкому от грязи полу, сидело десятка три варнаков в самом фантастическом тряпье, в асямах, рваных кафтанах, полушубках на голом теле, в женских летниках и чуть ли не в юбках вместо портов.

Играли в юлку. Распиленные говяжьи кости, с выбитыми на них и зачерненными точками, прыгали по столу.

— Чеква¹, — разочарованно считает бросивший.

— Мой, верх — петушки²! — отвечает партнер и вливается взглядом в третьего.

— Лебеди³, все мое, — равнодушно говорит третий, откинув кости, и сгребает к себе ставку — три щепоти отмеренного наперстком золотого песку. — Подай, матка, шляхетной компании по шкалику, Иероним Залесницкий угощает! — сказал Иероним, опуская собранный песок в карман очутившейся около него Растопырихи. — Нет, панове, — продолжал он с форсом, — юлка не шляхетная игра, без умствования... Давайте в чалдонках⁴ фортуны шукать... Вот они, акатуйской работы! Гляди, очки какие: червонные кровью из становой жилы наведены, чорни — сажей на крови... Эх, кто же против меня в три листика с фалкой да с бардадымом сядет? Только пенёнызы на кон!

Противник нашелся. Уселись и сосредоточенно принялись ловить бардадыма, поливая друг друга изощренной руганью, в которой форсистый поляк никак не уступал первенства бойкому ярославцу.

— Тыфу! — сплюнул молодой, высокий, косая сажень в плечах, чернобородый мужик и отошел от ругающихся игроков.

— Ты, Стенюшка, не форси, — смеясь, отозвался один из храпов. — Не форси и не плюйся. Ты, если хочешь, лучше спой нам али сказку Расскажи... С охотой послушаем...

Чернобородый мельком оглядел присутствующих, остановился на круге, сомкнувшемся вокруг играющих в карты, тряхнул копной черных кудрей, но послушно сел, подумал мгновение и сказал:

— Про Максима про Зализняка спою, которую он сам сложил.

¹ Четыре.

² Пять.

³ Девять.

⁴ Игральные карты.

— Добрий вечір тобі, зелена діброво!
Переночуй хоч ніченьку мене молодого!
— Не переночую, бо славоньку чую
Про твою, козаченьку, голову буйную.
— Добрий вечір тобі, ти, темний байраче!
Переночуй хоч ніченьку та волю козачу!

Голос певца, густой и мягкий, — а пел чернобородый необыкновенно хорошо и свободно, — прозвучал горькой обидой и вызовом судьбе. Пел он на украинско-русском народном языке, равно понятном украинцу и русскому.

Для русского человека ничего нет доходчивее хорошей песни, да еще спетой ладно и с душой. Варнаки замолкли, даже картежники на время забыли про карты и обернулись к певцу, когда он среди необычной для мухоловки тишины закончил песню горькой и недоуменной, но столь понятной для его слушателей жалобой:

— Не переночую, бо жаль мені буде,
Щось у лузі сизий голуб жалібненько гуде.

Эта песня про Зализняка, сложенная, по преданию, самим Зализняком, грозным народным карателем украинских и польских панов, лет тридцать назад сосланным после ликвидации Колиивщины в сибирские рудники под Нерчинск и счастливо ушедшим из них на родину — в далекую Украину, нашла живой отклик среди сибирских варнаков. Каждый из них лелеял в этой песне свою мечту о воле, о свободе.

— Кончай! Чего ж ты, неужто забыл? — зашумели слушатели, когда певец неожиданно замолк. — Про душевателей, гонителей наших, чтоб их погибель взяла, подавай, парень! Хорошо у тебя песня выходит...

Вже ж про тебе, козаченьку, вороги пытають,
Щодня й ночі в темним лузі все тебе нукають.
Гей, як крикне козаченько до гаю, до гаю:
— Наїзджайте, воріженьки, сам вас накликаю!

Певец не видел предостерегающего взгляда Рас-топырихи, около которой неожиданно для всех увлеченных песней бродяг вырос проскользнувший в избу

ассессор Готлиб Кох с несколькими казаками из «братских» — бурятов.

— Кого это ты, сукин сын, накликаешь, не знаю и спрашивать не буду, а вот ассессора Коха, раз ты его себе на голову накликал, ты навек запомнишь и песню про меня сложишь... Взять этого! — блеющим от обиды голосом прервал Кох певца. — А остальные, которые без паспорта, выходи на двор! — провозгласил грозный комендант. — Да не вздумайте бежать: сами знаете, что из этого будет...

Бродяги, подавленные при появлении Коха к окнам и готовые уже выпрыгнуть, заметили через затягивавший их тюлений пузырь мрачные фигуры казаков из бурят с ружьями и в раздумье остановились.

— Ах ты, обглоданный, так ты уговора держишься?.. Деньги взял, а меня на срам, на растерзание людям выставляешь... Да я из тебя... — взревела Растопыриха и, как медведица, поднятая из берлоги, двинулась на Коха, не замечая выразительного мигания рыжих ресниц коменданта, — я из тебя кишки...

И упала к его ногам, оглушенная стоявшим сзади ее «братским» ударом приклада по затылку. Люди переглянулись и один за другим молча пошли к выходу.

— Один, два, три... девять, десять... двадцать... тридцать, тридцать пять... Эх вас набралось! — считал их, помахивая предусмотрительно взведенным пистолетом, Кох. — За этим особо смотреть, — кивнул он на чернобородого певца, замыкавшего цепочку захваченных облавой людей.

В избе на полу осталось распростертое тело Растопырихи, вокруг головы которой ширилась, смешиваясь с грязью, черная кровавая лужа. Вылезшая из запечья пестрая лайка подошла к хозяйке, осторожно обнюхала кровавую лужу и, отскочив в испуге в сторону, присела на задние лапы и тоненько, прерывисто закулила. Собачонка будто поняла, что рука ассессора Коха навсегда зачеркнула его счета с хозяйкой и никто не будет интересоваться, за кем осталось кровавое сальдо, тем более что «на небе бог, а в Охотске Кох...»

И действительно, отписывая в Иркутск сибирскому

наместнику в очередном месячном отчете о действиях по своему управлению, Кох в реляции об очистке Охотска от беглых и сомнительных людей нашел возможным ограничиться скромным пояснением: «...при сих моих действиях некоторые оказали отчаянное сопротивление... и она гулящая и разбойная баба Растопыриха при нечаянном ударе отдала богу душу... а служилого селенгинского казака Семейку Бровкина за послушание и твердость наградил я из казенных денег пять рублей и награждение сие на предмет списания прошу милостиво утвердить».

Семейка Бровкин, получив от асессора Коха не пять рублей, а двугривенный, так никогда и не догадался о причине неожиданной щедрости скупого на поощрения начальника.

4

Обычные для Охотска в середине лета обложные дожди и туманы превращали город в топкое болото, пробираться по которому люди решались только на коне, да и то по великой нужде.

Сидя в пристроенной к амбару жилой избе у поднятого волокового оконца, Шелихов бездумно прислушивался к едва доносившимся из порта унылым звукам колокола, возвещавшего начало приливной волны...

Неожиданно на «улице», превращенной дождем в широкий грязевой поток, показались люди. Они брели по колено в воде, с трудом вытаскивая ноги из вязкой грязи, спотыкаясь и падая; многие без шапок, иные в наброшенных на голову рогожах, из-под которых светило голое тело.

Человек двадцать верхоконных казаков, бурят, под надзором ехавшего сзади Коха с личной охраной, упорно держали людей посредине грязевой реки, топчя конями и полосуя по чем попало нагайками отстающих.

— С облавы ведут! — догадался Шелихов и досадливо поморщился, припомнив, что он сам несколько дней назад присоветовал Коху устроить облаву в разгаре дождя. — И до чего же глупая и злая на русских

гслова у немцев. В грязи купает, нарочно изгаляется, свистун проклятый...

Чувствуя угрызения совести за скверный сговор с Кохом, Шелихов отодвинулся от оконца, как вдруг его внимание привлек двигавшийся в толпе уверенно и не спотыкаясь высокий, просторный в плечах мужик, с яркими голубыми глазами, с лицом, заросшим черной курчавой бородкой. Продвигаясь, голубоглазый поддерживал товарища, изнуренного, видимо, тяжелой болезнью человека в насквозь промокшем изорванном азяме.

«Неужто тот... гайдук Жеребцовой? — силился припомнить Григорий Иванович черные усы на молодом румянном лице и грустные голубые глаза детины, который почти на руках снес Шелихова в сани после припадка у Зубова. — И как имя-то его? Забыл, прости господи... Да что теперь в имени, оно теперь другое у него, имя... А выручить парня надо, в Коховых руках останется — в жеребцовские попадет, и тогда уж пропадет...»

Направив Коха на своих сбежавших рабочих, Шелихов сейчас вдвойне почувствовал необходимость сделать что-то, чтобы спасти парня, невольной причиной несчастий которого ему привелось стать три года назад.

— Здоров, господин комендант! — вышел Шелихов на крыльцо, не зная еще сам, что сделает. — С уловом вас, — сказал он, вглядываясь в то же время в голубоглазого человека. — А ты как попал в честную компанию?.. Этого вы мне зараз же отпустите, господин комендант, первый мой такелажник и позарез нужный!..

Стенька с первого взгляда узнал Шелихова, когда тот вышел на крыльцо. Преодолев невероятные препятствия, он и в Охотск пробрался с тайной мыслью, что именно здесь, на краю света, на берегу последнего моря, он откроется мореходу и попросит перебросить его в заокеанскую страну, где, как он уже слышал среди зубовской дворни, найдено людям счастье и богатство.

Стенька не считал морехода виновником выпавших на его долю испытаний и горькой судьбы. Три года жизни в бегах, — а за это время он пешком из Петер-

бурга, с запада на восток, через всю Россию, добрался до Охотского студеного моря, — научили Стеньку многому.

Думая об этой встрече, Стенька почему-то всегда был уверен в ее добром для него, а не худом конце и потому строил радужные планы своей будущей жизни в шелиховской заокеанской Америке. Там его уже не достанут маленькие жесткие руки Ольги Александровны Жеребцовой.

— Прости бога для, хозяин, сам вижу... и уж никогда Мишка Глазов против твоей воли не пойдет! Прости, — понял и находчиво отозвался Стенька на явное намерение Шелихова выручить его из рук Коха.

— Отпусти парня, Готлиб Иванович, я сам из него дурь линьками на корабле вышибу... Полный рацион получишь, Мишка! — с угрозой проговорил Шелихов, смеясь в душе над глупостью Коха и довольный находчивостью Стеньки, назвавшего ему свое беглецкое имя.

Захваченные Кохом сбежавшие с кораблей рабочие и те несколько бродяг, с которыми Стенька добирался до Охотска, такому разговору удивились, но что-то поняли и виду не подали.

«На фарт парень попал. Комендант в дураках останется, а купец... будто и на человека похож купец, когда нашего брата из беды выручает», — думали они, терпеливо переступая застывшими в воде ногами.

— Остальные пошли! — заорал сердито Кох, толкнув к мореходу и подозрительно оглядывая остановившегося перед крыльцом «такелажника Мишку Глазова». — Не забудьте этого в счете, Григорий Иванович, особенно ежели человек вам нужный, — сказал Кох, многозначительно мотнув головой в сторону Стеньки.

Когда партия людей скрылась за поворотом бугра, на котором высился полуразрушенный ветряк, Шелихов вошел в избу, махнув рукой Стеньке следовать за собой.

— Рассказывай, все начисто рассказывай, парень, где тебя ноги, почитай, три года носили? — тоном хозяина, принимающего отчет от работника, спросил мореход, уже сидя на скамье за столом. — Токмо допреж скажи мне имя твое хрестьянское... Обличья и старанья твоего, как видишь, не забыл, а имя запомнил...

— Стенькой, звали, Степаном...

— Ладно! — кивнул Григорий Иванович. — Рассказывай, Степанушко, а чего не хочешь рассказывать — промолчи, токмо безо лжи...

Горница была чисто прибрана. На стенах висели карты и портрет Петра I, зачинателя империи и российской коммерции, скопированный по заказу Шелихова изрядным художником из ссыльных доляков в Иркутске с портрета, украшавшего присутственное зало во дворце наместника. В глубине горницы у печи виднелись завешенные чистой парусиной полаты, похожие на те кровати, которым Стенька удивлялся в столице, в доме Жеребцовых...

Стенька помолчал, как бы собираясь с мыслями, перевел дух и начал:

— Не сумел я, значит, к ней вас завернуть, господин. В сани...

— Какой я господин, Григорием Ивановичем люди зовут, — перебил Шелихов, крепко подкупив Стеньку этой простотой обращения.

— Вас, — продолжал Стенька, — я в сани тогда снес и тем себя в солдаты сдал, а Ташку... Утопилась Ташка, Григорий Иванович, когда ей Ольга Александровна косы обрезала, в деревню отослала и насильно за гнилого дурака замуж отдала... Утопилась Ташка, не дождала меня! — спокойно выговорил Стенька, и видно было, что парень уже отболел этой болью за Ташку. — В последний раз видел ее, как вел меня кнута-тобоек Досифей к полицмейстеру на съезжую в солдаты сдавать, а Ташку, руки завязав, на телегу сажали в синбирскую деревню везти... На съезжей я сразу умом прояснел, а там всякой либо вовсе ума решится, либо нужного наберется... Сбежал я, когда начали нас на Сенную выводить кормление у купцов выпрашивать. И после, как лошадь, бег от Петербурга на Свягучечку, под самым Синбирском, где эту самую Зубовку надо было искать... Как лошадь, говорю, по сту и больше верст бег, однако опоздал! В лесах мордовских заблукнул, чудом выбрался. Пришел в эту Зубовку, а люди и говорят мне: на другой же день, как привезли Ташку, свадьбу управитель приказал играть... Прита-

щили Ташку в церковь, и хоть дурно кричала она «утоплюсь», — обвенчал поп. Попу что, если ему барский приказ прочли и полтину дали? Вечером в избе, когда пропивали Ташку, она и вышла из-за стола крадьком... Хватились молодых в клеть вести, ее с Никишкой, — нет Ташки. Посмеялись над дураком и спать завалились, а когда вытверезились, почали искать... в пруду нашли Ташку. Утопила себя Ташка. Не далась девка Ольге Александровне над собой надругаться!

Стенька умолк, отведя глаза в сторону окна. А Григорий Иванович сидел, опустив голову, и, не замечая воцарившегося молчания, думал о своем: сколько людей искалеченных, напоенных ненавистью к обнаглевшему барству, таит в себе Русь! Каким бы умыслом собрать их как можно больше и вывезти за океан в Аляксу? У таких раскаленных уже никто не смог бы отнять его Славороссию!

— И как же ты дальше? — спросил Шелихов внешне спокойным голосом, не желая обнаруживать охвативших его мыслей, из которых сам не умел и не мог найти выхода и решения.

— Я? — отозвался Стенька. — Что ж я! Хотел красного петуха на зубовских пустить, да пожалел старых и малых, да и на свадьбе не деревенские — все дворовые больше были по управительскому наряду, что с таких возьмешь? Никишку решил пристукнуть. Устерег его в подлеске у коров, спит дурак, а мухи во рту, как над падлом, гудят, сплюнул я на его рожу и пошел... Пошел через Волгу на Иргиз в кержацкие ски-ты, думал, что найду у них чего, но не понравилось: дремучие и темные там люди... От них на Яик перебрался, откуда Пугач на цар... — Стенька взглянул на Шелихова и портрет Петра I, висевший над головой морехода, и, скомкав, закончил: — ...на жеребцовый дворянский род поднялся... Хорошо в тех краях! Много слышать чего пришлось, только жить там опасно: команды везде стоят, исправники и офицеры в каждой станице похаживают, интересуются, кто ты есть... Робил я у казака одного, он мне и присоветовал: уходи-ка ты, мол, отсюда. Дал три рубля и паспорт, спа-

сибо ему, — и стал я Михайлом Глазовым из вольных яицких казаков...

Стенька умолк и испытующе смотрел на морехода.

— Глазовым для людей будешь, а для себя Стенькой останешься, но я тебе тот же совет, что и казак твой, дам: уходи-ка ты отсюда, от греха подальше...

Лицо Стеньки потемнело. Он хотел что-то сказать, но сразу обмяк, когда услышал твердое:

— ...на Аляксу, в Америку!

— Того и я бажаю, — радостно ответил Стенька, в волнении переходя на полузабытую родную украинскую речь. — Этого мне и надо, служить верно буду! — пояснил он, заметив, что Шелихов не совсем понял его.

— Вот и ладно! Ты о себе, Глазов, помалкивай. Ишу, мол, доли и богатства, для сего к Шелихову добрался — на все один твой ответ. Дождь сойдет, на корабли перейдем, а там люди и кладь из Иркутска придут, за океан с ними уйдешь — человеком станешь! Я к Баранову. — это управитель мой — пишу тебе дам, чтобы поимел тебя Александр Андреевич на дела, где разум и отвага требуются... Не подведешь?

— Служить верно буду! На меня, как на гору, покладите, Григорий Иваныч, — радостно откликнулся Стенька.

Затяжной летний дождь вызвал, как обычно бывало в Охотске, наводнение и прекратился, угнав в море уличные свалки пред охотскими избами. Слепая природа, как будто проявляя высшую мудрость, спасала Охотск от исчезновения в нечистотах.

Люди, просидев несколько дней в «холодной» при портовом управлении и выдержав допрос Коха с пристрастием, рады были вырваться на свежий воздух. Посмеиваясь друг над другом и невольно почесывая спины, они ретиво теперь возились над снаряжением «Иерархов» и «Екатерины».

Подозревая в мореходе виновника облавы, они тем не менее зла на него не держали и многое прощали за добрые щи и по морскому обычаю подносимую за обедом, в охрану от цыгги, чарку водки.

Стенька был приставлен наглядывать за работами

и, хоть впервые очутился на корабле, быстро освоился с морскими порядками. Не довольствуясь ролью надзирателя, он стремительно кидался туда, где не могли управиться корабельные рабочие, где нужно было придержать или сдвинуть с места могучим плечом какую-либо тяжесть. Шелихов ничем не выдавал особого расположения к Стеньке, но незаметно и внимательно следил за ним, утверждаясь в мысли: «Будет толк из парня, знаменитым партовщиком станет».

В середине июля, когда море, после полосы прошедших над краем дождей и туманов, очистилось от пловучих льдов, корабли на рейде были готовы принять пассажиров, как и грузы, и с обычным в это время юго-западным муссоном, распустив паруса, двинуться в Америку через океан.

«Грех погоду упустить!» — раздраженно думал Шелихов и с утра до вечера сидел на юте верхней палубы «Иерархов», упрямо высматривая через подзорную трубу на сбегающих к Охотску взгорьях застрявший почему-то в пути караван из Иркутска.

Штурман Бочаров, который должен был вести «Иерархов» в Америку, на цыпочках ходил вокруг морехода, опасаясь вспышки гнева сумрачного хозяина, удрученного предчувствием самых невероятных несчастий на пути каравана по рекам и в тайге.

— Корабль с моря! Чужой! — заорал вахтенный, сидевший в бочке, подвешенной к грот-мачте. — И за ним еще... еще корабли! — донеслось с вершины мачты.

— Кого черти морские в гиблое место сюда принесли? — буркнул мореход, оборачиваясь и переводя подзорку на восток, на широкую, распростертую под нависшими слоистыми облаками дорогу с океана.

В тревожном поджидании иркутского каравана с миссией, под началом Ираклия Боридзе, Шелихов совсем позабыл о возможном в это время приходе своих, как и чужих, кораблей с востока, из Америки — от Баранова и мало ли из каких еще земель и каких флагов...

— Хороший бриг, и капитан дельный, ловко в бейдевинд держится, — поделился мореход наблюдением с Бочаровым. — А спутника его не разглядел, далеко

от первого ныряет... завидны у дозорного гляделки. Эй, там, наверху, как тебя зовут? — заорал мореход, задрав голову к бочке на мачте.

— Михайла Гла-азов! — донеслось сверху.

— Молодец Стенька, всюду поспевает, — похвалил мореход и осекся, не заметил ли Бочаров, что он хвалит Стеньку наместо четко назвавшегося Михайлы. — Гостей честью встретить надобно бы, Дмитрий Иванович, как думаешь? Заодно и пушки на «Иерархах» и «Катеринке» прочистим... Распорядись пальнуть им встречу, знали бы, что русские порох всегда сухим держат!

Часа через три, добравшись на байдаре к отдавшему якоря «чужестранцу», мореход горящими от волнения глазами пожирал имя корабля «Феникс», выведенное на носу под бугшпритом славянскими, от руки топором вырубленными и киноварью раскрашенными буквами.

— Александр Андреевич... Баранушка... голубчик мой! Выстроил-таки... выпустил первенца крылатого из Славороссии!.. Ах, и чем же я отблагодарю тебя, старинушка, друг бесценный?! — несвязно ронял слова Шелихов, объезжая и восхищенно оглядывая корабль со всех сторон.

На палубу корабля Григорий Иваныч не взобрался — взлетел по спущенному трапу с ловкостью молодого матроса-лихаха, будто скинув с плечей груз лет и надломивших былую силу тревог и напастей.

Польщенный пушечным салютом, маленький поручик Шильдс встретил Григория Ивановича сияющей улыбкой. Он прибыл капитаном первого рейса выстроенного им совместно с Барановым американского первенца компанейского флота.

— Порядочный корабль, лучших и в Глазго не построят, — докладывал Шильдс, когда мореход, выпустив его из объятий, поставил на палубу. — Три шторма выдержали, нигде «Феникс» течи не обнаружил... Пика и смолы мы от вас так и не дождались, пришлось «барановским» составом конопатку пропитывать... Черт его знает, что придумал Александр Андреевич и варил в кузне запершись: еловая и горячая сера, охра и ки-

товый жир... Не верите? Но я должен в барановское месиво верить, раз имею честь видеть вас, уважаемый господин президент...

Шелихов, не вникая и не слушая, что рассказывал Шильдс о замечательном изобретении Баранова, ринулся на осммотр корабля в трюм, оглядел камбуз и даже галлюн...

— Вы не дослушали, Григорий Иванович, самого важного, — обиженно встретил выбравшегося наконец на палубу морехода Шильдс. — Я привез на полтора миллиона рублей бобровых и прочих шкур, которые добыты в девяносто третьем и даже в девяносто втором году.

— Да ну?.. Это здорово! Очень даже замечательно! — живо отозвался купец Шелихов и тут же, как мореход, подумав: «Бобров успеем сосчитать», с величайшим интересом спросил: — А второй такой же, что «Феникс», аль поменее будет?

— Какой второй? — недоуменно воззрился Шильдс на Шелихова. Респектабельный и деловой, англичанин по рождению, Шильдс не знал, как ему следует отнестись к безалаберности президента компании, к которой он пошел на службу в Америке.

— Брось со мной в прятки играть, Яков Егорыч, — сердито сказал Шелихов. — Я тебя про то суденышко спрашиваю, что за тобой идет... Какой долины, на сколько тоннов?

— А-а... вы о том, что за мной вслед в Охотск пробирается? — сообразил Шильдс. — Не знаю, не знаю. Иностранец какой-то, надо думать. Я и сам его только дней пять сзади себя заметил, пройдя третий Курильский пролив за Парамуширом. Я уменьшил паруса, и он, видно, то же делал, не шел на сближение... Завтра он здесь будет — завтра узнаете.

— Тогда о чем толковать, прости, Яков Егорыч... Я и «Феникса» за иностранца посчитал, а когда тебя увидел, подумал: ты еще один корабль выстроил, за собой ведешь... Захвати реестры, поехали на берег, чай, ты в-во как по бане соскучился! — сказал Шелихов, теряя интерес к нырявшему в море кораблю.

На другой день началась разгрузка «Феникса», до-

ставившего огромную добычу, тысячи мест драгоценных мехов. Разгрузка судна на рейде требовала большого опыта и предусмотрительности, так как она производилась на неуклюжих шняках, ботах и малоподъемных байдарках. Дары Америки легче легкого могли быть затоплены на бурунах преграждавшего вход в порт каменного бара. Нужно было обезопасить груз и от всяких ухищрений охотской «кобылки» — старожилов и пришлых людей, падких на чужое добро.

В помощь боцману «Феникса», Прохору Пьяных, Шелихов поставил Стеньку, благо обнаружил в нем хорошую грамотность и знание счета.

На коварных бурунах каменного бара в легкой байдаре безотлучно находился Шильдс, а на берегу по записке с корабля груз принимал сам Шелихов с комиссионером и смотрителем складов компании. На каждой шняке, как и на каждом боте, находился солдат из гарнизонного взвода, наряженного за солидную мзду Кохом.

Работы было так много и она была такой напряженной, что Стенька, безотлучно находясь на корабле, как ни хотел, долго не находил подходящего момента расспросить прибывших матросов об Америке, куда он со дня на день готовился отплыть.

— Расскажи-ка, дядя, каков есть край Америка, какая там доля для нашего брата, простого человека? — улучив удобную минуту, спросил он боцмана Пьяных, оставшегося на корабле за капитана.

— Кому и «дядя», а кому господин боцман и не меньше как Прохор Захарыч, — отрезал Пьяных. — С расспросами не приставай... Попадешь туда — узнаешь свою долю... — И добавил, смягчаясь, когда увидел не испуг, а огорчение на открытом красивом лице Стеньки: — Для простых людей и света мало, чтобы долю найти. Америка тоже не мед, а голодовка да цынга, работа да Баранов... Не скажу — худой человек Баранов, но рука у него тяжелая. Себе, замечено, богатства не ищет, но и нашему брату нажить не даст. Для России, говорит, трудимся, а того не видит, что нашим трудом-потом едино купцам мощну набивает.

Они оба, хозяин наш главный Шелихов и Баранов, одного поля ягода и одним миром мазаны, но в святыне не попадут... Простых они кровей!

Любивший при случае пофилософствовать и немало видевший на своем веку старый океанский моряк, заметив, с каким жадным вниманием ловит Стенька его слова, резко оборвал разговор: кто их знает, незнакомых людей из амбаров компании... Мне что, пусть мое при мне и останется!

Стенька весь подобрался и рьяно набросился на работу. Он так и не понял Пьяных. Но он дорого дал бы, чтобы услышать отзыв Пьяных о Шелихове, о самом Григории Ивановиче, в котором встретил единственного пока в своей жизни покровителя, если не считать подследповатого дьячка Паисия на далекой Киевщине, — тот обучил Стеньку, круглого сироту, грамоте и счету и поставил петь на клиросе, где рослый и красивый парубок бросился однажды в глаза нечаянно наехавшему в Глуховку Платону Александровичу Зубову и попал в его дворню, к Ольге Александровне, вельможной «мартышке».

— Нажмись! Работа-ай! — заорал Стенька, бросаясь в гущу спящих по палубе людей с огромными тюками драгоценной мягкой рухляди за спиной.

— Ходи веселее, ребята! — кричал на берегу Охоты, где сгружали тюки с мехами, Григорий Шелихов.

Покрикивал он, собственно, для того, чтобы разогнать уныние и какую-то тяжесть на сердце. Причиной уныния было полученное с нарочным гонцом-якутом коротенькое письмо Натальи Алексеевны.

Наталья Алексеевна высоко ценила книги и читала довольно свободно, но письмом владела плохо и, стыдясь, старалась не обнаруживать этого.

«Кланяется тебе, Григорий свет Иваныч, жена твоя Шелихова Наталья и с любовью шлет низкий поклон. Караван, с честными отцами и прочим тебе нужным, выправила на Охотск под началом Мальцева, Максима Максимыча, и Олешки-цыганка. А Ираклия в дому оставила, как он совсем хворый и в последнюю дорогу собрался, про что письмишком через Сысойку хочу тебя предупредить...»

В этом месте Шелихов едва разобрал слова, расплывшиеся от упавшей на них крупной капли, должно быть слезы из очей Натальи Алексеевны.

С трудом Григорий Иванович дочитал последние слова письма:

«Не тужи, друг бесценный, помни, что без воли божьей ни один волос с главы не падает. Жена и раба твоя верная Шелихова Наталья».

Сысойка пробрался в Охотск от Якутска на коне в одиночку. На все расспросы морехода он только глупо улыбался, бормотал непонятное и мотал головой не то утвердительно, не то отрицательно.

Подавленный предчувствием беды, занятый одной мыслью, как бы поскорей закончить дела — встретить караван, погрузить людей и кладь на суда и отправить их за океан, чтобы с ветром вперегонку ринуться в Иркутск, домой, Шелихов держался с необычной для него рассеянностью и просто даже невежливо принял владельца бостонской легкой шхуны, прибывшей на Охотский рейд следом за «Фениксом».

При этом разговоре Яков Егорович Шильдс был на редкость удачным и точным переводчиком, хотя часто фыркал и недовольно морщил свой крохотный, но гордо вздернутый нос в знак протеста против каверзных отзывов незнакомца об отечестве Шильдса — Англии.

— Питер Дойбл, арматор! — отрекомендовался на берегу, выскочив из шлюпки, небольшой, но крепко сбитый человек в морском смоленом плаще. Веселые и умные глаза ирландца впивались в собеседника.

— Все, что мне нужно знать о вас, мистер Шеликоф, я знаю. И мне верить, не проверив на деле, ни в чем не прошу. К вам я прибыл из Дублина, посетив в пути Бостон и обогнув мыс Горн — пятнадцать тысяч миль! Время — деньги. Выслушайте меня. Я предлагаю сделать вашу страну, симпатичную мне и, увы, неизвестную Рэшэн — Россию, хозяйкой Великого океана, а вас ее главным компрадором... Покупателем, посредником! — пояснил Дойбл, заметив, что Шелихов не понимает его. — Мой интерес в этом деле — быть вашим помощником и компаньоном в некоторых предприятиях... Надеюсь, вам ясно, что я не филантроп и

не квакер, заботящийся о спасении человеческих душ? И мне представляется, что для начала следовало бы открыть конторы и склады компании в Манилле на острове Лукон¹ и в порту Амой, против острова Тайвань в Южном Китае. Я уверен, что Испания и Китай согласятся положить предел притязаниям Великобритании и беспокойному нраву английских моряков, если вы, мистер Шеликоф, будете в силах побудить свое правительство мирно договориться об этом с Китаем и Испанией.

— М-мм... — захмыкал в ответ Шелихов. — М-могу, конечно, могу! — Вспомнил о своих первых попытках в этом направлении, сделанных в Петербурге, и поморщился: — Токмо пользы для себя в хлопотах таких не вижу...

— Позвольте не поверить вашим словам, — резко отклонил Дойбл попытку Шелихова замять разговор. — Сами рассудите: за один только чай, что идет из Кантона, Ост-Индская компания, захватив в чайном деле монополию, платит три миллиона фунтов стерлингов налога. Расход чая в Англии при восемнадцати миллионах населения превышает за год двадцать семь миллионов весовых фунтов... А в России с ее пятьюдесятью миллионами населения, если положить хотя бы три четверти фунта чая в год на мужчину, не принимая в рассуждение женщин, а они тоже весьма любят пить чай, — что? Какова стоимость этого чая? А доход на фрахтах? Он пока остается в руках иностранцев...

В ответ на выкладки Дойбла Шелихов только безнадежно махнул рукой: где уж, мол, нам чай пить да еще от чая доходы иметь! Заметив этот жест и по-своему расценив его, арматор Дойбл продолжал с особой настойчивостью:

— Сибирь и особенно Камчатка, почитаемая как *Finis mundi*², они одни могут поставлять все, в чем нуждаются острова Великого, или, если вам больше нравится, Тихого океана. Камчатка через Сибирь станет снабдителем России и всей Европы продуктами рай-

¹ Люсон, крупнейший из Филиппинских островов.

² Конец света (лат.).

ских островов. Климат Камчатки на десять — пятнадцать градусов умереннее петербургского. Авачинская губа на Камчатке в окружности не менее сорока верст, при ней три безопасные и удобные гавани, она — произведение одного из превосходнейших усилий природы и может вместить соединенные флоты всей Европы. Такой порт должен бы иметь величайшую важность в политическом отношении и владычествовать над морями Востока...

Шелихов усмехнулся.

— Да, да, и владычествовать! — вспыхнул Дойбл. — Но если ваша компания не будет действовать с большей отважностью и предприимчивостью и если колонии ее не будут деятельно защищаемы императорским военным флотом, то вас скоро подорвут и ограбят. Но и морские силы иметь мало. Нужно снабжать туземных жителей и колонистов дешевле и способнее... Выгоды России и Испании требуют — *please attend to your affairs*¹ — я говорю как ирландец, не допускать английских и бостонских заселений в ваших краях. Англичане и бостонцы беспрестанно скитаются по испанским бобровым промыслам да и по русским промысловым водам. Испанские колонисты в Манилле и Калифорнии желают установления твердых связей с Россией. В порту Манилла основать депо или место складки и торговли с Камчаткой, Японией и северо-западными берегами Америки. Россия, если утвердится там, может стать звеном в торговле с малайцами. Раньше эту торговлю вели в небольшой степени через Батавию голландцы, а ныне она уничтожилась...

Мореход не выдержал пытки, слушая в изложении ирландца собственные мысли, отвергнутые и схороненные в петербургских канцеляриях, и грубо прервал разговор:

— Скажи, Яков Егорыч, господину арматору, что, мол, благодарю за добрые советы, а кончать разговор, так как я сейчас занят, приглашаю его годика через дватри в Славороссийск, в Америку... Передай — непременно договоримся!

¹ Прошу внимания (англ.).

Дойбл недоуменно и обиженно выслушал ответ Морехода, развел руками и отплыл на свой корабль. В тот же день он ушел в море.

Через двадцать лет после смерти Шелихова, будучи уже старым человеком, настойчивый ирландец Питер Дойбл появился в Петербурге и подал тогдашнему председателю Российско-Американской компании графу Николаю Семеновичу Мордвинову подробнейшую докладную записку, полностью совпадавшую с заветными, неосуществившимися планами Шелихова.

Записку эту Мордвинов, сняв копию, направил Александру I. Записка была передана «благословенным» на заключение всеильного временщика Аракчеева, занятого в то время устройством военных поселений, и, с размашистой надписью Аракчеева: «Некогда пустяками заниматься», легла в секретный шкаф графской канцелярии. Содержимое этого шкафа после смерти «преданного без лести» было опечатано по распоряжению Николая I и навсегда исчезло из поля зрения простых смертных.

5

Через несколько дней после отплытия Питера Дойбла на увалах под Охотском показался долгожданный караван. Когда голова его входила в Охотск, хвост из груженных телег и выючных лошадей, в сопровождении вооруженных людей, терялся в извивах дорожной тропы над городом.

Степенный и благообразный Максим Максимович Мальцев слез перед хозяином со своего лохматого коня и, косясь на обступивших их людей, сбивчиво и неохотно стал отвечать на град посыпавшихся вопросов: почему-де он, а не Ираклий ведет караван, что приключилось с Ираклием, и только в конце догадался хозяин спросить, благополучно ли дошли люди, сохранна ли кладь.

— Люди все здоровы-невредимы и кладь представил в целости, Григорий Иваныч, а что в Иркутском при-

ключилось — знать не знаю и ведать не ведаю. Наталья Алексеевна...

— Язык тебе отрезала Наталья Алексеевна? От подотчета хозяину освободила тебя Наталья Алексеевна? — схватил Шелихов Мальцева за плечо, но тут же вдруг отпустил его и чуть ли не бегом кинулся вперед разыскивать монахов — они уже прошли в голове каравана.

— Ктитору благопопечительному церкви американской наше благословение... — начал было архимандрит Иоасаф, встречая Шелихова, разыскивавшего монахов в конторе компании. — Разъяснение, понимаю, получить желаете, почтенный Григорий Иванович? Домашних ваших оставили в добром здравии... Покарал гнев божий токмо царского послушника, необузданного черкесина. Не допустил господь к построению храмов своих на американской земле гордеца, презревшего волю власти, над нами поставленной, — убил его казацкишка шелавый, когда он в окно выпрыгнул... Смирись, чадо возлюбленное, аще бо ни один волос... — заспешил преподать утешение велеречивый архимандрит, когда увидел, в каком бессилии опустился на скамью Шелихов, сраженный известием о гибели Ираклия.

После смерти Куча в далеком Петербурге ничто так не потрясало души морехода, как эта непонятная и нелепая гибель молодого грузина. Незаметно для самого себя Шелихов привык к мысли видеть в Ираклии своего зятя и, кто знает, продолжателя дела его, Шелихова, жизни.

Единственный сын Григория Ивановича, рослый и пухлый Ваня, не подавал отцу верной надежды на то, что возьмет судьбы Славороссии в свои руки, всему на свете предпочитавшие шест для гонки голубей. Старший зять, Николай Петрович Резанов, обладавший острым умом, образованием и блестящими светскими качествами, никогда не согласится — Шелихов давно убедился в этом — променять жизнь в столице, в обществе себе подобных, на тяжелый, полный лишений и опасностей труд устроителя суровой и неведомой страны.

Чем этот черноризец, привычно и угодливо твердя-

щий ему «нести власти, аще не от бога», может утишить боль и смягчить новый, выпавший на долю Шелихова удар судьбы? Остается одно только горькое утешение — проклинать подводный камень и собирать обломки крушения.

Шелихов встал и, чувствуя необходимость побыть одному и собраться с мыслями, не дослушал — чего уж там! — масленую речь архимандрита и вышел на улицу.

Угрюмое Охотское море глухо рокотало. Издали доносился шум начавшегося прилива и слышались крики людей. Разглядев через неотлучную при нем подзорную трубу фигуру Шильдса на пристани, мореход понял, что разгрузка «Феникса» почти закончена и можно, следовательно, перебросить освободившихся людей и лодки на погрузку отходящих в Америку кораблей.

«Погружу кладь и скот, посажу людей — и с богом! — подумал мореход. — Рухлядь мягкую, какая на Кяхту пойдет, с Мальцевым и охраной на Иркутск отправлю, а сам налегке к Шантарам спущусь, до Удской губы, огляжу заодно еще раз берега, а там с ламутами или надежными тунгусами на Зейскую пристань, с нее — на Кару, Читу, Удь и Удью да Селенгою на Кудары, с них через Байкал на Ангару у Лиственичного и Ангарию к себе домой... Нелегка дорога, а если бог поможет, все же дней пяток выгадаю, чем на Якутское пойду и вверх по Лене бечевою буду тянуться. Как раз и «Феникса» опробую — заставлю Шильдса меня к Шантарам спустить!..»

Рассудительный Мальцев пробовал отговорить Григория Ивановича от непроложенной, малоизвестной и опасной дороги, но, растравленный приключившимся дома несчастием, Шелихов ничего не хотел слушать.

«Иерархи» и «Екатерина» были загружены с молниеносной быстротой. Шелихов не сходил с кораблей, лично наблюдая за размещением людей и клади.

Теснота обнаружилась неимоверная. День и ночь выли и лаяли ездовые псы, размещенные в клетках. Кудактали куры, мычали встревоженные коровы, и тихонько скулили, смахивая слезы отчаяния, измученные бабы, жены плугатарей, с детьми, расположившиеся

из-за отсутствия места буквально возле коров, уход за которыми был возложен на них.

Архимандрит Иоасаф с несколькими монахами занял капитанскую каюту, а остальные разместились в кубрике, предоставив согнанным со своих мест матросам устраиваться где хотят.

После напутственного молебна, отслуженного Иоасафом весьма торжественно, в окружении хора монахов, Шелихов, готовясь сойти в шлюпку с поднимающегося паруса корабля, заметил Стеньку, — о нем совсем Григорий Иванович позабыл в суматошливые дни перед отплытием.

— Эй, Стенька... Глазов! — поправился мореход, подзывая его к себе. — Добро, что уплываешь ты, не достанут тебя — коротки руки! А то один такой, как ты злополучный, пропал уже... ни за понюх табаку пропал и под моей кровлей... Только к чему я это? Ах, да-а... — протянул Григорий Иванович, — вспомнил! Распоряжение на тебя обещал я Баранову дать, а тут и присесть, чтобы написать, негде.

Шелихов огляделся и, не найдя места, достал из кармана поддевки кусок измятой бумаги и обломок угля.

— Подставляй спину, — решительно сказал он, — как-нибудь прилажусь...

Стенька находчиво подал ему валявшийся на палубе обломок доски и, упершись руками в колена, горбом выгнул спину.

— Молодец! — похвалил Стеньку мореход. — Гляди в небо, а того, что на земле лежит, не упускай... Сойдешь на берегах Аляксы — ах, и хороша она! — пасись худого и твори доброе, до чего умом и сердцем лошел... Сложи бережно, — подал Григорий Иванович Стеньке исписанную бумажку, — отдашь Баранову, Александру Андреевичу, когда повидает... Из его воли не выходи, во всем слухайся!

«Восприемника моего Михайлу, который компании служил доныне порядочно и коего я на своем коште содержал, всегда отлично противу других содержи и всему, в чем открыться пожелает, веру давай и в на-

учении не откажи. Вскорости и не позже наступного лета сам к вам в гости буду. Душа изныла.

Американской компании вояжиров главный распорядитель мореход Г р и г о р и й Ш е л и х о в».

— Будь здоров... Иди! — толкнул Стеньку мореход и, кланяясь во все стороны, закричал, обращаясь к отплывающим: — Счастливо добираться, друзья-товарищи и добрые люди! Нас не забывайте и служите ей, Руси нашей матушке, честно и верно... Да помянут нас добрым словом внуки и правнуки! Сча-астли-во... ни пера, ни пуха вам!..

Когда Шелихов, сидя в шлюпке лицом к кораблям, выходил на берег, «Три иерарха» и «Св. Екатерина», распустив по ветру паруса, горделиво тронулись с рейда...

Г л а в а п я т а я

1

Трое суток после отплытия кораблей Шелихов, доведя подручных рабочих и служащих компании до того, что они засыпали на ходу, забившись в какой-нибудь уголок за тюками, сортировал присланную Барановым из Америки меховую добычу. В охотских амбарах и складах компании огни факелов горели все ночи.

Русские промысловые воды и первые поселения в Америке, о которых англичане имели самые смутные представления, а бостонские купцы знали и того меньше, тянулись вдоль северо-западного побережья Нового Света на несколько тысяч верст. Они шли от группы небольших вулканических островов — «кладовой мехов»,—открытых под 190° восточной долготы отважным русским мореходом Прибыловым в 1786 году, до дикого мыса Океана, за горой св. Ильи, на 220°.

Царская Россия постаралась предать забвению не только подвиг, но и имена Шелихова и его соратников, боровшихся за место для нашей родины в не занятых никем землях Нового Света.

В середине девятнадцатого века, когда американские бизнесмены, обольщенные золотыми россыпями Калифорнии, уразумели значение постройки в Панаме межокеанского канала и вступили в борьбу за первенство с опередившей их на этом пути Англией, внимание этих бизнесменов, естественно, обратилось к землям, лежащим выше 50-й параллели. Но здесь, на побережье от залива Жуан де Фука и острова Нутка (ныне Ванкувера) до скопления между 54-й и 58-й параллелями островов, именуемых ныне архипелагом Александра, Канада имела выход к Тихому океану. Выше, между океаном и непроходимыми хребтами Каскадных гор, тянулись поселения с оседлой жизнью и культурой русских. За 60-й параллелью от хребта и горы св. Ильи, по высоте едва уступающей Эльбрусу на Кавказе, прибрежная полоса русских владений расширялась и влиялась в огромное сухое и холодное пространство Аляски, равное одной пятой площади современных США. Выиграв борьбу с Англией на Панамском перешейке, США нацелились взять в клещи ее выход на Тихий океан — Британскую Колумбию. Решение столь сложного вопроса оказалось довольно простым: США без большого труда удалось уговорить правительство Николая I и Александра II Романовых-Голштинских на добровольную «уступку» огромной области русских владений в Новом Свете, присоединенных к России государственным разумом и усердием ее отважнейших сынов.

Таково логическое завершение екатерининской политики равнодушия и даже враждебности к шелиховской Америке, когда она находилась в самой золотой поре детства и когда Шелихов изо всех сил боролся за нее — за эти новорожденные владения России.

Звездистый бостонский флаг, появившийся в прериях Миссури, в шелиховские времена был невидим с берегов Тихого океана. Единственным представителем «бостонцев» и скромнейшим тогда соседом русских оказался некий мистер Астор. Браконьеров, работавших на Астора, русские уже не раз выгоняли из своих промысловых вод без увечья, хотя знали, что приказчик укрепленной фактории на реке Колумбия — «Асто-

рии» — датчанин Бенсон добывает у индейцев пушнину обменом на порох, пули, огнестрельное оружие. И не русские, а англичане через девятнадцать лет после смерти Шелихова сожгли «Асторию» и заставили преемника Бенсона мистера Хольта искать приюта и спасения у русских в Ново-Архангельске на Ситхе.

Наибольшие опасения внушала Шелихову Англия: ее Гудзонбайская компания с американского материка и Ост-Индская с моря. Корабли Ост-Индской компании все чаще появлялись в водах Америки, заходили на Камчатку и даже в Охотск. Шелихов хорошо представлял себе неисчерпаемые сокровища и мощь, таившиеся в необозримых пространствах Сибири и ее восточных окраин. Иностранцы, с горечью думал он, понимают это лучше тех расшитых золотом кукол, что сидят у власти в Петербурге. Предложение арматора Дойбла — не что иное, как мысли и планы самого Шелихова. Шелихов уже десять лет безрезультатно ищет им внимания и поддержки, — и что же? Неужели придется отступить? Нет, надо действовать. Но как действовать, что делать, когда он связан по рукам и ногам, когда в его собственный дом — подробностей он еще не знает — мог ворваться казак из диких бурят и безнаказанно застрелить обретенного им даровитого зодчего...

Шелихов при воспоминании о том, что он, вернувшись домой, не найдет Ираклия в живых, сжал кулаки и в страшной ярости заскрипел зубами. И в этот момент в избу вошел ассессор Кох. Глядя на морехода, Кох в испуге даже остановился. Но следовавший за Кохом хорошо выбритый, хотя и одетый в бродяжное тряпье человек, явно нерусского облика, не смутился. Он скорее с любопытством смотрел на морехода.

— Так можно получить зубной боль, Григорий Иванович! — нашелся Кох и, оправившись, кивнул на приведенного человека. — Привел очень нужного вам человека. Прибыл в мое распоряжение с наилучшими рекомендациями... Капитан-лейтенант Монтегю граф Сандвич! Вы столько просили меня давать вам опытных навигаторов...

— Откуда? — спросил Шелихов.

— Из Петербурга, — спокойно, с сильным ино-

странным акцентом ответил капитан-лейтенант граф Сандвич.

— Где служить изволили?

— Э-э... гм... в Черноморском флоте...

— Должен предупредить немножко, — поспешно вмешался Кох. — У господина графа вышла маленькая, совсем чуть-чуть, неприятность. Завистники обвинили его... гм-гм... в излишнем любопытстве. Адмирал Мордвинов сделал из мухи слона: обвинил господина Монтегю по службе в Черноморском флоте в шпионстве... страшно сказать — в пользу Турции! Графа, конечно, судили и приговорили к смертной казни, но матушка-государыня, переговорив с английским посланником, сочла возможным смилосердствовать и, лишив чинов, сослать в Охотск... И вот граф Сандвич прибыл, имея наилучшие рекомендации... Все пустяки! Я уступаю вам, Григорий Иванович, господина графа капитаном на любой ваш корабль...

Первым побуждением Шелихова было выгнать обоих наглецов, но он сдержался.

— Нет вакансий и кораблей нет, а будут — потолкуем, и ежели патент есть, почему не предоставить, — с наигранным простодушием ответил Шелихов.

— Я полагал, если я рекомендую... Смотрите, не пришлось бы пожалеть, господин Шелихов, — многозначительно и гнусаво проговорил Кох и, даже не откланявшись, вышел вслед за шельмованным графом.

Вырядив караван с промыслом под началом Мальцева — караван должен пройти через Якутск и вверх по Лене до Иркутска, — Шелихов два дня потратил, чтобы уговорить Шильдса захватить его и спустить на «Фениксе» к Шантарам, в Удскую губу. Шильдс рвался к своей семье в Петербург, с тем чтобы до конца зимнего пути успеть хотя бы вернуться в Иркутск, а в навигацию 1795 года на том же «Фениксе» отплыть в Америку, служить в которой по контракту оставалось еще два года.

— Ну, гляди сам! — пригрозил Шелихов. — Тебе следует, как я прикидывал, с компании двенадцать тысяч. А кто их тебе без меня выплатит в Иркутске, с чем ты к семейству придешь? А ежели ты меня к

Шантарам не доставишь, я и зазимовать где ни попадя могу... Гляди!

На участие Шильдса в плавании до Шантар Шелихов настаивал потому, что хотел снять надежную лоцию побережья Охотского моря к югу. Себя и помощника Шильдса, штурмана Толоконникова, он считал в этом деле малосведущими, Шильдс же был силен в навигаторских науках.

В конце концов Шильдс сдался.

Плавание к Шантарам, в Удскую губу, на шестисотверстном расстоянии, из-за противных ветров затянулось до двух недель. Шелихов поселился в капитанской каюте вместе с Шильдсом и ни на шаг не отходил от капитана, наблюдая за приемами составления лоций.

— Я тоже домой поспешаю, а от дела не спешу... Мы помрем, а труды наши останутся! — примирительно утешал Шелихов Шильдса, неистовавшего из-за задержки в пути.

На пустынном берегу Удской губы Шелихов и Шильдс с помощью тунгуса-проводника едва разыскали в чахлом березовом лесу поселок рыбаков-орочонов.

Никаких средств передвижения, кроме легких рыбацких лодок, у прибрежных орочонов не оказалось, но и на них они не соглашались доставить партию Шелихова — десять человек — в Удский острог, расположенный на реке Уди, верстах в полтораста от берега моря.

— Не вернемся ли в Охотск, пока «Феникс» не отплыл? — съехидничал Шильдс.

— Не препятствую! — ответил Шелихов. — Токмо денег, Яков Егорыч, до моего возвращения из Голикова не выжмешь, все едино дожидаться меня будешь. — И, с удовольствием отметив растерянность на лице Шильдса, сурово приказал: — Чтоб себя и людей не смущать, прикажи Толоконникову в обратный, а мы с тобой двинем сухопутьем... — «Шильдс и на сухопутье пригодится, — рассуждал Шелихов, — для верного решения землемерных задач», — и поэтому настаивал на его участии в своей землепроходческой разведке.

Через два часа «Феникс», дав прощальный выстрел из пушки, двинулся на север. Наполненные попутным

муссоном белые паруса растаяли в тумане сентябрьского дня...

После отплытия «Феникса» орочны стали сговорчивее. Бедный род, разместившийся в десятке прутьяных и обмазанных глиной хижин, испугался, что оставшаяся на берегу партия бородатых русских уничтожит их скудный запас рыбы на зиму. Несколько бутылок водки и одеяла, подаренные старикам, окончательно расположили орочонов к мореходу.

На другой день утром шелиховцы были рассажены в три самые большие лодки. Ороchon с шестом, стоявший посредине лодки, и другой на корме с веслом быстро и ловко гнали рыбацьи посудины вдоль берега Уди. Река медленно и лениво катила свои воды по тундряной равнине.

Орочны были неумоимы. После ночевки в показавшемся у реки ельнике ватажка Шелихова снова тронулась в путь, и к вечеру второго дня люди высадились под Удским острогом, что стоял на высоком берегу убыстрявшей свое течение реки. Два топора, несколько папуш табаку и бутылка водки развеселили удских орочонов, надолго оставили среди них память о необыкновенном, добром и щедром русском «купезе».

Тунгусы-нанайцы на оленях под седлом, кладь — на вьючных, доставили Шелихова и его людей на Зейскую пристань и передали их своим сородичам для дальнейшего движения через хребет Нюнжа на Албазин. От Албазина тропы русских землепроходцев — нет нужды, что были они трудны и опасны, — вели на Шилку и дальше на Читу. Все особенности пути и важные точки были отмечены астрономическими выкладками и наблюдениями Шильдса. Приглядываясь к его возне, Шелихов еще и еще хвалил себя в душе за прелусмотрительность.

С Читы через Кару, страшную каторжной стражей и ее нравами, шел тракт на Верхнеудинск, по которому сменившие нанайских оленей крепконогие бурятские кони могли двигаться рысью. С верхнеудинской пристани полноводная Селенга донесла ватажку Шелихова до большого села Кудары на восточном берегу Байкала.

Осенний Байкал штормовал. Прождав сутки, Шелихов потерял терпение и, благо Шильдс, приученный сулоями американских берегов к опасностям на воде, не протестовал, двинулся на надежной парусной лодке из Кудары на Лиственичное, пристань у истока Ангары из «Святого» моря. Переход через штормовый Байкал закончился благополучно, хотя Шильдс, сходя на берег в Лиственичном, заметил:

— Предпочитаю десять раз провести судно через сулои под Нучеком, чем еще раз переплывать осенью ваше сибирское озеро...

— Что русскому нипочем, то англичину трудно одолеть... Аминь! — подхватил Шелихов.

Настроение у него было хорошее. Первая точная лодка Охотского моря по пути к «незамерзающей» до Шантарских островов и удача землепроходческой попытки найти кратчайшую дорогу из Охотска в Иркутск, пусть для грузов она и не годится, окрылили Шелихова. Он даже как-то забыл на время о том, что случилось у него дома. Любопытно, на сколько дней он обогнал караван, который Мальцев повел за семь дней до его выхода в дорогу?

2

Выйдя из Лиственичного на двенадцативесельном длинном и узком паузке, птицей перелетевшем через острозубую каменную гряду в устье Ангары, Шелихов в три часа покрыл шестьдесят верст от Байкала до Иркутска. Недаром скорость самого течения Ангары превышает две сажени в секунду...

Григорий Иванович не хотел осведомлять иркутчан о своем возвращении и, не доплывая до Иркутской пристани, причалил версты за две от нее к берегу под высоким обрывом, откуда головоломной тропой, выбитой среди гранита и сланцев, можно было подняться в сад и к дому.

«А и кто, скажи, без меня в дом наведывался, меды мои пил?» — пробираясь домой по тропе над обрывом, внутренне усмехнулся он над пришедшим в голову нелепым сравнением себя с мужем, внезапно по-

явившимся и проверяющим жену — это ее-то, Наталью Алексеевну!

Проходя садом в сопровождении своей ватажки, Григорий Иванович, как он ни был угнетен, хозяйственно оглядывал проведенные в его отсутствие работы по подготовке заветных яблонь к зимовке. На огородном участке с удовольствием убедился, что урожай картофеля, по видимости, был давно и во-время убран, участок тщательно перекопан и даже, как он распорядился, присыпан старым, перепревшим навозом.

Наталья Алексеевна сидела в светелке Ираклия, в которую перебралась Катенька после его гибели. Чертежи молодого зодчего в любовном порядке, попеременно со своими рисунками цветов, выполненными под руководством Ираклия, Катенька развешала по стенам светлицы. Наталья Алексеевна не смогла отказать Катеньке в настойчивом желании перебраться в светелку, но, опасаясь, не наложила бы она на себя руки в порыве отчаяния, проводила с дочерью дни и ночи, укладываясь спать на нарочито для того поставленной узенькой лежанке.

— Наталья Алексеевна, опять в саду братские бродят... Целая шайка! — вбежала в комнату горничная девушка Шелиховых.

— И пусть себе ходят — походят и уйдут... Пошли кого из мужиков спросить, зачем пришли! — подавив собственную тревогу при виде побледневшего лица и полных ужаса глаз Катеньки, спокойно ответила Наталья Алексеевна.

— Хозяин приехал, Григорий Иваныч!.. И наши с ним, в дом идут! — с радостным воплем вслед за первой ворвалась вторая. За спиной ее, молча сверкая глазами, стояла индианка Порумба, всем своим видом она как бы подтверждала радостную весть.

От нечаянной радости кровь отхлынула от сердца и помутила в глазах Натальи Алексеевны белый свет. Хотела кинуться навстречу и не могла: свинцовая тяжесть налила ноги... «Приехал, вернулся! И, видно, спешил к домашней радости, вырвался вперед, бросил караван в дороге, — думала Наталья Алексеевна, — и не знает орел мой, какая беда ждет его в доме».

«Люди добрые, — выпроваживая в Охотск караван и миссию, низко поклонилась отъезжающим Наталья Алексеевна, — об одном слезно прошу: не обмолвитесь Григорию Иванычу о беде в нашем доме — задушит его жаба проклятая... Приедет, я сама ему во всем спокоюсь...»

Надо понять, чего стоило гордой жене морехода это обращение к людской поддержке: она брала на себя какую-то долю вины за случившееся. С архимандритом Иоасафом она переговорила особо и келейно и передала ему за обещанное умолчание пятьсот рублей на нужды миссии.

Простые люди поняли и уважили тревогу и опасения Натальи Алексеевны. Никто из них, к кому ни подходил с расспросами Григорий Иванович, пытаясь узнать подробности несчастья в своем доме, не сказал ничего, отзываясь неведением, а многие и действительно ничего не знали. Один Иоасаф, рассчитывая на вещественную благодарность морехода за осведомление и преподанное ему духовное утешение, по-своему передал о случившемся.

— Как же не доглядела, не защитила ты Ираклия? — угрюмо спросил Шелихов жену на пороге дома. — А еще кумой вышнему начальству приходишься! Я на тебя надеялся...

И тут же, увидев, как побелело лицо жены и как упали ее тянувшиеся к нему руки, крепко обругал себя в душе за нечаянно вырвавшийся упрек. Григорий Иванович сильно негодовал на попытку Натальи Алексеевны скрыть от него до времени несчастье: «малодушным считает, не выдержу новую кровавую обиду». В дороге, обдумав, принял все как еще одно проявление ее любви и заботы о нем и решил воздержаться от малейшего упрека, а встретился — и вот... «недаром говорится, — припомнил Григорий Иванович прочитанное у какого-то мудреца, — что ад раем бы казался, кабы смолу его нашими добрыми мыслями залить».

— Не торопись, Григорий Иваныч, расскажу — пожалеешь, — чужим, мертвым голосом ответила Наталья Алексеевна, и Шелихов понял, как трудно ему будет заслужить прощение.

— Ладно, прикажи баню нам истопить, а пока пойдем... Расскажи, сделай милость, как архитекта моего загубили! — обратился он к жене, когда она привела его в свою моленную.

Темные лики угодников старинного письма, едва озаренные несколькими горевшими перед ними лампадками, глядели сурово и недоброжелательно. Мореход избегал здесь бывать и сейчас внутренне поежился от холода кержацкого иконостаса, напоминающего погребальный склеп, в котором когда-нибудь поставят и его гроб. Моленная, чувствовал он, была враждебна той полнокровной, буйной и пестрой жизни, что всегда кипела за ее стенами, манила и была ему единственно дорога.

Григорий Шелихов был человеком скорее «православным», чем верующим, он неукоснительно выполнял предписанные церковные обряды, но православия своего держался в той лишь мере, в какой понимал его не религиозно, а как освященное временем проявление русского духа. Поэтому-то он и не видел разницы между своей «православной» и кержацкой верой жены. Неистовый протопоп Аввакум, пользовавшийся большим почетом среди староверческого сибирского купечества, был в глазах Шелихова чуть ли не героем за одно хотя бы то, что претерпел Аввакум от царских воевод и бояр. Шелихов щедро жертвовал на церковь и любил в то же время слушать сомнительные рассказы своего духовного отца, протопопа Павла Афанасиева, оключениях среди обращаемых в православие якутов, чукчей и камчадалов и скромном домашнем быте их духовных пастырей.

— Я, — как бы отделяясь от него невидимой завесой, сказала Наталья Алексеевна, — под образами стою, чтоб не допустили угодники божии от тебя что-нибудь утаить...

— Господь с тобой, Наташенька, неужто я образам больше тебя поверю...

— Не суесловь, Григорий Иванович, господь накажет! А было оно так... Полудневали мы в столовой горнице. Катенька пирожками своего изделия потчевала, мы и смеялись: пирожки рыбные фунтовые, а Иракий пя-

ток съел, нахваливает и еще тянется. Вдруг слышим людской топ, и входит полицеймастер, наш Завьялов, с желтоскулыми братскими... много их, человек десять, а то и двадцать, почитай, было, а за ними, вижу, вроде Козлятникова рожа поганая усмехается...

— Козлятникова?! — вскричал мореход, забывая, что он находится перед иконостасом моленной. — Вот оно откуда пришло...

— Слушай, что дальше было, — строго остановила его Наталья Алексеевна. — «Ты будешь Боридзе Ираклий Георгиев?» — ткнул Завьялов перстом на Ираклия. А Ираклий, бледнее смерти, вскочил и стоит у окна, а окно — тепло было — в сад растворено, в саду солнушко... «Как осмелился ты, — слышу, — из Гижиги скрыться и в такой дом вобрался? В Петербурге довелись, что ты в бегах находишься, а мы тут не знаем, какой гусь среди нас ходит...»

Обомлела я, в уме смешалась, хочу сказать: «Да не ты ли, сударь, сам его к нам привел и десять рублей за хлопоты от Григория Иваныча принял?» — а слов, голоса нет у меня... «Вор ты, взять его!» — кричит Завьялов, а Ираклий, как не в себе, отвечает: «Я никогда вором не был, и не вам меня взять... Будьте прокляты, предатели!» — и с этим скок в окно. Завьялов к окну, «держи» кричит, а потом: «Уйдет... стреляй его!»

Подскочил к окну один какой-то дурной казачишко-бурятин, водит ружьем, нацеливает... Катенька, как увидела, закричала и хлебницу деревянную с пирожками в него кинула, а казачишка стрельнул и...

— Убил? — глухо отозвался Шелихов.

— Дышал Ираклий, когда мы пробились к нему, под кустом шиповниковым он лежал, под розанами твоими... Не давала я Ираклия со двора вынести, за Сиверсом погнала, думаю — выходим... Токмо Завьялов рыкает: «Приказано живым или мертвым взять». А кто приказал, не сказывает. Меня буряты, мигнул он, за руки держали, плат обронила — украли, Катеньке ноги оттоптали, а Ираклия... уволокли!

— Ну, и дальше как оно было? — прохрипел Шелихов. — Архимандрита Иоасафа, монахов почему недо-
мекались на помощь призвать?

— Не было их дома. Токмо ты уехал, они все дни и ночи по купцам, вояжирам твоим, ходили... И что он сделал бы, казенный монах! — махнула рукой Наталья Алексеевна. — Я к Ивану Алферьевичу на третий день — Катенька без памяти лежала, я к ней Марфутку с Порумбой приставила — защиты просить Ираклию пошла... Надеялась — жив он и страдает у них...

— И чем же он тебе за старую хлеб-соль, за подарки наши помог?

— Не грехи, Григорий Иванович, друг нам истинный Иван Алферьевич, уйдет он — всплачешься... «Прости, говорит, меня старого, Наталья Алексеевна, все знаю, и хочешь — казни, хочешь — помилуй, а я и духом не виноват, все Завьялов своевольно наделал, и я его уже от должности огрешил и судить буду». Тело убиенного приказал с честью на кладбище похоронить, протопоп Афанасиев служил, он тебе и место покажет... «Хорошо любимца вашего помню, — говорит Пиль, — статный, чертил полезное и уж как легкодушно плясал! Душевно сожалею, но хотел бы, да не в силах воскресить несчастного...» С тем и ушла я! Катюшку, живая она и горе у ней, пожалей и приласкай — месяц всего, как опаматовалась и благодаря Сиверсу, благодетелю нашему, на ноги стала, — закончила рассказ Наталья Алексеевна и опустила на колени перед закопченными ликами угодников, единственных защитников и утешителей, как она твердо верила, в человеческом горе.

Шелихов поглядел на жену, вздохнул — знал, как страдает она, — не стал отрывать ее от молитвы и, осторожно ступая, вышел из моленной.

— У Козлятникова узел развяжу, поеду! — решил он, забыв о заказанной бане.

Пошел в свою комнату, отбросил крышку открывающегося со звоном-пением сундука, в котором по купеческому обычаю хранил деньги. Достал, не считая, горсть серебряных полтинников и выехал со двора с Никишкой.

Козлятников жил далеко на окраине города, в Слюдной слободе, за впадающей в Ангару бурливой речушкой Ушаковкой. Перебрался он на эту окраину по случаю того, что много лет находился под следствием

и счел за благо не мозолить глаза согражданам своим безбедным существованием.

Страшнее грозовой тучи навис мореход над Козлятниковым, сочинявшим очередную кляузу для кого-то из своих клиентов-купцов, в погоне за наживой вечно судившихся между собой. Вдохновение судейский крючок черпал в стоявшем перед ним штофе водки.

— Рассказывай, всю пакость выкладывай без утайки, — угрожающе-тихо сказал Шелихов и показал привезенную с собой суковатую дубинку. — Не то... душу выбью! — рявкнул он вдруг так грозно, что Козлятников, сразу поняв, зачем приехал к нему мореход, решил сдаться на милость.

— Не задержу, с-слово м-мое к-короткое, — выбивая дробь зубами и поблескивая злыми хорьковыми глазками, вымолвил Козлятников. — Дело было перед поездкой моей в столицу. Позвали меня Иван Ларионыч Голиков, а у него сидел, когда я пришел, Лебедев-Ласточкин... «Явишься, говорят, к Ивану Акимовичу Жеребцову и скажешь, мол, что именитый рыльский гражданин и иркутский первой гильдии купец и наш компаньон Гриш... — Козлятников поперхнулся и опасно поглядел на морехода, не заметил ли тот его оговорки, — и Америки знаменитый открыватель Григорий Иванович Шелихов собирает и передерживает у себя, творя великий соблазн, масонов и каторжников, за тягчайшие проступки против величества сосланных. Просим распорядиться и каторжных в места им приготовленные выдворить...»

Козлятников перевел дух, взглянул на сидевшего в глубокой задумчивости Шелихова и — прошла первая гроза — гораздо смелее продолжал:

— И когда в Иркутск господин Кайданов, вам очень даже известный, приехали и на квартиру к Лебедеву — вы не догадались к себе зазвать — стали, Иван Андреевич напомнил свою жалобу и в подробности рассказал, как вы старшую дочку за масона, извините, за Резанова, Николая Петровича, выдали, а вторую, младшенькую, за черкесина кавказского, повинного в оскорблении величества и вами из Гижиги сюда вытребованного, отдать собрались. Из Петербурга и пришло сюда

распоряжение, а я, видит бог, тому непричинен, что Завьялов, для храбрости перепустивши водочки, натворил, и всегда я к семейству вашему с полным моим уважением...

Козлятников замолк. На него снова нагнали страх непонятные действия Шелихова, который вдруг тряхнул головой — хватит, мол, с меня, — вынул из кармана горсть серебра, усмехнулся презрительно и стал раскладывать монеты в три стопки.

— Получи, падаль, иудову плату — тридцать сребреников и поделись с теми, кои загубили неповинного человека... Стоило бы тебе хребет сломать, — поглядел мореход на свою дубинку, — да жаль руки пачкать, но гляди-и, — протянул Григорий Иванович, — еще раз наткнушь на твой след — не быть тебе живу!

Плюнул с отвращением ему в лицо и ушел, потрясши ударом дверей ветхий домишко.

Козлятников прислушался и, убедясь, что Шелихов уехал, дрожащей рукой налил себе стакан водки. Екнул и осушил его до дна. Потом сгреб оставленные на столе тридцать полтинников, подкинул их на ладони, широкой, как лопата, передернул обиженно плечами — плевок глаз не выест — и со вздохом, «за чужие грехи терплю», опустил деньги в карман.

3

По дороге от Козлятникова Григорий Иванович раздумывал о людях и обстоятельствах, приведших к гибели Ираклия.

Убийство ссыльного грузина в шелиховском доме, на глазах жены и дочери, останется, что ни делай, безнаказанным.

Козлятников, сознавший с глазу на глаз, в смертном страхе перед Шелиховым, в подлом сговоре, отречется от своих слов и, если нужно, с крестным целованием. Мало того, иудовы сребреники, брошенные ему в рожу, назовет подкупом моим, чтобы он, этот прохвост, донес на почтенных людей вроде Голикова и высоких особ в Петербурге. Не расхлебаете каши!

Наместник? Генерал тоже, конечно, не поверит такому недоказуемому обвинению. Он и так уже поступил строже, чем требовалось по личности убитого: отрешил от должности пристава, исполнявшего высочайшее повеление... «Что еще, — горько усмехнулся Шелихов, — может сделать мне генерал в утешение? В покрытие крови Ираклия вспорот плетью казакишку-бурятина? Гавриле Романычу Державину написать, просить пред царицей заступничества?..»

И тут же вспомнил, как Державин после сердитого отзыва о Глебовой на его глазах целовал ручки ввалившейся к нему вместе с Альтести вдове секунд-майора. Вспомнил и поморщился от сдавившей сердце острой боли...

На счастье, подъехали к дому. Мореход с трудом выбрался из саней и, пошатываясь, — до дна испил чашу людской злобы и своего бессилия — вошел в сени.

Наталья Алексеевна не знала, куда и зачем выехал хозяин из дому, и в большой тревоге поджидала возвращения Григория Ивановича.

Едва волоча налившиеся непомерной тяжестью ноги, Шелихов, как был в шубе и шапке, со свисающими малицами, ввалился в столовую и опустился на скамью у дверей.

— В баню не пойду... опять сердце схватило... Раздень! — пробормотал он невнятно и внезапно окрепшим голосом крикнул: — Голикова, ежели придет, не пущай ко мне!.. Убить могу!

Забыв обидную встречу с реки, Наталья Алексеевна проворными и сильными руками раздела мужа, с трудом довела до спальни и, надев чистое белье, уложила в постель.

За несколько дней Григорий Иванович отлежался и оправился, но никого, кроме Полевого, не принимал. Голиков, которому Козлятников уже обо всем рассказал, утаив, конечно, только то, что он выдал Шелихову причастность Ивана Ларионовича к интриге, закончившейся гибелью Ираклия, был в беспокойстве и потому не добивался свидания с мореходом.

Добровольное затворничество Григория Ивановича, готовившего второе издание своей книги об открыти-

ях, сделанных на северо-западе американского материка, было как нельзя более наруку Ивану Ларионовичу Голикову.

Пайщики пестрых по составу шелиховских компаний, особенно мелкие и средней руки купцы, недаром больше опасались хитрого разума и сноровки Голикова, изощренного на темных махинациях питейного откупа, чем самовольства и диктаторских замашек морского варнака, как они окрестили Шелихова. Эту опасность песка перед волком Шелихов отлично знал и умело пользовался поддержкой мелкого пайщика, сводя на нет все попытки Голикова занять место первоприсутствующего директора компаний.

Голиков давно нашел применение своей деловой хватке. Пользуясь отдаленностью колоний и сложностью проверки действий начальников промышленных групп и поселений, он через своего подручного, енисейского мелкого купца Толстопятова, задолго до гоголевского Чичикова занялся операциями по скупке «мертвых душ». У родственников русских добытчиков, умерших в колониях, Голиков приобретал права на положенные им пай и полупай по сходной цене. В этом содействовал ему прожженный авантюрист, бывший главный правитель американских колоний грек Деларов.

Неизвестный Шелихову енисейский купец Толстопятов, никогда не бывавший в Америке и занимавшийся понаслышке скупкой краденого золота, предъявил к нему иск. Шелихов усмотрел в этом верно рассчитанный и тяжелый удар своих тайных врагов. Толстопятов представил в Иркутский совестный суд претензию на огромную сумму, чуть ли не в двести пятьдесят тысяч рублей, по оказавшимся у него на руках паям погибших и умерших в Америке добытчиков. За спиной Толстопятова Григорий Иванович ясно видел козлиную бородку Голикова, кустистые рыжие брови Лебедева-Ласточкина и шучье хайло судейского крючкотвора Козлятникова, хихикающих в кулак: поглядим, мол, как ты, Колумб российский, в этот раз сухим из воды выйдешь.

Совестный суд вызывал Шелихова повесткой на 1 декабря. Григорий Иванович мгновенно принял ре-

шение: прежде всего просить не рассматривать дела, пока он не получит по претензиям Толстопятова справок от Баранова. Баранову же для этого надо послать отсюда копию иска, с фамилиями и именами людей, и обязательно направить туда, за океан, толкового человека. Нет! Надо самому в наступающем 1795 году с открытием навигации отплыть в Новый Свет и самому все на месте проверить... Великие мошенства откроются!

К кому же с этим обратиться? Только к наместнику, к Пилю! Григорий Иванович еще раз имел случай убедиться в превосходстве «тонкой политики» Натальи Алексеевны. Она неоднократно уговаривала его явить себя пред генералом после возвращения из Охотска. А он затворился, показал обиду — как будто в гибели Ираклия губернатор был повинен — и тем обидел старого боевого служаку, единственного человека из сильных мира сего, который тепло и с умом поддерживал русский почин в Новом Свете. «Наплевал, Григорий Иваныч, в колодезь, а теперь не знаешь, как водицы испить?» — уныло усмехнулся Шелихов.

Он нарядился, как делал это в важных случаях, и строгий, печальный предстал пред наместником.

— Уволь, Григорий Иваныч, уво-оль! — воскликнул Пиль, не дослушав его просьбы. — Вот где у меня сидят Голиковы, Лебедевы и прочие сибирские миллионщики... Шелихов с ними! По горло сыт разбирать ваши тяжбы и кляузы! — похлопал себя генерал по крутому затылку. — И как это ты с ними не помиришься? Ведь будто бы люди одной породы, одногословия! — удивленно и сердито передернул Пиль пышными генеральскими эполетами на плечах. — И такую советницу еще имеешь... Скажи ей, чтобы малиной тебя напоила и смягчительного дала, кровь тебе пустила. Успокоишься — помиришься, по судам таскаться не захочешь...

— Прошу прощения, ваше высокопревосходительство, что осмелился побеспокоить малой своей... — и не договорил, перехватило дыхание, попятился к дверям, не выдержав почудившейся в словах наместника насмешки.

— Постой, постой! — спохватился наместник, по-

чувствовал, что лишку и некстати сказал. — Не дослушал резолюции, а пятишься... Больно колючим ты стал, Григорий Иванович, с тобой и пошутить нельзя! Так они затеяли это, говоришь, чтоб тебя спихнуть и разорить, а губернию твою американскую в свои руки забрать? Нет, этого в интересах державы российской не допущу, не согласен. Дело прикажу отложить, а ты потрудишься с весны в одно лето туда и обратно смотаться, привези неподкупные свидетельства и разгромай мошенников... Голикова выгони из компании, хриstopродавец он и грабитель казны, я до него еще и по откупам доберусь! Что, отошел? То-то!.. Наталье Алексеевне скажи, чтоб не кровь тебе отворила, — советнице своей скажи нижайшее от меня почтение и еще скажи, что всей душой рад тебе и делу твоему помощь оказать, поелику оно и ты с ним суть полезны отечеству. Прощай, Григорий Иванович, прощай, голубчик!

От наместника Шелихов вернулся в приподнятом настроении и в точности передал «советнице» весь разговор между ними.

— Еще посмотрим, купцы именитые и столичные правители длинноухие, кто кого! — говорил мореход. — А я доведу свое, свяжу накрепко Россию с Америкой, и простят мне русские люди за страдание грехи мои, малые и большие!

— Что тебе сказать, Гришата? Я уже и ума не приложу. Поболее тебя были люди и падали под злобой и глупостью человеческой, — печально вымолвила Наталья Алексеевна, словно предчувствуя, что доживает она с Гришатой своим последние, отсчитанные ему судьбой дни.

Шелихов сделал последнюю попытку привлечь внимание правительства к поднятому им делу и направил зятю, Николаю Петровичу Резанову, для представления «при доброй оказии» кому следует обозрение первых островных русских поселений на американском материке. К обозрению приложил карту, вычерченную навеки обезвреженным царским ослушником Ираклием Боридзе.

Было чем гордиться! «Американская губерния», как окрестил шелиховское открытие Пиль, включала восемь оседлостей — «уездов», раскинувшихся в океане на островах и на Большой земле — Аль-ак-шак, сиречь Аляске.

Первая оседлость — десяток русских с несколькими камчадалами — находилась на самом большом из Бобровых (Командорских) островов, здесь когда-то нашел свою могилу славный мореплаватель Витус Беринг.

Вторая — на острове Атха (из Андреяновских), в Коровинской бухте: пятьдесят русских и шестьсот алеутов да двести семьдесят алеутов на маленьких соседних островках, около которых, как скотина на траве, «паслись» на стадах трескового малька великаны киты.

Третья — на Уналашке, самом большом из Лисьих островов, в Капитанской гавани. Это было поселение «Доброе согласие» — тут среди тысячи алеутов жил десяток русских.

Четвертая и пятая оседлости — на Прибыловых островах св. Павла и св. Георгия, они замыкали Бобровое (Берингово) море давних русских добытчиков.

Наконец, шестая, седьмая и восьмая оседлости раскидывались по Тихоокеанскому побережью американского материка и на ближайших к нему островах. Центром их был остров Кадьяк, где Трехсвятительская и Павловская гавани защищались деревянными крепостями с земляными укреплениями и пушками. Судостроительная верфь на Кадьяке, заложенная Шелиховым, превратилась тогда в колыбель русского флота Нового Света.

Среди многих тысяч алеутов на Кадьяке жили сто девятнадцать русских. В Кенайском и Чугацком заливах, врезающихся в материк, и до мыса Якутат, под горой св. Илии, были раскиданы крепостцы-фактории: Павловская, Георгиевская, Александровская, Воскресенская¹, Константина и Елены².

¹ Теперь порт Стюард

² Порт Эчес.

Словно предчувствуя, что через немного лет русские поселения появятся на Юконе под северным Полярным кругом и в Калифорнии на юге, Шелихов обозрение своего подвига закончил, как полагалось по его мнению, когда говоришь или пишешь высоким особам, витиеватым заключением. Отдавая «кесарево кесареву», Шелихов отстаивал права соотечественников и свою «пользу», как завоеванное за собственный страх и риск руками, умом и отвагой простых русских людей.

Перечел вслух и сам удивился, как складно и убедительно у него это вышло:

«Без монаршего одобрения мал и недостаточен будет труд мой, поелику и к делу сему приступал единственно с тем, чтобы в означенном море землям и островам сделать обозрения и угождам оных учинить замечания, а в пристойных местах в отвращение других держав расположить надежнейшие наши, в пользу свою и наших соотечественников, занятия. И не без основания питаюсь надеждою, что открою непредвиденные государству доходы с пользою при том и своею...»

Перечитал, задул свечу в кулибинском «светце» и, чтоб не разбудить огорчавшуюся его ночными бдениями жену, растянулся на скамье у стола, подложив подушку под голову. Засыпая, мечтал, как, прочитав его обозрение, удивится государыня и призовет к себе верного слугу, — хоть один такой да найдется около нее! — и скажет: «Присоветуй, чем помочь и как наградить людей, столь отечеству преданных...» И пойдет... расцветет Славороссия...

4

Толстопятов, узнав в суде, что рассмотрение иска по распоряжению наместника отложено до представления Шелиховым из Америки документов, струхнул и усумнился в каком-либо проке этого кляузного дела, затеянного, в сущности, Голиковым.

В скупку паев Толстопятов вложил собственные деньги. Голиков же, хотя и согласился разделить при-

быль исполу, от расходов и хлопот по делу сумел уклониться. И проверить претензию в суде при таком обороте дела он оказался бессилён, несмотря на то, что их советник Козлятников знал все входы и выходы и обещался устроить все как нужно. Но все выходило не так, как нужно, и Толстопяттов, следуя основному закону торгашей — свой карман ближе к телу, решил спасти себя от срама и убытков.

— Пришел к тебе, Григорий Иванович, на мировую спор наш кончать... Не в моем обычае по судам таскаться, подьячих кормить! — попросив свидания через Полевого, заявился Толстопяттов к мореходу.

— Сколько? — не моргнув глазом, спросил Шелихов.

— Да двадцать процентиков для хорошего человека можно скинуть — за двести тысяч отдаю...

— Неподходяще, дорого, но десять процентов претензии, так уж и быть, признаю и, хоть выведенного яйца не стоят бумажки твои, двадцать пять тысяч отступного дам... прости, не знаю, как по имени и отчеству величать?

— Михайла Доремидонтов сын...

— За двадцать пять в обмен приму, тоже не люблю приказных кормить. Слыхивал, Михайла Доремидонтыч пословицу: в цене купец волен, а в весе и купец не волен?.. Легковесны и сомнительны бумажки твои: Баранов дунет — по ветру разлетятся они, а я, кстати, в Америку собрался в это лето...

Хладнокровием и уверенностью Шелихова Толстопяттов был сбит с толку, поторговался немного, махнул рукой на «интерес» Голикова и отдал скупленные пай за двадцать пять тысяч рублей.

— Эх ты, толстопятый! — шипел на него Голиков, когда узнал о полюбовном соглашении, против которого никак не мог выступить открыто. — И подлинно разум у тебя в пятке уместился: верных пятьдесят тысяч недобрал и десяти тысяч котиковых шкур лишился... Обманул ты меня, хриstopродавец, — злобно укорял «златоуст» своего компаньона. — Выходи из пая и по питейным делам...

— Ну-ну, это ты погоди, — огрызнулся Толстопя-

тов. — Грехи у нас общие, и ответ исполу делить будем...

Шелихов был доволен, что все обошлось по-мирному. Суд да дело и кто верх возьмет, а двадцать пять тысяч — не двести пятьдесят тысяч, а таскаться по судам — и впрямь некогда станет заниматься Америкой.

Но маленькая удача в этом нашумевшем было деле Толстопятова оказалась последним торжеством морехода.

В феврале, в конце разгульной сибирской масленой, в Иркутск прибыл, привезя на руках высочайший указ об отставке генерал-поручика Пиля, новый наместник Сибири, действительный статский советник Христиан Христофорович Нагель.

Поговаривали, что Нагель является выучеником и правой рукой грозного царского генерал-прокурора князя Александра Алексеевича Вяземского, прославившегося беспощадными приговорами над Пугачевым и Радищевым. Вяземский был членом «ближнего совета» последних дней царицы и лицом, посвященным в «наисекретнейшие материи».

Иркутяне, привычные к помпезным въездам в их город новых носителей верховной власти, были поражены неслышным и скромным появлением Нагеля. Еще более поразила их немногочисленная свита нового наместника, она состояла из сравнительно молодых людей в штатском, и притом все до одного, по примеру своего начальника, носили дымчатые очки.

— Не к добру и неспроста эти очки, — решили иркутяне, явясь на сбор и церемонию представления новому начальству.

Оказалось, что новый высокий начальник все и всех видит насквозь. Представилась начальству и группа именитых иркутских купцов и промышленников, среди которых находился и Григорий Шелихов.

— Как же, знаю. В Петербурге вас изрядно вспоминают, — очень вежливо, даже на «вы» сказал Нагель. — Надеюсь поближе познакомиться...

Мнения иркутян, чего следует ожидать. мореходу после такого приветствия, разошлись. Большинство утверждало, что Шелихова ждут новые милости и отли-

чия, меньшинство же — люди с верным чутьем на недоброе — решило: «Пришел Гришке конец».

— Не к добру он Петербург вспомянул, ты как думаешь? — придя домой, спросил Григорий Иванович жену, снимая парадный костюм и рассказывая о своих впечатлениях от нового начальства.

Опасения перемен к худшему усилились, когда через несколько дней старый наместник Пиль пред отъездом в столицу заехал к Шелиховым проститься.

— Без меня не оступись, Григорий Иванович. Я всегда поддерживал полезное отечеству, а новый... кто его знает? — сомнительно качал головой Пиль. — К Америке особый интерес имеет, меня о тебе прилежно расспрашивал, что говоришь и в церковь часто ли ходишь, почему с сословием своим не в дружбе живешь — видишь, и это знает! — и при каком капитале ты... Всю переписку по канцелярии, относящуюся к Америке, к себе затребовал: весьма, говорит, любопытно... Берегите муженька, кума, горяч он и непоседлив, а меня не поминайте лихом. В чем надобность будет, отписывай мне, Григорий Иванович, в столицу, — все, что в силах буду, сделаю...

Расцеловался со всеми, Катеньке втиснул в руку коробочку с кулоном алмазным: «Прими, пигалица, на память, а я пред тобой не виноват», — растрогал всех и уехал.

Отставному наместнику Сибири Пилю не довелось больше встретиться с мореходом Григорием Шелиховым.

После отъезда Пиль мореход с головой ушел в хозяйственные и коммерческие дела компании. Подсчитав присланный Барановым из Америки промысел, выделив из него капитал на постройку кораблей, на содержание школ для туземцев в Америке и в Иркутске, на выкуп калгов — рабов и пленных у воинственного туземного населения колоний, рассчитавшись с кредиторами и поставщиками компании, Шелихов не без сожаления убедился, что он, как первенствующий директор, вынужден объявить о выдаче прибыли на пай

почти рубль на рубль: по четыреста двадцати семи рублей на пятисотрублевый пай-акцию.

— За что только дармоеды деньги получают? — подумал он о некоторых своих компаньонах. — Заткну теперь им рты, развернусь по свободе с делом...

Наконец он объявил о размерах ожидаемого дивиденда, но сказал, что выплата будет произведена после реализации товаров, отправленных с обозами на торг в Кяхту, на ярмарку в Ирбит и посредническим фирмам в Москве. На лице Григория Ивановича чуть заметно заиграла улыбка: он увидел, какое впечатление произвело на компаньонов его сообщение о неслыханных размерах дивиденда. Самые злостные ругатели и те умилились, а Голиков даже не нашелся выступить с обычными своими каверзными происками, от неожиданности он просто растерялся, когда Шелихов вслед за тем сказал и о выделении из прибылей десяти тысяч рублей на постройку в Америке православных церквей и отлитие добрых колоколов...

Весна в этом году выдалась неверная и холодная. Даже в последних числах мая лед на Байкале не сломало. «Родами матушка мучится», — говорили посадские женщины, глядя с берега на вспученную, но бесильную скинуть лед Ангару, и чтобы помочь реке, по суеверному обычаю, бросали в прибрежные полыньи хлебные караван с запеченной в них спорыньей. Крепко стоял лед и на Лене, как передавали приезжие из Якутска.

Шелихов по несколько раз в день выходил из дому смотреть на реку, волновался до того, что все из рук валилось: пуститься сухопутьем и попасть в весеннюю ростепель было бы безумием, да и нет надежной и легко проходимой дороги к побережью Охотского моря.

Задерживали и торговые, как нарочно запутавшиеся, дела. От успеха их зависела выплата объявленных дивидендов и спокойствие пайщиков до его возвращения из Америки. А дело Толстопятова как-никак все же обнаружило серьезные промахи в управлении далекими поселениями. Баранов, может быть, не разгля-

дел еще грехов управления Деларова. Надо будет все на месте самому посмотреть. И мореход с нетерпением отсчитывал дни, оставшиеся до открытия навигации и отплытия за океан.

Слухи о предстоящем самоличном плавании Шелихова в Америку, как ни старался мореход сохранить приготовления к нему в тайне, разошлись по городу.

В один из первых июньских дней к Шелихову пришел один из чиновников наместника в дымчатых очках.

— Их высокопревосходительство приказали, ежели вы в этом году собираетесь в Охотск, к нему явиться... Зачем? Не могу знать! — Чиновник откланялся и исчез.

На другой же день с Байкала потянуло холодом, пошел затяжной дождь, на Ангаре забелели льдины, они неслись так, как будто стремились нагнать потерянное время. Прошло еще несколько дней, и летнее сверкающее солнце прорвало тучи. Застывшие на холоду листочки черемухи и яблонь в шелиховском саду развевались прямо-таки на глазах.

А 12 июня Иркутск проснулся под низко нависшими свинцовыми тучами. В домах закрыли окна, затопили печи и затеплили перед образами лампы. И вдруг повалил снег, да какой! Он падал крупными хлопьями, толсто покрыл землю, окружающие город горы и леса. Поднявшийся ветер, наподобие осенней «харахи», крутил снеговые хлопья. По всему городу выли собаки, а раскудахтавшиеся на вчерашнем летнем тепле куры, мокрые и нахохленные, жались под навесами домов и сараев. Бойкие, в летних рубашках, мальчишки на Соборной горе вытащили сани и пробовали устроить катанье с гор, но снег был мокрый и тяжелый, сани не скользили, было холодно, и мальчишки разбежались по домам.

Шелихов стоял у окна и удивленно смотрел на белую снежную завесу, скрывавшую дома. Никто еще не выдывал в Иркутске, чтобы в середине лета выпадал снег!

— Это тебе, Гришата, знак: не езжай на Аляксу... Откажись! — подошла к нему Наталья Алексеевна. — Поверь мне, это — знак...

— Один раз поступился сном и знамениям твоим— до сего дня жалею! Отвяжись, не пророчь, Наталья Алексеевна. — И, видя, что она хочет еще что-то сказать, добавил поспешно: — Это будет последнее мое плавание...

Наталья Алексеевна посмотрела на него долгим взглядом и молча отошла.

Часа через два-три снегопад так же неожиданно прекратился, как начался. И снова засверкало солнце, яростно сгоняя выпавший снег. Земля курилась от испарений, в поднявшемся над ней тумане играли радуги всех цветов. По крутым улицам Иркутска бежали ревущие потоки воды. Вечер и ночь были окутаны теплым влажным туманом. Проснувшись утром, иркутяне изумленно искали следов выпавшего накануне снега и с трудом находили его только в розовевших под солнцем падах между гор. Гольцы и сопки на западе скрывались в дымке испарений земли, жадно тянувшейся навстречу солнечному теплу.

Шелихов решил выезжать в Охотск дней через десять, когда стрележь на Лене достигнет наибольшей высоты и скорости: за неделю-две до Якутска донесет.

Но тут как камень на голову упал: заболела Наталья Алексеевна. Июньский буран словно скомкал, смял и унес ее телесные и душевные силы. В легком сарафане, с непокрытой головой, разыскивая своего Ванятку, ускользнувшего кататься на санках с обрывов над Ангарой, она простудилась. Болезнь ее протекала тяжело. Больную тревожила судьба Григория Ивановича, решившего уйти в плавание, и это беспокойство за него придало болезни неблагоприятный характер.

— Добром не кончится, Гришата, в этот раз... Не ходи в плавание... на то предупреждение тебе было...— шептала она, разметавшись в бреду.

Григорий Иванович перебрался в спальню жены на все время болезни и в ответ на вырывающиеся у нее в бреду стоны просил:

— Прокинься, очнись, лебедушка... Остаюсь, при тебе остаюсь, никуда не поеду... токмо ты не покинь меня, не оставь...

Старик Сиверс, снова переселившийся в дом Шелихова, с сожалением смотрел на осунувшееся лицо морехода и, стоя в изголовье Натальи Алексеевны, печально качал головой, отсчитывая деления термометра, столбик которого в течение двух недель не опускался ниже сорокового градуса. Не помогала даже панацея от всех недугов — отвар «человека-корня», жень-шеня, чудодейственного средства китайской фармакопее.

До сознания Натальи Алексеевны, должно быть, дошли заверения ее Гришаты, единственное необходимое ей лекарство. Ясный взгляд, которым она в один из июльских дней, после особенно трудно проведенной ночи и долгого сна, окинула мужа и Сиверса, не отходивших от ее постели, убедил обоих, что непосредственная опасность миновала.

Наталья Алексеевна быстро оправлялась на теплом летнем воздухе, под легкой тенью лип в саду, куда ее выводили под руки на скамью, устланную мехами. Убедясь, что Наталья Алексеевна выздоровела и вернулась к повседневным заботам и интересам жизни дома, Шелихов также вернулся к своим мыслям и намерениям. Свои обещания не пытаться идти в плавание на Америку он считал тем необязательным разговором, который ведут здоровые люди для успокоения больных. По выздоровлении их не вспоминают ни те, ни другие. По этой причине, а может быть, из затаенной предосторожности не вспоминал о них и Григорий Иванович.

5

Между тем, продумав все осложняющие отъезд обстоятельства и решив: «Долгие проводы — лишние слезы», Григорий Иванович назначил себе отъезд на 25 июля, в добрый день четверток, но объявить об этом Наталье Алексеевне намеревался лишь накануне.

Все необходимые перед отъездом последние дела выполнял втихомолку, стараясь не подавать и виду о принятом решении, и достиг в этом такого успеха, что Наталья Алексеевна, находясь целые дни в саду вдали от дома, поглощенная заботами о запущенном во вре-

мя болезни домашнем хозяйстве, не заметила даже того, как Григорий Иванович, памятуя о полученном от нового наместника приказании явиться перед отъездом, облачился в парадный белый камзол и о полудни выехал во дворец наместника.

— Что вам угодно? — остановил его у дверей дежурный чиновник, когда Шелихов хотел войти в кабинет наместника так же просто, как входил он к Пилю.

— Я... мне... желательно к его превосходительству...

— Обождите, выйдет проситель — доложу, но должен предупредить: сегодня нет приема частных лиц у его превосходительства.

Шелихов оторопел и остался стоять у дверей, не смотря на вежливое приглашение чиновника присесть. После отъезда Пиля в приемной появились кресла.

Немного времени спустя дверь распахнулась и в ней показалась елеинно-благобразная фигура Ивана Ларионовича Голикова. Чуть не столкнувшись с остолбеневшим от удивления мореходом, Голиков прошел мимо, как будто не замечая рослой и великолепной фигуры Шелихова.

— Приказано обождать! — высокомерно возвестил чиновник, нырнувший в кабинет наместника после выхода из него Голикова.

«Не оступись, Григорий Иванович!» — вспомнил мореход прощальные слова Пиля и подавил в себе желание повернуться и уйти.

После часового ожидания в кабинете зазвенел колокольчик, чиновник стремительно кинулся в кабинет, затем вышел.

— Можете войти! — сказал он Шелихову.

Шелихов решил использовать тот прием, с которым он уже однажды в Петербурге предстал перед фаворитом Зубовым и тем самым обратил тогда его внимание на себя. Отбросив шпагу и притопнув каблуком правой ноги по-военному, мореход поклонился губернатору.

Нагель приподнялся и снова сел. Скрытого дымчатыми очками выражения глаз мореход не мог уловить, но тон голоса заставил его сжаться и приготовиться к недоброму.

— А-а, Шелихов! — наконец сказал небрежно Нагель. — Хвалю за послушание и еще больше за то, что обращение от господ дворян перенимаешь. Ты, очевидно, явился просить разрешения ехать в Охотск и отплыть в Америку? Очень сожалею, что ты не понял моего предупреждения. Щадя твою репутацию и... и торговый кредит, я не объявлял тебе высочайшей воли через квартального, но приказал явиться, чтобы секретно объявить... Плавание в Америку тебе запрещается впредь до... до... Словом, если будет разрешено, будешь поставлен в известность!

— В-ваше превосходительство, за что же такое поношение? — едва мог вымолвить мореход, готовый встретить любую бурю, но не такое издевательское отношение к тому делу, которому он отдал всего себя. — Воля ваша, но только плыть мне в этом году беспрерывно надо, и я...

— Запрещаю! — холодно отрезал Нагель. — А если тайком попробуешь, прикажу арестовать и... подумай о своей семье, Шелихов, и подчинись... Можешь итти! Вместо себя пошли достойное доверия лицо... Я шутить не умею!

Шелихов побагровел, хотел что-то сказать, но махнул рукой и бурей промчался мимо оторопевшего чиновника к выходу.

— Домой! До-омой! — иступленно закричал он Никишке.

Беглый гайдук Стенька Голован имел перед Шелиховым то преимущество, что он знал виновников своей злой судьбы, мореход же лишен был и этого утешения.

Он, как человек своего времени, имел самые смутные представления о событиях европейской жизни, хронившей средневековье. Еще меньше мог понимать он высокую политику самодержицы, в которой династические личные интересы приспособлялись к помещичье-дворянским интересам. Шелихов, конечно, и не представлял себе, какой великой мастерицей в этом искусстве была «государыня-матушка» Екатерина II, делавшая все, чтобы сохранить до конца дорогой ценой приобретенный ею для себя «праздник жизни».

Последние годы она доживала в неотвратимом ужа-

се перед французской революцией. Участь казенного в 1792 году короля Людовика XVI часто мерещилась ей, и в страхе сжималось ее сердце, как в те годы, когда по России катилось крестьянское, возглавленное Пугачевым, восстание.

В том же 1792 году, после сражения при Вальми, Пруссия выпала из первой коалиции. Партнеры самодержицы в большой европейской игре — английский король Георг III и его министр Питт-младший в 1793 году потерпели поражение в Тулоне, в котором при поддержке войск и флота английской короны поднялись сторонники казенного французского короля. Под влиянием страха царица не разглядела в лице безвестного тогда генерала Бонапарта, героя тулонской победы санкюлотов, носителя такой же тайной идеи мирового господства, какою тешилась и сама она, Екатерина II.

В 1794 году Австрия, с царственным домом Габсбургов, близким Екатерине, урожденной принцессе Ангальт-Цербстской, окончательно потеряла Фландрию. На месте Фландрии с помощью французского революционного оружия возникли какие-то «Соединенные Штаты Бельгии». Пришлось битым соседям — Пруссии и Австрии — ради утешения в поражениях и в поощрение к дальнейшей борьбе с санкюлотами затыкать рот кусками разделенной Польши.

Наконец даже в далекой Америке, что лежит за двумя океанами — Атлантическим и Восточным, хозяйничают купцы, ремесленники, хлебоборобы и пастухи. Эти «бостонцы» уже отказались от собственного законного короля и «нашего брата» Георга III, а теперь какой-то вот свой подозрительный полумореход-полукупец пытается вовлечь Россию то ли в дружбу с ними, то ли в войну...

— В таком коловороте забот и событий не с руки нам это дело. Америкой и купцом, ее открывшим, займемся, когда придет время, — недовольно заметила Екатерина в одном из разговоров со своим любимцем Зубовым, президентом коллегии по иностранным делам, когда он туманно и невнятно доложил ей о необходимости укротить иркутского купца Шелихова в его не-

прекращающихся попытках умножить русские поселения в Америке.

— Шелихова, ваше величество, поддерживают сибирские власти и особенно этот выживший из ума старый чудак Пиль. Надо бы убрать оттуда Пиля и послать человека, который попридержит этого кондотьера-морехода. Купцу надлежит заниматься торговлей, а не открытиями, причиняющими нам только беспокойство! — заключил свой доклад Зубов, не сводя глаз со своей покровительницы.

Екатерина подумала, благосклонно кивнула головой, и Пиль уступил место Нагелю.

— Лису¹ навесил, немчура проклятый... Шелихова от Славороссии отставил... Только нет, врешь! Не на таковского напал... в плавание я уйду... навек освобожусь от вас, правители, галунами расшитые!.. Наташенька, ты знаешь, что он мне сказал? — обернулся мореход к жене.

Но в этот раз Наталья Алексеевна верным сердцем и гордостью жены Шелихова поняла, что переживает ее муж, и ужаснулась. Убийство Ираклия в их доме, оставшееся безнаказанным, перевернуло ее мысли о благостности и законности порядков в государстве. Она любила свою родину, все свое, родное, русское. Но какие же супостаты правят в этой родной ей русской земле! Бежать, надо бежать от них, если есть куда бежать! Ее муж, Григорий Иванович, прав: подальше от этих людей, творящих беззаконие, — туда, за океан, в Новый Свет, там и свободно и мирно, там тоже родина, Россия, часть ее, но без лихоимцев и... Нагелей. Она смотрела на мужа, и слезы застилали ей глаза...

Запрещение плыть в Америку оказалось для Шелихова непереносимым испытанием. Он удивлялся даже, как это грудная жаба не остановила его сердце, когда он стоял перед столом подкупной власти. Нет, теперь он уже не дастся, устоит и в плавание уйдет...

¹ Железная болванка до двух пудов весом, которую носили особо опасные каторжники. Болванка была прикована к железному браслету на руке.

— Подкрепи, Федор Иванович, лекарством надежным, чтобы сил хватило, — сказал Шелихов, приветствуя Сиверса. Впервые в жизни он сам попросил жену позвать к нему старого лекаря.

— Не волнайтесь, Григорий Иванович, — добродушно шутил Сиверс, раскладывая свои травки и корешки для составления подкрепительной тинктуры. — Сто лет жить будем... Не так страшни шорт, как его малютки, — переврал, по обыкновению, Сиверс пословицу и нечаянно придал ей новый смысл.

25 июля 1795 года, в день, назначенный для отъезда в Америку, купец-мореход Григорий Шелихов отбыл в последнее свое плавание.

Разговор Шелихова с наместником Нагелем не остался тайной для Ивана Ларионовича Голикова. Голиков несколько дней употребил на то, чтобы оповестить вояжиров шелиховских компаний об опале Шелихова.

— Попадет Григорий Шелихов на рудники за передержку беглых и масонов, казну припрячет, ищи тогда с него! — будил Голиков алчность у компаньонов и тут же разжигал в них купеческое усердие к вере: — Да и чего от такого человека ждать: в церковь не ходит, затворился с кержачкой своей и темными людьми в моленной... Предадут их анафеме! В самом деле, государыня поделила Польшу меж тремя царствами, полячишек в Сибирь ссылает, а он, видишь, сколько их в компании на службу подсобрал, патреты государевы писать нанимает... В Америку самых отчаянных сплавил, а давно ли граф ихний Бейсноска¹, русских перерезавши, с Камчатки бежал? — мешая быль с небылицами, сбивал Голиков с толку и запугивал людей. — А из Петербурга и наместник здесь очень даже приглядываются, кто и с кем в дружбе и товариществе состоит...

Самые горластые и самые завистливые противники Шелихова, вроде Мыльников, Ферефёрова, Жиганова,

¹ Под этим именем получил в Сибири известность ссыльный польский авантюрист граф Мориц Бениовский, в 70-х годах XVIII века наделавший шуму бегством с Камчатки.

грека-купца Калофати и язвительного отставного прокурора Будищева, давно задумавшие сколотить собственную компанию, сговорились все вместе явиться к мореходу и потребовать передачи полноты власти коллегии во главе с Голиковым, а в случае, если откажется, настоять на возвращении капиталов и выйти из товарищества.

Всем вместе говорить нельзя, решили они, говорить будет прокурор Будищев, мундир и ордена которого обеспечивают неприкосновенность...

— Вояжиры твои целой шайкой нагрянули... Отвадить? — спросила мужа Наталья Алексеевна.

— Зови... в большую горницу... — подумав, сказал Шелихов. Он решил, что компаньоны пришли торопить его с выдачей дивиденда.

— Зачем пожаловали, господа компаньоны? — спросил мореход, войдя в комнату и оглядывая рассеявшихся посетителей. Глаза и бороды всех были уставлены в пол.

— По поручению здесь присутствующих и отсутствующих пайщиков говорить буду я, — встал и расправил грудь, украшенную несколькими орденами, привычный к жестким выступлениям отставной прокурор Будищев. — Блюдя пользы общественные и государственные, мы решили отринуть единовластие и пагубное самовольство в распоряжении нашим трудом и капиталами... Не желаем больше терпеть!

— И в убытках быть! — не удержался Ферефёров.

— Прошу не перебивать, — обернулся к нему прокурор — и снова к Шелихову: — Долг перед отечеством превыше всего, и мы требуем передачи дел коллегии, кою выделяют пайщики, во главе с почтеннейшим Иваном Ларионовичем Голиковым... или возвращения капиталов, коим найдем...

— Иваном... Голиковым? — загремел Шелихов, но сдержал себя и спокойно уже спросил: — А сколько паев у тебя, господин прокурор?

— Три...

— А у тебя, Иван Максимыч? — обратился мореход к Ферефёрову.

— Дванадесать полных! — огрызнулся тот и доба-

вил: — А какой прибыток... Слезы! И сколько за крохи эти людей погибает, а расходы какие...

— Слыхивал я от бродячих по морям англичанцев, — живо откликнулся на жалобу Ферефёрова Шелихов, — что в теплых местах водится зверь такой, коркодилом прозывается... Он завсегда, когда живность заглатывает, костями хрумкает, а сам плачет. Я радуюсь большому промыслу и полагаю, что людей, в Америке на нас хребет гнуших, в довольствии всяком, отменно хорошо против сибирского обычая содержать нужно, а вы все, труд их заглатывая, над долей их плачете и меня спихнуть норовите, чтобы муку затхлую и бушлаты лежалые без препятствия за океан посылать...

— То-то буйственники американские никого, кроме тебя, не признают, а ты из прибыли нашей воруеть — на пай вора́м начисляешь! — выкрикнул Голиков.

— Ни люди наши не воры, наипаче и я вором не был! — вскипел Шелихов. — Это ты воруеть, Иван Ларионович, против чести, против товарищества, против себя ухитрился своровать!.. Кто Толстопятова на скупку паев подбил, двести пятьдесят тысяч с компании содрать хотел? Ага... на образа закрестился! И что тебе досталось — шиш конопляный? Кто Ираклия, архитекта, самонужнейшего компании человека, под пулю подвел?! У-у, гад, Юда алтынный, ты и меня проглотить готов! Только врешь — подавишься, апостол плешивый!

Ярость туманила сознание морехода. Через Полевого он знал об усилиях Голикова вызвать распадение компании. Голикову эта компания под главенством Шелихова претила. Какое Голикову дело до того, что — плохо ли, хорошо — Шелихов несет на своих плечах все трудности такого огромного и сложного предприятия, как приобщение к российским владениям никем пока еще не захваченных, безмерно богатых, но сурово неприступных и почти безлюдных пространств на северо-западе Нового Света?

Не помня себя, мореход схватил за плечи вставшего перед ним Голикова, встряхнул его, как пустой мешок, и отбросил на скамью у стены. Голиков вскрик-

нул жалобно, по-заячьи, не удержался на ногах и свалился со скамьи боком на пол.

— А-а... ты и бить нас зачал, я те покажу! -- засучил рукава Ферефёров.

Но Шелихов, потеряв голову, охваченный, как в молодости, пылом кулачного бойца, страшным ударом залил кровью лицо и бороду Ферефёрова, пнул его ногой — и тот вдруг исчез из глаз Шелихова: огромная туша грохнулась на пол — и кинулся на пайщиков, шарahnувшихся к двери...

В опустевшей комнате замешкался один прокурор Будищев в попытке трясущимися от страха руками извлечь из ножен прицепленную к мундиру шпажонку.

— Я помогу тебе, ярыжка поганая, дорогу найти, — бормотнул мореход и, ухватив за воротник прокурорского мундира, бросил Будищева к дверям с такой силой, что тот распластался на пороге у ног входившей Натальи Алексеевны.

— Распустил собрание, — криво и беспомощно улыбнулся Григорий Иванович, увидев жену и входя в себя словно бы после безобразного сна. — Посадит меня Нагель в холодную и засудит за поношение чести именитых купцов... Довели, аспиды, до потери разума!

Подошел к поставцу, достал штоф водки, налил стакан, но не взял его в руки.

— Ох, неладно со мной... саднит на сердце... — и, не понимая, что делает, смахнул стакан со стола на пол.

— Не пей, Гришата! — беззвучно не то прошептала, не то подумала Наталья Алексеевна и увидела, как медленно-медленно, силясь захватить судорожно раскрывающимся ртом хотя бы глоток воздуха, Григорий Иванович сползает со стула, как он ни пробует удержаться за край стола.

— Прости... Наташ... всегда бахвалился, а не выдюжил... Пока не довелись о... к-конце моем... пошли про то... весточку... Баранову... Алексан... Андр... реич... Чтоб держался... г-говоря... крепко стоял за... Слав... россию... Мне... три аршин... нужно, а России... Рос... — задыхался мореход, приподняв руку, словно пытаясь ею взмахнуть в ту сторону, где перед мысленным взо-

ром, за океаном, остается его единственно надежный преемник. — Прости... чем владел... тебе и детям остав... Славоросс... отечеству... — и замолк.

Подхватив на руки голову мужа и жадно глядя в теряющие живой блеск глаза, Наталья Алексеевна даже не замечала тонкой кровяной змейки, сбегавшей из углов его плотно сжатого рта на ее руки и с них на пол.

Мореход Шелихов ушел в последнее плавание...

Весть о смерти купца-морехода облетела за несколько часов весь Иркутск и привлекла к дому Шелиховых множество людей, приходивших проститься с его телом.

Работные люди шелиховского дома слонялись сумрачные и молчаливые. Глаза женщин вспухли от слез. Мужчины вздыхали от чувства какой-то непонятной обиды. В молчании толпившиеся вокруг усопшего воспитанники американской «семинарии», алеуты и индейцы, недобро оглядывали спящих людей, будто высматривая среди них виновника смерти своего друга и покровителя.

Никишка, по-своему переживая смерть хозяина, напился и валялся за перегородкой при конюшне. Восхваляя дела и подвиги батыра Шелихова, он тянул бесконечную, как бурятская степь, песню.

Тело морехода, обмытое и прибранное, стояло среди парадной горницы, усыпанной хвойными ветками, в просторном кедровом гробу. Распоряжение похоронами взял на себя купеческий сын Михаил Матвеевич Булдаков¹. Молодой вологжанин, он уже больше года занимал место доверенного на службе компании. Его привлекла проникшая в народ слава о новых заокеанских прибыточных землях, открытых сибирским купцом-мореходом Шелиховым. Булдаков был дружен с Ираклием и часто заходил полюбоваться его чертежами, а после гибели Ираклия стал все чаще навешиваться в дом и был замечен Григорием Ивановичем как человек с понятием.

¹ М. М. Булдаков женился на Екатерине Шелиховой и стал потом директором-распорядителем Российско-Американской компании. Через 25 лет был отставлен от дел за покровительство правителю дел компании декабристу К. Ф. Рылеву.

В обрушившемся несчастье Наталья Алексеевна не уронила и единой облегчающей горе слезы. Стояла в ногах своего Гришаты, не сводя глаз с его лица, словно ожидая — вот-вот взметнет он бахромчатые ресницы, взглянет светло и ясно, скажет... Ничего и никогда уже не скажет, словечка не вымолвит ее орел!

Проводы усопшего проходили под наблюдением Булдакова по строго установленному в народе обычаю.

Знаменитая в Иркутске плакальщица Фетисья Мудрова, стоя у изголовья покойника, разливалась жалобно и проникновенно:

Охти мне кова-то, беднушке,
Бессчастной молодой жене!
Как по сегодняшнему дёнечку
Уж не знала я, не ведала,
Что-то сталося, случилось —
Ново в доме объявилося —
Я жена стала не мужняя,
А вдова-то стала бедная,
Стали сироты малы детушки.
Скороборзая смеретушка
У меня взяла да отвѣлила
Удалу тую головушку,
У роженных малых детушек
Отняла кормильца-батюшку...

Голиков и Ферефёров, узнав о неожиданной смерти человека, для которого не находили достаточно сильных обносных слов, решили молчать о случившемся и, полные христианского смирения, пришли убедиться в гибели своего врага.

— Гляди-ко, матрозка... как статуй бесчувственный стоит, —дохнул Ферефёров в ухо Голикова. — Нет того, чтобы, как у добрых людей, по купеческому заведению, жена по мужу убивалась, голосила, оплакивала... Фетисью за себя наняла! И то сказать, без исповеди и покаяния пес бешеный издох...

Фетисью сменили попы во главе с протопопом Павлом Афанасьевым и хором соборных певчих, отслужившие первую панихиду.

А Наталья Алексеевна все стояла в ногах мужа. Не видела, не слышала, не понимала, что вокруг нее творится.

Попы разоблачились и пошли в столовую «помянуть» покойного.

— Глухую исповедь дал, отпустил рабу божьему Григорию все вольные и невольные, — не моргнув глазом, солгал протопоп Афанасьев на коварный вопрос соборного ктитора Голикова, как, мол, хоронить будем человека, умершего без покаяния. — Ты не суй носа, ктитор, не в свое дело, я между ним и господом стою — я и в ответе буду!

А над гробом плакала, разливалась жалобница Фетисья:

Принесите-ко, пожалуста,
Мне дубовую скамеечку...

Кто-то услужливо пододвинул Наталье Алексеевне стул, и она послушно опустилась на него.

Уж как сяду только, бедная,
Да головушка обидная,
Уж как буду я выпрашивать:
«Ты изволь-ко мне рассказывать,
Ты куды нынь снаряжаеся,
Ты куды нынь отправляеся?»

«Не беречь души, Гришата, — как о живом, думала Наталья Алексеевна, глядя в мертвое лицо мужа, — не покину я твоего дела, не забуду мечты твоей...»

Не жалеете, люди добрые,
Не унимайте, православные,
Мое личенько не бумажное,
Бежат слезы не земщюжные
Текут слезы горя горшин... —

причитала и лила слезы Фетисья.

«На пути великих предприятий, в самом пылу цветущей жизни неумолимая смерть...» — предавался горестным размышлениям, забившись в угол и не замечая катившихся слез, мечтатель Полевой. Он чувствовал, что смерть оборвала жизнь большого человека, горячего патриота, о котором история еще скажет свое слово. Полевой не мог, конечно, предвидеть, что столетием позже слово о Шелихове будет произнесено и од-

ним из потомков «бостонцев», американским историком Банкрофтом. «С него, — пишет о Шелихове Банкрофт в своей многотомной «Истории Аляски», — начинается новая эпоха в истории Аляски. До того в ней все сводилось к открытиям, поискам и охоте за пушными животными с очень слабой мыслью о постоянном устройстве. Но вот появляется Григорий Иванович Шелихов...» И, перечисляя его дела и начинания, историк называет Шелихова «отцом и основателем русских колоний в Америке».

Похороны Шелихова превратились в общественное событие. Несколько тысяч людей провожали гроб с телом морехода в Знаменский женский монастырь, в стенах которого корабль Григория Шелихова нашел свою «незамерзающую» гавань.

— Дайте людям место, свои понесут, — решительно отстранил Булдаков Голикова, Ферефёрова и еще некоторых именитых компаньонов, сделавших попытку подставить свои плечи под тяжелый гроб.

Когда гроб, закрытый черным воздухом, как бы повисая над тысячной толпой провожающих, плыл по иркутским улицам на плечах шелиховских работных людей, Наталья Алексеевна вспомнила вещий сон, виденный ею в утро своих именин два года назад, и словно куда-то провалилась...

Она не скоро собралась дать знать в Петербург дочери и зятю Резанову о смерти Григория Ивановича. С большими усилиями и медленно возвращалась она к обыденной, опустевшей для нее жизни.

События того времени заслонили в глазах многих смерть сибирского морехода. Третий и последний раздел Польши вызвал трения между союзниками: Австрия требовала возвращения Правобережной Украины с Киевом, Пруссия домогалась Курляндии — каждая считала себя наследницей былых владений польской короны.

Русская армия под командованием брата Платона Зубова, Валериана, понесла поражение, и Россия позорно проиграла войну с полудикой Персией.

Афонские травки Ламбро Качиони не помогали матушке-царице, и по мере того как ухудшалось ее здоровье, возрастала агрессия гатчинского двора престолонаследника Павла. «Гениальное дитя» Платон Зубов ходил за императрицей следом и домогался указа о назначении наследником не Павла, а любимого внука императрицы Александра.

Гаврила Романович Державин был озабочен мыслями о том, что ждет его в случае смерти единственной его покровительницы и благодарной за «Сон мурзы» заступницы.

Смерть «матушки» в ноябре 1796 года, приключившаяся в месте, «куда и цари пешком ходят», так или иначе разрешила напряжение и вернула людей к событиям жизни, долгое время ускользавшим от их внимания.

Зубовым и их окружению после восшествия на престол Павла I было в полном смысле слова «не до жиру, быть бы живу». Смерти Шелихова никто из них не заметил. Только одна Ольга Александровна, случайно узнав от своего мужа о торжественных похоронах пленившего когда-то ее и так оскорбительно пренебрегшего ею сибирского «Бовы», задумалась, всплакнула, разбила в поисках платка хрустальный флакончик с амброю и приказала высечь за это новую, служившую ей после Ташки горничную Софку...

Гаврила Романович Державин, оставшись не у дел и разбирая на досуге в милой его сердцу Званке скопившуюся и не распечатанную за последние полгода корреспонденцию, нашел письмо со знакомой печатью «Р. А. К.». Вскрыл и прочел написанное рукой Булдакова короткое сообщение о смерти именитого рыльского гражданина и открывателя американских стран, иркутского 1-й гильдии купца Григория Ивановича Шелихова, безвременно последовавшей июля 25 дня в 1795 году. Прочел и погрузился в раздумье...

Муза Гаврилы Романовича была в то время настроена меланхолически:

Колумб здесь русский погребен!
Проплыл моря, открыл страны безвестны,

И, зря, что все на свете тлен,
Направил парус свой во океан небесный —
Искать сокровищ горних, не земных...

— Эх, Григорий, Григорий, — прошептал стареющий поэт-царедворец, — не умел ты держать нити золотой, что я тебе в руки давал, упустил...

На другое утро за завтраком Державин поделился запоздалой новостью со своим гостем и поэтическим конкурентом, действительным статским советником Иваном Ивановичем Дмитриевым.

— Как же, припоминаю... красив, дороден и очень, очень русский человек был *protégé*¹ твой, Гаврила Романович! — отозвался Дмитриев, смакуя «шекснинску стерлядь золотую».

В обед, обладая легким пером и побуждаемый соперничеством, Иван Иванович передал Державину для отсылки вдове покойного и свою, как он назвал, «скромную лепту в венок славного российского навигатора».

Как царства падали к ногам Екатерины,
Росс Шелихов без войск, без громоносных сил
Притек в Америку чрез бурные пучины
И нову область ей и богу покорил.

Не забывая, потомок,
Что Росс, твой предок, и на востоке громок!

Державин прочел стихи Дмитриева, пожевал губами и сказал:

— Пошлю, оба пошлю вдове, пусть на надгробии высечет, да сохранят имена Дмитриева и Державина его славу потомкам.

Вечером Гаврила Романович, желая соблюсти свое первенство, изрядно потрудился — проза давалась ему трудней стихов — над составлением эпитафии без рифм и с приличествующим случаю письмом на имя Натальи Алексеевны отослал все с нарочным в Петербург Николаю Петровичу Резанову для отправки в Иркутск.

В 1800 году иждивением жены и детей на могиле Шелихова, в Иркутске, при церкви Знаменского мона-

¹ Покровительствуемое лицо (франц.).

стыря, был установлен пирамидальный гранитный обелиск¹ в семь аршин высотой, с бронзовым барельефом морехода, при шпаге, с подозрной трубой в руках. Мореход стоит на якорях и канатном бухоле.

По сторонам обелиска выбиты стихи Державина и Дмитриева и державинская эпитафия:

«Здесь в ожидании пришествия Христова погребено тело, по прозванию — Шелихова, по деяниям — бесценного, по промыслу — гражданина, по замыслам — мужа почтенного, разума обширного и твердого.

Он отважными своими путешествиями на Восток на-шел, покорил и присовокупил Державе самое матерую землю Америки. Простираясь к северо-востоку, завел в них домостроительство, кораблестроение, хлебопашество».

В 1797 году отставленный к тому времени от кресла президента коммерц-коллегии граф Александр Романович Воронцов получил письмо Радищева из Илимска, написанное незадолго до выезда из ссылки, отмененной капризом Павла I. «Смерть Шелихова, могу это сказать, огорчила меня...» — писал Радищев.

— Да почиет его беспокойная душа в мире! — перекрестился Александр Романович, вспоминая планы морехода и недовольные отклики на них российского посланника в Лондоне, брата своего Семена Романовича. — Холодного лимонаду! — сказал вошедшему слуге Воронцов и отложил письмо Радищева к куче просмотренных бумаг с пометкой «в архив».

Радищев и его сиятельный адресат, как это часто бывало между ними в жизни, разошлись в оценке явлений и причастных к ним людей.

— Пять лет украл у меня произвол самодержавия заточением в эту могилу... И какие невозвратимые потери! — горестно и вслух, по привычке усвоенной в ссылке, размышлял Александр Николаевич, оставляя Илимск и в нем могилу жены-друга и дитяти, рожденного и умершего в полярном сумраке. — Но бодрость,

¹ Надгробие Шелихова сохранилось до настоящего времени. Бронзовый памятник на родине Г. И. Шелихова в г. Рыльске, Курской области, на Красной площади, уничтожен немецкими фашистами во время Великой Отечественной войны.

бодрость и терпение! — говорил себе возвращаемый изгнанник. — Я был счастлив в сибирских знакомствах — я увидел и до конца понял соотечественников в их печальном настоящем и предреченном им светлом будущем... Какие люди! — прошла перед умственным взором Радищева вереница мужественных лиц, встреченных им за годы пребывания в Сибири. — Хотя бы этот... Григорий Шелихов!.. Не берусь судить об его нравственных качествах, но крылом его утлых, без единого железного гвоздя сшитых кораблей русские люди вписали последнюю страницу к трехсотлетней затяжной истории открывания Америки, в которую генуэзец Христофор Колумб сделал первый и нечаянный шаг... Генуэзец положил начало целой династии открывателей, русский достойно, никому не наступая на ноги, завершил славное дело! — проговорил, оглядывая свою бедную избу ссыльного, зоркий провидец революционных бурь будущего.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая	5
Часть вторая	165
Часть третья	405